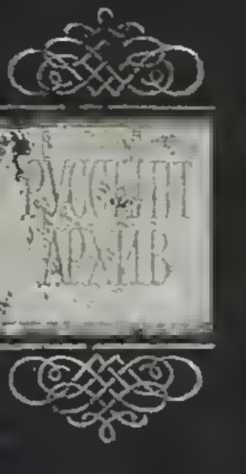


АРХИВ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ



21-22



«ТЕРРА»

АРХИВЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ

издаваемый

І. В. ГЕССЕНОМЪ

XXII



БЕРЛИНЪ 1937

І. В. ГЕССЕНЪ

ВЪ ДВУХЪ ВѢКАХЪ

ЖИЗНЕННЫЙ ОТЧЕТЪ

---

1 9 3 7

ВСТУПЛЕНІЕ.

Нѣсколько раз начинал я записывать свои воспоминанія. Впервые лѣт сорок тому назад, вернувшись в 1889 г. на родину послѣ трех с половиной лѣтняго пребыванія в петербургской тюрьмѣ и ссылкѣ на далеком сѣверѣ Россіи. Ссылка пріобрѣла в жизни моей огромное, скажу — рѣшающее значеніе, и я почувствовал живѣйшую потребность в этом разобраться. Но не пришлось закончить начатое изложеніе, а двадцать пять лѣт спустя, в самом началѣ совѣтскаго режима, я очутился в крошечном финляндском городишкѣ Сортавала и, отрѣзанный перерывом желѣзнодорожнаго сообщенія с Россіей, засѣл за работу над воспоминаніями. Здѣсь я успѣл занести на бумагу четыре важнѣйших этапа жизни, в том числѣ вторично изобразил свое пребываніе в ссылкѣ. Вернувшись затѣм в Петербург, как только сообщеніе с Россіей возобновилось, я поспѣшил сравнить два варіанта сдѣланных мною записей, и оказалось, что они существенно между собой разнятся: хотя в обѣих была только одна правда, но воспріятіе пережитого на протяженіи 25 лѣт стало иным, сердце билось уже медленнѣе и слабѣе, это отразилось и на перѣ.

Впослѣдствіи я многократно возвращался к написанному, подвергал новой обработкѣ; как только, по той или другой причинѣ, выдавался нѣкоторый досуг, неудержимо влекло к продолженію работы, то в формѣ дневника, то в видѣ связнаго изложенія отдѣльных моментов.

Прекращеніе изданія «Руля» и «Архива русской революціи» оборвало напряженную дѣятельность, и вот уже четыре года, как досуга у меня болѣе, чѣм достаточно. Тут то, казалось бы, и приступить к завершенію работы над воспоминаніями. Но в смутной тревогѣ я останавливаюсь перед глубокой пропастью, — перед бездной, которая разверзлась между прошлым и настоящим, между двумя столѣтіями, в частях которых протекла жизнь моя. Правда, духовный разрыв между сосѣдними поколѣніями не представляет для Россіи чего то необычайнаго. В одном из замѣчательнѣйших стихотвореній своих Пушкин утверждает, что на любви к родному пепелищу, к отеческим гробам зиждется «по волѣ Бога самого самостоянье человѣка, залог величія его». Но в Россіи, которую Исторія двигала вперед

рѣзкими толчиами, не сложилось условій для выработки и упроченія традицій. На это явленіе впервые обратил виимаиіе зиаменитый роман Тургенева «Отцы и дѣти», вызвавшій взрыв иегодованія и острую полемииу. Огорчеииый автор утѣшал себя, что это ие больше, чѣм «буря в стаианѣ воды», о иоторой через иѣсиольио лѣт иикто и вспомииать ие будет. Так оио и случилось, ио отирытая Тургеиевым иатегорія «отцов и дѣтей» ие только не исчезла, а иапротив все рельефиѣй оформлялась и становилась все болѣе ярией чертой руссиой общественности. Если уже до Тургенева различали людей тридцатых, людей сороковых годов, то засим были у иас шестидесятиииии, семидесятиииии, восьмидесятиииии и т. д., и всѣ эти термины отиюдь ие представляют хроиологичесиих обозиачеиій, а содержат уиазаиіе иа определеииое міровоззрѣиіе. Реализм, иигилизм, позитивизм, матеріализм, идеализм, декадентство — все это промелькиуло со времеии появлеиія упомяиутаго романа, в сущности иа протяжеиіи одиой человѣческой жизни. Вѣдь и теперь еще иайдутся среди иас современиииии Тургеиева, и теперь еще здравствуют люди, пережившіе ирѣпостиое право, осеиий расцвѣт самодержавія при Нииолаѣ I, разложеніе этого режима при Николаѣ II. И теперь сиолько еще есть русских людей, которые всю свою созиательную жизнь посвятили борьбѣ с самодержавіем, жертвеиио подвергаясь правительствеииым преслѣдованіям, и выиуждеиы были покииуть родину и разсѣяться в изгнаиіи, когда иакоиец режим этот был свергиут. Неудивительно, что при столь быстром ходѣ событій отчуждеиіе между слѣдовавшими одно за другим поиолѣиіями все росло, а когда грянула революція, в своем стихійиом порывѣ приицнпіально отрекающаяся от прошлаго, это отчужденіе, этот духовиый разрыв должеи был принять формы уродливыя. В совѣтских газетах то и дѣло печатаются заявлеиія об отреченіи дѣтей от отцов, и если в таком противоестественном явленіи имѣется безспорно элемент иепосильиаго гиета политической власти, — то иедалеко отсюда стоит и молодое поиолѣиіе эмиграціи, которое в своих газетах безцеремонно квалифицирует отцов, иаи «гииль и рухлядь». А вѣдь, казалось бы, за граиицей Россіи молодежь и могла бы иаучиться уваженію к традиціи, иоторая в Европѣ давно уже играет большую культуриую роль. Но в том то и горе, что руссиая революція, как и можио было ожидать, широко развериула свое воздѣйствіе, одиако ие в смыслѣ коммунистической пропаганды. Формально комиитерн может торжествовать побѣду: он возвѣстил, что добьется міровой революціи — пролетарской, революціи он и добился, ио тольио «с другой стороны», иак, впрочем, и в самой Россіи, под грубой масиой «строительства соціализма в одиой странѣ» бѣшеными темпами, требующими чудовищиых человѣческих гекатомб, иасаждается иеприкровенный капитализм, о судьбах коего в Россіи таи страстно спорили в восьмидесятых годах прошлаго столѣтія иародиики и марксисты.

Это вліяиіе русской революціи, все шире распространяющееся, меньше всего привлекает к себѣ вииманіе, ио всѣ чувствуют, тревожно ощущают, что, говоря словами Гамлета, подлинно распалась связь времен и самым модным ходячим опредѣленіем переживаемаго времени становится выраже-

ніе: «возвращеніе к средневѣковью». У меня эти трагическія слова датскаго принца непрерывно звучат в ушах и настойчиво в мозгу гвоздила мысль, нельзя ли чѣм нибудь помочь связь времен возстановить. В 1920 г. став во главѣ основаннаго в Берлинѣ русско-нѣмецкаго издательства, я предложил, между прочим, обратиться к наиболѣе выдающимся представителям науки и искусства во всем мірѣ с просьбой изложить, какая основная идея господствует в настоящее время в области их творчества. Внутренне я был убѣжден, что изданный сборник отвѣтов даст возможность установить, что во всѣх областях доминирует одна и та-же основная идея, один лейтмотив, и, во вторых, выяснить, в какой мѣрѣ эта идея была подготовлена и подсказана минувшим вѣком, от котораго «дѣти» с таким презрѣніем отрекаются. Но, одобрив всю программу, издательство именно это предложеніе категорически отвергло, как совершенно непрактичное. Я дѣлал еще ряд попыток в Германіи и Америкѣ, но с тѣм же результатом, и неудача оставила мнѣ одно, правда, весьма слабое утѣшеніе, что если бы десять-двѣнадцать лѣт назад собрать и опубликовать руководящіе взгляды «треста мозгов», то легче было бы оріентироваться, найти аріаднину нить, по крайней мѣрѣ — хоть уяснить себѣ, переживаем ли мы переходный період смуты, вызванной необычайными потрясеніями послѣдних десятилѣтій, или вступаем в новую историческую эпоху, присутствуем при муках рожденія ея.

Болѣе реальным утѣшеніем было бы—возобновить работу над воспоминаніями, над составленіем жизненнаго отчета, который мог бы дать нѣкоторый матеріал для освѣщенія второй половины проклинаемаго минувшаго столѣтія и бурнаго начала нынѣшняго. Но, как уже сказано, пугала бездна, разверзшаяся между прошлым и настоящим, удерживало горькое опасеніе еще сильнѣе обострить томительное, подчас невыносимое чувство одиночества. Еще задолго до «Отцов и дѣтей» Пушкин выражал сожалѣніе о «несчастном другѣ», который переживает своих сверстников и станет «средь новых поколѣній докучный гость, и лишній и чужой». А сейчас самое слово «гость» неумѣстно, вмѣсто него нужно поставить «недруг»: сидя в своей одинокой комнатѣ и слушая доносящійся с улицы шум мимо несущейся жизни, невольно различаешь в назойливых сиренах автомобилей, в рѣзких звонках трамваев как будто укоризну, упрек, угрозу, и со дна души поднимается тревожное раздраженіе. Мнѣ и казалось, что если совсѣм уйти мыслями и помыслами в прошлое, если оживить тѣни, окружить себя блѣдными призраками невозвратных лѣт, то, поневолѣ возвращаясь от работы над воспоминаніями к дѣйствительной жизни, еще болѣзненнѣй будешь ощущать свою чуждость, просто почувствуешь себя живым трупом. Страшно одиночество не само по себѣ: напротив, глубокой ночью, когда огромный город наконец затихнет и кругом воцарится спокойствіе, полудремотная безсонница является блаженным состояніем. Но тяжко быть бездѣйственным свидѣтелем мятущейся безпомощно жизни и лишь сторониться от случайных или умышленных толчков.

Из этих опасеній и воздержанія вывел меня, так сказать, «внутренній враг», тѣ мои сверстники, которые усердно упражняются над прошлым в

догадках, что было бы, если бы было не так, как было, если бы тогда то, в таком то случаѣ поступили не так, а иначе, как оно теперь кажется правильным. Но вѣдь не арифметическая задача тогда рѣшалась. Вѣдь и хорошо удавшійся лабораторный опыт дает часто совсѣм другіе результаты при повтореніи его в широком масштабѣ. Кромѣ видимых слагаемых, над которыми теперь охочіе комментаторы оперируют при помощи угодливаго «если бы», тогда были еще на лицо какія то imponderabilia, которыя, как бациллы во время эпидеміи, играют рѣшающую роль. Теперь они улетучились и вліяніе их так безслѣдно исчезло, что даже не вѣрится, что когда то находился под его неотразимым обаяніем. Слишком грандіозны были трагическія событія послѣдних десятилѣтій, чтобы не слышать в них разгула стихіи, и достаточно и без того развѣнчан человѣк, чтобы еще вбивать в могилу его царственной репутаціи осиновый кол запоздалых увѣреній, что судьба человѣчества могла бы быть иной, если бы то или другое лицо или политическая партія не сдѣлала той или другой ошибки. Чаще всего, напр., приходится слышать мнѣніе, что если бы в послѣднюю роковую недѣлю іюля 1914 г. Распутин был не на родинѣ, в Сибири, а находился в Петербургѣ, то, благодаря его вліянію на царя, война бы не вспыхнула, а не будь войны, не было бы и революціи. Само по себѣ и такое обидное предположеніе вполнѣ отвѣчает вѣроятности, но если бы оно осуществилось, война была бы лишь вновь отсрочена, как была уже однажды отсрочена за три года до этого, во время агадирскаго инцидента, и еще тремя годами раньше, когда Австро-Венгрія аннектировала Боснію и Герцеговину. Можно поэтому противопоставить означенному предположенію совсѣм другое «если бы», а именно: если бы отсрочек не было, если бы война вспыхнула в 1909 г. из за аннексіи Босніи и Герцеговины, послѣдствія ея были бы несомнѣнно менѣе ужасны (ибо тогда техника была менѣе совершенна), и напротив, было бы, пожалуй, еще много хуже, если бы в 1914 г. достигнута была новая отсрочка на три года, и сейчас нас отдѣляло бы от войны меньше лѣт. Мнѣ думается, что, как бы ни расцѣнивать роль личности в исторіи, нельзя опускаться до такого самоуниженія и, быть может, оно и объясняется безжалостным развѣнчаніем человѣка. Ибо если допустить, что капризы случая, комбинаціи «если бы» могут неожиданно и причудливо мѣнять величавый ход исторіи, то чѣм же можно было бы жить и во имя чего работать? Нѣт, какое бы из всѣх «если бы» ни осуществилось своевременно, оно, в лучшем случаѣ, могло бы задержать, завертѣть на мѣстѣ или, напротив, ускорить ход событій, но отнюдь не свернуть его круто с дороги, в муках подготовленной предшествовавшими поколѣніями. Поэтому hic Rhodos, hic salta. Ревнивые комбинаторы слишком легко забывают язвительно мудрыя слова Мефистофеля (к которым вполнѣ присоединяется великій писатель земли русской Л. Толстой): Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben.

Но были ли ошибки и можно ли было их избѣжать, я искренно свидѣтельствую, что, хотя из чаши жизни пришлось выпить не мало горечи, мнѣ нельзя жаловаться на прошлое. Напротив, я безконечно благодарен и благословляю судьбу, которая сблизила меня с «орденом» русской интелли-

генціи. Такого ордена не было тогда в Европѣ и больше не будет его и в Россіи. Отличительным признаком интеллигенціи было, что на первом мѣстѣ стояло для нея общественное служеніе, подчинявшее себѣ всѣ другіе интересы. Это создавало особое возвышенное настроеніе, точно первая любовь, заставляло звучать в душѣ золотыя струны и высоко поднимало над будничной суетой. Благословляю судьбу за то, что на долгом жизненном пути она сталкивала меня с цѣлым рядом выдающихся представителей этой интеллигенціи. Большинство уже перешло земной предѣл, но воспоминаніе о них приливает горячую волну, согрѣвающую и возбуждающую усталое, хладѣющее сердце.

Таковы настроенія и выводы, к которым привел утомительно долгій жизненный путь, на котором было пятьдесят лѣт политической и общественной дѣятельности. Я отнюдь, однако, не собираюсь навязывать другим свои выводы: мнѣ лишь кажется, что для провѣрки их правильности мой жизненный опыт дает много интереснаго и цѣннаго матеріала, который я и постараюсь изложить с доступной для человѣка правдивостью. Как колобочку, в прелестной сказкѣ, удалось уйти и от зайца, и от волка, и от медвѣдя, — так же, по моему мнѣнію, нетрудно уйти от тенденціозности, от преувеличенія и выдвиганія своей личной роли и значенія, которыя теперь уже рѣшительно никому неинтересны. Но очень нужно опасаться, чтобы лисой, перехитрившей колобок и съѣвшей его, в данном случаѣ не оказалась память. Русскій крестьянин, приступая к разсказу о прошлом, непремѣнно начнет с трогательнаго обращенія к Богу: дай Бог не соврать! — Нужна, ох, как нужна помощь против памяти, потому что она то большая мастерица превращать желательныя «если бы» в отошедшую дѣйствительность. Но и огражденія правды еще недостаточно, чтобы благополучно уйти от продѣлок памяти, потому что еще болѣе затѣйливо она умѣет сортировать громадныя залежи свои и вызывать на свѣт Божій не все, что хранит в своих необъятных закромах. Вот гдѣ подстерегает опасность, и единственной гарантіей против нея может служить возраст, который и на память дѣйствует отрезвляюще, ибо, как бы живо и ярко она ни воскрешала минувшее, но когда-то оно «неслось событій полно, волнуяся как море-океан, а теперь оно безмолвно и спокойно».

Страстной остается только одна мечта и жгучим одно только желаніе — перед смертью еще раз увидѣть родину и там умереть.

1 января 1935. — 8 февраля 1936.
Берлин—Париж.

ДѢТСТВО.

(1865—1873)

Справедливо прозванная «Южной Пальмирой», родина моя Одесса пользуется, однако, весьма незавидной славой и в общественном мнѣніи, которое, как извѣстно, считается гласом Божіим, и в литературѣ — немало выкормила она писателей и публицистов, но никто, кажется, не отплатил ей благодарной памятью. Лестное прозвище, которое Одесса заслужила, главным образом, своим красивым расположеніем на высоком берегу Чернаго моря, и является в сущности источником недоброй славы ея. Благодаря положенію у моря, Одесса и стала важнѣйшим центром русской хлѣбной торговли с заграницей и потеряла свое лицо, привлекши двунадесят языков: были в Одессѣ улицы — Еврейская, Греческая, Итальянская, Малая и Большая Арнаутскія, Молдаванка. Хлѣбная торговля сопряжена была с постоянным, не поддающимся учету риском, в зависимости от колебанія курса нашего бумажнаго рубля на заграничных рынках, от неожиданнаго замерзанія одесской бухты и т. п., и риск создавал атмосферу спекуляціи и авантюризма, окутывавшую весь город и опредѣлявшую его интересы, стремленія и благополучіе. Когда проведеніе Екатерининской ж. д. перемѣстило центр тяжести хлѣбной торговли в захудалый до того Николаев, а Виндаво-Рыбинская ж. д., по иниціативѣ одного из моих двоюродных братьев, отвлекла много грузов к балтійским портам, Одесса захирѣла. Теперь и от прежних названій ничего не осталось и вообще мнѣ трудно оріентироваться в лежащем предо мною новом планѣ города. Но в шестидесятых годах прошлаго столѣтія, с которых начинается лѣтопись моя, процвѣтаніе Южной Пальмиры дѣлало все новые успѣхи: раньше она притягивала к себѣ весь урожай с Приднѣпровья, а потом младшій брат отца вовлек в ея орбиту и днѣстровскій район, сконструировав новый тип баржи, годный для мелководнаго мѣстами Днѣстра, и слово «гессенка» появилось в русских энциклопедических словарях раньше, чѣм уже в позднѣйших изданіях удостоилась упоминанія и самая фамилія Гессен.

Я не знаю, когда и откуда эта фамилія появилась в Одессѣ. Мы генеалогіей не интересовались. Очень плохо помню я дѣда по отцу, он умер, когда я еще

не отдавал себѣ отчета в окружающем, а сейчас не могу отдать себѣ отчета, помню ли я его образ по фотографіи, или по непосредственному воспріятію. К памяти его относились с большим уваженіем и «Еврейская энциклопедія» причисляет его к купцам, извѣстным своей общественной и торговопромышленной дѣятельностью. Отец, да и всѣ братья его и мужья сестер, так или иначе тоже были прикосновенны к хлѣбной торговлѣ. Отец получал на коммиссію огромныя партіи зерна, грузившіяся скупщиками «комиттентами» в днѣпровских портах, и продавал их в Одессѣ заграничным экспортным фирмам.

Послѣ утренняго чая мы с братом, который на два года меня старше, но учимся мы вмѣстѣ, играем в вымощенном булыжником дворѣ нашего дома, поливаем двор из водопроводнаго крана, прижав отверстіе пальцем, отчего вода распыляется фонтаном, то и дѣло обдающим нас самих, и наблюдаем за приземистым широкоплечим кучером Иваном, который запрягает в легкую коляску обожаемаго нами бойкаго Красавчика — он вполнѣ стоит своего названія: свѣтлокофейный в яблоках. Вот Иван уже солидно усѣлся на козлах и важно покрикивает на Красавчика, высѣкающаго искры из булыжника нетерпѣливой стройной ногой. А отец все не показывается и мы начинаем волноваться: не произошло ли опять раздраженнаго разговора с матерью из за просимых ею денег на домашнее хозяйство. Почему эти недоразумѣнія так часто повторяются, почему раз навсегда не согласятся, сколько можно тратить? Этот вопрос очень нас занимает, потому что, послѣ такого разговора, отец, маленькій, щуплый, с чуть вьющейся рыжевато-черной бородой, появится во дворѣ совсѣм угрюмый, как бы не замѣчая нас, молча сядет в коляску, и наши надежды на купанье в морѣ разбиты безжалостно. А, может быть, задержал его Серебренник, старый, сгорбленный молчальник, самоучка бухгалтер и конторщик и корреспондент, беззавѣтно преданный и щепетильно честный, но частенько путающій. Или принес он из гавани, гдѣ уже ранехонько утром побывал, какія-нибудь неблагопріятныя вѣсти, которыя производят еще болѣе нежелательное дѣйствіе на настроеніе отца. Но вот он, наконец, во дворѣ, мы стараемся придать себѣ равнодушный вид, но быстро подбѣгаем, когда, уже занеся ногу на подножку, он приглашает ѣхать с ним. Дом наш стоял в концѣ Ришельевской ул., а мы отправлялись на другой конец: сейчас соображаю, что и всего то требовалось не больше пятнадцати минут пѣшаго пути, но тогда это казалось гораздо дальше, время, очевидно, тянулось медленнѣе. Чѣмъ ближе к этому концу улицы, тѣм становится люднѣе, а на послѣднем кварталѣ настоящая толчея. Тротуар заставлен какими-то странными, окрашенными в ярко-зеленый цвѣт стойками, напоминающими ученическія парты, — за ними возсѣдают тепло одѣтые мужчины и женщины — уличные мѣнялы, производящіе простѣйшія банкирскія операціи. Между стойками снуют люди, друг с другом встрѣчающіеся и быстро расходящіеся, чуть не сбивающіе один другого с ног. Это все голытьба, состоящая при маклерских конторах: она старается добыть для своих патронов свѣдѣнія об идущих и прибывших грузах, выяснить среднія цѣны, уговорить встрѣченнаго про-

давца не дорожиться и затѣм сломя голову бѣжать в контору. По возвращеніи из ссылки мнѣ пришлось быть на пріемѣ у градоначальника Зеленаго, прославленнаго щедринскаго помпадура. Один из просителей, еврей, горько жаловался на притѣсненія со стороны полиціи и на грозный вопрос Зеленаго: «чѣм занимаешься?» простодушно отвѣтил: «мы тремся около Тейтельмана», чѣм вызвал бѣшеный гнѣв помпадура, не оцѣнившаго, как мѣтко проситель охарактеризовал свое безрадостное существованіе.

Этот отрѣзок улицы носит загадочное названіе «Грецк», здѣсь расположена большая часть маклерских и экспортных контор. Вот один невзрачный человѣчек, с зонтиком в руках, даром что небо безоблачно, рывком выдѣляется из снующей толпы, сильно жестикулируя зонтиком, останавливает нашу коляску и, крѣпко ухватившись руками за крылья ея, быстро, быстро начинает заговаривать отца. Жаргон мы несовсѣм свободно понимаем, дома с родителями говорим только по русски, но то, что юркій человѣчек с такой горячностью внушает, нам представляется просто безсвязным перечисленіем фамилій, отдѣльных слов и цифр: слышится — Анатра, Родоканаки, Юровскій (это все крупныя экспортныя фирмы), Тейтельман, Клейн (маклера), гирка, леи, вчера полкопейки, нѣт — копейка, плохой вѣс, пыль, шурф, проба и т. д. Минут через пять он недовольно отходит от коляски, но только что мы трогаемся, мановеніе другого зонтика вновь преграждает нам путь, потом отец замѣчает кого-то в толпѣ и, остановивши Ивана, выходит на тротуар. Ну, наконец раздается рѣшительное: трогай! и Красавчик везет на довольно крутой спуск к гавани, скользя на отполированных ѣздой камнях, Иван изо всѣх сил натягивает возжи (тормаза не полагалось) и лошадь так упирается, что скрипит дуга, которую теперь можно увидѣть только в кинематографах на т. н. русских картинах. Отец глубоко погрузился в размышленія о полученных на «грецк» предложеніях и о нашем присутствіи как бы совсѣм забыл. Он страшно удивился бы и не повѣрил, если бы ему сказать, что мы принимали живѣйшее участіе в его разговорах, силясь сочетать безсвязныя слова и уловить смысл цифр, хотя бы со стороны зависимости от них его настроенія. Он убѣжден, что мы впитываем лишь то, что специально для нас уготовлено: начальное училище (пансіон) Вербеля, дома — уроки еврейскаго языка, ну — там еще книги из библіотеки, наконец, допустим — игры. Но, как он интересуется только результатами учебы, четвертными отмѣтками и переходом в слѣдующій класс и никогда даже не заглянет в лежащія перед нами книги, так и мы должны быть глухи к тому, что, хоть и слышим, но нас явно не касается. Но вот поди ж ты: только и помню, что у Вербеля мы учились, но чему и как и с кѣм — ни, ни, и от бездарнаго учителя еврейскаго языка осталось только умѣнье с грѣхом пополам читать, не понимая смысла. А людской гомон на Грецк и разговоры из коляски до сих пор отчетливо звучат в ушах. А в коляскѣ еще лежит знакомый странный предмет , заставляющій сомнѣваться, ѣдем ли мы прямо в купальню Исаковича. Этот предмет, имѣющій рукоятку лопаты с довольно глубоким мѣдным конусом на концѣ, и есть упоминавшійся в разговорах шурф, которым зачерпывают со дна баржи

зерно, чтобы провѣрить добротность. Наличность шурфа свидѣтельствует, что придется еще ѣхать на волнорѣз, гдѣ ошвартовалась баржа. Если отец в хорошем настроенiи, мы просим разрѣшенiя пѣшком сбѣжать с гигантской широченной лѣстницы, спускающейся с бульвара у памятника строителя Одессы Ришелье в гавань, и приходим к купальнѣ раньше, чѣм отец возвратился с волнорѣза. Купанье в гавани мало привлекательно, вода грязноватая, плавают арбузныя и дынныя корки, но купальщиков много, отец обучает нас плаванью и показывает, все с тѣм же сумрачным видом, разные «фокусы» в водѣ.

Домой возвращаемся прямо к обѣду. Мать ,высокая, пышная, черноволосая и бѣлотѣлая, очень красивая, уже сидит за столом со старшей сестрой, очень на нее похожей, еслибы не нос, унаслѣдованный от отца. Да и душевными свойствами она двоится между веселой, беззаботной, жизнерадостной матерью и молчаливым, недовѣрчивым и нерѣшительным отцом, — эта печать двойственности лежит и на нас с братом. Если ничего не случилось в широко развѣтвившейся семьѣ отца, не получено письма из Екатеринослава от родителей матери, обѣд проходит в молчанiи: в дѣла свои отец никого не посвящает, политическiя и общественныя новости интересуют лишь с точки зрѣнiя влiянiя на хлѣбную торговлю: помню объявшiй наш дом ужас, когда русско-турецкая война 1877—78 гг. заперла выход из Чернаго моря и внезапно прiостановила хлѣбную торговлю. Ф. И. Родичев любил разсказывать анекдот о Николаѣ I: когда во время крымской войны ему доложили, что населенiе встревожено и волнуется из-за севастопольских неудач, император ударил кулаком по столу и воскликнул: «а им какое дѣло?» Отец, да и вся его и материнская семья убѣжденно считали, что им дѣйствительно никакого дѣла нѣт, и были самыми непритязательными вѣрноподданными. Молчанiе вдруг прерывается громким голосом матери, замѣтившей, что кто-нибудь из дѣтей уклоняется от ѣды и имѣет недовольный вид: «ты почему дуешься? съѣшь хоть еще этот кусочек». Если уговоры не помогают, мать раздраженно замѣчает: «прежде это называлось просто сумасшедшiй, а теперь (голос звучит иронiей) называют нервный». А мы этим способом частенько ее шантажировали, чтобы добиться исполненiя какого-нибудь желанiя. Из-за стола расходимся тоже молча, благодарить родителей не полагалось, это «нѣжности» и условности, которыя вызывают насмѣшку, а я, в особенности, к ней очень чувствителен. Положительно не помню, чтобы отец или мать поцѣловали нас, за исключенiем разставанiя на время; день рожденiя не праздновался и вообще ничѣм не отмѣчался, развѣ что единственный раз при достиженiи мальчиком тринадцатилѣтняго возраста, духовнаго совершеннолѣтiя, обязывающаго утром молиться, надѣв на руку и на лоб два черных деревянных кубика со вложенными в них текстами молитв. Нѣжности проявлялись только тайно: притворившись во время болѣзни спящим, можно было, чуть прiоткрыв глаза, наблюдать, как отец на цыпочках подходит и, низко склонившись над больным, долго прислушивается к дыханiю.

Послѣ обѣда бывал тягостный урок еврейскаго языка, тягостный, по-

тому что, в явный вред себѣ, твердо держались принципа — числом поболѣе, цѣною подешевле, и то только во второй его части. Когда позже отец принялся за перестройку дома, обошедшуюся в нѣсколько десятков тысяч рублей, разработка плана поручена была доморощенному архитектору и, из-за экономіи в 200—300 рублей, обезображен был дом и уменьшена его доходность. При поступленіи в гимназію старшему брату — ученіе давалось ему туго — пришлось взять репетитора и приглашен был сын одного из жильцов, взрослый гимназист третьяго класса, которому платили 4 рубля в мѣсяц, притом не непосредственно, а предоставляя удерживать из неаккуратно вносимой квартирной платы. Репетитор завел тетрадку, в которой выставлял брату отмѣтки и, к великому соблазну, я увидѣл написанное им слово: повѣденіе — у него не хватило смѣлости допустить, что среди трех звуков е ни один не пишется через «ѣ». Таков примѣрно был и учитель еврейскаго языка, и очарованіе Библіи, равно, впрочем, как и древних классиков я познал уже только в зрѣлом возрастѣ, собственными тяжелыми усиліями продираясь сквозь внушенное жалкими невѣждами молодецкое отвращеніе к величайшим твореніям человѣческаго генія. У сестры в это время бывал урок музыки на рояли, а позже и пѣнія. Музыка вызывала всегда особыя сладостно-волнующія ощущенія; с неослабѣвающим наслажденіем я всегда слушал и гаммы и экзерсисы и сольфеджіо и страстно сестрѣ завидовал, но обученіе мальчиков музыкѣ считалось по меньшей мѣрѣ неумѣстным: другое дѣло — дѣвицы. Предлагая невѣсту, сваха не преминет на одном из первых мѣст упомянуть об умѣньѣ играть на рояли, это крупный козырь, а мальчикам оно ни к чему.

Послѣ окончанія урока мы всѣ сбѣгаемся к матери — отца как обычно опять нѣт дома, и можно шумно выражать свое настроеніе—, мы увѣрены, что у нея припрятаны какія-нибудь лакомства, в особенности тающіе во рту пирожки — птифур из замѣчательных французских кондитерских, мать отнѣкивается, но на наши ласки быстро сдается, мы вмѣстѣ уплетаем и так до старости я и остался сластеной. А затѣм с братом спѣшим в библіотеку, гдѣ, кажется уже с семилѣтняго возраста, были абонированы — в домѣ, кромѣ наших учебников, не было ни одной русской книги, да и вообще никаких книг, кромѣ молитвенников и еще каких-то брошюр, которыя сочинял дальній родственник матери — маніак, еврейскій варіант юродиваго, бѣдный как церковная крыса. Всѣ собранныя за им самим разносимыя брошюры деньги он употреблял на печатаніе новых, а чѣм и как питался — было загадкой, он как будто в питаніи и не нуждался. Может быть, потому что книга в домѣ была рѣдкостью, я к ней питал большое беззавѣтное почтеніе и с нѣкіим благоговѣніем входил в библіотеку Бортневскаго, в которой три комнаты по всѣм стѣнам уставлены полками с книгами с золотым или черным тисненіем на желтом корешкѣ переплета. В библіотекѣ всегда царила серьезная тишина и сам Бортневскій, высокій блондин, с пріятным лицом и задумчивыми, гдѣ то витающими глазами, говорил тихим, осторожным голосом, словно боясь нарушить покой книг. Я был убѣжден, что он всѣ книги прочел — как же иначе — и в его серьезности видѣл про-

явленіе сознанія своего превосходства над посѣтителями, которым не под стать одолѣть и сколько нибудь замѣтную часть его сокровищницы. Бортневскій был в сущности единственным руководителем нашего самообразованія, и ему я обязан упоительным наслажденіем, доставленным чтеніем, вѣрнѣе — глотаніем Майн Рида, Эмара, Жюль-Верна, Вальтер Скотта. Мнѣ казалось, что писатель, способный доставлять другим такое высокое наслажденіе, сам должен быть существом сверхестественным, литературное творчество рисовалось не житейским занятіем, а священнодѣйствіем, и званіе писателя недосягаемым. Безжалостная дѣйствительность, среди многаго другого, не только разрушила дѣтское представленіе, но не раз, в особенности в изгнаніи, мстила жестокими разочарованіями, однако слѣд этого представленія удалось, к великому счастью, пронести в душѣ через всю жизнь. А тогда меня все тянуло попробовать испытать, какія чувства, какое состояніе овладѣвает, что вообще происходит с человѣком, когда он отдается сочинительству. В глубокой тайнѣ, даже от брата, я пріобрѣл изящную записную книжку и, крадучись, стал сочинять, конечно, безпомощное подражаніе прочитанному. Однажды, когда вся семья сидѣла за вечерним чаем и я тут же погружен был в чтеніе, отец, находившійся в необычно хорошем настроеніи, вдруг сказал: «а вот я прочту вам нѣчто очень интересное». Я оторвал глаза от книги, но, по близорукости, не разглядѣл, что у него в руках моя тайна, а он, хитро подмигивая, с дѣланным пафосом прочитал что-то вродѣ: «раздался громкій залп! храбрый вождь, как подкошенный, упал на землю, но глаза все еще пылали местью». Меня то дѣйствительно словно подкосило, я так испугался, что перехватило дыханіе, почувствовал, что краска заливает лицо, слезы вот вот брызнут, и тогда впервые понял, что значит — желать провалиться сквозь землю. Отец, повидимому, был удивлен неожиданным эффектом, на полусловѣ остановился и с доброй, смущенной улыбкой, еще обострившей мое замѣшательство, вернул книжку. С тѣх пор от подражаній я рѣшительно излечился, а став редактором, относился к охотникам до чужого литературнаго добра с преувеличенным ожесточеніем, раза три пришлось даже сражаться в судах чести. Но мнѣ сдается, что это безобидное подшучиваніе потому так врѣзалось в память, что оно поколебало увѣренность, и когда, много лѣт спустя, потянуло к писательству, приходилось преодолѣвать назойливыя сомнѣнія и в ушах вдруг зазвучит: «храбрый вождь, как подкошенный, упал на землю». Но этим храбрым вождям я очень многим обязан: они плѣняли рыцарским благородством и безстрашіем, прямотой и честностью, отвращеніем и противодѣйствіем насилію, покровительством слабым, жаждой подвигов.

Странно, однако, что об одной важной чертѣ я совсѣм забыл упомянуть и спохватился лишь по окончаніи всей работы, перечитывая эти страницы. В характеристикѣ Алеши Карамазова Достоевскій подчеркивает его «изступленную стыдливость и цѣломудріе». Монашеских настроеній и тяготѣній у меня и в поминѣ не было, восьми лѣт я был уже влюблен в свою сверстницу красавицу кузину, и ея фотографія, выкраденная из семейнаго альбома, всегда была со мной, женская красота производила очень сильное

впечатлѣніе. Но совсѣм как Алеша, я не мог слышать «извѣстных слов и извѣстных разговоров о женщинах», лицо заливалось краской, если товарищи, издѣваясь, силой заставляли их выслушивать. И потом, во всю жизнь, этой интимной области я не касался в бесѣдах даже с самыми близкими друзьями.

Вечерним чаепитіем, около 10 часов, день заканчивался. Нам с братом отведена была — и для работы и для сна — полутемная комната, выходившая окнами в застекленный коридор, хотя квартира была большая, а послѣ перестройки имѣла 20 окон по фасаду двух пересѣкающихся улиц. Но лучшая комната служила залой — в 5 окон с балконом, раскрашенным под паркет полом, от времени до времени так начищаемым, что дня два послѣ этого стоял непріятнѣйшій запах воска, смѣшаннаго с потом. В залу вообще, по молчаливому запрету, входить не полагалось, она предназначалась только для каких либо торжественных случаев, к которым не относились рѣдкія посѣщенія гостей-родственников, довольствовавшихся столовой. Зала и была самой неуютной комнатой, какой-то безжизненной и отличалась от других дешевой нарядностью: кромѣ рояля, украшеніем были двѣ посредственныя гравюры на сюжет из библейской исторіи и нѣсколько пестрых бездѣлушек, привезенных из Карлсбада, куда жирная еврейская кухня гнала для леченія катарра и страданій печени. А во всѣх других комнатах стѣны были совсѣм голыя, на столах ни одного цвѣтка, вообще — ничего, что ласкало бы и радовало глаз, все это было ни к чему, совершенно так, как и «нѣжности». В большой вмѣстительной квартирѣ всегда было душно и затхло, потому что потребность в чистом воздухѣ убѣжденно считалась предразсудком. Окна раскрывались только лѣтом, зимой всѣ щели задѣлывались ватой и покрывались замазкой, затвердѣвавшей как камень. А вмѣсто провѣтриванія пускались в ход курительныя свѣчки, дымом своим еще больше отравлявшія воздух. Но развитіе физических сил вообще расцѣнивалось, как вздорная затѣя: сильным прилично и нужно быть «биндюжнику», о таких выдающихся силачах и повѣствует в своих одесских разсказах Бабель. А мальчику из «порядочнаго семейства» заботиться о мускулах и, тѣм болѣе, заниматься спортом было бы крайне неприлично. Такіе глубоко вкоренившіеся взгляды и имѣли результатом, что мы, всѣ трое, заболѣли противнѣйшей золотухой и всю зиму нас отпаивали рыбьим жиром, а лѣто мы впервые провели на дачѣ и сразу же всѣ оправились. Припоминаю еще, что брат болѣл скарлатиной и был от меня изолирован. Когда он поднялся с постели, мы разговаривали через закрытую дверь, и так как я ни за что не хотѣл повѣрить, что у него сходит вся кожа, он стал просовывать мнѣ кусочки ея в замочную скважину.

Если кто-нибудь заболѣвал, немедленно появлялся добродушный человѣк с грозными насупленными бровями, окладистой черной бородой, пріятно щекотавшей при выслушиваніи сердца и легких, и каким то специфическим запахом. Когда впослѣдствіи в еврействѣ прогремѣло имя доктора Пинскера, как піонера сіонизма, и я прочел его пламенную брошюру «автоэманципація», я никак не мог сочетать этого трибуна с мирным при-

вѣтливым спеціалистом по всѣм болѣзням, с утра до вечера объѣзжавшим безчисленных паціентов и больше, казалось, ничѣм не интересовавшимся. Был еще и фельдшер, с жесткой, как щетина, курчавой бородой и загадочным прозвищем «Бнием» — я так и не знаю, было ли это имя, или обозначеніе профессіи — прививавшій оспу, ставившій піявки и банки и «отворявшій» кровь. Но, например, ни врачу, ни тѣм меньше ему не приходило в голову порекомендовать употребленіе зубной щетки, тоже считавшейся прихотью. В общем, однако, мы, наперекор столь опасному презрѣнію к гигіенѣ, болѣли весьма рѣдко и до старости пользовались завидным здоровьем, если не считать моего физическаго недостатка — рано развившейся близорукости. А ее никак нельзя скинуть со счетов — она оказала огромное вліяніе на формированіе душевнаго склада. Недостаток этот обнаружился уже в первом классѣ гимназіи, но ношеніе очков было тогда большой рѣдкостью, и повели к окулисту меня лишь послѣ настойчивых указаній гимназическаго начальства, что близорукость мѣшает учебным успѣхам, я и с первой парты не видѣл, что на доскѣ написано. Постоянныя опасенія, что, того и гляди, попадешь впросак, развивали чувство застѣнчивости, неловкости, неувѣренности, а когда стал носить очки, мальчишки на улицѣ и в гимназіи преслѣдовали насмѣшками. Возможно, что этот недостаток способствовал и появленію вазомоторной неврастеніи, впослѣдствіи отравившей нѣсколько лѣт жизни. Но зато, с другой стороны, близорукость укрывала многое, что могло дѣйствовать отрицательно, люди казались красивѣй и лучше. Поэтому, близорукость была, вѣроятно, источником наивности, если правильно (во всяком случаѣ настойчиво) друзья мои ставили ее мнѣ на вид. По разумѣнію тогдашних врачей, очки давались слабые, далеко не возстанавливавшіе нормальнаго зрѣнія. Только уже здѣсь, в Берлинѣ, года три назад, мнѣ разрѣшено было пользоваться стеклами, почти полностью корригирующими близорукость, и когда я впервые посмотрѣл сквозь них на свѣт Божій, мнѣ показалось, что я вновь родился, и я пожалѣл себя, поняв, как съуживались и обезцвѣчивались мои зрительныя впечатлѣнія. Думаю все таки, что баланс близорукости был в мою пользу.

Однообразіе домашней жизни нарушалось пріѣздами родителей матери из Екатеринослава. Дѣд был в то время очень богат и пріѣзжал обыкновенно для участія в торгах на казенные подряды и поставки. Предлагаемыя соревнователями цѣны и другія условія подавались в запечатанных конвертах и, насколько помню, из опасенія продешевить, дѣду (руководил выработкой условій отец) ни разу поставки получить не удалось. Дѣд и бабка столь же были разны, как и родители, но она была недовѣрчива, неблагожелательна, зятя очень высоко цѣнила, считая его умнѣйшим человѣком. А дѣд, высокій, благообразный старик был импульсивен и щедр, поэтому для внуков его пріѣзд бывал праздником. Но больше разнообразія вносили настоящіе праздники, сопровождавшіеся, за исключеніем Суднаго дня, появленіем на столѣ разных вкусных вещей. В Судный день Одесса замирала, жизнь останавливалась, весь день евреи и замужнія еврейки проводили, постясь, в синагогѣ. Нижній этаж нашего дома состоял из двух квартир, занимаемых

двумя сестрами отца — вдовами. У старшей, мнившей себя аристократкой, была единственная дочь, так и недождавшаяся приличествующаго ей, по мнѣнію матери, жениха. Судный день мы, дѣти, и проводили с этой кузиной и жестоко били себя по ритуалу кулаком в грудь, умоляя Бога, в послѣдній момент перед припечатаніем судьбы на предстоящій год, о прощеніи содѣянных грѣхов и дарованіи милости. Судному дню предшествовал явный пережиток жертвоприношенія: всѣ члены семьи, вертя над головой связаннаго пѣтуха (женщины—курицу), просили Бога обрушить на птицу наказанія за прегрѣшенія молящагося, а затѣм куры раздавались бѣдным, или же раздача замѣнялась деньгами, соотвѣтственно их стоимости, а куры служили для необычайно-жирнаго бульона, подаваемаго вечером послѣ поста. Лѣт с восьми отец стал брать нас с собой в синагогу на наиболѣе торжественные моменты. Там у него, как у старшины, было почетное мѣсто, чѣм мы очень гордились. Эти торжественные моменты Суднаго дня оставляли глубокое, гнетущее впечатлѣніе: надрывно-напѣвное причитаніе мужчин в цилиндрах, падающіе с хор, гдѣ помѣщались женщины, громкіе вопли, иногда разрѣшавшіеся истерикой, сопровождали чудесное пѣніе хора с покрывающим его великолѣпным, бравурным тенором кантора, и в еврейском синагогальном пѣснопѣніи мнѣ всегда слышалась мольба покорная, но и мятежная, возбуждавшая в душѣ тревожный вопрос — за что и почему?

Самым пріятным чарующим праздником была Пасха: ярко вспоминается радостное, весеннее настроеніе, вызывавшееся обширными приготовленіями — раскрываются, послѣ зимняго герметическаго закупориванія, окна, сверкающія отблесками солнца, и в душныя комнаты весело врывается теплый ласковый бриз, напоенный возбуждающим ароматом. В домѣ царит невѣроятная сутолока — идет генеральная уборка квартиры, чтобы, Боже упаси, не завалялось гдѣ-либо крошки хлѣба, который на недѣлю должен быть замѣнен опрѣсноками. Во дворѣ найденные остатки сжигаются и так забавно шипит в водѣ раскаленный чугунный шар, которым прокаливают кухонную посуду, чтобы можно было ею пользоваться и в теченіе пасхальной недѣли. Отец везет нас в магазин готоваго платья, и мы долго осматриваем себя в обновках. Предпраздничная сутолока усложняется настоящим потоком бѣдных евреев, преимущественно женщин, часто с дѣтьми на руках — одни спускаются с лѣстницы, другіе им на смѣну подинмаются и снова заполняют застекленный коридор. Они приходят за ордерами на полученіе опрѣсноков и денежной помощью, чтобы имѣть возможность справить у себя великій праздник. В качествѣ старшины главной синагоги, отец завѣдует благотворительным сбором средств, производящимся два раза в год, при наступленіи зимы для снабженія бѣдноты углем, и перед пасхой, и — спасибо ему — привлекает нас к участію в распредѣленіи и провѣркѣ талонов по счету записей и т. д. Сомнѣваюсь теперь, довѣрял ли он нашему умѣнью и внимательности, вѣроятно, сам вновь все провѣрял, и скорѣе это было первым уроком общественной дѣятельности, к которому мы относились с серьезностью, присущей сознанію отвѣтственности. Наконец, все сдѣлано, всѣ успокаиваются и чѣм ближе к вечеру, тѣм все выше приподымается на-

строеніе, тѣм нетерпѣливѣе ожиданіе сейдера — этой необычной трапезы за чтеніем молитвеннаго разсказа об исходѣ евреев из Египта. Отец в креслѣ откинулся на подушки — он должен «возлежать», а я, как младшій сын, открываю трапезу, прочитывая по «Агадѣ», — забавно иллюстрированной эпизодами из исторіи исхода, — «четыре вопроса», в отвѣт на которые и начинается чтеніе, прерываемое странными, напоминающими заклинанія, обрядностями. Нас больше всего занимает оставленное за столом пустое мѣсто, на котором однако тоже стоит полный прибор и большой бокал вина, рукой отца тоже участвующій в обрядах. Мѣсто это предназначено для пророка Иліи, который в опредѣленный момент невидимо войдет в комнату: для этого настежь раскрываются двери, и я вздрагиваю от шелеста происшедшаго сквозняка — развѣ и вправду пророк посѣтил нас?

Увы, на моих глазах всѣ эти религіозныя традиціи стали быстро вывѣтриваться, исчезли с косяков дверей маленькіе свитки с молитвой, предохранявшей дом от несчастій, и трогательныя волнующія напоминанія о тысячелѣтнем страдном пути превращались в сухую формальность, которую — волей неволей — нужно отбыть, как докучную повинность. Раз начавшись, пріобщеніе к русской культурѣ шло вперед семимильными шагами. Таково было вліяніе «эпохи великих реформ» Александра II, едва ли не самой свѣтлой и, вмѣстѣ с тѣм, самой трагической эпохи русской исторіи. Теперь — и в Россіи и среди эмиграціи — проявляется обостреный интерес историков и беллетристов к Ивану Грозному и Петру Великому. Удѣляемое им вниманіе несомнѣнно подсказывается — сознательно и безсознательно — стремленіем выяснить, что развитіе Россіи вообще совершалось рѣзкими толчками, стоившими невѣроятных жертв. Эпоха шестидесятых годов представляла пробу эволюціоннаго начала, проба оказалась неувѣренной, колеблющейся и не выдержала испытанія. Но в началѣ, тотчас послѣ отмѣны крѣпостнаго права в 1861 году, она произвела на общество такое же впечатлѣніе, как на нас, дѣтей, раскрываніе закупоренных на зиму окон, до самозабвенія увлекла всѣх блеснувшими заманчивыми перспективами. От этого воздѣйствія не могло остаться свободным и русское еврейство, и на себѣ непосредственно ощутившее ослабленіе ограничительных законов. В 1871 г. в Одессѣ разразился погром, но мнѣ было пять лѣт и я ужасов его не испытал и не видѣл. Осталось лишь смутное воспоминаніе, как няня выходит с иконой за ворота, и мы тщетно разспрашиваем, в чем дѣло, но ощущаем разлитую в воздухѣ тревогу. Этот погром был, по утвержденію Еврейской Энциклопедіи, явленіем случайным, в отличіе от позднѣйших организованных сверху, и не поколебал еще настроенія, а одесская община считалась в еврействѣ очагом свободомыслія и ереси. В тяготѣніи к русской культурѣ был безспорно и практическій соблазн: ряд крупных реформ — судебная, земская, городская — предъявляли небывалый спрос на людей с высшим образованіем и ставили их в привиллегированное положеніе. Но сопоставляя обрывки воспоминаній, я все же думаю, что гораздо важнѣе и значительнѣе было моральное вліяніе этой замѣчательной эпохи. Меньше всего

тогдашніе отцы, и тѣм болѣе матери, способны были усвоить мудрую педагогическую мысль Льва Толстого, что, в интересах разумнаго формированія дѣтской души, родители должны себя воспитывать и за собой слѣдить, — не было иначе и в нашей семьѣ. Но ради успѣшнаго пріобщенія дѣтей к русской культурѣ сдѣлано было едва ли не единственное исключеніе, стоившее больших усилій: между собой говоря на жаргонѣ (мать была еле грамотна), с дѣтьми и при дѣтях родители объяснялись по русски, при еврейской прислугѣ — няня у нас была православная, благодаря чему с дѣтства русскій язык стал родным и диктовки в классѣ я писал лучше всѣх.

Обособленность еврейства была основательно подточена и внутри его произошли большіе сдвиги: прежнее стойкое разслоеніе, по признаку религіозному — аристократами считались потомки раввинских семей — уступило мѣсто образовательному цензу: университетскій диплом устранял существеннѣйшій, особенно при заключеніи брака — вопрос, «откуда»? и открывал всѣ двери. Однако, всякое лицо имѣет и изнанку: подтачиваніе обособленности естественно сопровождается разложеніем сложившагося уклада жизни и упомянутым уже вывѣтриваніем традицій. Кстати сказать — новых традицій мое поколѣніе, и не только еврейское, так и не успѣло, к сожалѣнію, нажить вслѣдствіе быстрой капризной смѣны политической и общественной обстановки. Ассимиляція всегда и неизбѣжно начинается с усвоенія того, что наиболѣе крикливо, что рѣзче бросается в глаза, с прельщенія пѣной, поднимающейся и заманчиво волнующейся на поверхности. Такая тенденція сказалась, конечно, и в обширной гессенской семьѣ. Ея гордостью долго считался один из двоюродных братьев, самый старшій (лѣт на 10 старше меня) — признанно смазливый, настоящій сноб и прожигатель жизни, непререкаемый законодатель мод и хорошаго тона. Перед ним преклонялись всѣ дяди и тетки, но нам — кузенам — он ни мало не импонировал. Младшій дядя, изобрѣтатель «гессенки», открывшій молдаванским магнатам новые пути обогащенія (на мѣстѣ им приходилось продавать хлѣб за безцѣнок), съумѣл установить с ними не только дѣловыя, но и личныя отношенія и дом свой устроил совсѣм на свѣтскій лад. Однажды он пригласил к обѣду пріѣхавшаго из м. Никополя своего двоюроднаго брата, о котором рѣчь будет еще впереди. Неожиданно в тот же день пріѣхал из Кишинева богатѣйшій помѣщик, предводитель дворянства Катаржи, котораго тоже нужно было позвать к обѣду. Когда двоюродный брат, по провинціальному обычаю — спозаранку, явился на приглашеніе, дядя стал его заботливо осматривать, щеткой смахивать пылинки с платья, и пріидя в отчаянье от добротнаго, но старомоднаго сюртука, сказал: «знаешь ли, Исаак, сегодня должен пріѣхать к обѣду Катаржи, и я боюсь, что тебя он будет стѣснять. Вот тебѣ три рубля, ты с большим удовольствіем пообѣдаешь в Лондонской гостиницѣ». Связи с бессарабской знатью дали ему возможность добиться для сына небывалаго исключенія: он поступил вольноопредѣляющимся в кавалерію и, по окончаніи службы, вышел в офицеры. А дочь, первая любовь моя, рѣдкая классическая красавица, была во втором бракѣ замужем за сановником и от семьи своей отреклась. О ней упоминает государыня в одном из опуб-

ликованных писем к государю, ходатайствуя об оказаніи ей покровительства.

Однако, такія уродства, исчерпывающе отмѣченныя, чтобы предотвратить упрек в нарочитом замалчиваніи, остались единичными. В общем же крушеніе традицій и пріобщеніе к русской культурѣ отразилось среди моего поколѣнія цѣлым рядом обращеній в православіе из-за браков с христіанами и других житейских побужденій. Но этому обращенію уже ничего не оставалось прибавить к исповѣдуемому примату интересов родины, горячей любви к ней и неразрывной спаянности с русской культурой, — равно как, с другой стороны, не могло оно ослабить боли и горечи от ударов, сыпавшихся на еврейство. А с переходом в христіанство сочеталось среди нас другое массовое явленіе — тяга вон из Одессы, в центр умственной и политической жизни Россіи. К концу прошлаго вѣка в Петербург переселилась добрая дюжина кузенов и кузин, представлявших всѣ интеллигентныя профессіи — академическую, публицистическую, медицинскую, инженерную, а также и крупную промышленность, и никто из этих піонеров не затерялся в холодной и строгой столицѣ, а иным довелось даже сыграть нѣкоторую роль в общественной жизни родины.

Разставаясь здѣсь с дѣтскими воспоминаніями, я с пронзительной ясностью вижу пред собою единственную семейную фотографію — сниматься тоже относилось к числу «нѣжностей». В центрѣ группы, в овальной золоченой рамкѣ, как живая, сидит задыхающаяся от смѣха мать, держа на руках недавно родившуюся сестренку нашу, испортившую ея нарядное платье, как раз в торжественный момент, когда фотограф, подняв палец, произнес магическое: спокойно! и мать не смѣет шелохнуться. Она сидит между бабушкой, в отживающем уже парикѣ, и своей кузиной, женой брата ея, тоже улыбающимися неожиданному происшествію. А по краям стоят два мальчика в бархатных курточках, коротких штанишках, бѣлых длинных чулках, заложив, очевидно — по приказу фотографа, ногу на ногу. Я смотрю на того, что стоит слѣва, довѣрчиво прижавшись к бабушкѣ, и скажу откровенно: он нравится мнѣ, этот круглолицый человѣчек, строго исполняющій требованіе сохранять серьезный вид и устремившій сосредоточенный взгляд вопрошающих глаз в указанную ему точку. Но я не ощущаю никакой связи с ним, не могу прослѣдить преемства и даже не мысленно, а так таки вслух спрашиваю: ты то мнѣ нравишься, но доволен ли ты мною? Он все сосредоточенно смотрит в одну точку, а мнѣ так хотѣлось бы внушить, что иначе быть не могло, и еслибы, с продѣланным уже опытом жизни, начать сначала, в той обстановкѣ, в тѣх условіях, которые только таковыми и могли быть, — получилось бы приблизительно то же самое. И вдруг начинает шалить воображеніе: а может быть, потому он и смотрит так сосредоточенно в одну точку, что она была предуказана на всю жизнь.

ГИМНАЗІЯ.

(1874—1882)

В 1874 году, когда мнѣ исполнилось только что 9 лѣт, я, в видѣ особаго исключенія (требовался десятилѣтній возраст) допущен был к экзамену в первый класс одесской II гимназіи, одновременно с братом, старшим меня на два года. Экзамен выдержан был удачно, ибо любознательности было много, а рѣшеніе арифметических задач доставляло даже какое-то эстетическое наслажденіе. С радостью и гордостью затянулся я в гимназическій однобортный мундир с блестящими пуговицами, с высоким воротником, украшенным серебряным позументом, кепи с лакированным козырьком и оловянным гербом, состоявшим из двух скрещенных дубовых листьев, между которыми помѣщались буквы «О II Г.» Но уже с первых дней знакомства с новой обстановкой и гордость и радость быстро стали идти на убыль. Не помню, было ли у меня вообще какое-нибудь представленіе о том, что меня в гимназіи ожидает. Вѣроятно, над этим я и не задумывался. Но во всяком случаѣ то, что пришлось увидѣть и испытать на своих боках в теченіе девяти лѣт, никак не могло соотвѣтствовать дѣтским ожиданіям и довѣрчивым надеждам.

Школа как будто ставила своей единственной цѣлью отнять у воспитанников всякую радость, уничтожить всякіе порывы, с корнем вырвать всѣ ростки самобытности, индивидуальной личности, погасить всякій интерес к наукѣ. Твердо и буквально наставники держались принципа, что корень ученія должен быть горек, и с безоглядной послѣдовательностью проводили его на практикѣ. А ученики, конечно, никак не соглашались с этим мириться и отношенія между ними и наставниками нельзя иначе представить, как два замкнутых враждующих лагеря, которые с одинаковой ревностью изощрялись: одни — на чем-нибудь поймать, уличить, сдѣлать непріятность, а дѣти — обмануть, улизнуть, напакостить. Побѣды случались на обѣих сторонах, но не счесть, сколько мальчиков и юношей было загублено, выброшено за борт просвѣщенія. Примѣрно из сорока с чѣм то учеников перваго класса, в который я поступил, только двое (третій — я перешел потом и окончил другую гимназію) дотянули до «аттестата зрѣлости».

Уже в первом классѣ чуть не половина были «второгодники», невыдержавшіе экзамена и застрявшіе на второй год. Среди них были парни 17—18 лѣт, искушенные, не говоря уж о куреніи, в разных соблазнах жизни и усиленно просвѣщавшіе малышей. Эти великовозрастные (если не ошибаюсь, в год моего поступленія установлен был предѣльный возраст, и в слѣдующих классах я уже их не помню) считали себя аристократіей класса и даже нѣкоторые учителя их побаивались. Внутренней вражды в ученическом лагерѣ не было, связующим цементом была ненависть к общему врагу и в помощи против врага никогда отказа не было. А о доносительствѣ, конечно, и рѣчи не могло быть. Принцип «товарищества» над всѣм неограниченно доминировал и пріобрѣтал уродливыя формы, заставляя, по крайности — пассивно — принимать участіе и в таких дѣяніях, которыя претили разуму и чувству. Но близости, пріятельства у меня ни с кѣм не было в этой гимназіи, не помню, чтобы внѣ ея с кѣм-нибудь из товарищей я встрѣчался.

В школѣ мы проводили от 8 с половиной утра до 2 часов: на первом планѣ стоял латинскій язык, которому отведено было 8 часов в недѣлю, русскому — 6 часов, четыре посвящалось арифметикѣ, 2 чистописанію, 2 — географіи и 2 закону Божію — евреи были в эти часы свободны. Послѣ первых трех уроков была большая перемѣна в полчаса, раз в недѣлю занятая гимнастикой (вѣрнѣе шагистикой), а в прочіе дни предоставлявшая свободу дѣйствій. Перемѣнами пользовались, чтобы сбѣгать за ворота в съѣстную лавочку «Менделя», жирнаго еврея с синечерной курчавой бородой, охотно отпускавшаго и в долг свои бутерброды с окаменѣвшей паюсной икрой, обильно политой для смягченія уксусом. Но важнѣе было — послѣ бутербродов глубоко до головокруженія затянуться папиросой. Здѣсь можно было предаваться этому удовольствію безмятежно — в противоположность весьма примитивной уборной («нужник»), куда то и дѣло заглядывал огромный иалнтой «помощник класснаго наставника» Карл Иванович Фохт, и раздосадованный, что, благодаря хорошей организаціи предупрежденія, ему не удавалось курильщиков накрыть с поличным, заставлял учеников дышать себѣ в лицо и больно ущемлял волосы, чтобы преодолѣть сопротивленіе.

Главный предмет — латинскую грамоту — преподавал в первых трех классах сам директор Аким Константинович Циммерман, приземистый человѣк лѣт 60 с большим отвислым животом и отвислой губой. Не смѣл бы я утверждать, что он владѣл членораздѣльной рѣчью: мы слышали только отрывистыя восклицанія, прерываемыя громким выдыханіем: незавидно, вон, в карцер и т. п. Учеников он не называл по фамиліи, каждый имѣл свое прозвище: тигр, собака, дубина, остолоп, книжица, великан, іок-шмок и т. д. К неуспѣвающим он вообще обращался только коллективно: «гуща, вали!» Перед его уроком в класс входил другой помощник класснаго наставника Сила (больше мнѣ не приходилось слышать такое имя) Иванович Добровольскій, тонкій, злобный, с рѣдкой русой бородкой и чахоточными пятнами на лицѣ, олицетворенный Молчалин, и производил перекличку. С небольшим опозданіем являлся директор, всегда в пальто, накинутом на пле-

чи. Сила Иванович подобострастно снимал с начальственных плеч пальто, а затѣм еле слышным ровным голосом докладывал, всѣ ли ученики на мѣстѣ и не было ли каких либо происшествій. Если все было благополучно, директор шумно отдувался и садился на кафедру, а Сила Иванович, пятясь, удалялся. Пытливым оком Циммерман обозрѣвал класс, стараясь по выраженію лиц узнать, кто не приготовил урока, который обычно состоял в том, чтобы наизусть затвердить расположенные бѣлыми стихами существительныя, глаголы, представляющіе то или другое отклоненіе от общаго правила, предлоги, управляющіе тѣм или другим падежом и т. д. Безсмысленная зубрежка словно нарочно была придумана, чтобы затруднить усвоеніе латинской грамоты и поселить непобѣдимое отвращеніе к ней.

Если наблюдательность директора обманулась и вызванный отвѣчал удовлетворительно, он отпускался на мѣсто с миром: «Незавидно! Садись!» Но если жертва выбрана была удачно, восклицанія становились все крикливѣе: «Не знаешь, осел, лѣнтяй, звать, звать и оставить, в карцер, вон!» Роковое слово «звать!» обозначало приказ вызвать отца жертвы для назиданія и это, конечно, было для ученика максимально непріятным. Когда раздавалось восклицаніе: «звать!», один из учеников, на то уполномоченный, отмѣчал фамилію жертвы в своей записной книжкѣ (отсюда и прозвище «книжница»), чтобы послѣ урока передать приказ Силѣ Ивановичу. Если же негодованіе переливалось через край и выражалось формулой: «сильно звать!», то нужно было немедленно призвать в класс Силу Ивановича, которому директор передавал приказаніе непосредственно. Иногда, при болѣе благодушном настроеніи, директор спрашивал плохо затвердившаго урок, есть ли у него репетитор, и если таковым оказывался ученик старших классов, репетитора тут же «звали» в класс. Он появлялся, и старик весьма вѣжливо, обращаясь на «вы», указывал ему на плохую подготовку и необходимость подтянуть «лѣнтяя». Репетитор почтительно обѣщал приложить свои старанія. Однажды случилось, что явившійся репетитор сам не по формѣ был одѣт, и, окончив вѣжливый разговор, директор сразу рѣзко перемѣнил тон: «ну, ты, репетитор, а теперь ты-ко нам скажи, почему ты без галстука? Звать и оставить, в карцер!» Тут как тут Сила Иванович и злополучный репетитор удаляется в темницу. А то и такой анекдот разыгрался: среди учеников был и сын директора от третьяго брака, ему тоже случилось подпасть под гнѣв и услышать: звать, сильно звать! Явившійся Сила Иванович остолбенѣл от изумленія, а директор вскочил с мѣста и, топая ногами и задыхаясь, кричал: «сильно звать! в карцер!», и испуганный Молчалин, робко пятясь, увел несчастнаго мальчика из класса. Бывало, что вызванные отцы и матери десятками собирались в пріемной, а вышедшій к ним директор терялся и не знал, что сказать, ибо уже успѣл позабыть, в чем тот или другой провинился, да и вообще фамиліи учеников безнадежно путались в головѣ его с данными прозвищами. В число вызванных случилось попасть и отцу моему. Пыхтя и тщетно силясь вспомнить, что нужно сказать, директор вдруг буркнул: «сын ваш, да, да, возьмите его, женить пора». На замѣчаніе отца, что сын самый младшій в классѣ, директор, ни ма-

ло не смущаясь, отвѣтил: «Да, да, малец славный, подтянуть нужно». Настоящій припадок бѣшенства пришлось нам лицезрѣть, когда нагнувшись, чтобы поднять упавшій на пол платок, директор вдруг увидѣл под партой какого-то ученика. Это был самый отчаянный забіяка (да и фамилія у него была такая — Войников), который уроков не готовил и, чтобы избѣжать гибельнаго зова родителей, изобрѣл способ прятаться под парту в тот момент, когда Сила Иванович рапортовал директору и этим вниманіе обоих было отвлечено. Много раз забіяка благополучно свой трюк продѣлывал, но наконец судьба его настигла. С минуту директор не мог произнести ни слова и сидѣл с раскрытым ртом, губа совсѣм отвисла, он тяжело дышал. Потом, хлопнув в ладоши, крикнул: «Собака, вылѣзай». Войников — дѣйствительно, как побитая собака — поднялся, чтобы услышать: сильно звать, в карцер, и быть немедленно уведенным. Но директор не мог успокоиться, громко пыхтѣл, ерзал на стулѣ и наконец обратился к классу: «А посмотрите, нѣт ли там еще какой собаки». Этого приглашенія ученики словно только и ждали. Всѣ сорвались с мѣст, бросились на пол, сталкиваясь лбами и крича, переднія парты были опрокинуты. Директор уже и отдѣльных слов не мог выговорить, а ревѣл во весь голос и с налитым кровью лицом потрясал кулаками. Силу Ивановича не пришлось звать. Шум очевидно далеко был слышен, и оба «помощника» прибѣжали растерянные, блѣдные и безпомощно стояли, не понимая, в чем дѣло. Увидѣв их, директор пришел в себя и тут послышалось: «Сильно звать, в карцер, вон», причем каждаго уводимаго он еще шлепал по носу. Этот эпизод на долгіе годы стал гимназической легендой и передавался из уст в уста.

Четыре раза в году давалось генеральное представленіе, которое самим директором так и расчленялось на «драму, комедію, водевиль, дивертисмент». Это происходило перед окончаніем триместра, когда ученикам выставлялись средніе баллы за истекшіе три мѣсяца. Недѣли за двѣ, за три до этого директор провозглашал, что начинается «испытаніе», и приглашал «добровольцев». Выходили, по два, лучшіе ученики, наиболѣе в себѣ увѣренные и начиналась детальнѣйшая провѣрка знаній всего пройденнаго. Таких находилось не больше пяти, шести: не дай Бог добровольцу на чем нибудь сорваться, ему грозило новое унизительное прозвище и утрата репутаціи навсегда. Когда с добровольцами было покончено, директор сам вызывал, опять начиная с лучших, и чѣм дальше, тѣм все рѣже слышалась высшая похвала: незавидно!, и тѣм чаще и все крикливѣе раздавалось: звать, сильно звать! В послѣдній день «испытанія», когда всѣ относившіеся к разряду удовлетворительных учеников были уже спрошены, директор побѣдоносно озирал класс и зычным протяжным голосом восклицал: «гуща, вали!» Выходило человѣк десять, пятнадцать и тѣсным кольцом окружали кафедру. Обращаясь к ближайшему, директор задавал вопрос, но, не ожидая отвѣта, кричал: «Не знаешь, пшел!» А затѣм к слѣдующему: «Ну, ты! Не знаешь, пшел!» и т. д. В нѣсколько минут испытаніе гущи было закончено криком: «Всѣх звать, сильно звать!» Раз попавши в гущу, выбиться из этой касты было уже почти невозможно, члены ея были как бы обреченные. За

все время ни один ученик не получил у директора отмѣтки «5». Этот высшій балл он очевидно присваивал мысленно себѣ самому и дѣйствительно знал на зубок программу первых трех классов, как нищій знает свой единственный грош.

Один только раз директор смѣнил образ Юпитера-громовержца на роль Силы Иваныча. В Одессу пріѣхал знаменитый в исторіи русскаго просвѣщенія Д. И. Толстой (тогда еще не граф, впослѣдствіи еще болѣе знаменитый министр. вн. дѣл, ликвидировавшій реформы Александра II) и посѣтил, между прочим и нашу гимназію, в частности урок директора, который трепетал гораздо сильнѣе, чѣм ученики, развлекаемые блестящей сопровождавшей министра свитой. Отвислая губа замѣтно дрожала. Выслушав стихотворныя переложенія неправильных глаголов, произнесенныя самым маленьким учеником с большим бріо, министр задал коварный вопрос: «А как ты переведешь, друг мой, — ave, ave cum ave?» Без малѣйшей заминки малыш отвѣтил: «Здравствуй, дѣд с птицей!» (Смутно вспоминается, что слабость министра к этому омониму была извѣстна, и для малыша вопрос не был сюрпризом). Министр потрепал мальчика по щекѣ: «Очень хорошо, молодец! А красивѣй сказать — дѣд с птичкой!» Затѣм, обратясь к директору, поблагодарил его пожатіем руки, которую тот, низко присѣдая, благоговѣйно принял, и на лицѣ отразилось блаженство, совершенно преобразившее столь знакомое ненавистное лицо нашего мучителя. А на другой день, как ни в чем не бывало, снова громко раздавалось: «Звать, сильно звать, в карцер!»

Другим монстром, но в ином родѣ был сын директора от перваго брака — Михаил Акимович, преподававшій русскій язык. Тоже порядком уже разжирѣвшій, со всклокоченными волосами и бородой, он на грамматику не обращал никакого вниманія, а увлекался «выразительным чтеніем» басен Крылова и, стараясь читать в лицах, проявлял патологическую импульсивность — неожиданно вскакивал со стула таким рѣзким движеніем, что стул сваливался с кафедры, ученики шумно сбѣгались, чтобы водворить его на мѣсто, и тут между ними возникала драка. Вообще на этих уроках роли мѣнялись: ученики превращались в мучителей, а наставник становился мучеником, каждый день изобрѣтался новый способ издѣвательства над несчастным: однажды ухитрились привязать колокольчик к фалдам его вицмундира. Когда, увлекшись чтеніем Крылова, М. А. вскочил и колокольчик задребезжал, он принял этот звон за окончаніе урока, и направился из класса в учительскую, продолжая звонить. Разыгрался большой скандал, всѣ преподаватели пріостановили уроки, чтобы узнать, в чем дѣло, во всѣх классах поднялся невѣроятный шум, а сам М. А. только тогда уразумѣл, что является пассивным виновником скандала, когда в учительской Сила Иванович, отведя в уголок, освободил фалды от подвѣшеннаго колокольчика. Весь класс, отказавшійся конечно назвать активных участников продѣлки, оставлен был на нѣсколько часов послѣ уроков, но вскорѣ М. А. пришлось уйти, и я не сомнѣваюсь, что он закончил свою карьеру в домѣ для душевнобольных.

Мнѣ кажется, впрочем, что не только этот, но и большинство тогдашних преподавателей, в той или другой степени, страдали душевной неуравновѣшенностью. Начиная с пятаго класса преподаваніе латинскаго языка принадлежало невысокому, худощавому человѣку в очках, с широкой бородой и шикарными усами, вытянутыми в стрѣлку и явно составлявшими гордость обладателя: на уроках он то и дѣло легким прикосновеніем пальцев провѣрял, не сломалась ли стрѣлка. Как и директор, он приходил в класс в пальто, накинутом на плечи, или, вѣрнѣе, на одно плечо, на манер римской тоги. Имя у него тоже было необычное — Ермил, говорил он медленно, тягуче, сильно напирая на букву «р», и нес такую галиматью, что невозможно было удержаться от улыбки, а улыбка грозила в лучшем случаѣ переселеніем на заднюю парту, а то и карцером. В пятом классѣ занимались переводом Кая Саллюстія Криспа. Два часа под диктовку мы должны были записывать біографію, а когда наконец на третьем урокѣ приступили к переводу, то сразу же случился скандал. Вызванный ученик подошел к кафедрѣ, но, прежде чѣм успѣл раскрыть рот, услышал: «Ну, пожалуйте вон» и в полнѣйшем недоумѣніи вышел. Такая же участь постигла и второго. Наконец третьему Ермил, сверкая глазами, грозно заявил: «Развѣ вы не знаете, что полагается стоять на дистанціи двух аршин от кафедры?» Класс прыснул со смѣха, двум с первой парты пришлось переселиться в глубь. Установившись на требуемой дистанціи, ученик правильно перевел первую фразу: «Напрасно род человѣческій жалуется на слабость свою» и хотѣл продолжать читать слѣдующую фразу, но был рѣзко прерван вопросом: «Но позвольте! Что же означает первая фраза?» Спрошенный недоумѣнно пожал плечами и безпомощно оглянулся на товарищей. Бросив затѣм общій вопрос, не возьмется ли кто объяснить и, не отпуская на мѣсто стоявшаго перед ним на дистанціи, Ермил торжествующе обвел всѣх глазами и до конца урока произносил проповѣдь на тему о безсмертіи Бога, не успѣл кончить и посвятил ей и весь слѣдующій урок, причем вызванный опять должен был выстоять час на дистанціи. Ход мыслей его был повидимому таков: не вправѣ человѣк жаловаться на свою слабость, она дана, чтобы всегда помнить и славить всемогущество Бога. «Если, напримѣр, — пояснял он, — сапожник сошьет сапог, а потом распорет и один кусок забросит в Америку, другой в Африку, а то еще и в Азію и в Австралію, а потом всѣ куски соберет, ему ничего не будет стоить вновь сшить эти части и сдѣлать прежній сапог. Так извольте ж! Бог может растэрзать человѣка в порошок, развѣять и в Африку и в Австралію, а потом из порошка опять создать человѣка». От директора Ермил отличался тѣм, что тот был все же простак и на ум ему вѣроятно не приходило, что он мучает и калѣчит дѣтей, а этот глубоко был убѣжден, что мальчики даны ему для того, чтобы производить эксперимент in anima vili.

Подражателем директора был учитель географіи Иван Иванович Тищенко, который требовал, чтобы, не глядя на карту, ученик перечислял по порядку города, лежащіе по Рейну, по Волгѣ и т. д. Другой должен был повторить тоже самое вверх по теченію, третій — пропуская один город

и т. п. Беззастѣнчивым невѣжеством славился преподаватель исторіи, который позже, в год «весны» Лорис-Меликова и отставки Толстого, когда положеніе повременной печати было облегчено, попал в каррикатуру: между отвѣчающими урок учениками разногласіе относительно года основанія Рима, причем каждый ссылается на другой научный авторитет. Учитель разводит руками и спрашивает: как же нам разрѣшить спор? Каррикатура была весьма недалека от дѣйствительности.

Самое тяжелое впечатлѣніе оставляли уроки русскаго языка, которыми в пятом классѣ завѣдывал Геннадій Калинкинскій, повидимому, глубоко несчастный человѣк, искавшій утѣшеніе в винѣ. Бывали часы, когда он, объясняя урок, говорил какими то загадочными отрывистыми предложеніями, на наш взгляд не имѣвшими никакого отношенія к дѣлу, и, прервав объясненія на полусловѣ, лишь только раздавался звонок, стремительно выбѣгал из класса, точно звон возвѣщал какую то опасность. Я был его любимцем и баловнем, мнѣ все прощалось, «сочиненія» мои читались вслух. Однажды он сказал фразу, значенія которой я тогда не оцѣнил, но впослѣдствіи она стала моим писательским лозунгом. Прочтя вслух мое сочиненіе, он обратился к классу: «Вот как нужно писать. Прямо в *центр*, сжато, без предисловій!» (Вспоминаю кстати, что во время одного из безсвязных объясненій он вдруг сказал: «В засѣданіе Академіи Наук однажды ворвался человѣк, начертил мѣлом на доскѣ круг, ударил мѣлом, чтобы обозначить *центр*, с такой силой, что кусок разлетѣлся вдребезги и, ни слова не сказав, удалился»).

Случалось, однако, что за сочиненіе я получал и единицу и, задыхаясь от беззвучнаго хихиканья, Калинкинскій прочитывал его вслух, как образец нелѣпости и озорства. Но это относится уже ко второй половинѣ пребыванія в гимназіи и, прежде чѣм к ней перейти, я могу отдохнуть душой: ибо досталось мнѣ совершенно неожиданное в еврейском быту противоядіе против растлѣвавшей ум и душу гимназической обстановки. Если не ошибаюсь, как раз в год поступленія в гимназію дѣд мой по матери пріобрѣл большое помѣстье Мало-Софіевку в 5.000 десятин земли, а еще через год, другой — сосѣднее имѣніе Корбино, тоже в 5.000 десятин. Это огромное богатство явилось источником разоренія семьи дѣда и отца, но по отношенію ко мнѣ оно оказалось истинным Божьим благословеніем. Было оно расположено в Верхне-Днѣпровском уѣздѣ Екатеринославской губ. В первом был вмѣстительный дом, без всяких затѣй построенный, а во втором оставались только руины, повидимому — аляповатаго дворца с двусвѣтным залом и стѣнной живописью, большим парком с разбитыми статуями, провалившимися мостиками, заплесневѣвшими бесѣдками. Оба имѣнія принадлежали дворянским родам, разорившимся послѣ отмѣны крѣпостного права, о котором в Корбинѣ можно было еще наслушаться ужасов. Управлял латифундіей дядя, не имѣвшій ни малѣйшаго представленія о сельском хозяйствѣ, и к тому же, несмотря на столь грандіозные размѣры — засѣвались тысячи десятин, овец насчитывалось до 15.000 — не ведшій рѣшительно никакой

бухгалтеріи. А так как доходы от продажи зерна, шерсти и т. д. поступали, в зависимости от мѣста платежа, в разныя руки (дѣда в Екатеринославѣ, отца в Одессѣ и дяди — при расчетѣ на мѣстѣ), то никто не имѣл понятія, дает ли имѣніе доход вообще и какой именно. А между тѣм весь интерес только тѣм и исчерпывался, чтобы получить максимальный доход, и притом сейчас, а не завтра, не через год. Думаю, что если бы предложено было сдѣлать какую-нибудь затрату, обѣщающую в будущем значительное увеличеніе доходности, то как бы велика ни была вѣроятность расчета, предложеніе было бы отвергнуто, как «журавль в небѣ»: мало ли что может завтра случиться, а сегодня нужно извлечь как можно больше, до минимума довести расходы, как бы производительны они ни были. Поэтому ничего не было застраховано, не было ветеринара при огромных «отарах» овец, большом количествѣ лошадей и рогатаго скота, отличный фруктовый сад не имѣл садовника, проточный пруд, подковой окружавшій сад, превратился в стоячее болото, и одним лѣтом я схватил жестокую лихорадку, от которой долго не мог избавиться. За всѣ годы я ни разу не видѣл и не слышал о врачѣ, да и фельдшера не было. Лѣчил крестьян дядя — от «лихоманки» лошадиными порціями хинина, с которым конкурировала касторка. Хранился в бутылочкѣ настой тарантула в подсолнечном маслѣ, вѣрили, что настой является спасительной вакциной против укусов, (случая примѣненія не было), а против порѣзов, для остановки кровотеченія, лучшим средством считалось обволакиваніе паутиной. И — ничего, зараженія крови не случалось. Вообще культурный уровень хозяйства, как в сообщающихся сосудах, был абсолютно тот же, что у крестьян прилегающей к «экономіи» малороссійской деревни, и стоял под знаком: «авось да небось!»

Мало-Софіевка находилась в 75 верстах от Екатеринослава и от Никополя. Помню это совершенно точно и отчетливо и все же вынимаю из книжнаго шкапа географическій атлас, якобы для того, чтобы провѣрить память свою (почему, дескать, так выходило, что от обоих пунктов имѣніе находилось на одинаковом разстояніи), а по правдѣ сказать, только для того, чтобы дать схлынуть плѣнительно волнующемуся приливу воспоминаній о поѣздках в деревню. Как мучительны были послѣдніе дни перед роспуском на лѣтнія вакаціи! Одесса и сама была в это время года очаровательна. Комнаты напоены сладким одуряющим ароматом бѣлой акаціи, простиравшей свои вѣтки в раскрытыя окна; купанье на Ланжеронѣ: неподвижно распластавшись на спинѣ, под жгучим солнцем, и совершенно забыв, что существует еще что-нибудь кромѣ развернувшагося над тобой синяго, синяго неба, с недоумѣніем вслушиваешься в настойчивый зов отца, что пора выходить из воды, вяло переворачиваешься и медленно плывешь к лѣсенкѣ. А катанье на греческих парусных лодках с рѣзкими поворотами, когда один борт скользит вровень с поверхностью, вот, вот зачерпнет воду. Но всѣ соблазны блекли перед напряженным ожиданіем утра, когда нас отвезут в гавань, чтобы сѣсть на пароход «Тотлебен». И мы по своему тревожились мыслью: мало ли что может еще случиться, слишком заманчива была мысль о поѣздкѣ, слишком велико ожидавшее нас счастье, чтобы не

опасаться какой-нибудь неожиданной помѣхи. Убійственно медленно тянулись дни, возбуждавшіе тревожные ночные сны, и как же мчались мы домой, придерживая карман с полученным из гимназіи «отпуском», который впервые именовал ученником слѣдующаго класса. Теперь остается собрать вещи в дорогу, но это нас мало интересует. А вот что важно: купить на сдѣланныя сбереженія разных фейерверков. 20 іюня в деревнѣ большое торжество — день рожденія младшего кузена. До него у дяди было пятеро дѣтей, но всѣ умирали вскорѣ послѣ рожденія, одного заспала кормилица во время поѣздки из Екатеринослава в помѣстье. Поэтому шестого, Сашу, берегут, как зѣницу ока, и день рожденія, который в нашей семьѣ ничѣм не отмѣчался (мы не знали, напримѣр, дня рожденія отца и матери) — большое торжество.

Наканунѣ отъѣзда нам приказывают рано лечь в постель, потому что вставать нужно в 6 утра, но мы с братом уславливаемся не спать и, преодолѣвая усталость от волненій и бѣготни, долго шопотом обсуждаем, какой эффект произведет наш фейерверк, пока не засыпаем мертвым сном, и утром сразу не можем понять, зачѣм нас расталкивают. Отец везет нас на пристань и вот он — красавец «Тотлебен», так важно пыхтящій небольшими клубами дыма и как будто принарядившійся, как будто нас только и поджидающій. Погода чудесная, но за волнорѣзом порядочная зыбь, брата сразу укачивает, а я тѣм больше горжусь, что морская болѣзнь меня не берет, стою на носу, воображаю себя настоящим морским волком и радуюсь соленым брызгам, обдающим меня. Часов в пять дня мы в Херсонѣ, ах, каком ненавистном Херсонѣ: здѣсь приходится, пересѣв на рѣчной пароход, ждать до полуночи, слушая однообразные выкрики грузчиков: вирамайна! Но под эти мѣрныя восклицанія и лязг цѣпей, на которых опускают в трюм грузы, отлично спится в каютѣ и, когда утром просыпаемся, то уж давно ползем медленно вверх по Днѣпру.

Послѣ долгих остановок на многочисленных пристанях мы, опять около 5 часов дня, покидаем пароход в Никополѣ. В тѣ времена это было благословенное мѣстечко, с пыльными или непролазно грязными улицами, состоявшими в полном распоряженіи свиней с поросятами и всякой домашней птицы. Дома больше похожи на деревенскія избы, за исключеніем двух двухэтажных каменных домов, из коих один принадлежал мѣстному представителю рода Гессенов, кузену отца. Это был крупный, жирный добродушный человѣк — два сына его впослѣдствіи стали видными промышленниками в Петербургѣ и назывались в семьѣ «богатые Гессены». Жена его была еще жизнерадостнѣе моей матери (онѣ были двоюродными сестрами) и радушнѣйшая хлѣбосолка. Нас встрѣчали чрезвычайно привѣтливо, засыпали вопросами, как поживают родители, как мы выдержали экзамен, а нам прежде всего хотѣлось узнать, присланы ли лошади за нами (ну, конечно, присланы, иначе нас сразу предупредили бы) и перекинуться хоть нѣсколькими словами с кучером. Но не тут то было. Надо было садиться за стол, буквально заставленный всякой снѣдью: рыбный холодец, индѣйка, гусиныя шкварки, «кныши», которые тетка пекла с исключительным ма-

стерством, варекики с вкшиями, густѣкшая сметана, ие говоря об яйцах, зеленых огурцах, лукѣ, редискѣ и рѣдькѣ и к этому отличный хлѣбный квас. Всего иужно было отвѣдать. Отказ парировался подробиой мотивировкой, почему даниому блюду слѣдует оказать вииманіе, в особеиности тѣм, которыя приготовлены самой хозяйкой. Лишь послѣ ужииа удавалось выскочить во двор, насладиться видом зиакомых лошадей и коляски, жадио разспросить кучера о наиболѣе интересующих нас предметах, и тут мы уже ощущали непосредствениую близость ожидающаго иас рая.

Раиним утром, по холодку, переночевав в жарких постелях и снабжениые провизіей примѣрио иа иедѣлю, мы покидали гостепріимный дом и отдавались переполияющему душу восторгу поѣздки иа долгих, так геніально изображенной в «Дѣтствѣ и Отрочествѣ». И сейчас я раскрыл эти иеувядаемыя страиицы, чтобы пережить иастроеніе, владѣвшее иами, когда душа как бы сливалась и растворялась в окружающей природѣ. Мы ѣхали ровной степью с рѣдкими курганами, иеглубокими балками и ставками с греблями, мѣрко бѣжали лошади среди волнующихся, ароматных, ласково шепчущих иив, и эта ширь, эта безкрайиость так привычиа и дорога была иам, родившимся у моря и сжившимся с иим. Но там — безконечный горизонт как бы вызывал на бой, иа соревнованіе с вѣтром и бурей. Здѣсь же он иѣжио звал и манил таинствеииыми обѣщаніями. Лучше всего была иочь, которая сразу падала на землю, и диевиая тишииа, столь плѣиительиая послѣ городской иеуемиой сутолоки, переходила в торжествеиный благостный покой, и даже отдалеииый лай собак, при приближеніи к деревиѣ, ие иарушал этой благостности, а лишь пробуждал от сладкаго забытья и говорил: слушай, виимательно слушай! И я слушал эту миогоговорящую тишииу, широко раскрыв глаза иавстрѣчу бархатиой иочи, и в ушах дѣйствительио звучала тихая пѣсиь и вѣрилось, что «звѣзда с звѣздою говорит». Не рискиу настаивать, что так это имеиио и было, напрасно силюсь вспомнить, что я слушал тогда. Быть может, все это задним числом подсказываю теперь тому беззаботиому, страстио влюблениому в жизиь мальчику, но определѣлеиио зиаю, что «звук этой пѣсни в душѣ молодой остался без слов, ио живой», и так на всю жизиь запомнились эти часы и так оии к дороги миѣ, потому что тогда был иеповторимый момент безпримѣсиой чистоты и непорочности души.

Одиажды — это было, должио быть в 1880 г., к иам с братом неожидаиио присоедииились в Одессѣ три троюродиых кузена с теткой. Оставаться такой большой компаніи иа иочь в Никополѣ было иеловко, и я предложил кучеру иемедлеиио закладывать лошадей. Недовольный уже тѣм, что вмѣсто двух ожидаемых пассажиров явилось шесть — мудрено таки было размѣстить их в экипажѣ, — ои стал спорить, ио вдруг догадался, в чем дѣло, и сказал: «Поиимаю, паиыч. Вы тут заиочевать ие хотите. Гарно! Нам, зиачит, доіхать только до первой корчмы, тамичка и заиочуем». Я похвалил его за догадливость и, отъѣхав пятнадцать верст, мы остановились иа иочь в корчмѣ, иосившей страииое иазваніе. Нам отвели едииствеиную чистую комнату, в ней стоял диван, на котором улеглась тетка,

а нам на земляном полу постлали свѣжаго сѣна. Но мы и не собирались спать, а занялись репетиціей «Женитьбы», которую собирались сюрпризом разыграть в торжественный день 20 іюня. Около сорока лѣт спустя, застрявши, в началѣ 1918 г., в Финляндіи, в Сортавала, я стал излагать свое прошлое и, остановившись на приведенном эпизодѣ, никак не мог вспомнить названіе корчмы. Как раз в этот момент получены были из Швеціи нѣмецкія газеты, которых мы уже нѣсколько мѣсяцев не видѣли. И первое извѣстіе, бросившееся в глаза, — было, что нѣмецкія войска заняли Чертамлык и подходят к Никополю. Что это? Забавный сон или фантастическая явь? Чертамлык — это и было названіе той затерянной в степях корчмы, куда, казалось бы, три года скачи не доскачешь. В тѣ минувшіе годы, которые я силился воскресить, самая смѣлая фантазія не могла бы сочинить такого извѣстія, хотя бы в видѣ первоапрѣльской шутки, и даже дальновидный гоголевскій почтмейстер не отважился бы «загнуть» такую догадку. И вот теперь тяжелая пята врага ступает по богоспасаемому гоголевскому краю и грохот колес артиллеріи разрушает очарованіе вѣковой тишины. Представлялось, что сама земля содрогается, и тут впервые я не то что понял, а ощутил, что прошлое ушло безвозвратно.

Только один раз мы и останавливались в Чертамлыкѣ, обычно же на полпути нас ждала «подстава», т. е. свѣжая четверка или тройка лошадей (великорусская тройка считалась в Малороссіи щегольством, здѣсь пара лошадей шла в дышлѣ, а третья пристяжной). Наскоро перекусив и напившись чаю, мы снова у экипажа, стараемся личным участіем ускорить раздражающе медленную перепряжку лошадей. хохлацкая лѣнь истощает наше терпѣніе, кучер все громче брюзжит в отвѣт на понуканія и упрашиванія и, сердито кивая на нас, ищет сочувствія у окружившихъ экипаж собесѣдников, дѣлающих замѣчанія и дающих совѣты насчет упряжки. Ссориться с кучером никак нельзя, потому что дорогой придется ему поклониться, чтобы получить в свои руки вожжи, а что может быть пріятнѣе, чѣм разобрать между правой и лѣвой рукой остро пахнущія вожжины и внимательно слѣдить, чтобы, не дай Бог, кнут не затянуло в колесо. Послѣ такого позора вожжи нужно безмолвно отдать и язык уж не повернется вновь попросить кучера довѣрить управленіе лошадьми.

Поздним вечером подъѣзжаем к парадному крыльцу с большим балконом, украшенным колоннами, выходящим на огромную обнесенную палисадником поляну, и с трудом различаем по другую ея сторону контуры конюшни и каретнаго сарая. На крыльцѣ встрѣчают нас хозяева с прислугой, и снова тѣ же распросы и комплименты, а мы стараемся вывѣдать, каковы виды на урожай, потому что от него цѣликом зависит капризное настроеніе дяди. Если урожай предвидится, у нас будут отличныя верховыя лошади и своя тройка, по великорусски запрягаемая в небольшую легкую бричку, будут пикники в Корбино и на ближайшій хутор, гдѣ у большого холоднаго пруда похоронены послѣдніе владѣльцы имѣнія «раб и раба Божіи Мандрыкины» мы будем получать «отвѣтственныя» порученія к сосѣдям-помѣ-

щикам (сношенія с ними были чисто дѣловыя, знакомства домами с окрестными дворянами не было), по вечерам будут танцы и сверх того мы будем пользоваться неограниченной свободой дѣйствій. Если же предвидится неурожай или неблагополучно с овцами, настроеніе испорчено, так сказать, в квадратѣ, ибо еще в большей степени, чѣм сестра его, наша мать, дядя угнетен не столько самым фактом неудачи, сколько тѣм, что она лишает его права веселиться. Дурное настроеніе обостряет и вспыльчивость, какой мнѣ за всю жизнь больше не приходилось встрѣчать и за которую ему не раз доводилось платиться и по суду и собственными боками. Но, и независимо от расплаты, больше всего от вспыльчивости терпѣл он сам, потому что проходила она быстро и совершенно безслѣдно, а приличія ради нужно было сохранять сердитый вид, чтобы убѣдить других и себя, что было серьезное основаніе для необузданной вспышки. Тяжелое настроеніе сильнѣй всего отражалось на безотвѣтной, любящей, красивой женѣ его, закрывавшей глаза на постоянныя измѣны безшабашнаго бабника. А именно он, в видѣ рѣдчайшаго исключенія, женился на своей кузинѣ по собственному выбору, а не через посредство сватов по рѣшенію рдоителей. Когда муж бывал в гнѣвѣ, она силилась стать совсѣм незамѣтной, сойти на нѣт.

«Ну, довольно балакать, это вам не «Одесс» (так на жаргонѣ называлась Одесса) — внезапно прерывал дядя бесѣду, как только мы кончали ѣду, — вставать надо рано». — «Пожалуйста разбуди и нас, как только встанешь» (кромѣ него ко всѣм дядям и теткам, и конечно к родителям мы обращались на «вы»). А вставал он с пѣтухами, между четырьмя и пятью часами, когда солнце только еще всходило и поляна вся была в росѣ. Нас он будил часов в 6, когда возвращался послѣ перваго обхода экономіи. Первый визит наш был в конюшнѣ, гдѣ старшій кучер радостно встрѣчает в ожиданіи «подарочка» из Одессы. Это был крупный широкоплечій благообразный крестьянин из примыкающей к экономіи деревни с цѣлым выводком красивых дочерей, одна из которых служила горничной, а другую, сверстницу мою, я позже вообразил дамой сердца по всѣм книжным правилам и вызвал однажды на свиданіе, но не знал, что сказать, а біеніе сердца, гулко отдававшееся в ушах, не позволило поцѣловать, и наш роман на том и кончился. «Усе готово, хоть сейчас сѣдлай», успокаивает нас кучер на своеобразной смѣси великорусскаго и украинскаго нарѣчій, «лошадки хоть куда, и под верх и в пристяжку и коренник гарный для брички. И сѣдла как новыя, одно аглицкое, другое — казацкое». Но нам нельзя задерживаться, потому что приказано пойти на утопающій в навозѣ скотный двор, чтобы напиться молока из под коровы с густой пѣной чуть-чуть попахивающей навозом. Дядя объявляет состязаніе, кто больше выпьет, и к вечеру оно разрѣшается разстройством желудка. Послѣ молока спѣшим заглянуть в кузницу и в плотницкую, прежде чѣм вернуться уже под жгучим солнцем в дом к утреннему чаю с яйцами, огурцами, сметаной и т. д.

За чаем не сидится, волнует надежда, что послѣ чая дядя отправится обозрѣвать полевыя работы и пригласит нас с собой. А он, как нарочно,

медлит, ио вдруг, подойдя к окиу, иедовольио спрашивает. «Когда же вы коичите чайничать, вѣдь уж лошади подаиы». Мы прниимаем это подшучиваиіе, как прнзиак хорошаго иастроеиія, стремглав выскакиваем и видим бѣговыя дрожкн, в которыя запряжен горячащійся жеребец, н верховую лошадь для меня (у брата поранеиа иога от купаиья иа каменнстом Ланжеронѣ). Лошадь долго артачится под неумѣлым сѣдоком, иикто иас верховой ѣздѣ не обучал н берейтор пришел бы в ужас от моей посадкн, но я считаю себя лнхим кавалеристом.

Объѣзд продолжается часа два, три н представляет чудесиую прогулку, ио хозяйствеииое зиачеиіе его равио нулю. На пять-десять мииут останавлнваемся у «косовнцы»: десятка трн угрюмо сосредоточенных косцов гуськом подвнгаются вперед, рнтмическн, как под комаиду, одиовремеиио взмахивая косами, и их строго согласованныя молчаливыя движеиія еще рѣзче выдѣляются иа фонѣ безпорядочно слѣдующей за нними пестрой группы босых жеищнн, вся одежда которых состоит нз рубашкн н плахты. Онѣ сгребают сѣио и здѣсь непрерывио звучит смѣх крикливыя шутки, а под вечер и пѣснн. Дядя привѣтствует косцов словами «Бог в помощь!», они остаиавливаются, передовой выходит из ряда, отвѣшнвает иизкій поклон, докладывает, что все обстоит благополучио, что урок будет выполиен во время, и, видя хозяина в хорошем настроеиін, просит прибавнть кусок сала в кашу к обѣду, а то и чарку «горнлкн». Выкурив папнросу, дядя продолжает объѣзд: вот одиа из тысячных отар, с громким лаем овчаркн бросаются иа иас, подходит пастух в лаптях, тоже с рапортом о благополучіи, напомииает, что пора прнняться за стрнжку, мы ѣдем к другой косовнцѣ, гдѣ рабочіе, совсѣм мокрые от пота, уже полдничают галушками, запивая их приторно теплым квасом. На обратиом пути задерживаемся иа одном из хуторов, у крупнаго арендатора, высокаго, отлнчно сложеииаго русаго мужика Остапа, который иасквозь видит ннчего ие поиимающаго в хозяйствѣ дядю, почтительной лестью умѣет обвить его вокруг пальца и нз году в год за его счет богатѣет. Он угощает иас отличиым хлѣбным квасом, упрашивает зайти в хату перекусить, ио мы уже торопимся к обѣду и быстрым аллюром, запыленные, проголодавшіеся, возвращаемся домой. Всѣ домашніе поджидают нас на крыльцѣ, мнѣ хочется показать свою удаль ловким прыжком с лошади, но, очутнвшись на землѣ, я к ужасу чувствую, что стою безпомощным раскорякой, с трудом передвнгаю ноющія ноги и, густо краснѣя, слышу громкій хохот. Коиечно, такой конец нетрудио было предвидѣть н не пускаться сразу в продолжительиую прогулку, ио respice finem отнюдь ие прннадлежало к числу добродѣтелей материиской семьи.

К обѣду за стол саднлось человѣк 15—20. Кромѣ времеиных гостей, всегда было миого бѣдиых родствеиников. Простой, ио болѣе чѣм сытный и жнрный обѣд съѣдался с жадностью н послѣ иего в домѣ водворялось сонное царство часа иа два, а молодежь уходила вниз в сад, гдѣ, разлегшись под старой грушей, мы чнтали вслух. Дядя получал «Вѣстиик Европы». «Живописиое Обозрѣиіе» (потом «Ннву) н одесскую газету (Одесса была блнжайшим пуиктом, гдѣ газета издавалась). Мы привозили с собою Не-

красова и усердно скандировали Русских Женщин, Дѣдушку, Рыцаря на Час, Убогую и Нарядную, У Парадного Подъѣзда, которые тогда декламировались со сцены Андреевым-Бурлаком под бурные аплодисменты публики. Под вліяніем Некрасова («На Волгѣ») мы однажды рѣшили дождаться полуночи и поодиночкѣ обойти вокруг дома, чтобы провѣрить утвержденіе поэта: «Если б друг какой иль враг засѣл в кустах и закричал, иль даже спугнутая мной сова взвилась над головой — навѣрно мертвый я б упал». Двумя сторонами дом обращен был к конюшнѣ и людским с кухней, а другими двумя к крутому оврагу и к саду, к которому спускалась полуразрушенная заросшая травой лѣстница. Здѣсь было страшно. Ярко сіявшая луна мѣняла очертанія знакомых предметов, кусты перешептывались, лягушки предостерегающе квакали и мускулы были так напряжены, что казалось, будто ступаешь на пружинах. Здѣсь впервые я испытал непобѣдимое чувство безотчетнаго животнаго страха, безсиліе разума, настойчиво подсказывавшаго, что ни малѣйшей опасности нѣт. И тут же, когда один из нас, испуганный выскочившей кошкой, вернулся только с громко стучавшими зубами, я впервые почувствовал фальшь и напыщенность Некрасова.

После пробужденія обѣд обильно запивался квасом, а то подавалось мороженое и затѣм помѣщик снова отправлялся в объѣзд. Если мы его не сопровождали, то играли в крокет, и страстное состязаніе — рыцарское отношеніе к противнику было незнакомо, и пораженіе воспринималось как личная обида — вырабатывало замѣчательных мастеров. Игра продолжалась почти до полной темноты, когда уж совсѣм нельзя было различать шаров. А вечером — танцы под рояль, за который тетка охотно садилась, угощая новой кадрилью или полькой, ноты коих прилагались к Живописному Обозрѣнію. Когда бывали гости (в округѣ было еще нѣсколько евреев мелких помѣщиков и арендаторов), преимущественно около 20 іюня, устраивался примитивнѣйшій любительскій спектакль с обильным дивертиссментом.

Так протекала наша деревенская жизнь, казавшаяся нам необычайно разнообразной и содержательной. Когда через нѣсколько дней на нас переставали смотрѣть, как на гостей, и предоставляли самим себѣ, мы добивались принять участіе в работѣ: чистили на конюшнѣ лошадей и водили их на водопой, добывая из скрипучаго колодца воду, в кузницѣ раздували мѣха, в плотницкой строгали, тщетно пробовали косить. Но помимо таких болѣе или менѣе невинных занятій, я вообще не понимаю, как удалось сносить головы на плечах: сколько раз падал я с лошади, сваливался с высокаго дерева, каким то чудом увернулся на скотном дворѣ от разъярившагося быка, чуть было не был убит доской качелей и т. д. Однажды и случилось большое несчастье: троюродный брат взобрался на молотилку, барабаном захватило его ногу, он истек кровью. Но и этот тяжкій урок ничему не научил: год спустя мы на пари с дядей взялись замѣнить рабочих у барабана, которые должны были развязывать подаваемые с возов снопы и бросать в барабан. Проработали мы с полчаса под палящим послѣобѣденным зноем и два дня пролежал я с повышенной температурой. Об этом впрочем можно было только догадываться по самочувствію, потому что термометра не было.

Я искренне убѣжден, что, поскольку у меня есть положительныя качества, развитіем и укрѣпленіем их я прежде всего обязан этой степной деревнѣ с ея безкрайними просторами и трогательно нѣжной природой. В послѣдній раз «вновь я посѣтил знакомыя мѣста» послѣ долгаго промежутка в концѣ зимы 1895 г. Поѣздка на долгих отошла уже в прошлое. С проведеніем Екатерининской ж. д. Малософіевка оказалась в девяти верстах от одной из станцій (Милорадовка). Я пріѣхал на свиданіе с матерью, которой, послѣ нашего разоренія и смерти отца, некуда было дѣваться. Корбино давно продано было с молотка, а от Малософіевки Остап отхватил порядочный кус. В домѣ, когда то столь шумном, было уныло и, увы, я сам тоже был не тот: послѣ четырех лѣт изнуряющих неудач судьба вновь повернулась ко мнѣ лицом и чѣм меньше в этом было моей заслуги, чѣм больше это было вродѣ выигрыша в лоттерею, тѣм самодовольнѣе впервые я стал оглядываться на себя и, вмѣстѣ с тѣм, впервые, как ни странно с перваго взгляда, стала зарождаться неувѣренность в будущем. Чѣм ласковѣй судьба улыбалась, тѣм меньше я ей довѣрял.

Во время одной из поѣздок в деревню — это было послѣ успѣшно сданных трудных экзаменов из четвертаго в пятый класс — мы на пароходѣ из Херсона в Никополь познакомились с двумя гимназистами, из которых я хорошо запомнил одного, тщедушнаго, со страдальческим выраженіем лица и ровным тихим голосом, звучавшим неподдѣльной искренностью. Поздним вечером сидѣли мы на палубѣ в ожиданіи отбытія и вели оживленный разговор о гимназических порядках. Оживленіе вносил я, со свойственной мнѣ словоохотливостью изображая наших «монстров» и нашу молодецкую борьбу с ними. Гейман — так звали моего собесѣдника — слушал внимательно, серьезно, ни разу не улыбнувшись, и затѣм стал разсказывать, что и в их гимназіи не лучше, но иначе и быть не может потому что такова система, а она, в свою очередь, является неизбѣжной принадлежностью всего режима. И как странно: тогда я весь был поглощен новизной услышаннаго от него и жадно впитывал каждое слово, ничего вокруг себя не замѣчая. А теперь, спустя примѣрно 55 лѣт, наиболѣе отчетливо встает в памяти именно обстановка нашей бесѣды: помню даже мѣсто на палубѣ, гдѣ мы сидѣли, опершись рукой о перила борта, соприкасаясь колѣнями и неотрывно смотря друг другу в глаза, я — вопросительно, он — со скорбной нѣжностью. А над нами высокое черное небо с переливающимися ярким сіяніем звѣздами, с рѣки легкій ночной вѣтерок, пріятно ерошившій волосы, чуть слышные тихіе всплески воды и однообразный шум нагрузки и выгрузки парохода. Но совершенно не помню спутника Геймана, точно он был лишь тѣнью его, улетучилось и живое содержаніе бесѣды, может быть даже не точно воспроизвожу ея смысл, но твердо увѣрен, что с этой ночи мое міросозерцаніе стало по иному формироваться, Гейман открыл передо мной потайную дверь, существованіе которой тщательно маскировала безраздѣльно себѣ довлѣющая домашняя обстановка, и с тѣх пор я стал ея стѣсняться. Гимназію я уже в достаточной мѣрѣ ненавидѣл, но взор, так сказать, был устремлен не вперед, а назад: я знал из «Очерков бурсы», что

бывало и много хуже, и борьба шла под знаком отраженія и причиненія личных непріятностей. Теперь мнѣ стало ясно, что от гимназіи нужно как можно полнѣй эмансипироваться и найти другой центр жизни и интересов, конечно, внѣ домашней обстановки, которая, как теперь мнѣ стало ясно, скрывала от меня столь важную тайну.

Два деревенских мѣсяца разсѣяли эти новыя впечатлѣнія, но уже на обратном пути они бодро и весело зашевелились, манило что-то новое и неизвѣданное, и я вернулся домой со своим особым внутренним міром, в каком то странном неоформленном настроеніи, отчуждавшем меня и от гимназіи, и от домашней среды.

Ближайшія послѣдствія перемѣны принесли мнѣ однако мало пріятнаго. Я вошел в один из так называемых «кружков самообразованія», — формально нейтральных, а фактически сѣявших антиправительственныя устремленія. Руководителем кружка был наш же гимназист восьмого класса, он читал нам «лекціи по русской исторіи», сводившіяся к тому, что самодержавіе вѣроломно погубило народоправство и за это платится возстаніями Стеньки Разина, Пугачева, которыя раньше или позже свергнут нынѣшній режим. Бездарному, невѣжественному учебнику Иловайскаго, по которому нам вбивали хронологическія даты и историческіе анекдоты, нетрудно было противопоставить и такую упрощенную «концепцію», но меня отталкивала от общественнаго ментора напускная мрачность и непрікровенная претензія на непререкаемость сужденій. Если бы я был свободен, я бы тотчас бросил кружок, но я уже чувствовал себя связанным предубѣжденіем в пользу «революціонеров», которое не должно контролироваться личными симпатіями и антипатіями. Весьма мѣтко В. Розанов, на подъемѣ освободительнаго движенія, сказал (не помню точных слов), что в привилегированном моральном положеніи находятся не хозяева положенія, а угнетенная оппозиція, которая окружена непроницаемой атмосферой общественнаго сочувствія и поддержки. Но уже и в тѣ годы не один ловкач строил свою карьеру на этом парадоксѣ. Во время войны мой ментор, сильно разжирѣвшій и украсившій себя великолѣпной бородой, вернулся из длительной эмиграціи в Петербург рьяным сотрудником суворинскаго «Вечерняго Времени» и, судя по тому, как уклонялся от разговора об Одессѣ, можно было понять, что он считает свое прошлое так же похороненным, как и фамилію свою, которую замѣнил литературным псевдонимом и которой в Петербургѣ кромѣ меня, пожалуй, никто и не знал. Предубѣжденіе в пользу революціонеров внушалось главным образом Добролюбовым и Писаревым, сочиненія коих для членов кружков замѣняли Библію. Род человѣческій вообще дѣлился на два стана: «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» и, с другой стороны, «погибающих за великое дѣло любви». Надо было выбирать между этими двумя лагерями, как между козлищами ошую и овцами одесную. Наиболѣе вредно было вліяніе Писарева, этого разухабистаго трубадура Бюхнера и Молешотта и предтечи большевистской любви «без черемухи». Сам душевно неуравновѣшен-

ный, он кастрировал у человѣка душу и превращал его в гомункула. Личныя склонности должны были отступать на задній план даже в вопросах брака. Один пріятель женился на сосѣдкѣ по тюремной камерѣ, которой до женитьбы он не знал, и только потому, что она умѣла хорошо «перестукиваться». Профанированное великое дѣло любви как бы смѣнило прежнюю сваху, сводившую совершенно незнакомых людей, и лишній раз напоминало, что plus ça change plus c'est la même chose. Простую конкретную заповѣдь любви к ближнему матеріалисты замѣнили абстрактным понятіем общаго блага, враждебно противопоставили великое дѣло любви ея малому дѣлу и тѣм самым узаконили разлад между личным и общественным поведеніем, достигавшій уродливых форм. Вообще я не преувеличу, если скажу, что для нас писаревщина проявлялась как подлинная тиранія, которая не стѣснялась размѣниваться и на мелочи. Всякая забота о красотѣ, изяществѣ и даже чистотѣ считалась измѣной. Вздумалось мнѣ как то перемѣнить прическу, и мрачный ментор не упустил случая съязвить двустишіем из презираемаго Пушкина: быть можно дѣльным человѣком и думать о красѣ ногтей. Мнѣ, право, совѣстно признаться, что это был упрек, который я тогда наиболѣе болѣзненно воспринял. Тиранія находила и ретивых послѣдователей — это были будущіе ловкачи, большинство же тупо покорялось, а нѣкоторых, а именно юношей с сильной индивидуальностью, она превращала в мучеников, ибо они душевно не могли примкнуть ни к одному, ни к другому стану, и часто жизнь их разбивалась.

Роль и значеніе Писарева в общественной жизни Россіи уже достаточно выяснена и меня больше тянет отмѣтить странное сочетаніе этого воздѣйствія с вліяніем Тургенева. Тургеневу я безгранично обязан неисчерпаемыми наслажденіями величавой музыкой русскаго языка и влюбленностью в него, равно как и незабываемыми минутами — употребляя его же выраженіе — звучанія золотых струн в душѣ и свѣтлаго паренія над грѣшной землей. Но именно потому, что произведенія Тургенева неизмѣнно отображали короткій мимолетный отрѣзок жизни, когда звучат в душѣ золотыя струны, у нас создавалось неправильное представленіе о сѣрой дѣйствительности, усугублялось преклоненіе перед героями и игнорированіе будней, которые предъявляют человѣку гораздо болѣе обширныя требованія героизма в смыслѣ жертвенности и преодолѣнія слабостей своих. Нигдѣ, пожалуй, не было такого класса замѣчательной интеллигенціи, т. е. людей, подчинявших всю свою жизнь требованіям общественнаго служенія, но как часто герои на общественном поприщѣ оказывались очень маленькими людьми в своей будничной обстановкѣ. И замѣчательно, что ни они сами, ни их почитатели не отдавали себѣ в этом отчета, слѣпо и тупо вѣруя, что Юпитеру все позволено. Эти мысли тревожили меня при чтеніи опубликованной в Берлинѣ части герценовскаго «Былого и Дум», относящейся к семейному разладу Герцена, равно как и восторженных воспоминаній Султановой о Михайловском, изданных уже при нынѣшнем режимѣ в Москвѣ.

Конечно, тогда такія мысли на поверхность не всплывали, но непріятныя сомнѣнія уже глодали и я думаю, что они то и заронили зерно, из

котораго развился скепсис, причинявшій мнѣ потом не мало мучительных минут. Уже и тогда я не мог преодолѣть неуютности, овладѣвавшей мною в кружкѣ, и все-таки не вышел из него, а лишь фактически, трусливо перестал посѣщать. А так как и с гимназіей я морально порвал, то почувствовал еще острѣе свое одиночество и вот тогда то и стал писать любящему меня наставнику сочиненія, за которыя он мнѣ лѣпил единицы. Особенно помню «кол» за сочиненіе об Евгеніи Онѣгинѣ, котораго — как теперь этому повѣрить? — даже и не прочитал, а хватил прямо по Писареву и, как сейчас, помню бурю противоположных ощущеній, когда озорной смѣх товарищей сопровождал чтеніе вслух моего произведенія. Кончилось тѣм, что, как уже упомянуто, отлично выдержав трудный экзамен из четвертаго в пятый класс, я в этом классѣ позорно остался на второй год. Каникулы в деревнѣ были отравлены, я чувствовал на себѣ косые взгляды, которых в дѣйствительности кажется и не было, и был даже рад, когда заболѣл сильной лихорадкой. Но эта первая жизненная неудача обернулась очень благопріятно: если бы я остался во второй гимназіи, вѣроятно и совсѣм свихнулся бы с разумнаго пути. А я перешел в третью, там как раз в этом году появилось нѣсколько молодых, только что выпущенных из университета преподавателей, (по исторіи и русской словесности), которые видѣли свою задачу не в муштрѣ и уловленіи учеников, а в обогащеніи и развертываніи их умственнаго горизонта. Кромѣ того я воспылал большим увлеченіем физикой и математикой, чѣм дальше — тѣм больше: тригонометрія и космографія служили восхитительной гимнастикой ума и внушали самодовольное сознаніе его силы: из пятерок я не выходил. Но, вѣроятно, и тут был какой-то существенный дефект преподаванія, а, может быть, моих способностей. Уже вскорѣ по окончаніи университета я безслѣдно позабыл, что такое логарифмы и как с ними обращаются, и чему учила триногометрія и космографія. Правда, блестяще зная геометрію, я безнадежно пасовал в задачах на построеніе, конструктивнаго элемента моим способностям очевидно не доставало. По древним языкам были какіе то нелѣпѣйшіе учителя и притом нѣсколько раз смѣнившіеся, так что мы порастрясли накопленныя знанія. Но важнѣе всего было, что умственный и моральный уровень товарищей здѣсь был гораздо выше (один стал видным адвокатом в Екатеринославѣ, другой — отличным земским врачом, третій — кончил секретарем Троцкаго), образовался самостоятельный кружок без руководителя, основана была своя библіотека, устраивались загородныя прогулки. Коноводом был будущій земскій врач, крупный юноша, года на четыре старше меня, брившій уже усы и бороду. Он был принципіальным противником революціонной дѣятельности, для этого тогда требовалось немалое мужество, но у него именно и было налицо мужество своего мнѣнія, столь рѣдкое в стадной обстановкѣ гимназіи. Он уважать себя заставил благородной безукоризненностью поведенія, высоко развитым чувством собственнаго достоинства и к тому был первым учеником, охотно приходившим каждому на помощь. Поэтому он считался как бы совѣстью класса, и в частности, на меня имѣл самое благотворное вліяніе.

На почвѣ отстаиванія своего достоинства и разыгралась в шестом классѣ небывалая в гимназических лѣтописях «исторія». Не помню, с чего она началась, но вижу перед собой грузнаго величественнаго директора громовержца (и фамилія была у него звучная — Порунов), который, в сопровожденіи инспектора и классиаго наставника с помощником, входит во время урока в класс, чтобы торжественно объявить состоявшееся в данной четверти распредѣленіе учеников по трем разрядам. Ученики встали и подтянулись, а директор рокочущим басом начинает: «перваго разряда нѣт! (Сюда относились имѣющіе не меньше четверки и по главным предметам не меньше двух пятерок). Срам!» Слѣдует значительная пауза, чтобы обвести глазами всѣх воспитанников, и затѣм продолженіе: «Второй разряд, первый ученик — Серебренник, а по поведенію у него тройка, за дерзость инспектору. В случаѣ повторенія волчій билет. Второй ученик. . .» Должна была быть названа моя фамилія, но директору продолжать не пришлось. Совершенно спокойно, но твердо Серебренник, перебивая директора, заявил: «Я дерзостей не говорил и тройки не заслужил». Порунов буквально побагровѣл от неожиданности и, что было мочи, крикнул: «В карцер!» — «В карцер я не пойду» — «Немедленно вон! Ступайте домой». С. стал укладывать книги в ранец, а синклит шумно удалился. Во время этого молніеноснаго діалога инспектор стоял с каменным лицом, точно происходившее его вовсе и не касается. Это был обрусѣвшій чех Лѣсковец, человѣк очень умный и образованный, но душой рафинированный Сила Иваныч — директор был в его руках маріонеткой. Не только наш класс, но вся гимназія, в особенности старшіе классы, горячо волновалась, а невѣжественное начальство давало волненію все сильнѣе разыгрываться, прервав урок для экстреннаго засѣданія педагогическаго совѣта. Примѣрно через час тот же синклит вновь появился в классѣ и директор сообщил постановленіе об увольненіи С. из гимназіи, прибавив, что сегодня уроков больше не будет. Но прежде чѣм разойтись, мы быстро порѣшили собраться в квартирѣ одного из товарищей и там вечером было постановлено поддержать С. «забастовкой» (не первой ли она была в освободительном движеніи!), к которой обѣщали на другой день присоединиться седьмой и восьмой классы. Из тридцати учеников оказалось двое штрейкбрехеров (один из них — внѣбрачный сын крупнаго чиновника врача, тотчас по окончаніи медиц. факультета, покончил самоубійством, воткнув стилет в сердце; другой, добившись перемѣны своей неблагозвучной фамиліи, стал видным ученым), на другой день число их увеличилось до шести, еще один день мы тщетно прождали присоединенія старших классов и на четвертый день явились в гимназію. Встрѣчены мы были, словно ничего не произошло, даже предупредительно. Отлично помню, что первым был урок физики: робкій и тщедушный преподаватель вызвал меня к доскѣ, преувеличенно одобрял отвѣт и отправил на мѣсто, сказав, что я заслуживаю высшій балл. Я не успѣл дойти до своего мѣста, как дверь шумно распахнулась, снова вошел директор со свитой и, силясь принять как можно болѣе зловѣщій вид, возгласил, что рѣшеніе нашей участи послѣдует из министерства, куда дѣло о бунтѣ переслано. «А до полу-

ченія отвѣта из Петербурга, считаю необходимым оберечь ввѣренную мнѣ гимназію от посѣщенія бунтовщиков». Недѣли три мы наслаждались неожиданными каникулами, а когда по приглашеніям явились в гимназію, нам было объявлено, что двое, у которых на квартирѣ состоялись собранія (один и был будущій видный адвокат, судьбы другого не знаю), увольняются, остальные, конечно, за исключеніем штрейкбрехеров, приговариваются к заключенію в карцер на срок от 6 до 48 часов и могут возобновить посѣщеніе уроков лишь по отбытіи очистительнаго наказанія, а так как карцер был один только, то наполненіе класса совершалось постепенно и каникулы таким образом были еще продлены. А еще через мѣсяц инспектора все же убрали, но, кажется не больше чѣм через полгода он вновь водворился у нас, уже значительно измѣнившійся в отношеніи к ученикам, да и громовержец поблек: вѣроятно, начальство тоже получило выговор, который оно несомнѣнно гораздо болѣзненнѣе восприняло, нежели мы — карцерное заключеніе.

Пронесшаяся гроза значительно освѣжила гимназическую атмосферу и рѣзче всего измѣнилось мое положеніе: я передвинулся по успѣваемости на первое мѣсто, а главное — оказался преемником С. на посту коновода, что мнѣ чрезвычайно льстило и тоже оказало самое благотворное вліяніе, ибо, к счастью, я не испытал головокруженія от успѣха, а, напротив, впервые сознал, что положеніе обязывает, и всячески заботился не уронить своего авторитета. А тут мнѣ еще очень посчастливилось: в Одессу переѣхала тетка вдова с тремя сыновьями, один из которых был моим сверстником, но классом выше. Сеня был очень некрасивым юношей, но прекрасной добрѣйшей (хочется сказать, вспоминая толстовскаго Каратаева, округлой) души, в которую ни с какой стороны не могли проникнуть сомнѣнія, символом вѣры его было гетевское entbehren musst du! У него были выдающіяся умственныя способности и гимназію он кончил с золотой медалью. Мы и раньше были знакомы, встрѣчаясь лѣтом в деревнѣ, но теперь очень близко сошлись, одиночество кончилось, и я начинал ощущать под собой твердую почву, как будто нашел свое мѣсто в мірѣ. К концу учебнаго года я стал страдать глазами, а экзамен из шестого в седьмой опять предстоял трудный (письменный и устный), требовавшій усиленной подготовки, врач рѣшительно протестовал против этого и, вѣроятно, тоже послѣдствіем пронесшейся грозы было, что меня перевели без экзамена, отпустив на каникулы мѣсяцем раньше. Сеня давно уже болѣл легкими, я убѣдил его тоже добиться освобожденія, что ему и удалось, и мы уже в маѣ уѣхали в деревню. Теперь обычныя удовольствія перемежались с «серьезными» спорами: я находился под обаяніем Бокля. Закон больших чисел, постоянство явленій, зависящих, казалось бы, от свободной капризной воли человѣка, поразило меня и потрясло. Думаю теперь о прошлом так, что соблазняла меня закономѣрность, преодолѣніе хаоса и случайности, возможность предвидѣнія, отвѣчавшая унаслѣдованному от отца отвращенію к авантюрѣ, и вмѣстѣ с тѣм угнетала предопредѣленность, связанность воли, плохо вязавшаяся со внушенным матерью легкомысліем. Споры наши вращались во-

круг вопроса о свободѣ воли, и я горячо защищал детерминизм, но в душѣ я был лишь его advocatus diaboli. Когда пріѣхали другіе, мы устраивали правильныя собесѣдованія, и первый реферат, мною прочтенный, составлен был на тему: все понять — все простить. В Одессу мы вернулись вполнѣ оправившимися, но моя болѣзнь дѣйствительно прошла, а милый Сеня, который благосклонной судьбой послан мнѣ был в критическую минуту жизни, по окончаніи гимназіи переѣхал в Харьков на медицинскій факультет, на втором курсѣ был арестован, увезен в уѣздную сырую тюрьму и там умер от разыгравшагося туберкулеза.

Седьмой класс принес новое безпокойство отцу: устроен был оперный спектакль в пользу недостаточных учеников нашей гимназіи, и мнѣ впервые пришлось слышать оперу. Это были Гугеноты. В Одессѣ всегда была итальянская труппа, в которой выступали первоклассные пѣвцы, и меня охватило сильное увлеченіе. А тут, как нарочно, пріѣхала на гастроль труппа петербургскаго театра с четой Фигнер, Яковлевым, Долиной и я не только зачастил в театр, но полный чудесных мелодій, непрерывно звучавших в ушах, ни о чем другом говорить не мог. Какой-нибудь скрип, звон, шум вдруг вызывал знакомое сочетаніе звуков, вытѣснявшее все из головы. Это было совсѣм как опьяненіе. Мы с братом (у него слух был острѣе и музыкальная память шире) всѣ деньги наши тратили на покупку нот и заставляли сестру проигрывать их на роялѣ. Безпокойство отца на этот раз было неосновательно, потому что положеніе в гимназіи стало очень прочным. В связи с уходом Толстого в отставку и «диктатурой сердца» графа Лорис Меликова весенній вѣтер проник и в гимназическія твердыни, начальство замѣтно смирилось и больше всѣх, пожалуй, вернувшійся инспектор, который ко мнѣ просто ластился. Однажды в коридорѣ он крѣпко обнял меня и стал предрекать блестящую будущность, а четверть вѣка спустя я неожиданно столкнулся с ним на прогулкѣ в Сестрорѣцкѣ, куда пріѣзжал на воскресенье к семьѣ. Это было время второй государственной Думы, так сказать, апогей моей славы, и он опять обнял меня, сказав, что гордится своим предвидѣніем. Но именно сознаніе прочности своего положенія дѣлало пребываніе в гимназіи все болѣе тягостным и живо вспоминаю настоящее душевное томленіе, овладѣвавшее мною в восьмом классѣ: полученіе аттестата зрѣлости не вызывало никаких сомнѣній и посѣщеніе гимназіи ощущалось, как безсмысленная тяжелая повинность. Опасность подстерегала с другой стороны: активнаго участія в революціонном движеніи я не принимал, но у меня завязывались связи с народовольцами, квартирой моей пользовались, как «явкой», приходилось хранить подпольныя изданія, и отец чуял это и волновался. Сеня был уже в Харьковѣ и собирались мы у двоюроднаго брата, маленькаго невзрачнаго человѣка с козлиной бородкой. Он был студентом, жил в комнатѣ отдѣльно от родительской семьи и вмѣсто или поверх пальто носил плед. При постановкѣ «Чайки» к Чехову обратился актер с просьбой разъяснить характер дѣйствующаго лица, роль коего он должен был играть, а Чехов на это отвѣтил: «Да он же носит клѣтчатые штаны». Так еще в большей степени ношеніе

пледа было как бы «послужным списком», символизировало передовой образ мысли и бережное храненіе важной государственной тайны. Собирались мы еще у очень красивой, пышной и богатой молодой женщины Клебановой, гражданской жены виднаго народовольца Герасима Романенко, перешедшаго уже на нелегальное положеніе. Клебанова была еврейкой, но и это не помѣшало ему, послѣ первой революціи, стать еще болѣе виднымъ членом Союза Русскаго народа и активным погромщиком в Кишиневѣ. Но тогда Клебанова ревниво афишировала, что она именно гражданская жена, а не законная, что дѣвочка ея незаконнорожденная. В этом она усматривала какую-то заслугу свою, вѣроятно, потому, что в своей семьѣ, принадлежавшей к строго религіозному минскому еврейству, ей пришлось выдержать жестокую борьбу. Клебанова высоко цѣнила красоту свою и мое почтеніе к ней истолковывала по-своему: кузина моя, по ея просьбѣ, предостерегала меня против «безнадежнаго увлеченія». Напрасно! Я тогда дѣйствительно был неравнодушен ко всякой красивой женщинѣ, а благодаря близорукости и жизнерадостности почти всѣ казались мнѣ привлекательными, но потому то влюбиться мнѣ было трудно. А в отношеніи «гражданской жены» мнѣ, право же, и в голову не приходило, что я, «революціонный щенок», могу соперничать в сердцѣ ея с маститым нелегальным.

Собирались мы для совмѣстнаго чтенія и обсужденія прочитаннаго. Это было время максимальнаго безраздѣльнаго вліянія «Отечественных Записок», а молодежь просто бредила Михайловским, Щедриным, Успенским, «внутренними обозрѣніями» И. К. (начальство расшифровывало эти буквы как Исполнительный Комитет), Гаршиным и т. д. Мнѣ больше всего импонировал Щедрин, потому что насмѣшка, иронія — тоже вѣроятно по наслѣдственным склонностям и личным переживаніям, казались самым убійственным оружіем, и появлявшіеся тогда в каждой книжкѣ журнала с желтенькой обложкой «Письма к тетенькѣ» я частями знал наизусть, да и теперь еще кое-какія цитаты оттуда мог бы воспроизвести на память. Щедрин оказал большое вліяніе на мои литературные вкусы, он был несравненным ментором эзоповскаго языка, на котором русской прессѣ долго приходилось изъясняться, но было несомнѣнно и весьма вредное вліяніе в преувеличенном тяготѣніи к красному словцу, которое не щадило ничего святого. Что же касается Михайловскаго, то недавно здѣсь мнѣ попался том его «полнаго собранія сочиненій» и я не только не мог вызвать ощущенія былых чувств восхищенія и воспламененія, но просто не вѣрилось, что молодежь могла видѣть властителя дум в авторѣ односторонне унылой публицистики. Особое мѣсто занимали в Отечественных Записках статьи В. В. (Василія Воронцова), изданныя потом отдѣльной книгой под заглавіем «Судьбы капитализма в Россіи» и составлявшія теоретическій фундамент народничества. Автор доказывал, что, в силу ряда условій — прежде всего в виду захвата внѣшних рынков, — Россія не должна и не может в своем хозяйственном развитіи пройти через стадію капитализма, она изыщет поэтому самобытные пути. В то время русскіе марксисты только начинали оперяться, и статьи В. В. имѣли огромное вліяніе на молодежь. Воображеніе рисовало его мнѣ моло-

дым, задорным смѣлым бойцом, піонером, дерзкой рукой прокладывающим «самобытные пути», и я был горько разочарован, когда, познакомившись с ним уже в началѣ нынѣшняго столѣтія, увидѣл скромнаго молчаливаго безцвѣтнаго человѣка с невыразительным плоским лицом. Казалось, что он сам находится под гнетом наступившаго уже крушенія своей прельстительной конструкціи.

Наши совмѣстныя чтенія внезапно были оборваны арестом двоюроднаго брата: по просьбѣ одного народовольца он передал взятый для себя заграничный паспорт нелегальному, а, получив извѣстіе об его благополучном переѣздѣ через границу, заявил об утерѣ паспорта. Эта примитивная продѣлка легко была раскрыта жандармами, его нѣсколько мѣсяцев протомили в тюрьмѣ, а потом сослали в Дерпт, гдѣ он быстро излѣчился от своих увлеченій и уже неуклонно слѣдовал фамильному завѣту: моя хата с краю. Извѣстіе об арестѣ кузена разразилось в нашем домѣ, как удар грома, и отец настойчиво, но мягко, с влажными глазами, упрашивал меня, по крайней мѣрѣ, гимназію окончить. Быть может, в душѣ и отцы тогда начинали сознавать, что другого пути для дѣтей нѣт.

С приближеніем окончательнаго экзамена началась лихорадочная зубрежка. Формально грозой считались устные экзамены, но в сущности они были дѣлом домашним: волей-неволей учителя должны были проявлять большую снисходительность, ибо оставленіе замѣтнаго числа учеников в 8 классѣ выдавало скверный аттестат и учительским способностям. Другое дѣло — письменныя испытанія по русскому, латинскому, греческому языкам и математикѣ. Порядок установлен был такой, что во всѣ гимназіи даннаго учебнаго округа разсылались из канцеляріи попечителя уч. округа однѣ и тѣ же темы и задачи. В день экзамена на глазах учеников директор торжественно вскрывал запечатанный пятью печатями пакет и возвѣщал трепещущим ученикам полученную тему. Но большей частью трепет был напускной: то, что было секретом для директора, ученикам заблаговременно раскрывала канцелярія попечителя в обмѣн на содержимое тощих гимназических кошельков, в суммѣ дававших солидную цифру — помнится, нормальной платой было 10.000 рублей. Представители от каждой гимназіи сходились, долго торговались при раскладкѣ этой суммы на отдѣльныя гимназіи, послѣ чего слѣдовала внутренняя раскладка. В нашем выпускѣ центральной фигурой, ведшей переговоры, был ученик Ришельевской гимназіи Петриковец, потом злостный враг мой и пакостник, остальные не знали, с кѣм именно ведутся переговоры, и не могли ни в малѣйшей степени проконтролировать своего представителя. Покупка тем совершалась (по крайней мѣрѣ, в одесском округѣ) регулярно из году в год и если ни разу не была разоблачена, хотя ежегодно число участников тайны доходило до нѣскольких тысяч, то позволительно думать, что из вышеуказанных опасеній учителя сознательно закрывали глаза и, быть может, входя в класс с запечатанным пакетом, директор, вглядываясь в учеников, старался разгадать, напускают ли они на себя трепет или дѣйствительно охвачены паникой. По настоящему волновался в классѣ я один, как отвѣтственный за по-

купку, которая совершалась вслѣпую и не исключала возможности обмана. Камень отваливался от сердца, когда ухо улавливало наконец из уст директора давно знакомыя темы и задачи. У нас самым слабым мѣстом был греческій язык. Узнав тему, лучшіе ученики собрались, перевели с помощью словарей и грамматики и роздали товарищам ,причем, во избѣжаніе подозрѣній, в копіях для слабѣйших оставляли нарочитыя ошибки. Но предусмотрительность оказалась излишней, и первый ученик получил за тщательно подготовленную работу только тройку, которая и лишила меня медали. Что же было бы, если бы нам пришлось писать, не зная заранѣе темы. Так, послѣдним обманом достойно завершилось девять лѣт гимназической учебы.

Картонный лист, который, за подписью всего состава педагогическаго совѣта, удостовѣрял мою «зрѣлость», совсѣм не вызвал бурной радости, как я себѣ заранѣе представлял, и в этом была собственная вина. Чтобы преодолѣвать невыносимое душевное томленіе послѣдних весенних мѣсяцев, я давал волю и еще нарочито раздражал свое воображеніе — это, по справедливому замѣчанію, опаснѣйшее человѣческое свойство, которое впослѣдствіи отравило мнѣ нѣсколько лѣт жизни. Оно услужливо и все ярче разрисовывало картину ожидаемаго счастья прощанія с гимназіей, но затянувшееся предвкушеніе, к которому присоединялась усталость от зубрежки и волненій, связанных с покупкой экзаменаціонных тем, притупило воспріятіе дѣйствительности, и я тщетно старался преодолѣть вялость и унылость. Родители были, повидимому, уязвлены отсутствіем медали и «счастливѣйшій день моей жизни», как я не переставал задолго до его наступленія твердить, оказался совсѣм сѣреньким, будничным. Переход на новый жизненный этап совершился как то незамѣтно (так случалось неоднократно и впослѣдствіи) и был лишь отмѣчен полученіем старинных золотых часов отца, шелковаго кремового зонтика (как курьезно теперь это звучит — для защиты от солнца) и модной тросточки с набалдашником вродѣ молотка.



УНИВЕРСИТЕТ.

(1883—1885).

Хотя в то время евреи еще не подвергались никаким ограниченіям при поступленіи в университет, фактически они были значительно стѣснены в выборѣ факультета. Государственная служба была для них закрыта, свободными профессіями были врачебная и адвокатская, на инженеров было еще мало спроса, а потому евреи и устремлялись преимущественно на медицинскій и юридич. факультеты. На адвокатском поприщѣ уже тогда легендарно выдвинулось имя А. Я. Пассовера, с которым лѣт 15 спустя мнѣ посчастливилось встрѣтиться и под сильнѣйшим впечатлѣніем испытать претвореніе легенды в живую реальность. В Одессѣ врачами были почти исключительно евреи и двое даже щеголяли красными генеральскими отворотами пальто (один из них — Финкельштейн, во время русско-турецкой войны, вылѣчил главнокомандующаго вел. кн. Николая Николаевича старшаго, другой — Розен — состоял тюремным врачом). Но меня вопрос практическаго устройства не только не интересовал, а даже не вставал в головѣ: «юность нам совѣтует лукаво и шумныя нас радуют мечты». К юности присоединялось унаслѣдованное материнское легкомысліе, беззаботность, я не мог бы себѣ представить, что и я буду таким бородатым, морщинистым, озабоченным, как отец или дѣд, они были для меня не людьми другого возраста, а другими существами и, если бы стали увѣрять в противном, внутренне я бы не мог повѣрить этому. При таких условіях рѣшающую роль должна была сыграть начинавшая уже складываться мысль об общественном служеніи, о долгѣ перед народом, о борьбѣ с «реакціей». Хорошо еще, что в это время нигилизм уже уступил свое руководящее среди молодежи мѣсто народничеству, во главѣ с Н. К. Михайловским, признававшим необходимость серьезной научной подготовки. Таковой тогда представлялось в первую очередь изученіе естествознанія, успѣхи коего сильно дѣйствовали на юношеское воображеніе и манили близким разрѣшеніем загадки міра. Отсюда и возникло скороспѣлое рѣшеніе поступить на естественное отдѣленіе физико-математическаго факультета. Это отдѣленіе включало и каѳедру анатоміи, которая послужила бы вѣроятно серьезным препятствіем

для осуществленія моего рѣшенія: в нашей семьѣ очень жива была еврейская религіозная традиція, считавшая труп нечистью. Человѣк, прикоснувшійся к трупу, сам считается нечистым. Это развивало не то непріязнь, не то страх перед мертвецом, и впервые мнѣ привелось близко увидѣть и поцѣловать мертвеца в Берлинѣ в 1922 г., когда был убит безсмысленно злобной рукой соратник мой В. Д. Набоков. Прикосновеніе губ к угрожающе холодному лбу впервые дало мнѣ реальное ощущеніе смерти, непроходимой пропасти между жизнью и смертью и лишь с этого момента, когда мнѣ было уже под пятьдесят, я перестал смерти бояться. Не знаю, как здѣсь сказать — кстати или некстати — Новороссійскій университет тогда еще не имѣл медицинск. факультета, а потому и на естественном отдѣленіи анатомія не преподавалась.

Незадолго до моего поступленія этот университет блистал такими свѣтилами, как Сѣченов и Мечников, но и теперь еще были солидные ученые. Меня увлекала работа в лабораторіях, вѣроятно, потому, что она наиболѣе ярко подчеркивала рѣзкій переход от пассивнаго затверживанія гимназическаго урока к самостоятельным занятіям, которыя поднимали довѣріе и даже уваженіе к себѣ самому. От этих занятій осталось... да, пожалуй, ничего не осталось — помню химическую формулу воды, знаю, что такое хлорофил, вспоминаю удовольствіе лицезрѣнія новых міров под микроскопом, *но*, например, менделѣевская теорія элементов уже давно утратила в сознаніи свою отчетливость. Правда, многое из тѣх «успѣхов», и притом наиболѣе важное из того, что нам тогда авторитетно внушалось, самой наукой развѣяно по вѣтру или опрокинуто на голову. Один диссонанс прозвучал уже в год поступленія в университет: на съѣздѣ естествоиспытателей, состоявшемся в Одессѣ, извѣстный химик проф. Бутлеров произнес сенсаціонную рѣчь о спиритизмѣ, требуя серьезнаго отношенія и изученія явленія, которое «успѣхами» отрицалось. В частности подорвано стройное зданіе дарвиновской теоріи, но именно она оставила глубокіе слѣды в общем міровоззрѣніи нашего поколѣнія. Еще рѣзче слѣды обозначились, когда Іеринг претворил принцип борьбы в основное начало правовой жизни и дал народовольчеству лозунг: в борьбѣ обрѣтешь ты право свое! Однако, страстное увлеченіе молодежи Дарвином и Іерингом, внушавшими «ставку на сильных», нисколько не мѣшало восторженно исповѣдывать и некрасовскій завѣт: «гдѣ горе слышится, гдѣ трудно дышится, будь первый там!» И сейчас мнѣ думается, что, быть может, причудливое скрещеніе противоположных лозунгов и дало толчок отчужденію любви к ближнему от любви к дальнему, отчужденію, которое, среди радикальной молодежи, превращало эти, так сказать, единокровныя и единоутробныя стремленія в непомнящих родства. Отчужденіе это, между прочим, выразилось в презрительном отношеніи к «малым дѣлам»: под этим крылатым выраженіем и понималось проявленіе любви к ближнему, судьба и интересы котораго должны были смиряться перед грандіозной задачей общаго блага.

Здѣсь, впрочем, я уже вступил в область общественной жизни студенчества, которая сразу стала центром притяженія всѣх помыслов и душевных

тяготѣній. О профессорах, читавших нам лекціи, у меня остались смутныя, ускользающія представленія. Послѣ инквизиторских взглядов учителей, словно прожектором ощупывавших, всѣ ли пуговицы мундира застегнуты и есть ли форменный галстук под воротником, послѣ ежедневной провѣрки заданных уроков, профессора казались холодными, чужими, с которыми никакого контакта не чувствовалось. А переход от унылой, принудительной спаянности класса к шумной встрѣчѣ с новыми юношами, к свободному выбору общенія, полупризнанному самоуправленію — был не менѣе рѣзок, чѣм замѣна механическаго затверживанія урока самостоятельной работой. Я был почтен избраніем в старосты курса (помнится, оффиціально такого званія еще не существовало) и это мнѣ очень льстило, думаю, что тогда впервые зародилось ощущеніе честолюбія, желаніе быть первым. Это стремленіе в значительной мѣрѣ поддерживалось нѣкоторыми из друзей, которые льнули ко мнѣ, смотрѣли снизу вверх. Тут и стала проявляться новая черта характера: такое отношеніе расхолаживало, такіе друзья переставали занимать. Напротив, интересовали тѣ, кто относился равнодушно, кто казался замкнутым в себѣ, независимым. Больше всего привлекал обрусѣвшій грек Пекаторос, высокій, стройный, смуглый, всегда задумчивый юноша (впослѣдствіи мнѣ очень напоминал его член II Гос. Думы, очаровательный Церетели). Мы и сдружились с ним, но лишь на почвѣ общих интересов и взглядов, на опредѣленной дистанціи, вродѣ описаннаго выше учителя латинскаго языка, а меня влекло сойтись с ним душевно, узнать, что он скрывает под меланхолической задумчивостью, тайна души его представлялась интересной и заманчивой. Теперь, когда, как мнѣ кажется, я могу посмотрѣть на себя, двадцатилѣтняго, со стороны и спокойно, меня очень занимает указанная черта характера, в которой признаваться не совсѣм пріятно. Думаю, что тяготѣніе к личностям, представлявшимся самостоятельными и независимыми, диктовалось потребностью в твердой опорѣ, хрупкостью собственнаго душевнаго стержня, внутренним разладом, инстинктивным сопротивленіем сакраментальным условностям, с которыми связана была подпольная дѣятельность и которым в концѣ концов приходилось подчиниться. Поэтому, сам безсознательно ища опоры, я мало дорожил тѣми, кто ко мнѣ привязывался, кто жаждал о меня опереться. Непріятно сознаваться в этом, потому что я вдруг нахожу здѣсь источник эгоизма, которым меня впослѣдствіи близкіе люди не раз попрекали, а я считал, что всю свою сознательную жизнь отдал другим — и ближнему и дальнему. Вмѣстѣ с тѣм встает сейчас и другой вопрос, на который хотѣлось бы себѣ самому искренне отвѣтить: что же влекло нѣкоторых друзей ко мнѣ, в чем усматривали они превосходство? Я был вспыльчив, рѣзок, неустойчив в настроеніях, это все минусы, но вспыльчивость обусловливала смѣлость и дерзость до самозабвенія, даже до готовности пожертвовать жизнью (ох, как прав Достоевскій, утверждая, что «жертва жизнью есть, быть может, самая легчайшая из всѣх жертв»!), а в жизнерадостности соперников я не знал, она била через край и хотѣлось обнять весь мір. Конечно, чѣм шире был обхват, тѣм он был легковѣснѣй, менѣе цѣпок, но жиз-

нерадостность была сопряжена с горячей искренностью и простотой, которыя, смѣю утверждать, сохранились на всю жизнь.

Внѣ-университеским главой нашим был тогда Лев Яковлевич Штернберг — даже больше чѣм главой, в нѣкотором родѣ революціонным гувернером. Он тоже был студентом послѣдняго курса юридич. факультета, уволенным из Петербургск. университета и принятым в наш, и был старше меня. С удивленіем читаю сейчас в «Еврейской Энциклопедіи», что он родился в 1861 г., т. е. был старше меня на 4 года — я опредѣлял разницу не меньше, чѣм в 10 лѣт: высокій, очень худой, кожа да кости, с большой черной бородой, густой шевелюрой и болѣзненно изможденным лицом, подергивающимся сильнѣйшим тиком — говорил он с весьма замѣтным еврейским акцентом (в гимназію он перешел из житомірскаго раввинскаго училища), но вообще говорил мало и очень вѣско и держал себя весьма конспиративно. Мы очень глубоко уважали и порядком побаивались его и всѣ порученія и приказы исполняли безпрекословно. Обязанности наши сводились к пропагандѣ революціонных идей среди студенчества, к добыванію денег, к храненію и распространенію подпольной литературы, мой адрес служил для революціонных явок и т. п. Запомнилось, как однажды я с Гринцером и другим пріятелем Перехватовым, очень сѣреньким рубахой-парнем, провели вечер в ресторанѣ и вышли оттуда навеселѣ, а Перехватов был совсѣм пьян. Мы рѣшили отвезти его домой, а он все бормотал про какой-то паспорт, не обращая вниманія на наши сердитыя замѣчанія, что подозрительныя слова могут быть услышаны извозчиком. На другой день рано утром ко мнѣ явился смущенный Перехватов в сопровожденіи негодующаго Штернберга и потребовал паспорт, который срочно нужен для снабженія нелегальнаго революціонера. Тут только я стал понимать смысл вчерашняго бормотанія, но у меня паспорта не было, а П. настаивал, что он мнѣ отдал. Втроем мы отправились к Гринцеру, котораго застали еще спящим и этим еще болѣе сконфуженным. Он тоже, не менѣе рѣшительно, отрицал полученіе от П. паспорта, но по тщательном осмотрѣ платья паспорт наконец найден был в карманѣ пальто, и Штернберг, мрачнѣе тучи, прочел нам грозную нотацію, совсѣм лишнюю, ибо мы и сами безпощадно казнились. Два года спустя Штернберг был арестован, больше трех лѣт провел в одиночном заключеніи и был сослан на Сахалин, в отдаленное селеніе. Никак нельзя было расчитывать, чтобы этот истощенный, больной человѣк мог вынести столь тяжкое испытаніе. Уже один переѣзд из Одессы на Сахалин по Индійскому Океану в трюмѣ парохода, в желѣзных клѣтках, должен был погубить его, а фактически он не только превозмог невозможное — единственно силой духа, — но отлично изучил мѣстное первобытное населеніе и вернулся с большими знаніями по антропологіи и этнографіи. Его работы привлекли к себѣ вниманіе ученых и по возвращеніи в свой родной Житомір он приглашен был Академіей Наук на службу в качествѣ старшаго этнографа музея, предварительно, однако, выдержав еще окончательный экзамен по юридическому факультету. Из Житоміра он прислал мнѣ свою фотографію с трогательной надписью: on revient toujours a ses

premiers amours, а затѣм к великой радости моей пріѣхал в Петербург и выглядѣл гораздо бодрѣе, оживленнѣе и здоровѣе, чѣм 15 лѣт назад. От революціонной дѣятельности он совсѣм отошел, смѣнив ее на интересы еврейской общественности, и наши пути раздѣлились, став параллельными. В 1904 г., однако, наши имена соединились в изданном сборникѣ «Накануиѣ пробужденія», посвященном положенію евреев: его статья в этом сборникѣ обратила на себя общее вниманіе.

Одно из порученій, на меня выпавших, было уже болѣе серьезно и рискованно: нужно было доставить из Харькова в Одессу транспорт девятаго выпуска журнала «Народная Воля». Чтобы объяснить родителям неожиданный отъѣзд, пришлось пуститься на обман: я увѣрил — и то не отца, а мать для передачи ему, — что должен провѣдать заболѣвшую пріятельницу. Подобныя выдумки доставались мнѣ очень дорого, — я краснѣл до корня волос, но в данном случаѣ смущеніе не могло заронить никакого подозрѣнія: и само по себѣ такое признаніе должно было вызвать краску на лицѣ и не мало огорчило отца опасеніями о неравном бракѣ или, еще хуже, о внѣбрачном сожительствѣ. Тѣм сильнѣе я был тронут, когда за час перед отъѣздом отец зашел в мою комнату и с вопросом, а развѣ у тебя есть деньги, протянул мнѣ нѣсколько кредиток. Явка в Харьковѣ была дана к студенту послѣдняго курса Тиличееву, уже женатому, и у него я встрѣтил знаменитую Вѣру Фигнер (конечно, под псевдонимом, который я раскрыл уже много позже, и тѣм безпристрастнѣе будет мое утвержденіе, что она производила обаятельное впечатлѣніе изумительной цѣльностью своего прекраснаго образа). Тюк журнала доставлен был на квартиру Тиличеева Борисом Оржехом — высоким, атлетическаго сложенія красавцем, котораго в Одессѣ я знал, как вольнослушателя университета, но теперь он уже был нелегальным под кличкой «Анатолій», и я не должен был подавать вида, что был с ним знаком. Тиличеев, по окончаніи университета, поступил на службу по дворцовому вѣдомству и жил в одном из флигелей Аничкова дворца, куда я, переселившись в Петербург, носил ему нелегальщину, которую он принимал уже не очень охотно.

Въ Харьковѣ тогда учился Сеня, тоже поклонник мой, и с ним я пріятно проводил время, свободное от «обязанностей», но больших усилій воли требовала одна из самых священных обязанностей и на него распространить тайну истинной цѣли моего пріѣзда. Сеня убѣдил воспользоваться пребываніем в Харьковѣ, чтобы консультировать уже тогда на весь юг славившагося проф. офталмолога Л. Л. Гиршмана, на рѣдкость очаровательнаго человѣка. Небольшого роста, поджарый и очень подвижный, он поражал любовной внимательностью и отеческой заботливостью о посѣтителѣ, точно вы единственный паціент и не ждут в переполненных пріемных еще десятки жаждущих его помощи. Меня он успокоил насчет состоянія зрѣнія, но думаю, что и неблагопріятный діагноз не мог бы ослабить душевнаго умиленія, которое оставалось послѣ посѣщенія его. Мнѣ посчастливилось вновь посѣтить его около 30 лѣт спустя, когда я вновь на два дня пріѣхал в Харьков, но уже не за «Народной Волей», которой больше и не существовало, а

для выступленія в судебной палатѣ по громкому гражданскому процессу, Гиршман был уже глубоким старнком, но, казалось, совсѣм не измѣнился. Та же подвижность и такая же внимательность и дѣятельный интерес к паціенту. Лишь послѣ часового осмотра я сказал ему, что лѣт тридцать назад уже однажды был у него. «Как же вы с этого не начали, это же самое важное», и стал рыться в толстых переплетенных тетрадях, в безпорядкѣ разбросанных по всему большому кабинету, на этажерках, креслах и просто на полу. Когда наконец запись моего посѣщенія была найдена и он прочитал ее, лицо его буквально просвѣтлѣло, озарилось сіяніем, он потирал свои маленькія ручки, говоря: «Да, да! Вы тогда не спеціально ко мнѣ пріѣзжали, так у меня записано, как будто что-то скрыть хотѣли. Да, да, — студент. Ну, так вот что — желаю, чтобы еще через тридцать лѣт вы пришли ко мнѣ, впрочем, да, для меня это невозможно — и чтобы болѣе серьезных измѣненій в глазах у вас найдено не было». Теперь я уже не был восторженным юношей, но посѣщеніе оставило еще болѣе глубокое впечатлѣніе, и, вернувшись в Петербург, я прежде всего написал ему горячее письмо с просьбой подарить мнѣ свой портрет, но, к большому огорченію, отвѣта не получил — оттого ли, что просьба вообще была неумѣстна, оттого ли, что общественное мнѣніе Харькова было ко мнѣ враждебно настроено ибо иск был предъявлен к городу, или же просто оттого, что такія просьбы он получал, вѣроятно, от большинства своих безчисленных паціентов.

Я уѣзжал из Харькова вечерним поѣздом, конечно, в третьем классѣ, в переполненном вагонѣ. И сейчас еще отчетливо вижу небольшую плетеную корзину, в которой, среди дорожного багажа, хранилась драгоцѣнная кладь — штук сто экземпляров Народной Воли. Я был очень взволнован, но отнюдь не мыслью об опасности, а предвкушеніем удовольствія от похвалы Штернберга за умѣло выполненное порученіе и, намѣреваясь всю ночь бодрствовать, скоро уснул, сидя в неудобной позѣ, сном праведника. Это не было, однако, пренебреженіем, готовностью встрѣтить опасность, «пострадать за правду», а просто не было мѣста для мысли, что радостное настроеніе может быть грубо оборвано, что предвкушеніе удовольствія, доводившее меня иногда до состоянія опьяненія, может разрѣшиться арестантской камерой. Но хотя груз доставлен был благополучно, предвкушеніе снова оказалось ярче дѣйствительности: суровый гувернер ограничился только улыбкой, сопровождаемой усиленным тиком лица.

Очень крупным событіем, ярко отпечатлѣвшимся в памяти, было закрытіе правительством «Отечественных Записок» в Мартѣ 1884 г. Подробно мотивированное указаніями на связь журнала с народовольческим движеніем, запрещеніе произвело в университетѣ сенсаціонное впечатлѣніе и студенчество глухо волновалось. В мѣстной газетѣ «Одесскій Листок» появилось извѣстіе о пріѣздѣ поэта Д. Д. Минаева, и на Пекатороса и меня возложено было порученіе узнать от Минаева подробности казавшегося нам невѣроятным событія. Мы отправились к редактору-издателю В. В. Навроцкому, совершенно невѣжественному и даже малограмотному (утверждали, что свое имя он пишет: Василѣй) дѣльцу нуворишу, сумѣвшему усовер-

шенствованной газетной техникой разрушить монополію ретроградиаго «Новороссійскаго Телеграфа». Навроцкій жил в роскошной квартирѣ, в лучшем тогда одесском домѣ и, когда лакей открыл двери гостиной, нам представилась картина, которую мы меньше всего ожидали увидѣть и которая заставила Пекатороса отпрянуть назад. На круглом переднванном столѣ, за которым сидѣли Навроцкій со своим петербургским гостем, стояла батарея шампанскаго, оба были замѣтно пьяны, и, поднявшись нам навстрѣчу, не без труда держались на ногах. Нас пригласили присѣсть, но мой спутник брезгливо отказался, точно боялся оскверниться, и испуганно смотрѣл в осовѣлые глаза собутыльников, а Минаев заплетающимся языком весьма витіевато стал разсказывать, что выѣхал из Петербурга до закрытія: «эта благая вѣсть дошла до меня в дорогѣ накануне Благовѣщенія», и сам улыбнулся своей остротѣ. Но нам было не до словечек и, пробыв не больше пяти минут, мы простились и быстро стали спускаться по великолѣпной лѣстницѣ. Мы вѣдь были убѣждены, что застанем Навроцкаго с Минаевым за обсужденіем, как реагировать на столь крупное событіе, нам представлялось, что никто ни о чем другом и думать не может, и вдруг... разливанное море и столь неумѣстное остроуміе. Спокойный и всегда уравновѣшенный Пекаторос был внѣ себя, слезы стояли в прекрасных глазах, и теперь он искал помощи и поддержки у меня. «Что же это значит? — все повторял он — и это писатель! Как мы разскажем товарищам? Мы же убьем их». Мы и ограничились сообщеніем, что Минаев пріѣхал не из Петербурга и никаких подробностей не знает. Постановлено было, если память не измѣняет, послать адрес Щедрину, но отсутствіе Отечественных Записок оставалось весьма ощутительным.

Среди подпольнаго угара меня захватило новое увлеченіе, которое, думается, могло бы оказать рѣшительное вліяніе на всю будущность, если бы не было насильственно прервано. Еврейское благотворительное общество предложило мнѣ преподаваніе в старшем классѣ безплатной школы. К этой дѣятельности я был не больше подготовлен, чѣм мои гимназическіе учителя, оставившіе такую печальную память. Но отличіе было в том, что я отнесся к поставленной задачѣ с жгучим интересом, искренней любовью и пытливой вдумчивостью. Мнѣ уже приходилось давать частные уроки, дома ко мнѣ перешло воспитаніе моих младших (на 8—10 лѣт моложе меня) брата и сестры. Но теперь передо мной было около 30 мальчишек, обстрѣливавших со всѣх сторон своими веселыми вопрошающими глазками. Закрытыя двери класса как бы отрѣзали нас от всякаго посторонняго вмѣшательства и воздѣйствія, дѣти были в полном моем безконтрольном вѣдѣніи, это вызывало какое то сердечное умиленіе, с языка готовы были сорваться слова: «не волнуйтесь! Я передам вам все, что сам имѣю». Об этом эпизодѣ пришлось вспомнить здѣсь в Берлинѣ, на торжествѣ, в дѣтском домѣ имени Я. Тейтеля, и в своей рѣчи я вспоминал, что занятія в школѣ доставляли такую чистую свѣтлую радость, какой больше никогда уже не приходилось испытывать. Безспорно, впослѣдствіи были радости и болѣе бурныя и глубокія, но к ним уже всегда примѣшивался чуждый элемент честолюбія, тще-

славія, признанія, одобренія, торжества над противником, здѣсь же радость была тихой, именно свѣтлой, без всякой посторонней примѣси. Не потому ли, что в передачѣ своего умственнаго капитала «племени младому, незнакомому», в формированіи духовной личности воспитанника по своему образу и подобію ощущается величественное дыханіе, таинственный зов безсмертія. Я и сейчас волнуюсь воспоминаніем о наслажденіи, которое доставляли успѣхи дѣтей, но боюсь, что это увлеченіе мѣшало правильной постановкѣ преподаванія: я равнял его не по слабым, а по наиболѣе способным, на которых вообще слишком сосредоточивал и вниманіе и любовныя заботы. Уроки проходили живо, дѣтвора проявляла большую активность и интерес, и мнѣ все чаще стала приходить мысль в голову, что здѣсь и есть мое призваніе, но грубая случайность оборвала мои педагогическія потуги.

Лѣто этого года оказалось чревато и крупным домашним событіем. Началось оно тревожным ожиданіем больших выгод от значительнаго расширенія хлѣбных операцій, а разрѣшилось крахом, от котораго отец так уже и не оправился. Так как он совсѣм не посвящал нас в дѣла свои, то и сейчас я точно не знаю причины краха, но, повидимому, была тут и собственная неприспособленность. «Ропит» (Русское о-во пароходства и торговли) во главѣ котораго стоял тогда Чихачев, впослѣдствіи морской министр (С. Суворин в опубликованном дневникѣ утверждает, что он пріобрѣл этот пост за взятку графинѣ Богарнэ в милліон рублей), предоставил отцу крупный кредит для выдачи ссуд под закупаемый на Днѣпрѣ хлѣб. Это и дало толчок значительному развитію хлѣбных операцій, но, по скупости, не был приспособлен к такому расширенію торговый аппарат. Серебреник не мог справиться со своими разнообразными обязанностями и вызванная этим путаница усложнилась неурожаем, повлекшим за собой несостоятельность многих поставщиков хлѣба. Так и врѣзался в память угнетенный вид отца, когда я встрѣтил его на пароходной пристани по возвращеніи из поѣздки по Днѣпру, и горькое чувство обиды, когда он, сойдя с парохода, прежде чѣм со мной поздороваться, подошел к какому то служащему пароходства и минут 10 с ним говорил. В домѣ нашем стало совсѣм мрачно, но обстановка жизни еще не мѣнялась: крутыя, отчетливыя рѣшенія были не в характерѣ обоих родителей при всей разницѣ их душевнаго уклада.

Тѣм временем, несмотря на всѣ увлеченія, я вполнѣ успѣшно сдал испытанія с перваго курса на второй, но в началѣ новаго семестра мы с Гринцером рѣшили (подсознательно, быть может, вліял в этом направленіи и отцовскій крах), что событія развиваются слишком быстро, чтобы можно было тратить время на полученіе солиднаго образованія, а нужно как можно скорѣй добиться общественнаго положенія, которое даст возможность шире развить подпольную дѣятельность: студент, как таковой, уже считался подозрительным и привлекал к себѣ вниманіе жандармов. Наша оцѣнка политической обстановки была болѣе, чѣм наивна. В 1885 г. вышел послѣдній (11-й) номер «Нар. Воли». Как раз наступала пора гнетущаго затишья, послѣ убійства Александра II, составившаго кульминаціонную точку в бурной исторіи Народной Воли. Мы несомнѣнно вступали в полосу ея неуклоннаго упад-

ка, сопровождавшагося моральным разложеніем, гибельным вліяніем лозунга — цѣль оправдывает средства. Лозунг этот все шире стал примѣняться и в личной жизни. На поверхность всплывали охвостья героическаго движенія, расплодилось предательство, а общественное сочувствіе остыло, средства перестали притекать, и один из главных вождей Лев Тихоміров, живя с большой семьей в Парижѣ, с трудом вел полуголодное существованіе. Но тогда мы, зеленые юнцы, не могли отдать себѣ отчета в совершившемся уже переломѣ, беззаботно смотрѣли в будущее и вдвоем рѣшили бросить естествознаніе и перейти на юридическій факультет, намѣреваясь кончить его ускоренным темпом в три года.

Юридическій факультет был тогда совсѣм захудалый, не было ни одного сколько нибудь выдающагося профессора. Настоящим ученым был лишь историк русскаго права Леонтович, наводившій однако лекціями своими неотразимую скуку. Большой популярностью пользовался только что переведенный в Одессу профессор философіи Н. Я. Грот, красивый брюнет, с плѣнительным одухотворенным лицом и горящими глазами. Послѣ одной его лекціи, которая убѣжденно защищала теорію свободы воли, я написал ему взволнованное письмо, в котором изложил мучившее меня втайнѣ сомнѣніе, втайнѣ, потому что революціонеру не полагалось такими вопросами интересоваться. Грот пригласил к себѣ и очень привѣтливо встрѣтил, но был тогда слишком занят собою и, вмѣсто того, чтобы указать путь, наставить, как слѣдует подойти к работѣ над разрѣшеніем этого вопроса, стал горячо спорить со мною, как с равным, и двухчасовая бесѣда лишь сильнѣе растравила душевную рану. А затѣм наступило событіе, которое совсѣм не входило в мои расчеты.

Не помню точно, в каком мѣсяцѣ 1885 г. оно произошло, но разразилось совершенно неожиданно. Проходя однажды послѣ лекціи через сборный зал, я наткнулся на шумное сборище студентов, которое вот вот перейдет в рукопашную. Стыдно и досадно, что никак не могу вспомнить, из за чего произошла ссора, ясно вижу в центрѣ сборища ненавистнаго с налитым кровью лицом, страстно жестикулирующаго Петриковца, моего постояннаго противника на студенческих собраніях, от котораго студенты сторонились, как от лица, близкаго к начальству. Вижу старенькаго, сгорбленнаго педеля, в золотых очках с злобными шныряющими по лицам студентов маленькими глазками, с которым я столкнулся в дверях, но память упорно отказывается сказать, что собственно произошло. Пусть вообще память вправѣ мстить за недостаточно вдумчивое легкомысленное отношеніе к щедрым незаслуженным дарам судьбы, возбуждавшим лишь все болѣе неутолимую жажду жизни. Такую месть я вынужден признать законной и с ней мириться, но лишь по отношенію к позднѣйшему періоду: некогда было переживать настоящее, всегда отравленное тревогой и заботой о предстоящем часѣ и днѣ. Но в юности я полностью отдавался переживаемой минутѣ, меньше всего думал о будущем и тщетно ищу объясненія, почему же, почему столько незначущих мелочей из юношеской жизни так ярко сохраняется в памяти, а вот это событіе, сыгравшее столь важную роль, безформен-

но расплылось. Но совершенно опредѣленно утверждаю, что рѣшительно никакого участія в столкновеніи не принял, не произнес ни слова, хотя требовалось немало силы воли, чтобы молча пройти мимо. Я должен был так поступить, потому что «революціонерам» строжайше запрещено было вмѣшиваться в студенческія стычки, мы должны были стоять выше «малых дѣл». Памятуя завѣт Штернберга и подавляя порывистость, я задержался в залѣ, пожалуй, не больше одной, двух минут и вмѣстѣ с моим спутником, очень милым добродушным болгарином Ивановым, направился к выходным дверям, у которых мы и встрѣтили педеля, впившагося в нас своими сверлящими глазами. Велико же было удивленіе, когда дня через два получена была повѣстка из университета с приглашеніем явиться в засѣданіе правленія, но все же, сознавая свою полную непричастность, я еще не придавал дѣлу никакого значенія. Засѣданіе состоялось вечером под предсѣдательством ректора, извѣстнаго профессора математики Ярошенко, у котораго на лицѣ играли чахоточныя пятна. С явным раздраженіем он задавал вопросы, на которые я отвѣчал спокойно и увѣренно, а через день получил извѣщеніе о моем увольненіи из университета, причем один из судей — декан юридическаго факультета профессор Богдановскій, старый знакомый отца, разсказал, что когда я выходил из засѣданія, Ярошенко замѣтил: «Вот один из способных евреев, который всѣм руководит, а потом разыгрывает святую невинность». (Десять лѣт спустя Ярошенко сам оказался «жертвой режима» — был выслан из Одессы на основаніи положенія об усиленной охранѣ).

Впервые пришлось испытать такую вопіющую несправедливость, но так как лѣт 10 спустя случился другой, хотя и болѣе слабый варіант, то я склонен допустить, что в манерѣ ли держаться (мнѣ представлявшейся скромной), или в выраженіи лица было нѣчто вызывающее и раздражающее. Уволен был также и Иванов, горячо отстаивавшій на судѣ мою непричастность, и его увольненіе потом оказалось для меня весьма благодѣтельным. А пока несправедливость была еще значительно отягчена суровым недовольством Штернберга, хотя он и не сомнѣвался, конечно, в моих увѣреніях, что я влетѣл, как кур во щи. Сам же я не сомнѣвался, что попаду в другой университет, и втайнѣ даже радовался новым перспективам. Я рѣшил попытать счастья в Петербургѣ, и хотя отцу это было очень не по душѣ — он словно предчувствовал неизбѣжный конец, но все же снабдил меня кучей рекомендательных писем. Помню — был я у Чихачева, тогда уже начальника главнаго морского штаба, изумившаго меня увѣреніем, что он с министром народн. просвѣщ. незнаком, у б. одесскаго городск. головы Новосельскаго, теперь отдавшагося сомнительному грюндерству, у редактора еврейской газеты Цедербаума, пріятеля графа Делянова, и у самаго, впадавшаго уже в дѣтство, Делянова на пріемѣ, и вездѣ поражала меня холодная, застегнутая любезность, огражденная от просителя строго опредѣленной дистанціей.

Но сам Петербург очаровал меня, я сразу и навсегда в него влюбился, как в неприступную красавицу. Был конец Марта, когда солнце заливало

город яркими лучами, как бы для того, чтобы рѣзче выдѣлить величавую строгую красоту его. Разбираясь теперь в своих впечатлѣніях, думаю, что больше всего меня плѣняло, что он так выгодно отличался от меркантильной Одессы, что здѣсь был совсѣм другой воздух. А кромѣ того, многое, самое прекрасное, оказалось давно не только знакомым, но близким, родным и не вѣрилось, что воочію все это увидѣл. Вот Адмиралтейская игла, вот «Петру I Екатерина II», Сенатская площадь, памятник Крылову, Лѣтній сад — все будило в душѣ тот или другой волнующій отзвук. Иван Карамазов собирался заграницу, чтобы цѣловать и плакать над камнями, под которыми лежат самые дорогіе покойники. Это настроеніе я остро испытал много позже, когда впервые побывал в Парижѣ, но здѣсь для меня было не кладбище, а фундамент новой прекрасной жизни и, ступая по Невскому, чувствовал себя окрыленным и совершенно игнорировал, что, как уволенный студент-еврей, не имѣю даже права жить в Петербургѣ, внѣ черты осѣдлости, и так и прожил около двух мѣсяцев.

Обиваніе высокопоставленных порогов оказалось безрезультатным, холодной любезности было недостаточно, чтобы возстановить грубую несправедливость. В пріемѣ мнѣ было отказано. Но, что было вовсе не в моей натурѣ, на этот раз я заупрямился, осенью вновь поѣхал в Петербург вмѣстѣ с Ивановым и отправился на пріем к ректору, проф. полицейскаго права И. Е. Андреевскому. Я вошел первым, и, увидѣв весьма доброе, симпатичное лицо, услышав мягкій, нѣсколько вкрадчивый голос еще молодого профессора, проникся к нему полным довѣріем и искренне разсказал об учиненной надо мной несправедливости. Он слушал очень внимательно, и казалось, в чем я и не ошибся, что мнѣ сочувствует. Он меня ободрил, но сказал, что должен еще раз послать в Одессу запрос обо мнѣ. Я не стал ожидать пріема Иванова, ибо было ясно, что и он получит тот же отвѣт, а меня тут же ждала кузина, слушательница высших курсов, чтобы отправиться на поклоненіе в Старую Деревню, гдѣ на дачѣ жила маленькая радушная старушка, мать повѣшеннаго народовольца Квятковскаго с дочерью курсисткой, весьма некрасивой, но привлекательной. Обѣ производили отличное впечатлѣніе, но было не по себѣ, потому что я чувствовал это впечатлѣніе заранѣе навязанным, а не непосредственно воспринятым; если бы оно оказалось неблагопріятным, я не должен был бы даже самому себѣ признаться.

А дома ждал меня большой сюрприз: я застал моего милаго Иванова, который сначала пожурил, что я поступил не по-товарищески, не подождав его, а затѣм сообщил, что когда он по требованію ректора вновь разсказал, как все происходило, и разсказ, очевидно, совсѣм совпал с извѣстной уже Андреевскому моей версіей, то ректор смущенно спросил: «А вы развѣ еврей?» — «Нѣт, я православный, болгарин». Еще больше запинаясь, ректор спросил: «А ваш папаша тоже православный?» На что не менѣе изумленный Иванов отвѣтил: «А как же иначе?» — «Отлично, вы будете приняты, но формально требуется отзыв из Одессы». Тогда Иванов спросил: «А как же мой товарищ Гессен?» — «А, хорошо, что вы о нем спросили. Ему скажите, что он уже принят». Вот эта курьезная подробность нѣсколько запол-

няет досадный пробѣл памяти и позволяет утверждать, что выходка Петриковца была антисемитская и что в первом отзывѣ университета дѣло было представлено, как обида русских евреями, каковую версію безпощадно разбил «папаша Иванова».

Итак, я своего добился — уволенный из захудалаго провинціальнаго университета, был принят в столичный, казалось бы, наиболѣе оберегаемый от «вредных элементов». Таков был парадокс самодержавнаго режима. В то время жива была легенда об университетском швейцарѣ, полном сознанія своего достоинства, к которому часто обращались мамаши, кто побѣднѣе, с просьбой о рекомендаціи репетитора для неуспѣвающих сынков-гимназистов. Одна из таких мамаш просила швейцара указать «тихаго и спокойнаго» человѣка, из за котораго не пришлось бы испытать непріятности от полиціи. Швейцар насупился и гордо отвѣтил: «У нас таких нѣт»! Такой гордостью был преисполнен и я, несомнѣнно, что большинство среди относившихся индиферентно к политическим событіям чувствовали себя неловко, как бы виноватыми в чем то. А для меня было прежде всего важно, что не нужно было уже изощряться в придумываніи способов отстоять свое «жительство» в Петербургѣ, теперь я был полноправный гражданин и не представлял себѣ, что можно разстаться с Петербургом и жить гдѣ либо внѣ его. Принят я был на первый курс, на котором читали лекціи — по исторіи римскаго права безцвѣтный Ефимов, каким жалким он выглядѣл позже в 1898 г. в качествѣ оппонента Л. І. Петражицкому на его блестящем докторском диспутѣ. О профессорѣ политической экономіи Вреденѣ сложилась поговорка, что «Вреден не столько вреден, сколько безполезен». Серьезными учеными и отличными преподавателями были Коркунов, читавшій энциклопедію права, Янсон, преподававшій соблазнявшую меня статистику, к которой я чувствовал настоящее «влеченье, род недуга», и, в особенности, величественный Сергѣевич, его интересныя и содержательныя лекціи я, по возможности, аккуратно посѣщал и даже прочитал в его семинарѣ реферат.

Но мнѣ давно уже не терпится перейти к важнѣйшему, чѣм одарил меня тогда Петербург, и отдаться одному из самых отрадных и самому трагическому воспоминанію. При нашем разставаніи в Одессѣ Штернберг снабдил меня письмом к своему старому пріятелю и революціонному соратнику Альберту Львовичу Гаусману, меня, так сказать, препоручил ему. Г. жил лѣтом на дачѣ в Теріоках, гдѣ я его впервые и посѣтил. Был пасмурный вѣтреный день, послѣ Черного моря теріокская лужа производила отвратительное впечатлѣніе, от котораго я так уж и не мог избавиться за 20 лѣт пребыванія в разных окрестностях Петербурга. Мы гуляли по пляжу, разговор шел о подпольной дѣятельности, о видах на будущее и я, вѣроятно, был больше занят собой, чѣм своим собесѣдником, которому мнѣ хотѣлось внушить выгодное о себѣ представленіе. Разговор вязался тягуче, и первое впечатлѣніе было, что в Петербургѣ, кромѣ холодной любезности, вообще ничего встрѣтить нельзя. Даже и внѣшность Гаусмана я оцѣнил только при втором свиданіи, которое состоялось уже в его городской, столь памятной мнѣ, скромной квартирѣ на Невском просп. за Николаевским вокзалом. Гаусман был

сверстником Штернберга, но выглядѣл моложавѣе. Высокій, стройный, со смуглым матовым лицом, обрамленным чуть курчавящимися волосами и небольшой черной бородой, живыми добрыми глазами. В лѣвом углу рта была какая-то неуловимая и потому, быть может, плѣнительная неправильность, замѣтно обозначавшаяся во время рѣчи, произносимой пріятным грудным баритоном. Гаусман познакомил меня со своей женой, очень некрасивой, но милой, простой и, как впослѣдствіи оказалось, безконечно доброй женщиной с грустными еврейскими глазами, так подходившими к ея библейскому имени Ревекка. Разговор вращался вокруг тем житейских и, согрѣтый ея душевной теплотой, я сбросил стѣснительный революціонный мундир, почувствовал себя весьма уютно и загорѣлся дружеским довѣріем к ним обоим, так что когда Г. неожиданно предложил поселиться у них, я с радостью принял это предложеніе, и сразу между нами установились дружескія отношенія, которыя с каждым днем все болѣе крѣпли. Цѣннѣйшим дополненіем незабвенной обстановки была их дочь Надя, хорошенькая, в отца, дѣвочка лѣт 6, впечатлительная, дѣлившая свои привязанности между отцом и мной. Больше всего любила она слушать, сидя на колѣнях и в упор смотря на меня расширенными бархатно-черными глазами, чтеніе разсказов из первых четырех «книжек для чтенія» Льва Толстого. Впервые тогда я оцѣнил геніальное проникновеніе великаго писателя в дѣтскую душу и изумительно благотворное вліяніе на ея формированіе. Эти книжки можно было бы назвать на современном нарѣчіи настоящим душевным витамином.

Скажу прямо, что в такой пріятной, ни одним диссонансом ненарушаемой и духовно возвышенной домашней обстановкѣ мнѣ уже больше не приходилось жить. В отличіе от Штернберга, Гаусман не держался гувернером, а был старшим товарищем, старшим братом и отнюдь не имѣл вида конспиратора, хотя или именно потому умѣл отлично конспирировать и, судя по нѣкоторым признакам и по дальнѣйшей печальной судьбѣ его, занимал в революціонной средѣ видное положеніе. В наших отношеніях не было ни малѣйшей примѣси принудительнаго ритуала, к которому у меня была настоящая идіосинкразія, и наше общеніе выходило далеко за предѣлы подпольной дѣятельности. В то время, под воздѣйствіем все укрѣплявшейся реакціи, захватывавшей и общественныя настроенія, стало развиваться среди молодежи taedium vitae, против чего выступил с сердечно написанной книгой К. Кавелин. С другой стороны, разложеніе «Народной Воли» обострило опасность лозунга — цѣль оправдывает средства, и под этим вліяніем, вѣроятно, меня стали волновать вопросы морали. Я отдыхал от своих сомнѣній, когда переходил к чтенію сочиненій Лассаля, которым, как героем шпильгагенскаго романа «Один в полѣ не воин», увлечен был уж нѣсколько лѣт назад. Уже и тогда я не колебался в выборѣ между его взлетами и крохоборством Вальтера; а теперь рѣчи Лассаля представлялись мнѣ недосягаемым совершенством политическаго краснорѣчія и навсегда остались образцом, которому нужно посильно подражать.

Со всѣми моими восторгами и сомнѣніями я обращался к Альберту Львовичу, на эти темы мы много бесѣдовали и моему лоскутному образованію

Гаусман противопоставлял широкую, разностороннюю начитанность, глубокій ум и, быть может — для меня самое важное, любящее сердце. В нем я впервые нашел моральную опору, как бы защиту от самого себя. А подпольная дѣятельность шла своим чередом. Это был, так сказать, общій множитель, который стоял за скобками. Отпала обязанность добывать деньги, просто потому, что в Петербургѣ у меня не было никаких «буржуазных связей». Отпало и кружковое самообразованіе — мы уже вышли из этого возраста. Прибавилось зато печатаніе и гектографированіе воззваній и брошюр. Я лично, впрочем, от этого был освобожден, но зато работал по составленію их. Конфузно теперь вспоминать, что на меня возложено было написать возраженіе на вышедшую тогда заграницей брошюру Плеханова «Наши разногласія», представлявшую едва ли не первое оформленное выступленіе русских соціал-демократов против народников. Она была пущена в обращеніе в гектографированном видѣ и имѣла успѣх, но мнѣ была важна и дорога лишь похвала Гаусмана. Эта брошюра, появившаяся в 1885 г., и является моим литературным дебютом, и таким образом пятидесятилѣтіе литературной дѣятельности совпадает с моим семидесятилѣтіем. Я был убѣжден, что от нея никакого воспоминанія не осталось, но к величайшему удивленію, года два назад вдруг блеснул ея слѣд. В случайном разговорѣ с Б. И. Николаевским, живой энциклопедіей революціоннаго и освободительнаго движенія, выяснилось, что мое первое дѣтище гдѣ-то зарегистрировано, имѣет свое мѣсто в исторіи «Народной Воли», но авторство ея «считается», как выразился Николаевскій, «за Брамсоном». Отъѣзд Николаевскаго из Берлина лишил возможности углубить справки, а уж какое удовольствіе доставило бы посмотрѣть теперь на своего литературнаго первенца и познакомиться, именно познакомиться с ним: старческими глазами я, вѣроятно, с трудом узнал бы его. Помню лишь, что на «воронцовском россинантѣ» это был лихой кавалерійскій наскок на Плеханова и ясно вижу фіолетовую краску гектографа на обложкѣ, на которой горделиво значилось: «Изданіе группы молодежи партіи Народной Воли». Совсѣм смутно припоминаю участников группы: встрѣчались мы рѣдко и, конечно, украдкой, личныя отношенія, кромѣ упомянутого Иванова, сложились только с донским казаком Демяником, умственно заурядным, но морально как дуб крѣпким и вмѣстѣ с тѣм очень мягким юношей, вносившим веселье и бодрость своим хохлацким юмором.

Так мы и жили, безоблачно и беззаботно. Впервые я замѣтил за собой гороховое пальто, как окрестил шпиков Щедров, в ноябрѣ, возвращаясь домой с собранія группы, происходившаго гдѣ то у Пяти Углов, но не придал этому серьезнаго значенія. На рождественскія каникулы я собирался по настойчивой просьбѣ родителей в Одессу, получил деньги на дорогу, как вдруг, чуть ли не наканунѣ отъѣзда, пришло письмо из Дерпта от Оржеха. Содержаніе было самым безобидным, но это то и указывало, что искать нужно между строк то, что там написано химическими чернилами. Проявив черила, я прочел: «Ни вы, ни Альберт Львович ни в каком случаѣ не уѣзжайте на Рождество из Петербурга. Скоро пріѣду с грузом. Анатолій».

Коротко и ясно! Я почувствовал себя очень неловко перед родителями, всегда и до сих пор мной овладѣвает смутная тревога, если не являюсь во время туда, гдѣ меня ждут. Но ослушаться приказа — даже и мысль об этом не могла в умѣ или сердцѣ возникнуть. Я и остался. А до прiѣзда Оржеха, в ночь с 26 на 27 Декабря, около трех часов утра, явились «гости», обманув вышедшую на звонок прислугу увѣренiем, что звонит разсыльный с телеграммой. В мою небольшую комнату вошло трое полицейских, остальные сгрудились в прихожей. Молнiей промелькнуло воспоминанiе о гороховом пальто, задним числом пояснившее, что этого надо было ожидать, и я так и не успѣл удивиться и взволноваться. Говорю это не для того, чтобы похвастать, думаю, что чувствовал бы себя очень неуютно, если бы жил не в дружеской семьѣ, по моему характеру — на мiру и смерть красна. А во вторых, меня всегда гораздо больше волновала угроза опасности, дававшая пищу воображенiю, чѣм ея наступленiе. Пристав предъявил ордер на обыск и арест и просил постучать в спальню Гаусмана, чтобы он с женой одѣлся. Я одѣлся уже с помощью пристава, который подавал мнѣ части туалета, предварительно тщательно осмотрѣнныя им. На вопрос, развѣ и Гаусмана приказано арестовать, пристав отвѣтил: «Нѣт! Только обыскать». Я искренне обрадовался, потому что считал, что у Гаусмана ничего нелегальнаго нѣт, но впослѣдствiи выяснилось, что любезность пристава, не рѣшавшагося войти в супружескую спальню, дала ему возможность сжечь два компрометирующих документа. Но выяснилось впослѣдствiи и другое — что радоваться было болѣе чѣм преждевременно, напротив, слѣдовало встревожиться именно тѣм, что Гаусмана, которому уже приходилось имѣть дѣло с жандармами и у которых он был на примѣтѣ, оставляют на свободѣ, а меня, у котораго молоко на губах не обсохло, приказано арестовать независимо от результатов обыска. Уже это одно было по отношенiю к Альберту Львовичу угрожающе загадочным и так оно и разрѣшилось. Радоваться же должен был аресту я — он был, так и оставшимся загадочным даром судьбы, точно какая то заботливая, любящая рука вырвала меня из готовящейся уже захлопнуться ловушки. Воистину не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь.

Я горячо распрощался со своими дорогими друзьями, увы! не подозрѣвая, что с Альбертом Львовичем прощаюсь навсегда, — и было уже солнечное прекрасное зимнее утро, когда мы с приставом усѣлись на извозчичьи дрожки, чтобы отправиться на Шпалерную, в Дом предварительнаго заключенiя. Как странно — я испытывал приблизительно то же настроенiе нервной усталости, какое было у меня наканунѣ предыдущаго этапа жизни, когда с аттестатом зрѣлости в карманѣ я навсегда покидал гимназiю.

ТЮРЬМА И ССЫЛКА.

(1886—1888).

«Дом предварительнаго заключенія», куда доставил меня полицейскій пристав, примыкал со Шпалерной улицы к сожженному в первые дни революціи зданію Судебных Установленій со знаменитой на нем надписью: «Правда и милость да царствуют в судах». Дом предназначался для подслѣдственных арестантов, но, по мѣрѣ надобности, большая или меньшая часть верхних этажей отводилась для «политических». В то время тюрьма эта считалась образцовой и дѣйствительно одиночныя камеры были чистыми, сухими, теплыми, в небольшое окно, расположенное выше человѣческаго роста, проникало достаточно свѣта, обращеніе тюремщиков было безукоризненным, пища, правда, была совсѣм неважная, но за свой счет можно было получать обѣды из тюремнаго ресторана, два раза в недѣлю допускались «передачи» любых пищевых продуктов от родственников и друзей, также и книг. Передача ожидалась с величайшим нетерпѣніем, потому что, послѣ придирчиваго осмотра, заключенный сам начинал тщательно ее изучать и частенько находил вѣсточку с воли, умѣло скрытую от взоров начальства. Тюрьма имѣла и свою недурную библіотеку, а так как разрѣшались и письменныя принадлежности, то, сидя на откидывающейся от стѣны желѣзной доскѣ, за такой же побольше, которая служила столом, можно было и писать. Немало литературных произведеній, появлявшихся тогда в журналах, так и было написано. Словом — жить можно было.

Жизнь в тюрьмѣ начиналась около шести часов утра. Пробужденіе вызывалось появленіем в камерѣ подслѣдственнаго арестанта, очищавшаго парашу, и потому было всегда очень непріятно. Вслѣд затѣм слышны были выкрики в коридорѣ: «Кипяток, кипяток!», в дверях камеры отваливалось крошечное оконце, сквозь которое заключенный передавал свой чайник или казенную кружку и получал горячую воду, но чай нужно было имѣть свой. Через час новые громкіе возгласы: «Письма, прошенія!» На звонок заключеннаго вновь откидывалось окошечко и в щель подносимаго тюремщиком ящика можно было опустить письмо или прошеніе, конечно, в незапечатанном видѣ. Около полудня разносился по камерам обѣд, еще через два-три

часа — прогулка, для которой во дворѣ отведен был большой круг, обнесенный высоким деревянным забором и раздѣленный такими же перегородками на пятнадцать сегментов; в каждый сегмент, длиною в 8—10 метров, впускался один заключенный, а в центрѣ круга возвышался сторожевой пост, на котором поворачивался во всѣ стороны тюремный надзиратель, слѣдившій за поведеніем гуляющих. Если стать на парашу, положив предварительно нѣсколько книг на нее, то с грѣхом пополам можно было дотянуться до окна и, держась за его рѣшетку, под угрозой рѣзкаго оклика заглянувшаго как раз в этот момент в глазок двери надзирателя, увидѣть тюремный двор и гуляющих в сегментах. Было очень интересно наблюдать за ними: иные быстро шагали взад и вперед, другіе разсыпали хлѣбныя крошки, на которыя слетались голуби, третьи жадно слѣдили за поворотами надзирателя и, улучив момент, когда он стоял к ним спиной, знаками пальцев быстро переговаривались со своими друзьями в камерах. Иные спѣшили продѣлать гимнастику, а нѣкоторые производили тяжелое впечатлѣніе опущенным в землю взглядом и полным безучастіем ко всему окружающему. Около четырех часов вновь подавался кипяток, потом ужин и в 9 часов гаснлось газовое освѣщеніе, дверь камеры запиралась на второй замок, но разрѣшалось имѣть свѣчи и при их освѣщеніи работать хотя бы и всю ночь. От времени до времени заключенных водили в тюремную баню, тоже совсѣм опрятную, а в воскресенье и по праздникам желающіе могли присутствовать в тюремной церкви: полукругом были расположены крошечныя клѣтушки, передняя стѣнка которых была рѣшетчатая, что давало возможность видѣть священника и, слушая молитвенное пѣніе и чтеніе Евангелія, острѣе ощущать насиліе над собой. Раз, а то и два в недѣлю заключенному давались свиданія с родными и это конечно было самым желанным моментом в тюремном быту, хотя обстановка была угнетающая: заключеннаго вводили в такую же клѣтушку, как в церкви, перед собой на разстояніи метра он, сквозь другую рѣшетку, не без труда различал за ней знакомое лицо посѣтителя и напряженно должен был вслушиваться в его слова, ибо клѣтушек было много, одновременно всѣ были заняты и стоял оглушительный, раздражающій гомон, от котораго послѣ свиданія наступала сильная нервная усталость.

Впервые я очутился в одиночествѣ, и мнѣ, привыкшему и избалованному постоянным общеніем с людьми, оно давалось нелегко. Но в сущности настроеніе не измѣнилось: оно вообще не отличалось устойчивостью, подчинялось внѣшним воздѣйствіям и теперь также, если выдавался яркій солнечный день и в открытое окно доносились с Литейнаго звонки «конки», врожденное легкомысліе помогало бодрости взыграть, и стѣны камеры широко раздавались, а то и вовсе ускользали из глаз. Самым непріятным моментом, особенно в первые дни, было громкое щелканье запиравшаго на ночь камеру второго замка, на которое рефлекторно реагировало еканье сердца, казалось, столь же громкое при наступающей сразу гробовой тишинѣ. А днем много читал (помню перечитываніе «Преступленія и Наказанія« — в тюремной библіотекѣ, по-моему, Достоевскому не должно быть мѣста),

вслух декламировал Некрасова, почему-то чаще всего Отвѣт Неизвѣстному Другу, и иногда входил в такой раж, что в дверном окошечкѣ вдруг появлялось усатое лицо надзирателя и раздавалась сердитая угроза перевести в карцер. Но первым дѣлом, только-что оглянувшись, я вспомнил, что можно разговаривать с сосѣдями постукиваніем в стѣнку. Опять же по легкомыслію, своевременно не позаботился ознакомиться с тюремной азбукой и теперь тщетно пытался установить сношенія с сосѣдями — вѣрнѣе с сосѣдом, потому что с одной стороны постукиванія вообще оставались безотвѣтными. А с другой — сосѣд откликался, но я ничего разобрать не мог, а он конечно тѣм менѣе. И вот однажды, на прогулкѣ, я вдруг увидѣл на снѣгу небольшую блестящую трубочку, а потом и другую такую же и, когда надзиратель отвернулся, быстро поднял их и спрятал в карман. Вернувшись в камеру, с трепетом развернул свинцовыя бумажки от конфет и внутри нашел двѣ записки, на которых была написана тюремная азбука: тридцать букв по пяти в горизонтальном ряду были раздѣлены между шестью вертикальными рядами и каждая буква опредѣлялась числом стуков, соотвѣтственно занимаемому ею мѣсту в горизонтальном и вертикальном ряду (напр. е — один удар, чуть замѣтный перерыв — и пять ударов), уже через недѣлю я так наловчился, что бѣгло мог вести разговор. Но бѣда, что уголовные арестанты вели разговоры также по трубам центральнаго отопленія, и приходилось быть невольными слушателями отвратительных, циничных бесѣд, добродушной, но чудовищной ругани, и эти разговоры, от которых нельзя было укрыться, положительно отравляли существованіе. Но в первые дни трудно было составлять слова и еще труднѣе разбираться в стукѣ сосѣда, а между тѣм, прежде всего каждому из нас надо было узнать, с кѣм он имѣет дѣло. На второй день я слышу: «Когда погаснет свѣт, отвинтите газовый рожок». Я сразу не понял, но он настойчиво повторил, и послѣ девяти часов, дрожа от страха, я отвинтил рожок, дал знать, что готово, и тогда из оставшагося отрѣзка трубы высунулась тонкая палочка, обернутая бумагой. Оказалось, что газовая труба проходит внутри раздѣляющей нас стѣны. На опредѣленной высотѣ над столом она развѣтвляется на два колѣна, образующія вмѣстѣ горизонтальную трубку, один конец которой находится в моей камерѣ, а другой у сосѣда. Вытянув палочку и привинтив рожок, я зажег свѣчку, прочел біографію моего корреспондента, а на другой день таким же способом отправил ему свое жизнеописаніе. Кончилось тѣм, что однажды неловким поворотом я сломал рожок, но это не вызвало никакого подозрѣнія. Поставили новый, но уже не отвинчивавшійся, и переписка прекратилась.

Она, впрочем, была и ненужна больше и перестукиванье тоже завяло. Мой сосѣд задал мнѣ тяжелую загадку. Он сидѣл нѣсколько лѣт, перебывав в различных тюрьмах, и был даже осужден уже на каторжныя работы по обвиненію в соучастіи в убійствѣ с корыстной цѣлью богатой старухи в Новгородѣ. Но так как на судѣ выяснились данныя, указывавшія на политическій характер преступленія, совершеннаго в интересах партійной кассы, то его продолжали держать, как политическаго, в цѣлях раскрытія

революціоннаго сообщества. Мнѣ впервые пришлось столкнуться с таким страшным конкретным примѣненіем принципа: цѣль оправдывает средства, и это знакомство совершенно ошеломило, тѣм болѣе, что, как можно было убѣдиться из разговоров, человѣк он был малоинтеллигентный, пассивный, у меня сложилось впечатлѣніе, что он был орудіем в чужих руках, и вопросы этики, уже и раньше немало волновавшіе, выдвинулись на первое мѣсто; а так как желаніе подсказывает мысль и не хотѣлось сдавать занятую партійную позицію, то я старался найти оправданіе в утилитарной морали, которая, однако, давала больше удовлетворенія разсудку, чѣм совѣсти, и смутно уже тогда в тюрьмѣ я ощущал, что почва подо мною колеблется.

Смущеніе значительно усилилось, когда однажды на свиданіи вмѣстѣ с кузиной, аккуратно меня посѣщавшей, появился и отец, поспѣшившій в Петербург на выручку. Не сомнѣваюсь, что ему легче было бы видѣть меня в гробу (вѣрнѣе сказать — мертвым, потому что видѣть мертваго в гробу евреям не полагается), чѣм за рѣшеткой. Об этом свидѣтельствовал его растерзанный вид, воспаленные глаза, всклокоченные волосы, он с трудом выдавливал из себя слова, явно опасаясь, чтобы не брызнули слезы. За отца говорила кузина, увѣряя, что уже удалось найти протекцію, которая вызволит меня, но ея угнетенное настроеніе болѣе краснорѣчиво говорило об отражавшемся на ней душевном состояніи отца. Я вернулся в камеру совсѣм разбитый, охваченный тупой тоской, не хватало мужества принять на себя отвѣтственность за нанесенный тяжкій удар, тѣм болѣе, что теперь разореніе принимало уже угрожающій характер, и многочисленная семья возлагала всѣ надежды на меня, как на будущую опору. Тревожно спрашивал я себя, нѣт ли эгоизма в моем увлеченіи идеей спасенія Россіи, которая обойдется без меня, и не благороднѣе ли принести себя в жертву интересам семьи, которой грозит нищета и распад. Но я чувствовал, что такая жертва будет напрасной. И мысленно я начинал горячо и любовно убѣждать отца, что не должен сходить с избраннаго пути, что «долг другой — и выше и святѣй — меня зовет», а потом опомнился, что отец и слушать не станет, а сразу скорбно скажет: поступай, как знаешь! Это то вот и было самое невыносимое. Встрѣть я сопротивленіе, нужно бы выдержать бой, — я не задумался бы ринуться. Но непротивленіе, безпомощность, покорное пріятіе нанесеннаго удара звучало в душѣ громким упреком и безплодно мучило совѣсть.

Еще до пріѣзда отца, по совѣту сосѣда, я, послѣ двухнедѣльнаго заточенія, обратился с прошеніем выяснить, за что меня арестовали и держат, мѣшая университетским занятіям. Быстрым результатом был вызов на допрос в охранное отдѣленіе, куда два жандарма доставили меня в закрытой каретѣ со спущенными занавѣсками. Молодой, франтоватый жандармскій офицер, узнав из допроса фамилію дѣда в Екатеринославѣ, всплеснул руками и горячо стал говорить, что он там служил, знает, какая это почтенная семья, и потому не сомнѣвается, что я по недоразумѣнію оказался среди «этих негодяев» и, если откровенно разскажу, от кого получил — вот эту дрянь, меня немедленно освободят. При этом он презрительно отшвырнул

лежавшую перед ним, столь хорошо знакомую мнѣ брошюру, моего литературнаго первенца — это был первый укол авторскому самолюбію. Стараясь сдѣлать отвѣт как можно болѣе конкретным, я сказал, что за два дня до ареста в таком то часу занял мѣсто в такой то аудиторіи и сбѣгал в буфет, чтобы закусить, а, когда вернулся, нашел среди оставленных мною книг эту брошюру. Для вящей убѣдительности прибавил, что были еще двѣ какія-то прокламаціи, которыя успѣл уничтожить, а если бы обыск случился днем позже, то и она была бы сожжена. Но вѣдь в приказѣ значилось, что меня должно арестовать независимо от результата обыска: в чем же меня обвиняют? Тон офицера сразу рѣзко измѣнился, вопрос мой был оставлен без всякаго отвѣта и ледяным голосом он предложил записать показаніе, послѣ чего прежним способом я водворен был обратно в тюрьму. Я считал, что если никакого обвиненія не предъявлено, дѣло кончится не хуже. чѣм высылкой из столицы, и мой опытный сосѣд, догадавшійся, по щелканью замка в необычный час, что меня уводят на допрос, авторитетно подтвердил правильность моего расчета. Поэтому, когда, послѣ упомянутаго посѣщенія отца, на слѣдующее свиданіе кузина пришла одна, торопливо сообщила, что отец занят хлопотами и совсѣм оправился, так как ему положительно обѣщали на-днях освободить меня, что он уже говорил с ней, как мы тогда кутнем, — я лишь укрѣпился в своем расчетѣ и не мог уже подавить напряженнаго ожиданія и преодолѣть предвкушеніе, как выйду за ворота тюрьмы, как трогательна будет встрѣча с отцом, как крѣпко стисну в объятіях обожаемаго Альберта Львовича.

Среди таких заманчивых мечтаній вновь наступил день свиданій, и когда меня вызвали, я спускался по безконечным лѣстницам с пятаго этажа в сладкой увѣренности, что узнаю от отца день освобожденія. Но его опять не было, а кузина была так блѣдна и растеряна, так безмолвна, так упорно избѣгала моего взгляда, что, подозрѣвая какое-то несчастье с отцом (он и правожительства в столицѣ не имѣл), во весь голос крикнул: что случилось? И еле слышный отвѣт был еще заглушен окриком надзирателя. Кузина как-то виновато сообщила, что я приговорен к ссылкѣ в Вологодскую губ., но она не знает точно, на 3 или, кажется, только на 2 года. Это было так неожиданно, что на меня нашел столбняк, я не понимал, почему она все возвращается к вопросу, два ли года или три. Развѣ не все равно? Три, как и два, одинаково казались мнѣ вѣчностью, ощущеніе было таково, что жизнь кончена, и я онѣмѣл. Не то, чтобы язык отказался повиноваться, а сказать было нечего. Вѣроятно для того, чтобы вывести меня из этого состоянія, кузина стала описывать безмѣрное отчаяніе отца, оно заставило меня нѣсколько опомниться, и мы стали обсуждать, прійти ли ему на свиданіе проститься со мной. Но в эту минуту двери клѣтушки открылись и меня увели в камеру. Отец так и уѣхал, не простившись, но прислал очень ласковое письмо, а этот день, эта неожиданность оставила впечатлѣніе на всю жизнь: навсегда осталась смутная тревога, что неожиданность подкарауливает. И впослѣдствіи, как бы ни было правильно расчитано то или другое начинаніе, как бы ни были безспорны шансы его осуществленія, я не вѣрил, пока реа-

лизація ие наступала. Может быть, правильиѣе сказать — я не позволял себѣ вѣрить, чтобы от иеожидаиности ие испытать вновь такого шока, а так как всю жизнь я жаждал и стремился к иовым иачинаніям, то иедовѣріе или иевѣріе стало яркой чертой характера, отравило иемало минут и парализовало настойчивость в достиженіи цѣли.

Послѣ этого свиданія я еще иедѣли двѣ провел в камерѣ, возмущаясь строгостью приговора, поскольку инкакого обвииенія ие было предъявлеио. А через нѣсколько мѣсяцев, когда я уже находился в Устьсысольскѣ, приговор превратился в загадку, которая так и осталась неразъясненной и могла бы поставить меия в очень тяжелое положеніе. Поиятно, что в эти двѣ иедѣли ничѣм заняться нельзя было, но и инкаких плаиов я строить ие мог, потому что ие имѣл ии малѣйшаго представленія, в каких условіях окажусь, к чему придется приспособляться и как существовать, чѣм дышать. А о том, что ссылка может имѣть благотвориое дѣйствіе, что оиа может стать, пусть суровой, но настоящей школой предстоявшей еще впереди жизни, о которой пока было самое фальшивое представленіе — это, конечио, и в голову ие приходило. А если бы кто вздумал меия так утѣшить, я счел бы, что он иадо мной издѣвается.

В коицѣ февраля двери камеры, опять в неурочиый час, открылись и приказаио было собраться с вещами. Опять карета со спущеииыми занавѣсками, но теперь я различаю, что два рослых жандарма везут меия иа Николаевскій вокзал. В почтовом поѣздѣ иам отвели крайиее отдѣленіе третьяго класса и пассажиры переполиеииаго вагоиа тщетно пытались к иам проникнуть, настойчиво стучали в дверь, дергали за ручку, ища свободиых мѣст. Накоиец, в стекло, вставленное в перегородку иад дверью, один из наиболѣе ретивых пассажиров заглянул и громко ахнул от изумлеиія, увидѣв, что в отдѣлении, расчитаином иа добрый десяток пассажиров, удобио размѣстились два жандарма с юиошей, у которого и молоко еще иа губах ие обсохло. Он сообщил сосѣдям о своем открытіи и по моему адресу посыпались совсѣм нелестиыя замѣчаиія: «Вѣшать их иадо, а их вои как возят! Порядочные люди, как сельди в бочкѣ, а каторжник вишь как развалился, отчего ж ему и не бунтовать». Негодованіе еще обострилось к иочи, когда пришлось в тѣсиотѣ укладываться спать, и тут стало слышаться: «В окио его выбросить, вся тут и иедолга!» И если бы им удалось заполучить меия в руки, то иедалеко было бы до исполненія угрозы. В Москвѣ меия сдали жандармы в какое-то «управлеиіе», гдѣ я и провел ночь в камерѣ, со стѣи которой буквально текло. Ах, Москва-матушка: для предупрежденія побѣгов иа ночь унесли шапку мою и шарф. А утром два иовых жандарма — иа всѣх московских есть особый отпечаток — рѣзко отличавшихся от питерских своим простоватым простодушіем и разговорчивостью, отвезли иа Ярославскій возкзал, нам предоставили цѣлый вагон и иа остановках провожатые не мѣшали мнѣ гулять по перрону, пока какой-то офицер не сдѣлал строгаго внушенія. Из Ярославля в Вологду шла узкоколейная желѣзиая дорога и иас помѣстили в общем переполиенном вагонѣ, при чем жандармы держались поодаль. Против меня сидѣл толстый купец, вступившій в

разговор, и так я ему понравился, что на одной станціи он стал приглашать в буфет «раздавить рюмочку». Чѣм больше я отнѣкивался, тѣм настойчивѣе он приставал, и я вынужден был глазами указать ему на жандармов. Он разинул рот, долго молча переводил глаза с жандармов на меня и обратно и наконец вполголоса спросил: «Да гдѣ же ты их подцѣпил», на что я ему: «Не я их, а они меня подцѣпили:. Качая головой, он вышел один и, послѣ закуски в буфетѣ, вновь показался на перронѣ, собрал вокруг себя нѣсколько пассажиров и, пальцем показывая на окно, у котораго я сидѣл, горячо что-то говорил, оживленно жестикулируя. А вернувшись в вагон и похлопывая меня по колѣну, отечески утѣшал, что время пройдет скоро, что «в нашей губерніи» люди хорошіе, добрые, что от сумы и тюрьмы зарекаться нельзя, что и самому пришлось пережить непріятность, когда пріѣхал как-то в Петербург без паспорта и, воспользовавшись чужим, долго не мог отдѣлаться от преслѣдованій полиціи и суда. Весь вагон слушал и соболѣзнующе поддакивал, как бы иллюстрируя репутацію «нашей губерніи». В Вологдѣ он трогательно распрощался, горячо обняв меня, и всѣ пассажиры привѣтливо кивали и выражали добрыя пожеланія.

Здѣсь кончалось желѣзнодорожное сообщеніе. Меня снова сдали, на этот раз огромному толстому полицмейстеру, который помѣстил меня в отличной свѣтлой, даже не камерѣ, а просто комнатѣ, и первым дѣлом спросил, есть ли у меня средства на дальнѣйшее путешествіе на лошадях в сорровожденіи двух полицейских, обратную дорогу коих тоже нужно оплатить. У меня было около 40 рублей, и тѣ, конечно, не в моем карманѣ, а у полицмейстера. «Ну, этого весьма недостаточно. Значит, я отправлю вас по этапу». Слово этап вызывало представленіе не только тяжелаго страдного пути, но и чего то позорящаго, и я так далек был от мысли о примѣненіи этого способа передвиженія ко мнѣ в обществѣ уголовных преступников, что принял слова начальства не за угрозу, а за шутку и недоумѣнно посмотрѣл на полицмейстера, который повидимому удивился моему недоумѣнію и, неопредѣленно мотнув головой, вышел. А это была отнюдь не шутка, и если я все же по этапу не был отправлен, то лишь потому, что судьба вновь рѣшила меня побаловать. В теченіе нѣскольких лѣт ссылка в сѣверныя губерніи фактически не практиковалась и потому в управленіи накопились суммы, ассигнуемыя ежегодно на перевозку ссыльных из привилегированных сословій; я, еврей, сын купца, студент, к таким сословіям не принадлежал, и предоставленіе мнѣ льготы было милостью, вѣроятно, губернатора. Когда спустя года полтора сѣверныя губерніи опять стали переполняться ссыльными, многим, даже и привиллегированным, пришлось познакомиться с этапным передвиженіем.

Я провел в новом помѣщеніи день, другой и третій и уже спрашивал полицмейстера, почему же меня не отправляют, а он загадочно отмалчивался. Наконец, на пятый день, уже поздним вечером, он вошел и приказал немедленно одѣваться. На указаніе, что нужно же собрать вещи, он сурово отвѣтил, что вещей не надо брать. За дверью меня ждали два бравых жандарма и отвезли в жандармское управленіе, гдѣ полковник и прокурор, очень

любезно и даже предупредительное, встрѣтили меня, крайне озадаченнаго новой неожиданностью. А разъяснилась она так, что у арестованнаго народовольца Сергѣя Иванова нашли записную книжку, в которой значилось до трехсот поверхностно зашифрованных адресов. Записи легко были расшифрованы и среди них оказался и мой одесскій адрес в домѣ отца. Из за этой неосторожности всѣ триста человѣк были арестованы и минимальным наказаніем была ссылка на три года. Допрос длился около часу, хотя вертѣлся исключительно вокруг выясненія, знаю ли я Иванова и почему у него записан адрес мой. Я отозвался незнаніем лица на предъявленной мнѣ фотографіи, а потому и невозможностью объяснить, как адрес попал в его книжку. Допрос производился корректно, даже благожелательно, прокурор интересовался моей дальнѣйшей судьбой, спрашивал, куда меня посылают, и такому отношенію я, вѣроятно, обязан, что новая непріятная улика повела за собой лишь нѣкоторое усиленіе приговора: отправить в отдаленнѣйшій город Устьсысольск, отстоящій на сѣвер от Вологды на 900 верст.

Выѣхал я с околоточным и полицейским в санях, больше напоминавших розвальни, запряженных парой гуськом, и сидѣл между ними порядком стиснутый с обѣих сторон. Был уже Март, дорога совсѣм испортилась за зиму, нас то и дѣло вываливало из саней. Ѣхали мы днем и ночью безостановочно, мѣняя через каждые 20—25 верст ямщиков, дорога почти все время шла густым лѣсом, и при ярком лунном свѣтѣ картина развертывалась совсѣм сказочная. Спутники мои крѣпко спали, мнѣ было между ними крайне неудобно, и я дремал и грезил или слѣдил за акробатическими упражненіями ямщика, который, не переставая покрикивать на лошадей, то соскакивал и подпирал сани плечом, то бросал вожжи и бѣгал за санями, чтобы согрѣться, и буквально ни одной минуты не оставался спокойным, балансируя туловищем для удержанія равновѣсія саней. На третью ночь мы подъѣхали к Великому Устюгу, сдѣлав полпути, и провожатые, угрожавшие, что приказано везти день и ночь, стали заговаривать, не переночевать ли там. Они не столько устали, сколько опасались, что, пріѣхав раньше положеннаго срока, получат меньше суточных. Комната на почтовой станціи натоплена как баня. Я раздѣлся, улегся на диванѣ, а спутники остались в подпоясанных шинелях с шашкой на одном и револьвером на другом боку, ибо, заявили они, инструкція не позволяет раздѣваться. Но проснувшись ночью весь в испаринѣ, я увидѣл их раскинувшимися на полу, уже без шинели и мундира, а шашки и револьверы безпорядочно валялись вокруг них. Утром вид у них был очень сконфуженный и отношеніе перемѣнилось, сдѣлалось дружеским, сообщническим.

Устьсысольска достигли мы на седьмой день, под вечер, и лихо подкатили к единственному, кромѣ церквей, каменному зданію, в котором помѣщались всѣ присутственныя мѣста. Высокій, худой и прямой, словно аршин проглотил, исправник встрѣтил меня сурово, но с явным любопытством — как никак я был «столичная штучка», Петербург здѣсь представлялся чѣм то легендарным. Он тут же ознакомил меня с основными правилами поведенія, главным образом—запрещеніем выходить за черту города, и предупре-

дил, что для иаблюдеиія будет приставлен особый полицейсній, который утром н вечером будет провѣрять, иа мѣстѣ ли я. Вручив миѣ полученныя от провожатых деньги и часы, он приказал отвезти иа почтовую станцію. Спутники рѣшили переиочевать, ио, походив по городу, заявили, что так снучио, что иемедленно оии пустятся в путь. Это были единственные люди, преемственно связывавшіе меия с міром, из котораго я был вырван. Послѣ долгой, казавшейся уже безконечной ѣзды, голова слегка кружилась, в ушах звенѣло и остановка у цѣли нак то вдруг превращала ссылну в осязаемую реальность, вызывавшую сердечное ущемленіе. Я прилег на диван и вѣроятно моментально, как был в одеждѣ, заснул мертвым сном.

Проспав часов 12, я ранним утром проснулся и из сосѣдней комнаты услышал громній шопот, заставившій усумниться, не сплю ли я еще. Какой-то голос с рѣзко выраженным еврейским южным акцентом спрашивал, спит ли еще «пріеззій», на что женскій голос отвѣчал незнаніем. Но откуда же взялся еврей на далеком Сѣверѣ, внѣ «черты осѣдлости»? Дверь чуть-чуть пріоткрылась, я позвал хозяйку, а вмѣстѣ с ней вошел — о, диво! — подлинный еврей, старый, жирный, приземистый с большой окладистой бородой и острыми бѣгающими глазами и, освѣдомившись, откуда я пріѣхал и как доѣхал, предложил свои услуги по отысканію комнаты. Отвѣчая на его вопросы, я, с своей стороны, задал ему вопрос на жаргонѣ, как он попал сюда? Теперь была его очередь изумиться. Он буквально присѣл на корточки, широко раснрыл глаза и задыхающимся радостным голосом воскликнул: «Кан! Вы еврей, тан вы еврейское дитя! Кто же отец ваш? Так вы откуда? А есть у вас братья, сестры?» И, не ожидая отвѣтов, тут же повѣдал свою біографію: он тоже административно сосланный на три года, родом из Чернигова, сослан за «ссудную нассу», т. е. за ростовщичество, здѣсь он с сыном, но жены — его и сына — остались дома и продолжают «дѣло», присылая сюда заложенныя и невыкупленныя вещи, которых там сбыть нельзя, « а тут зыряне все купят, дураков много!» Однано жены плохо ведут дѣло, и как тольно он вернется, «даст развод» своей женѣ (третьей) н женится на молодой. Потом я узнал и сына: высоній, красивый блондин, тоже с окладистой рыжей бородой, он, хоть и сам отец большого семейства, был у старика в полном безотвѣтном подчиненіи. Был и другой еврей, из минской губерніи, тоже высланный за ростощичество, внѣшие уже ассимилировавшійся и лучше владѣвшій русским языном, молчаливый и снрытный, со своими коллегамн по несчастью он был весьма сдержан, в дѣловом отношеніи они глухо нонкурировали и друг о другѣ отзывались весьма неодобрительно: старик громил скрытнаго за отступничество от вѣры — «он апикорес», а тот называл старика с сыном грабителями, противопоставляя нм свои «божескіе» проценты.

Отличная большая номната найдена была в тот же день у немолодого, бездѣтнаго портного с женой, любившаго выпить, но очень спокойнаго и, как и жена его, очень добраго. Плата за комнату положена была — 4 рубля в мѣсяц, а за «полный пансіон» конечно, весьма примитивный, еще 6 рублей. Теперь надо было осмотрѣться и выработать программу жизни. Курь-

езно: «к программам», к планам вообще было какое то отвращеніе. Они были, употребляя ставшее историческим выраженіе, «клочком бумаги», который теченіе жизни незамѣтно унесет и завертит. Я предпочитал отдаваться смутным ощущеніям, и так как обычно кривая вывозила, то я льщу себя догадкой, что такія ощущенія были сродни интуицій. Но зато в домашней жизни напротив нужен был строгій и точный распорядок, может быть потому, что искал в нем недостававшаго упора и опасался, что без упора теченіе жизни также незамѣтно завертит и, того и гляди, бросит в омут. И чѣм старше становился, тѣм тревожнѣе и безпомощнѣе чувствовал себя, когда порядок жизни нарушался, и часто сам себя укорял, что душа у меня чиновничья.

Не требовалось много времени, чтобы в Устьсысольскѣ осмотрѣться. Город красиво расположен на высоком берегу рѣки Сысолы, при сліяніи ея с притоком Сѣв. Двины Вычегдой. Званіе «город» мало подходило к поселенію с 2.000 населенія, проживавшаго в своих низеньких домиках и промышлявшаго на полях вокруг города тощим земледѣліем, а также и рыболовством. Большая часть жителей были чиновники, земскіе служащіе, в управѣ, больницѣ, школах, приказчики виннаго откупщика и двух трех лавок, члены церковных причтов, кое-какіе ремесленники. Можно сказать, что город существовал главным образом за счет получаемаго от казны и земства жалованья, а расходы казны покрывались преимущественно доходами от виннаго откупа. Коренное населеніе было зырянское, в городѣ порядком русифицированное, но большинство чиновников говорило и по зырянски, ибо рѣдкое населеніе колоссальнаго уѣзда, раскинувшагося на нѣсколько сот верст в длину, ни слова по русски не понимало. Весь город по периферіи я обходил в полчаса, весной и осенью можно было передвигаться только по деревянным мосткам, проложенным вдоль домов, улица утопала в непролазной грязи, а зимой была покрыта снѣгом в аршин высоты и для ходьбы можно было пользоваться узенькой вытоптанной дорожкой, сойти с нея значило провалиться в глубокій снѣг. Уже привыкшему к петербургским бѣлым ночам, стиравшим своими entre chien et loup опредѣленность очертаній и вызывавшим у чуждаго сумеркам южанина тревожное томленіе духа, здѣсь было еще тяжелѣе, а в разгар бѣлых ночей одна заря буквально смѣняла другую. По иному и гораздо тяжелѣе была долгая безконечная суровая зима, когда солнце рѣдко на миг, неохотно и лѣниво, показывалось, а безпросвѣтной ночью при сорокапятиградусных морозах спугивал громкій, как удар пушки, треск бревенчатых стѣн.

Добродушный утѣшитель в вагонѣ оказался прав: населеніе относилось привѣтливо, за всѣ три года я не видѣл косого взгляда, а нѣкоторые просто льнули ко мнѣ. Больше всѣх привязался молодой, но постарше меня, секретарь земской управы, который навѣщал по вечерам, норовя все же незамѣтно проникнуть, чтобы не возбудить подозрѣнія в неблагонадежности, но раз преодолѣв опасенія, засиживался по пяти-шести часов, жадно расспрашивая рѣшительно обо всем, сам он из У. никогда не выѣзжал. Может быть, и моя капля вины была, что, разбудив его душу, я содѣйствовал тому, что, женив-

шись послѣ моего отъѣзда, он спился и, борясь с собою, пріѣзжал в Петербург, когда я уже там водворился, лѣчиться от запоя. У него я однажды был на посидѣлках — вѣроятно, из за столичнаго гостя, очень чинных и жеманных, пили водку и тенериф, закусывая мѣстным лакомством — треской, но бесѣда не оживлялась и парни больше играли в карты. Самым замѣчательным пунктом была земская больница, куда я часто захаживал около полудня. Во главѣ ея стоял еще молодой, лѣт тридцати пяти, необъятной толщины врач, считавшійся устысысольским Крезом, потому что он получал двойное жалованье, занимая двѣ должности — уѣзднаго и земскаго врача, а всего что-то около 4.000 р. в год, которые, будучи холостяком, буквально не знал, куда дѣвать. Первая должность, обязывающая ко всяким медицинским освидѣтельствованіям и вскрытіям трупов, его вообще ничѣм не утруждала: за три года при мнѣ не случилось ни одного убійства или случая подозрительной смерти. А по другой должности на нем лежало завѣдываніе больницей и оказаніе врачебной помощи населенію. Он являлся часов в 10 и, прочно усѣвшись в кресло, начинал дѣятельность с амбулаторнаго пріема. Мнѣ не пришлось видѣть, чтобы при этом он встал со своего мѣста и выслушал больного, да я и не видѣл у него стетоскопа и молоточка. В лѣченіи соперничали между собой касторка и хинин, а наиболѣе распространенными болѣзнями были глазныя — воспаленіе слизистых оболочек, трахома, желтая вода, катаракты. По окончаніи пріема начиналась игра в шашки с фельдшерами: их было трое — пожилой поляк, застрявшій послѣ ссылки за послѣднее возстаніе и женившійся на молодой смазливой землячкѣ; безцвѣтный молчаливый зырянин и третій — любимец доктора — разбитной малый, широкоскулый с густой черной шевелюрой и такой же, закрывавшей чуть ли не все лицо, бородой, совсѣм оперный ассирійскій царь. Проигравшій должен был купить в находившемся насупротив больницы мѣстном Вульвортѣ полфунта мармеладу к сервировавшемуся в это время чаю, стаканов по пяти на человѣка. А затѣм, тяжело переваливаясь, в сопровожденіи двух фельдшеров, он обходил больных, но все это были хроники, так что скорбные листы пестрѣли словом idem, и собственно была это не больница, а богадѣльня. На том служба и кончалась. Медленным шагом толстяк направлялся домой: он снимал у хозяйки-вдовы три комнаты, платя ей, к великому соблазну всего У., 30 руб. в мѣсяц за полный пансіон. Сытно пообѣдав и отдохнув, он вновь предавался чаепитію, теперь с вареньем, которое заготовлялось пудами: в будни подавалось яблочное, по праздникам или при гостях — морошковое, а в торжественных случаях — из поляники. Погасив чаем послѣобѣденную жажду, он отправлялся к мѣстному представителю виннаго откупщика, уже пожилому сѣдѣющему человѣку, с лицом суровым, напоминавшим Маркса, женатому на молодой женщинѣ, никогда не улыбавшейся и всегда с опущенными к землѣ глазами. Похоже было, что суровый старик «облагодѣтельствовал» бѣдную сиротку, взяв ее замуж, и дает ей непрестанно чувствовать свое благодѣяніе. А доктор тайно вздыхал по «сироткѣ» и дѣйствительно, терпѣливо дождавшись смерти благодѣтеля, уже послѣ моего отъѣзда, женился на вдовѣ. Больше он ни с кѣм в городѣ не

знался, не посѣщал и мѣстнаго клуба, гдѣ азартно жарили в карты, по его словам, и пили водку. Ко мнѣ доктор очень благоволил, даже как то бравировал своим покровительственным отношенiем к ссыльному и всячески старался развлекать. Одним из развлеченiй бывало приглашенiе попариться с ним в банѣ, которая так натапливалась, что во рту горѣло при вдыханiи, а он забирался непремѣнно на верхнюю полку, сынок хозяйки, что было мочи, хлестал его раскаленным березовым вѣником. Мнѣ думалось — того и гляди кондрашка хватит, а толстяк только крякал от удовольствiя и все требовал прибавить пару, т. е. брызнуть ушатом горячей воды на раскаленные камни. А затѣм, распарившись докрасна, он, к величайшему моему изумленiю и испугу, выскакивал, в чем мать родила, из бани и бросался на снѣг, быстро возвращался назад на верхнюю полку и опять подвергал себя сѣкуцiи. Так это продолжалось с добрый час, а потом слѣдовало безконечное чаепитiе с морошкой. Еще любопытнѣй и сложнѣй было другое развлеченiе: чтобы прiобрѣсти избирательный ценз для выборов в земство, доктор купил в уѣздѣ 900 десятин строевого лѣса за 500 рублей (это точно: девятьсот десятин лѣса за пятьсот рублей, по полтиннику за десятину), а став собственником недвижимаго имущества, почувствовал потребность построиться. Отправился он в свои дремучiя владѣнiя и, остановившись от усталости на каком то пунктѣ, заявил: «Здѣсь будет дача заложена!» Сказано — сдѣлано, тут же лѣс был подожжен и ему предоставили горѣть, пока пожар сам собой не потухнет. Образовалась довольно значительная поляна, правда, весьма мало привлекательная, потому что пни лишь кое-как были выкорчеваны, и приступлено было к постройкѣ, сначала маленькой сторожки, потом бани, а затѣм и крѣпкаго дома и всяких служб. Поѣздка на дачу требовала большой сноровки и той охоты, которая пуще неволи. Зимой, в санях, по глубокому слежавшемуся снѣгу, еще куда ни шло, хотя продвигаться приходилось почти все время шажком. Лошадь то и дѣло спотыкалась о пни и сани так волнообразно двигались, что чувствовал себя как на водѣ, при качкѣ. Ну, а лѣтом приходилось смѣнить три способа передвиженiя: нѣсколько верст в тряской телѣгѣ, версты двѣ — в лодкѣ по водѣ, а затѣм пѣшком, мѣстами продираясь сквозь лѣсныя заросли. Но все это еще пустячки в сравненiи с подлинным бѣдствiем, тучами комаров. Ах, какiе комары! В У. поговорка сложилась, что их идет сто сушеных на фунт. И впрямь — они большiе, чудовищно назойливые и безпощадно злые, так и набрасывались, точно человѣк злѣйшiй враг. Если лицо еще удавалось с грѣхом пополам отстоять от их атаки, то затылок превращался в сплошную опухоль и невыносимо зудѣл, руки, платок покрыты были кровью и, каюсь, не раз в пути я проклинал себя, что принял приглашенiе, а бывали секунды, когда от безсилiя и слезы ронял. В общем лѣтнее путешествiе длилось часов шесть, но зато на дачѣ ждала баня, и горячее омовенiе доставляло неизъяснимое блаженство: хлестанiе березоваго вѣника начисто ликвидировало нестерпимый зуд. А перед домом уже стоял накрытый к ужину стол с обязательной треской, солониной, однако вниманiе привлекали не столько яства, сколько лежащiя под столом еловыя вѣтки, на которыя возлагались всѣ на-

дежды — за стол рѣшались сѣсть лишь послѣ того, как вѣтки поджигались и окутывали густым дымом, разгонявшим комаров. Правда, дым ѣл глаза и дышать было нелегко, но куда же сравнить эти маленькія непріятности с египетской казнью, чинимой комарами. Пока мы ужинали, прислуга тщательно изгоняла врагов из комнат, в оконныя отверстія вставлялись густыя сѣтки, послѣ чего и можно было рѣшиться лечь в постель. На другой день тѣми же способами возвращались во-свояси и бывало, что пикник завершался вторичной баней в У., у доктора. Больше четырех, пяти раз в год ему не приходилось доставлять себѣ это удовольствіе. Замѣчательным был и конец его жизненной карьеры: когда в 90-х годах на вологодскую губ. распространен был печальной памяти институт земских начальников, смѣнивших мировой суд и окончательно расшатавших и без того зыбкія основанія россійскаго правового строя, Михаил Иванович неожиданно оживился, бросил медицинскую профессію и стал ревностно «подтягивать» благодушное зырянское населеніе.

Случилось мнѣ побывать и в домѣ многосемейнаго священника. Как то ранним зимним утром, только что я встал, хозяйка заявила, что она с мужем на весь день уходят в гости к отцу Константину на именины и вернутся лишь поздно домой. Но, подходя к дому днем, послѣ обычной прогулки, я увидѣл ее у подъѣзда и извинился, что заставил ждать у запертой мной входной двери. «Нѣт, отвѣтила она, я не домой пришла, а за тобой. Там всѣ жалѣют, что ты один сидишь, и батюшка велѣл просить тебя к нему». Долго я отнѣкивался и придумывал разные предлоги, прежде чѣм она, недовольная, ушла. Но минут через десять вернулась в сопровожденіи красивой рослой дочери священника и онѣ твердо заявили, что без меня им не велѣно возвращаться. Пришлось сдаться, и я попал в большое общество, сидѣвшее за столом, перегруженным не бутылками, а бутылями водки, всяких настоек и вина. Выпивка служила и главной темой бесѣды. Каждой рюмкѣ предшествовало ободряющее и приглашающее предисловіе, вродѣ — «первая колом, вторая — соколом, третья — мелкой пташечкой» и самостоятельными коментаріями участников, а послѣ выпитой рюмки возобновлялись и продолжались воспоминанія о былых выпивках. Так сам хозяин повѣдал, что его предшественник, допившись до чертиков, приказал втащить стол на колокольню, уставил его бутылками и звал собравшихся прихожан к себѣ наверх, сопровождая приглашеніе колокольным звоном. А так как никто не откликался, он, разсердившись, бросил угощеніе вниз, на землю же полетѣл и стол. Только послѣ этого батюшку отрѣшили от мѣста и сослали в монастырь. Всѣ гости были уже на взводѣ, а хозяин мой и лыка не вязал, так что с большим трудом мы с хозяйкой, держа его подруки, довели по узкой дорожкѣ домой, сами то и дѣло проваливаясь в снѣг. Утром я проснулся с тяжелой головой и отвратительным вкусом во рту, водка у откупщика была сомнительнаго качества — и еще лежал в постели, проклиная весь свѣт, как ввалился мой портной с упреком: «вот те на, ты еще в постели, а нужно же итти» — «Куда итти?», — «Как куда? Да к отцу же Константину — опохмѣляться». Но я пришел в ужас от этого предложенія и потому не видѣл,

как клин клином выбивают. Знаю лишь, что эта задача требует времени: хозяева вернулись домой часов через пять.

На своих ежедневных, послѣобѣденных прогулках я обычно встрѣчал коллегу по несчастью — ссыльнаго ксендза, пострадавшаго за совращеніе уніатов в католичество. Он весь пропитан был ненавистью к русскому правительству и презрѣніем к народу, но держался осторожно. Был неизмѣримо интеллигентнѣе православнаго батюшки, обо всем имѣл свое мнѣніе, и я донимал его вопросами вѣры, жалуясь на свое невѣріе. Сначала он со мною спорил, я же настойчиво излагал свои сомнѣнія, и вдруг голос его понизился до свистящаго шопота и он мнѣ сказал буквально так: «Вы человѣк умный, вам я могу сказать, что и сам не вѣрю. Ну, а если я ошибаюсь, если Бог есть. Каково же мнѣ будет на том свѣтѣ. Так не лучше ли, на всякій случай, вѣрить?» Я невольно отшатнулся, услышав этот житейскій варіант Паскалевской тревоги, и был рад, когда вскорѣ пріѣхала к нему высокая полная бальзаковская женщина, которую он выдавал за свою племянницу, и он прекратил совмѣстныя прогулки и даже стал избѣгать меня. Но вмѣсто него появилась другая, еще невиданная мною фигура — уже немолодой, отлично сложенный, высокій человѣк, с барским, сильно поношенным лицом, окладистой бородой и необычайно зычным голосом. Это был присяжный повѣренный округа петербургской палаты, запойный пьяница. В трезвом видѣ он горько и пространно жаловался на людскую несправедливость, явно стараясь в напыщенности рѣчи растворить конкретныя указанія на причины ссылки своей. Когда же наступал період запоя, все чаще повторявшійся, он большими шагами мѣрял улицу, не переставая во весь голос орать «Сѣйте разумное, доброе, вѣчное» и перемежая этот лозунг грубѣйшими ругательствами. Уже издали заслышав его, прохожіе бросались в подворотню, а знавшіе его запирались на замок, чтобы избѣжать визита. Трудно понять, как он существовал: получаемое ссыльными казенное пособіе в 6 р. с копѣйками в мѣсяц он пропивал немедленно послѣ полученія, становился буйным и попадал в каталажку. Через нѣсколько дней его выпускали оттуда трезвым и невѣроятно грязным, и как он умудрялся питаться и даже напиваться до слѣдующей получки, понять невозможно. Конечно, начальство всячески старалось избавиться от него, и он постепенно перебывал во всѣх шести уѣздных городах губерніи.

Первым политическим ссыльным был крестьянин пензенской губерніи, внѣшностью совсѣм похожій на описаннаго барина, совсѣм как бы та же фигура, но в неотесанном видѣ. Он был на сходѣ избран ходоком к начальству с жалобой на аграрныя притѣсненія со стороны помѣщика и угодил в ссылку. Мнѣ предстояло серьезное практическое испытаніе: это был представитель народа, которому я служил, сам тоже пострадавшій, как и я, «за правду», и, очевидно, я должен держаться с ним на равной ногѣ, как товарищ. Но я никак не мог найти с ним общаго языка и чувствовал себя невыносимо, в фальшивом положеніи. В это время, так как портной стал частенько запивать и надоѣдать мнѣ разговорами, я переѣхал в крошечный домик из двух комнат с кухней и пригласил к себѣ этого крестьянина. Он охот-

но принял приглашеніе, но, будучи очень себѣ на умѣ, рѣшительно уклонился от равноправія и стал в отношенія слуги к барину, который был ему в душѣ очень за это признателен и всячески силился вознаградить ласковостью, так что жили мы с ним очень дружно, да к тому и недолго: срок его ссылки мѣсяца через три кончился, (он тоже был переведен за какую-то провинность к нам из сосѣдняго города) и, взвалив котомку на спину, зашагал в далекій путь, расчитывая, что в дорогѣ не без добрых людей — нѣт, нѣт, кто-нибудь и подвезет. А вскорѣ послѣ его ухода ко мнѣ ввалилось цѣлое семейство: супружеская чета с двумя дѣтьми, тоже переведенная к концу своего срока из сосѣдняго Яренска. Оба, и муж и жена, были уже настоящими политическими ссыльными, хотя тоже не любили разсказывать, за что именно они пострадали. Во всяком случаѣ гораздо больше пострадали они не от ссылки. Они (больше она) были типичной жертвой того повѣтрія, которое бурно пронеслось в 70-х годах под вліяніем начавшейся — к сожалѣнію, на почвѣ нигилизма — острой борьбы за эмансипацію женщины, за освобожденіе от родительской опеки. Одним из наиболѣе распространенных проявленій опеки было рѣшительное противодѣйствіе неравным бракам дѣтей, породившее немало тяжелых семейных драм (так живо стоит перед глазами замѣчательная игра Милославскаго, Козельскаго и Федотовой в написанной на эту тему драмѣ «Старый барин»), но гораздо больше молодых жизней было замучено и загублено карикатурным возведеніем неравнаго брака в принцип, в демонстрацію отказа от сословных привиллегій и презрѣнія к «священным узам законнаго брака». Если родительская опека не считалась с сердечными влеченіями дѣтей, то теперь дѣти сами подчиняли голос сердца требованіям принципа. Моя чета служила живым и печальным доказательством, что в основѣ опасенія неравнаго брака лежал не только вывѣтрившійся безсодержательный предразсудок. Муж — мелкій мѣщанин и жена — столбовая дворянка были совершенно чужими, я не слышал, чтобы они обратились со словом друг к другу, и оба безнадежно опустились, утратили всякій интерес к духовным запросам. Он — поджарый, с непріятной змѣиной улыбкой стал чуть ли не профессіональным картежником. Хотя они очень нуждались, но у него был неприкосновенный карточный фонд, котораго он не трогал, даже если в домѣ не доставало хлѣба. Случилось, что я не удержался и высказал ему негодованіе, но он совершенно спокойно отвѣтил: «А что же дальше? Через недѣлю мы снова будем в том же положеніи, с той лишь разницей, что я буду лишен единственнаго удовольствія». Увы! Безупречная логика может сожительствовать с величайшей гнусностью. Еще он поражал каким то, я бы сказал, строго продуманным обжорством. Были мы с ним на блинах у того же секретаря управы. На столѣ была гора всяких закусок. Но Никаноров священнодѣйствовал: первая пара блинов съѣдалась в сухомятку, вторая с селедкой, третья с маслом, потом со сметаной, дальше слѣдовали комбинаціи двух приправ, и при этом он выпивал неимовѣрное количество водки, без того, чтобы были замѣтны малѣйшіе признаки опьяненія. Жена его, Олимпіада, изжелта блѣдная, не столько располнѣвшая, сколько как бы распухшая (читая позже «Воскресенье», я не

мог отдѣлаться от мысли, что с нея Толстой написал портрет Катюши на судѣ) брезгливо тяготилась заботами о пропитаніи и дѣтях, которые росли досадной обузой и для него и для нея.

Таково было мое окруженіе в первые полтора года пребыванія в У. Ну, а я сам? Новая обстановка не могла не занимать, я вѣдь впервые видѣл подлинную будничную жизнь, спустился с заоблачных высот на грѣшную землю и, преодолѣвая свои недоумѣнія и отталкиванія, повторял себѣ: полюби нас черненькими, а бѣленькими нас всякій полюбит. Мы были во власти аберраціи, принимая тонкій слой интеллигенціи за всю Россію и, когда Чехов — осторожно и нѣжно, но безжалостно — вскрыл удручающую пошлость сѣреньких мертвящих будней провинціи, т. е. всей матушки Россіи, прогрессивный Петербург рѣшительно отказался ему вѣрить, готов был разбить зеркало, так тонко и талантливо Чеховым отшлифованное. Как был я изумлен, когда, уже послѣ первой революціи, один из выдающихся представителей интеллигенціи В. А. Мякотин, руководитель «Русскаго Богатства», категорически отклонил приглашеніе посмотрѣть «Три сестры» в незабываемом исполненіи Моск. Художеств. Театра, пояснив, что для Чехова только и свѣта, что в окошкѣ его мѣщанскаго дома в Таганрогѣ, и что с него, Мякотина, довольно скуки, испытанной при чтеніи произведеній Чехова; а другой яркій и блестящій представитель шестидесятых годов Ф. И. Родичев, приглашенный к нам в ложу на представленіе «Иванова», только разводил руками, заявляя, что ничего не понимает, и ушел до окончанія чудеснаго волнующаго спектакля. Быть может, именно ссылкѣ, подневольному трехлѣтнему барахтанью в засасывающей будничной гущѣ я обязан тѣм, что уже не мог закрывать глаза на дѣйствительность, что она, напротив, глухо волновала и растравляла скептицизм.

Однако, в первые мѣсяцы пребыванія всѣ помыслы и чувства прикованы были еще к Петербургу, к Невскому за Николаевским вокзалом. Не считаясь с тѣм, что Альберт Львович не предоставлен всецѣло себѣ, а очень занят попрежнему, я писал ему длиннѣйшія письма, которыя самому помогали кое-как разбираться в хаосѣ мыслей и ощущеній, происходившем от недостатка систематическаго образованія. Я безпомощно искал какой-то объективной правды, надѣялся открыть желѣзный закон морали, котораго никто не смѣл бы отвергнуть. Конечно, всѣ мои домыслы безслѣдно испарились, но памятно мнѣ, что в послѣднем письмѣ, полученном от безцѣннаго друга, А. Л. с присущей ему мягкостью убѣдительно возражал на мои доказательства, что человѣк должен вести себя так, чтобы в любую минуту быть готовым спокойно встрѣтить смерть. Должно быть, я исходил из того, что в предсмертныя минуты вся жизнь проносится перед глазами и терзает умирающаго допущенными прегрѣшеніями. Конечно, Альберту Львовичу нетрудно было разрушить мою очередную «теорію».

Упоминаніе о послѣднем письмѣ подводит к страшной драмѣ, можно сказать — трагедіи, ибо в том, что произошло, звучал для Альберта Львовича голос рока. На упомянутое письмо его я немедленно отвѣтил опять весьма обстоятельным посланіем, которое недѣли через три (письмо в Пе-

тербург шло дней 10), получил обратно от жены А. Л., сообщавшей, что 17 Апрѣля он был арестован, послѣ перевернувшаго всю квартиру обыска, и посажен в Петропавловскую крѣпость. Впослѣдствіи выяснилось, что послѣ моего ареста Оржех дѣйствительно пріѣхал с грузом подпольной литературы, но за ним уже слѣдили и, когда установлены были всѣ его связи, он был схвачен, арестован был и А. Л. и в Одессѣ вся группа, членом коей и я был, во главѣ с Штернбергом, причем один из арестованных Ф. (сын его теперь видный русскій піанист и композитор) обнаружил излишнюю словоохотливость и был выпущен из тюрьмы без наказанія. Всѣ остальные подверглись тягчайшим карам: я уже упоминал о Штернбергѣ, Гринцер и Кроль сосланы были в Восточн. Сибирь на восемь лѣт, Оржех и А. Л. около двух лѣт просидѣли в казематах Петропавловской крѣпости, послѣ чего Гаусман отправлен был по этапу в Якутскую область. За ним послѣдовала жена с дочерью, а в Якутскѣ, как подробно разсказано в извѣстной книгѣ Кеннана о Сибири, ссыльные отказались повиноваться звѣрскому приказу губернатора, распорядившагося отправить их в разгар зимы в расположенный за полярным кругом Нижнеколымск. Губернатор приказал примѣнить силу и отрядил взвод пѣхоты. Из дома, в котором ссыльные заперлись, раздался выстрѣл, войска стали стрѣлять, одного убили, другого тяжело ранили. Поведеніе ссыльных квалифицировано было, как бунт, и военный суд жестоко расправился, приговорив тяжело-раненаго Когана-Бернштейна и Гаусмана к повѣшенію. Вдова с дочерью вернулись в Петербург и в 1896 г., когда и Штернберг туда пріѣхал, я предложил навѣстить ее, чтобы от живого свидѣтеля узнать о послѣдних днях друга. Мы очень волновались перед свиданіем, я трепетал душевно, но нашел не то, что ожидал. Она мало измѣнилась внѣшне за 10 протекших лѣт, только глаза стали еще печальнѣе, и, сообщив, что вторично вышла замуж, тѣм же спокойным, скорбным голосом отвѣчала на наши вопросы об якутском происшествіи. Моей очаровательной Нади, тоже вышедшей замуж, не было дома и все показалось так чуждо, так остро ощущалось исчезновеніе былых сердечно дружеских отношеній, что внутри что-то оборвалось и, когда мы вышли на лѣстницу, я, как мальчик, истерически разрыдался, а Штернберг, всегда сдержанный и нѣжно меня успокаивавшій, и сам был недалек от моего состоянія.

Однако, забѣжал я далеко вперед, за эти десять лѣт так много перемѣнилось в жизни. Тогда же, в ссылкѣ, по полученіи извѣстія об арестѣ А. Л., я почувствовал себя впервые осиротѣвшим и, вѣроятно, чувство это не было свободно от эгоистическаго элемента: мнѣ больше не с кѣм было дѣлиться моими самодѣльными теоріями и душевными тревогами и только теперь я болѣзненно ощутил свое одиночество. Но мысль о смертной казни, конечно, в голову не приходила, хотя заключеніе в Петропавловку и предвѣщало суровый приговор. В дальнѣйших письмах жена А. Л. предупредила, что, как ей разсказал муж на свиданіи, его нѣсколько раз допрашивал П. Н. Дурново, тогда директор департамента полиціи, а потом задушившій, в качествѣ министра вн. дѣл, первую революцію 1905—06 г. Дурново неизмѣнно допрашивал А. Л. об его отношеніях ко мнѣ, о моем знакомствѣ с

Оржехом. Когда же отец вновь поѣхал в Петербург и перед тѣм же Дуриово ходатайствовал о сокращеніи срока ссылки, тот недвусмысленно намекнул, что мое наказаніе не соотвѣтствует содѣянному, что вряд ли оно ограничится назначенным сроком. Но намеки и угрозы не реализовались, и так и осталось загадкой, чья рука и почему выхватила меня из западни, в которой уже находились обѣ группы — в Петербургѣ и Одессѣ. Если онѣ так подробно были прослѣжены, то департаменту не могло не быть извѣстно мое участіе. Правда, послѣ разоблаченій Азефа выяснилось, что такіе капризы судьбы, и много болѣе странные, не раз случались и объяснялись желаніем укрыть роль предателей, но в данном случаѣ и такого мотива найти мнѣ не удалось. А дважды все же пришлось пережить минуты непріятныя: казалось, что час мой пробил. В первый раз — это было вскорѣ послѣ ареста А. Л., — ко мнѣ явился исправник, с помощником и полицейскими и, не объясняя причин, сказал, что имѣет приказ произвести обыск, забрал нѣсколько писем, а попутно обратил вниманіе на охотничье ружье: я пытался развлекаться охотой, (отлучки за город были молчаливо разрѣшены, я лишь предупреждал моего цербера), но, по близорукости, только смѣшил людей. Исправник напомнил, что держать огнестрѣльное оружіе ссыльным запрещено, а, по окончаніи обыска, уходя, замѣтил, что у него есть отличная двустволка, которую он мог бы «дешево уступить», и через полчаса прислал ее с тѣм же полицейским. Я не знал, что дѣлать, ибо денег не было на «дешевую» покупку, но он видимо и сам спохватился и на другой день полицейскій просил вернуть ружье, так как «его высокородію» оно оказалось самому нужным.

Второй случай оставил в памяти болѣзненный рубец, который долго не заживал. В 2 часа дня, сильно проголодавшись, я посматривал в окно, не несут ли обѣда, который тогда я получал из мѣстнаго клуба. Вмѣсто этого я вдруг увидѣл большую процессію, конную и пѣшую, остановившуюся у ворот: в почтовом тарантасѣ сидѣли жандармскій полковник и штатскій, это был товарищ прокурора, они прикатили за нѣсколько сот верст из Вельска. Пѣшком шли исправник с надзирателем и цербером, а за ними почтительно подвигалось нѣсколько обывателей, которые должны были исполнять роль понятых при обыскѣ. Процессія заполонила всю комнату, жандарм предъявил ордер на обыск, который и был произведен с большой тщательностью, и большая часть исписанных бумаг и писем была забрана; а затѣм, ни слова не говоря, незваные гости удалились, и меня вдруг обуял животный, безумный страх, какой мимолетно испытал однажды в деревнѣ. Было невыразимо стыдно, тщетно старался логическими доводами это отвратительное чувство пересилить. Измученный внутренней борьбой, я часов в 6 вышел погулять, но в это время с двух противоположных сторон подбѣжали полицейскіе и повели меня в полиц. управленіе. Исправник, недовольный пренебрежительным отношеніем к нему пріѣзжих, успокаивал, наивно увѣряя, что меня никому не отдаст, а я, стискивая зубы, отвѣчал, что нисколько не волнуюсь. Мы вошли с исправником в его кабинет, гдѣ уж сидѣли жандарм и товарищ прокурора, развалившись и ковыряя в

зубах послѣ сытнаго обѣда. Предложив исправнику оставить их одних со мной, они еще, может быть, только с минуту продолжали сидѣть молча, и вдруг страх, как рукой, сняло, он уступил мѣсто злобному раздраженію. Странно было, что, как бы в отвѣт, их отношеніе измѣнилось, у прокурора послышались даже заискивающія нотки, когда он пояснял, что при арестѣ в Одессѣ найдено было в карманѣ у Ф. письмо на мое имя, которое он не успѣл отправить: нѣкоторыя мѣста представляются загадочными и требуют с моей стороны разъясненій, которыя я, конечно, не откажусь дать (необходимость разъясненій доказывала, что словоохотливость Ф. имѣла все же свои границы). Я просил дать мнѣ письмо, чтобы оріентироваться в его содержаніи, они не согласились, прочитывали мнѣ отдѣльныя предложенія, из которых нетрудно было понять, что письмо составлено крайне неосторожно. Однако отказ дать прочитать письмо очень облегчал задачу, и отвѣты мои явно раздражали, чему я злорадствовал, как бы вымещая позорное чувство страха. «Мы вас сейчас же отпустим, если вы выясните, что значит фраза: «вообще перспективы проясняются». — «Если я не знаю связи этой фразы с предыдущей, то могу лишь предположить, что корреспондент мой, собирающійся вскорѣ жениться, предстоящей радостной перемѣнѣ жизни приписывает проясненіе перспектив». Опять, как и в Петербургѣ, рѣзкая перемѣна тона, сухое: запишите! и потом: можете итти! А в сосѣдней комнатѣ торжествующій исправник: «Я же сказал вам, что никому не отдам».

За вычетом этих сюрпризов, жизнь отличалась усыпляющей монотонностью, которой нужно было противопоставить разнообразіе умственных занятій. С таким увлеченіем и настойчивостью предался я изученію англійскаго языка по отличному самоучителю, что через два мѣсяца — мог не читать, а жадно глотать «Записки Пиквикскаго клуба» и вырос в собственных глазах. Труднѣе было справиться с главной задачей — подготовиться к окончательному университетскому экзамену. Полнѣйшее отсутствіе руководства, системы и послѣдовательности в изученіи юридических наук оставило зіяющіе пробѣлы и, если впослѣдствіи кое-как удавалось их заполнить, то недостаток фундамента так уж и остался навсегда и не раз я испытывал горькое безсиліе развить и обосновать мысли и предположенія, которыя тревожно копошились в головѣ. Мнѣ прислали, между прочим, лекціи по римскому праву пользовавшагося большою популярностью проф. С. А. Муромцева. Предложенное им историческое изложеніе римскаго гражд. права, являвшееся тогда заманчивой новинкой, заронило догадку, что развитіе гражданскаго права, опредѣляющаго область частной инициіативы и усмотрѣнія, похоже больше на качаніе маятника, что границы этой области то сокращаются, то раздвигаются. Казалось непонятным, что об этой, для меня ставшей основной, проблемѣ историческаго изложенія Муромцев говорит мимоходом, в примѣчаніи, а утвержденіе, будто «развитіе индивидуализма идет рука об руку с развитіем общественности», ударило по больному мѣсту и вызвало протест, котораго обосновать я не мог бы. Но с тѣх пор меня так уже и не покидала мысль, ставшая idée fixe, об извѣчной неразрѣшимой коллизіи между че-

ловѣком и человѣчеством, о роковой борьбѣ между индивидуализмом и коллективизмом, утихающей на время послѣ побѣды одного над другим и снова с разрушительной силой вспыхивающей, чтобы доставить побѣду, снова временную, другому. Муромцев заставил меня по иному понять знаменитый лессинговскій афоризм о предоставленіи истины Богу, а себѣ только сохраненія сил ее искать. Прежде я видѣл в этом проявленіе жадной ненасытимой пытливости человѣческой, а теперь афоризм представился мнѣ иллюзорным самоутѣшеніем, сознательным маскированіем своего безсилія. Лѣт через пятнадцать (теперь спрашиваю себя — неужели же только пятнадцать?) я имѣл высокое удовольствіе познакомиться с Муромцевым — невозмутимым благородным красавцем, с изящными, чуть медлительными, с оттѣнком торжественности движеніями и такой же размѣренной и внушительной рѣчью. Это было в началѣ 1905 г., на крутом подъемѣ освободительнаго движенія, когда все кругом возбужденно волновалось, а Муромцев властно заставлял нас, как учеников, в своем петербургском pied à terre корпѣть над выработкой деталей «Наказа» для Гос. Думы, которая только еще в перспективѣ вырисовывалась. Эта вѣра в силу и значеніе Наказа, который потом он с таким неподражаемым величавым достоинством тщетно пытался проводить в бурной первой Думѣ, живо напомнила «примѣчаніе», которое так легко и просто разрѣшало на бумагѣ трагическое противорѣчіе между человѣком и человѣчеством.

Если лекціи Муромцева вызвали неудовлетворенность и поставили вопросы, которые я тогда даже и формулировать отчетливо не мог, то другая книга озарила и совсѣм покорила меня. Думаю, что она имѣла рѣшающее вліяніе на сформированіе мыслительнаго аппарата, очищеніе и высвобожденіе его из под гнета обывательских предразсудков и мертвящей рутины. Еще будучи студентом в Одессѣ, я пріобрѣл в русском переводѣ два тома «Логики» Милля, но, почтительно на нее поглядывая, все не рѣшался приняться за штудированіе. Я опасался, что, отвлекаемый принятыми на себя общественными обязанностями, не одолѣю ея, и это удерживало: берясь за толстую серьезную книгу, я как бы вступал в бой с автором, и отложить ее неоконченной значило потерпѣть пораженіе, которое подрывало неустойчивую вѣру в себя и потому непріятно всегда ощущалось.

Я захватил Милля с собою в Петербург, но там еще меньше было возможности посвятить себя чтенію с надеждой дойти благополучно до конца. Теперь, в ссылкѣ, став полным и неограниченным хозяином своего времени, я рѣшил, наряду с изученіем англійскаго языка, удѣлить ежедневно два часа штудированію «Логики». С большим трудом, как наложенное послушаніе, преодолѣвал я отвлеченныя разсужденія перваго тома о названіях, вещах, опредѣленіях, силлогизмах, — то и дѣло тщетно старался подстегнуть необходимое для послушанія воодушевленіе, нѣсколько раз порывался бросить, не будучи в состояніи дать себѣ отчет, правильно ли я усваиваю сущность мыслей автора. Но упрямство брало верх и в таком мучительном настроеніи я подошел к отдѣлу об индукціи и ошибках мышленія. Сторицей была вознаграждена настойчивость. Логику преподавал нам в гимназіи злосчастный

Каликинскій и от него остался в памяти безсвязный разсказ о засѣданіи Академіи наук и силлогизм: человѣк смертен, Кай — человѣк. Кай смертен. Теперь предо мной открылось нѣчто совершенно невѣдомое и неподозрѣваемое, точно покров сняли с глаз, и бурная радость охватила меня. Как же не радоваться, не плясать от радости (я и подплясывал в промежутках), если все так ясно и просто, и зачѣм путаться и блуждать в трех соснах, если знаешь, гдѣ подстерегает опасность ошибки, мѣшающей договориться и выйти на большую дорогу. Конечно, ярко вспыхнувшая вѣра во всемогущество разума и логики в дальнѣйшем не выдержала испытанія жизни и личной импульсивности, немало ошибок весьма чувствительным грузом лежит на совѣсти, но Миллю — да позволено будет утверждать — я обязан умственной честностью и искренностью, которая властно толкала и заставляла сознавать и сознаваться в своих ошибках. Такую вѣру, но покоющуюся на совсѣм ином фундаментѣ—геніальнаго ума и обширнѣйших знаній—я наблюдал потом, в концѣ вѣка, у Л. Петражицкаго, с которым имѣл счастье столкнуться и вмѣстѣ работать в Правѣ.

А послѣ Милля меня уже ждала другая вдохновенная радость. Надо же было так случиться, чтобы в это время появилось первое дешевое изданіе полнаго собранія сочиненій Льва Толстого. Нѣкоторыя произведенія я уже знал, но они не находили в душѣ такого звучнаго, горячаго отклика, как романы Тургенева, да и в кружках самообразованія Толстой был не в чести, потому что Добролюбов и Писарев выдвигали на первый план и удѣляли свое критическое, вѣрнѣе — комментаторское — вниманіе Тургеневу. И как повѣрить, что революціонеры только тогда стали пропагандировать Толстого, когда он оборвал свое несравненное художественное творчество ради проповѣди непротивленія злу насиліем, которая рѣзко противорѣчила народовольческому лозунгу: в борьбѣ обрѣтешь ты право свое! Вспоминаю свое недоумѣніе, когда, еще в Одессѣ, член ЦК Народной Воли (спустя мѣсяца три в Харьковѣ повѣшенный) передал мнѣ для продажи тючок гектографированных изданій «В чем моя вѣра» и «Исповѣди», под фирмой Нар. Воли выпущенных. Эти запрещенныя цензурой проповѣди имѣли в публикѣ большой успѣх и широко распространялись по высоким цѣнам: принцип — цѣль оправдывает средства — не пасовал и перед самосѣченіем. Был тут, впрочем, и другой своеобразный расчет: пусть эта проповѣдь вредит нам, но, как антиправительственная, она содѣйствует разложенію режима. А значит, как это выражено в грубоватой народной поговоркѣ — хоть морда в крови, а наша взяла.

Я прочел всѣ, кажется—их было десять, пухленькіе томы от доски до доски. Читал и перечитывал, иногда сердце так колотилось от радостнаго волненія, что приходилось откладывать книгу, и я все вспоминал Надю, которая, бывало, вдруг расплачется от жалости или ужаса, так что я должен был прерывать чтеніе. Впослѣдствіи мнѣ много раз приходилось, по поводу разных юбилейных дат, и в Петербургѣ и в нашем разсѣяніи, писать и выступать с публичными рѣчами о Толстом и я так формулировал свое воспріятіе его

творчества: оно впервые приподняло перед нами завѣсу повседневной жизни, с геніальной простотой показало, что именно здѣсь лежит центр нашего бытія, а не в тѣх мимолетных героических взлетах души, которые остаются лишь тяжелым напоминаніем о глубинѣ паденія. Я так возгордился Толстым, точно в его творчествѣ было нѣчто мое — в благородной простотѣ, углубленной до мистической проникновенности, в дерзновенном срываніи покровов, под которыми задыхается живая мятущаяся жизнь, ощущался національный характер его генія. Для меня лично он был в полном смыслѣ слова учителем жизни: если логика Милля принесла умственное откровеніе, то сочиненія великаго писателя земли русской дали нравственное просвѣтлѣніе. Каким чудотворным бальзамом был «Люцерн» с выводом Нехлюдова, что человѣк не должен искать положительных рѣшеній и тщетно изощряться в попытках отодвинуть к одной сторонѣ благо, к другой — не благо, что он не может обнять всей истины, что безсмысленно проводить воображаемыя линіи по морю жизни и ждать, что море так и раздѣлится. Каким жалким и фальшивым представилось теперь навязанное дѣленіе на овец и козлищ. Глубоко навсегда запал в душу взгляд на роль великих людей, которые сами по себѣ могут быть и очень маленькими, но почему то поставлены высшей силой — назовем ее как угодно — выполнить то или другое ея предназначеніе. Я пошел дальше и пришел к убѣжденію (знаній, увы, не доставало для обоснованія), что великіе люди всегда имѣются, но дают себя знать только в подходящих для проявленія их условіях. А когда такія условія наступают, они появляются с разных сторон: теорія Менделѣева открыта была одновременно и нѣмцем, Рубенс окружен был плеядой учеников, картины которых теперь тщетно силятся отдѣлить от творчества учителя. Отсюда мысль стала подкрадываться к самому Толстому. Своим долголѣтіем он как будто представляет исключеніе среди русских писателей. Пушкин и Лермонтов были убиты, Гаршин сам с собой покончил, Гоголь дошел до душевнаго разстройства. Если это случайность, то слишком систематическая, и удивительно мѣтко сказал Александр Блок, тоже в расцвѣтѣ лѣт умершій от болѣзни мозга, что Пушкин погиб не от пули, а от недостатка воздуха. Но вѣдь и Толстой, задолго до смерти, демонстративно заявил, что отказывается от составлявшаго геній его художественнаго творчества ради и для исканія положительных рѣшеній, которыя его люцернскій герой так рѣшительно осудил, и стал писать проповѣди, которыя, как бы их ни расцѣнивать, ни в какое сравненіе не могут итти с произведеніями отринутаго им генія. Мнѣ представляется так: в своем знаменитом стихотвореніи, которое мы еще в юности затверживали «Пока не требует поэта», Пушкин категорически признал, что геній не живет в человѣкѣ, а появляется гостем и, когда это случается, человѣк над ним не властен, и сам Толстой, в письмѣ к Фету, спрашивавшему, приступил ли он уже к писанію Анны Карениной, еще болѣе конкретно выразил Пушкинскую мысль, сказав: «Тот Толстой, который пишет романы, еще не пріѣзжал». Пушкинскій Сальери ужасается, что геній озаряет голову безумца, гуляки празднаго, но, быть может, для генія это самое безопасное, самое гостепріимное помѣщеніе: гуляка беззаботно ему

покоряется и творит волю его. Толстой не был гулякой, а имѣл душу мятущуюся, всѣ основныя мысли, которыя содержатся в проповѣдях, не явились вдруг, а отчетливо проступали уже в первых его произведеніях, в устах дѣйствующих лиц. Толстой пользовался каждым приходом таинственнаго гостя, чтобы навязать их ему, и тот, с присущей ему непонятной нам мощью, высоко паря над землею, претворял их в бриліанты чистѣйшей воды и заключал в чудеснѣйшую филигранную оправу. Какое бы это было великое произведеніе, если бы Толстой не противился правилам гостепріимства, а предоставил своему посѣтителю изобразить трагедію, которая привела Толстого к «уходу». Какія ослѣпительныя краски он нашел бы, чтобы, в условіях семейной и общественной обстановки Толстого, представить «вѣчно движущійся, безконечный океан добра и зла, перемѣшанный хаос добра и зла». Об этом можно только слабо догадываться по замѣчательным воспоминаніям дочери его Александры, устанавливающим контуры люцернскаго утвержденія, что как ни прикидывать «на вѣсы добраго и злого, вѣсы не колеблются и на каждой сторонѣ столько же блага, сколько и не блага». Отвергнув гостя своего, Толстой лишил себя возможности подниматься с ним над землей, из наблюдателя суеты сует опростился до участника, из зрителя превратился в страстнаго актера, мѣсто судьи перемѣнил на роль стороны в процессѣ.

Эти мысли, цѣликом меня захватившія и уже в теченіе всей жизни не оставлявшія в покоѣ, образовали как бы ствол, из котораго развѣтвилось мое міросозерцаніе. Тогда они еще только безпорядочно толпились в головѣ, но казались мнѣ столь ясными, столь очевидными, что я считал их общим достояніем, и запоздалость своих открытій объяснял революціонным верхоглядством и односторонностью. Но в это время мнѣ прислали книгу Скабичевскаго, авторитетнаго тогда передового критика, о Толстом, и с большим удивленіем (но признаюсь, и не без удовлетворенія) я увидѣл, что он не только не понял, но просто не замѣтил грандіозных проблем, которыя поставлены геніальным творчеством Толстого. Поскольку же он прикоснулся к ним, допустил полное извращеніе. Припоминаю, что «Анну Каренину» он комментировал под знаком трогательнаго всепрощающаго эпиграфа: «Мнѣ отмщеніе и Аз воздам», причем упор дѣлал на словах «мщеніе» и «воздам», между тѣм как мнѣ казалось безспорным, что удареніе — в этом весь смысл романа — должно стоять на Мнѣ и Аз. Подѣлиться обуревающими меня мыслями было не с кѣм. Таить их в себѣ я не мог, онѣ переливались через край, рѣзкое несогласіе со Скабичевским наталкивало на мысль, что я имѣю сказать нѣчто, не всѣм ясное и извѣстное, я стал испытывать страстное желаніе изложить свои мысли на бумагѣ, это был, вѣроятно, что называется, писательскій зуд, который с тѣх пор и перешел в хроническую болѣзнь. Однако, всѣ мои литературныя упражненія в ссылкѣ постигала странная судьба. Я получал из редакцін лестные отзывы, но статьи не появлялись, а мнѣ тогда казалось, что не может быть высшего счастья, чѣм видѣть свою статью напечатанной и, вмѣсто одиночества, вдруг ощутить духовное общеніе с тысячами людей. В «Русскія Вѣдомости», занимавшія тог-

да исключительно почетное положеніе в періодической прессѣ, я послал взволнованное возраженіе на появившуюся в газетѣ статью по поводу надѣлавшаго большой шум самоубійства профессора-акушера, считавшаго себя виновником неудачной операціи. Всякое извѣстіе о самоубійствѣ вызывало безпокойство, я чувствовал себя как бы лично задѣтым, словно получил вызов. Я был поэтому испуган, прочитав статью, толковавшую добровольную смерть профессора, как проявленіе высоко развитаго чувства долга, как геройскій шаг. Мнѣ хотѣлось, скажу иначе — я чувствовал потребность — доказать (быть может, прежде всего самому себѣ), что самоубійство есть проявленіе слабости и эгоцентризма. Редакція увѣдомила, что статья очень интересна, но «к сожалѣнію» утратила актуальность — со времени происшествія прошло уже около мѣсяца и оно было вытѣснено из общественнаго вниманія другими событіями. Такое объясненіе показалось тогда нелѣпым, вопрос о taedium vitae представлял для молодежи жгучій интерес, а когда впослѣдствіи, в качествѣ редактора, мнѣ то и дѣло самому приходилось прибѣгать к подобной мотивировкѣ, желѣзным обручем сковывающей газетную работу, я испытывал укол воспоминанія об обидѣ, причиняемой автору таким отвѣтом.

Другія причины помѣшали появленію в печати «Портретов», которые изображали упомянутых выше ссыльных — еврея, ксендза и пьяницу адвоката. Редакція «Сѣвернаго Вѣстника» тоже прислала очень лестный отзыв с увѣдомленіем, что очерки будут напечатаны в ближайших книжках, а на запрос через нѣсколько мѣсяцев, почему обѣщаніе не выполняется, получил отвѣт уже от новой редакціи (А. Волынскій и Л. Гуревич), что напечатан может быть «с удовольствіем» только один очерк — об евреѣ, от чего я отказался, ибо напечатанный особняком, он перемѣщал центр тяжести и отрицательныя черты могли бы быть одностороние истолкованы, как расовыя особенности. Еще вспоминается мнѣ, как характерный для тогдашняго настроенія, другой литературный опыт «Борцы поневолѣ», посвященный анализу разсказов Гаршина и поэзіи Надсона, имѣвших бѣшеный успѣх. Но память капризничает — упорно связывает эту работу с именем публициста Николадзе, с какой то его статьей и зрительно она представляется мнѣ в «Отеч. Записках», которых уже не существовало. Вѣроятно, я доказывал, что «надрыв», красной нитью проходящій через все их творчество, объясняется тѣм, что обстановка толкает молодежь на революціонный путь наперекор влеченіям ума и сердца, что, таким образом, революціонеры являются борцами поневолѣ. Теперь я думаю, что в этой статьѣ отразилось упадочное настроеніе эпигонов «Нар. Воли», примкнувших к дѣятельности в эпоху ея разложенія.

Сколько, однако, ни ходи вокруг да около, надо переходить к тому, что сильнѣе всего давило, в разгар моих занятій и литературных упражненій, на настроеніе и стало серьезным жизненным испытаніем. Я снимал тогда двѣ комнаты в семьѣ сидѣльца одной из винных лавок, очень добраго, никогда запивавшаго. За то жена его, еле объяснявшаяся по русски, была сварлива и вѣчно ссорилась с дѣтьми — двумя взрослыми дочерьми и сыном-писцом

в Управѣ. С младшей дочерью, прошедшей через русскую начальную школу, я сошелся, и результат, котораго слѣдовало ожидать, для меня был неожиданным. Помню — в началѣ лѣта, на обратном пути с дачи доктора, я разсказал ему о своих отношеніях к Аннѣ Ивановнѣ и просил освидѣтельствовать ея состояніе, внушавшее подозрѣнія. Вернувшись домой, истерзанный комарами, грязный от пота и кровяных укусов, в отвратительном настроеніи, я направил Анну к врачу. Через полчаса она вернулась и огорченно сообщила, что подозрѣнія оказались правильными. Я стал ее успокаивать, но сам почувствовал себя в тупикѣ, не понимал, как связать настоящее с будущим, не представлял себѣ, чтобы можно было найти какой нибудь выход. Но доктор ждал меня к чаю и, переодѣвшись в чистое бѣлье, освободившись, послѣ умыванія, от зуда, я почувствовал себя бодрым и жизнерадостным и так же тщетно, как во время обыска старался сознаніем преодолѣть животный страх, теперь безсильно убѣждал себя, что положеніе мое отчаянное. Я пытался конкретнѣй представить себѣ, что ожидает ее и меня и как преодолѣть предстоящія осложненія, но неизреченное легкомысліе разсѣивало всѣ комбинаціи и властно подсказывало: «все образуется!» И что же-вѣдь дѣйствительно все образовалось. О, были минуты тяжелыя и бурныя тревоги. Кажется, никогда больше я не волновался так, как при разговорѣ с отцом Анны. Но, вѣроятно, это волненіе, в связи с полной искренностью, и способствовало тому, что объясненіе закончилось болѣе, чѣм миролюбиво, он обѣщал воздѣйствовать на семью, чтобы она не причиняла дочери никаких непріятностей, и лишь старуха не отказалась от своей ворчливости. Мальчик родился 20 августа 1887 г. Еще наканунѣ родов я совсѣм не представлял себѣ сущности и силы отцовскаго чувства, а на другой день послѣ рожденія само собой, именно само собой рѣшилось, что с этим беззащитным, безотвѣтным существом я не разстанусь. Как это осуществить, я не задумывался, напротив — всячески заглушал тревожный вопрос, потому что отвѣта на него не было, и когда он всплывал и заставлял сердце екать, достаточно было взять ребенка на руки, чтобы сложился разливавшій душевную теплоту отвѣт: «пустяки! все образуется». Ребенок доставлял большую радость, смущало лишь, что он был спокоен до флегматичности (как потом и один из его сыновей, на него внѣшне очень похожій) и тогда меньше всего можно было угадать в нем будущаго, до суетливости подвижнаго, беззавѣтно довѣрчиваго — его пріятель, молодой ученый говаривал мнѣ: «как я завидую Сергѣю Іосифовичу — у него всѣ люди ангелы!» —, страстно работоспособнаго профессора, ставшаго, кстати сказать, вмѣсто меня, спеціалистом по педагогикѣ и, в противоположность мнѣ, охотником до абстрактнаго мышленія. Чтобы еще больше воздѣйствовать на семью, мы устроили торжественныя крестины с о. Константином, доктором-крестным, акушерка, добродушная немолодая женщина бобылка была крестной и потом очень о ребенкѣ заботилась. Мѣсяца через три меня потрясла внезапная смерть ея: она звала меня в лѣс по грибы, но в послѣднюю минуту я был чѣм то задержан и она отправилась вдвоем с дѣвочкой подростком. На обратном пути, в подгородной деревнѣ лошадь чего то испугалась, понесла, выбросила

сѣдоков и Марія Ивановна, ударившись виском о выступ нелѣпо, углом на повоpотѣ построенной избы, на мѣстѣ скончалась.

Положеніе осложнялось тѣм, что как раз в это время, послѣ рожденія ребенка, стали прибывать, один за другим, новые ссыльные, и это меня сильно стѣсняло, я чувствовал себя виноватым. Уже на крестинах присутствовал такой новенькій, тоже переведенный из сосѣдняго Яренска, немолодой, совсѣм лысый кавказец Голіев, б. сельскій учитель, неугомонное, но добродушнѣйшее, безобиднѣйшее существо, и вѣроятно я очень обязан был дружескому, за моей спиной, вмѣшательству Голіева, что фактически ни малѣйшей неловкости не пришлось испытать. А в общем жизнь замѣтно измѣнилась. Образовалась цѣлая колонія из людей, как на подбор разных, друг другу чуждых и по душевному складу и по умственным запросам и интересам, так что состав был центробѣжный. Я и думаю, что он распался бы, не будь среди нас замѣчательнаго В. Ф. Данилова. Сын вдовца, священника Курской губ., инженер — он имѣл невзрачную внѣшность: маленькій, лысый, с вьющимися на затылкѣ остатками волос, широким лицом, всегда готовым расплыться в добрую улыбку, с глазами как бы спрятанными за очками, он был олицетвореніем доброты, мягкости и нѣжности, услужливости и отреченности от своего я. Казалось, что у него вообще нѣт никаких желаній и потребностей — хотите веселиться, читать, в винт играть, пѣсни пѣть — зачѣм же дѣло стало? давайте, я с вами. Хочется ли о чем-нибудь попросить, он непремѣнно предупредит: а вѣдь вам статью перебѣлить нужно. Давайте ка, давайте, у меня почерк лучше, а дѣлать мнѣ нечего. — Только что возникнет недоразумѣніе, он, как будто не замѣчая его, вмѣшивается и отвлекает вниманіе в другую сторону. По окончаніи ссылки он занял самое недоступное для «неблагонадежнаго» мѣсто—был директором техническаго училища в Баку и несомнѣнно показал себя выдающимся педагогом. Думаю, что и к нам он относился, как к дѣтям, несмышленышам, и нельзя сказать, чтобы для этого, в обстановкѣ вынужденнаго бездѣлья и безцѣльности, не было никаких основаній. Он вошел в сношенія с Академіей Наук и нам прислали приборы для метеорологических наблюденій, в которых человѣк 5 принимали участіе. Но замѣтив, что утреннее наблюденіе (в 7 утра) производится не совсѣм аккуратно, он нѣжно просил предоставить их ему одному, ибо днем де ему неудобно, отрывает его от работы.

Полную противоположность ему представлял студент, описанной Короленкой в неоконченном романѣ, Петров-Разумовской Академіи, этого революціоннаго разсадника, Щекотов. Профессіональный забіяка и спорщик, он представлял живой календарь революціоннаго движенія: не было ни одного сколько-нибудь крупнаго дѣятеля, біографіи коего он не знал бы, и в этом видѣл свое безспорное превосходство над всѣми прочими, для которых у него и было любимое словечко — балда, получившее широкое право гражданства в колоніи. Совсѣм безцвѣтным, уже вполнѣ законченным обывателем был московскій юрист Степанов, котораго сильно тянуло в устьсысольское общество. Он и застрял навсегда в У., женившись на смазливой вдовѣ

умершаго при нас фельдшера. Степанов имѣл литературную работу — для какого-то московскаго народнаго издательства он составлял отрывные календари. Двое рабочих, как теперь выражаются, от станка тоже представляли друг другу яркую противоположность. Лютеранин Райх, здоровенный слесарь, всегда и надо всѣм язвительно подшучивал, в том числѣ и над собою (больше всего доставалось безобидному Голіеву, котораго он прозвал папашей), а сам был очень себѣ на умѣ. Другой Ильченко — простой, добродушный с лѣнцой, беззаботный хохол с смѣющимися глазами, застывшей улыбкой, оживлявшейся как только начинали пѣть хором малороссійскія пѣсни, которыя заставляли его, несмотря на легкую хромоту, ходуном ходить и приплясывать. Я не мог понять и даже вчужѣ негодовал, как и почему жена его рѣшила соединить жизнь свою с таким простофилей. Викцентина Болеславовна на мой взгляд была женщина совершенно исключительная, от нея вѣяло святостью, и мнѣ больше не пришлось встрѣтить человѣка, к которому я бы относился с таким любовным, почтительным уваженіем: высокая, хрупкая, идеально сложенная, с безукоризненно правильным точеным лицом, омраченным прозрачной тѣнью затаенной неизбывной грусти, и большими сѣрыми глазами, тоже застывшими, но во всепрощающей выразительности, думаю, что один взгляд этих глаз мог бы расшевелить сердце закоренѣлаго грѣшника, еще прежде чѣм она начинала говорить проникновенным, ласковым, чуть надтреснутым голосом. Совершенством было каждое движеніе ея, каждый жест, поворот головы, все дышало покоряющим благородством и все было в ней так просто и естественно. Через нѣсколько лѣт по окончаніи ссылки она скончалась в Саратовѣ от туберкулеза. Ревниво берегу о ней свѣтлую память и горячую благодарность до послѣдняго издыханія: у нея около года пробыл Сережа в обществѣ ея дочурки, его сверстницы, прежде чѣм я мог взять его к себѣ.

Самой видной фигурой, занявшей особое, завидное положеніе, был молодой врач, окулист, Ф. П. Поляков, с которым и послѣ ссылки судьба меня тѣсно сводила и вновь разводила по разным мѣстам. Вот и здѣсь передо мной лежит изящная золотая вставочка с выгравированной надписью: «1888—9 Января — 1913», которую он подарил мнѣ к 25-лѣтію нашего знакомства, и не раз я буду возвращаться к нему на дальнѣйших страницах с дружеской признательностью. Всѣх он располагал к себѣ пріятной наружностью, веселым смѣшком, мягкими, вкрадчивыми манерами и чуткой отзывчивостью. Получив, в видѣ рѣдкаго исключенія, разрѣшеніе заниматься медицинской практикой, он произвел в больницѣ настоящій переворот, которому благодушный толстяк нимало не препятствовал: больницу узнать нельзя было—в пріемные часы она переполнена была паціентами, пріѣзжавшими часто за сотни верст, ибо слава о чудотворцѣ все дальше распространялась. Да, никогда не видѣвшіе настоящей медицинской помощи зыряне искренне считали его чудотворцем. Как же иначе, если они вдруг избавлялись от мучительных глазных болѣзней, прозрѣвали послѣ снятія катаракты и т. п. Но ему приходилось лѣчить от всяких болѣзней и дѣлать разныя операціи и руки у него были подлинно золотыя: какое то чудесное умѣнье,

усиливаемое психическим воздѣйствіем и сердечной заботливостью, умалять боль и, главное, своими манерами вызывать безграничное довѣріе. При послѣднем нашем свиданіи в Петербургѣ в февралѣ 1919 г. он как бы подвел итог своей свыше тридцатилѣтней дѣятельности и сказал, что, перевидав больше полумилліона паціентов, пришел к убѣжденію, что лѣкарства гораздо менѣе дѣйствительны, чѣм психическое вліяніе: случалось, что и ошибочно прописанныя лѣкарства оказывали благотворное дѣйствіе. В больницѣ Федор Петрович работал безплатно, но небольшія средства, достаточныя для жизни в У., зарабатывал частной практикой среди чиновников и служащих, которые теперь впервые стали вообще лѣчиться. Для полнаго счета нужно еще упомянуть о Князевѣ, моск. студентѣ пятаго курса, корейастом, невысокаго роста человѣкѣ с непропорціонально большой черной, тщательно расчесанной бородой, и женѣ его, напоминавшей Никанорову. Они держались упорно в сторонѣ и можно было только понять, что он сознательно чуждается нашего общества и совершенно случайно попал в ссылку.

С каким волненіем перехожу я к послѣднему из нашей колоніи, А. Н. Александровскому, сознавая, что не найти мнѣ слов, чтобы дать почувствовать отраду и тревогу, которую мнѣ доставляло близкое общеніе с ним, — нѣсколько мѣсяцев мы прожили в одной квартирѣ. У него было много общаго с обаятельной Винцентиной Болеславовной: такой же высокій, еще болѣе тонкій, хрупкій, чудесное блѣдное лицо с небольшой темнорусой бородой казалось совсѣм прозрачным, такое же благородство манер и движеній. Но такіе же большіе сѣрые глаза застыли в безпокойствѣ и избѣгали смотрѣть на собесѣдника, а были обращены внутрь, как бы для того, чтобы не выдать своей глубоко затаенной грусти. Он рад был случаю посмѣяться, но именно смѣх его, надрывной смѣх сквозь слезы, вызывал прилив участливой симпатіи, желаніе обнять и приласкать его, как встревоженнаго ребенка. Бывало, сидит он среди других, играющих в винт или шашки и шахматы, прислонившись к чьему-нибудь стулу, и держит в руках томик англійскаго Шекспира с «Двумя Веронцами». Ему не приходит в голову, что я прикован к нему взглядом, и он опустил книгу на колѣни, поджав одну ногу под другую, и дал волю глазам, широко раскрывшимся и вопросительно уставившимся в одну точку перед собой. Вдруг за карточным столом недоразумѣніе. Щекотов недоволен партнером, тот отвѣчает взаимностью, Щекотов раздражается и напускным басом гремит: «Ну, как же вы не балда». Общій смѣх разбудил А. Н., он вскакивает со стула, заливисто хохочет и кажется самым активным участником недоразумѣнія, хотя тогда карт не держал еще в руках и не понимает, из за чего произошла ссора. Но карты вновь сданы, игра возобновляется и А. Н. снова в своей позѣ, еще тѣснѣй прижавшись к кому-нибудь из играющих, и опять облако тоски заволокло лицо,—стараюсь не смотрѣть на него, чтобы заглушить какое то томительное предчувствіе. Мнѣ думается, что его сходство с женой Ильченки опредѣлялось одинаковым міроощущеніем, а разница — что ее это міроощущеніе привело к святости, а его — к душевному надлому, который он тщетно пытался залѣчить. У нея было обаяніе, вызывавшее любовное почтеніе, он привлекал горячей

симпатіей, хотѣлось обвернуть его ватой, чтобы по надлому не так болѣзненно ощущались удары.

Нѣт, так мнѣ не справиться со своим волненіем. Попробую разсказать все по порядку, отрѣшившись от личных впечатлѣній. А. Н. был сыном священника подгородной Саратовской слободы. Отец знал и общался с Чернышевским до осужденія его на каторгу, мать не позволяла никому повышать голос в присутствіи дѣтей. По окончаніи гимназіи в Саратовѣ А. Н. поступил в Кіевскій университет и, получив диплом кандидата филологических наук, назначен был учителем русскаго языка в высших классах кременчугской женской гимназіи и оставался в этой должности в теченіе трех лѣт, до своего ареста, который в захолустном Кременчугѣ, гдѣ его знал весь город, произвел, конечно, большую сенсацію. В тюрьмѣ, по провинціальным порядкам, его продержали долго, мѣсяцев восемь, и камера всегда была заполнена разнообразными приношеніями учениц, родителей и друзей. Бѣда была лишь та, что в тюрьму не пропускали ничего алкогольнаго, и это было для А. Н. большим лишеніем. «Я попросил, чтобы мнѣ принесли рюмочку, перед пищей наполнял ее водой, громко говорил: «ну-ка, первая соколиком», и опрокинув залпом в рот, крякал, как полагается при выпивкѣ, и тогда с удовольствіем принимался за ѣду». Смѣшно сказать, эта пустяковая деталь его интереснѣйших разсказов почему-то привлекла обостренное вниманіе, прочно осѣла в памяти и то и дѣло по самым разнообразным поводам начинала ворошиться, напоминая о себѣ и дразня. Я успокоился, когда много лѣт спустя познакомился с геніальной теоріей Павлова об условных рефлексах.

Приговоренный к ссылкѣ в Вологодскую губ., А. Н. рѣшительно отказался от собранных его поклонниками денег для поѣздки на свой счет и предпочел итти этапом, в партіи, состоявшей из нѣскольких десятков арестантов, преимущественно безпаспортных бродяг. Выросшій на Волгѣ, среди народа, он знал и любил его не абстрактно, как мы, а подлинной, живой любовью и воспользовался случаем, чтобы, послѣ долгаго пребыванія среди оторванных от народа слоев, снова поглубже заглянуть в душу его. Этапный путь из Вологды в У. длился 55 дней — два дня ходьбы, по 20—30 верст и «дневка» — отдых на третій день. На остановках и в особенности на дневках А. Н. вел бесѣды со своими подневольными спутниками и читал им народныя произведенія Толстого. Сельское начальство на этапных пунктах смотрѣло конечно косо, но бывали случаи, что в заброшенных селах, гдѣ и этап составляет рѣдкое развлеченіе, сам старшина присосѣживался и даже вступал в словесное состязаніе. А. Н. отнюдь не имѣл в виду заниматься антиправительственной пропагандой и только давал толчек бесѣдѣ, чтобы развязать языки и наслаждаться и жадно впитывать в себя слышанное. Он и пришел к нам физически измученный и весь переполненный путевыми впечатлѣніями, совершенно неспособный воспринимать и оріентироваться в новой обстановкѣ. Встрѣтив на улицѣ, через нѣсколько дней послѣ его прихода, исправник задержал меня, остановился и, заботливо показывая пальцем на лоб, сказал: «За *ним* надо присмотрѣть. Все ли у него тут в порядкѣ?» В

этом дѣйствительно можно было усомниться: домишко, в котором мы обитали, всего то состоял из 4 комнат с кухней, а он путался и приходилось водить его в уборную. В первые дни трудно было вытянуть из него слово. Он то лежал на диванѣ, то кружил по комнатѣ, то присаживался к столу, на котором лежала стопка почтовой бумаги, и медленно писал крупным заостренным четким почерком. Все, что было написано, отсылалось в Париж, гдѣ, в Сорбоннѣ, училась его невѣста—медичка, обрусѣвшая француженка-кіевлянка. Почта приходила к нам по понедѣльникам и четвергам, а на другой день уходила, и большую часть привозимой и увозимой из У. корреспонденціи составляла переписка ссыльных. В эти промежутки между прибытіем почты и укладывались отрѣзки жизни А. Н. Отнеся на почту толстое письмо, он возвращался домой замѣтно успокоенный, заходил в мою комнату, усаживался на лежанку (ему всегда было холодно) и пытался заговаривать, а я склонялся над книгой, дѣлая вид, что очень занят чтеніем. Но выдержать характер я не мог и, когда раздавался смѣшок, я спрашивал, в чем дѣло, он очень образно разсказывал какую-нибудь курьезную сценку, которую только что наблюдал на почтѣ, и между нами начиналось состязаніе: я пытался взобраться на своего конька и вовлечь его в бесѣду о Толстом — он вообще прекрасно знал всю русскую литературу, — он начинал разсказывать о Кременчугѣ, о своем младшем братѣ, который сознательно отказался от университетскаго образованія, по отбытіи воинской повинности поселился в уѣздном городѣ на должности библіотекаря, постель устроил себѣ из старых газет и жил затворником, подробно и интересно описывая брату свою жизнь. Так мы состязались часа два-три, а на другой день снова начиналось тоже самое впредь до отправки слѣдующаго письма. С теченіем времени он постепенно оттаивал, его научили играть в винт и то была потѣха, когда партнером его был Щекотов и слово балда гудѣло в воздухѣ, а он заливался своим больным смѣхом. Но с приближеніем весны, которая обычно сразу вступала в свои права, он проявлял все больше безпокойства, совсѣм перестал обращать вниманіе на внѣшность — я называл его прекрасной Еленой, потому что одна штанина распоролась снизу до колѣна, и Данилов тщетно упрашивал отдать ему для починки. Наконец, А. Н. открылся мнѣ, что, с началом судоходства по Двинѣ, пріѣдет из Парижа его невѣста, он снял для нея комнату и стал ждать, так мучительно и болѣзненно напряженно, что заразил всѣх и всѣ утратили душевное спокойствіе и ждали вмѣстѣ с ним, точно к каждому должна невѣста пріѣхать. На пароходѣ она могла добраться до Сольвычегодска — движеніе по Вычегдѣ начиналось на двѣ-три недѣли позже и 400 верст ей нужно было отмахать в безрессорной таратайкѣ, а кромѣ того нельзя было точно предувѣдомить о времени пріѣзда. Поэтому, с момента полученія телеграммы из Сольвычегодска А. Н. стал сам не свой, послѣднія двѣ ночи спал не раздѣваясь, вѣрнѣе — не спал: просыпаясь, я слышал, как тяжело он ворочается и что-то бормочет. В послѣднюю ночь и мной овладѣла неуютная тревога и, услышав около 6 часов утра почтовый колокольчик, я громко крикнул: «А. Н.!», но он уже стремительно выскочил из дому, только я и видѣл его. Я одѣлся, безцѣльно вышел

на улицу и, проходя мимо дома, гдѣ была наша «столовка», к величайшему своему удивленію увидѣл, что там собралась уже вся колонія. Не только я, сожитель А. Н., невольно заражавшійся его волненіем, но, как оказалось, всѣ прислушивались и облегченно вздохнули, когда колокольчик зазвенѣл, и на радостях поспѣшили встать, словно по уговору сошлись вмѣстѣ, не без конфузливаго смущенія поглядывая друг на друга. Кто-то сбѣгал на рѣку, зачерпнул ведро воды, раздули самовар и стали пить чай за здоровье жениха и невѣсты. Она пробыла у нас мѣсяца три и уѣхала с послѣдним пароходом, но мы впервые ее увидѣли за нѣсколько дней до отъѣзда, когда уже началась непривѣтливая осенняя погода, увидѣли настоящую француженку — изящную, подвижную, свѣтски общительную и совсѣм непринужденно державшуюся (она, конечно, всѣх нас знала до тонкостей по разсказам А. Н.) как бы в давно знакомом обществѣ, с энергичным выраженіем лица, ясными черными глазами и увѣренным тоном рѣчи. В теченіе этих трех мѣсяцев они всецѣло принадлежали друг другу, ни с кѣм не видѣлись, утром уѣзжали в лодкѣ к затону, образовавшемуся на рѣкѣ, днем он приходил с судком к нам за обѣдом, в жаркіе дни вновь возвращались на рѣку, и я загодя тревожился, как он перенесет разлуку. Такой беззавѣтной, всепоглощающей любви мужчины к женщинѣ мнѣ больше не приходилось видѣть, а А. Н. потом поразил меня, разсказав, что больше трех мѣсяцев подряд они вмѣстѣ жить не могут и должны на время разъѣзжаться. А. Н. проводил ее до пересадки на другой пароход (для этого пришлось сломить свое органическое игнорированіе всякаго начальства и просить разрѣшеніе у исправника), а вернувшись через три дня, съѣхал, как и надо было ожидать, от меня в комнату, которую она занимала, чистенько, даже нарядно убранную, и сам имѣл теперь опрятный, франтоватый вид. Но не прошло и мѣсяца, как он снова превратился в Прекрасную Елену, и комната пропахла табачным дымом: он «сооружал собачью ножку», скручивая трубочку из газетной бумаги и насыпая в нее удушливой махорки.

Переѣзд А. Н. дал возможность углубиться в подготовку к университетскому экзамену и это было необходимо, ибо наступала для меня послѣдняя зима. Я сходился с товарищами только за обѣдом и ужином, вечером оставался рѣдко, когда получалась новая книжка журнала (редакціи либеральных газет и журналов посылали нам свои изданія безплатно) и происходило чтеніе вслух. Иногда и тут не обходилось без чисто дѣтских недоразумѣній. Так однажды, при полученіи очередной книжки Сѣвернаго Вѣстника заспорили, начать ли с чтенія Чеховской «Степи» или публицистической статьи, на которой настаивал Щекотов. Когда послѣ 10—15 минут ожесточеннаго спора и противопоставленія разных доводов, большинство все же оказалось на сторонѣ «Степи», Щекотов шумно вскочил, схватил шапку, и, крикнув: «Да вы же всѣ чистые балды», громко хлопнул дверью под заливчатый смѣх А. Н. Но я не помню, чтобы происходило обсужденіе и споры по содержанію прочитаннаго. Еще рѣшительнѣе можно утверждать, что ни разу не возникло принципіальнаго разговора о революціонном движеніи, к нему как то не проявлялось никакого интереса, опредѣлилось молча-

ливое соглашеніе о прошлом не говорить. Правда, всѣ были только сочувствующіе и всѣ пострадали из за оплошности упомянутаго Сергѣя Иванова. Именно поэтому, вѣроятно, разложеніе Народной Воли, к которой наша колонія имѣла отношеніе только по касательной, сразу и легко дало почувствовать оторванность от революціонной дѣятельности. Когда через нѣсколько лѣт снова стала подыматься волна подпольной работы и на сценѣ появились соціал-демократы и соціалисты-революціонеры, смѣнившіе народовольцев, — идейные программные споры опредѣляли все бытіе ссыльных колоній. Кажется, для всѣх членов нашей колоніи ссылка была лишь эпизодом, замутившим на время ровное спокойное теченіе жизненнаго ручейка, но не засорившим русла и не свернувшим его в другую сторону. Пост директора техническаго училища, занятый, как уже упоминалось, очаровательным Даниловым, несомнѣнно как нельзя больше соотвѣтствовал его душевным влеченіям. Рейх умудрился устроиться в Петербургѣ на извѣстном заводѣ Айваз и перемѣнил лютеранскую вѣру на православную. Ильченко послѣ ссылки работал на екатеринославских заводах, а послѣ смерти жены переселился в Саратов, гдѣ вновь «как полагается, пояснил он, неудачно», женился и пріѣзжал в Петербург на какой-то съѣзд освободительнаго движенія, был очень оживлен и ко мнѣ, как к «кадету», относился нѣсколько свысока. Милый, глубокопорядочный Демяник, осѣвшій в Армавирѣ частным повѣренным, очень обрадовал меня своим посѣщеніем в Петербургѣ, куда пріѣзжал, чтобы поддержать ходатайство о превращеніи своего родного села в город. И внѣшним видом своим, чуть только поддавшимся воздѣйствію времени, и всѣми манерами и движеніями он воскрешал впечатлѣніе прежняго добрѣйшаго и честнѣйшаго товарища. Зато от прежняго Щекотова ничего не осталось, он как будто это сознавал и стѣснялся. Пріѣхал он в столицу к профессорам, чтобы лѣчить одного из сыновей своих от туберкулеза. Окончив, послѣ ссылки, Петрово-Разумовскую Академію, он тоже вернулся на родину свою, в город Тотьму, дослужился до лѣсничаго, женился и имѣл кучу дѣтей. Он сильно обрюзг, утратил весь свой молодой задор, «балда» исчезло из лексикона и говорил он только о житейских заботах, о том, как трудно жить. У меня были тогда связи в министерствѣ земледѣлія и я предложил ему помощь для перевода на службу в Петербург, но он только руками замахал: пусть в Тотьмѣ никаких перспектив не имѣется и приходится перебиваться с хлѣба на квас, но там свой домишко, огород, и тронуться с мѣста с большой семьей было бы неоправданной авантюрой. Блестящій успѣх сопровождал врачебную дѣятельность Полякова, сначала в Тулѣ, потом в Петербургѣ, куда он переселился годом позже меня и получил званіе лейб-медика: его имя упоминается в опубликованной перепискѣ государя с государыней в связи с болѣзнью наслѣдника, котораго он лѣчил.

Остался в полном смыслѣ слова неприкаянным только А. Н. Александровскій, уѣхавшій послѣ ссылки в Париж, гдѣ занял мѣсто преподавателя в русской школѣ, невѣста его тѣм временем получила диплом врача и они поженились. В старых моих записях упомянуто, что «ему предстояло

получить кафедру», но теперь не могу сообразить, о какой кафедрѣ идет рѣчь. Во всяком случаѣ он предпочел принять приглашеніе извѣстнаго кіевскаго милліонера-сахарозаводчика Терещенко поступить к нему воспитателем сыновей. А. Н. соблазнился яхтой, на которой семья проводила значительную часть года — это отвѣчало его непосѣдливости, душевному безпокойству. Одним из его воспитанников был М. И. Терещенко, сначала чиновник особых порученій при императорских театрах, впослѣдствіи министр финансов и иностранных дѣл Временнаго Правительства. Мы долго поддерживали переписку, два раза он обрадовал присылкой оттисков своих очерков, помѣщенных в Русском Богатствѣ и напоминавших лучшіе разсказы Глѣба Успенскаго, с которым у него вообще было сходство и который в то время уже доживал свою тяжелую жизнь в лѣчебницѣ для душевно-больных. Два раза мы видѣлись в Тулѣ, гдѣ А. Н. проѣздом на короткое время останавливался для свиданія с Поляковым и мною, и впечатлѣніе безпомощности и душевной растерянности было еще ярче и тревожнѣе. Во времена третьей Думы я ежедневно видѣл в недолговѣчной газетѣ «Страна» подпись издателя: А. Н. Александровскій, но безконечно далека была мысль, чтобы это был мой А. Н., такое предположеніе никак не могло бы притти в голову. А потом, уже в началѣ войны, он явился ко мнѣ, постарѣвшій, осунувшійся и съежившійся, с потухшими глазами, робкій и молчаливый. Явно дѣлая над собой усиліе, он на мои вопросы разсказал, что издателем «Страны» был именно он: Терещенко, дав профессору М. М. Ковалевскому, воскресившему на рубежѣ нынѣшняго столѣтія русское масонство, средства на изданіе газеты, возложил на А. Н. распоряженіе ими, — менѣе подходящаго человѣка для этого найти было бы невозможно. Когда «Страна» закрылась, он вернулся в Кіев к женѣ и дѣтям, а сейчас пріѣхал навѣстить старшаго сына, студента политехникума. Этого Колю он потом привел к нам, я не преувеличиваю: не только мнѣ, но всѣм казалось, что в комнатѣ становилось свѣтлѣе, когда входил этот стройный, нѣжно женственный юноша, весь в мать, с гордо поставленной головой и смѣющимися глазами, какой-то легкій, брызжущій энергіей и жизнерадостностью. Жена и я всегда любовались им, а отец при нем пріобрѣтал другой вид — он не сводил глаз с сына, и по лицу блуждала затерянная улыбка, напоминавшая ушедшіе годы и дорогого и близкаго А. Н. «Чѣм же вы теперь заняты?», продолжал я донимать его. Я чувствовал, что вопросы ему удовольствія не доставляют, но и сам не мог тогда похвастать душевным равновѣсіем и преодолѣть болѣзненную потребность оріентироваться в его настроеніях. «Да, так, вообще, ничего! Так, старыя книжки хорошія почитываю, по букинистам хожу, много забавнаго, интереснаго найти у них можно и поговорить с ними любопытно. А вечерами с младшим сыном Чехова в лицах читаем». Младшій (забыл его имя), по словам отца, представляет полную противоположность Колѣ. Натура у него созерцательная, живет он отдѣльно от родителей, в предмѣстьѣ Лукьяновкѣ, в старом домѣ, затворником. «А сад там какой — огромный, запущенный, весной утопает в сирени» — «Позвольте, позвольте, А. Н.! Лукьяновка вспоминается мнѣ в связи с процессом Бейлиса» —

«Как же, конечно, — он оживляется, — ламповщик, Чеберячка, да и сам Андрюша, так звѣрски убитый, — они всѣ тамошніе, сын их всѣх отлично знал». И слѣдует подробный разсказ, с упором на всѣ странныя детали, — обо всѣх этих участниках дѣла по обвиненію Бейлиса в ритуальном убійствѣ, и выходит так, что все это люди, как люди, ничего в них страшнаго не было и сам Ломброзо ничего для себя не нашел бы в них. А Коля, с началом войны пошел сначала в санитары, потом поступил в военное училище, вышел артиллерійским офицером, но вскорѣ стал летчикомъ. Отец все время ловил его на путях и, когда бригада его на нѣкоторое время осѣла в Таммерфорсѣ, добился разрѣшенія жить с ним в офицерских казармах: он обожал сына так всепоглощающе, как когда то любил его мать в Устьсысольскѣ. В промежутках между передвиженіями сына он наѣзжал в Петербург, приходил ко мнѣ, с неизмѣнным вопросом, не мѣшает ли, глубоко усаживался в креслѣ и все просил почитать ему из блестяще написанной «Книги о Смерти», которую в рукописи дал мнѣ покойный выдающійся петербургскій адвокат и поэт С. А. Андреевскій (позже книга была издана в Ригѣ). Однажды, перебирая в разговорѣ наши воспоминанія о ссылкѣ, выдавливавшія на лицѣ его бѣглую улыбку, я неосторожно спросил, как поживает брат его. Он вздрогнул, низко опустил голову, собрались и обострились морщины на лбу: «То-то и есть, что нехорошо... Был он редактором газеты в Вольскѣ, теперь в лѣчебницѣ». Не нужно было спрашивать, в какой лѣчебницѣ... Революція, безпорядочно разбросавшая близких людей в разныя стороны, разлучила меня и с А. Н., больше о нем я не слышал, но нѣт никаких основаній утѣшать себя, чтобы его хрупкая душа, с трудом переносившая «нормальную обстановку», могла уцѣлѣть в революціонном хаосѣ. В 1918 г., в Сортавала, знаменитый художник Н. К. Рерих показал мнѣ, между прочими, замѣчательную картину свою: «Крик Змія». Свернувшійся в клубок змій, взвивающійся головой с высунутым языком кверху, к небу, так поразил, что на мгновеніе дыханіе перехватило и вдруг пронеслось мучительное воспоминаніе об А. Н. Я спрашивал себя: вот чудесный человѣк, умный, образованный, добрый, страстно любящій свою «нищую Россію» и народ ея, готовый всѣ силы и способности отдать ему. Для чего же нужно было парализовать эти недюжинныя силы, дав и ему «трепещущее сердце, истаиваніе очей и томленіе души».

Трагическая судьба А. Н., с которой и сейчас мириться не могу, опять увлекла на многіе нелегкіе годы вперед, а мнѣ предстоит еще разстаться с Устьсысольском. Предвкушеніе конца ссылки отравлялось опасеніями, что срок будет продлен. Эти опасенія настойчиво поддерживались Щекотовым, авторитетно ссылавшимся на ряд случаев, когда ссыльному преподносили сюрприз в послѣдній момент — явки за полученіем «проходного свидѣтельства» на родину, или даже возвращали с дороги. Теперь, когда на руках был сын, а из дому приходили самыя неутѣшительныя извѣстія о матеріальном положеніи семьи, мысль об оставленіи в У. приводила в содроганіе. А вмѣстѣ с тѣм не давала покоя забота, на кого же оставить Сережу, каково будет к нему отношеніе семьи матери и ея самой, когда меня тут не будет. Но пес-

симизм революціоннаго оракула не оправдался, а судьба, напротив, улыбнулась. Незадолго до отъѣзда мы получили извѣстіе, что в Устсысольск по этапу идут два старых друга моих — Перехватов и Демяник — и я рѣшил встрѣтиться с ними дорогой и умолить понаблюсти за мальчиком. Трогательно напутствуемый товарищами, я уѣзжал в концѣ января. Стояла суровая зима, морозы доходили до 35 гр. по Реомюру. Ѣхал я на вольных — это обходилось много дешевле, но ѣзда была медленнѣе, ночью ямщики с трудом соглашались везти, кромѣ того — нужно было так приноровиться, чтобы встрѣтить этап на дневкѣ. Останавливался я в курных крестьянских избах, обычно заставал только хозяйку, которая, склонившись у дымящей лучины и ногой качая зыбку с ребенком, занята была плетеніем знаменитых вологодских кружев. Разъѣдало глаза дымом и больше получаса оставаться в избѣ было невозможно. Но страшнѣе была темнота духовная: горизонт женскаго міросозерцанія обрывался у крайней избы, а всего их насчитывалось в деревнѣ не больше десятка, мужчины имѣли превосходство: они доѣзжали до сосѣдних деревень. Устьсысольск здѣсь представлялся чѣм то сказочным, и меня жадно о нем расспрашивали. Было такое ощущеніе, что духовных интересов здѣсь вообще не существует и что с этими людьми меня объединяют только животные инстинкты. Теперь то я понимаю, что это была гордыня невѣжества, мнѣ самому можно было здѣсь кое чему поучиться. Как мудро выразился Пастер: «я много занимался изученіем природы, поэтому я вѣрую, как бретонскій крестьянин. Если бы мнѣ удалось изучать и изслѣдовать еще больше, я бы вѣровал простой дѣтской вѣрой бретонской крестьянки». Но тогда мысль работала в другом направленіи и за время безконечнаго пути, под унылое позвякиванье бубенцов, я терзался неотвязным вопросом, что же мы сдѣлали за три года пребыванія среди этих людей, бросили ли в них хоть «единый луч сознанья», какую память о себѣ оставили? Я старался отбиться от этих мыслей возраженіями, что мы связаны были надзором, что воспрепятствованіе «хожденію в народ» интеллигенціи и привело к революціонному движенію и террору, но чувствовал, что возраженія все же оставляют лазейки, в которыя мысли эти проскакивают, что тут вот и пригодилось бы слѣдованіе толстовской проповѣди, которое заставило бы обывателей задуматься над тѣм, к чему мы стремимся и за что гонимы правительством. А бубенцы все также уныло позвякивали и так мы и доѣхали наконец до этапа, сразу заставившаго обо всем остальном позабыть. Я опасался помѣхи со стороны конвойных, потому что свиданія и разговоры с препровождаемыми по этапу строго запрещены, но взволнованная просьба нашла живой отклик в сердцѣ молодого солдата, лицо котораго до сих пор помню. С расцвѣтшей улыбкой, точно ему самому предстоит получить удовольствіе, он проводил меня к совершенно изумленным неожиданностью друзьям, и мы часа три провели вмѣстѣ. Оба были бодры, но у Перехватова замѣтна была нездоровая полнота и тюремная желтизна лица, оба горячо отозвались на мою мольбу, обѣщав поселиться в моих комнатах и оградить ребенка от нежелательных вліяній. Успокоившись от этого разговора, я от них узнал подробности о «дѣлѣ Оржеха». За ним слѣдили уже

в Дерптѣ, откуда он прислал мнѣ письмо. Дали ему пріѣхать в Петербург с грузом, значительную часть коего он там оставил, оттуда позволили и дальше уѣхать, в Одессу. В Одессѣ тоже жандармы установили всѣ его сношенія и дали ему возможность уѣхать в Таганрог, гдѣ организована была подпольная типографія. Там, за печатаніем послѣдняго номера Народной Воли, он и был схвачен, а вслѣд за этим жандармы расправились и с петербургской и с одесской группами.

К концу десятаго дня я добрался до Вологды и, сѣв в вагон, испытал чувство, как будто пріѣхал с того свѣта. Вагон был до отказа набит и один купец громко выражал свое недовольство, а когда другіе пассажиры пытались его урезонить, он отвѣчал: «вам то с полгоря, вы только что сѣли, а я уже третій день мотаюсь». А я вот — как-то само собой сорвалось у меня, — уже в одиннадцатый день вступаю!» Он так и замер с широко разставленными руками: «Да что же вы, с того свѣта, что-ли?» Это неожиданное громкое чтеніе моих мыслей вызвало настоящій припадок смѣха, а пассажиры стали требовать, чтобы я разсказал им, в чем дѣло и разсказ привлек единодушное сочувствіе.

Москва буквально оглушила уличным шумом, звонками конки, окриками кучеров, колоссальными разстояніями. Здѣсь встрѣтил меня первый родной человѣк, двоюродный брат — адвокат. И он и жена его ни за что не соглашались отпустить тотчас же дальше, но, на манер пушкинской Капитанской Дочки, я не захотѣл посмотрѣть Москву и вечером выѣхал дальше в Екатеринослав, гдѣ в то время проживал с дѣдом и дядей отец. Здѣсь меня ждала необычайно горячая встрѣча, мы с трудом сдерживали слезы. Отец видимо был доволен новинкой на мнѣ: в Устьсысольскѣ я отрастил рыжеватую бороду, но зато лоб стал уже замѣтно увеличиваться. Отец был доволен: он разстался три года назад с юношей, а встрѣтил мужа, вѣроятно, — он надѣялся, — остепенившагося. Через два дня, согрѣтый и ободренный родственными ласками, я радостно выѣхал в Одессу, не подозрѣвая, какими тяжелыми годами окажется чревата столь много давшая мнѣ ссылка.



ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ.

(1889—1893).

Явкой в полицію, по прибытіи на родину, и обмѣном проходного свидѣтельства на паспорт формально ликвидировалась административная ссылка. Фактически же негласный надзор, оставленіе на примѣтѣ, сохранялось и давало себя чувствовать еще и пять лѣт спустя, когда я уже состоял на государственной службѣ в Тулѣ. А еще двумя годами позже, когда из Тулы я был назначен в Петербург, в министерство юстиціи, мнѣ пришлось ходатайствовать о снятіи продолжавшаго тяготѣть запрещенія пребывать в столицѣ. Состоявшіе под негласным надзором являлись для полиціи непріятной обузой — мало ли что им в голову может взбрести, и естественно, что и по отношенію ко мнѣ одесская полиція, помѣщавшаяся в двух шагах от нашего дома, в мрачном зданіи с высокой пожарной каланчой, гостепріимства не проявила. Но это возмѣщалось горячими родственными объятіями, братья и сестры встрѣтили меня, как героя, и проявляли трогательную заботливость, а мать энергично взялась меня откармливать, она была убѣждена, что, внѣ ея попеченія, я голодал. За время моего почти четырехлѣтняго отсутствія в семьѣ произошли большія перемѣны. Половина большой квартиры сдана была в наем, но уплотненіе служило лишь подтвержденіем, что в тѣснотѣ, да не в обидѣ. Отец большей частью жил в Екатеринославѣ или в Бѣлгородѣ, управляя снятым в аренду большим винокуренным заводом, хотя и это дѣло было ему совершенно незнакомо и тоже принесло большіе убытки. Двѣ сестры погодки кончили гимназію, имѣли много поклонников, и дом совершенно преобразился: табу, наложенное на лучшую комнату залу, было снято, она стала центром домашней жизни, там танцовали, вели разныя игры, среди поклонников были отличные разсказчики анекдотов, и смѣх и веселье, сопутствуя разоренію, смѣнили прежнюю тишину и угрюмость, царившую при матеріальном благосостояніи. Так и прожили, пока дом не продали с молотка и семья не распалась, совсѣм по дворянски, как в Вишневом Саду, чудесное представленіе котораго в Худож. Театрѣ всегда заставляло вспоминать эти годы. В числѣ сестриных гостей частыми посѣтителями были два кузена, окончившіе гимназію в Николаевѣ. Оставшись

круглымн снротамн, онн переселились в Одессу к своим дѣду и бабкѣ. Они тоже были погодками, но один — высокій, видный красавец, а другой — маленькій скромный добряк. Я только теперь с ними познакомился и с первым постепенно все дружественнѣе сближался — это был Владимір Матвѣевич, будущій профессор государственнаго права, а тогда студент, плѣнявшій всѣх недюжинным поэтическим талантом. Он тоже
сенской неувѣренностью в себѣ, я же был большим почитателем его таланта и тайком посылал стихотворенія в печать, рискуя его гнѣвом в случаѣ отказа, впрочем нестрашным — сердиться он не умѣл, да и поводов жизнь ему не давала: всѣ его любили и баловали. И в данном случаѣ мое своеволіе было оправдано: даже щепетильный «Вѣстник Европы», питавшій слабость к «маститым», напечатал посланную поэму «Море» совершенно неизвѣстнаго ему автора. Но поэма дѣйствительно была прелестна.

Из прежних товарищей я нашел в Одессѣ только Ф. и Пекатороса. Ф. уже кончил университет, был женат и собирался в Лодзь, гдѣ получил должность в конторѣ текстильной фабрики. Он встрѣтил меня восторженно и преувеличенной нѣжностью как бы сглаживал шероховатость, созданную недосказанным суровым обвиненіем его в болтливости. Мнѣ в то время мало улыбалась роль судьи или исповѣдника и я, со своей стороны, не проявлял иниціативы, тѣм болѣе, что «перспективы» его, из за которых скакали жандарм с прокурором за тридевять земель меня допрашивать, теперь перемѣстились, над прошлым был поставлен крест. Жена его, тоже дружески ко мнѣ привязавшаяся, была очень доброй, но нѣсколько развинченной, а сын, которым она была тогда беременна, внѣшностью портрет отца, стал знаменитостью, в московских газетах пестрит его фамилія, как выдающагося піаниста и композитора — смѣлаго новатора, хотя от родителей он не получил никаких музыкальных задатков и, тѣм болѣе, предрасположеній к новаторству. Тяжелое разочарованіе принесла встрѣча с Пекаторосом. Я считал его крѣпким, негнущимся дубком, а он оказался гибкими и податливым, и передо мною стоял другой, совсѣм чужой человѣк, который так и смотрѣл, точно спрашивая недоумѣнно, зачѣм я пришел и что мнѣ от него нужно. Он был всецѣло на сторонѣ ретрограднаго режима Александра III, как отвѣчающаго требованіям націонализма, которым он оправдывал и воздвигнутыя тогда московским генерал-губернатором вел. князем Сергѣем Александровичем жестокія гоненія на евреев. Мнѣ впервые пришлось тогда увидѣть столь рѣзкую перемѣну міросозерцанія и я отказывался вѣрить ушам, сначала думал, что он меня мистифицирует, тѣм болѣе, что внѣшне он совсѣм не измѣнился. Но чѣм настойчивѣе я выспрашивал, тѣм он становился рѣзче и опредѣленнѣе. Я думаю, однако, что и теперь он был честен и искренен, но бывает у людей такая же чрезмѣрная, иногда даже патологическая, восприимчивость к идеологическому зараженію, как к физическому. Политическаго чутья, нюха, приспособляемости ему скорѣе недоставало: в это время уже подготовлялся крутой перелом общественнаго настроенія, который и опредѣлился в 1892 г., когда огромная часть Россіи поражена была голодом, а правительство, в лицѣ роковой фигуры И. Л. Горемыкина, не только не

приняло мѣр, но отрицало наличность страшнаго бѣдствія. газетам запрещено было употреблять самое слово «голод», говорить можно было только о недородѣ, и широко развернувшейся общественной помощи голодающим ставились всяческія препятствія. На почвѣ возникшей из за этих препятствій борьбы с правительством и развилось так называемое освободительное [illegible] но, можно сказать, уже зачиналось, когда Пекаторос так огорчил и поразил меня происшедшей в нем перемѣной. Больше я его и не видѣл, но в началѣ новаго столѣтія, уже будучи в Петербургѣ, встрѣчал в одесских газетах его имя среди видных дѣятелей этого самаго освободительнаго движенія. Он был очевидно гораздо болѣе экспансивен, чѣм позволяло предполагать его вдумчивое лицо и спокойная и уравновѣшенная рѣчь.

С первых же дней в центрѣ вниманія стал вопрос об экзаменах, предстоявших весной. Я стал усиленно готовиться и не формально сдал даже нѣсколько экзаменов, по соглашенію с болѣе покладистыми профессорами, как вдруг разразился удар. В этом — 1889 — году осенью должны были состояться впервые государственные экзамены, введенные университетским уставом 1886 г. и торжественно правилами его обставленные. Новизна казалась молодежи очень страшной и много студентов третьяго курса бросали университет, чтобы держать экстернами весной, по прежним правилам. Так как это явленіе приняло массовый характер, оно обратило на себя вниманіе министерства и граф Делянов издал циркуляр, воспретившій допущеніе экстернов к экзамену. Этот циркуляр рикошетом больнѣе всего ударил по мнѣ. Покровитель мой, проф. Богдановскій телеграфировал Делянову, прося сдѣлать для меня исключеніе, а тот через полную тревоги недѣлю отвѣтил на манер пифін: « В виду циркуляра Гессен должен держать экзамен в государственной коммиссіи». Это само по себѣ было бы еще с полгоря, но к экзамену допускались студенты, имѣвшіе свидѣтельства о зачетѣ восьми семестров, такового у меня не было и быть не могло, и так до самаго начала экзамена я оставался в неопредѣленном положеніи, не зная, согласится ли предсѣдатель государственной коммиссіи истолковать слово «должен» в смыслѣ разрѣшенія быть допущенным к экзамену без соблюденія требуемых уставом условій. К счастью, предсѣдателем был назначен профессор Кіевск. университета Владимірскій-Буданов, человѣк столь же ученый, сколь и добрый, и он принял телеграмму за министерское разрѣшеніе. Мой диплом и представлял нѣкоторый уникум, так в нем и напечатано было, вмѣсто слов: «по предъявленіи свидѣтельства о зачетѣ 8 полугодій» — «на основаніи телеграммы его сіятельства г. министра народн. просвѣщенія». Послѣдніе два мѣсяца я готовился с двумя студентами, неразлучными друзьями, вродѣ Счастливцева и Несчастливцева: один — премилый добродушный весельчак, он-то и был лучшим разсказчиком анекдотов, заставлявшим сестер помирать со смѣху, другой — прошедшій суровую жизненную школу, сдѣлавшую из него рѣдкаго оригинала: она научила его беречь, в подлинном смыслѣ слова, копѣйку и превратила в раба этой привычки, безжалостно над ним властвовавшей и много позже, когда он, холостяк, проживал ничтожную часть своего большого банковскаго жалованья. Комната его завалена был папирос-

ными гильзами, спичками, которыя покупались оптом, чтобы сберечь нѣсколько копѣек. Каждой принадлежности туалета и обихода назначался опредѣленный, нескупой срок ношенія и употребленія. А когда однажды вѣтром снесло в загородном трамваѣ недавно купленную шляпу, он вытащил из хлама, отложеннаго для старьевщика, старую и, наказывая себя, проносил ее весь тот срок, в теченіе коего должна была служить пропавшая. А между тѣм он был человѣк сильнаго аналитическаго ума и желѣзной логики. Другом же он был преданнѣйшим и безкорыстнѣйшим, но столь же требовательным и придирчивым и малѣйшее невниманіе к себѣ, поскольку считал это сознательным, безпощадно казнил разрывом отношеній навсегда. Никогда ничѣм не болѣв, он к концу четвертаго десятка почувствовал недомоганіе, обратился к врачу, установившему зачатки сахарной болѣзни, и так донял его вопросами, что тому пришлось взять с полки учебник. Когда же врач стал писать рецепт, пріятель мой заглянул в обложку, заплатил три рубля за визит и, выйдя, разорвал рецепт, купил этот учебник и стал себя по нему лѣчить. Ему не было пятидесяти, когда он от своей болѣзни умер. А весельчак — оба были евреи и адвокатская карьера была уже для них закрыта, занял весьма видное положеніе в банковском мірѣ Петербурга, во время революціи бѣжал на юг, оттуда попал в Константинополь и, не выдержав первых страшных ужасов бѣженской эвакуаціи, застрѣлился.

Нас держало экзамены 60 человѣк, я был 61-ый, они были раздѣлены на 4 группы по 15 студентов на день. Наканунѣ перваго экзамена по римскому праву вывѣшен был в университетѣ список распредѣленія по группам и — о ужас! — моей фамиліи в спискѣ не оказалось, сомнѣнія, тяготившія в теченіе полугода, оправдались, я к экзамену не допущен. Но, бросившись к Буданову за разъясненіем, я узнал, что пропуск — случайный, и тут же он записал меня в первую группу. На другой день, уже достаточно истомленный сомнѣніями и усиленной подготовкой, я далеко не оправился от вчерашняго потрясенія и явился на экзамен, торжественно обставленный присутствіем всѣх профессоров, в состояніи тупого безразличія от нервной усталости. Но выручил меня благодѣтельный курьез: я вынул билет, на котором, между прочим, значилось — вещи движимыя и недвижимыя. Послѣ короткаго отвѣта проф. Табашников перебил меня предложеніем объяснить разницу между названными вещами, на что я сказал, что недвижимыя прикрѣплены к мѣсту, а движимыя могут быть переносимы. Профессор — мнѣ показалось — насмѣшливо, спросил: «А вот в Америкѣ нашли способ передвигать дома с мѣста на мѣсто?» Не без раздраженія я отвѣтил, что, если бы римляне этот способ знали, то несомнѣнно нашли бы другое опредѣленіе, и считал, что диплома первой степени (для котораго требовалось «весьма удовлетворительно») уже во всяком случаѣ не получу. И вдруг предсѣдатель улыбнулся и, обратившись к профессору со словами: «Я думаю — довольно», протянул мнѣ руку: «Отлично!» Я вышел в недоумѣніи, вѣроятно, неожиданным успѣхом обязан был каким то личным счетам между профессорами, во всяком случаѣ послѣ этого — чистосердечно не понимаю, как это произошло, — экзамены сходили очень легко, и я не только полу-

чил диплом первой степени, но предложено было оставить меня при университетѣ для подготовки по кафедрѣ гражд. права. Радость продолжалась недолго, министерство отказало в утвержденіи в виду политической неблагонадежности. Оставалось записаться в помощники прис. повѣреннаго и меня принял извѣстный тогда на югѣ адвокат В. Я. Протопопов. У жены его, жеманной генеральши по первому браку (в будуарѣ стоял портрет браваго генерала), было большое состояніе, и они занимали роскошную большую квартиру. Уѣзжая в провинцію по дѣлам, Протопопов оставлял на меня кабинет, а возвращаясь, проходил со мною гражданскіе законы (десятый том) которые благодаря ему я отлично изучил. Позже он был выбран городским головой Одессы, а во времена третьей Думы вдруг появился в Петербургѣ, внѣшне ничуть не измѣнившись, и оживленно разсказал, что так как падчерица, вопреки его настояніям, вышла замуж за несимпатичнаго ему инженера, «я схватил шапку в охапку и переѣхал к вам в Петербург, принимайте гостя!» Так предстала вдруг перед глазами забавная пародія на тяжелыя семейныя драмы, разыгрывавшіяся лѣт тридцать назад. У Пр. я работал с полгода, пока в Окружном судѣ, замѣнявшем в Одессѣ Совѣт Присяжных Повѣренных затягивалось разсмотрѣніе моего ходатайства, завершившееся отказом в зачисленіи в адвокатуру — патент неблагонадежности и тут проявил свое дѣйствіе. Предсѣдателем одесскаго суда был М. Г. Акимов, впослѣдствіи министр юстиціи и предсѣдатель Гос. Совѣта. Пять лѣт спустя ему, уже в качествѣ прокурора Московской судебной палаты, вновь пришлось разсматривать другое мое ходатайство и он вновь придрался к неблагонадежности, но на этот раз придирчивое отношеніе оказало безцѣнную услугу. А теперь, послѣ отказа Окружнаго Суда, начались безконечныя мытарства. Куда я только ни бросался и чѣм только ни готов был заняться, лишь бы добыть заработок. Знакомые исхлопотали мѣсто в конторѣ крупнаго торговаго дома готоваго платья Мандель и даже вызвали меня в Москву, но, повидимому я не понравился хозяевам и принят не был. Обѣщана была должность в одном из многочисленных банков еврейскаго милліонера Полякова, если я готов ѣхать в Персію. Хотя я, не задумываясь, согласился, но и из этого тоже ничего не вышло. Однажды пришел я с отцом к виднѣйшему одесскому адвокату Т. для консультаціи по сложному гражданскому процессу, возникшему из аренды упомянутаго винокуреннаго завода в Бѣлгородѣ. По окончаніи консультаціи Т., прощаясь с нами, спро*сил, чѣм я занимаюсь, и узнав, что я лишь* ищу занятій, предложил завѣдывать его канцеляріей за вознагражденіе в 75 р. в мѣсяц, т. е. исполнять всѣ обязанности помощника, но без выступленій в судѣ, недоступных послѣ отказа в зачисленіи в адвокатуру. Нечего говорить, что я с радостью и благодарностью согласился, и мы условились, что уже с завтрашняго дня приступлю к работѣ. В сущности это предложеніе ничего заманчиваго не представляло, не открывало никаких перспектив, развѣ что нѣкоторыя прибавки к назначенному жалованью, но на голодухѣ по занятію и какому-нибудь заработку смущаться не приходилось, и мы вышли с отцом тѣм болѣе довольными совершенно неожиданной удачей, что и мои юридическія сообра-

женія по процессу авторитетный адвокат покровительственно одобрил. Но радость была опять непродолжительна. Уже через нѣсколько часов получено было извинительное письмо, в котором Т. запутанно объяснял, что он нѣсколько поторопился, что он извѣстит, когда можно будет приступить к работѣ, если, конечно, к тому времени я еще буду свободен. А сущность была в том, что у русских адвокатов, в отличіе от западно-европейских, не было отдѣльных бюро, канцелярія составляла часть квартиры и помощник, завѣдующій канцеляріей, входил в домашній быт патрона, становился как бы членом семьи, а у Т. жена была нервно-больная, в домѣ царил разлад, и так как семья принадлежала к тому же общественному кругу, что и мои родители, то она рѣшительно воспротивилась, чтобы я был свидѣтелем происходящаго в ея домѣ.

Послѣ этой неудачи, столь нелѣпой и тѣм болѣе обидной, юридическій факультет, по собственной иниціативѣ профессора Табашникова, постановил вторично возбудить перед министерством ходатайство об оставленіи меня для подготовки по кафедрѣ гражд. права. Но так как со времени окончанія университета уже прошло два года, то для провѣрки, не отстал ли я в наукѣ, мнѣ предложено было представить новую письменную работу, а тема для нея выбрана была весьма актуальная, поставленная А. Л. Боровиковским в только что вышедшей тогда и надѣлавшей много шума книгѣ его: «Отчет судьи». Боровиковскій, юрист и поэт, начал карьеру со службы по судебному вѣдомству, из товарищей прокурора перешел в петербургскую адвокатуру, а потом вновь вернулся в магистратуру и был членом Одесской судебной палаты, читая лекціи в университетѣ по гражданскому процессу в качествѣ приват-доцента. Кони разсказывает в своих воспоминаніях, что в началѣ своей адвокатской дѣятельности «извѣстный талантливый цивилист Боровиковскій» написал милліонеру Овсянникову, арестованному по обвиненію в поджогѣ мельницы, жалобу в суд, за что получил 5.000 рублей. Извѣстіе об этом произвело волненіе в петербургском обществѣ и к Боровиковскому примѣняли стихи Некрасова: «Получив гонорар неумѣренный, восклицал мой присяжный повѣренный: перед вами стоит гражданин — чище снѣга Альпійских вершин». Боровиковскій пришел к Кони, увѣрял его, что считает Овсянникова невиновным, но готов возвратить деньги для избѣжанія дальнѣйших упреков. Кони пояснил, что таким образом он бросит лишній груз на чашу обвиненія, и Боровиковскій не без труда с этим согласился. Вскорѣ послѣ этого Боровиковскій и вернулся на госуд. службу, а против адвокатуры затаил глубокое предубѣжденіе. Ко мнѣ он относился с большим благоволеніем, больше всѣх коллег доволен был отвѣтами на экзаменѣ, заинтересовался моей судьбой (вѣроятно, интерес поддерживал кузен мой Владимір, котораго Б., сам поэт, очень любил и цѣнил) и охотно, но пока тщетно содѣйствовал в поисках занятій. Человѣк очень добрый и отзывчивый, но самоувѣренный до взбалмошности, Б. очень тяжело переносил открывавшееся на каждом шагу судейской дѣятельности столкновеніе устарѣвших гражд. законов с быстро развивавшимися и осложнявшимися, послѣ отмѣны крѣпостного права, запросами юридических от-

ношеній. Чтобы избѣгнуть или ослабить эти коллизіи, он стал, по усмотрѣнію своей совѣсти, приспособлять закон, притупляя остріе, которое в данном конкретном случаѣ грозило тяжущемуся несправедливостью. Впослѣдствіи, когда одно из таких рѣшеній было подвергнуто рѣзкой критикѣ в «Правѣ», он горько жаловался кузену и говорил: «Если бы вы видѣли, как эта женщина плакала предо мной, объясняя, что в случаѣ отказа ей в жалобѣ, придется с пострадавшим мужем по міру пойти». Как видно из самаго заглавія книги «Отчет судьи», Б. подводит в ней итог своей дѣятельности. Приведя ряд рѣшеній из своей практики, в которых личное усмотрѣніе торжествовало над велѣніем закона, Б. выставляет основным тезисом, что судейская совѣсть должна служить коррективом оказавшагося в данном случаѣ несправедливым закона. Трудно, думается мнѣ, найти болѣе яркую жизненную иллюстрацію к афоризму, что добрыми намѣреніями дорога в ад вымощена, и наш автор сам же напоминает, что «никакая благонамѣренность побужденій не может оправдать смуты, вносимой в гражданскую жизнь судейским произволом». Но уж совсѣм опасной и, как впослѣдствіи и выяснилось, чреватой тягчайшим бѣдствіем, была эта, сама по себѣ гуманная, тенденція для Россіи — она воскрешала черную старину, с которой, казалось бы, покончила судебная реформа Александра II. Проповѣдь Б. пробуждала засыпавшее уже неуваженіе к закону, нашедшее презрительное отраженіе в народной поговоркѣ: закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Достаточно было сравнить между собой статьи уставов, опредѣляющія роль судьи в третейском судѣ, в мировых и общих судах, чтобы ясным стало различіе в устанавливаемой законом степени связанности судейской совѣсти при разрѣшеніи дѣл. А в объясненіях к этим правилам составители судебных уставов прямо указали, что необходимо оградить рѣшеніе от субъективнаго убѣжденія, под личиной коего может укрываться самое наглое неправосудіе. При таких данных соблазн взяться за предложенную работу был велик, но, по соображеніям житейским, от него тѣм рѣшительнѣе слѣдовало отказаться, что, как выяснилось потом, одесская профессура, считавшая откровеніе Б. ересью, не рѣшалась открыто выступить против своего коллеги и воспользовалась случаем, чтобы пустить меня в ход, как голову турка. Но во всю жизнь я оставался очень плохим чтецом задних мыслей, а тогда даже и не предполагал их. Тема же была весьма увлекательная и я с удовольствіем принялся за работу. Предварительно прочел ее в небольшом товарищеском кружкѣ кузена, который годом позже меня тоже получил диплом юридическаго факультета, и встрѣтил безоговорочное одобреніе. Весьма положительно отнесся и факультет (Б., как приват-доцент, в засѣданіях факультета не участвовал) и направил вторичное ходатайство в Петербург об оставленіи меня при университетѣ. Кажется, уже послѣ полученія вторичнаго отказа из министерства, Б. выразил мнѣ удивленіе, что до сих пор незнаком с моим произведеніем, о котором в университетских кругах всѣ только и говорят, отзываясь с большой похвалой. Мнѣ ничего не оставалось, как принести ему рукопись, от которой он пришел в ярость и вернул исчерканной возмущенными помѣтками, вмѣстѣ с очень обиженным

письмом, полным упреков. Думаю, к сожалѣнію, что не без оснований: в статьѣ, написанной по поводу моего семидесятилѣтія, П. Милюков, кажется, правильно отмѣтил, что «у Гессена была своя писательская манера, отражающая его строго юридическій склад ума. Он преслѣдовал общественное явленіе в лицѣ точно выбранной им жертвы и старался поразить противника его же собственным оружіем». А рѣшенія, приведенныя Б. в видѣ примѣров, давали полную соблазнительную возможность вырвать из рук противника его оружіе. Если же к этому прибавить молодой задор, то приходится допустить, что была излишняя рѣзкость. От своей губительной тенденціи Б. ни на іоту не отказался, но в отношеніи ко мнѣ быстро и великодушно смѣнил гнѣв на милость. Но как же мнѣ отказаться видѣть перст судьбы, нѣкое знаменіе в том, что навязанная мнѣ с задними мыслями тема, непосредственно ничего, кромѣ непріятностей, не принесшая, пять лѣт спустя положена была в основу Права, стала боевым лозунгом всей дальнѣйшей жизни и воспитала общественнаго дѣятеля.

Тогда я об этом не гадал и не думал, а лишь еще согнулся под новым отказом министерства народн. просвѣщенія и стал искать других путей для полученія заработка. Не помню, какія дѣловыя соображенія побудили попытать счастья в Кишиневѣ, среди тамошней адвокатуры, с которой, однако, удалось установить только личныя хорошія отношенія. Не оправдались надежды и на знакомства старшаго брата, с которым мы росли и жили душа в душу, а тогда он владѣл в Кишиневѣ аптекой. Но главным притяженіем было, что там поселилась моя будущая жена с дѣтьми. В Кишиневѣ жили многочисленные родственники ея покойной матери и среди них дядя доктор М. О. Блюменфельд, пользовавшійся большой популярностью во всей Бессарабіи и даже за предѣлами ея. Сын просвѣщеннаго кишиневскаго раввина, принадлежавшаго к первому выпуску одесскаго ришельевскаго лицея, Михаил Осипович представлял обаятельный варіант харьковскаго профессора Гиршмана: чуть выше его, такой же сухопарый и подвижный, такой же привѣтлнвый, он был блестящим хирургом и выдающимся врачем терапевтом, излюбленным одинаково и всей молдаванской, очень притязательной аристократіей, и еврейской бѣднотой. И та и другая питала к нему безграничное довѣріе и трудно было понять, как он справляется со своей домашней практикой, будучи и ординатором еврейской больницы, и остается неизмѣнно бодрым, добродушно спокойным, неистощимо терпѣлнвым с невѣжественной бѣднотой, которая, уплачивая за совѣт десять-пятнадцать копѣек, проявляла капризную требовательность. Из его безчисленных курьезных разсказов вспоминается одна еврейка, которая осталась недовольна назначенным ей лѣкарством и все домогалась, чтобы врач приписал ей «ходячую воду». Долго он не понимал, чего ей хочется, и пришлось настойчиво доискиваться, прежде чѣм он догадался, что она имѣет в виду лѣчебныя минеральныя воды, питіе коих рекомендуется сочетать с прогулкой. Отличіе его от Гиршмана было в том, что Блюменфельд был не только врачем, но фактически, по наслѣдству, нес на себѣ и отцовскія обязанности: его осаждали и просьбами о житейских совѣтах, об улаженіи

семейных недоразумѣній и распрей, избирали супер-арбитром в спорах и тяжбах, и никому никогда любвеобильное сердце этого идеальнаго безсеребренника не в состояніи было отказать в помощи и содѣйствіи.

Такое же любвеобильное сердце составляло основную черту его любимой племянницы, моей будущей жены, черту, отодвигавшую в тѣнь всѣ другія свойства беззаботнаго, жизнерадостнаго характера. Это чуткое сердце было усыплено тяжелой домашней обстановкой, послѣ преждевременной смерти матери, которая, начав с зеленой стойки на «грецк», создала своими руками большое состояніе и открыла крупную банкирскую контору в Одессѣ. Очень добрый, но недалекій и безвольный отец, вскорѣ послѣ смерти жены вторично женился на еврейской «аристократкѣ», народившей ему большое потомство и оказавшейся настоящей мачехой для дѣтей от перваго брака. 17-ти лѣт Анна выдана была замуж за человѣка, вдвое старше ея, брак оказался неудачным и втеченіе нѣскольких лѣт муж не соглашался дать ей развод. Когда же мы поженились и осѣли в Петербургѣ, я, переобремененный разными занятіями, недооцѣнил силы и способностей сердца ея и думал, что она удовлетворится домашними заботами и уходом за дѣтьми. Но Петербург разбудил сердце и оно проявило такую активность, такую — можно сказать, необузданную — энергію, которая мнѣ, с годами профессіонально черствѣвшему, иногда казалась безразсудной. Дѣлать добро людям было для нея такой же непреодолимой потребностью, как утолить физическій голод, и это не воспринималось, как исполненіе обязанности, а как ощущеніе высшаго наслажденія. Случилась бѣда — разсуждать и поздно, и преждевременно; сейчас нужно помочь, а разговаривать будем потом. На этом пути она не знала и не считалась ни с какими препятствіями и часто добивалась своей цѣли, осуществленіе которой казалось окружающим невозможной. Как будто с нея писал Чехов в своем замѣчательном разсказѣ «Жена» Наталью Гавриловну, устроившую в голодный 1892 г. «благотворительную оргію». Ничего не видѣвшая и не усвоившая в замкнутой себѣдовлѣющей семьѣ, лишенной всяких общественных интересов, она проявляла тончайшее чутье и умѣла находить и окружать себя искренними, преданными дѣлу людьми, создала свой мір и жила полной, насыщенной жизнью. Я знаю среди женщин нѣсколько примѣров яркаго перерожденія, происшедшаго под вліяніем ужасов войны, революціи и бѣженства, но замѣчательной особенностью даннаго случая, которой больше мнѣ не случалось видѣть, было, — что буйное пробужденіе душевных сил не вызвано воздѣйствіем, толчком, потрясеніем, а произошло спонтанно, как только ослабѣло снотворное дѣйствіе обстановки.

В тѣ тяжелые годы на мнѣ произошла, так сказать, проба ея душевных сил. Сомнѣваюсь, чтобы я в состояніи был вынести сыпавшіяся одну за другой неудачи, если бы не встрѣтил ея моральной поддержки, если бы не опирался на ея несокрушимую увѣренность. Кишиневскій опыт тоже оказался безрезультатным, и я вернулся в Одессу, куда через нѣкоторое время переселилась и моя спасительница с дѣтьми. И вот наконец, к явному ея неудовольствію, я нашел занятіе за тѣ же 75 р. в мѣсяц, в крупной торговой

фирмѣ иностр. земледѣльческих машин и орудій. Я начал дѣятельность с записей в особую книгу полученных в тот день торговых векселей, сразу напутал и получил сердитое замѣчаніе от бухгалтера за то, что помаркой нарушил дѣвственно непорочный вид каллиграфическаго фоліанта. В тот же день я заболѣл и легкая дизентерія рѣшила мою судьбу: Анна Исаковна воспользовалась нѣсколькими днями болѣзни, чтобы неудержимым краснорѣчіем убѣждать меня и всѣх окружающих, что я должен отказаться от службы в коммерческом предпріятіи, и, само собой разумѣется, наиболѣе охотно резонность приведенных ею безчисленных доводов признал сам владѣлец предпріятія. Мое мѣсто занял пріятель Л., очень умный, талантливый юрист, и сдѣлал блестящую карьеру, позже сам стал в Петербургѣ и Москвѣ представителем крупнѣйших германских и американских фирм. Между тѣм извѣстія из Усть-сысольска становились все менѣе утѣшительными. Перехватов сильно пострадал от долговременнаго пребыванія в тюрьмѣ и ему труднѣе стало бороться со слабостью к алкоголю. Демяник должен был от него съѣхать, колонія разлагалась, случались даже уличныя дебоширства и надо было торопиться Сережу оттуда взять. Я и упоминал уже, что Ильченки взяли его к себѣ в Екатеринослав, там мальчик был в идеальных условіях, вліяніе жены Ильченки было предѣльно благотворным, но ея болѣзненное состояніе замѣтно обострялось, чужой ребенок отягощал обузу, с другой стороны — чуждая мнѣ флегматичность сына еще рѣзче бросалась в глаза и я убѣдился мыслью и сердцем, что нельзя ему больше мыкаться, что нужно разрубить гордіев узел. А разрубила его Анна Исаковна, взяв Сережу к себѣ и придумав затѣйливую комбинацію, чтобы неожидвиное появленіе четвертаго—пятилѣтняго мальчика не вызывало лишних толков и пересудов, которые могли бы поставить ребенка в фальшивое положеніе. Это была вторая проба ея сил, которая дала результаты изумительные: до зрѣлаго возраста, когда ему, в мое отсутствіе из Петербурга, случайно попалось в руки письмо из Ташкента, гдѣ мать Сережи, вышедши замуж, очутилась, он считал Анну Исаковну своей матерью, был к ней привязан нѣжнѣе, чѣм сыновья, и отношенія между четырьмя мальчиками, а потом юношами — не оставляли желать ничего лучшаго, я не помню случая сколько-нибудь серьезнаго недоразумѣнія между ними.

Прибытіе Сережи обострило вопрос об урегулированіи его юридическаго положенія. Как раз в это время появился благодѣтельный закон 1891 года, вводившій институт усыновленія, дотолѣ допускавшагося только по царской милости. Но для усыновленія, требовалось чтобы я принял православіе, что должна была совершить и жена для устраненія препятствій к нашему браку. Вмѣстѣ с тѣм послѣдствіем крещенія было устраненіе формальной препоны к поступленію на государственную службу. Но именно потому, что крещеніе предвѣщало избавленіе от ограниченій, личныя выгоды, — отреченіе от вѣры отцов далось нелегко. Настоящей привязанности к религіи, конечно, не могло быть никакой, безсознательное тяготѣніе тоже было ликвидировано, потому что ассимиляція быстро подвигалась вперед, в нашей семьѣ еврейскій ритуал давно уже стал сходить на нѣт и незначительные

остатки, напоминавшие о нем только в большие праздники, все определениѣ принимали форму мертвой обрядности, ничего не говорящей уму и сердцу. Оставалось только инстинктивное сопротивленіе вынужденности перехода и стыд перед отцом, котораго я лишаю загробнаго утѣшенія, не имѣя права, как «мешумед», произносить поминальную молитву об упокоеніи души умершаго. Не сомнѣваюсь, что если бы я спросил отца, и он не противился бы моему намѣренію, но я предпочитал не дѣлить с ним отвѣтственности за свой шаг. На дочерях обязанности поминальных молитв не лежит, да и вообще Аннѣ Исаковнѣ стремительное сердце не позволяло колебаться между соперничающими влеченіями и она поддерживала рѣшеніе, которое ради сына необходимо было принять. Опять странно, что не могу вспомнить, кто дал мнѣ требуемыя практическія указанія, но было нѣчто символическое в том, что крещеніе совершено было в тюремной церкви: одесская тюрьма как бы завершала цикл событій, начавшихся с петербургскаго дома предварительнаго заключенія.

Послѣ этого начались усиленныя хлопоты перед министерством юстиціи о принятіи на службу и здѣсь не мало помог обиженный мною Боровиковскій. Министерство не соглашалось разрѣшить мнѣ служить в округѣ Одесской судебной палаты. На запрос старшаго предсѣдателя Варшавской суд. палаты из Петербурга был получен отвѣт, что, в виду исключительно лестных отзывов, министерство не встрѣчает препятствій к принятію на службу в Варшавскій округ, гдѣ, однако, я не должен расчитывать на занятіе самостоятельных отвѣтственных должностей, и, с своей стороны, рекомендовало служить внѣ черты осѣдлости, гдѣ карьера будет безпрепятственна. Я готов был согласиться и на это ограниченіе, потому что моим безплодным, изнуряющим исканіям минуло уже четыре года и «дѣло» обо мнѣ, содержавшее распухшую переписку между разными учрежденіями, превратилось в солидный том, в Тулѣ попавшій в мои руки. Но жена опять рѣшительно воспротивилась, убѣждая, что теперь ждать уже недолго, и хлопоты перенесены были в Моск. суд. палату, во главѣ коей еще стоял, наканунѣ назначенія товарищем министра В. Р. Завадскій, словно того только и ждавшій, чтобы разрѣшить вопрос о моем принятіи на службу. Он и написал на прошеніи четким размашистым почерком: «Полагал бы принять». Но назначеніе совершалось по соглашенію с прокурором судебной палаты, а прокурором в это время был старый знакомец, нанесшій один из ударов М. Г. Акимов. Теперь он прямо не противорѣчил, но сдѣлал существенную оговорку: «В виду прошлаго Гессена полагал бы сначала назначить его в провинцію», и под этим Завадскій подмахнул: «В Тулу». На этот раз Акимов, как уже упоминалось, оказал мнѣ безцѣнную услугу: если бы я остался в Москвѣ, то среди безчисленнаго количества кандидатов на судебныя должности затерялся бы, а в Тулѣ ждала меня большая удача, и когда, с полгода спустя, переведенный из Тулы в Москву тов. предсѣдателя, отцовски меня полюбившій, предложил перевод в Москву, я, уже освоив тульскія преимущества, отказался от лестнаго предложенія и поступил правильно. Не думаю, чтобы выбор Тулы был случайным. Конечно. Завадскій не мог знать, что Тула мнѣ не совсѣм чужая, по-

тому что на ней остановил свой выбор, по окончанін ссылки, Ф. П. Поляков и там поселился. Но вѣроятно, Завадскій имѣл в виду отдать меня попеченію замѣчательнаго человѣка, только что назначеннаго предсѣдателем тульскаго суда — Николая Васильевича Давыдова. В эмиграціи мнѣ посчастливилось встрѣтиться с сыном Завадскаго, бывшим сенатором. Перебирая прошлое, я сказал ему, что переношу на него сердечную благодарность, которую навсегда сохранил к его отцу. Он восторженно об отцѣ отзывался, как о человѣкѣ блестящем, и неожиданно прибавил: «А вот я, во сколько раз образованнѣе и разностороннѣе отца, человѣк совсѣм тусклый». Отца я всего только раз и видѣл, а сына слишком мало знал, но от других слышал, что он дѣйствительно человѣк разносторонне образованный, но тусклый. Это подкрѣпило классификацію людей на таких, которые дают больше, чѣм сами имѣют, и наоборот, нежелавших или неспособных отдать то, что сами получили.

В концѣ іюля я уѣхал в Тулу, потрясенный семейной драмой: за мѣсяц до отъѣзда отец, не перенеся разоренія, внезапно скончался, как раз, когда я стоял на порогѣ осуществленія его надежд найти во мнѣ поддержку семьи. Но тогда у меня у самого была надломлена вѣра в будущее.

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБѢ.

Тула.

(1894—1895).

Невеселыя размышленія сопровождали мое путешествіе в Тулу, однообразное постукиваніе колес не давало никаких основаній предполагать, что тяжелые годы остались позади, а впереди ждет, именно как будто ждет, большая незаслуженная удача. Как нарочно для того, чтобы не дать таким размышленіям изсякнуть и развѣяться, в Харьковѣ подсѣл словоохотливый молодой человѣк и, вывѣдав, что я ѣду в Тулу на службу, радостно воскликнул: «Так я же служил там кандидатом на судебныя должности и все могу вам описать». Описаніе «всего» потребовало одной лишь черной краски: хуже Тулы вообще ничего себѣ и представить нельзя и больше полугода там выдержать было немыслимо, город грязный, скучный, люди злобные, непріятные. «Я из евреев, и хотя на часовой цѣпочкѣ у меня висѣл крест, чтобы ясно было, что нынѣ я православный, тѣм не менѣе, только лѣнивый не тыкал в глаза мое еврейство». Говорил он громко, обращался не только ко мнѣ и со стороны одного купчины вызвал рѣзкое непечатное замѣчаніе, поддержанное злорадным смѣхом всего вагона. На ближайшей остановкѣ оратор перешел в другой вагон.

В Тулѣ я Ф. П. Полякова не застал: он лѣтом уѣзжал обычно на два мѣсяца в Берлин знакомиться с новыми успѣхами медицины в лѣченіи уха, носа и горла, смѣнившем прежнюю его спеціальность. Но его мать, добрѣйшая, радушнѣйшая старушка и сестра ея, бездѣтная вдова, встрѣтили меня как горячо любимаго сына и окружили такой нѣжной зботливостью и лаской, к каким я не привык и в родном домѣ, отрицавшем «нѣжности». Поляков занимал большую квартиру в двухъэтажном домѣ, выходившем на базарную площадь. С утра до поздняго вечера на столѣ кипѣл самовар, чуть он остывал, его выносили на короткое время, чтобы вновь подать в бодром видѣ со вновь вымытыми чашками и свѣже наполненными вареньем вазочками. Гости не переводились и почти не смѣнялись, а лишь прибывали все

новые и к пяти, шести часам составлялся настоящій раут, преимущественно из женщин, не отличавшихся цвѣтущей молодостью и красотой. Тут были и замужнія женщины, между прочим жена управляющаго акцизными сборами Фотіева, мать будущаго секретаря Ленина, и совсѣм немолодыя дѣвицы. Одна — дочь члена окружнаго суда с таким бюстом, какіе бывали у ярмарочных комедіанток, появлявшихся с чайным подносом на груди. Другая — классная дама в мѣстной гимназіи, огромная, как медвѣдь переваливающаяся и напоминающая его всѣми ухватками, равно как и рыкающим голосом. Каждая вновь появляющаяся гостья обязательно начинала с вопроса, что пишет Федор Петрович и когда ожидается его пріѣзд. Старушка охотно, в пятый и десятый раз, отвѣчала как заученный урок и всѣ присутствующіе с видимым удовольствіем повтореніе выслушивали, а если разсказчица упускала какую либо ранѣе сообщенную подробность, всѣ наперерыв подсказывали, и вновь повторялось совмѣстное обсужденіе сообщенных свѣдѣній. Дамы и во мнѣ приняли горячее участіе по отысканію меблированной комнаты, и я чуть было не попал впросак: дня через три пожаловала дебелая женщина, мать молодого московскаго ученаго, впослѣдствіи извѣстнаго криминалиста, и, пожирая меня масляными глазами, предложила поселиться у нея, «в отличной комнатѣ и с прекрасным уходом, в цѣнѣ мы сойдемся». Поляков вернулся из заграницы со свѣжими силами, попрежнему всегда бодрый с ироническим смѣшком, тотчас взялся за работу и уже в первые базарные дни не только пріемная полна была паціентов, но по всей лѣстницѣ тѣсно стояли крестьяне из подгородных деревень. Новостью для меня было, что друг мой стал учиться пѣнію, проявляя «охоту смертную», и теперь вечерами (днем во время пріема гости видѣли его лишь урывками, когда он появлялся в столовой, чтобы наскоро выпить чашку чаю или перекусить) упражнялись пѣвцы и пѣвицы: дѣвица с необычайным бюстом обладала пронзительным сопрано, а учитель желѣзнодорожнаго училища — высокій, чахоточнаго вида, еще до пріѣзда Полякова, поражал меня пробами своего могучаго раскатистаго баритона. Когда он, облокотившись на рояль, гремѣл: «Не требуй пѣсен от пѣвца», розетки на подсвѣчниках позвякивали. Годом позже, уже перед тѣм как мнѣ покинуть Тулу, произошла настоящая драма: Федор Петрович рѣшил жениться и притом не на ком либо из завсегдатаев, а на скромно проживавшей в своем мѣщанском домикѣ офицерской вдовѣ с двумя маленькими сыновьями погодками. Дамы разузнали об его намѣреніях задолго до того, как мнѣ стало извѣстно об этом от Федора Петровича, и, собрав всѣ самыя мельчайшія детали и сплетни, пичкали ими мать и тетку, тщетно надѣясь, что им удастся отвратить его от такого намѣренія. Но и послѣ того как выяснилась неудача и старанія привели только к порчѣ отношеній между матерью и сыном, часть дам не в силах была от привычных посѣщеній отказаться. В особенности и жалко и противно было видѣть медвѣдицу: медленно переваливаясь, она подходила к дому, нерѣшительно останавливаясь у подъѣзда, озиралась кругом, как будто переводила дух, и затѣм, рѣзко мотнув головой, хваталась за ручки двери и подымалась по лѣстницѣ. Уже в Петербургѣ, гдѣ мы с Поляковым, года три спустя, вновь встрѣ-

тились, я пришел к нему однажды на Рождествѣ и так был поражен, н здѣсь увндѣв медвѣднцу, что невольно вскрикнул н вызвал общій хохот, ио и оиа сама добродушно, а на душѣ у бѣдной кошкн скребли — смѣялась, подвигаясь ко миѣ и здороваясь густым басом своим.

Все, чѣм встрѣтила меня в первые днн Тула, было невиданно и очень забавляло, но само собой разумѣется, что мысли были прикованы к старинному угрюмому зданію окружнаго суда, в котором один этаж отведен был под гражданское отдѣленіе, а два верхних под прокуратуру, нотаріат и два уголовиых отдѣлеиія. Здѣсь все было для меия совершенно ново, н я жадио и внимательно вглядывался. К моему пріѣзду состав суда значнтельно обновился: прокурор Н. В. Давыдов назиачен предсѣдателем суда, товарищ прокурора А. А. Мясново — членом гражданскаго отдѣленія, нз Москвы прибыл новый прокурор и однн за другим два товарнща предсѣдателя — Волынскій и Н. Г. Мотовилов и обновленіе оказалось для меия крупным козырем. Далеко не весь состав получил университетское образованіе. Большая часть состояла нз разиочинцев, для которых скромиое жалованье было единственным источником существованія. Меньшая часть принадлежала к дворянскому сословію н, дополняя жалованье остатками больших состояній нли женитьбой на богатых московскнх купчихах, жила в полное свое удовольствіе, сладко пила н ѣла, поигрывала в винт без азарта, а лишь для времяпрепровожденія, и с разночинцами домами не зналась, а я, единственный еврей, был радушно принят нменно в дворянской средѣ н с нѣкоторыми, несмотря на разницу служебнаго положенія, впослѣдствіи был на ты. Служба проходила под знаком: работа ие волк, в лѣс ие убѣжит. В дѣлопроизводствѣ царила рутина, не совсѣм даже очистившаяся от дореформенных порядков, а единственный толковый юрист — член гражданскаго отдѣленія сильно запивал.

На первых же шагах моей судебной карьеры «негласный надзор» звучно о себѣ напомнил и, если бы не Давыдов, оборвал бы ее сразу. Я замѣщал заболѣвшаго секретаря прокурора, — должность прокурора еще исправлял временно Мясново, — когда, отозвавшись на телефонный звоиок жандармскаго управленія и сообщив звонившему, очевидно удивленному незнакомым голосом, свою фамилію, я по тону дальнѣйшаго разговора почувствовал, что собесѣдник непріятно изумлен. А спрашивал он, может ли прокурор сейчас принять его по дѣлу, и через полчаса вошел бравый адъютант управленія н окинул меня уничтожающим взглядом, подтвердившим основательность моего предчувствія. Когда же через мѣсяц, другой Мясново перешел в гражд. отдѣленіе н мы с ним сблизились, он с безцеремонной откровенностью разсказал, что дѣйствительно жандарм строго обратил его вниманіе на то, что я состою под надзором и что мнѣ «хода давать не слѣдует». «Я — продолжал Мясново — тотчас предупредил Давыдова, но он меня отшиб, сказав, что ему ничего об этом неизвѣстно, н он не может ставить вас в особое положеніе. Я возразил, что будут непріятности, если, например, вам поручено будет исправлять должность судебнаго слѣдователя, а полиція, в отвѣт на ваше распоряженіе, скажет: вы там не очень! Вы сами у нас под наблюденіем».

Я не мог не вспомнить гимназическую сцену между моим бывшим директором и «репетитором» и спросил: «А что же Давыдов?» — «А он мнѣ отвѣтил, что если вы сами усмотрите в этом неудобство, он воздержится от таких порученій, а до того не имѣет никаких основаній ограничивать установленный законом круг вашей дѣятельности».

Этот инцидент, грозившій весьма непріятными послѣдствіями, дал, напротив, толчок удачам. Давыдов обратил на меня вниманіе и с тѣх пор стал всячески выдвигать и содѣйствовать, а впослѣдствіи подарил своей дружбой, которой я чрезвычайно дорожил и не раз, по его приглашенію, пріѣзжал к нему из Петербурга в Москву, куда он был переведен. Но, право же, личная благодарная привязанность не дѣлает меня пристрастным: он дѣйствительно был человѣк замѣчательный и очень интересный, ибо тоже принадлежал к числу рѣдких фигур, которыя дают гораздо больше, чѣм сами имѣют. Мнѣ все не удавалось встрѣтить у других созвучіе убѣжденію моему в важности этой черты и только однажды, здѣсь в эмиграціи, послѣ публичнаго доклада, в котором я вспоминал о Николаѣ Васильевичѣ, покойный Ю. И. Айхенвальд, знавшій Давыдова, крѣпко пожал мнѣ руку и сказал: «Как правильно вы отмѣтили и справедливо превознесли главную черту покойнаго». Эти слова тѣм болѣе обрадовали меня, что сам Айхенвальд (тоже крещеный, одессит, сын раввина) был богато от природы одарен и блестяще образован. Николай Васильевич происходил из старинной дворянской семьи, из поколѣнія в поколѣніе служившей по судебному вѣдомству и имѣвшей большія связи. Пріѣзжая в Петербург, он останавливался обычно у своей кузины, фрейлины Озеровой, в Зимнем Дворцѣ, гдѣ и я у него бывал. Студентом Московск. университета он вел разсѣянную жизнь и женился на балеринѣ, которую я узнал уже немолодой, изящной, со слѣдами былой правильной красоты, привѣтливой и тактичной женщиной. Среди друзей циркулировал разсказ, как однажды Николай Васильевич поздно ночью вернулся домой и, чтобы убѣдить жену, что он совершенно трезв, опустился в спальнѣ на колѣни перед иконой и стал молиться. Екатерина Михайловна спокойно замѣтила ему: «Ты бы хоть шляпу снял!» И в Тулѣ у них не садились за стол без водки и вина, но никогда не переходили границ легкаго пріятнаго возбужденія, создававшего атмосферу непринужденности. И в винт — у него и при нем — играли весело, пересыпая шутками и остротами, водка и карты были для человѣка, а не наоборот. Николай Васильевич был дружен со знаменитым русским остроcловом Козьмой Прутковым, т. е. братьями Жемчужниковыми и гр. А. Толстым, и держался их тона. Высокаго роста, узкій, с маленькой головой, покрытой густыми сѣдѣющими волосами ежиком, дон-кихотовской бородой клинушком и скрыто насмѣшливыми зеленоватыми глазами, которые как будто своим пострѣливаніем то и дѣло сбрасывали не державшееся на носу пенснэ, нарочито подчеркиваемым низким басом и уморительно серьезным видом, — он вездѣ становился центром, душой общества и умѣл легко и незамѣтно переводить бесѣду с шуток и балагурства на серьезныя темы и обратно. Как помирали всѣ со смѣху, когда он с глубокомысленной миной читал сочиненный Козьмой Прутковым

каламбур, представлявшій безсвязный набор слов, получавших другой смысл, благодаря расчлененіям, вызывавшим новыя созвучія (осталась в памяти одна фраза: на торжество пріѣхали пани Хида и пани Кадило и т. п.) Он и сам составил такой анекдот из сочетанія странных фамилій (вродѣ Перевертанный-Черный) чинов судеб. вѣдомства и адвокатуры, перечисленных в юридическом календарѣ Острогорскаго. Но в Тулѣ он никогда не забывал, что дѣлу время, потѣхѣ час и чѣм дальше, тѣм все больше час сокращался в пользу времени. Предметом его сердечной заботливости был пріют для несовершеннолѣтних преступников, и для увеличенія средств Давыдов ежегодно устраивал в Тулѣ театральныя представленія, давшія мнѣ счастливую возможность познакомиться с обаятельным К. С. Станиславским (тогда еще любителем), Лилиной, А. Федотовым и др. Меня Николай Васильевич, как я ни отнѣкивался, ссылаясь, что без очков непремѣнно устрою какой-нибудь непріятный сюрприз на сценѣ, заставил напялить обручем сжимавшій голову рыжій парик и показаться на сценѣ безсловесным лакеем. Помню, как меня поразило, что за ужином, несмотря на всѣ усилія Давыдова, актеры упорно пережевывали жвачку, только о том и говорили, как была произнесена та или другая фраза, жаловались друг другу, как их подвела та или другая реплика и т. п., причем каждый был занят собою и собесѣдника не слушал. А нѣсколько лѣт спустя — в зенитѣ славы своей К. С. Станиславскій, пріѣзжая на гастроли в Петербург, ежегодно устраивал с труппой чудеснѣйшій закрытый вечер для благотворительных учрежденій жены моей, с которой у Давыдова было душевно много общаго. Между прочим, он тоже умѣл придумывать оригинальные способы добыванія средств для своего пріюта: уже в Петербургѣ мнѣ пришлось по его просьбѣ заняться изслѣдованіем исторических привиллегій «нѣжинских греков» (до того я знал лишь нѣжинскіе огурчики), чтобы отстоять в «департаментѣ Герольдіи Сената» их права на потомственное почетное гражданство. Свояк Давыдова, женатый на сестрѣ его жены, тоже бывшей балеринѣ, обѣщал, от имени своих земляков, отвалить порядочный куш пріюту, если Сенат признает их потомственными почетными гражданами. В другой раз для Московскаго губернск. предводителя дворянства, тоже по просьбѣ Давыдова, пришлось писать обширную записку о родовых имуществах, и в Петербург он всегда пріѣзжал с полным коробом планов, просьб, порученій.

Спровадив меня в Петербург (он энергично ускорял мой перевод из Тулы), Давыдов сам получил назначеніе на почетный пост предсѣдателя Моск. суда. Первопрестольная разбудила его дремавшія душевныя силы и на шестом десяткѣ он не задумался перемѣнить карьеру: отказался от виднаго поста, подготовился и выдержал магистрантскій экзамен по уголовному праву, получил приват-доцентуру в университетѣ (его вступительная лекція напечатана была в Праве), избран был ректором вольнаго университета им. Шанявскаго, и стал едва ли не самой популярной и любимой фигурой в Москвѣ, а квартира его в деревянном особнякѣ, в одном из переулков Пречистенки, куда переселились и престарѣлая няня, выходившая единственную дочь, и придурковатый добродушный лакей Иван, qui pro quo коего в Мос-

квѣ принимали анекдотическій характер, и нѣсколько тульских дворняжек, которых Екатерина Михайловна выхаживала, — эта старомодная, необычайно уютная, радушная квартира сдѣлалась одним из центров умственной и общественной жизни московской интеллигенціи, и тяжко было Давыдову умирать в самом разгарѣ разбушевавшейся революціи, под впечатлѣніем, что она безслѣдно смела всѣ результаты его выдающейся душевной энергіи

Я не успѣл еще обжиться в Тулѣ, как Давыдов командировал меня в уѣздный город Ефремов «в помощь» городскому судьѣ Лохвицкому, сыну извѣстнаго криминалиста, исправлявшему тогда и должность заболѣвшаго уѣзднаго члена суда и сильно запустившему оба дѣлопроизводства. По установившемуся обычаю командируемый поселялся в квартирѣ замѣщаемаго или того, к кому он прикомандирован, но несчастный Лохвицкій, ничѣм не похожій на своего блестящаго отца, сам ютился в двух полутемных комнатах квартиры сравнительно еще молодой женщины, тощей, с красными пятнами на щеках, настоящей вѣдьмы, перед которой он дрожал, как осиновый лист. Я отлично устроился у высоченнаго, тонкаго, бѣлобрысаго судебнаго слѣдователя, к которому мало шло дружеское прозвище «Ваничка», хоть он и разыгрывал, с искусством провинціальнаго любителя, роль разочарованнаго, взыскующаго града. По сердечным дѣлам Ваничка тяготѣл к Тулѣ, гдѣ и проводил пять дней в недѣлю и очень негодовал на мѣстных воров и насильников, которые в своих столкновеніях с законом не считались с его росписаніем. Я тоже был ими недоволен, потому что, оставаясь вдвоем с его письмоводителем, был сам себѣ хозяином и почему то, в свободное время, вздумал штудировать Савиньи, а когда Ваничка пріѣзжал, надо было расплачиваться выслушиванiем его плаксивых жалоб на неудовлетворенность жизнью. Дѣлопроизводство Лохвицкаго представляло подлинно Авгіевы конюшни и пришлось энергично приняться за их расчистку, но я мог только подготовлять дѣла к слушанію и потом писать рѣшенія и приговоры. От Лохвицкаго же требовалось выслушать в засѣданіи стороны и написать резолюцію, проект коей был уже готов, но у него был какой то паралич воли и энергіи, и он буквально умолял не торопиться и часами, пока я сидѣл за столом, валялся на тут же, в камерѣ стоявшем продавленном диванѣ, напряженно прислушиваясь к разговорам вѣдьмы, доносившимся из сосѣдней комнаты, и приходил в ужас от моего громкаго голоса. Однажды он подобострастно сообщил, что у него большая просьба ко мнѣ — принять участіе в устраиваемом ею любительском спектаклѣ. Я замахал руками, но он свои молитвенно сложил, лепетал, что я себѣ не представляю, какія непріятности доставил бы ему своим отказом, что зато он быстро двинет дѣла и никогда не забудет одолженія. Я присутствовал при одном или двух обсужденіях предстоящаго спектакля, очень помутнѣвших в памяти, но ясно помню странное ощущеніе: я забывал, что идет подготовка любительскаго спектакля, казалось, будто присутствую на инсценировкѣ Чеховскаго разсказа, и неизмѣнно вспоминал с улыбкой эти обсужденія, когда смотрѣл нашумѣвшую пьесу Пирaнделло «Шесть персонажей ищут автора».

Мнѣ пришлось побывать в командировках и в нѣкоторых других уѣздах и всюду я неизмѣнно встрѣчал царство Чехова. Выѣздныя сессіи в уѣзды, к которым меня прикомандировывали в качествѣ защитника подсудимых по назначенію, больше напоминали пикник. Пріѣзжіе размѣщались у мѣстных чинов суд. вѣдомства, и кипѣніе жизни начиналось именно послѣ окончанія судебных засѣданій, в которых живой активный интерес к скамьѣ подсудимых проявляли только присяжные засѣдатели. Для них роль судьи была дѣлом новым, необычным и потому они усердно ворочали мозгами и напрягали всѣ силы разумѣнія и чувства, чтобы отвѣтить на заданные вопросы, в противоположность профессіональным судьям, у которых привычка к судебному засѣданію вырабатывает трафаретное отношеніе, предубѣжденіе, которое чѣм дальше, тѣм сильнѣе затвердѣвает, и слушаніе дѣла превращается в досадную, ненужную формальность. У меня привычки еще не сложилось. К обязанности защитника я относился серьезно и добросовѣстно, тѣм болѣе, что вообще убѣждать другого в правильности своего взгляда или воззрѣнія являлось даже моей слабостью. Помню одно страшное дѣло, которое слушалось в городѣ Веневѣ. Супружеская чета молодых крестьян вмѣстѣ с работником звѣрски убили с цѣлью ограбленія двух татар — торговцев в разнос. Тут защитнику убѣждать было не в чем. Судьба их конечно была предрѣшена в сердцѣ присяжных. Но были данныя, что жена участвовала пассивно, что подчиненное положеніе женщины в крестьянской семьѣ лишало ее возможности противорѣчить приказаніям мужа. На этом основаніи я расчитывал добиться признанія в ея пользу смягчающих вину обстоятельств, в головѣ сложилась обстоятельная защитительная рѣчь и наканунѣ суда я в тюрьмѣ подсудимую обнадежил. На другой день, весь поглощенный предстоящей рѣчью, я пришел в засѣданіе, но подсудимая, к несказанному огорченію, лишила меня ораторских лавров, заявив, что «наняла» себѣ другого настоящаго адвоката, а этот адвокат, мѣстный веневскій мѣщанин, даже и с дѣлом не был знаком. Меня так распирало непроизнесенной рѣчью, что я готов был ей предложить свои дополнительныя услуги, я считал себя просто обокраденным, но по существу она была вполнѣ права: я назначен был защитником всѣх трех подсудимых, на судѣ ея соучастники не только покорно, а даже охотно признавали свою виновность, но до страсти оба горячились, приходили в настоящій раж, когда она пыталась ослабить имѣющіяся против нея улики. Страшно было сидѣть на скамьѣ защитников, имѣя их за своей спиною, так они были разъярены с выкатившимися глазами и угрожающими жестикуляціями, но еще болѣе мерзка была плотоядная улыбка, когда они услышали, что она, наравнѣ с ними, приговорена к безсрочной каторгѣ. Никогда не испытывал такого мучительнаго затрудненія выдавить из себя нѣсколько слов, чтобы, во исполненіе обязанности, указать присяжным засѣдателям, что, быть может, в полном сознаніи подсудимых они найдут основаніе для нѣкотораго снисхожденія.

С этой веневской сессіей, оставившей тяжелый, горькій осадок, связано еще и другое воспоминаніе: Венев не был соединен с Тулой желѣзной дорогой и мы возвращались на лошадях — это было зимой, совсѣм раним

утром подъѣзжали мы к Тулѣ, в предмѣстьѣ города, еще спавшаго, горѣли рѣдкіе тусклые фонари и видны были неясные силуэты безшумно двигающихся в одном направленіи фигур. То были рабочіе знаменитаго тульскаго оружейнаго и патроннаго заводов и еще теперь так ярко вспоминается ощущеніе чего-то угрожающаго в этом крадущемся молчаливом движеніи, которое, казалось, собирается ударить на спящій город. «Что вы шепчете — раздается вдруг голос спутника, — молитесь? И как вы сидите?» Тут я соображаю, что весь выгнулся вперед, прислушиваясь к глухим звукам, и невольно шепчу изумительное лермонтовское Предсказаніе: «Настанет год, Россіи черный год», которое, в противоположность прозрѣнію Достоевского, не привлекло к себѣ и во время революціи никакого вниманія.

Однако, я еще не разстался с Лохвицким, которому без вины моей причинил все же большую непріятность: раньше, чѣм мы разрѣшили страстные споры о выборѣ пьесы, во время которых Лохвицкій горячо секундировал своей дамѣ против пытавшихся ей противорѣчить, — Давыдов отозвал меня из Ефремова для занятія должности помощника секретаря гражд. отдѣленія. Лохвицкій побѣлѣл, когда я сообщил об этом, и все не рѣшался допустить меня к дамѣ, чтобы с ней проститься. Она и сдѣлала мнѣ выговор: «Это странно, Вы же обѣщали, а на Рождество можно получить отпуск!» И, спускаясь с лѣстницы, я слышал ея хриплый яростный голос. Бѣдный Лохвицкій и кончил плохо, был отдан под дисциплинарный суд, а лѣт пятнадцать спустя появился вдруг, жалкій, потрепаный, в редакціи «Рѣчи», прося помочь найти какое-нибудь занятіе.

Возвращенію в Тулу предшествовала слава, которой, как выяснилось, я обязан был Ваничкѣ, направо и налѣво трубившему во время пріѣздов в Тулу, что «он весь день работает, а по вечерам читает Савиньи». По существу, затраченное на это чтеніе время можно было употребить гораздо цѣлесообразнѣе, проштудировав вновь курсы русскаго гражд. права и судопроизводства, но меньше всего я мог предполагать, что Савиньи упрочит за мною репутацію крупнаго цивилиста. Эта неожиданность, однако, вполнѣ понятна, если сказать, что ни у кого из чинов судебнаго вѣдомства я не видѣл ни одной юридической книги. С большой, быть может, излишней горячностью взялся я за свою работу, просил возложить на меня постоянное веденіе протокола судебных засѣданій и, вмѣсто безсодержательнаго указанія: «повѣренный истца поддерживал исковыя требованія, повѣреный отвѣтчика ходатайствовал об отказѣ в искѣ», старался с максимальной сжатостью изложить содержаніе рѣчей сторон и тѣм самым перенести центр тяжести, согласно требованію судебных уставов, с письменнаго состязанія на устное судоговореніе. Если слушалось юридически сложное дѣло, я просил докладчика предоставить мнѣ написать проект рѣшенія, на что всѣ охотно соглашались, а для меня составленіе таких проектов явилось прекрасной умственной гимнастикой, принесшей огромную пользу в смыслѣ выработки сжатости, точности и послѣдовательности изложенія. Как раз в это время и случилось, что Мясново из товарищей прокурора перешел в члены гражданскаго отдѣленія. Он, конечно, предпочел бы засѣдать в уголовном от-

дѣленіи, но освобождающіяся там вакансіи поспѣшно занимают старѣйшіе члены гражданскаго отдѣленія, ибо выѣздныя сессіи дают возможность остатками от прогонных и суточных денег нѣсколько увеличить размѣр нехватающаго на жизнь жалованья. Мясново в этом не нуждался, он был женат на единственной сестрѣ богатѣйших московских купцов, имѣвших свои замѣчательныя картинныя галлереи и музеи, и нѣт, нѣт — налагавших заплаты на дыры в бюджетѣ породнившей их со старинным дворянством сестры. Матеріальная сторона его поэтому не заботила, но, просидѣв беззаботно лѣт десять на должности товарища прокурора, он естественно утратил и тѣ смутныя представленія о гражданском правѣ, с которыми вышел из университета. Вот почему, получив новое назначеніе, он пріѣхал к тульскому Савиньи с запоздалым визитом и тут то и разсказал с покоряющей развязностью, как убѣждал Давыдова серьезно отнестись к предупрежденію жандармов о моей неблагонадежности. «Я и сейчас не увѣрен — закончил он уже в шутливом тонѣ — что у вас под кроватью не спрятана бомба. А теперь давайте говорить о дѣлѣ. Мнѣ нужна ваша помощь». Я охотно согласился, а он ни от кого не скрывал и даже афишировал, что я дѣлаю за него всю работу. Он был искренне и глубоко убѣжден, что его предназначеніе исключительно в том заключается, чтобы наслаждаться жизнью, и только в этом умѣньѣ черпал притязанія на уваженіе к себѣ со стороны других. Умѣнье у него было и впрямь незаурядное: большая квартира обставлена была с аристократической, не рѣжущей, а незамѣтно ласкающей глаз роскошью и удобствами: опустишься в кресло — кажется, что оно заказано по твоему сложенію и росту. Зажжешь лампу в гостиной — разливается свѣт, зовущій к интимной бесѣдѣ, а в кабинетѣ, при тяжелых спущенных портьерах и умѣло пригнанном абажурѣ, она приглашает погрузиться в чтеніе за письменным столом. Отличный повар, изысканное меню, присылаемыя братьями французскія вина и неистощимое балагурство хозяина за столом превращают ѣду из насыщенія в наслажденіе. А лакей Адріан в бѣлых перчатках — такого больше я и не встрѣчал. Это был изумительный pendant к барину, он также беззавѣтно был убѣжден, что для того только и рожден на свѣт Божій, чтобы помочь барину осуществить его предназначеніе. Выполнял эту роль свою истинно с телячьим восторгом и, когда я видѣл их вмѣстѣ, казалось, что они разговаривают глазами, что между ними какой-то тайный уговор, Была, впрочем, большая разница между барином и слугой: первый отлично изучил и понимал науку наслажденія жизнью, но долговременное однообразное пресыщеніе притупило способность воспринимать, и он больше заботился, чтобы другіе видѣли и цѣнили его знанія и искусство их примѣненія; Адріан же был, так сказать, глубоко вѣрующим и своим предназначеніем дѣйствительно наслаждался. Жена Мясново, маленькая, безцвѣтная, была в домѣ как бы гостьей и блистала лишь умѣньем одѣваться: тогда была мода на шелковыя юбки под платьем, и никто, как она, не умѣл производить такое пріятно раздражающее шуршаніе. Из двух болѣзненных дѣтей, дѣвочки и мальчика, преувеличенное вниманіе и заботливость принадлежали ему, как хранителю дворянскаго рода, очень милая дѣвочка

была в тѣни и, как Адріаи, считала, что ей иа роду так н должно быть иапнсано. Такое уродливое отиошеніе к дѣтям совсѣм подчеркнуто выступало у матерн, повиднмому, гордившейся, что, хоть н купчнха, но сумѣла разрѣшить священную задачу продолженія рода и понимает высокое значеніе заботы об огражденіи послѣдняго отпрыска. Но подлинной любви н к сыну не было: когда перед засѣданіем мы вечером сидѣли за работой, тяжело дававшейся, ибо была она органически противна, и сын вбѣгал проститься, Мясиово смачно нѣсколько рез цѣловал, крестил со словами: «Господь с тобой, голубчик!» но черные горящіе глаза не отрывались от лежавших на столѣ ненавистных дѣл, и чувства и мысли были безконечно далеки от совершаемых нѣжностей и произносимых слов. Часа через два, услышав из сосѣдней комнаты—супружеской спальни—шуршаніе юбок, он стремительно убѣгал туда, опять слышались поцѣлун н «Господь с тобой, душечка!» н через мгновеніе он опять весь в мучительной власти докучной головоломки. Меня впервые тогда поразила машинальность и автоматичность, налагающая мертвенность даже н на самыя интимныя чувства, куда же разумнѣй и человѣчнѣй представилось тогда отсутствіе всяких нѣжностей в нашей семьѣ, и с тѣх пор автоматизм стал все сильнѣе приковывать к себѣ вниманіе и все чаще наводить на печальныя размышленія об его доминирующей роли в человѣческом обиходѣ.

Лѣтом семья уѣзжала в деревню Мясиовку, верстах в 30 от Тулы. По субботам я садился с портфелем, плотно набитым подготовленными к слушанію дѣлами, в севастопольскій курьерскій поѣзд, непремѣнно в первый класс, и побѣдоносно всѣх озирал, увѣренный, что всѣ на меня смотрят н чувствуют почтеніе к портфелю и форменной лѣтней фуражкѣ из чертовой кожи. Запомнилось, как однажды почтенный старик скромно попросил уступить мое мѣсто у окна пришедшему из другого вагона пассажиру, с которым собирался играть в карты, и, бросив взгляд на мою фуражку, прибавил: «А вас, вѣроятно, заинтересует вот эта новинка», и протянул только что напечатанную записку министра юстиціи Муравьева о преобразованін судебных уставов. Это был очевидно петербургскій сановник судебнаго вѣдомства и я густо покраснѣл, показалось, что он насквозь видит мое самоупоеніе, и в его изысканной вѣжливости послышалось: «А какое благодарное сырье для чеховскаго разсказа!» Проѣхав первую станцію «Козлова Засѣка», у которой расположена знаменитая Ясная Поляна, я у второй — Скуратово покидал поѣзд, здѣсь меня ждала лихая мясиовская тройка с кучером в плисовой безрукавкѣ, плисовой твердой шляпѣ с павлиньими перьями. Низко сняв шляпу, он неизмѣнно совѣтовал, как удобнѣй усѣсться, и мчал в Мясиовку. В теченіе уик-энда часов 6—7 уходило на изученіе дѣл, а остальное время принадлежало ѣдѣ, питью н отдохновенію. Ровно ничѣм Мясиовка не напоминала моей Малософіевки, по отношенію к ней сами собой напрашиваются слова — прелестный уголок. Это был остаток большого старинаго родового имѣнія, постепенно частями отчуждавшагося, теперь сохранилось лишь триста заложенных и перезаложенных десятин, но с отличным садом и англійским парком, красивым, прочным барским домом, в

котором жила мать с тремя немолодыми дочерьми дѣвицами — одна была начальницей, а другія учительницами женской гимназіи. Старый дом ревниво хранил дворянскія традиции и глубоко таил неодобреніе мезальянсу сына и брата. Для себя Мясново выстроил новый дом, простенькій, вродѣ pied à terre, но все было также мило, изящно и продуманно удобно, чтобы не умалять наслажденія жизнью. Между домами незамѣтно было никакого общенія, лишь иногда, в воскресенье мы на нѣсколько минут заходили в женское царство, как иронически выражались в новом домѣ, почтительно отвѣчали на шаблонные вопросы и, выслушав жеманную благодарность за оказанное вниманіе, откланивались, чтобы больше не встрѣчаться — дамы как будто не покидали комнат. В понедѣльник утром я возвращался в Тулу, уже вмѣстѣ с Мясново, а большей частью и Ваничкой, который норовил по субботам присосѣдиться ко мнѣ. Вечером на холостую ногу обѣдали с щедрым возліяніем шампанскаго, а на другой день, послѣ судебнаго засѣданія, мой амфитріон тотчас уѣзжал в деревню и т. д. Очень ярко запомнилось одно возвращеніе в Тулу: уже близко от станціи нам неожиданно преградили путь солдаты с ружьями и заявили весьма рѣшительно, что пропускать дальше «никого не велѣно», а нам до зарѣзу нужно в город. Мясново проявил большую энергію, добрался до старшаго и, подкрѣпив денежной подачкой указанія на туго набитый портфель и мою форменную фуражку, добился пропуска через три цѣпи солдат и крестьян, охранявших желѣзнодорожный путь. На станціи мы увидѣли громоздкій императорскій поѣзд, имѣвшій со спущенными у окон занавѣсками мрачный вид: это увозили в Крым уже безнадежно больного Александра III. Наш поѣзд стоял на сосѣднем пути, в нем тоже занавѣски были спущены, а вдоль разставлены солдаты и, когда я чуть отодвинул занавѣску, солдат грозно направил штык в стекло. Лишь послѣ того, как царскій поѣзд отъѣхал на юг, заклепанныя на время проѣзда стрѣлки были освобождены и мы с большим опозданіем двинулись в противоположном направленіи.

Когда, послѣ моего перевода в Петербург, Давыдову удалось перевести Мясново в Москву, он, хотя и значительно понаторѣл в гражданских дѣлах, снова испугался — там дѣла были куда сложнѣе, разбираться придется в доводах крупнѣйших адвокатов — и пріѣхал в Петербург с предложеніем мнѣ перейти в московскую адвокатуру, обѣщая золотыя горы, в частности выгодное юрисконсульство в невзрачном, но хранившем подлинно золотыя горы текстильнаго товара, «лабазѣ» старшаго шурина его — милліонщика, на Никольской улицѣ. Соблазн был большой, но, к счастью, я, опять поддерживаемый женой, устоял, в это время мы были уже на порогѣ изданія «Права». А здѣсь, в эмиграціи, я узнал случайно, что нелѣпо избалованный, болѣзненный сын Мясново героически участвовал в бѣлом движеніи и скитается заграницей, а родители остались в Москвѣ и прозябают на иждивеніи выраставшей в тѣни дочери, ставшей учительницей. Можно ли было предположить, что М. перенесет на старости лѣт безжалостное разрушеніе единственнаго жизненнаго убѣжденія в своем предназначеніи и приспособится к созданным большевиками ужасающим условіям. Для полноты кар-

тины нужно бы еще, чтобы Адріан — такіе примѣры я знаю — превратился в рьянаго большевика.

Мои попытки всколыхнуть судебную рутину вполнѣ совпали со стремленіями вновь назначеннаго товарища предсѣдателя Н. Г. Мотовилова. Всякое назначеніе со стороны встрѣчалось недружелюбно, как преграждение дороги своему кандидату, а Николай Георгіевич, с добрѣйшей душой, но вспыльчивый и, слѣдовательно, опасающійся, хватит ли выдержки, вводил свои порядки круто и с первых же шагов вооружил против себя всѣх членов своего отдѣленія, тѣм сильнѣе, что был моложе их и возрастом и служебным стажем. Окружившая его враждебная атмосфера и способствовала преувеличенной благосклонности ко мнѣ и уже, послѣ недѣльнаго знакомства, мы из суда отправились в ресторан, — он ходил очень быстро, мелкими шажками, — обѣд, конечно, сопровождался возліяніем, сразу и сильно на него дѣйствовавшим, я тут же узнал всю его біографію и мы выпили на брудершафт. Основной опредѣляющей чертой его личности выступало, что он был, а главное — считал себя, сыном знаменитости: отец был видным піонером судебных уставов, первым предсѣдателем, первым открытаго, петербургскаго суда и его почтительно отмѣтил в своих воспоминаніях А. Ф. Кони. Много раз я имѣл случай убѣдиться, что эта позиція крайне невыгодная, а то и просто предательская. Она маскируется обветшалым загражденіем, что по отцу и сыну честь, убаюкивает вѣрой, что излишне трудиться над изготовленіем собственнаго оружія для ея защиты и таким образом лишает человѣка самостоянія. Пока министром юстиціи был Манасеин, друг и почитатель отца, вѣра Николая Георгіевича оправдывалась и он дѣлал быструю карьеру в Петербургѣ, но тѣм сильнѣе было разочарованіе послѣ смерти Манасеина, вызвавшее чувство обиды и раздражительность. Не награди его судьба знаменитым отцом, широко развернулись бы лучшія свойства его ума и души — неподдѣльная искренность и прямота, рыцарская честность и природная интеллигентность, которыми он, вѣроятно обязан был матери, очень толковой, чудесной старушкѣ, отца я не знал, он рано умер. Благодаря этим качествам и вліянію на него Давыдова, сочувствовавшаго модеринзаціи суда, Мотовилову все же удалось преодолѣть недружелюбіе, в особенности среди дворянской части, которая только его и интересовала. Этому не мало способствовала очаровательная жена, выдѣлившаяся среди тульских дам свѣжей молодостью, подчеркнутой дѣтской непосредственностью и неловкостью. В ея присутствіи всѣ как будто чувствовали себя моложе, и тѣм выше нужно было цѣнить ее, что с представленіем о Смольном институтѣ, в коем она воспитывалась и окончила его с шифром, неразрывно связывается условность, манерность и душевная исковерканность. Мотовилов тоже не засидѣлся в Тулѣ и вскорѣ мы вновь встрѣтились в Петербургѣ. Он настойчиво претендовал на пост предсѣдателя суда и пускал в ход всѣ свои связи, особенно расчитывая на брата жены, вліятельнаго при дворѣ лейб-медика. Но у него произошло рѣзкое столкновеніе с прославившимся притѣсненіем крестьян земским нач. Сухотиным, который, придя в канцелярію суда, предъявил неподлежащее удовлетворенію требованіе и, получив отказ, проявил

чрезмѣрную развязность, вызвавшую бурную вспышку Мотовилова. Сухотин бросился к губернатору, тот донес в Петербург, возникла переписка, закончившаяся назначением Мотовилова товарищем обер-прокурора Сената. В Петербургѣ он жил весьма скромно, сошла вся искусственная спесь и мы встрѣчались и друг у друга и в засѣданіях Сената. В 1910 г., на масляной, по случаю пріѣзда Давыдова у нас был завтрак, к которому пригласили и Николая Георгіевича с женой. Давыдов был очень в ударѣ, остроумно разсказал о своих петербургских впечатлѣніях, весело балагурил, а Мотовилов явно пересиливал себя, стараясь выдавить улыбку. Через два часа по уходѣ от нас, он, сидя за изученіем дѣл, внезапно скончался от кровоизліянія в мозг, как в свое время и его отец.

При Мотовиловѣ я назначен был секретарем гражданск. отдѣленія, на мѣсто долго не соглашавшагося выйти в отставку стараго служаки, без всякаго образованія, котораго молодой тов. предсѣдателя сразу не взлюбил. Теперь преобразованіе канцеляріи пошло быстрым темпом, и это было весьма кстати, потому что вскорѣ к нам на ревизію пріѣхал извѣстный юрист Носенко, занимавшій в то время пост старшаго юрисконсульта в министерствѣ юстиціи. Это не была ревизія в узком смыслѣ слова — министр юстиціи Муравьев рѣшил подвести итог измѣненіям, внесенным в судебные уставы за 30 лѣт их существованія. Тотчас послѣ проведенія судебной реформы, в 1866 г., в жизнь выяснилось, что независимый, несмѣняемый суд является инородным тѣлом в самодержавном режимѣ, которое либо будет ассимилировано, либо извергнуто. Безпрерывно вносимыя в суд. уставы измѣненія и преслѣдовали задачу приспособленія, которое Муравьев должен был довершить. Но, будучи сам выдающимся юристом, связанный печатными выступленіями и страстно завидующій популярности А. Ф. Кони, Муравьев не рѣшался взять на себя общественный одіум этой задачи и придумал созвать комиссію из юристов и суд. дѣятелей, которая должна была снять с него тяжесть отвѣтственности и своим громоздким составом и широкими планами замедлить выработку новых проектов. Однако, тенденціозныя измѣненія касались только уголовнаго процесса, главным образом суда присяжных, оказавшагося самодержавію совсѣм не ко двору. В гражданском процессѣ тоже накопилось много измѣненій, но они имѣли — болѣе или менѣе — удачный, чисто дѣловой характер и вызывались быстрым развитіем и усложненіем экономических отношеній. Комиссія составила длинный список вопросов, для выясненія фактическаго состоянія правосудія, а в нѣкоторые суды командировала своих членов для непосредственнаго обслѣдованія. Еще до пріѣзда Носенки я, по порученію прокурора, составил отвѣты по вопросам уголовнаго судопроизводства, теперь ревизор просил Давыдова предоставить меня на короткое время в его распоряженіе, и в теченіе трех дней я выходил из его помѣщенія в гостиницѣ только для того, чтобы достать из суда тѣ или другія нужныя ему данныя. По окончаніи весьма детальнаго обслѣдованія, давшаго возможность установить правильное примѣненіе устава гр. судопроизводства, Носенко поблагодарил меня и вдруг задал странный вопрос: «А почему вы тут сидите?» Я вздрог-

нул и смутился. Вздрогнул, потому что, примѣрно за мѣсяц до этого, в Тулѣ проѣздом остановился мой кузен Владимір Матвѣевич, только что выдержавшій в Одессѣ магистрантскій экзамен по гос. праву и направлявшійся в петербургскій университет в расчетѣ получить там приват-доцентуру. Его пріѣзд расшевелил меня, я почувствовал опасность засасыванія провинціальной тиной, захотѣлось на вольный воздух, и мечты о Петербургѣ сразу овладѣли мной и становились все настойчивѣй. Неожиданный вопрос заставил вздрогнуть, ибо он коснулся больного мѣста, я смутился, потому что не знал, что отвѣтить, и лишь пролепетал: «Я сюда назначен». «А в Петербург хотѣли бы?» — С такой неслужебной порывистостью и громче чѣм слѣдовало, я воскликнул: «Да это моя сокровеннѣйшая мечта», что Носенко улыбнулся и загадочно сказал: «Ну, посмотрим», а Давыдов расшифровал этот разговор, сбросив глазами пенснэ и углубив бас до самых низких нот: «Ну и отлично, и смотрѣть нечего, вы и будете назначены в министерство». Чтобы подготовить этот переход, мы устроили маленькій трюк. Я подал прошеніе об отставкѣ и получил «послужной список», а распухшее дѣло обо мнѣ сдано было в архив, и таким образом отрѣзанный хвост неблагонадежности там упокоился. Через два дня по новому прошенію я опять опредѣлен был на службу, о чем заведено было новое чистенькое «дѣло», ничего, кромѣ послужного списка, не содержащее. А Носенко обо мнѣ не забыл.

Через мѣсяц мнѣ прислали из министерства рѣшенное уже дѣло «консультаціи, при министерствѣ юстиціи учрежденной». Это учрежденіе представляло какой-то архаическій, ненужный, вродѣ аппендикса у человѣка, придаток к административно-судебным департаментам Сената, оставшимся внѣ реформы 1864 г. Если в одном из таких департаментов не могло состояться рѣшеніе по какому-нибудь дѣлу из за разногласія сенаторов и разногласіе не устранялось согласительным предложеніем обер-прокурора, то дѣло переходило в общее собраніе Сената. Если же и там не удавалось собрать требуемаго числа голосов, дѣло передавалось в консультацію, состоявшую из чинов ниже сенаторскаго, и подготовлялось в юрисконсультской части министерства к слушанію. Принятое консультаціей сужденіе по дѣлу облекалось снова в форму согласительнаго предложенія, которое от имени министра юстиціи, как генерал-прокурора, и вносилось снова в общее собраніе Сената. Производство по таким дѣлам, обычно чрезвычайно сложное и запутанное, длилось иногда десятки лѣт. Одно из таких головоломных дѣл, касавшееся каких-то прав каких-то туземцев в Туркестанѣ, и было мнѣ прислано для провѣрки моих знаній и способностей: согласительное предложеніе генерал-прокурора было изъято, и я должен был вновь таковое написать. Повидимому, работа признана была удачной, потому что еще через мѣсяц я был вызван в Петербург, но там произошел курьезный инцидент, который чуть не погубил моего домогательства. В министерствѣ поражала настороженная торопливость, всѣ с озабоченным видом куда-то спѣшили и на всѣх лицах можно было прочитать одно желаніе — сбыть с рук. «Так, так — говорил директор одного департамента, мельком заглянув в передан-

ное ему письмо Давыдова, мнѣ еще кто-то о вас говорил. Ах, вспомнил — кн. Оболенскій. Ну, пойдемте к старшему юрисконсульту». К нему мнѣ и надлежало явиться, но теперь на этой должности сидѣл уже не Носенко, успѣвшій получить назначеніе в Сенат, а новый сановник: «Знаю, знаю, читал, хорошо. Ну, пойдемте к Сергѣй Сергѣичу». Это был директор второго департамента Манухин, будущій министр юстиціи, человѣк с необычайно симпатичным и умным, располагающим к себѣ открытым лицом. Не успѣл юрисконсульт меня представить и шепнуть нѣсколько слов, как дверь кабинета открылась и почтительный курьер доложил: «Вас просят их высокопревосходительство». Со словами «я сейчас» Манухин стрѣлой пронесся в дверь, а еще через двѣ-три минуты и юрисконсульт сказал: «Подождите здѣсь, я сейчас вернусь». Но раньше вернулся Манухин и удивленно посмотрѣл: «Что вы здѣсь дѣлаете?» — «Мнѣ старшій юрисконсульт приказал подождать его возвращенія». — «Ждут в пріемной, а не у меня в кабинетѣ, и сейчас мнѣ опять нужно к министру». Совсѣм сконфуженный, я направился к старшему юрисконсульту, который тоже был смущен, увидѣв меня, ибо, как оказалось, он забыл обо мнѣ и, стѣсняясь вновь явиться со мной к Манухину, стал увѣрять, что работа признана весьма удачной, чѣм в сущности и разрѣшается вопрос о назначеніи в юрисконсультскую часть. «Можете спокойно возвратиться в Тулу и там ждать назначенія».

Только для этого меня и вызвали в Петербург. Но я еще должен был посѣтить департамент полиціи, чтобы ликвидировать тяготѣвшее запрещеніе въѣзда в столицу. Это легко удалось, да и обѣщаніе юрисконсульта оправдалось — я был назначен, но, во-первых со значительной задержкой, во-вторых — не в юрисконсультскую часть, а в самую захудалую, пенсіонную, и в третьих — с нѣкоторым пониженіем в классѣ должности. Впослѣдствіи Давыдов выяснил, что Манухин признавал желательным перевод мой в министерство, но считал, что за чрезмѣрную развязность слѣдует немного проучить. Тут то я и вспомнил ректора одесскаго университета и усомнился, нѣт ли в манерах или тонѣ рѣчи какого-то оттѣнка, несоотвѣтствующаго или даже противорѣчащаго испытываемому настроенію.

Мнѣ, однако, не приходится жаловаться на отсрочку, ибо она дала мнѣ счастье сохранить в памяти яркое воспоминаніе о цѣлом днѣ, проведенном возлѣ Л. Н. Толстого и с ним. Великій писатель закончил тогда «Воскресенье» и читал его в рукописи Давыдову, навѣщавшему Ясную Поляну. Давыдов, между прочим, оспаривал печатное утвержденіе Кони, будто бы он, Кони, дал Толстому тему «Живого Трупа». Не знаю, кто прав, во всяком случаѣ при разборѣ дѣл для составленія, по порученію прокурора, отвѣтов на запросы комиссіи Муравьева, я наткнулся на судебное производство по дѣлу Гиммера, послужившему канвой для популярной драмы Толстого. Относительно же Воскресенья Давыдов отмѣтил нѣсколько неточностей в изложеніи хода судебнаго разбирательства и условился дать знать в Ясную Поляну, когда в судѣ будет слушаться какое-нибудь интересное дѣло, чтобы Толстой пріѣхал непосредственно ознакомиться с ходом судебнаго засѣда-

нія. Такой день и наступил, но Толстому не дано было увидѣть обычное засѣданіе. Оно не было бы торжественнѣй, если бы в залѣ присутствовал сам министр юстиціи: судьи одѣты были строго по формѣ, а не в разнокалиберное штатское платье с замѣной лишь пиджака небрежно напяленным разстегнутым сюртуком, и не только докладчик, но и остальные судьи, обычно во время засѣданія не отрывающіе глаз от лежащих перед ними поверхностно подготовленных дѣл, внимательно слѣдили за допросом подсудимаго и свидѣтелей, и присяжные засѣдатели старались не ударить лицом в грязь, хотя украдкой все посматривали на знаменитаго гостя, сидѣвшаго в пальто поверх черной, подпоясанной ремешком рубашки, в глубинѣ залы и тщетно старавшагося сдѣлать себя незамѣтным, и судебный пристав тоже явно отдавал себѣ отчет в величавости обстановки и не бормотал про себя, а громко и четко возглашал, обводя публику строгим взглядом: «Суд идет! Прошу встать!»

К слушанію назначено было дѣло по обвиненію мѣщанина в нанесеніи раны дѣвицѣ, а сущность заключалась в том, что молодой, молчаливый парень долго убѣждал дѣвицу из публичнаго дома бросить свое ремесло и выйти за него замуж, она же водила своего поклонника за нос, пока наконец тот не вышел из себя и пырнул ее ножем в живот. В качествѣ свидѣтельниц и были вызваны всѣ дѣвицы веселаго дома, в котором происшествіе разыгралось, во главѣ с пухлой хозяйкой, всѣ густо нарумяненныя, в модных огромных шляпах, и насытили зал запахом духов. Конечно, и я не преминул забѣжать на короткое время в зал, чтобы внимательно разглядѣть обожаемаго писателя, котораго я видѣл впервые. А позже ко мнѣ явился курьер Давыдова: «Вас просит предсѣдатель». В кабинетѣ у него (это был перерыв засѣданія) я увидѣл Толстого и у дверей переминающагося с ноги на ногу крестьянина. Представив меня Толстому, Давыдов сказал: «Возьмите, пожалуйста, этого просителя и выясните, что ему нужно. Это, очевидно по вашей части!» Я поклонился и пригласил незнакомца слѣдовать за мной, а Толстой, строго на меня смотря из под густых бровей, заговорил своим грудным голосом, объясняя, о чем крестьянин ходатайствует. Не прошло и получаса, как меня вновь вызвали к Давыдову. Теперь я застал его одного и по сниженному басу понял, что разговор предстоит неслужебный. «Я собственно и сам знал, что просителю не к вам, а в нотаріальный архив слѣдует обратиться, но не сѣтуйте, что вас потревожили, мнѣ хотѣлось познакомить вас с Львом Николаевичем». Я разсыпался в благодарностях; если бы это было не в служебном кабинетѣ, бросился бы его цѣловать. «Ладно, ладно — продолжал он — если вам пріятно, приходите к обѣду. Будет Толстой». Это лестное приглашеніе совсѣм вскружило голову и такое исключительное вниманіе погубило меня. Придя к Давыдовым, я застал дам, милую хозяйку и дочь, в большой ажитаціи. Настроеніе было не менѣе торжественное, чѣм в судѣ. Первым дѣлом приказано было убрать с закусочнаго стола водку, без которой никогда за обѣд не садились, той же участи обречено было и вино и папиросы и даже «зольницы» — так называл Давыдов пепельницы. Хозяин с гостем пріѣхали с небольшим опозданіем и Лев

Николаевич был явно раздражен. Присяжные засѣдатели вынесли — вѣроятно, не без вліянія присутствія Толстого — оправдательный вердикт, которым пострадавшая и ея окруженіе остались очень недовольны. Лев Николаевич подошел к ней и стал убѣждать выйти замуж за оправданнаго, чтобы искупить грѣх, в который она его вовлекла и тяжесть котораго присяжные с него сняли. А она вызывающе подбоченилась и нагло (Катюшѣ Толстой умѣл это прощать) отвѣтила: «А вам какое дѣло?» Небрежно, так сказать — безчувственно, здороваясь с нами, Толстой спросил: «А если бы его признали виновным, какое было бы наказаніе?» и услышав, что угрожали арестантскія роты, всплеснул руками: «Как это ужасно! Какой размах маятника от свободы до арестантских рот! Что только должен был сегодня перечувствовать этот несчастный человѣк!» Хозяйка пригласила к закусочному столу и, разглядывая сощуренными глазами блюда, Л. Н. спросил: «А что это такое?» — «Это закуска, Л. Н.» — «А зачѣм закуска?» Хозяйка смѣшалась: «Обѣд у нас не обильный, так подкрѣпим закуской». Но Толстой не унимался: «А зачѣм обильный обѣд?» Тут пришел на выручку Давыдов: «Не то, чтобы обильный, а жена не расчитывала, что мы будем имѣть удовольствіе видѣть вас за столом, а вот и І. В. пожаловал, жена и испугалась, что всѣ останутся голодными». За столом Толстой стал сразу совсѣм другой: Давыдов только что вернулся из Москвы, гдѣ, если не ошибаюсь, в театрѣ Корша видѣл первое представленіе «Власти Тьмы», и, отличный разсказчик, очень живо излагал свои впечатлѣнія. Толстой весь превратился в слух, ставил ряд вопросов об игрѣ актеров, но не сдѣлал ни единаго критическаго замѣчанія, а как будто только себя провѣрял, сумѣл ли он правильно выразить то, что его геній подсказывал. Весь обѣд прошел очень оживленно в разсказѣ и репликах Давыдова, послѣ чего мы перешли в будуар, гдѣ на вопрос, желает ли он кофе или чаю, опять с раздраженіем отвѣтил: «Я не потребляю ни того, ни другого, но послѣ этого ужаснаго дня разрѣшу себѣ выпить чашку кофе». Я сидѣл с дамами, а Л. Н. стоял у стола и взял в руки лежавшую толстую книгу инфоліо Вышеславцева о Рафаэлѣ. Давыдов подошел к нему и заговорил об иллюстраціях в этой книгѣ. Л. Н. нѣсколько минут молча слушал, но становился все угрюмѣй и вдруг с силой швырнул книгу на стол. «Нѣт! Я не могу успокоиться. Помилуйте, схватили человѣка, продѣлали над ним отвратительную комедію и отпустили на всѣ четыре стороны». — «Однако, вы же сами, Л. Н., обратили вниманіе на переживанія, которыя сегодня подсудимый должен был испытать». Толстой сильно возвысил голос: «Вот в том то и дѣло! Кто дал им право присваивать себѣ такую власть над человѣком и издѣваться над ним, устраивая эту комедію суда!» Того, что засим послѣдовало, я и до сих пор простить себѣ не могу. Перемешилось, что для того и позвал меня Давыдов, чтобы поддержать его в разоблаченіи ложности взглядов Толстого на роль и значеніе суда, и я воспылал желаніем оправдать его надежды. Было, конечно, до дерзости наивно вообразить, что удастся разубѣдить или поколебать тяжело выстраданныя убѣжденія, и единственным утѣшеніем осталось, что Толстой обрушил на меня все накопившееся за несносный для

него день раздраженіе, и сразу успокоился, когда Давыдов догадался замять спор и предложил что-нибудь почитать. «Вы что любите, Л. Н.?» — «Из современных писателей я признаю только Чехова». Я и тут вскинулся: «А Короленко?» Уже совсѣм иным тоном, медленно, как бы про себя, Толстой сказал замѣчательныя слова, которыя многое мнѣ освѣтили и позже, в редакторской дѣятельности, превратились в мѣру, которой я мѣрял. Л. Н. отвѣтил мнѣ: «Короленко — не художник. В одном из его сибирских разсказов арестант, в ночь под Свѣтлое Воскресенье, пытается бѣжать из тюрьмы, но когда он перелѣзает через забор, часовой, увидѣв отбрасываемую луной тѣнь арестанта, стрѣляет в него и убивает. Все это придумано. Пасхальная ночь всегда — безлунная. А художник не придумывает, а изображает лишь то, что перечувствовал и пережил». Поскольку рѣчь идет не о случайных описках и ошибках, которыя можно найти и у самого Толстого, а о самой сущности произведенія, мысль эта кажется глубоко правильной, и еще выше оцѣнил я его замѣчаніе, когда прочел позже изумительное описаніе пасхальной ночи в «Воскресеньѣ». Давыдов принес томик Чехова и с неподражаемым мастерством прочел «Дочь Альбіона», эти настойчивыя повторенія густым басом — yes! — были так комичны, что мы всѣ искренне смѣялись, но Л. Н. буквально задыхался от хохота и слезы катились у него из глаз. Было уже послѣ 9 ч., когда он попросил привести его упитанную смирную лошадку, легко на нее вскочил и ровной рысцой тронулся в Ясную Поляну, оставив в благодарной памяти неизгладимое впечатлѣніе.

Со свидѣтельницами, фигурировавшими на процессѣ, который несомнѣнно усугубил отрицательное отношеніе Толстого к суду, у меня связано другое воспоминаніе, очень стыдное, но из пѣсни слова не выкинешь. Я еще ничего не сказал о тульской адвокатурѣ: среди нея тоже было немало дѣятелей без высшаго образованія, и самую крупную практику имѣл частный повѣренный, комически важный, торжественно, как спесь надуваючись, шествующій медлительно и осторожно, словно держит в руках перед собою хрупкій сосуд, хранящій сознаніе собственнаго достоинства. Когда я познакомился с С. А. Муромцевым, я все вспоминал этого частнаго повѣреннаго, как живую, злую на него карикатуру. Он подавал исковыя прошенія на великолѣпной толстой бумагѣ и при этом всѣм своим видом как будто говорил: «Что ж тут подѣлаешь? Есть такіе глупые люди, которые рѣшаются оспаривать мои требованія». Был единственный еврей, давно прошедшій стаж помощника прис. повѣреннаго, но остававшійся в этом званіи из за ограничительнаго закона. Я познакомился с ним тотчас по пріѣздѣ в Тулу и мы было рѣшили вмѣстѣ читать интересныя литературныя новинки, но жена его, преждевременно полинѣющая блондинка с бѣльмом на одном глазу, так неумѣло разыгрывала роль шаловливаго кокетничающаго ребенка, что я перестал бывать и дружески встрѣчался с ним только в судѣ или на улицѣ. Он имѣл собственную обширную кліентелу, но формально состоял помощником самаго виднаго тульскаго прис. повѣреннаго, так сказать, jeune premier тульской адвокатуры, внѣшним видом и барской осанкой напоминавшаго свихнувшагося коллегу в Устьсысольскѣ, но чуть укороченнаго и утол-

щеннаго. Однажды Давыдов, заботливо разнообразившій свои порученія, назначил меня защитником одного из подсудимых, обвинявшихся в составленіи преступной шайки, а признаніе шайки значительно увеличивало размѣр наказанія. Дѣло слушалось нѣсколько дней, и эти дни, во время перерывов судебнаго засѣданія, я проводил в скромном помѣщеніи, отведенном адвокатурѣ и так закуренном, что и топор повис бы в воздухѣ. Защитники подсудимых, во главѣ с jeune premier П., предложили мнѣ разработать юридическую структуру шайки и попытаться доказать отсутствіе ея в данном дѣлѣ. Присяжные засѣдатели, согласились ли с моими доводами или сами по себѣ, отвергли наличность шайки, и послѣ произнесенія приговора П. пригласил, в знак благодарности, пообѣдать с ним. Он не соглашался даже разрѣшить зайти домой переодѣться и так — он в черном фракѣ со значком и бѣлом галстукѣ, а я — в виц-мундирном фракѣ, отправились в ресторан, гдѣ, по мѣрѣ того как от водки мы переходили к вину, а затѣм к шампанскому, его комплименты становились все горячѣй, а когда мы оба смотрѣли уже друг на друга осовѣлыми глазами, он стал возмущаться, какой смысл имѣет корпѣть на сторублевом жалованьѣ, и, перейдя на ты, кричал: «брось эту канитель, давай вмѣстѣ работать. Мы же всю Тулу завоюем, да что Тулу — наплевать, мы Москву покорим». — «Вѣрно, отвѣчал я, смутно уже понимая, о чем рѣчь идет, нужно обмозговать!» — «Правильно! завтра ѣду в Москву, через два дня опять здѣсь, значит — по рукам! А теперь кутнем». Нам и не подали счета — он был свой человѣк, мы вышли, он кликнул извозчика, который привез нас к дому, совсѣм уже спящему, но П. стал настойчиво дергать колокольчик, заспанный верзила открыл дверь, в передней встрѣтила нас полуодѣтая хозяйка, с радостным восклицаніем привѣтствовала и громко велѣла разбудить дѣвушек. Я впервые был в залѣ публичнаго дома, так ярко описаннаго в чеховском «Припадкѣ», и хоть был мертвецки пьян, но во второй раз в жизни почувствовал желаніе сквозь землю провалиться. Этот скупой ассортимент заученных слов, представляющих попугайную профанацію человѣческой рѣчи, и этот ужасный тошнотворный запах до сих пор возбуждают чувство болѣзненнаго отвращенія. Моментально вновь появилось шампанское, П. все тискал хозяйку, я тащил его за рукав и, вѣроятно, не больше чѣм через полчаса мы вышли. На улицѣ совсѣм разобрало и, когда на другой день проснулся в 12 часов пополудни и с ужасом увидѣл себя во фракѣ, я совершенно не мог отдать себѣ отчета, как вернулся домой, как открывал дверь, зажигал ли лампу, или в темнотѣ бросился одѣтый на постель, и, явившись с большим опозданіем на службу, избѣгал встрѣтиться глазами с сослуживцами. А еще предстояло ликвидировать вопрос о покореніи Тулы и Москвы, с похмелья уже вовсе неулыбавшемся. Спасибо моему искусителю: не знаю, когда он вернулся из Москвы, но в судѣ недѣли двѣ не показывался, а когда наконец появился, не заговаривал больше о своем предложеніи. Помощник же его, без всякой иниціативы с моей стороны, разсказал, что жена П., которую я только один раз и видѣл, рѣшительно воспротивилась намѣреніям мужа, «не довѣряя вашим насмѣшливым глазам и хитрому виду».

Тѣм временем, в февралѣ 1896 г., ровно через 10 лѣт послѣ невольнаго разставанія с Петербургом, пришло мое назначеніе туда. Не без сожалѣнія, конечно, разставался я с теплой ароматной ванной и с завоеванным положеніем. Канцелярія поднесла трогательный адрес и альбом с фотографіями, но я отнюдь не обольщал себя, понимал, что с моим отъѣздом (преемником был человѣк без высшаго образованія) они вздохнут свободно, избавившись от инороднаго элемента. Дамы устроили в честь мою очень пріятный прощальный вечер: к ним я искренне привязался в благодарность за то, что они с таким гостепріимством и радушіем приняли чужака, который, вѣроятно, не раз шокировал своими повадками и манерами традиціи их воспитанія и уклада. Тут было, однако, довольно оригинальное взаимодѣйствіе. Мнѣ эти традиціи нравились, как невиданная до того новинка, а фактически от них осталась только форма без содержанія, отчего она стала хрупкой. Для этого дворянскаго круга я, в свою очередь, тоже был новинкой, если и не заполнявшей улетучившееся содержаніе формы, то во всяком случаѣ вносившей нѣкоторое разнообразіе в застоявшуюся атмосферу. Об этом впрочем я подумал гораздо позже, начитавшись безчисленных послѣвоенных мемуаров: оригинальное взаимодѣйствіе, какое-то chassez-croisez ярко обнаружилось, когда война безцеремонно сокрушила установленную размѣренность, ритм быта, а в госпиталях столкнулись верхи населенія с низами, на конференціях встрѣтились старые дипломаты с неопытными новичками, и большевики старались удивить мір отлично сшитыми фраками, а гр. Чернин разсказывает, как импонировал ему Троцкій своим пренебреженіем к выработанным условностям.

Проводили меня в день отъѣзда нѣсколько членов суда во главѣ с Давыдовым и разстались мы только на вокзалѣ при отходѣ поѣзда. Испытывая сильную усталость, я надѣялся тотчас же заснуть на пріятно укачивавшем диванѣ, но расчет споткнулся о возбужденіе послѣдних шумных дней, прощальное шампанское разгоняло сон, и хаос мыслей тѣсно обступил меня. Отвязаться было невозможно, я почувствовал себя теперь в полной их власти и должен был сдаться, несмотря на органическое отвращеніе к бухгалтеріи. Дебет получался весьма внушительный: способность противостоять окружающей обстановкѣ несомнѣнно была ослаблена, я прельстился легкой, беззаботной жизнью, пріобрѣл вкус к чревоугодію, научился понимать и цѣнить тонкій букет вина и поддался головокруженію от успѣха, зависѣвшаго больше всего от случая и капризов судьбы. Я защищался, увѣряя самого себя, что здѣсь не было увлеченія, а просто интересно было понаблюдать и изучить дотолѣ невѣдомую любопытную среду, вспоминал, что для упражненія воли отказался от куренія, но все же не мог отрицать, что погруженіе в эту жизнь доставляло удовольствіе, а то даже и возбуждало вспышки зависти к возможности так жить. Да, оспорить дебет было трудно и утѣшаться оставалось только тѣм, что теперь все это уже позади, что я во время опомнился и, выскочив из разслабляющей ванны, добровольно вступаю на путь, который розами усыпан не будет. Напротив, я был убѣжден, что в министерствѣ сосредоточена элита судебнаго вѣдомства, отбор способностей

и талантов, среди них тульским Савиньи никого не удивишь! С чѣм же я ѣду туда, в чем мой актив? Тульскій суд оказался превосходной практической школой, и написанныя мною тысячи полторы рѣшеній по разнообразнѣйшим гражданским спорам выработали здоровое юридическое мышленіе, способность к правильному анализу и отчетливому выдѣленію сущности спорнаго правоотношенія. А обслѣдованіе состоянія правосудія для комиссіи Муравьева дало в руки новое оружіе против опасной проповѣди Боровиковскаго о приспособленіи стараго закона к измѣнившимся запросам жизни, и этим оружіем я потом усердно в «Правѣ» боролся. Быть может, тульская школа впервые заронила в сознаніе мысль об юридическом органѣ, которая через два года, неожиданно для меня самого, и осуществилась. Но это предположеніе возникает только теперь, задним числом, а тогда усталость постепенно брала свое, дебет и кредит стали безпорядочно перемѣшиваться и в итогѣ опять получалось: «пустяки! Все образуется». И я заснул с мыслью, что вот вѣдь в Тулѣ и образовалось главное: перед моим отъѣздом в судѣ состоялось рѣшеніе об усыновленіи Сережи, и в карманѣ лежало, за подписью Мотовилова, судебное метрическое свидѣтельство, передававшее ему мою фамилію.

МИНИСТЕРСТВО.

(1896—1903).

Первое появленіе в скромном, ничѣм не выдѣляющемся зданіи на углу Екатерининской и Итальянской улиц ознаменовалось сюрпризом, не меньшим, чѣм первое пробужденіе в Устьсысольскѣ. Пенсіонная часть, в которую я был назначен, включена была в «распорядительное отдѣленіе» и, когда я пришел представиться начальству, то увидѣл пред собой маленькаго пожилого, тощаго человѣка с некрасивым, но ласковым лицом и довольно замѣтным еврейским акцентом. Неужели же в центральном вѣдомствѣ министерства начальник отдѣленія — еврей? Эффект еще усиливался явным сходством с покойным отцом. И как же случилось, — недоумѣнно спрашиваю себя, что меня именно к нему назначили, не опасаясь, что он будет мирволить соплеменнику? Я долго не вѣрил глазам, думал, что это просто игра природы, пока, нѣсколько сблизившись с сослуживцами, не узнал, что Яков Маркович Гальперн дѣйствительно еврей и некрещеный. Их только и оставалось тогда двое — он и Я. Л. Тейтель, но этот застрял на должности провинціальнаго судебнаго слѣдователя и лишь к концу своей карьеры стал членом окружнаго суда, а Гальперн свыше 40 лѣт прослужил в центральном вѣдомствѣ, досидѣлся до должности вице-директора, имѣл звѣзду и

красную ленту и вышел в отставку уже при Щегловитовѣ, превратившем суд в капище беззаконія. Яков Маркович, родом из Вильны, происходил из бѣдной семьи и всѣм был обязан своему трудолюбію, исключительной добросовѣстности и высокой честности и порядочности. Слово «безобиднѣйшій» принадлежит к числу тѣх, которые необдуманно щедро расточаются, но Гальпери, я увѣрен, мухи в долгой жизни своей не обидѣл, и не было основанія опасаться, что будет мнѣ мирволить, потому что он ко всѣм вообще относился благожелательно, и рѣшительно никто не мог отказать ему в уваженіи, а кто ближе знал его, искренне любил. И ко всѣм поступавшим в отдѣленіе прошеніям он относился со вниманіем и сердечностью, и всѣ эти качества дѣлали его в министерствѣ чудаком, ибо здѣсь было настоящее бумажное царство, и культ стилистики в значительной мѣрѣ поглощал интерес к содержанію бумаги. Помню — я докладывал Манухину проект отзыва нашего министерства на выработанный министерством финансов законопроект об артелях. Манухин был доволен работой, все похваливал, но считал нужным внести нѣкоторыя стилистическія поправки. Замѣняя одно выраженіе другим, он пріостановился: « а позвольте, не издержали ли мы уже этого слова?» Нельзя было дважды на одной страницѣ то же слово употребить и, чтобы такого несчастья не случилось, самая пустячная бумага проходила через нѣсколько рук. Мнѣ, например, нужно было сочинять отвѣты в родѣ слѣдующаго: «на прошеніе вдовы тайнаго совѣтника Имярек, по приказанію его высокопревосходительства г. министра юстиціи, сим объявляется, что ходатайство об опредѣленіи сына ея на казенную вакансію в Императорское Училище Правовѣдѣнія оставлено без удовлетворенія». Такой отвѣт поступал к дѣлопроизводителю, вносившему свои поправки: он переставлял нѣкоторые слова, «ходатайство» замѣнял «прошеніем» и наоборот, вмѣсто — оставлено без удовлетворенія — писал «без послѣдствій», или прибавит: «за неимѣніем свободных вакансій и т. д. От дѣлопроизводителя бумага переходила к начальнику отдѣленія, который тоже вносил поправки, иногда возстановляя прежній текст, и возвращалась для переписки начисто и составленія препроводительной бумаги для доклада министру или товарищу. В переписанном видѣ отвѣт вновь поступал ко мнѣ для провѣрки и затѣм продѣлывал прежній путь, а начальник отдѣленія представлял директору или вице-директору, который уже докладывал министру. Кромѣ того, для вящаго сохраненія незыблемости традицій «архиваріус» — старая канцелярская крыса —, кладя на мой стол порученное начальством для отвѣта прошеніе, должен был еще приложить «примѣрное» (т. е. аналогичное) дѣло, которым и надлежало строго руководствоваться. Отнюдь не слѣдует думать, что вносимыя поправки должны были только доказывать усердіе и оправдывать получаемое по службѣ содержаніе и чины, нѣт! среди однозначущих выраженій, из которых профан беззаботно готов был бы выбрать любое, в бюрократической практикѣ каждому довлѣла своя интонація и нужно было имѣть особый нюх, чтобы найти для данной тайной совѣтницы надлежащее выраженіе: как звѣзда от звѣзды, и тайныя совѣтницы разнствуют.

При назначении пенсій чиновникам выработался своеобразный, предвосхищавшій тенденцію Боровиковскаго порядок. Установленные устарѣлым законом, времен очаковских и покоренья Крыма, оклады пенсій давным давно уже отстали от реальной стоимости жизни и теперь стояли в рѣзком несоотвѣтствіи даже с потребностями полуголоднаго существованія: высшій оклад за 35-лѣтнюю службу составлял 428 рублей в год и обрекал бы и самаго крупнаго сановника буквально на нищенское прозябаніе. Никакого труда не стоило бы в законодательном порядкѣ приноровить отжившіе свой вѣк оклады к новой экономической обстановкѣ. Но вмѣсто того, чтобы издать закон. обезпечивающій чиновнику на старости лѣт опредѣленныя требованія к государству, бюрократія не упустила случая расширить предѣлы своего усмотрѣнія: по соглашенію с министерством финансов в комитет министров вносились представленія о назначеніи, в видѣ исключенія, усиленных пенсій, достигающих пяти тысяч рублей в год, и такія исключенія превратились в правило — законная пенсія назначалась лишь захолустным чиновникам, незнавшим о практикѣ усиленных выдач, страдали, как полагается, слабѣйшіе. А размѣр усиленных пенсій опредѣлялся в зависимости от благоволенія начальства, от связей просителя и т. п. Затѣм «положеніе» комитета министров представлялось при всеподданнѣйшем докладѣ на утвержденіе государя. Изготовленіе докладов царю составляло интенсивную, углубленную напряженнѣйшим вниманіем часть работы. Это было настоящее священнодѣйствіе. В десять рук разсмотрѣнный и исправленный, доклад — нерѣшительно, не просмотрѣть ли еще раз, — сдавался наконец в переписку особым каллиграфам. Пишущая машинка только еще входила в употребленіе, но пользованіе ею для всеподданнѣйших докладов считалось недопустимым. Два чиновника вслух свѣряли изображенную на толстой веленевой бумагѣ рукопись. Тѣм же порядком свѣрял ее начальник отдѣленія с помощником, затѣм, при особой препроводительной бумагѣ, доклад представлялся директору и товарищу министра, которые, тоже с изощренным вниманіем, его читали и отмѣчали свое участіе на препроводительной бумагѣ. Наконец министр, одобрив доклад, отчетливо выводил под ним свою подпись, чтобы назавтра отвезти в Царское Село или Петергоф. И тѣм не менѣе — у семи нянек дитя без глазу — случались комическія описки. Какая была паника, сколько запоздалой тревоги, когда однажды, на благополучно вернувшемся от государя докладѣ, увидѣли, что перед подписью стоит: «за министра товарищ финистра». На первой страницѣ доклада царь писал, обычно цвѣтным карандашем, свою резолюцію, или, большей частью, ограничивался небольшой косой чертой между двумя точками (парафа), означавшей, что он ознакомился с докладом. По возвращеніи с аудіенціи министр под упомянутой чертой писал: «собственной его императорскаго величества рукой начертана парафа (или — такая то резолюція) в Царском Селѣ такого то числа», а самая парафа или резолюція покрывалась лаком и доклад передавался в архив для храненія на правах реликвіи. Послѣ японской войны предположено было вычеканить медаль для участников — на одной сторонѣ медали значилась надпись: «да вознесет тебя Господь!» Государь счел болѣе

умѣстным отложить чеканку медали н выразил это в резолюцін словами: «в свое время». Миннстерство же поияло, что государь желает прнбавить зти слова к проектироваиной надпнси н медаль была отчекаиеиа со словами: «да вознесет тебя Господь в свое время!» Медаль уже сталн раздавать участ-ннкам войны, когда министерство спохватилось и стало ее отбнрать.

Переход от жнвой разнообразной работы в Тульском судѣ к бюрократнческой перепнскѣ с тайиымн совѣтницамн нельзя было воспрннять нначе, как издѣвательство, тѣм болѣе, что тогда я еще не зиал о скрытых педагогнческнх соображеніях Манухнна. Но иезавнснмо от личной обнды, вообще иельзя было не удивляться, что как раз там, гдѣ такое рѣшающее значеніе нмѣло юрндческое образованіе, с этнм ие считалнсь и даже члены суда не всѣ нмѣлн уннверснтетскій диплом, а здѣсь, напротнв, всѣ щеголяли уинверситетскими значкамн, однако, вопрекн монм провннціальиым представленіям, не только не хватали звѣзд с неба, но всѣ сослужнвцы по этому отдѣлеиію былн нже средняго уровня. Очень красочную фнгуру представлял дѣлопронзводнтель — сын царскаго кучера, женатый на богатой купчихѣ, могучій, краснощекій, кровь с молоком, считавшій себя иаверху блаженства, если ему удавалось получить билет в Михайловскій манеж иа военный развод в высочайшем прнсутствін. На другой день все служебное время занято было пережевываніем с другнм сослужнвцем, дворянином, но с неблагозвучной фамнліей Кушннннков, сладостиых впечатлѣній, вынесениых из общеиія с high life. Службу нашу иикак нельзя было назвать обремеиительной. До половнны второго дня миннстерство вообще являло пустыню. В Крыму я познакомнлся с большнм оригниалом, разорнвшнмся несмѣтным богачем князем Голицыиым, который разсказывал, что, пріѣхав одиажды в Петербург, он около полудня был в министерствѣ земледѣлія для свнданія с миннстром; иа него с удивленіем посмотрѣлн: «нх высокопревосходительство раньше двух часов ие будут». Киязь отправнлся иа квартиру Крнвошеина, но н там не был прнинят, потому что «нх высокопревосходнтельство почивают еще». Князь так был поражеи, что, спускаясь с лѣстннцы, во весь голос, а был он у него, как труба — кричал: «погибла Россія! в полдень министры спят еще!» А послѣ шести часов иачнналн уже собнраться домой, так что служба больше походила на five o'clock н всѣ интересы лежали виѣ ея. Я и нашел тотчас же дополнительное занятіе, с лнхвой возмѣстившее утрату тульской работы. Миннстр Муравьев задумал оживить никѣм нечитаемый оффнціальный орган «Журнал мниистерства юстнціи» и назиачнл редактором профессора В. Дерюжннскаго. Он горячо взялся за дѣло н, в свою очередь, прнгласил в сотруднкн иѣсколько молодых ученых, в том чнслѣ н моего кузеиа, обратившаго уже иа себя вннманіе профессуры и студенчества блестящей вступительной лекціей. А кузеи рекомеидовал редактору меня для постоянной работы, на которую я н набросился с жадностью: редакція получала большое колнчество лучшнх ннострааных юридическнх изданій — германскнх, австрійских, швейцарских, французскнх, — поступивших в полное мое распоряженіе н давших уму нзысканиую пнщу, какой мнѣ еще не приходилось отвѣдать. В Австріи, Германіи, Швейцаріи введены бы-

ли новые гражданскіе, матеріальные и процессуальные, кодексы, построенные в значительной мѣрѣ на началах, противоположных нашему X-му тому, и примѣненіе их на практикѣ представляло для Россіи сугубный интерес. Во Франціи, напротив, неизмѣнно царил кодекс Наполеона 1805 г., совсѣм уже не видный за воздвигавшимися вокруг него лѣсами кассаціонных рѣшеній, старавшихся приспособить его к существенным измѣненіям в соціальном укладѣ страны. Мнѣ кажется, что окаменѣлость наполеоновских кодексов служит грозным обвинительным актом против революціи, наносит ей coup de grâce, поскольку революція ищет оправданія в ударных темпах, в необычайном ускореніи, пусть болѣзненными, толчками хода развитія страны. Если это и так, то судьба кодекса 1805 г., остающагося до сих пор дѣйствующим закoном, свидѣтельствует, что ударные темпы потом компенсируются чрезмѣрно долгим и прочным застоем на многіе десятки лѣт, в теченіе которых ускоренныя завоеванія революціи могли бы осуществиться нормальными темпами, и что, таким образом, болѣзненные толчки и во времени никакого выигрыша не дают. В то время, как во Франціи, послѣ революціоннаго напряженія, кодекс Наполеона застыл больше чѣм на столѣтіе, не только в республиканской Швейцаріи, но в императорской Германіи и Австріи изданы были новые законы на новых соціальных основах и даже в самодержавной Россіи урегулировано было, например, положеніе внѣбрачных дѣтей, а во Франціи так и стоит незыблемо запрещеніе разыскивать отцовство, замужняя женщина ограничена в дѣеспособности и т. п.

Сопоставленіе юриспруденціи различных государств и противопоставленіе ея нашей судебной практикѣ давало неистощимый увлекательный матеріал, и в Журналѣ стали появляться ежемѣсячные обзоры, для которых я старался выбирать темы, имѣющія животрепещущее значеніе для нас и, в качествѣ новинки, привлекшія вниманіе юристов и послужившія толчком к созданію «Права». Но случилась и курьезная характерная непріятность: А. Ф. Кони выпустил блестящую монографію о докторѣ Ф. П. Гаазѣ, имя котораго давно было забыто, а нашему поколѣнію и совсѣм неизвѣстно. Кони своей книгой, лучшей из всего его богатаго литературнаго наслѣдства, воздвиг нерукотворный памятник подлинному герою, вся жизнь котораго буквально исчерпывалась самоотреченіем, самопожертвованіем и беззавѣтной любовью к обездоленным. Послѣ появленія моей рецензіи на эту замѣчательную книгу Дерюжинскій огорченно сообщил, что он «получил выговор от министра»: «Кони, сказал ему Муравьев, открыл новаго святого, а Гессену хочется канонизировать и Кони. Надо бы больше сдержанности и такта». Они были непримиримыми соперниками, никак не могли подѣлить между собою славы. Муравьеву несомнѣнно принадлежала пальма первенства в ораторском искусствѣ, он был оратором в истинном значеніи слова, дѣйствовал на слушателей, как пѣвец, самым произнесеніем рѣчи, независимо от ея содержанія. У Кони центр тяжести лежал именно в содержаніи, заботливо построенном и ароматно насыщенном умѣло подобранными яркими цитатами из разных авторов. Помню шаблонную рѣчь Муравьева по какому то торжественному случаю перед чинами министерства, у которых волнующія

трепетныя модуляціи голоса невольно вызывали слезы, и точно также помню «открытое письмо» Кони к тому же Дерюжинскому на приглашеніе сотрудничества в другом оффиціальном журналѣ «Дѣтская Помощь», издававшемся под покровительством государыни. 15 страниц отвѣта на это приглашеніе представляли прелестный букет цвѣтов человѣческаго глубокомыслія и остроумія, и изумительное их сочетаніе выдавало высокое художественное чутье садовника. А письмо всего то и имѣло задачей выяснить препятствія, мѣшающія принять «лестное приглашеніе», и заканчивалось приблизительно так: «если же мое обстоятельное извиненіе заставит вас, многоуважаемый редактор, вспомнить слова Гейне, что не пишут так пространно рѣшительный отказ, я не рискну настаивать, что память подсказала их некстати». У обоих соперников был один и тот же недостаток, который каждый видѣл только в другом — у Муравьева нѣкоторая напыщенность тона, у Кони замѣтная вычурность построенія.

Постоянная работа в Журналѣ имѣла для меня и матеріальное значеніе, удваивая гонораром болѣе чѣм недостаточное жалованье — что-то около ста рублей. Незадолго перед моим назначеніем в Петербург жена добилась наконец развода, и мы обвѣнчались, обзаведясь сразу большой семьей — четырьмя сыновьями, так что, даже вмѣстѣ со средствами жены, нам хватало лишь на самую скромную жизнь. Первое лѣто было нелегное — мы поселились под Ораніенбаумом, откуда ежедневно приходилось трястись на службу, и дорога отнимала часа четыре. Всѣх сыновей я должен был подготовить к гимназическому экзамену, который они и выдержали очень удачно, а на меня СПБ. Первая гимназія, знакомство с внимательным, вдумчивым директором Груздевым произвело впечатлѣніе, всколыхнувшее недобрыя воспоминанія об одесской школѣ и вызвавшее чувство зависти, что я не родился на двадцать лѣт позже. Трудность положенія усложнялась еще неожиданной напастью — судорогами кисти правой руки, которыя мѣстный невѣжественный врач угрожающе діагносцировал, как неизлѣчимый писчій спазм. Но осенью, когда мы переѣхали в город, спеціалист невропатолог легко и просто избавил от непріятных страданій, рекомендовав похлопывать по мускулам тремя длинными резиновыми пальцами, связанными рукояткой.

Перемѣна климата и посѣщеніе гимназіи имѣли послѣдствіем частое заболѣваніе сыновей заразными болѣзнями — донимала их и свинка и корь и вѣтряная оспа и скарлатина. Каждый раз, как это случалось, мой начальник Любушкин, чадолюбивый отец многочисленнаго семейства, требовал, из опасенія заразы, перерыва моей службы, пока не будет произведена дезинфекція квартиры. Болѣзни, к счастью, протекали без осложненій и послѣ первых тревожных дней и ночей наступал спокойный досуг, требовавшій заполненія угрожающей душевными неожиданностями пустоты. В один из таких періодов мысль устремилась и сосредоточилась на шекспировском Гамлетѣ. Как бы хотѣлось, как важно было бы мнѣ вспомнить, когда залегла на душу блуждающая тѣнь датскаго принца, а я, даже и приблизительно, не могу сказать, когда впервые прочитал это геніальное произведеніе, которое потом перечитывал буквально сотни раз на всѣх доступных мнѣ языках

н сравнивал звучаніе фраз. Неловко признаваться, что иногда, во время мучительных размышленій о трагедіи принца, если взгляд нечаянно упадал на семейную фотографію н останавливался на прижавшемся к бабушкѣ мальчикѣ, мнѣ казалось, что он так не по дѣтски серьезно задумался и так далек от окружающаго безпечно веселаго настроенія — потому что его смущает мысль о безвинно несчастном героѣ Шекспира. Да, размышленія мои были и остались подлинно мучительными. Не было литературнаго образа, к которому я относился бы с такой страстностью, испарявшей всякое сочувствіе его страшной судьбѣ и порой переливавшейся в слѣпую ненависть. Все поведеніе Гамлета, в особенности его «слова, слова, слова» лично задѣвали, я воспринимал их, как вызов, н отвѣчал его же эгоцентрическим восклицаніем, обращенным к Лаэрту на похоронах Офеліи: «ты мнѣ на зло спрыгнул в ея могилу!» Но гораздо сильнѣй раздражали и — скажу — оскорбляли общія симпатіи, которыя образ его окружают на протяженіи трех вѣков с момента его появленія, такія симпатіи, что, как вѣрно отмѣтил Тургенев, «всякому лестно прослыть Гамлетом». А он сам, в предсмертную минуту, страшился запятнаннаго имени, которое по себѣ оставит, н умолял Горацію разъяснить, как и почему все случилось.

Шекспир был безжалостен к своему герою, познакомив нас с ним еще до появленія тѣни убитаго отца, возложившей на Гамлета тяжесть отмщенія, — непосильную, по мнѣнію критиков, для его «незнающаго компромиссов идеализма», «для гибельнаго избытка сердца» и т. д. Так ли это? Не является ли вмѣшательство Тѣни, раскрытіе тайны смерти отца — послѣдним даром благосклонной судьбы, ея сверхъестественным усиліем вернуть Гамлета к жизни? Ибо до появленія Тѣни он от жизни брезгливо отрекается: уже в первом своем монологѣ не находит слов, чтобы заклеймить ее, она и пошлая, и безсмысленная, и безцѣльная, тошнотворная. Одно у него желаніе — уйти из этого презрѣннаго, заросшаго сорными травами міра, и если он в нем против воли остается, то лишь потому, что Господь запретил грѣх самоубійства. Но обреченный жить, он мѣста себѣ не находит, да и не ищет его. В противоположность Лаэрту, который тотчас послѣ похорон настойчиво добивается у Полонія и короля разрѣшенія вернуться во Францію, Гамлет, которому так тягостна новая обстановка Эльсинора, не только без протеста, но «с величайшей готовностью» отказывается, по желанію короля и матери, от возвращенія в Виттенберг для окончанія образованія. Кто мог бы однако предположить, что с таким отвращеніем к жизни у Гамлета свободно сочетается страстная влюбленность: судя по разоблаченным автором письмам принца к Офеліи, любовь к ней всецѣло им владѣет. Об этом, впрочем, мы узнаем позже, а пока воспользуемся совѣтом самого же Гамлета — эту странность, как странника, гостепріимно укроем, и, удрученные его невыносимым душевным состояніем, повторим, что призыв Духа должен был осмыслить жизнь, заставить проснуться, загорѣться местью. Так оно и случилось — при первом же намекѣ на содѣянное королем преступленіе, Гамлет молит: «скажи скорѣй, и я на крыльях взмою к мести». Дух удовлетворен его готовностью, оговариваясь, впрочем, что ничего другого и ожи-

дать нельзя было: нужно быть безчувственнѣе жирных плевелов, гніющих на берегах Леты, чтобы не возмутиться услышанной вѣстью о предательском убійствѣ. Гамлет не таков, он внѣ себя от того, что Дух ему повѣдал, он все сотрет со страниц памяти, и «только твои слова, родитель мой, только твоя заповѣдь будет одиноко жить в книгѣ моего мозга, не смѣшиваясь с менѣе достойными вещами». Послѣднія слова Привидѣнія: «Прощай, прощай и помни обо мнѣ» Гамлет провозглашает своим лозунгом и предусмотрительно заносит его на записную доску. Увы! и это не помогает. Как только Дух исчезает, безсильно опускаются крылья, на которых он собирался взмыть к мщенію и, вмѣсто этого, Гамлет хватается за мысль надѣть на себя личину безумца и сыграть его роль — он уже ранѣе увѣрял королеву, что сыграть можно любую видимость. Рѣшеніе это не имѣет никакого отношенія к исполненію возложеннаго на него долга, напротив — даже и по мнѣнію наиболѣе рьяно идеализирующих образ принца, мѣшает осуществленію, но зато дает возможность — выражаясь вульгарно — распоясаться, освободить себя от оков условностей и обязанностей общежитія, противопоставить себя міру, в котором он и мечется, так сказать, безданно и безпошлинно. Играет он новую роль неважно — недаром Гораціо огорчает его заявленіем, что в актерской труппѣ больше половиннаго жалованья ему бы не дали, и король не сомнѣвается, что Гамлет лишь притворяется безумцем, но только не понимает, зачѣм он это дѣлает. Еще бы! С тѣх пор на эту тему спорят уже триста лѣт. Но и сам Гамлет не увѣрен в своей игрѣ, он пробует силы на зрителѣ наиболѣе довѣрчивом, на единственно дорогом ему существѣ, не задумываясь до смерти испугать возлюбленную Офелію искусственно растерзанным видом. Возлюбленную? Теперь он твердит ей, что никогда не любил, что не слѣдовало вѣрить ему. Когда же засим, случайно столкнувшись с похоронами Офеліи, он ни малѣйшаго укора совѣсти не испытывает, а думает лишь о том, что Лаэрт на зло ему спрыгнул в могилу, и силится перещеголять его подбором слов, выражающих скорбь, — то знаменитые «сорок тысяч братьев» могут быть приняты, как мѣрило словеснаго расточительства, неизбѣжно, как всякое расточительство, приводящаго к банкротству, — но не как отраженіе волнующих чувств. Больше об Офеліи он и не вспомнит! Да и вообще он ни о чем не в силах вспомнить, а только может словами непосредственно реагировать на все, что подвертывается на блуждающем пути его, не проявляя, с своей стороны, никакой иниціативы. Его просят не возвращаться в Виттенберг — он охотно соглашается, являются актеры — добро пожаловать, посылают его в Англію — ѣдет, зная, что отдаляется от цѣли и рискует жизнью, встрѣча с могильщиками уводит в тупик разсужденій о суетѣ сует, никаких колебаній, несмотря на тяжелыя предчувствія, не вызывает предложеніе состязаться с Лаэртом на рапирах, и он готов выиграть для короля заклад — так безпомощно мечется он по зигзагам развертывающихся событій, пока автор, убѣдившись, что ничего другого ждать нельзя, не кладет этому насильственный конец.

Такое поведеніе меньше всего способно привлечь симпатіи и служить канвой для трагедіи, но она раскрывается во всей своей бездонности, когда,

чѣм дальше, тѣм настойчивѣе тот или другой зигзаг напоминает о священном долгѣ, и Гамлет весь пронизан мучительным сознаніем, что давно слѣдовало завѣт мести осуществить, и не может превозмочь своей дремоты, или, выражаясь термином нашего геніальнаго ученаго — «торможенія». Поэтому на людях, в общеніи, в бесѣдѣ с другими Гамлет считает себя выше всѣх окружающих, таким Шекспир его и представляет — его умственный горизонт безпредѣлен, никто другой в трагедіи не волнуется загадкой жизни и тайной смерти, он «разсматривает вещи, как говорит Гораціо, слишком подробно» и ужасается, что втулка пивной бочки может быть замазана прахом Александра Великаго. Но когда Гамлет остается сам с собою, один на один, он безжалостно себя бичует, честит трусом, злодѣем, презрѣнным рабом, ставит роковой вопрос, «зачѣм живу, чтоб только говорить: «свершай, свершай!» И, истерзанный безплодными поисками отвѣта, обманывает себя разными фиктивными объясненіями, в которыя сам не вѣрит: «Дух мог быть сатана», «отомщу ли я, убив его (короля) за молитвой?» Тургенев считает Гамлета эгоистом — это вѣрно, потому что все, что кругом происходит, ему безразлично: «ничто ни хорошо, ни дурно само по себѣ», он ничего не ощущает, кромѣ себя самого. Но и невѣрно, потому что и себя он глубоко презирает, рад бы «укрыться в орѣховой скорлупѣ и считал бы себя в ней королем необъятнаго пространства, еслибы не злыя мои сновидѣнія».

Но мало того, что он не исполняет велѣнія Духа, он поступает наперекор ему: заповѣдуя отмстить дядѣ, Дух категорически запрещает брать на себя роль судьи над матерью: «ее предоставь небу и угрызеніям своей совѣсти». С таким намѣреніем Гамлет и отправляется на зов королевы в ея покои, мимоходом представляется возможность «легко совершить» убійство короля, но еще легче, двумя тремя силлогизмами, Гамлет — в который уже раз — откладывает выполненіе, зато градом безжалостных упреков доводит мать до такого изнеможенія, что Дух вынужден вновь явиться, чтобы прекратить словесное буйство и воспламенить угасшій замысел. Напрасно! Даже загробный голос может вызвать, хотя и болѣе яркій, но тоже безслѣдный рефлекс. Как только Дух исчезает, так опять подходящія к случаю слова, цѣпляясь одно за другое и таща за собой все болѣе грузныя и издѣвательскія, неудержимо свергаются с языка, как у актеров, которые, по остроумному замѣчанію Гамлета, «ничего не могут сохранить в тайнѣ, непремѣнно все выболтают». Да он и есть актер! Не чувствуя органической связи с міром, противопоставляя себя міру и обреченный в нем жить, Гамлет, за невозможностью замкнуться в орѣховой скорлупѣ, не сопричащается жизни, а играет роль. Разница между ним и актером та, что послѣдній проработал и выучил роль, подсказанную автором, а Гамлет, как в Comedia dell'arte, импровизирует на сюжет с весьма неопредѣленными зигзагами. У него нѣт никаких основаній удивляться и завидовать актеру, который, при исполненіи роли, блѣднѣет и слеза дрожит в глазах и голос срывается, хотя «что он Гекубѣ, что она ему». Вѣдь Гамлет и сам «измѣнился в лицѣ и плачет», слушая монолог актера, который, однако, дальше этого не пойдет, точно также

как и Гамлет. Потому то, когда появленіе Духа дает новый мощный толчек отчужденію от «презрѣннаго міра», первая мысль — притвориться безумцем: новый головоломный зигзаг сюжета требует новаго сильнаго напряженія для импровизаціи и Гамлет инстинктивно стремится облегчить свою задачу — с безумца взятки гладки! Чѣм дальше сюжет развертывается, тѣм все больше и блѣдность, и слезы и дрожаніе голоса отрываются от внутренняго содержанія своего и становятся видимостью, сливаясь со сценической бутафоріей. Послѣдній штрих накладывает привычка, которая, по мѣткому замѣчанію Горацію, и могильщика дѣлает равнодушным к его занятію. Чуждые и безразличные к міру, Гамлеты несут ему, независимо или даже против своих намѣреній, несчастье и скорбь: прежде чѣм принц, за минуту до своей смерти, убивает наконец короля, от его руки — прямо или косвенно — успѣл погибнуть Полоній, сошла съума и утопилась Офелія, пошли на казнь два друга, умерла мать и Лаэрт. Ужасно это зрѣлище «торжества гордой смерти в ея вѣчных чертогах», но она положила конец еще болѣе страшной участи живого Гамлета, осужденнаго на Сизифову борьбу наединѣ с самим собою. Понятно поэтому предсмертное опасеніе Гамлета, что он оставит по себѣ запятнанное имя, и развѣ не прав он, говоря, что в его безсвязных необузданных словах таится «клянусь Св. Патриком, обида страшная», обида всему человѣчеству. Если же, тѣм не менѣе, имя датскаго принца привлекает общія симпатіи и даже окружается ореолом, то не свѣтится ли ореол этот отраженными лучами самоутѣшенія и самооправданія? Может ли быть иначе, если являешься судьею в собственном дѣлѣ?

Одновременно с появленіем Гамлета, в том же году в Испаніи вышло в свѣт другое геніальное произведеніе — Дон Кихот Сервантеса. Это — дѣйствительно знаменательное совпаденіе, как указывает Тургенев. Но не потому, что Дон Кихота можно противопоставить Гамлету, а потому что фигура рыцаря печальнаго образа является карикатурой на принца датскаго. Дон Кихот точно также чужд презрѣнному міру, как и Гамлет, но он от этого не страдает, потому что на него вліяніе слов уже так безмѣрно велико, что с их помощью он преодолѣвает дѣйствительность, преображает весь мір и в этом преображенном мірѣ дѣйствует. Как для Гамлета, реальность и для Дон Кихота не представляет ничего ни худого ни хорошаго, он ее сбросил со счетов и уже не видит. Каждое движеніе его, каждый жест безапеляціонно подсказан словами рыцарских романов, а расхожденіе между окаменѣвшими словами и неугомонно мчащейся вперед жизнью то и дѣло создает недоразумѣнія, которыя разрѣшаются колотушками и всякими другими непріятными послѣдствіями для героя. Но чѣм бы и как бы печально ни кончился требуемый романами «подвиг», Дон Кихот побѣдоносно превозмогает боль и разсѣивает огорченія — опять таки словами романов, установленными для окончанія рыцарских подвигов. Le mort saisit le vif, ритуал совершенно вытѣсняет жизнь. Едва ли можно усмотрѣть комплимент джентльмену в словах какого-то англійскаго лорда, на которыя ссылается Тургенев: «Дон Кихот, сказал лорд, образец настоящаго джентльмэна». А если обмѣнять мѣста подлежащаго и сказуемаго и сказать: настоящій

джентльмен по существу Дон Кихот, он весь во власти общественных условностей и заученных слов!

Свои еретическія мысли я изложил в обширной статьѣ и отдал для напечатанія в журнал «Начало». Так искренне я был увѣрен в правильности своей оцѣнки и выводов и так остро поэтому переживал отказ редакціи, что не имѣл мужества возобновить попытку, а впослѣдствіи В. И. Качалов, собираясь выступить в Худ. театрѣ в роли Гамлета, заинтересовался моей статьей, у него она и погибла. Сейчас же у меня совсѣм нѣт увѣренности, умѣстно ли бередить память напоминаніем об изнурительном волненіи, которое вызывала работа над проблемой Гамлета, да еще вклинивать разсказ этот в безмятежную обстановку министерскаго прозябанія. Сомнѣнія подкрѣпляются еще и тѣм, что, несмотря на большія усилія, сдѣланное изложеніе (оно представляет уже четвертый варіант) мало удовлетворяет, чувствую в нем что то недоговоренное, а досказать не могу.

Быть может, удастся подойти окольным путем, если вспомнить об одном незаурядном эпизодѣ, случившемся лѣт двадцать спустя. Это было в 1919 г. в Гельсингфорсѣ, гдѣ, с двумя младшими сыновьями, мы жили, так сказать — на бивуаках, в тщетном ожиданіи взятія Петербурга генер. Юденичем. Выброшенные из школьной колеи и томясь бездѣльем, сыновья стали развлекаться парусным спортом в сообществѣ еще нѣскольких юношей. Жена неоднократно просила запретить им кататься по коварному заливу, но, хоть я и тревожился опасеніями и напряженно ждал возвращенія дѣтей с прогулок, не рѣшался, в угоду своему спокойствію, лишить их единственнаго удовольствія. Однажды, в пасмурный вѣтреный день — это было 8 іюня — они впятером выѣхали в море, а мы с женой отправились в министерство иностр. дѣл за полученіем финской визы для оставшихся в Петербургѣ пасынков. Вернувшись домой, мы у подъѣзда встрѣтили, к душевному облегченію, старшаго сына. В увѣренности, что и младшій с ним вернулся, я уже беззаботно спросил, гдѣ же он, и совершенно неожиданно получил в отвѣт: «ты не волнуйся! он спасен!» Оказалось что, вернувшись благополучно впятером, трое, в том числѣ и младшій сын, вновь пошли на парусах, при неудачном поворотѣ руля лодка сильно накренилась, зачерпнула много воды и пошла ко дну, а юноши стали барахтаться на поверхности. Всю эту сцену видѣл старшій сын, смотрѣвшій из окна в цейсовскій бинокль, бросился на берег вдвоем с пріятелем, схватился за какую то дырявую лодку и силился столкнуть ее в воду. Но как раз в этот момент подошел англійскій крейсер (иностранные военные корабли то и дѣло появлялись тогда в финских водах), быстро спустил шлюпку, которая, увы! неловко толкнула одного из тонувших и он пошел ко дну, а затѣм спущен был еще катер, который и подобрал сына и его товарища по несчастью. Оба были доставлены на крейсер, гдѣ им оказана была идеальная медицинская помощь, и затѣм отвезены на берег, гдѣ мы уже часа два ожидали их с нетерпѣніем. Гибель одного из юношей, омрачавшая благополучный исход, заставляла еще острѣе чувствовать чудесное спасеніе сына, но радости вообще не было. Меня вдруг захватили и закружили тѣ ощущенія, которыя, как я себѣ пред-

ставлял (вѣроятно — неправильно), должны были испытывать сыновья — один, видя, как тонет брат, другой — очутившись лицом к лицу с призраком смерти. В теченіе нѣскольких суток эти страшныя ощущенія ни днем ни ночью не давали покоя, я не мог вывести их из сознанія и чувствовал себя совсѣм разбитым. Когда же они постепенно стали улетучиваться, начал мучить вопрос, что, собственно, со мной произошло, почему до сих пор еще ни разу не приходилось испытывать такое болѣзненное состояніе? Развѣ мало видѣл я горя и несчастій, развѣ судьба щадила меня от чувствительных ударов? Развѣ не случалось изнемогать от тяжести страданій? Да, но это было именно давленіе извнѣ. Как бы чувствительно оно ни воспринималось, даже вплоть до самоубійства, воспріятіе не одноименно, не тождественно с причиной, его вызвавшей, а является передаточным, вродѣ того как тепловая энергія превращается в движеніе. В данном же случаѣ было какое то душевное зараженіе, не давленіе извнѣ, а проникновеніе внутрь, воспроизведеніе чужих ощущеній, безпримѣсный альтруизм. Быть может, такія передаточныя ощущенія страшнѣе подлинных, потому что они не ослабляются противодѣйствіем, инстинктом самосохраненія, которому здѣсь нечего дѣлать. Мнѣ и кажется, что если бы переживаніе было явленіем не исключительным, а обычной реакціей, жизнь — в этой юдоли скорби — превратилась бы в сплошную непереносимую муку. Другое дѣло — давленіе извнѣ, которое может быть отражаемо выдыханіем слов и разжижаемо горючими слезами, у многих пользованіе этими орудіями доводится до такого совершенства, что не только безслѣдно парализует давленіе, но вызывает даже нѣкое умиленіе собственным мастерством. При изученіи обширной литературы о Гамлетѣ я допустил промах — не прослѣдил, как вліяла на отношеніе к образу датскаго принца смѣна исторических эпох, переход от одного міровоззрѣнія к другому. Взять напр., наши сороковые годы прошлаго столѣтія, бывшіе торжеством слова. Неудивительно, что Бѣлинскій был горячим апологетом Гамлета, а Герцен так исповѣдывался невѣстѣ в своем прегрѣшеніи: «когда кончился наш разговор, за которым я *пять* раз утирал пот, я пришел в свою комнату блѣдный, руки дрожат, грудь налита огнем, даже глаза сдѣлались мутны». Нельзя же предположить, чтобы, в столь взволнованном состояніи, Герцен отмѣчал в памяти каждое обращеніе к платку, чтобы утирать пот, и провѣрил перед зеркалом, каково было выраженіе его глаз и цвѣт лица. Нельзя также предположить, что он сознательно писал невѣстѣ неправду. Нѣт! он автоматически выхватил из своего богатѣйшаго запаса тѣ слова, которыя в таких случаях употребляются для отраженія давленія, а написав их, сам убѣдился, что таково воздѣйствіе на него и было.

Чѣм больше увлекала проблема Гамлета, тѣм явственнѣй я ощущал прорѣхи в научной подготовкѣ и образованіи. Заполнять их теперь было поздно, и тѣм тягостнѣе было, послѣ возбужденных перерывов, возвращаться в свою «пенсіонную часть» и опять корпѣть над писаніем «по приказанію его высокопревосходительства. . .» Однако, осенью и в нашей богоспасаемости произошла сенсація и притом по случаю, меньше всего, казалось бы,

для этого подходящему. На очереди стал вопрос о преобразованіи сенатской типографіи, обслуживающей Сенат и министерство: нужно было составить об этом представленіе в Гос. Совѣт — реформа требовала законодательнаго порядка. Прежде всего бросились, конечно, искать «примѣрное дѣло», но никакого прецедента не нашлось, и архиваріус растерялся и загрустил, точно потерял жену или ребенка. Гальперн возложил составленіе проекта представленія на меня, причем, в виду сенсаціонности задачи, я был освобожден от всѣх других обязанностей и, таким образом, оказался в привилегированном положеніи среди сослуживцев. Работу я выполнил, конечно, с большой тщательностью, позаботился, чтобы «издержанныя» слова не кололи вторично сановных глаз, и представил, уже без посредничества, прямо высшему начальству. Прошло нѣсколько мѣсяцев, я уже забыл об этом инцидентѣ среди однообразной скучнѣйшей работы, как вдруг в нашем помѣщеніи появился директорскій курьер и, к величайшему смущенію моему и изумленію сослуживцев, потребовал меня к директору департамента. Такое приглашеніе чиновника в моей скромной должности совершенно опрокидывало твердые устои чинопочитанія, все равно как еслибы на придворную церемонію приглашен был «неимѣющій пріѣзда ко двору». Смущеніе было поэтому вполнѣ понятно, но я совсѣм растерялся, когда Н. Э. Шмеман, посапывая носом, в большой ажитаціи бросился ко мнѣ навстрѣчу, лишь только я открыл двери кабинета, крѣпко пожал руку, обнял и стал горячо благодарить за то удовольствіе, которое доставило «Николаю Валерьяновичу и мнѣ обсужденіе вашего законопроекта в Государственном Совѣтѣ, откуда мы сейчас вернулись. Оно прошло без сучка, без задоринки». Такой случай дѣйствительно представлялся большой рѣдкостью. Одной из наиболѣе ярких черт режима в то время была междувѣдомственная рознь. Каждое министерство старалось оттягать что-нибудь у другого, расширить предѣлы своей компетенціи за счет другого. Гр. Коковцев разсказывает в своих воспоминаніях об упорной борьбѣ за сохраненіе в лонѣ министерства финансов дворянскаго и крестьянскаго земельных банков, которые Кривошеин, при поддержкѣ Столыпина, стремился оттягать в министерство земледѣлія. Такая же борьба разгорѣлась между министерством юстиціи и внутренних дѣл из-за тюремнаго вѣдомства, которое Муравьеву удалось перевести в министерство юстиціи, и каждая такая удача оцѣнивалась как побѣда над противником. Каждый законопроект любого министерства давал другому повод подсидѣть, раскритиковать, вообще причинить какую-либо непріятность, и отношенія между вѣдомствами казались злой пародіей на «войну всѣх против всѣх». Это мое наблюденіе встрѣтило авторитетное подтвержденіе со стороны одного из самых видных столпов режима, С. Крыжановскаго, человѣка большого ума и разносторонняго образованія. На допросѣ в чрезвычайной слѣдственной комиссіи временнаго правительства Крыжановскій оказался единственным сановником, имѣвшим мужество не отрекаться от того строя, которому он служил, и все же вынужден был категорически заявить: «насколько я видѣл собраніе министров, объединявшихся в комитеты, совѣты и совѣщанія, это было не что иное, как собранія враждующих

сторон. Это была постоянная борьба, постоянная грызня друг с другом. С разных точек зрѣнія разные люди подходили к желанію сосредоточить в своих руках возможно большую власть и стать, в понятіи того времени, первым министром». Если мнѣ лично так повезло, если проект преобразованія сен. типографіи прошел без обычных аксессуаров, то счастливое исключеніе объяснялось либо нежеланіем ломать копья на таких пустяках, либо предстоявшим генеральным сраженіем на территоріи преобразованія судебных уставов, но—так или иначе—случайной причиной, лежавшей внѣ содержанія проекта. Я почтительно поклонился, Шмеман вновь пожал мнѣ руку, но в избыткѣ праздничнаго настроенія, уже на прощанье, вдруг спросил: «а почему вы сидите на пенсіях?» Я отвѣтил, что однажды уже был смущен таким вопросом и что снова могу лишь сказать — туда меня посадили. И опять тот же отвѣт: «ну, ладно, посмотрим!» и через нѣкоторое время я и был переведен в юрисконсультскую часть, считавшую себя солью земли.

Здѣсь сосредоточивались наиболѣе сложныя дѣла, разрабатывались важнѣйшіе законопроекты, сюда поступали проекты других вѣдомств, на которые требовался отзыв министерства юстиціи, а в этих отзывах, как сейчас сказано, министерство видѣло важнѣйшее свое призваніе, здѣсь составлялись «шпаргалки», т. е. матеріал для выступленія министра и товарища в Государственном Совѣтѣ и различных междувѣдомственных совѣщаніях. здѣсь состояла и консультація, о которой уже выше упомянуто. Посему чины юрисконсультской части и считали себя привиллегированными, аристократіей министерства. это был и питомник министров и товарищей — Манухин. Щегловитов. Веревкин, всѣ прошли через юрисконсультскую службу, а иные вообще продѣлывали всю карьеру в ея стѣнах. Послѣднему кандидату Мордухай-Болтовскому неожиданно помѣшала революція, но он сумѣл занять видное положеніе и в совѣтском режимѣ. Быть может, легкость приспособленія и объясняется отчасти тѣм. что содержаніе вообще отступало на задній план перед формой. перед словесностью. Однажды Веревкин сказал мнѣ: «это представленіе в Государственный Совѣт нужно изготовить в спѣшном порядкѣ. Пожалуйста, поменьше глубокомыслія. замѣните его словесной водицей». Но и в этом святилищѣ вся работа ложилась на двух-трех человѣк — толковых юристов один — другой имѣли и ученую степень, а большинство обязано было своим связям, и например. один красавец сербскаго происхожденія. имѣвшій и придворное званіе, самаго простенькаго проекта написать не был в состояніи. На зато он имѣл абонементное кресло перваго ряда на балетныя представленія в Маріинском театрѣ, а попасть в число 30—40 таких избранников почиталось величайшим счастьем. Отношеніе Муравьева к «гвардейской части своей» было неустойчивым: сам пройдя большой стаж по судебному вѣдомству, он пытался замѣщать юрисконсультскія вакансіи людьми. практически знакомыми с юриспруденціей. Поэтому во главѣ и оказался Носенко, котораго однако быстро выжили и вновь назначили петербургскаго бюрократа, его опять смѣнил судебный дѣятель, тоже недолго продержавшійся и уступившій мѣсто Веревкину, который всю

свою службу провел в помѣщенiи юрисконсультской части и, думаю, никогда судебнаго засѣданiя даже и не видѣл.

В полной зависимости от этих колебанiй находилось мое положенiе в «гвардiи», которая встрѣтила меня болѣе чѣм сдержанно. Я был прикомандирован к упомянутому сербу, но когда послѣ бюрократа назначен был судебный дѣятель, впослѣдствiи сенатор П. Н. Гуссаковскiй, он стал меня выдвигать, возлагал самыя сложныя дѣла и, хотя в это время я уже с головой ушел в «Право», но и министерскую работу дѣлал с большим увлеченiем. Между прочим, пришлось составить для Муравьева обширную записку, в которой излагалось положенiе вопроса о государственном соцiализмѣ. Эта записка, давшая министру возможность блеснуть эрудицiей в Государственном Совѣтѣ при разсмотрѣнiи одного из проектов фабричнаго законодательства, заслужила вторичную признательность со стороны начальства, послѣ чего Гуссаковскiй совершил маленькiй государственный переворот: дѣлами консультацiи по закону завѣдывал юрисконсульт, а он возложил эту работу на меня, незадолго перед тѣм назначеннаго помощником юрисконсульта. Я опять, как когда-то в Тулѣ, занят был по горло, но разбираться в этих запутанных дѣлах, в расплывающихся и переплетающихся юридических отношенiях, которыя, как ни складывай и ни перекладывай, никак не уложить в рамку закона, все болѣе твердѣющую с теченiем времени в противоположность неистощимому, гибкому и подвижному творчеству жизни, разбираться в этих клубках было истинным наслажденiем, нелишенным спортивнаго чувства. Гуссаковскiй то и дѣло требовал меня к себѣ для объясненiй и новых порученiй и явное предпочтенiе вызывало столь же явное недружелюбiе сослуживцев. Привиллегированность положенiя еще подчеркнута была уже упомянутой работой для московскаго предводителя дворянства, вызывавшей частыя поѣздки в Москву. Настоящiй московскiй барин, кн. П. Н. Трубецкой, единокровный брат извѣстных философов Сергѣя и Евгенiя, получил от Муравьева разрѣшенiе мнѣ кратковременных отлучек без испрошенiя отпусков, так что я стал каким-то вольным казаком в министерствѣ. Так это продолжалось, пока Гуссаковскiй не был назначен сенатором и на мѣсто его сѣл Веревкин. Сразу мое положенiе круто измѣнилось, меня просто игнорировали, вообще никаких дѣл не поручали и еще больше подчеркнули такое отношенiе, неожиданно назначив в помощь мнѣ, как представителю министерства в междувѣдомственной комиссiи при министерствѣ земледѣлiя, младшаго чиновника. Одно из засѣданiй этой комиссiи живо сохранилось в памяти: это было в день моего рожденiя — 15 апрѣля 1902 г. Во время засѣданiя вдруг вбѣжал курьер, взволнованно бросился к предсѣдателю и что-то прошептал ему на ухо. Ермолов поблѣднѣл и заявил, что засѣданiе прерывается. Оказалось, что в помѣщенiи Комитета Министров в Марiинском дворцѣ, в двух шагах от зданiя министерства земледѣлiя, в котором мы засѣдали, убит был одѣтым в адъютантскую форму Балмашевым министр внутренних дѣл Сипягин. Вечером была гастроль Московскаго Художественнаго Театра, шла самая популярная тогда пьеса Ибсена «Доктор Штокман», вызывавшая у публики бурный энтузiазм. В одном из антрактов,

гуляя с пріятелем в фойэ, я наткнулся на Щегловитова, тогда вице-директора нашего министерства, с ним меня связывала не только служба, но и его постоянное сотрудничество в «Правѣ». Поздоровавшись и не выпуская моей руки, он увлек меня в сторону и спросил: «ну, что вы скажете?» — Я отвѣтил: «конечно, это ужасно». Не давая мнѣ окончить фразы, он торопливо перебил: «ужасно, ужасно! но подѣлом вору и мука». Таково было отношеніе не только Щегловитова. Именно в высших бюрократических кругах острили, что желаніе Сипягина увидѣть перед смертью государя объяснялось желаніем сообщить секрет приготовленія какого-то салата, очень понравившагося царю.

Тягостно было опять переходить от увлекательной работы к конфузному бездѣлью и отсиживать служебное время с книгой или корректурой под косыми взглядами злорадствующих сослуживцев. Но надо признать, что и сама по себѣ служба моя все опредѣленнѣе превращалась в нелѣпый парадокс, тоже характерный для состоянія режима: «Право» все болѣе отчетливо становилось оппозиціонным органом, а редактор состоит на государственной службѣ. Но парадокс еще усложнялся тѣм, что в «Правѣ» сотрудничали выдающіеся судебные дѣятели, как ученые сенаторы Н. С. Таганцев и Я. И. Фойницкій, крупные чины министерства внутренних дѣл Лозина-Лозинскій, Страховскій и др. Вѣроятно, это обстоятельство и служило нѣкоторой помѣхой начальству рѣшительно от меня отдѣлаться. Но наконец, час все же пробил, и опять к моему благополучію. От меня, правда, даже не потребовали выбирать между «Правом» и государственной службой, а лишь поставили условіем не колоть глаз обозначеніем в каждом номерѣ журнала моей фамиліи в составѣ редакціоннаго комитета. Но и при таких льготных условіях выбор теперь был нетруден, а министерство еще наградило меня «усиленной пенсіей» в шестьсот рублей. Но главное, конечно, было в том, что теперь не предстояло начинать сначала, а напротив — оставалось окончательно выйти на дорогу, с которой столкнули тяжелые годы.



«ПРАВО».

(1898—1904).

В одном из своих обзоров нностраиной юриспрудеицін в Журиалѣ Министерства юстиціи я вскользь упомяиул об отсутствіи у нас періодическаго органа, который слѣднл бы и критически отражал правовую жнзнь страиы. В голову не прнходило, да н во снѣ не сиилось, чтобы это упомнианіе нмѣло какія либо практнческія послѣдствія, ио еслибы даже н расчитывать на них, то уж ннкак иельзя было предвндѣть и предполагать, чтобы такое мнмолетиое замѣчаніе произвело рѣшительиый перелом в судьбѣ и опредѣлнло всю будущиость. Само по себѣ указаиіе было вполиѣ правильиым: двѣ еженедѣльиыя газеты: «Юридическая» и «Судебная» влачилн жалкое существованіе, да и таковым обязаны былн одиой особенностн судебн. уставов, освобождавшей сенат от нзвѣщенія сторон о иазначенін нх дѣл к слушаиію. Сеиат ограиичивался вывѣшиваніем в канцеляріи списка дѣл, назиаченых к слушаиію иа предстоящей иедѣлѣ, н резолюцій, состоявшнхся по рѣшеииым иа предыдущей недѣлѣ дѣлам, и практнческая необходнмость слѣдить за списками заставляла адвокатуру выпнсывать одну нз газет, аккуратио спнскн эти воспронзводнвшнх. Нужда в серьезном нзданін, посвящеином практической юриспруденцін, несомиѣиио была иастоятельиой, ио мог лн я думать, чтобы удовлетвореиіе ея довѣреио было «младшему дѣлопронзводителю» пенсіоииой части! Как раз в это время я позиакомился у кузеиа Владнміра Матвѣевича с прнс. пов. н прнват-доцентом А. И. Камннкой (только мы двое н остаемся еще в жнвых нз всѣх нниціаторов «Права»), н в завязавшемся сразу оживлеиином разговорѣ он, тоже мимоходом, замѣтил, что с нитересом читает мои обзоры и, в частности, считает как нельзя болѣе своевременным упомянутое указаніе. Но и в этой бесѣдѣ ин словом не затронута была возможиость практическаго осуществленія высказанной мыслн. А еще через нѣсколько дией, идучн с сыновьямн покупать гимиазнческіе пальто, я на Невском встрѣтил Августа Исааковнча н тут вдруг миѣ взбрело в голову спросить, нельзя лн сдѣлать нз нашей бесѣды практическіе выводы? Вопрос его обрадовал и ои отвѣтил, что давио об этом размышляет. Короткій разговор иаш н был зачатіем «Права», прелюдіей безчнслеииых

обсужденій, к которым мы привлекли прежде всего кузена В. М. Гессена и чиновника министерства вн. дѣл, приват-доцента Н. И. Лазаревскаго, представлявшаго настоящій кладезь знаній русскаго госуд. права. Наши обсужденія сразу же установили полное единомысліе относительно задач газеты, на знамени ея должно быть начертано: законность!, иначе говоря — борьба с тенденціями Боровиковскаго, в которую я уж был втянут Новороссійским университетом нѣсколько лѣт назад. С тѣх пор эти тенденціи сильно окрѣпли и получили оффиціальное признаніе назначеніем Боровиковскаго на пост обер-прокурора гражданскаго кассац. департамента Сената, на обязанности коего и лежит руководство и наблюденіе за правильным примѣненіем законов. Дѣятельность Боровиковскаго начинала уже приносить ядовитые плоды: еще в Тулѣ мнѣ пришлось встрѣтиться с особаго рода исками, требовавшими от судьи не юридическаго анализа, а главным образом арифметических бухгалтерских выкладок. Это были претензіи к желѣзным дорогам о возвращеніи излишне взысканной платы (перебор) за перевозку и храненіе грузов. По каждой отдѣльной перевозкѣ перебор обычно бывал столь незначителен, что получателю груза не стоило вчинять иск, он мирился с перебором, а желѣзныя дороги незаконно обогащались. Я думаю, что обогащеніе достигало милліонов рублей ежегодно. Но — раньше или позже это должно было наступить — появились скупщики накладных (ж. д. удостовѣреній о взысканных за перевозку деньгах), которые предъявляли иски сразу по нѣскольким десяткам таких удостовѣреній, в суммѣ дававших солидный перебор. Появились и среди адвокатуры спеціалисты по ж. д. дѣлам и один из них, петербургскій прис. пов. И. М. Рабинович издал отличное обстоятельное руководство, дававшее возможность легко оріентироваться в ж. д. правилах, тарифах и вычисленіях. Судья с тоской приступал к разсмотрѣнію такого искового прошенія, подкрѣпленнаго иногда и сотней помятых бумажек, испещренных цифрами, предстояла скучнѣйшая провѣрка, требовавшая немало времени. Правленіям жел. дорог, в особенности казенных, наиболѣе небрежно опредѣлявшим подлежавшую взысканію сумму, такіе иски, конечно, были не по душѣ, заставляя возвращать не только перебор, но еще платиться судебными и за веденіе дѣла издержками. Когда Боровиковскій занимал пост обер-прокурора, одна из казенных ж. д. принесла кассац. жалобу на рѣшеніе суда, удовлетворившее иск о возвращеніи перебора, и «судейская совѣсть» проявилась в оригинальном коррективѣ, ограждавшем незаконное обогащеніе казны. Сенат не задумался совершенно произвольно установить по отношенію к накладным изъятіе из общаго правила, разъяснив, что требованія о возвращеніи перебора не могут быть переуступаемы другим лицам, а должны быть предъявляемы лишь самими получателями грузов. Но так как самому получателю не имѣло смысла тягаться из за единичнаго перебора, то фактически сенатское рѣшеніе освятило произвольные переборы.

Еще болѣе безотрадным и угрожающим было положеніе уголовнаго правосудія. Когда начались крестьянскія, рабочія и др. волненія, в уложеніе о наказаніях включена была новая статья — 269[1], сурово каравшая нападе-

нія одной части населенія на другую из экономических, политических, религіозных и т. п. побужденій, и такіе дѣла разсматривались в особом порядкѣ — суд. палатой с участіем сословных представителей (предводителя дворянства, гор. головы и вол. старшины). Эта статья находила все болѣе широкое примѣненіе и однажды случилось так, что приговор был постановлен предсѣдателем с сословными представителями, послушными начальству, а члены Палаты остались при особом мнѣніи. На приговор принесена была кассац. жалоба и вечером того дня, когда в Сенатѣ она слушалась, я встрѣтился с извѣстным ученым криминалистом, проф., сенатором И. Я. Фойницким и буквально ахнул, узнав от него, что жалоба оставлена без послѣдствій, а он спокойно разъяснил: «конечно, вы правы! статья 269[1] в данном случаѣ непримѣнима, но вѣдь пришлось бы квалифицировать дѣяніе, как простую драку, и наказать пустяками по мировому уставу, а это, по нашему мнѣнію, было бы слишком легкой карой». Всю свою жизнь внушавшій многочисленным мученикам, что nullum crimen sine lege, он на старости лѣт так беззаботно (больше всего раздражало его равнодушіе) сжигал все, чему поклонялся. Сейчас, конечно, никого уже нельзя таким разсказом удивить: с легкой руки совѣтскаго кодекса прежній устой уголовнаго правосудія замѣнен совсѣм новым — nullum crimen sine poena — судьѣ предоставлено облагать карой дѣянія, в законѣ и не предусмотрѣнныя. Но развѣ же это не сатанинская гримаса Исторіи, что предтечей явились сенаторы стараго режима, беззаботно вѣровавшіе, что этим они его укрѣпляют. И наоборот, развѣ не мы отстаивали прочность режима, выставив лозунг законности! Было бы фарисейством утверждать, что в таком отстаиваніи и была наша задача, нѣт! мы боролись за хартію вольностей, которую в самодержавном государствѣ представляет независимый суд, и точно так же совершенно не отдавали себѣ отчета, куда эта борьба увлечет.

Сейчас не только не помню, но даже и трудно понять мнѣ, почему потребовалось так много засѣданій, о чем мы без конца говорили, если, как уже упомянуто, по основному вопросу с самаго начала никаких разногласій не было. Но и каждая подробность привлекала к себѣ напряженное вниманіе и страстный интерес. Я относился к этим разговорам скептически, потому что плохо вѣрилось, что затѣя наша осуществится — не было ни денег на изданіе, ни правительственнаго разрѣшенія. Разрѣшенія на газету без предварительной цензуры давались тогда в видѣ рѣдчайшаго исключенія, а издавать под предварительной цензурой не имѣло никакого смысла. То, что цензура терпѣла в изданіях, выходящих без предварительнаго просмотра, безпощадно заливалось красными чернилами при представленіи ей статей до выпуска в свѣт. Пропуская представленную статью, цензор как бы соглашался с высказанными в ней взглядами, принимал на себя за них отвѣтственность, чего нельзя было ему приписать в отношеніи изданій, появлявшихся без предварительнаго просмотра. В сущности не было никаких основаній надѣяться, что рѣдкое исключеніе будет сдѣлано для нас. Ходили слухи, позже подтвержденные в разных мемуарах, что начальник Главнаго управленія по дѣлам печати берет взятки, но мы к этому не прибѣгли. Если же — думал

я — рѣдкій подарок судьбой будет сдѣлан, то «все образуется» само собой и независимо от програмных разговоров. Но они имѣли другое значеніе, — как спѣвки для хора, и вчера еще чужіе друг другу, мы быстро сближались и вокруг создавалась весьма пріятная атмосфера.

Изумительно точны величавыя слова Шекспира: «чѣм выше храм, тѣм больше ширится души и разума святая служба». Наше начинаніе казалось нам исключительно важным и, когда неожиданно разрѣшеніе все же было получено, нас охватил чисто юношескій энтузіазм, хотя всѣ уже перевалили за 30. Это разрѣшеніе остается такой же загадкой, как в свое время выдѣленіе меня из кружка товарищей, так жестоко пострадавших. Мы не имѣли никаких связей, не искали протекцій, а ограничились пассивным ожиданіем отвѣта на прошеніе, поданное от имени кузена и Лазаревскаго, как редакторов-издателей, и много раз перечитывал я сухую казенную бумажку, не вѣря глазам своим. Развѣ согласиться с проникновенным замѣчаніем выдающагося молодого писателя, что случай есть логика судьбы! Что же касается полученія средств на изданіе, здѣсь не встрѣтилось ни малѣйших затрудненій. Тонкій юрист, Каминка выработал очень удачную конструкцію товарищества на вѣрѣ, она и была усвоена впослѣдствіи цѣлым рядом журнальных предпріятій. Полными товарищами — неограниченно отвѣтственными, являлись члены редакціоннаго комитета, остальные участники отвѣчали лишь в размѣрѣ взятых ими паев или пая, опредѣленнаго в 500 руб. Состав пайщиков украшали всѣ свѣтила петербургской адвокатуры — Герард, Люстих, Карабчевскій, Миронов, Пассовер, Потѣхин, ни от кого мы не получили отказа и лишь, по настоянію Каминки, прекратили дальнѣйшій сбор, когда капитал достиг 30 тысяч рублей.

На мою долю выпало, между прочим, приглашеніе А. Я. Пассовера, что и дало мнѣ счастливую возможность познакомиться с этим необыкновенным человѣком. Еще в ранней юности в Одессѣ, гдѣ он начал свою адвокатскую дѣятельность, не раз доводилось слышать восторженные разсказы об его неотразимых выступленіях: поручить веденіе дѣла Пассоверу равнозначуще выигрышу. Передавали, что, как бы сложно и запутанно ни было дѣло, он полагался всецѣло на свою исключительную память. Во фракѣ, с высоким до верху застегнутым жилетом, в темно-сѣрых замшевых перчатках, которыя он снимал лишь когда начинал давать объясненія, он никогда не имѣл в руках ни портфеля, ни вообще каких либо замѣток. На адвокатское поприще он вступил не по собственному влеченію, а лишь послѣ того, как принадлежность к еврейству стала непреодолимым препятствіем к профессурѣ, а затѣм и к судейской карьерѣ. Второй удар был нанесен ему одесской красавицей, которая предпочла извѣстнаго богача, а он остался холостяком на всю жизнь и превратился в чудака. По всѣм разсказам Пассоверу принадлежала в адвокатурѣ пальма первенства, и они создали представленіе о легендарной личности, которую теперь мнѣ предстояло воочію увидѣть. Неудивительно, что я волновался, входя с его помощником М. И. Кулишером в большую квартиру на Французской набережной, в которой лучшая комна-

та отведена была под огромную, в нѣсколько тысяч томов, библіотеку — на дверях ея красовался плакат: — livres rendus livres perdus. А Кулишер, подчеркивая странности характера своего патрона, заботливо наставлял, как слѣдует держать себя, ни в каком случаѣ не курить, не засиживаться болѣе получаса и т. п. Я увидѣл невысокаго подвижного человѣка, очень некрасиваго, с густой щетинистой шевелюрой, курчавящейся бородой и насмѣшливой улыбкой, то почти незамѣтной, то становящейся язвительной. Улыбка гармонировала с выраженіем, дѣйствительно замѣчательных, сѣрых блестящих глаз, которые он то и дѣло сощуривал, и тогда казалось, что из щелок сыплются искорки. Подходя к гостю, он нѣсколько секунд всматривался, точно не узнавал вошедшаго, а, как мнѣ думалось, только для того, чтобы рѣшить, какую надѣть личину, и восклицал: а, коллега! как я рад, как рад! — Личину то мы всѣ носим, но обычно одну и ту же, так что она уже превратилась в лицо, а у него был немалый выбор и, когда, как на выставкѣ мод, он надѣвал ту или другую, я никак не мог отдѣлаться от впечатлѣнія, что сам он, укрывшись в таинственном уголкѣ, сквозь щелки издѣвательски смотрит и спрашивает: что же, коллега, эта вам не нравится? Ну, как знаете, не прогнѣвайтесь! — Иногда он бывал неистощим в молніеносно сверкающем остроуміи: не отвѣчая прямо на вопрос, разсказывал притчу, в которой неизмѣнно фигурировал мнимый «мой пріятель», а то опускался до безсмысленнаго коверканія имен: Муравьева (Николай Валеріанович) называл «валеріашка», Таганцева-Стаканыч (вмѣсто Степанович), Суворкин (вмѣсто Суворин) и т. п. Его считали непобѣдимым, а сам он утверждал, что убѣждать сенаторов вообще безполезно, они приходят в засѣданіе с готовыми рѣшеніями. «Я бы и совсѣм отмѣнил выступленія адвокатов в Сенатѣ. Бѣда лишь, что московскіе коллеги пріѣзжают в сопровожденіи своих кліентов милліонеров и, произнеся рѣчь, увѣряют их, что «пренія были в нашу пользу», а это означает, что гонорар нужно повысить. Из уваженія к москвичам, но чтобы не обременять Сенат словоговореніем, я предложил бы такую реформу: адвокаты обѣих сторон говорят одновременно, а Сенат в это время удаляется для совѣщанія». Послѣдним выступленіем Пассовера, уже незадолго перед смертью, была защита бывшаго директора деп. полиціи Лопухина, обвинявшагося в разоблаченіи Азефа, и отношеніе Сената, под предсѣдательством Варварина (откуда и пошло выраженіе — Варварин суд) было весьма недалеко от придуманнаго Пассовером грубаго гротеска. Наша первая бесѣда затянулась на два часа, притчи так и сыпались в поясненіе задаваемых мнѣ вопросов и успѣх отвѣтов был так велик, что, послѣ часового изнурительнаго экзамена, когда я совсѣм изнывал от желанія затянуться папиросой, он вдруг спросил: позвольте, коллега! какой же вы редактор, если не курите — и угостил нас папиросами, что, по увѣренію Кулишера, было признаком максимальнаго благоволенія. Позже я попытался использовать такое отношеніе, чтобы уговорить написать статью для «Права»: это было бы настоящей сенсаціей, ибо он уже давным давно ни одной печатной строчки не опубликовал. Моя страстная просьба увѣнчалась полным успѣхом, Пассовер категорически обѣщал и я с торжеством об этом объявил то-

варищам, а потом одному из них он сказал, что ничего мнѣ не обѣщал. Я пришел за объясненіями — уже не на Французскую набережную, а в контору, которая, на иностранный манер, находилась в другом помѣщеніи. Прислуги здѣсь он не держал, а сам отворял дверь на осторожное позвякиваніе швейцара дверной ручкой. Всмотрѣвшись сощуренными глазами, сразу разсыпавшими искровой фейерверк, он, со словами: но как я рад, коллега! надѣл личину задорнаго издѣвательства и, потирая от удовольствія руки, долго отнѣкивался непониманіем, о чем я спрашиваю, и наконец, ударив себя по лбу, сказал: «вот что! а я и позабыл совсѣм. Знаете ли — у меня был пріятель, бѣдный, как церковная мышь...» Слѣдует подробный красочный разсказ, как пріятель однажды явился в восторженном настроеніи и стал разсказывать, что ему предлагают купить в Кіевской губерніи замѣчательное помѣстье, со старинным дворцом, парком, лѣсом, на берегу Днѣпра. «Нельзя было удержать шумный поток краснорѣчія, живописавшаго прелести помѣстья. Когда же наконец мнѣ удалось робко задать вопрос: что это значит? Развѣ ты можешь купить помѣстье? — пріятель с негодованіем отрѣзал: ах, Александр Яковлевич, как же ты не понимаешь? Конечно, купить гдѣ же мнѣ, нищему! Но это неважно, важно, что люди считают меня способным купить, что мнѣ это предлагают. Так вот, коллега. Гдѣ уж, куда уж мнѣ статьи писать! Но если такой опытный редактор вдруг предлагает, вѣроятно, у меня закружилась голова и, может быть, я и обѣщал вам». Улыбка становится торжествующей, глаза совсѣм сощурились, чтобы прикрыть ликованіе, но можно прочесть в них: в другой раз не хвастай преждевременно! — И в судебных выступленіях он предпочитал вмѣсто, так сказать, лобовой аттаки, прибѣгать к сравненіям, примѣрам, притчам. Одному радикальному адвокату запрещена была практика на год, и Пассовер не замедлил предложить свои, конечно, безплатныя услуги для веденія его дѣл, а тот и попросил выступить за него в Сенатѣ по крайне запутанному дѣлу Дмецова. Нѣсколько свидѣтелей в процессѣ привлечены были к уголовному суду по обвиненію в лжесвидѣтельствѣ под присягой, но были оправданы присяжными засѣдателями, послѣ чего дѣло вернулось в гражд. департамент Палаты для дальнѣйшаго разсмотрѣнія. Здѣсь заинтересованная сторона утверждала, что теперь показанія этих свидѣтелей оспариванію и сомнѣнію больше не подлежат, и Суд. Палата с этими доводами согласилась, а на ея рѣшеніе принесена была касс. жалоба в сенат, которую и поддерживал Пассовер. Приглашенный дать объясненія, он снял перчатки и, с трудом сдерживая улыбку, просил разрѣшенія отклониться от юридических соображеній и привести чисто житейскій примѣр. «Еслибы кому либо из гг. сенаторов понадобилось принять на службу лакея или камердинера, они прежде всего потребовали бы от пришедшаго рекомендаціи, аттестатов от прежних хозяев, да и этим вряд ли удовольствовались бы, а еще провѣрили бы опросом по телефону, или личным посѣщеніем. Но что же сказали бы гг. сенаторы, еслибы, на предложеніе представить рекомендаціи, услышали в отвѣт: я в рекомендаціях не нуждаюсь, потому что три раза судился за кражу со взломом, но всегда был оправдываем гг. прис. засѣдателями». Замѣтив ожи-

вленіе на лицах судей, Пассовер дает волю хитрой улыбкѣ и продолжает: «еслибы обвиненія в лжесвидѣтельствѣ не было, мы были бы совершенно свободны в критикѣ и оцѣнкѣ этих свидѣтельских показаній. А теперь нам говорят: мы в лжесвидѣтельствѣ оправданы и наши показанія не нуждаются ни в каких рекомендаціях». Рѣшеніе палаты было кассировано. В другом дѣлѣ прокурор слишком горячо ухватился за одно выраженіе подсудимаго, в котором усмотрѣл косвенное признаніе, и заявил, что он «настойчиво поддерживает» подсудимаго в этом признаніи и считает уже излишним приводить другія доказательства вины. Пассовер опроверг всѣ улики и прибавил: «остается лишь одно доказательство, в котором прокурор настойчиво поддерживает, но совсѣм так, как веревка поддерживает повѣшенного». Это выраженіе стало крылатой фразой и вошло в обиход поговоркой.

Послѣднее выступленіе по дѣлу Лопухина тоже отмѣчено было весьма остроумным пріемом. Лопухин обвинялся в том, что, на настойчивые вопросы Бурцева, подтвердил его догадку, что Азеф состоит на службѣ в департаментѣ полиціи. Если уж привлекать Лопухина к суду, то развѣ по обвиненію в дисциплинарном нарушеніи — разглашеніи служебной тайны. Но Столыпин, очень высоко цѣнившій услуги Азефа, загорѣлся местью и Лопухину предъявили обвиненіе в участіи в преступном революціонном сообществѣ. Это преступленіе предусмотрѣно 102 ст. Угол. улож., которая грозила безсрочной каторгой. Разсмотрѣв фактическія обстоятельства дѣла, Пассовер, с саркастической улыбкой, сказал, что так как прокурор лишь вскользь коснулся юридическаго обоснованія обвиненія, то он, Пассовер, полагает, что прокурор имѣет в виду посвятить юридическому анализу вторую рѣчь и что посему откладывает свои соображенія до выслушанія этой рѣчи. Сенаторы смущенно переглянулись, Варварин обратил вопросительный взгляд на прокурора, который отрицательно покачал головой, после чего Варварин заявил, что прокурор исчерпал свои доводы и больше говорить не собирается. «Вот как, — с удивленным лицом воскликнул Пассовер, — в таком случаѣ я должен быть совсѣм лаконичен» и в нѣскольких словах разоблачил юридическую нелѣпость обвиненія и заставил Варварина позеленѣть от злости. Но и эта замѣчательная рѣчь сохранилась лишь в безцвѣтном изложеніи судебных репортеров.

Так он и умер, унеся с собою в гроб огромное духовное богатство, не осталось почти ни одной письменной строчки, нѣт и фотографіи его. Странное чувство неловкости я испытал у его гроба: двери тщательно запертой квартиры настежь раскрыты, входят и выходят без приглашенія и позволенія разные люди, а он лежит безпомощно и больше не может уже распоряжаться своими личными. Отнято убѣжище, в которое он укрылся, когда ему преградили избранный путь, парализована возможность не быть самим собою, таким, каким он Россіи не пригодился. И еще раз ярко предстала пред глазами его оригинальная фигура, когда в 1913—14 г. я работал над «Исторіей русской адвокатуры»: в ноябрѣ 1904 г., в т. н. банкетный період, адвокатам был загражден доступ в зданіе Суда, гдѣ должно было состояться

общее собраніе. Они перешли в Городскую Думу и там принята была резолюція о том, что «правильная организація отправленія правосудія невозможна без коренной реформы государственнаго строя». Под ней сотни подписей присутствовавших, а в концѣ и подпись Пассовера, но с оговоркой: «не бывши в этом собраніи и непризнавая его общим собраніем прис. повѣренных, я, отнюдь не в качествѣ пр. повѣреннаго, сим подтверждаю свое полное согласіе с выраженными на первой страницѣ этой бумаги мыслями. Надворный совѣтник А. Пассовер». Увы, нашелся и другой, не утерпѣвшій привлечь вниманіе к своей подписи какой-то оговоркой — присяжный повѣренный К., полная противоположность Пассоверу, безцвѣтная и бездарная заурядность. Крайности соприкасаются!

Итак, и разрѣшеніе в карманѣ и средства мобилизованы, надо оснащать корабль. Самое комичное, что наибольшія трудности представило крещеніе дѣтища: мы придумывали разнообразнѣйшія сочетанія слов — законность, закон, суд, жизнь, юриспруденція — и всѣ отвергали, пока Лазаревскій робким, чуть гнусавым голосом не предложил нам, уже совсѣм отчаявшимся, назвать tout court — Право. Привыкнув к неудачным попыткам, всѣ уже держали на кончикѣ языка — нѣт, не годится!, но вдруг недоумѣнно переглянулись, кто-то замѣтил: а, пожалуй, недурно! И еще через минуту стали поздравлять Лазаревскаго и без конца повторяли: Право! Право! очень хорошо! Отлично! И названіе это вошло и стало частью души нашей. А самое невѣроятное было, что предсѣдателем редакц. комитета избран был я, т. е. на меня возложено было и редакціонное и хозяйственное веденіе дѣла. Здѣсь нѣт смиренія паче гордости, и еслибы не наслѣдственное легкомысліе, разгонявшее непріятныя напоминанія о разореніи предков, бравшихся за чуждыя им дѣла, я, конечно, отказался бы от занятія поста, к которому не было ни малѣйшей подготовки. А под новый 1899 г., когда пробные 4 номера Права уже опредѣлили его шумный успѣх, говорил женѣ, обмѣниваясь новогодними пожеланіями: «не вѣрю до сих пор и не понимаю, как это произошло». Должен однако чистосердечно отмѣтить и закулисную сторону успѣха: хозяйственная часть Права поставлена была из рук вон плохо и держалась, ни шатко ни валко, на моем лозунгѣ — все образуется! В редакціонном же отношеніи было постановлено, что поступающія рукописи распредѣляются между членами комитета по их спеціальности, одобренныя сдаются в набор и в корректурах разсылаются всѣм членам, в моем вѣдѣніи остаются, как у нас выражались, «потроха» — отчеты о всяких засѣданіях и хроника, собиравшая из газет случаи нарушенія законности, причем тщательнѣйшим образом зачеркивались всякіе критическіе или негодующіе комментаріи, восклицательные знаки и именно этим оголенным подбором хроника и производила сильное впечатлѣніе. По четвергам происходили наши засѣданія, на которых обсуждалось содержаніе слѣдующаго номера, разбирались сомнѣнія, возбуждаемыя той или другой статьей, вспыхивали упорные споры, но всѣ были одушевлены одним желаніем, одной заботой, чтобы Право вышло без малѣйшей царапинки, и это была не работа, а подлинное душевное горѣніе. И сейчас помню, каким опозоренным чувствовал

себя, увидѣв в номерѣ истасканное выраженіе horribile dictu, которое упустил вычеркнуть. А Петражицкій однажды, около часу ночи, наканунѣ выхода номера, прибѣжал, когда я был в типографіи, и перепугал жену растерянным видом, говоря, что ему во что бы то ни стало нужно увидѣть меня немедленно. Оказалось, что в комментаріи к одному судебному рѣшенію не было проведено достаточно четкаго различія между Bringschuld u. Holschuld. Едва ли в славной вообще исторіи русской журналистики найдется другой примѣр такого равноправно-согласнаго, любовнаго, жертвеннаго формированія литературнаго дѣтища и беззавѣтной вѣры в него. Позже была «Рѣчь», здѣсь в эмиграціи «Руль» — діапазон стал выше, вліяніе шире, ударность ежедневной газеты сильнѣе, но тот искренній пафос, то бѣлоснѣжное настроеніе, как первая любовь, были уже неповторимы. И как при видѣ прекраснаго лица не приходится задумываться и трудно рѣшить, что больше его украшает, — лоб, глаза, нос ли, — так и в отношеніи Права нельзя было выдѣлить роль и значеніе каждаго члена в отдѣльности. Но всѣ вмѣстѣ имѣли полное право присвоить себѣ слова поэта: друзья мои, прекрасен наш союз!

Подготовка перваго номера, вышедшаго 8 ноября 1898 г., превратилась в настоящее священнодѣйствіе. Были представлены три варіанта программной статьи. Один, оказавшійся совершеннѣйшим образцом банальности, сразу был отвергнут. Замѣчательной статьей Петражицкаго, содержавшей квинтэссенцію его новаго ученія о правѣ, нельзя было воспользоваться, в виду ея больших размѣров. Всѣм, в том числѣ и авторам — конкуррентам, с перваго же чтенія понравился третій варіант: с блеском написанная статья В. М. Гессена, но — Боже мой — как разбирали ее по косточкам, сколько раз совмѣстно перечитывали, в какія абстрактныя дебри уводили споры, возникавшіе даже по поводу отдѣльных слов и выраженій. А. И. Каминка, удачно сочетавшій теоретическое образованіе с практическим адвокатским кругозором, всячески старался ослабить излишнее заостреніе стрѣл, направленных против позиціи Боровиковскаго. Но и послѣ всѣх поправок статья осталась очень яркой, прекрасной по формѣ, отлично выражавшей наше настроеніе и исчерпывающе выяснявшей значеніе принципа законности, которому мы клялись служить вѣрой и правдой. Я написал для этого номера обозрѣніе кассаціонной практики за текущій год и был несказанно счастлив, что через безпощадную цензуру авторитетных цивилистов Права статья прошла без всяких замѣчаній и поправок. Успѣх газеты, которым я уже выше не раз кичился, превзошел всѣ наши ожиданія: 2200 подписчиков (позже это число поднялось до 10 тысяч) для спеціальнаго юридическаго журнала были доселѣ цифрой небывалой, а в моем воображеніи она разрасталась в объемлющую всю Россію: сидя в вагонѣ трамвая и вновь и вновь перелистывая страницы, на которых уже была знакома каждая запятая, я был убѣжден, что к этой свѣтложелтой тетрадкѣ приковано вниманіе всѣх сосѣдей, и думал, каким бы почтеніем они прониклись, еслибы догадались, что сидят рядом не с заурядным читателем, а с одним из редакторов.

Главное, однако, было в том, что дѣтище наше родилось в сорочкѣ, ограждавшей его от воздѣйствія совершаемых ошибок. Редакціонный комитет сложился не без пертурбацій в личном составѣ. Мы долго не могли найти подходящаго нам спеціалиста по уголовному праву и, по моей неудачной рекомендаціи, обратились к моему сослуживцу по министерству А. Л., но он сразу весь отразился в банальном варіантѣ программной статьи и — спасибо ему — сам понял, что не ко двору, и ушел. Не могли мы поладить и с О. О. Грузенбергом, быстро завоевавшим видное положеніе среди петербургских уголовных защитников. Лишь послѣ этого рѣшено было обратиться с приглашеніем к Владиміру Дмитріевичу Набокову, котораго мы опасались, как элемента чужероднаго. Мы всѣ в общем были люди одного общественнаго круга, одной соціальной ступени. Набоков же, сын министра, камер-юнкер, женатый на милліонершѣ Е. И. Рукавишниковой, жившій в барском особнякѣ на Морской, пріѣзжавшій в засѣданія ред. комитета в каретѣ, рисовался нам человѣком с другой планеты, с которым «нам разный путь судьбой назначен строгой». Не было основаній думать, что наши пути вообще могут скреститься, и выраженная им радушная готовность войти в состав редакціи была для нас большим сюрпризом. Но тревожил вопрос — не внесет ли он диссонанса в наши простыя дружескія отношенія, не потянет ли холодком великосвѣтских условностей? Практическій отвѣт на этот вопрос оказался еще большим и исключительно пріятным сюрпризом. Продолжая цитату из геніальнаго стихотворенія великаго поэта нашего, можно сказать, что как будто именно о Набоковѣ написаны слова: «фортуны блеск холодный не измѣнил души твоей свободной, все тот же ты для чести, для друзей». Владимір Дмитріевич открылся нам прекрасным товарищем, необычайно добросовѣстным работником, разносторонне образованным, с «элегантным», по любимому выраженію Петражицкаго, публицистическим пером. Душевно уравновѣшенный, с тонким внутренним тактом, благожелательный, он не только не внес разлада, но тѣснѣе спаял наш кружок и брал на себя самыя отвѣтственныя статьи, привлекавшія к Праву общее вниманіе. Право оказалось для него перекрестком, с котораго он пошел по новому пути: когда позиція журнала стала боевой, вчера еще совершенно непріемлемой для Набокова, он ни на минуту не задумался твердо на ней остаться и с нея уже не сходить до своей трагической смерти. С этим связано было не только то, о чем выше уже сказано: лишеніе придворнаго званія, отказ от предстоящей блестящей судейской карьеры, но — что может быть еще чувствительнѣе — разрыв с той средой, в которой он родился, воспитался и тѣсно был связан. В началѣ 1904 г. он уѣхал с семьей заграницу, чтобы освѣжиться от окружавшей его злобной враждой среды родственников и знакомых. Лѣтом темп событій стал быстро ускоряться, и в посланном письмѣ я обратил его вниманіе, что теперь мѣсто не в итальянском курортѣ, а в Петербургѣ, гдѣ его ждет руководящая роль. Он тотчас и пріѣхал и очень облегчил мою совѣсть, сказав, что «жена велѣла поцѣловать вас за ваше напоминаніе». И я не ошибся: именно на новом пути он быстро сдѣлал «блестящую карьеру», выдвинулся в первые ряды общественных дѣятелей, поль-

зовался авторитетом и глубоким уваженіем не только среди соратников, но и политических противников, и оказался в полном смыслѣ слова the right man on the right place. Своим переходом в лагерь оппозиціи он нанес тяжкій удар режиму. Когда, перед роспуском первой Думы, в которой он показал себя отличным оратором, поставлен был на очередь вопрос об образованіи кадетскаго министерства и я настойчиво предостерегал П. Н. Милюкова от излишней довѣрчивости к осуществимости такого плана, он мнѣ отвѣтил: «вы совершенно неправильно оцѣниваете положеніе. Они (т. е. придворные круги, начавшіе переговоры с кадетами) гораздо легче соглашаются на принятіе нашей аграрной программы, чѣм на назначеніе Набокова министром юстиціи». Отрыв частицы своего организма «они» переносили болѣзненнѣй, чѣм отказ от дворянских привилегій. Ясно вижу на министерской скамьѣ Государственной Думы высокую, стройную, словно в корсет затянутую фигуру министра импер. двора гр. Фредерикса во время извѣстной рѣчи Набокова. С гордо поднятой головой и благородной осанкой, в изящном свѣтло-сѣром сюртукѣ, он ровным убѣдительным голосом чеканил обвинительный акт против правительства, закончив ставшей крылатой фразой: «исполнительная власть да подчинится законодательной!» Фредерикс впился в него глазами, остановившимися от изумленія, и даже пышные завитые усы его негодующе топорщились: неужели же этот дерзкій трибун тот самый камер-юнкер, с которым он был сосѣдом по имѣнію под Петербургом и с которым для взаимнаго пониманія не нужно было и слов.

Дв. Право родилось в сорочкѣ — тотчас послѣ рожденія ему был приуготовлен и другой, совсѣм сенсаціонный сюрприз. Если Набокова мы опасались включить в свою, чуждую ему среду, то о приглашеніи Льва Іосифовича Петражицкаго вообще мысль не приходила в голову, он только что с небывалым успѣхом защитил свою докторскую увлекательную, как роман, диссертацію и быстро поднимался к зениту своей научной славы. Унаслѣдовав кафедру весьма любимаго студентами профессора Коркунова, Петражицкій с первых же шагов совершенно затмил популярность своего предшественника. Наплыв студентов на его лекціи был так велик, что пришлось отвести для них большой актовый зал, в котором слушатели, затаив дыханіе, восторженно внимали словам молодого учителя. Это было тѣм болѣе внушительно, что П. лишен был всѣх внѣшних данных, способствующих успѣху лектора. Невысокаго роста, блондин, с маленькой головкой и широким носом, осѣдланным непропорціонально большим пенсне, в которое смотрѣли вялые безцвѣтные глаза, непріятный, чуть гнусавый, безнадежно монотонный голос, мучительно спотыкающаяся рѣчь, состоявшая из длиннѣйших, неправильно построенных періодов, неприспособленных к уровню пониманія средняго слушателя — все здѣсь как будто нарочито сочеталось, чтобы молодежь оттолкнуть. И если, вопреки всему, он пользовался таким исключительным успѣхом, это, как мнѣ кажется, можно объяснить тѣм, что усиліями выдавливаемая рѣчь воспринималась как импровизація, и у слушателя создавалось впечатлѣніе (чему способствовало блѣдное лицо, принимавшее болѣзненный оттѣнок) что он присутствует и сопереживает муки творче-

ства и — что всегда увлекает молодежь — творчества, разрушающаго установившіяся теоріи и открывающаго новые горизонты. Такое впечатлѣніе я испытал, когда впервые на защитѣ диссертаціи увидѣл его на высокой бѣлой с золотом кафедрѣ актоваго зала петербургскаго университета и явственно ощутил дыханіе генія в предѣльной увѣренности, с которой он отстаивал от возраженій оппонентов каждую букву своих утвержденій. Петражицкій был весь поглощен научной работой и горячо убѣжден, что созданная им теорія права может преобразовать весь соціальный уклад. Возможность проводить свои взгляды в юридической печати и вызвала, вѣроятно, интерес к Праву, но уж никак нельзя было предполагать, что он согласится принять участіе и в будничной редакціонной работѣ. Тѣм выше было общее радостное изумленіе, когда — по выходѣ второго номера, он сам предложил себя в члены ред. комитета и мы бурно привѣтствовали его намѣреніе. Было чему радоваться — его вступленіе сразу значительно подняло авторитет Права, а напечатанная в первых же номерах серія статей об «обычном правѣ», безпощадно развѣнчивавших этот народническій фетиш, была самым цѣнным и ярким украшеніем Права, которое он любил нѣжной любовью, как живое существо. «Очень элегантно было бы, говорил он при вступленіи своем, еслибы Право было в обложкѣ». Каминка пришел в ужас, бюджет был точно расчитан и вдруг опрокидывался увеличеніем расходов. Но П. так дѣтски горячо просил и так настойчиво доказывал, какое важное значеніе имѣет элегантность, что отказать было невозможно, и когда к слѣдующему засѣданію я принес желтую обложку, на которой только в центрѣ значилось: Право, а внизу номер и год, он был так свѣтел, так шаловливо дѣтски радовался, и все прерывал обсужденіе: «да посмотрите же, как это элегантно выглядит, как пріятно взять в руки!» В дружеском личном общеніи он производил обаятельное впечатлѣніе возбужденной привѣтливостью, искренним радушіем, благостной снисходительностью к людям, граничившей с дѣтской наивностью, и не покидавшей его и в шутках серьезностью. У нас в домѣ, за завтраком он впервые встрѣтился с Пассовером — два полюса: один ревниво таил свое духовное богатство и унес его в могилу, другой стремился осчастливить мір своими открытіями и его литературное наслѣдство составило бы около 80 внушительных томов по самым разнообразным вопросам. У Пассовера зазмѣилась улыбка и так и посыпались искорки, когда он увидѣл Петражицкаго, а этот оставался невозмутимо привѣтливым. Пассовер стал своего сосѣда поддразнивать, когда поданы были блины. «А как же, коллега, вѣдь у вас, поди, и насчет блиноядения имѣется новая теорія». Петражицкій серьезно объяснил, какая приправа к блинам больше подходит со вкусовой и гигіенической точки зрѣнія, а Пассовер все тужился подставить собесѣдника под удар своего острословія, но скоро понял, что бьет по воздуху, и нахмурился. Кстати сказать — Петражицкій, этот замѣчательный юрист Божьей милостію, не сразу однако нашел себя — сначала он пробыл два года на медицинском факультетѣ, но, и бросивши медицину, убѣжденно считал себя опытнѣе врачей и даже, заболѣв натуральной оспой, в разгар избирательной кампаніи в первую Думу, рѣшительно отказался от

врачебной помощи. Вспоминается еще чисто юридическое состязаніе за одним из необычайно уютных ужинов у Петражицкаго. Спор зашел между ним и Каминкой из-за комментарія к судебному рѣшенію, касавшагося законов о находкѣ. К. считал толкованіе суда неправильным, а П. настойчиво и убѣдительно возражал логическими доводами. К. предложил обратиться к 10 тому, П. раскрыл книгу и, заглянув в нее, передал К. со словами: «ну, смотрите, закон подтверждает мои соображенія». — «Как подтверждает? А вот это примѣчаніе?» — П. с недоумѣніем снова заглянул в 10-ый том и обидчиво замѣтил: «да, но вы же видите,, что это примѣчаніе у меня зачеркнуто». Всѣ расхохотались, а у П. и мускул на лицѣ не дрогнул: чему же тут, в самом дѣлѣ, смѣяться — не потому же зачеркнуто примѣчаніе, что так захотѣлось, а оно явно противорѣчит юридической логикѣ и под ея лучами должно безслѣдно испариться. Положеніе П. в Правѣ было вообще особенным. Не говоря уже обо мнѣ, котораго оно осыпало щедротами, превратило из младшаго дѣлопроизводителя в общественнаго дѣятеля, потом редактора крупнѣйшей петербургской газеты и наконец поставило предсѣдателем всероссійскаго общества редакторов, не говоря обо мнѣ, Право и всѣх товарищей подняло в общественном мнѣніи. От Петражицкаго же оно само обогатилось научным авторитетом, а он незамѣтно увлекся политической дѣятельностью, вступил в кадетскую партію, избран был членом первой Думы, сѣл в тюрьму за подписаніе, против воли, знаменитаго «выборгскаго воззванія» — словом, вступил в область органически ему чуждую, безжалостно разрушавшую безпредѣльную вѣру в силу логики и разума и, окончательно утратив эту вѣру под гнетом войны и революціи, выстрѣлом в висок оборвал свою жизнь. Года три назад, пріѣхав в Варшаву для чтенія лекцій, я посѣтил его вдову в грязном, казарменном университетском зданіи, в той самой неуютной комнатѣ, гдѣ это случилось. Стояла на своем мѣстѣ ширма, за которой, по разсказу вдовы, он наложил на себя руку, и вбѣжавшая на выстрѣл служанка еще видѣла из под ширмы дрыгающія ноги. Страшно, невыносимо страшно было представить себѣ его предсмертные дни, трепетала душа от назойливаго домысла, не задумывался ли он горестно над оставляемым колоссальным литературным наслѣдством и не вспоминал ли издѣвательства Пассовера над «теоріями».

Трагическая судьба Петражицкаго подвела меня непосредственно к основному вопросу о «сползаніи» Права. Употребляя это выраженіе, я отдал неправедную дань покаянному повѣтрію, считающемуся у «отцов» в эмиграціи признаком хорошаго тона. По существу же, указаніе на сползаніе — чистѣйшая аберрація. Соотношеніе позицій дѣйствительно мѣнялось, но сползало не Право, а режим. Поэтому сосредоточеніе всѣх усилій на огражденіи законности и на выпячиваніи все учащавшихся ея нарушеній назойливо убѣждало общественное мнѣніе, что самодержавный режим органически с законностью несовмѣстим, что лозунг законности — знамя борьбы с самодержавіем. И я скажу — еслибы мы такія послѣдствія предвидѣли, приступая к созданію Права, то состав его во всяком случаѣ был бы иной: не взялись бы за него лица, за исключеніем Каминки, состоявшія на государствен-

ной службѣ, и когда эти послѣдствія опредѣлились, то, дѣйствительно, одни вынуждены были выйти в отставку, а другіе — разстаться с Правом. Скажу еще иначе — еслибы мы сознательно стремились такія послѣдствія вызвать и сразу взяли соотвѣтствующій тон, Право не могло бы занять в русской журналистикѣ того исключительнаго мѣста, которое ходом событій было ему уготовано, сыграть яркую роль, подброшенную ему исторической обстановкой. Ибо такой преждевременно взятый тон испугал бы многих, лишил бы Право возможности собрать на своих столбцах рѣшительно все, что было выдающагося в судебном мірѣ, адвокатурѣ, профессурѣ, публицистикѣ, и пріобрѣсти непререкаемый авторитет, какого, как мнѣ кажется, не имѣл ни один печатный орган в Россіи. Еще одним доказательством лояльной стойкости и неуязвимости позицій Права было, что до конца 1904 г., когда категорически отмѣчена была упомянутая несовмѣстимость законности с самодержавіем, Право не получило ни одного предостереженія от цензуры, а они так щедро раздавались, что даже и оффиціозное «Новое Время» не было пощажено.

По существу огражденіе законности было гораздо отвѣтственнѣе в другом отношеніи. Повторяю, наши гражданскіе и уголовные законы безнадежно устарѣли и являлись прокрустовым ложем для быстро развивавшихся послѣ отмѣны крѣпостного права юридических отношеній. Когда подготовлялась судебная реформа, нашелся, среди всеобщаго энтузіазма, один судебный чиновник, проявившій изумительное прозрѣніе. Это был предсѣдатель захолустной черниговской палаты, который в своих замѣчаніях на проект реформы предостерегал от пересмотра одних только процессуальных законов при сохраненіи в силѣ норм матеріальнаго права, устарѣлых и несправедливых. «Чѣм болѣе, писал он, суд. учрежденія дают средств к точному исполненію законов, чѣм они совершеннѣе, тѣм достоинство или недостатки законов будут явственнѣй, добро и зло, ими причиненное, ощутительнѣй для каждаго гражданина, а потому самые законы должны быть совершеннѣе... По моему мнѣнію, вмѣстѣ с подготовленіем Устава суд. учрежденій должны быть пересмотрѣны наши гражданскіе и уголовные законы, согласно потребностям времени и духу самой суд. институціи». Это проникновенное предупрежденіе не обратило на себя никакого вниманія, но еслибы ему и придано было значеніе, какого оно заслуживало, все равно — состояніе правосудія было так безотрадно, так черна была в судах Россія неправдой черной, что ждать было невозможно. Оставалось лишь, вслѣд за введеніем суд. уставов 20 ноября 1864 г., приступить к пересмотру матеріальных законов, что и было предпринято: созваны были двѣ комиссіи для подготовки новаго уголовнаго и гражданскаго уложеній. Но, как уже упоминалось, эпоха великих реформ оказалась очень краткой, преобразовательный энтузіазм постепенно стал остывать, реформаторское колесо стали поворачивать в обратную сторону и это отразилось на замедленіи работ обѣих комиссій. Разработанный проект угол. уложенія лишь в началѣ 20 вѣка, и то в небольшой части, касающейся политических преступленій, введен был в дѣйствіе, а проект гражд. уложенія, симптоматически лишенный самостоятельнаго творчества, так и

остался в подготовительной стадіи до гибели самаго режима. Право удѣляло много вниманія этим проектам, выясняло их основные недостатки, настаивало на ускореніи и оживленіи работ, но все отчетливѣе понимало, что наступил законодательный паралич, создававшій безвыходное положеніе: выбирать нужно было между устарѣлыми и несправедливыми законами, превращавшими summum jus в summam injuriam, и предоставленіем судьям, по своему произволу, измѣнять закон примѣнительно к каждому данному случаю, — произволу, превращающему судей, как говорили тѣ же римляне, из juris periti в iuris perditi. Чувствительнѣе всѣх к этому тяжелому выбору относился Каминка, в качествѣ адвоката постоянно сталкивавшійся с прокрустовым ложем 10-го тома, и потому, как уже упоминалось, всячески противодѣйствовавшій излишнему заостренію стрѣл законности.

Успѣх Права, как и должно было быть, не выходил за предѣлы ограниченнаго круга лиц, интересующихся юриспруденціей, но уже на первых порах оно проникло и в широкіе читательскіе слои. Случилось это в февралѣ 1899 г., послѣ жестокаго избіенія студентов полиціей в день университетскаго акта. Новое Время напечатало «маленькое письмо» Суворина, рѣзко и злобно осуждавшаго молодежь и, по нашей просьбѣ, К. К. Арсеньев помѣстил в Правѣ отвѣт. Тогда уже маститый, благообразный старик, сильно близорукій и глуховатый, К. К. был типичнѣйшим, цѣльным представителем эпохи великих реформ. Одним из первых он вступил в сословіе адвокатов и сыграл виднѣйшую благотворную роль в сформированіи русской адвокатуры. «Вы были, говорил ему Спасович, кормчій нашей шхуны, вы стояли у руля в день и в ночь, почти без отдыха». Очень удачно он же сравнил краснорѣчіе Арсеньева с широкой многоводной русской рѣкой, которая спокойно, но неудержимо катит свои воды и незамѣтно уносит довѣрившагося ей. Сердечный невроз заставил К. К. отказаться от волнующей адвокатской дѣятельности и он избрал публицистическое поприще, на котором тоже завоевал почетное положеніе в качествѣ постояннаго обозрѣвателя внутренней жизни в Вѣстникѣ Европы, имѣвшем в прошлом вѣкѣ репутацію самаго солиднаго и авторитетнаго журнала. Но послѣ первой революціи он быстро стал терять свое вліяніе. Во всю свою долгую безупречную жизнь Арсеньев твердо и увѣренно держал в руках знамя шестидесятых годов и пронес его, хотя и сильно потрепанным, сквозь всѣ политическія бури и непогоды. Когда в началѣ нынѣшняго вѣка сложились в Россіи политическія партіи, К. К., хотя и был очень близок по настроенію и міросозерцанію к кадетам, отказался стать членом, ибо, как объяснял мнѣ, опасался, что партійная дисциплина может столкнуться с голосом совѣсти, всю жизнь бывшим для него верховным судьей. Если сейчас прочесть статью К. К. в Правѣ, она покажется робким шопотом, но и по условіям того времени она выдѣлялась спокойствіем и сдержанностью, характеризовавшими литературный стиль К. К. в такой же мѣрѣ, как и его краснорѣчіе — его любимым оборотом было: едва ли я ошибусь, если скажу. И тѣм не менѣе, статья произвела огромное впечатлѣніе, она была как бы отдушиной для общественнаго негодованія и вызвала широкій бойкот Новаго Времени, о чем особым правительственным

циркуляром запрещено было газетам сообщать. Вот предо мной лежит опубликованный Дневник А. Богданович, жены извѣстнаго в то время генерала, считавшагося одним из столпов режима. Читаю относящіяся к этим безпорядкам записи: «всѣ возмущены распоряженіями полиціи, всѣ говорят, что до таких безобразій еще никогда не доходило», министра нар. просвѣщ. «Боголѣпова всѣ называют Нелѣповым». Но и сам Суворин в частном письмѣ, приведенном в его опубликованном дневникѣ, пишет, что «на каждых двух студентов был один страж — конный или пѣшій. Развѣ при такой силѣ можно бить кого-нибудь? А лупить нагайками никого не слѣдует». Эти разоблаченія открылись лишь послѣ революціи, тогда они были скрыты в дневниках, но положительно утверждаю, — и тогда у меня было уже ощущеніе, что защитники и охранители режима сами в него не вѣрят, и это ощущеніе придавало увѣренность и бодрость.

Успѣх арсеньевской статьи, явившійся началом популярности Права, не увлек на путь сенсацій, мы продолжали упорно и самозабвенно трудиться над своей задачей, но сенсаціи подвертывались сами собой. В ноябрѣ 1899 г. СПБ. юридическое общество отмѣтило торжественным засѣданіем 35-лѣтіе суд. уставов — рѣчи были произнесены тѣм же Арсеньевым, В. Д. Спасовичем, Фойницким и проф. М. И. Свѣшниковым. В противоположность Арсеньеву, Спасович всегда держал пред собой рукопись, к которой, по близорукости, низко склонялся и водил по ней пальцем, чтобы не сбиться. Но произносил он свою рѣчь, перенасыщенную содержаніем и тщательно отдѣланную, с такой живостью, и так приковывал вниманіе оригинальный широкій жест правой руки, удачно схваченный на великолѣпном портретѣ Рѣпина, так весело играли сквозь очки ясные глаза, когда он приподымал их от рукописи, что за Спасовичем установилась слава блестящаго оратора. «Это был адвокат оратор, — сказал о нем Пассовер, — без прирожденной способности говорить». Кони передавал один из сложившихся о нем разсказов: человѣк, которому впервые приходилось слушать Спасовича, недоумѣнно спрашивал: развѣ это Спасович? Не может быть! — Но через нѣсколько минут, вслушавшись в рѣчь, начинал вѣрить: да, пожалуй, это Сп., а еще через нѣсколько минут восторженно восклицал: ну, конечно, это Сп., никто иной как Сп.» В «Карамазовых» Федор Павлович неоднократно упоминает о дѣлѣ Зона, звѣрски убитаго в публичном домѣ, вколоченнаго, «несмотря на почтенные лѣта в ящик и отосланнаго в багажном вагонѣ за номером в Москву». По этому дѣлу защитником (по назначенію) выступал Сп., а обвинителем Кони, обѣ рѣчи напечатаны, и мнѣ кажется, что нелегко было бы найти в исторіи адвокатуры еще одно столь блистательное рыцарское состязаніе. В упомянутом уже (в связи с Боровиковским) громком дѣлѣ Овсянникова о поджогѣ мельницы Сп. выступил повѣренным гражданскаго истца и, в отвѣт защитнику, настаивавшему, что против подсудимаго имѣются лишь косвенныя улики, разрозненныя черточки, сказал: «да, вѣрно, есть только черточки, только черточки, но эти черточки складываются в буквы, а из этих букв составляется слово и слово это гласит — п-о-д-ж-о-г-». В юбилейном засѣданіи Сп. был совсѣм в ударѣ рѣчь его громила ликвидаторов эпохи

великих реформ, но характерной особенностью Сп., как и Арсеньева и всѣх вообще эпигонов шестидесятых годов, было, что они считали измѣну их завѣтам случайностью, объясняли ее неудачным выбором министров. Еще болѣе рѣзким, пожалуй, было выступленіе Фойницкаго, несмотря на его высокое званіе сенатора и на отмѣченную выше податливость разлагающему духу времени — его рѣчь прямо была направлена против комиссіи Муравьева, угрожавшей похоронами суд. уставов. По инициативѣ Петражицкаго, котораго это засѣданіе привело в величайшую ажитацію, мы тут же рѣшили в ближайшем номерѣ Права воспроизвести всѣ четыре рѣчи, причем этим ограничить содержаніе, чтобы сдѣлать болѣе выпуклым значеніе юбилея, и этот номер опять обратил на себя вниманіе и за предѣлами юридических кругов. Не нужно было однако, ждать юбилейных дат или экстраординарных случаев, повседневная жизнь так складывалась, что явленія, сами по себѣ ничѣм невыдающіяся, получали характер сенсацій. Так, дѣло по обвиненію братьев Скитских в убійствѣ неожиданно превратилось в настоящую cause célèbre благодаря грубѣйшим ошибкам предварительнаго слѣдствія, которое вообще не столько старалось раскрыть преступленіе, сколько демонстрировать перед начальством умѣнье находить виновных. Толковые отчеты спеціальнаго корреспондента снова обострили интерес широкой публики к Праву, а исторгнутое Н. П. Карабчевским, кажется, уже послѣ третьяго разбирательства дѣла, оправданіе обвиняемых вызвало горячее общественное сочувствіе, звучавшее упреком укореняющимся, в нарушеніе духа суд. уставов, порядкам. А затѣм разыгрались — дѣло Тальмы, в котором допущена была грубая судебная ошибка, дѣло Золотовой, изнасилованной судебн. слѣдователем и т. д. Оставаясь неизмѣнной, задача Права становилась все болѣе боевой.

В 1901 г. Право совершенно неожиданно получило новый цѣнный подарок, оказавшій огромное вліяніе и на мою дальнѣйшую судьбу и давшій возможность значительно расширить круг литературных связей и познакомиться с цѣлым рядом замѣчательных людей, воспоминанія о коих теперь так пріятно согрѣвают хладѣющее сердце. Однажды — было это зимой — устав от работы, я зашел к жившему неподалеку Лазаревскому, чтобы поболтать. Я застал у него незнакомца — его рослая, нѣсколько грузная и все же очень изящная породистая фигура невольно привлекала к себѣ вниманіе, а открытое благородное мужественное лицо с пытливыми глазами внушало неотразимое довѣріе. Это был потомок Рюриковичей — князь Петр Дмитріевич Долгоруков, крупный землевладѣлец Курской губ., предсѣдатель Суджанской земской управы, один из основателей и наиболѣе активных дѣятелей Союза Освобожденія. С того памятнаго дня между нами и установились дружескія отношенія, в теченіе 35 лѣт ни разу не омраченныя и всегда доставлявшія мнѣ большую радость. Я встрѣтился с ним в прошлом году в Прагѣ, гдѣ с очаровательной женой, напоминающей Винцентину Болеславовну, сельской учительницей, и двумя дѣтьми, он бодро живет в удручающих матеріальных условіях бѣженства. О том первом нашем свиданіи запомнилась сухая отрывистость рѣчи, дополняемой энергическими жестами ру-

ки и словно говорившей: к чему турусы на колесах подпускать? Вы же понимаете, что нужно. — В этом смыслѣ он и был типичным выразителем общаго настроенія: тогда дѣйствительно друг друга с полуслова понимали. А нужно было, как выяснилось, составить сборник статей, посвященных всесторонней разработкѣ вопроса о мелкой земской единицѣ. За этим безцвѣтным названіем скрывался животрепещущій вопрос о крестьянском равноправіи, о замѣнѣ сельскаго и волостного крестьянскаго управленія, сохранявшаго еще чувствительные остатки крѣпостного права, всесословной ячейкой, как основным звеном земскаго самоуправленія. Князь обратился по надлежащему адресу — Лазаревскій был несравненным знатоком и теоріи и практики государственнаго права, он и выразил готовность написать для сборника теоретическую статью о самоуправленіи, но от редакціонной работы рѣшительно отказался и, знакомя меня с Долгоруковым, сказал: вот как раз тот человѣк, который вам нужен. У меня было весьма поверхностное знаніе вопроса, я знал лишь по газетам и журналам, что он стоит на очереди в земских собраніях и раздѣляет земцев на страстных сторонников всесословной волости и рѣшительных противников, что съѣзд дѣятелей по кустарной промышленности высказался против мелкой земской единицы, а московскій сельско-хозяйственный съѣзд признал необходимым ея безотлагательное введеніе, я ощущал, что вопрос — животрепещущій, боевой. Это ощущеніе, в связи с развивавшейся — скажу, болѣзненной — жадностью к работѣ, которой и без того было уже достаточно, и толкнуло меня принять лестное предложеніе без размышленій.

В это время судьба послала мнѣ в полном смыслѣ незамѣнимаго помощника по Праву — М. И. Ганфмана, молодого юриста, недавно пріѣхавшаго в Петербург из Казани с письмом от проф. Шершеневича, горячо его рекомендовавшим. Но письмо оказалось лишним: внѣшость на меня всегда производила сильное впечатлѣніе и какая-нибудь казавшаяся непріятной черта внушала предубѣжденіе, которое трудно было преодолѣть. Стыдно сознаться — даже непріятный, непривѣтливый почерк вызывал предубѣжденіе против автора. Но все же мнѣ кажется, что бывают люди, внѣшность коих как бы гарантирует внутренніе качества. — К таким именно принадлежал Ганфман со своей красивой точеной головой, умными глазами, добродушной мягкой улыбкой, преждевременной полнотой и неловкими, неувѣренными движеніями и жестами. Мы быстро сблизились, он стал членом семьи моей и преданнѣйшим заботливым другом. Невѣрно, будто быть друзьями значит имѣть одну душу в двух тѣлах. Естественнѣй, что сходятся люди с противоположными свойствами, и в данном случаѣ его нерѣшительность была благодѣтельным противовѣсом моей импульсивности, от которой ему приходилось не раз незаслуженно и несправедливо терпѣть. В Правѣ он начал работу с составленія отчетов о сенатских засѣданіях и эти отчеты могли бы служить образцом сжатаго, точнаго и яркаго изложенія рѣшенной юридической контраверзы. Но главный, особенный талант, которому соотвѣтствовала и душевная склонность, выражался в замѣчательном умѣньѣ подать мудрый совѣт, и этот талант свидѣтельствовал о чуткой и трезвой оріентаціи

в политической и общественной обстановкѣ и о знаніи людей. Так мы и проработали с Ганфманом уже почти безпрерывно до эмиграціи, которая развела нас в разныя страны. Скажу здѣсь, не обинуясь, что теперь большим утѣшеніем служит воспоминаніе, как я всегда старался окружать себя людьми талантливыми, испытывал величайшее наслажденіе, когда встрѣчал их, мог схватить за шиворот и прикрѣпить к Праву. Таким же отличным работником в Правѣ и мудрѣйшим совѣтником был помощник мой Я. Г. Фрумкин, занявшій потом выдающееся положеніе в самом крупном берлинском литературном предпріятіи. В Правѣ начал свою работу блестящій цивилист проф. В. Б. Ельяшевич, из Права вышел преждевременно умершій Г. Н. Штильман, потом соредактор «Новаго Пути» и редактор «Слова», в Правѣ я почти насильно заставил дебютировать И. М. Страховскаго бывшей настоящей сенсаціей статьей, в которой он перечислял, к общему удивленію, многочисленные сохранившіеся в законодательствѣ «Остатки крѣпостного права».

Когда я сообщил Ганфману о принятом предложеніи кн. Долгорукова, он ужаснулся, но, так как разсуждать уже было поздно, то мы и принялись за работу. Труднѣе было убѣдить редакцію Права связаться через этот сборник с земскими кругами. Рѣшительным противником сборника выступил именно земскій дѣятель В. Д. Кузьмин Караваев, профессор уголовнаго права в Военно-юридической Академіи, состоявшій тогда членом нашей редакціи. Блеск военнаго мундира — полковника, а затѣм и генерала, — создавал ему большую популярность в либеральных кругах, к которым он тяготѣл. Его очень цѣнили в редакціи «Вѣстника Европы», и К. К. Арсеньев говорил мнѣ о нем, как об отличном ораторѣ и публицистѣ. По моему, он был лишь хорошим популяризатором чужих мыслей и страдал отсутствіем всякой творческой способности. В концѣ концов удалось сломить его утомительное упрямство и сборник вышел под заголовком: «Изданіе кн. П. Д. Долгорукова и кн. Д. И. Шаховского при участіи газеты Право». Вот он лежит предо мной — этот сборник, преподнесенный здѣсь, в Берлинѣ в подарок одним пріятелем: читаю в оглавленіи имена Арсеньева, Лазаревскаго, проф. Виноградова, проф. М. Ковалевскаго, В. Спасовича, В. Скалона. Боже мой, а статья о «Мѣстном самоуправленіи в древней Руси» принадлежит перу короля «красной профессуры» М. Н. Покровскаго — тогда лев еще возлежал рядом с ягненком. Сборник и впрямь удался на славу, всесторонне освѣтил поставленную тему и успѣх книги был необычайным — так живо вспоминается удивленіе, которое вызывали телеграммы из разных захолустій, требовавшія немедленной высылки возможно большаго числа экземпляров, и через двѣ недѣли пришлось приступить к печатанію второго изданія. Так ярко встают перед глазами всѣ детали шумнаго успѣха, точно вчера это было, но такая бездна вырыта уже между этим вчера и сегодня, что, держа в руках сборник, я не могу отвязаться от назойливо прокрадывающагося в память гоголевскаго Ивана Никифоровича, развѣшивающаго во дворѣ свой старый скарб, чтобы его провѣтрить. И тут произошло нѣчто совсѣм уже странное, стирающее грани между реальностью и фантазіей: я сказал,

что рядом с Долгоруковым на обложкѣ стоит и фамилія его соиздателя, кн. Д. И. Шаховского, и только что передо мной стал из тумана прошлаго вырисовываться его плѣнительный образ и я напрягал воображеніе, чтобы не дать ему расплыться, — как в дверь постучались и вошел... Димитрій Ивановичъ. Ну, конечно, не сам Димитрій Иванович, он остался в Петербургѣ и между нами воздвиглось большевицкое средостѣніе. Вошел другой, бывшій кн. Шаховской, в разсѣяніи ставшій іеромонахом, отец Іоанн, посланный в мір настоятелем одной из берлинских церквей. Если бы такой человѣк нашелся в Содомѣ, город был бы прощен, и многое простится эмиграции, среди которой мог появиться такой подвижник. Он сам поясняет, что «мученик по гречески означает свидѣтель, и свидѣтель истины Божьей в мірѣ есть всегда мученик. Ибо преодолѣвать ему надо терніе собственнаго сердца и шипы дьявола и всего міра». А если бы отец Іоанн был сыном Димитрія Ивановича, больше сходства быть бы не могло: это прекрасное лицо — не лицо, а лик Христа, прозрачной блѣдностью отрѣшенный от плоти, ровным пламенем горящіе глаза, то и дѣло прикрываемые вѣками, чтобы взглянуть внутрь себя, эта улыбка, слегка заволакивающая страдальческія тѣни, это неожиданное появленіе и такое-же внезапное прощаніе, это бореніе размѣренной вдумчивости с тревожной порывистостью, что не ждет зова, а сама рыщет, учуяв, гдѣ горе слышится. Невольно почудилось, что и теперь он так неожиданно появился, чтобы помочь работѣ памяти и воображенія, и когда он близко против меня усѣлся, за спиной отчетливо встала тѣнь его родича, вмѣстѣ со мной внимавшая горячей, любовью насыщенной рѣчи: «Я вѣдь не больше , чѣм собачка, которая бѣгает вокруг стада и лает, чтобы предостеречь от опасности, чтобы разбудить душу, чтобы заставить открыть глаза... Всѣ люди больны, и я хочу имѣть ненависть ко всякой не Его правдѣ». Такой-же собачкой был и Димитрій Иванович, также всюду старался поспѣть, чтобы напомнить о долгѣ совѣсти, не только хотѣл, но и подлинно горѣл ненавистью к неправдѣ, насилію над человѣком и не скрывал чувств своих. Раздосадованный этим, грозный министр внутренних дѣл Плеве вызвал Димитрія Ивановича к себѣ, чтобы сдѣлать ему выговор и пригрозить административными карами. Послѣ этого визита Д. И. прибѣжал ко мнѣ в необычном видѣ: растрепанная борода была подстрижена, волосы приглажены и небрежность костюма уступила принаряженности, но — главное — он весь сіял, был счастлив, что ему удалось поговорить непосредственно с вершителем судеб родины и объяснить гибельность его политики. «Плеве не хотѣл понять меня и все таки грозил ссылкой, ну, досвиданья, прощайте!» И с этой неизмѣнной формулой вдруг сорвался с мѣста. За долгіе годы нашего знакомства, временами ежедневных встрѣч, я, кажется, ни разу не слышал от него чего либо, что не имѣло отношенія к его ненависти к неправдѣ.

Долгоруков и Шаховской не были издателями за свой счет, а являлись представителями тогда еще совсѣм небольшого земскаго кружка, присвоившаго себѣ названіе «Бесѣда», с которым мнѣ вскорѣ довелось познакомиться. Шумный успѣх Мелкой Земской Единицы естественно породил желаніе

продолжать это дѣло и весьма соблазнительный матеріал давало созванное тогда Витте Совѣщаніе о нуждах сельско-хозяйственной промышленности. Выработанная совѣщаніем обширная программа вопросов передана была на мѣста в образованные губернскіе и уѣздные комитеты, которые отнеслись к поставленной им задачѣ с большой серьезностью и энергіей, и труды комитетов изданы были в десятках томов, содержавших цѣннѣйшія свѣдѣнія и соображенія об экономическом и политическом положеніи страны и, главным образом, деревни. Я и предложил Долгорукову издать новый сборник, посвященный разработкѣ затронутых и освѣщенных в Трудах вопросов и был приглашен в Москву для подробнаго изложенія членам «Бесѣды» намѣченнаго плана. Засѣданія происходили в великолѣпном старинном особнякѣ князей Долгоруковых, в одной из комнат нижняго, довольно мрачнаго этажа, в которой когда-то Карамзин писал «Исторію Государства Россійскаго». Шаховской в своих воспоминаніях о Союзѣ Освобожденія утверждает, что в началѣ «Бесѣда» состояла из шести членов, в том числѣ пяти предводителей дворянства: я вспоминаю угрюмаго фыркающаго кн. Волконскаго (Рязанская губ.), двух неуравновѣшенных сангвиников Н. Н. Львова (Саратовская губ.) и А. А. Стаховича (Орловская губ.) и близнеца Петра Долгорукова — Павла (Московская губ.), до курьеза друг на друга похожих не только лицом, ростом, манерами, но и голосом и почерком и если под письмом стояла подпись: кн. П. Долгоруков, то лишь из содержанія письма можно было узнать, написано ли оно Петром или Павлом. Душевным складом братья однако очень разнились — Петр стал искренним демократом, у Павла были еще крѣпки его аристократическія родственныя связи. Но со времени войны он значительно опростился, а октябрьскій переворот сдѣлал его фанатическим врагом большевиков и заговорщиком, он продѣлал всю гражданскую войну на югѣ Россіи и в изгнаніи весь поглощен был задачей борьбы с совѣтской властью. По мѣрѣ-же того, как борьба все больше вырождалась в словоговореніе, обострявшее внутренній разлад и распад эмиграціи, князя Павла все больше охватывала тоска по родинѣ и он рѣшил туда вернуться, не отдавая себѣ, повидимому, яснаго отчета, какія практическія цѣли его влекут. Переодѣтый странником, он был на самой границѣ арестован, но по счастью не узнан и послѣ нѣскольких дней пребыванія во власти ГПУ препровожден обратно через польскую границу. Но он уже был одержим мыслью и тоской по родинѣ, чувствовал себя чужим в эмиграціи и горько жаловался: «А парижская общественность все объединялась и возглавлялась и М. М. Федоров все хлопотал». Сам он жил в пятидесятифранковой холодной мансардѣ с керосиновым освѣщеніем и отопленіем, на седьмом этажѣ, по крутой черной, совершенно темной лѣстницѣ, и на указаніе друга, что нельзя так высоко взбираться, отвѣтил: «Да, в бѣженствѣ я подымаюсь все выше и выше, а не опускаюсь». Год спустя он снова, на этот раз через Бессарабію, направился на родину, побывал в Харьковѣ и оттуда, пробираясь в Москву, рѣшил навѣстить свою восьмидесятилѣтнюю тетку — игуменью мать Магдалину, бывшую графиню Орлову-Давыдову, основавшую в Серпуховском уѣздѣ женскій монастырь. Но теперь за ним слѣдили,

на станціи Лопасня Московско-Курской ж. д. арестовали, вмѣстѣ с рядом лиц, которых он по пути посѣтил, и разстрѣляли. Передо мною лежат двѣ густо исписанныя тетради посмертных записок, которыя он из Кишинева послал брату Петру, поручив передать мнѣ для напечатанія, чего, к сожалѣнію, по бѣженским условіям, сдѣлать пока не удалось. Эти записки, не уступающія лѣтописи в сдержанности и безпристрастіи, живописуют страшный мартиролог бѣлаго движенія, среди котораго он, закрыв глаза на обреченность, тѣсно прижавшись к арміи и свято храня, как послѣднее достояніе, свою принадлежность к кадетской партіи, двадцать раз начинал в разных городах изданіе газет, составлял и распространял листовки и воззванія, читал лекціи и доклады, строго проводя кадетскую идеологію и упрямо пытаясь словесным маслом залить бушующія волны. Мнѣ бросилась в глаза одна запись в этих тетрадях: «Феодосія, куда я впервые попал, связана с воспоминаніем дѣтства, так как в нашем подмосковном имѣніи в церкви похоронен В. М. Долгоруков-Крымскій, покорившій восточную часть Крыма, и в залѣ дома висѣли два огромных плана-картины взятія им Феодосіи и Керчи и турецкаго флота. А во дворѣ стояли подаренныя ему Екатериной II пушки с серебряными планками, отбитыя у турок в этих сраженіях». Образ славнаго предка, вѣроятно, служил ему звѣздой, которая манила видѣніями подвига, во имя спасенія родины, и отвлекала мысли от обреченности бѣлаго движенія. Но развѣ-же это не странно: как раз сегодня пока я держал в руках тетради Павла Дмитріевича, почтальон принес письмо из Праги от Петра Дмитріевича, начинающееся словами: «С огромным опозданіем удается мнѣ, наконец, исполнить мое задушевное желаніе поздравить вас. . .» Поздравленіе относится к событію, имѣвшему мѣсто ровно два мѣсяца тому назад, а исполненіе желанія пріурочилось именно к тому моменту, когда и я, с своей стороны, цѣликом был прикован к отрадным вопоминаніям о нашей совмѣстной дѣятельности.

Мой проект изданія второго сборника был одобрен «Бесѣдой» и вслѣд засим в Петербургѣ состоялось многочисленное собраніе из земцев и литераторов для обсужденія разработанной Гаифманом программы, которая и была цѣликом принята. Работа оказалась нелегкой, ибо нужно было разобраться в грудѣ матеріалов, печатных и гектографированных, которые Витте, в отвѣт на мою просьбу, любезно прислал, и снабдить авторов соотвѣтствующими их темам частями. Но тогда работа не утомляла, а напротив возбуждала и этот второй сборник, появившійся в двух внушительных томах под названіем «Нужды деревни» — первый посвящен был вопросам культурно-правовым, второй экономическим — вышел не менѣе удачным, а воздѣйствіе его на сформированіе общественнаго мнѣнія оказалось еще много болѣе серьезным. В цитированных уже воспоминаніях князя Шаховского, между прочим, указано, что сборники послужили к сближенію земской группы с интеллигенціей и подготовили почву для общей политической дѣятельности, причем «связующим звеном» была редакція «Права». Земцы относились к представителям интеллигенціи с преувеличенным почтеніем и жадно впитывали ея взгляды и настроенія. Но мое восхищеніе не уступало их поч-

тительности, я гордился и утопал в наслажденіи общенія с ними — это были главным образом члены редакціи «Русское Богатство» и народническіе круги, к ней примыкающіе. Только что оперившіеся соціал-демократы, узники классоваго сознанія, рьяно блюли чистоту риз своих и потому держались обособленно, всячески уклонялись от общих дѣйствій с другими кругами, избѣгали ходить на совѣт нечестивых и притязали на признаніе за ними крайняго мѣста на лѣвом флангѣ общественности, считавшагося наиболѣе почетным в общественном мнѣніи. Народники оспаривали это мѣсто на основаніи своего революціоннаго старшинства. Одно из первых публичных состязаній между этими группами произошло на банкетѣ, устроенном в честь 40-лѣтія литературной дѣятельности Н. К. Михайловскаго, а формальное разрѣшеніе воскресшее мѣстничество получило лишь в Государственной Думѣ, послѣ жарких споров, при распредѣленіи мѣст в залѣ засѣданій. Я и сейчас не мог бы объяснить, как случилось, что Покровскій будущій столп «красной профессуры» рискнул принять участіе очень дѣльной статьей в Мелкой Земской Единицѣ, и не сомнѣваюсь, что вспоминал он об этом, как о грѣхопаденіи. Были, конечно, и среди народников поклонники геральдики, вродѣ одного из редакторов «Русскаго Богатства» В. А. Мякотина, который написал монографію о протопопѣ Аввакумѣ и сам заслужил эту кличку, — он тоже отказался от участія в наших сборниках. Но разница была в том, что у с.-демократов обособленность диктовалась правильной или абсурдной, но живой практической идеей воспитанія классоваго сознанія, а у народников культ революціоннаго дворянства был самодовлѣющим, а потому мертвящим и служил источником нетерпимости и предразсудков, отражаясь рутиной и тенденціозностью на литературном творчествѣ. Когда я, благодаря успѣхам «Права», удостоился чести приглашенія на «четверги» «Русскаго Богатства» (которыми лишь в видѣ исключенія мог воспользоваться, ибо и засѣданія «Права» происходили по четвергам), я чувствовал себя под покровительственно снисходительными взглядами много болѣе стѣсненным, чѣм в Тулѣ, среди столь чужого мнѣ по воспитанію и міросозерцанію кровнаго дворянства. Но вообще у них в редакціи было как-то заговорщически мрачно, ритуально, без алканія и дерзновенія. Оживленіе вносил только Н. Ф. Анненскій, совершенно очаровательный в своей жизнерадостности, превозмогавшій серьезную сердечную болѣзнь добродушной непреклонностью, неугасимым духом общественности, тонким остроуміем. Он был горячим сторонником, как теперь выражаются, «единаго фронта» и, чтобы обойти полицейскіе запреты, организовал «кулинарное единеніе» — ужины в какой-то второразрядной кухмистерской Иванова, гдѣ устраивались купеческія свадебныя трапезы и гдѣ за два рубля с персоны нас потчевали какой-то сомнительной рыбой, которую Николай Федорович называл лабарданом. Сначала за этими ужинами велась непринужденная безформенная бесѣда о текущих событіях, но постепенно они все больше оформлялись в обсужденіе того или другого очередного политическаго вопроса, и неизмѣнно предсѣдательствовавшій Анненскій весьма умѣло направлял разговоры к претворенію в дѣйствія, в какое нибудь оказательство. Поднять настроеніе, взбудо-

ражить общественное мнѣніе, приковать вниманіе к какой-нибудь яркой несправедливости режима — в этом он видѣл задачу своей жизни и выполнял ее с возбужденной энергіей и все поднимавшимся діапазоном краснорѣчія, но охотнѣй предоставлял говорить другим.

Ужины с лабарданом собирали нѣсколько десятков человѣк, здѣсь кучка интеллигенціи варилась в собственном соку. Чтобы придать оказательству болѣе серьезное значеніе, требовалась широкая арена, и благодарным поводом были всякаго рода юбилеи. Первая попытка — отпраздновать банкетом двухстолѣтіе печати кончилась неудачно: в день Новаго Года полицейскіе пристава объѣздили всѣх участников и любезно сообщили распоряженіе градоначальника о запрещеніи банкета. Послѣ юбилея Михайловскаго слѣдующим в 1903 году устроен был чрезвычайно торжественный банкет в честь В. Г. Короленко, который, хотя и был редактором «Русскаго Богатства», но большей частью жил тогда в своей родной Полтавѣ. По врожденной скромности он всячески уклонялся от чествованія, но вынужден был уступить настояніям товарищей своих, которым важно было воспользоваться этим случаем для протеста. В комитет по организаціи празднества, в котором участвовали Мафусаил литературы П. И. Вейнберг, Анненскій, Пѣшехонов, Батюшков и сам Михайловскій, был приглашен и я. Засѣданія происходили на Фонтанкѣ у Невскаго, в мрачной квартирѣ Вейнберга со сводчатыми потолками, представлявшей настоящій музей фотографій писателей, артистов, художников с их автографами; фотографіями были увѣшаны стѣны, уставлены не только столы, но и подоконники. Я был в состояніи близком к опьяненію. Легко ли было, в самом дѣлѣ, освоить, что я сижу рядом и, как равноправный член, обсуждаю общественный вопрос с Михайловским, котораго в юности умственным взором видѣл на недосягаемой высотѣ и каждому слову котораго внимал покорно и безотвѣтно. А тут еще мнѣ предложили выступить с рѣчью на банкетѣ, и мнѣ казалось, что такого счастья не выдержать. Ораторское выступленіе давно уже стало предѣлом мечтаній, ничего болѣе заманчиваго я себѣ представить не мог — так оно, впрочем, осталось и до сих пор, но, вѣроятно, потому именно публичное выступленіе волновало свыше всякой мѣры. Впервые я прочел доклад в юридическом обществѣ: «Юридическая литература для народа», напечатанный потом отдѣльной брошюрой. В засѣданіи было человѣк 30, читал я по рукописи — в первый и послѣдній раз, потом с огромными усиліями заставлял себя подражать Пассоверу, — но руки дрожали, я с трудом разбирал написанное и с трудом-же голос подымался выше шопота. Теперь-же предстояло довѣриться памяти и логическому сцѣпленію мыслей и говорить не в интимной обстановкѣ, а в торжественном собраніи нѣскольких сот человѣк. Я взял темой из разсказа «Парадокс» неожиданный в устах страшнаго урода афоризм:: Человѣк рожден для счастья, как птица для полета» и с этой точки зрѣнія освѣщал творчество Короленки, его сострадательное участливое отношеніе к людям, его глубокое уваженіе к человѣческому достоинству и проникновенную любовь к дѣтям. На пути к предназначенному человѣку счастью Короленко, чуждый всему ирраціональному в человѣческой

душѣ, знает только внѣшнія препятствія, и указаніе на них давало возможность окрасить рѣчь политическим оттѣнком. Банкет удался как нельзя лучше, собрав в шикарных залах «Контана» человѣк 400, сливки столичной литературы и публицистики. Господи! как я волновался, как трепетал в ожиданіи вызова своей фамиліи, нѣсколько раз принимал валеріановыя капли, а сидѣвшая рядом жена, органически чуждая жаждѣ апплодисментов, умоляла отказаться от выступленія, обостряя этим мои колебанія. Когда я уже встал, услышав свою фамилію, и кругом воцарилась такая тишина, что я слышал громко колотившееся сердце, я все еще не был увѣрен, что язык будет повиноваться, увидѣл повернувшееся ко мнѣ красное лицо предсѣдательствовавшаго Михайловскаго с острыми зелеными глазами, как бы спрашивавшими: ну ка, ну ка, послушаем этого новичка. Сначала я слышал собственный голос, точно говорил кто-то рядом со мной, а сам только и думал, дойдет ли он благополучно до конца, но когда сидѣвшая недалеко издательница «Нивы» Маркс громко сказала: браво, браво, — по поводу замѣчанія об отношеніи Короленко к дѣтям, я вдруг оправился, овладѣл своим голосом и был награжден бурным одобреніем. Кажется, что я не испытывал состоянія болѣе блаженнаго, чѣм момент окончанія публичной рѣчи, когда весь в испаринѣ усаживаешься на мѣсто и рукоплесканія кажутся освѣжающим лѣтним дождем и хотѣлось бы начать вновь сначала. Нѣт, тут не только жажда хлопков, а столь недостающая писателю радость непосредственнаго общенія со своим адресатом, непосредственное ощущеніе воздѣйствія сказаннаго. Такой популярный в свое время литератор, как Щедрин, остро испытывал отсутствіе связи с читателем и жаловался, что «писатель пописывает, читатель почитывает», а между ними глухая стѣна. Я всегда силился сдѣлать ее проницаемой, воображеніе замѣняло телевизію и думаю, что и нѣскольких строчек не мог бы написать, если бы не стояла перед глазами фигура читателя — друга или, чаще, противника, которому хочется внушить свое убѣжденіе или отрѣзать путь к отступленію.

В тѣ времена публичное выступленіе доставляло неповторимое наслажденіе, оно было подлинным: твоя от твоих тебѣ приносяща, оратору не приходилось поднимать настроеніе, напротив, настроеніе зала его вдохновляло. Припоминаю, какой фурор вызвало прочитанное Таном-Богоразом довольно таки слабое стихотвореніе, в котором, между прочим была строчка: «Гдѣ, юноши, весна? Она у нас в душѣ. . .» Всѣ были полны радостных чаяній и никто не чуял грозовых вѣяній в атмосферѣ. Только сам юбиляр вспоминал свои дѣтскія впечатлѣнія, относившіеся к кануну освобожденія крестьян: «один свѣтлый вечер, с которым неразрывно связалось представленіе о чем то огромном, тяжелом, угрожающем, что наполняло собой всю жизнь, весь воздух этого вечера. Казалось, кто-то держит на себѣ это огромное и безформенное нѣчто, чтобы его повернуть и поставить на новое мѣсто. . . Сдержит ли, повернет ли, поставит ли?» Тогда опасенія оказались неосновательными, теперь-же таких вопросов никто не ставил, увѣренность у всѣх была полная. Она рѣшительно поддерживалась явной слабостью, судорожными колебаніями, отсутствіем ясной цѣли у правительства. Мнѣ это было наиболѣе оче-

видно. Между утренними занятіями в «Правѣ» и вечерними засѣданіями с горячими оживленными бесѣдами, в центрѣ коих стоял вопрос о благѣ родины, как мы его понимали, вклинивалось днем посѣщеніе министерства, гдѣ не было ни малѣйшаго одушевленія, гдѣ разговоры вращались вокруг балета и военных парадов, гдѣ Веревкин наставлял заботиться о стилисти-кѣ, а содержаніе разводить водицей, гдѣ за бумагой никто ничего не видѣл и в сущности царил фамусовскій принцип: «подписано и с плеч долой». Никто из сослуживцев ни разу не спросил меня о «Правѣ», вѣроятно, никто и не читал его, а большинство и не видѣло. Сюда, в мрачное зданіе, сквозь толстыя стѣны не проникали дуновенія общественной жизни, точно она вообще расцвѣтала на другой, простым глазом не видной планетѣ. Здѣсь-же бюрократическая машина по прежнему усердно и как будто без перебоя работала, но маховик вертѣлся уже на холостом ходу.

Первое столкновеніе с цензурой произошло на первом номерѣ 1903 года из за статьи — как это характерно, — орловскаго губернскаго предводителя дворянства, дѣйствительнаго статскаго совѣтника и камергера М. А. Стаховича, страстно бичевавшаго одно из вопіющих нарушеній законности. Статья предназначалась для «Орловскаго Вѣстника», но не была пропущена цензурой и передана автором нам. «Право» выходило без предварительной цензуры, но прежде чѣм номер сдан был на почту для разсылки, цензура успѣла предупредить, что номер будет конфискован, если статья не будет изъята редакціей. Пришлось покориться, а через нѣкоторое время статья появилась в основанном земцами заграничном журналѣ «Освобожденіе», что дало повод придворному журналисту кн. Мещерскому обвинить Стаховича в своем журналѣ «Гражданин», издававшемся на казенную субсидію, в нарушеніи присяги вѣрноподданнической. Стахович привлек Мещерскаго к суду по обвиненію в клеветѣ и от его имени обвинителями выступили два блестящих адвоката — Плевако и бывшій его помощник Маклаков, представлявшій, как оратор, полную противуположность своему патрону. Он сам говорил о патронѣ, что манера Плевако напоминала французское краснорѣчіе с его многословіем, напыщенностью, искусственностью языка и иногда сводилась просто к фейерверку. Напротив, рѣчи самого Маклакова являются прекраснѣйшим образцом русскаго ораторскаго искусства. Голос не обнаруживает ни малѣйшаго напряженія и рѣчь, отличающаяся изящной простотой и искренностью, несется с такой стремительностью, что кажется, будто оратор сам не в силах справиться с клокочущим потоком аргументов, и это держит слушателя в состояніи напряженнаго вниманія и сочувствія. И патрон и помощник оказались потом членами Государственной Думы, но выступленія Плевако были совершенно банальны и безцвѣтны, рѣчи-же Маклакова составляли парламентское событіе. Один из друзей его, бывшій московскій городской голова Челноков, разсказывал, что наканунѣ своих выступленій Маклаков обычно приходил к нему и перед ним одним произносил завтрашнюю рѣчь, тѣм-же голосом и с такой-же стремительностью, как с думской трибуны.

Ни кн. Мещерскій, ни Стахович на суд не явились, послѣдній в это вре-

мя был на Дальнем Востокѣ на театрѣ военных дѣйствій в качествѣ уполномоченнаго Краснаго Креста, чѣм аффектно воспользовался Плевако в своей рѣчи. Суд признал Мещерскаго виновным в клеветѣ, но затѣм судебная палата отмѣнила приговор и оправдала его.

Назначенный преемником убитаго Сипягина, В. К. Плеве начал свою дѣятельность с безпощаднаго усмиренія крестьянских волненій в Харьковской и Полтавской губерніях и при нем произвол возведен был в систему и стал красной нитью проходить через все внутреннее управленіе снизу и до верху. По утвержденію близкаго сотрудника его Крыжановскаго, Плеве любил говорить: «Россія это огромный воз, влекомый по скверной дорогѣ тощими клячами — чиновничеством. На возу сидят обыватели и общественные дѣятели и, на чем свѣт стоит, ругают власти, ставя в вину плохую дорогу. Вот этих-то господ слѣдует снять с воза и поставить в упряжку, пусть попробуют сами везти, а чиновников посадить с кнутом на козла, пускай подстегивают». Когда-же он внес в государственный совѣт проект организаціи совѣта по дѣлам мѣстнаго хозяйства и при обсужденіи предложено было создать его на выборном началѣ, Плеве заявил, что он согласен, но просил внести в журнал его особое мнѣніе, что за послѣдствія не отвѣчает. Иначе говоря, он отдавал себѣ отчет в потребностях времени, но взять на себя отвѣтственность не хотѣл и предпочел дѣйствовать полицейскими мѣрами, в которыя сам не вѣрил. К тому-же, по словам того-же Крыжановскаго, характер у Плеве был нестерпимый и имѣть с ним дѣло было невозможно, а безплодность полицейских репрессій еще больше его раздражала и озлобляла. Поэтому его управленіе оказало самое губительное вліяніе на правопорядок и ярко отразилось на хроникѣ Права, отмѣчавшей всѣ злоупотребленія и беззаконія власти. С каждым слѣдующим номером хроника все больше пухла и производила все большее впечатлѣніе на общество именно сухостью и безстрастіем изложенія, заставлявшаго читателя самому сдѣлать выводы, а цензурѣ придраться было не к чему.

На Пасхѣ разразился в Кишиневѣ еврейскій погром. В своих воспоминаніях Витте прямо указывает, что если нельзя утверждать, что Плеве непосредственно погром устроил, то во всяком случаѣ не был против «этого революціоннаго, по его мнѣнію, противодѣйствія». И, пожалуй, нелегко найти в исторіи случай, к которому болѣе удачно подходило бы выраженіе Фуше: «Это было больше чѣм преступленіе, это была ошибка». В «Правѣ» появилась тогда статья Набокова «Кишиневская кровавая баня», заклеймившая эту преступную ошибку в очень смѣлых выраженіях, и так велико и единодушно было общественное негодованіе, что правительство не рѣшилось и теперь наложить цензурную кару на журнал. Пострадал лишь сам автор, удаленный с государственной службы, а вскорѣ лишенный и придворнаго званія камер-юнкера. К концу этого года, как уже упомянуто в предыдущей главѣ, и мнѣ пришлось уйти из министерства. Теперь я думаю, что это слѣдовало сдѣлать годом раньше, когда послѣ ухода Гуссаковскаго мое положеніе рѣзко измѣнилось и, фактически, превратилось в обидную синекуру, но поглощенный «Правом», я этого тогда остро не ощущал.

Получив свой послужной список, я тотчас же был принят в сословіе петербургских присяжных повѣренных. Адвокатура меня всегда прельщала, как борьба за право, как отстаиванье обиженнаго и просто как рѣшеніе запутанных юридических задач. У нас адвокатура искони вѣков состояла на подозрѣнии и так и осталась пасынком судебной реформы. Повелительное требованіе этой реформы создать институт адвокатуры грозило даже отсрочить ея осуществленіе. И любопытно, что рѣшительным и принципіальным защитником явился К. Побѣдоносцев, впослѣдствіи непримиримый ликвидатор эпохи реформ Александра II. Положеніе адвокатуры по судебным уставам оказалось двойственным в основѣ своей. Устарѣлость и несправедливость матеріальных законов тяжелѣй всего отражалась на ея роли и репутаціи. Судья примѣнял закон, так-сказать, пассивно, по обязанности и это ему в вину не вмѣнялось. Адвокат активно отстаивал примѣненіе хотя бы и несправедливаго закона, и одіум с закона переносился на него, вопреки тому, что суд. уставы требуют от него присяги в точном, по крайнему разумѣнію, исполненіи законов и лишают права отказаться от защиты по назначенію суда. В моей практикѣ были такіе случаи: Избранный предсѣдателем Гос. Думы, С. А. Муромцев считал неудобным выступать в судах и, между прочим, просил меня закончить веденіе одного дѣла выступленіем в сенатѣ для поддержанія поданной им кассаціонной жалобы, за что я должен был получить соблазнительный гонорар в 4000 рублей. Когда же ко мнѣ явилась жалобщица, премилая старушка, то выяснилось, что в Уфимской губерніи покойный муж ея пріобрѣл у башкир участок земли в 4000 десятин в таких-то и таких-то границах, «болѣе или менѣе», как писалось в купчих крѣпостях, сколько окажется. А оказалось на дѣлѣ — 14.000 и башкиры предъявили иск о возвращеніи излишка земли против купчей крѣпости. Дѣло слушалось в Уфимском окружном судѣ, отказавшем в искѣ, в Казанской судебной палатѣ, удовлетворившей иск, в сенатѣ, отмѣнившем рѣшеніе палаты, в Саратовской судебной палатѣ, вновь признавшей правильность исковых требованій, и теперь предстояло вторичное разсмотрѣніе кас. жалобы. Не подлежало никакому сомнѣнію, что сенат вновь отмѣнит рѣшеніе, ибо закон был всецѣло на сторонѣ жалобщицы, которая очень искренне увѣряла, что нисколько не алчет выигрыша процесса, но не желает брать на себя отвѣтственности перед наслѣдниками. «Если сенат оставит мою жалобу без послѣдствій, пусть так и будет, но совѣсть моя перед наслѣдниками будет чиста. Умоляю вас, — доведите дѣло до конца, я охотно удвою гонорар». Положеніе было чрезвычайно щекотливое: позиція старушки была безукоризненна, но столь же безспорно было, что я должен уклониться от веденія дѣла, чтобы не взбудоражить очень чуткое тогда общественное мнѣніе против себя и, тѣм болѣе, против Муромцева, котораго «Новое Время» уже пыталось в большом фельетонѣ скомпрометировать за веденіе «неправаго дѣла». Уфимскіе депутаты — кадеты, которых я считал нужным посвятить в сдѣланное мнѣ предложеніе, испугались до смерти: «если вы, член Ц.К. кадетской партіи, выступите по этому дѣлу, репутація партіи в Уфѣ погибла навсегда». А отказываясь, я в глазах кліентки набрасывал тѣнь на Муромце-

ва. Я объяснил ей, что дѣло по закону настолько правое, что она выиграет даже и без адвоката, но, как Муромцеву, так и мнѣ, по условіям политическаго момента, неудобно брать на себя отстаиваніе ея интересов. Еще щекотливѣе было объясненіе с Муромцевым, котораго, в заключеніе, я просил не считать меня привередником, благодарил за оказанное довѣріе, и выразил надежду, что и впредь он не лишит меня такового. «С удовольствіем, непремѣнно, — отвѣтил Муромцев, лукаво подмигивая, — но вы должны знать, что эти крупные дѣла, — всегда с душком».

Но вот в другом случаѣ даже о «душкѣ» говорить нельзя было. Харьковское городское управленіе требовало досрочнаго уничтоженія концессіоннаго договора, заключеннаго с бельгійским обществом конно-желѣзных дорог, а оно оспаривало законность этого требованія и поручило Каминкѣ и мнѣ представлять его интересы в харьковской судебной палатѣ. Со всѣх сторон на нас стали насѣдать, чтобы мы от этого отказались. Я получил нѣсколько писем от гласных Думы и видных общественных дѣятелей, смѣло утверждавших, что позиція Общества проигрышная и что я не вправѣ подкрѣплять ее авторитетом своего имени. А к Каминкѣ явились Кокошкин и Набоков с такими же притязаніями. Они не хотѣли понять, что наш отказ, по мотивам, ими выставляемым, был бы по меньшей мѣрѣ некорректным в отношеніи довѣрителей и грубѣйшим нарушеніем профессіональнаго долга. Казалось бы, все это так просто: нельзя же объявлять дѣло неправым до рѣшенія суда — для того и существует суд, чтобы рѣшить, на чьей сторонѣ в данном случаѣ закон, а функція адвокатуры в том и состоит, чтобы в состязательном процессѣ выяснить перед судом и облегчить ему возможность взвѣсить доводы обѣих сторон. В своей замѣчательной статьѣ Побѣдоносцев отмѣчает и другое, еще болѣе важное значеніе адвокатуры, как противоядіе против опасности мертвящаго профессіонализма, который уничтожает содержаніе, сохраняя лишь бездушную форму, «дѣло разума и мысли превращает в дѣло безсмысленной привычки». Участіе адвоката, каждый раз интересующагося одним данным дѣлом, ограждает правосудіе от того, чтобы оно, как и всякое дѣло человѣческое, как бы ни было оно по началу своему разумно и духовно, не превратилось в механическій труд.

Адвокатура, однако, была для меня лишь подсобным занятіем, так сказать, отхожим промыслом. Трудно было совмѣстить адвокатскую практику с обязанностями редактора, требующими точнаго распредѣленія времени. Наиболѣе тягостно было без толку слоняться в коридорах суда, иногда в теченіе нѣскольких часов, в ожиданіи слушанія своего дѣла: суды не щадили чужого времени, стороны по всѣм назначенным к слушанію дѣлам вызывались к началу засѣданія и мучительно было праздно ждать своей очереди, зная, что дома ждет неотложная работа. Мнѣ думается, что это вынужденное бездѣлье не остается без слѣда на душевном строѣ адвокатов.

За время своего существованія с 1866 года адвокатура, параллельно со всѣм русским обществом, переживала періоды духовнаго и моральнаго подъема и упадка, теперь она находилась на подъемѣ, политическій оттѣнок ея дѣятельности все отчетливѣе выступал на первый план, по мѣрѣ того, как

произвол все сильнѣе расшатывал твердыни правосудія, и отношеніе суда к адвокатурѣ становилось все враждебнѣе. При таких условіях, хотя я и не принимал никакого участія в сословной жизни, но, как редактор «Права», много писавшій по сословным вопросам, и автор вышедшей тогда книги «Судебная реформа», доказывавшей, что печальная судьба ея была неизбѣжна в самодержавном строѣ, пользовался нѣкоторым признаніем, меня незаслуженно поставили на баллотировку в члены совѣта и выбрали руководителем конференціи помощников присяжных повѣренных.

Но мнѣ еще нужно вернуться далеко назад, к самому началу адвокатской практики. Первыми моими кліентами были два первой гильдіи московских купца-еврея, административно высылаемые из Москвы по распоряженію генерал-губернатора вел. кн. Сергѣя Александровича. На это противозаконное распоряженіе можно было жаловаться в сенат, но движеніе дѣл в первом департаментѣ сената затягивалось на долгіе годы и практически жалоба была для высылаемых безцѣльна. Поэтому я рѣшил обратиться к министру вн. дѣл и отправился на пріем к Плеве. Просителей, сидѣвших за огромным овальным столом, было человѣк 30. Появившись в сопровожденіи секретаря, Плеве, высокій, сутуловатый, с мрачным застывшим лицом, начал пріем с моего сосѣда и, обойдя вокруг стола, меня принял послѣдним, ушел и секретарь. Я подал ему два прошенія и кратко объяснил их сущность. «Да, — сказал он, — вы, повидимому, правы. Я разсмотрю ваши прошенія». Я поклонился и поблагодарил, но он прибавил: «Однако, вы не должны забывать, что в Москвѣ генерал-губернатором состоит его высочество». — «Знаю, ваше высокопревосходительство, но не могут же мои кліенты на этом основаніи отказаться от своих прав». Плеве, повидимому, спохватился, что совершил неловкость, обнажив ахиллесову пяту режима, и уже с раздраженіем прервал: «Но я же сказал, что постараюсь сдѣлать, что можно». Я снова поблагодарил и хотѣл откланяться, но он удержал меня: «Нѣт, вы очень кстати пришли, пожалуйте за мною, мнѣ нужно с вами поговорить». Тяжело ступая, он прошел в кабинет, усѣлся спиной к окну в одно из двух кресел, стоявших у письменнаго стола, мнѣ предложил сѣсть визави, лицом к свѣту и начал: «Я хотѣл переговорить с вами о «Правѣ» и сказать, что мнѣ рѣшительно не нравится направленіе вашего журнала». — «Это меня удивляет, — отвѣтил я — потому что еще ни разу Гл. управленіе по дѣлам печати не имѣло случая покарать нас за вредное направленіе». — «Пожалуйста, не дѣлайте невиннаго лица. Вы отлично понимаете, о чем я говорю и чѣм я недоволен и что такое ваша хроника. Имѣйте же в виду, что я накануне производства о вас жандармскаго дознанія, потому что, в сущности, «Право» является succursale Освобожденія». — «Для такого утвержденія у вас нѣт рѣшительно никаких основаній». — «Вы совершенно правы. Если бы у меня были основанія, мы бы с вами здѣсь не разговаривали, а сидѣли бы вы на скамьѣ подсудимых. А так как основанія у меня нѣт, но есть глубокое убѣжденіе, я и считаю долгом предупредить вас, что если вы дорожите пребываніем в Петербургѣ, измѣните ваше направленіе». — «Что ваше высокопревосходительство можете выслать

из Петербурга, мнѣ вполнѣ извѣстно». На атом разговор и кончился и впервые, в кабинетѣ министра вн. дѣл, я непосредственно ощутил, явственно осязал, что режим безсилен, и вышел из пресловутаго дома на Фонтанкѣ с чувством побѣдителя.

Хотя кишиневскій погром оказал воздѣйствіе, обратное тому, какого Плеве ожидал, и хотя застращиванія его тоже оказались безцѣльными и лишь укрѣпляли увѣренность в слабости власти, тѣм не менѣе это не образумило его, а напротив толкнуло еще на гораздо болѣе опасную и серьезную авантюру. В своих воспоминаніях Витте утверждает, что когда Куропаткин упрекал Плеве, что он, Плеве, единственный из министров, присоединился к своекорыстным аферистам, вовлекшим Россію в войну с Японіей, — Плеве отвѣтил: «Вы внутренняго положенія Россіи не знаете; чтобы удержать революцію, нам нужна маленькая побѣдоносная война». В частной бесѣдѣ со мною Витте гораздо рѣзче клеймил роль Плеве в возбужденіи войны с Японіей. Нельзя, однако, не прибавить, что, когда, уже послѣ первых неудач, я выразил сомнѣніе в благополучном исходѣ войны, Витте авторитетно сказал: «Вѣдь если бы крошечная Японія была у нас под боком, вы не сомнѣвались бы, что мы ее разгромим. Ну, а если она за 12 тысяч верст, то потребуется лишь больше времени, но результат останется тот же». Конечно, если бы это было так, то коварные расчеты Плеве оказались бы правильными, но самодержавіе проявило себя гораздо болѣе безсильным, чѣм можно было предполагать, и неудачная война завершилась революціей, отцом которой, по всей справедливости, и слѣдует считать Плеве. Он сам не дожил до этого результата: 15 іюля его разорвала бомба, несмотря на чрезмѣрныя предосторожности, принимаемыя для огражденія его безопасности. Между прочим, друг мой, лейб-медик Поляков, уже послѣ убійства, разсказывал, что, пользуя Плеве, он никогда не выписывал рецепта на его имя, а всегда на имя кого-нибудь из слуг, так велико было недовѣріе и оно было небезосновательно. Как ни ужасно, но убійство Плеве у всѣх вызвало вздох облегченія, а у многих радость, и, пожалуй, прежде всего в рядах самой бюрократіи, непосредственно знавшей и чувствовавшей, что, как выразился Крыжановскій, с Плеве никакого дѣла имѣть нельзя было. Князь С. Н. Трубецкой писал в «Правѣ» послѣ убійства: «Всѣ слушали и всѣ помнят, что говорилось повсюду я русском обществѣ послѣ трагической смерти Плеве, говорилось во всеуслышаніе, в клубах и на улицах, в ресторанах и в гостиных, всюду, гдѣ сходятся русскіе люди, говорилось, несмотря на ужас убійства».

Примѣрно за год до атого убійства, в Швейцаріи состоялась встрѣча нѣскольких земцев с литераторами разных направленій, и здѣсь было постановлено образовать нелегальный «Союз освобожденія». Слово «союз» должно было обозначать, что в организацію входят группы с различными программами, но объединяемыя цѣлью «освобожденія» Россіи от самодержавнаго режима. Большинство учредителей — Долгоруков, Шаховской, Родичев, Н. Львов — были мнѣ уже хорошо, отчасти дружески, знакомы. Из

литераторов были, главным образом, как и Струве, бывшіе марксисты С. Булгаков, Н. Бердяев, Б. Кистяковскій, С. Франк, выпустившіе тогда нашумѣвшій сборник статей «Проблемы идеализма». Тотчас же послѣ этого съѣзда, ко мнѣ явился один из учредителей, В. Богучарскій, с предложеніем вступить в организацію. Задача союза вполнѣ отвѣчала моим стремленіям, имена учредителей внушали большое уваженіе и я охотно дал свое согласіе. В самом началѣ января 1904 года состоялся первый съѣзд союза в Петербургѣ, и, хотя вопрос о программѣ был элиминирован, тѣм не менѣе совсѣм безцѣльно, на мой взгляд, споры то и дѣло ярко вспыхивали; так, напр., копья ломались из-за того, чтобы союзу предоставлено было дѣйствовать только среди буржуазіи, «народ» должен оставаться в сферѣ исключительнаго воздѣйствія революціонных партій. Это притязаніе было отвергнуто, но нѣсколько раз вновь предъявлялось в новых варіантах. Немало споров вызвало и самое названіе организаціи, словом, как исконн повелось, «меж ними все рождало споры». Высшим органом союза был Совѣт, который и рѣшил, тотчас послѣ съѣзда, начать свою дѣятельность с устройства по всей Россіи банкетов в годовщину освобожденія крестьян — 19 февраля. Этот день всегда отмѣчался остававшимися в живых участниками великой реформы товарищеской трапезой, а по мѣрѣ того, как с годами круг их рѣдѣл, хранителем традиціи стала редакція «Вѣстника Европы», вокруг которой вообще собирались всѣ маститые дѣятели 60-х годов — встрѣча служила воспоминаніям о прошлом. Теперь на очереди стояло будущее и на банкетах глас народа должен был потребовать, как тогда выражались, «увѣнчанія зданія» — завершенія эпохи 60-х годов введеніем конституціоннаго строя. Но когда всѣ приготовленія были уже в разгарѣ, вдруг в концѣ января разразилась война с Японіей. Начались патріотическія манифестаціи, вниманіе общества отвлечено было в сторону и казалось безтактным и рискованным в такой момент предъявлять правительству требованія внутренняго преобразованія. Стоило однако не малых усилій убѣдить товарищей в необходимости отсрочки, зря губившей всѣ уже затраченныя организаціонныя усилія, до другой юбилейной даты — 40-лѣтія судебных уставов 20 ноября. Самым вѣским доводом в пользу отсрочки оказалась послѣдовавшая в день объявленія войны внезапная смерть Н. К. Михайловскаго — его похороны, при обычных условіях, превратились бы в крупное общественное событіе, а теперь прошли вяло и мало замѣтно, газеты поглощены были ошеломительными извѣстіями о полной нашей неподготовленности. Систематическія неудачи стали преслѣдовать нашу армію и флот с первых же дней, роковая война сразу показала, что самодержавный режим является колоссом на глиняных ногах, и враждебное правительству настроеніе стало быстро расти и шириться. Перед Пасхой созвано было засѣданіе Совѣта для обсужденія экстравагантнаго предложенія группы офицеров. План их состоял в том, чтобы с такой-же внезапностью, как японцы вывели из строя наш порт-артурскій флот, захватить в столицѣ арсеналы и совершить coup d'état, причем Совѣту предназначалась роль временнаго правительства. В этом засѣданіи участвовал и Короленко и он, с присущею ему мягкостью, но

весьма рѣшительно доказывал, что не слѣдует входить в обсужденіе плана — он должен быть принципіально отвергнут, и всѣ с ним согласились.

В это время мнѣ довольно часто приходилось бывать и подробно бесѣдовать с Витте. Поводом к знакомству послужил сборник «Нужды деревни», экземпляр коего я ему послал с благодарственным письмом за доставленные нам матеріалы с.-х. совѣщанія. По проискам Плеве оно тогда было уже закрыто и крестьянскій вопрос передан в вѣдѣніе исконнаго врага Витте — Горемыкина. Витте пригласил меня к себѣ и поразил несвойственной тогдашним сановникам непринужденной простотой, переходившей в грубоватыя манеры, и демонстративной откровенностью, желаніем отгородиться от того, что вокруг совершается, в особенности от Плеве и от войны, которую он тщетно старался предотвратить. Во время бесѣды он порывисто вскакивал с кресла и шагал по кабинету, широко раскидывая длинныя, как бы развинченныя ноги и, с полуслова улавливая мысль собесѣдника, постоянно перебивал его и сам, непріятным гнусавым голосом, бросал отрывистыя фразы, требовавшія усилій, чтобы раскрыть их содержаніе. Блестящей особенностью его была интуиція и сам он увѣренно утверждал, что основные начала политической экономіи «есть просто пустяки и выдумка людская... (Современная реальность не подтверждает ли столь еретическій взгляд?) Государственному банкиру прежде всего требуется умѣнье охватывать финансовыя настроенія». Эта особенность, служившая возбудителем и источником творческой мысли, рѣзко выдѣляла его на фонѣ бюрократіи, утопавшей в бумажном морѣ и поглощенной заботой о формѣ, о стилистикѣ. Он стилистику и форму совершенно игнорировал и она его тоже не взлюбила: рѣчь его, как и письменное изложеніе отличались неправильностью и были тяжеловѣсны. Немало пришлось послѣ его смерти поработать над толстыми тетрадями его воспоминаній, чтобы придать им нѣкоторую стройность и послѣдовательность. На мой взгляд он был самым выдающимся государственным дѣятелем пореформенной Россіи. Какое бы мѣсто он ни занимал, он дѣлал его замѣтным, осуществляя благочестивое пожеланіе поговорки, что не мѣсто красит человѣка, а человѣк мѣсто. В его карьерѣ не было ничего случайнаго: неуклонно повышаясь, он раньше или позже должен был дойти до поста министра. Но историческое имя доставила ему удачно сложившаяся обстановка, для которой он оказался наиболѣе подходящим человѣком. На пост министра финансов он призван был в 1892 году, то-есть в момент перелома общественнаго настроенія, когда, как уже упоминалось, неспособность власти справиться с послѣдствіями неурожая властно поставила в порядок дня вопрос о переходѣ Россіи к болѣе развитым экономическим формам — к капиталистическому строю, в свою очередь требующему правового порядка. Для осуществленія такой задачи естественно больше годился бы представитель нарождающейся промышленности, но такая мысль показалась бы кощунственной властвующей бюрократіи, представлявшей кровь от крови и плоть от плоти дворянства, которому индустріализація Россіи грозила окончательным разореніем. Витте очень кичился дворянским происхожденіем, а в душѣ был настоящим разночинцем. Всѣ его симпатіи

были на сторонѣ неограниченнаго самодержавія, а «ум привел к заключенію, что другого выхода, как разумнаго ограниченія, нѣт». Такая двойственность и должна была разрѣшиться безпринципностью, значительно обостряемою тѣм сопротивленіем, явным и еще болѣе тайным, которое на каждом шагу встрѣчали смѣлыя экономическія реформы. Конечно противодѣйствіе давало новую пищу «заключеніям ума», но желаніе преодолѣть препятствія, разрубить Гордіев узел противодѣйствій еще сильнѣе влекло симпатіи к неограниченному самодержавію и приводило к старому компромиссу: «король неограничен, пока творит нашу волю». Этот компромисс давал ему в руки равное оружіе для борьбы с противниками. Таким образом все оказывалось в порядкѣ и заключенія ума нисколько не тревожили, пока счастье борьбы не измѣнило и не дало им торжества над симпатіями.

Я познакомился с Витте, когда он уже был уволен — так внезапно и грубо — с поста министра финансов и любил уличать своих коллег, в особенности своего злокозненнаго врага Плеве, в беззаконіях и произволѣ, искренне забыв, что, например, историческую реформу возстановленія золотого денежнаго обращенія сам провел с нарушеніем законнаго порядка, помимо государственнаго совѣта. Но и теперь он видѣл болѣзнь самодержавія в вѣдомственной розни, я же старался доказать ему, что это лишь симптом болѣзни, подобно тому, как кожная сыпь служит лишь признаком внутренняго недуга. По его убѣжденію для излеченія болѣзни достаточно было добиться объединенія дѣятельности министров, для чего и создать кабинет с премьером во главѣ, причем эта мысль не отрывалась от представленія себя в роли премьера. Я же пытался привлечь его вниманіе к конституціонному устройству, которое, за отсутствіем практической надобности, так мало его интересовало, что он не отличал пассивнаго избирательнаго права от активнаго. Послѣ первой бесѣды, вѣроятно, не без его подсказа, в «Гражданинѣ» Мещерскаго, читаемом государем, появилась статья, развивавшая мысль об образованіи кабинета министров, на что я отвѣтил статьей в «Правѣ», которое, как утверждает запись в дневникѣ Богданович, в 1904 г. лежало у государя на письменном столѣ. В отвѣт на эту статью Витте снова просил пріѣхать к нему для продолженія бесѣды, и моим успѣхом было, что, уѣзжая осенью в Сочи, он взял с собою руководства по государственному праву и, по возвращеніи, был оріентирован во всѣх основных вопросах. Отсюда позволительно было заключить, что эта тема пріобрѣла уже для высших сановников интерес практическій. Дѣйствительно, были этому и другія доказательства, весьма оригинальные: два товарища министра — В. И. Ковалевскій и Д. Философов обратились ко мнѣ с просьбой написать проект высочайшаго манифеста, в котором, в самых общих выраженіях, высказано было бы намѣреніе созвать народных представителей. Идея эта, по словам Ковалевскаго, принадлежала Управляющему Канцеляріей Его Величества барону Будбергу, который имѣл в виду представить такой проект государю для опубликованія на Пасхѣ. Практических результатов попытка не имѣла, но проект сохранился в бюрократических архивах и вмѣстѣ с нѣкоторыми другими матеріалами был представлен Витте в качествѣ «примѣр-

наго дѣла», при выработкѣ манифеста 17-го октября. Другая просьба, не менѣе неожиданная, исходила от министра земледѣлія А. С. Ермолова. В своем служебном кабинетѣ он просил меня доставить ему нелегальное изданіе — проект россійской конституціи, выработанный и изданный Союзом Освобожденія. Исполнив просьбу, я обратил его вниманіе, что нужно спѣшить, ибо положеніе быстро и катастрофически ухудшается, но он только развел руками: «Мы сдѣлали все возможное, чтобы убѣдить государя, но все было тщетно». При этом он вскользь упомянул и о попыткѣ Будберга.

Между тѣм назначеніе преемника убитому Плеве заставило себя ждать, сам он, послѣ убійства Сипягина, призван был на пост министра немедленно, а теперь дни смѣнялись недѣлями, но замѣщеніе столь важнаго поста и в такой напряженный момент все откладывалось. Чувствовалось совершенно отчетливо, что придворныя сферы и правительство колеблются, поэтому представлялось необходимым заговорить в печати болѣе откровенно и рѣшительно. В сущности все уже и было сказано, но выражено алгебраическими знаками, иносказаніями, теперь оставалось подставить реальныя величины, назвать вещи настоящими их именами. Если бы печатный орган прямо потребовал отмѣны самодержавія, редактор был бы предан суду по обвиненію в государственном преступленіи, поэтому слово «самодержавіе» замѣнялось «бюрократіей», введеніе конституціоннаго строя обозначалось словом «реформа» в противуположность «реформам». Но серьезность внутренняго положенія, ярко проступившая неспособность власти, в угрожающих условіях внѣшней опасности, повелительно требовали поставить вопрос ребром, снять маски, не считаясь с риском судебной отвѣтственности, который, впрочем, мнѣ лично и не представлялся значительным, в виду явных колебаній правительства. В августѣ я вынужден был уѣхать в Крым, так как усиленная работа стала замѣтно отражаться на сердцѣ, и оттуда в письмѣ высказал приведенныя соображенія наиболѣе близкому мнѣ в редакціи Каминкѣ, но он отвѣтил, что редакціонный комитет не согласится стать на предложенный путь. Для того момента это и было вѣрно, но друг мой не учел, что время значительно ускорило темпы. Вспоминается, например, такой случай: мы ѣхали с ним в Москву на съѣзд адвокатов. В вагонѣ я предложил прослушать статью А. В. Пѣшехонова «Война и отечество», которая не была пропущена цензурой для «Русскаго Богатства». Не успѣл я прочесть вступленіе, как Каминка заявил, что и рѣчи не может быть об ее опубликованіи — «Право» несомнѣнно было бы закрыто. Я и сам был того-же мнѣнія — блестяще написанная статья категорически требовала прекращенія жестокаго безсмысленнаго кровопролитія и немедленнаго заключенія мира. Но это нужно было сказать и стоило рискнуть. Когда через три дня мы вернулись, я, по окончаніи засѣданія ред. комитета, сообщил, что в портфелѣ имѣется еще одна статья, очень яркая и отвѣтственная, но возбуждающая большія сомнѣнія с цензурной точки зрѣнія. Товарищи выразили желаніе познакомиться с содержаніем и она произвела такое сильное впечатлѣніе, что никто не рѣшился произнести «нѣт»!, всѣ одинаково чувствовали, что наш долг перед родиной — статью напечатать, чѣм бы это журналу ни угрожало.

И когда кто-то вслух это высказал, послѣ минутнаго смущеннаго молчанія всѣ согласились и риск разрѣшился предостереженіем «Праву» за вредное направленіе, еще выше поднявшим престиж журнала.

Назначеніе князя Святополк-Мирскаго преемником Плеве послѣдовало лишь 26 августа и его заявленіе, что внутренняя политика должна покоиться на довѣріи к обществу, было воспринято, как отказ от полицейскаго абсолютизма убитаго министра, как провозглашеніе «весны». Усматривая в этом подтвержденіе правильности моего прогноза, я тотчас прервал свой отдых и в очень взволнованном состояніи выѣхал через Кіев в Петербург. В Кіевѣ я застал возбужденное настроеніе, провинція вообще была болѣе непосредственна, болѣе порывиста, и — скажу — болѣе искренна, чѣм холодный разсудочный Петербург. Мѣстная группа Освобожденія — Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Водовозов, кн. Е. Трубецкой, — насчитывала много интересных и выдающихся представителей интеллигенціи. Бердяева с его прекрасным лицом, искажаемым чудовищным тиком, и свѣтящагося благостностью и печалованіем Булгакова я уже знал, они обращались ко мне» предложеніем взять на себя редактированіе политическаго отдѣла начатом ими журнала «Новый путь», а я рекомендовал питомца «Права» Г. Н. Штильмана, который и дебютировал очень талантливой статьей о Плеве. Впервые видѣл я блестяще образованнаго государствовѣда Водовозова, настоящаго начетчика — ходячій справочник по государственному праву — и справка давалась всегда с исчерпывающей обстоятельностью и голос был обстоятельный, отчеканивающій и ударяющій на каждом слогѣ. Партійныя программы были его стихіей, в которой он чувствовал себя, как рыба в водѣ. По поводу его строгой принципіальности циркулировал в товарищеских кругах, больше похожій на анекдот, разсказ, как на пирушкѣ в загородном ресторанѣ он серьезно просил эстрадную хористку, присѣвшую к нему на колѣни, оставить его, так как партійная программа трудовой группы, к которой он принадлежал, не предусматривает такого случая. А исповѣданіем вѣры его была «четыреххвостка» — всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. Ему посчастливилось дожить до осуществленія своего идеала, когда, в 1917 г. при дѣятельном его участіи, выработана была для выборов в Учредительное Собраніе система не только по «четыреххвосткѣ», но еще рафинированная всѣми мельчайшими ухищреніями пропорціональности. Это идейное торжество обошлось слишком дорого — сладчайшая мечта об Учредительном Собраніи реализовалась в видѣ презрительной «учредилки», как ее сразу прозвали сами-же избранники. А затѣм, в тяжких условіях эмиграціи, усугубленных для него глухотой, пришлось наблюдать вездѣ закат парламентаризма, «четыреххвостка» с пропорціональностью превратилась в прочный трамплин для диктатуры, исповѣданіе вѣры было безжалостно разбито и также безжалостно он разбил свою жизнь, бросившись в Прагѣ под поѣзд.

Впервые увидѣл я и кн. Е. Н. Трубецкого, профессора кіевскаго университета, на рѣдкость обворожительнаго, с женственно-нѣжным выраженіем лица и мягким грудным голосом, с чуть грассирующим произношеніем,

и изящными манерами. Он так убѣдительно и проникновенно говорил, что я попросил его изложить свои мысли на бумагѣ, и просьбу он выполнил блестяще, его статья в «Правѣ» — «Война и бюрократія» произвела настоящій фурор, вездѣ можно было услышать фразы и выраженія, из нея взятыя, а нѣкоторые стали крылатыми (в особенности «дортуар в участкѣ» — так он характеризовал установившійся полицейскій режим), и редакція стала получать массу писем с выраженіем благодарности и сочувствія. Если статья не навлекла цензурной кары, то вѣроятно лишь потому, что, чувствуя, какое впечатлѣніе она произвела, начальство остановилось перед опасеніем еще сильнѣе подчеркнуть значеніе этого авторитетнаго выступленія, и от безсильной злобы пустило сплетню об еврейском воздѣйствіи на княжеское перо. А министр народнаго просвѣщенія отказался утвердить положеніе о стипендіи имени князя, на которую пожертвовал нѣсколько тысяч рублей просвѣщенный московскій богач Шахов.

В Петербургѣ к моему возвращенію, все вниманіе сосредоточилось на предстоявшем в началѣ ноября съѣздѣ земских и городских дѣятелей, рѣшившиx испросить у новаго министра разрѣшеніе на созыв такового. К этому времени в Петербург пріѣхал И. И. Петрункевич, с котораго кн. Мирскій снял много лѣт тяготѣвшее запрещеніе въѣзда в столицу, и появленіе этой замѣчательной фигуры имѣло значительное вліяніе на дальнѣйшій ход движенія. Пережившая его жена — красавица, в первом бракѣ графиня Панина, с которой он жил не то что душа в душу, а это была истинно одна душа в двух тѣлах, так предѣльна была их духовная сліянность, — Анастасія Сергѣевна начертала на памятникѣ мужу на пражском кладбищѣ первыя двѣ строчки из стихотворенія Пушкина: «Свободы сѣятель пустынный, я вышел рано, до звѣзды». Не знаю, считалась ли она с концом этого стихотворенія, выражающим сожалѣніе о потерянном времени и трудѣ, но первыя строки выбраны очень удачно. Так оно и было: Ивана Ильича по всей справедливости слѣдует считать отцом конституціоннаго движенія, начавшагося в эпоху великих реформ, и как характерно, что на этот путь он был поставлен еще в ранней юности одним из преподавателей кіевскаго кадетскаго корпуса, в котором воспитывался. Петрункевич начал свою общественную земскую дѣятельность в глухом Борзенском уѣздѣ Черниговской губерніи, гдѣ тоже нашлась группа людей 60-х годов. «Нас было очень мало, — говорил И. И., — но это нас не смущало, потому что наша программа выходила за предѣлы уѣзда и обнимала всю Россію». Уже в 1867 году он вдвоем со своим пріятелем выработал эту программу преобразованія государственнаго устройства Россіи на безсословных, конституціонных началах, отнюдь не путем насильственнаго переворота, и с этой программой, служившей ему путеводной звѣздой, прошел через всю свою долгую жизнь, вперив острые колючіе глаза в эту звѣзду, только ее и видя пред собою и не сбиваясь ни на іоту с указываемой ею дороги. На своем пути, отнюдь не усѣянном розами — его высылали сначала из Черниговской губерніи, а потом из Тверской, куда он переселился—, он не знал никаких компромиссов, его девизом было: выполняй свой долг и пусть будет, что будет! В качествѣ предсѣдателя ми-

рового съѣзда ему пришлось разбирать дѣло о нарушеніи строителями проводимой тогда Либаво-Роменской жел. дороги правил об отчужденіи частных земель для нужд дороги. Сами владѣльцы не стали бы возражать против допущенных нарушеній, но агент по отчужденію повздорил со строителями, подучил владѣльцев предъявить иск о нарушеніи владѣнія, который и был удовлетворен мир. судьей, а это должно было, как говорит сам И. И., повлечь за собой полное прекращеніе работ. Рѣшеніе обжаловано было в съѣзд мировых судей, и наканунѣ к И. И. явился исправник с телеграммой губернатора, воспрещавшей полиціи привести в исполненіе рѣшеніе об изъятіи отчужденных земель. Петрункевич отвѣтил, что в таком случаѣ он обратится к содѣйствію военной власти, и дѣйствительно получил от окончившаго двѣ военных академіи полкового командира, «по происхожденію поляка», обѣщаніе оказать содѣйствіе. Но когда одно из дѣл было уже заслушано, стороны просили о перерывѣ засѣданія на пять минут и потом заявили, что спор окончен примиреніем. «Много ли выиграли помѣщики, прибавляет И. И. мнѣ неизвѣстно, но в большом выигрышѣ был ловкій агент.» Пусть в данно случаѣ исполненіе закона грозило серьезным государственным вредом, а в выигрышѣ оставался мелкій корыстолюбец — все равно, у Фемиды глаза завязаны, она этого не видит.

Дневник А. С. Суворина открывается страшной бесѣдой между ним и Достоевским в день покушенія террористов на жизнь министра внутренних дѣл Лорис-Меликова. Достоевскій констатирует, что общество сочувствует террористам, и он сам не рѣшился бы донести властям о ставшем ему случайно извѣстным преступном намѣреніи. Выше я привел слова кн. С. Н. Трубецкого о сочувственном отношеніи всего русскаго общества к убійству Плеве. А Иван Ильич, будучи одинаково «против убійства из за угла, как и против висѣлицы», в разгар террористической дѣятельности, рискуя головой своей, пригласил, при посредствѣ мѣстных украинофилов, главарей южных террористов на совѣщаніе и долго настойчиво убѣждал пріостановить свою дѣятельность, предоставив земствам открыто потребовать от правительства проведенія реформ. Эта замѣчательная моральная цѣльность и несокрушимая принципіальная послѣдовательность, проявляемая одинаково, как в общественной, так и в частной жизни, не могли не встрѣтить всеобщаго почтительнаго признанія и глубокаго уваженія, а для самодержавнаго Олимпа, которому он был извѣстен, благодаря родственным связям жены, он был настоящим пугалом. «Против него нѣт никакого опредѣленнаго обвиненія, — отвѣтил министр внутренних дѣл И. Н. Дурново фрейлинѣ Озеровой, спрашивавшей, почему Петрункевичу запрещают жить в Москвѣ, — но около него собираются люди». Полицейскія наблюденія и аттестаціи обычно отличаются курьезной нелѣпостью и полным непониманіем обстановки, но в данном случаѣ утвержденіе Дурново блещет мѣткостью: дѣйствительно, гдѣ бы И. И. ни появлялся, вокруг него тотчас собирались люди, легко угадывая в нем надежнѣйшаго руководителя. Щепетильно-ревнивая вѣрность выбранной в юности путеводной звѣздѣ с теченіем времени превращала логическія убѣжденія в составную часть души, в инстинкт и развивала нѣкото-

рую односторонность и пристрастность, разное отношение к своим и чужим. На одних и тѣх-же вѣсах одним он отвѣшивал «с походом», для других снимал придирчиво с вѣсов даже и «imponderabilia». Ко мнѣ он сначала относился с большим расположеніем, но потом невзлюбил: во время революціи кадетскій Ц. К. рѣшил выпустить в свѣт біографіи виднѣйших членов партіи, я выбрал для себя Ивана Ильича и выполнил работу с искренней любовью и стараніем. Но рукопись, отосланная ред. коллегіей на предварительный просмотр самого И. И., вызвала острое негодованіе, он находил, что я умалил его роль и значеніе, и забраковал ее. Пріѣзд И. И. в Петербург накаyнѣ земскаго съѣзда, повторяю, имѣл рѣшающее вліяніе на дальнѣйшую судьбу всего движенія. Непререкаемым авторитетом в земской средѣ пользовался тогда предсѣдатель московской земской управы Д. Н. Шипов, котораго, к сожалѣнію, я почти совсѣм не знал. Он был из такого-же тѣста и столь-же умѣло выпечен, как и Петрункевич, но его несокрушимость не имѣла острых углов. У него было больше мягкости и обходительности, увеличивавших личное обаяніе. В противоположность Петрункевичу Шипов был убѣжденнѣйшим представителем славянофильскаго взгляда: народу мнѣніе, царю власть, и будучи столь-же рѣшительным врагом самовластія бюрократіи, видѣл в ней не искаженіе самодержавія, а именно средостѣніе между царем и народом. Только в лицѣ Петрункевича съѣзд получил достойнаго и равнаго соперника Шипову и только благодаря его участію конституціоналисты пріобрѣли значительный перевѣс. Авторитет Шипова заставил лишь смягчить редакцію пункта, в котором выражалось требованіе представительнаго строя, и наряду с ним предложить на голосованіе съѣзда и формулу Шипова, собравшую однако не больше четверти поданных голосов. Но еще до съѣзда земцев, в Москвѣ состоялось многочисленное оживленное собраніе адвокатуры — одно в квартирѣ Маклакова, другое — в особнякѣ А. Ледницкаго — на котором я усиленно доказывал, что требованіе конституціи вполнѣ назрѣло и вопрос лишь в том, кому будет принадлежать историческая иниціатива открытаго произнесенія этого требованія. По моему на эту иниціативу должна бы претендовать адвокатура. Предложеніе отклика не нашло и иниціатива перешла к земскому съѣзду, тѣм не менѣе именно В. Маклаков послѣ гордо заявлял, что земскій съѣзд, впервые принявшій конституціонную резолюцію, был частным собраніем, а первой оффиціально признанной корпораціей, заявившей требованіе представительнаго образа правленія, было собраніе присяжных повѣренных 20-го ноября 1904 года и что поэтому «будущій историк русскаго ренессанса не забудет поведенія адвокатуры». Мнѣже теперь кажется, что иниціатива адвокатуры не оказалась бы столь звучной, как постановленіе съѣзда 6—8 ноября, и не произвела бы такого огромнаго впечатлѣнія, усиленнаго колебаніями правительства в отношеніи съѣзда. Печати запрещено было особым циркуляром что либо о съѣздѣ сообщать и приходилось всячески изощряться, чтобы об этом событіи до свѣдѣнія читателей довести. «Право» говорило, что «историческіе дни 6—8 ноября, словно вѣчевой колокол, встряхнули русское общество».

Не успѣло еще раскатиться по всей Россіи эхо этих дней, как наступил 40-лѣтній юбилей судебных уставов, к которому, как вышеупомянуто, рѣшено было пріурочить организованное Союзом Освобожденія общественное выступленіе. Оно удалось в полной мѣрѣ, банкеты состоялись не только в Петербургѣ и Москвѣ, но и во всѣх крупных провинціальных городах и в нѣкоторых были даже многолюднѣй, чѣм в столицах — рекорд установлен был Саратовым, гдѣ собралось около полугора тысяч. На петербургском банкетѣ я опять так волновался, что, лишь уступая настояніям горячо любимаго мною Анненскаго, рѣшился произнести рѣчь, в которой напомнил, что эпоху великих реформ опредѣленно предполагалось завершить октроированіем конституціи, о чем категорически и было сообщено в оффиціозной газетѣ Le Nord, ссылавшейся на «волненія в Польшѣ», как на причину отсрочки. Послѣдовавшій засим отказ от этого намѣренія создал ложное положеніе для судебной реформы и с первых же дней потребовал ряд измѣненій, парализовавших проведеніе в жизнь принципа законности. Коммиссія министра Муравьева откровенно признала, что суд присяжных, кассаціонный суд, судейская несмѣняемость, сословіе адвокатов оказались в несоотвѣтствіи с самодержавіем, требующим от суда быть исполнителем воли монарха. Поэтому юбилей судебных уставов представляется простым недоразумѣніем, их никогда у нас не было и не будет, пока не произойдет обновленія государственнаго строя Россіи. А для слѣдующаго номера «Права» я воспользовался вышедшей книгой, посвященной памяти Плеве, в которой, между прочим, приводилось письмо покойнаго министра, признавшаго, что, «главный недуг современной общественной жизни — конституціонная смута: смутное чувство неудовлетворенности было всеобщим». Ссылаясь на вынесенныя повсюду однообразныя резолюціи, требующія введенія представительнаго строя, я утверждал, что «отнынѣ конституціонная смута окончилась и замѣнилась ясным и опредѣленным сознаніем. Если требованія общества не будут удовлетворены, наступит тѣм болѣе острый и тяжелый разлад, что теперь уже нѣт мѣста недоразумѣніям и неясностям». Эта статья навлекла на журнал второе предостереженіе цензуры, но в том-же номерѣ сообщалось, что «Право» получило по случаю юбилея ряд привѣтственных телеграмм за многочисленными подписями съ выраженіями сочувствія и солидарности с проводимыми редакціей началами. Празднованіе юбилея было и в самом дѣлѣ подлинным торжеством «Права». В основу всѣх резолюцій, принятых на банкетах и собраніях адвокатуры, положен был лозунг законности и порядка, выставленный на развернутом знамени «Права» ровно шесть лѣт назад. Да будет-же позволено мнѣ здѣсь похвастать: насколько исчерпывающе «Право» выполнило взятую на себя обязанность, можно судить по тому, что существовавшія раньше двѣ юридическія газеты закрылись, неоднократныя попытки создать конкуррентный орган неизмѣнно кончались крахом, а редактор одновременно с «Правом» вышедшаго «Вѣстника права» Г. Сліозберг в своих воспоминаніях пренебрежительно замѣчает: «у меня до сих пор осталось ощущеніе, что четыре года, посвященные изданію журнала, остались совершенно безплодными и без пользы истощали значи-

тельную часть энергіи и матеріальных средствъ». А для меня, повторяю — я думаю и для всѣх членов редакціоннаго комитета, — сознданіе и созданіе «Права» навсегда осталось самой одухотворенной, самой насыщенной и самой счастливой полосой жизни.

БОРЬБА ЗА КОНСТИТУЦІЮ.

(1904—1905).

Юбилей сорокалѣтія судебных уставов составляет отчетливую грань в ходѣ освободительнаго движенія. Первое открытое выступленіе широким фронтом, бодрое и рѣшительное, встрѣтило со стороны власти безсильное колебаніе, — явное нежеланіе допустить банкеты и неспособность воспрепятствовать их устройству. Такое соотношеніе внушало ощущеніе безповоротной побѣды и с этого момента движеніе становится стихійным, его уж нельзя удержать и трудно направлять. Правительство тоже не могло остаться чуждым этому впечатлѣнію и еще в ноябрѣ созвано было особое совѣщаніе для разсмотрѣнія выработаннаго Мирским проекта коренных преобразованій, исходившаго точно также из признанія «необходимости возстановить законность, значительно поколебленную в послѣдніе годы», и включавшаго приглашеніе выборных от земства в Государственный Совѣт. Конечно, такая полумѣра не могла бы удовлетворить повышенное настроеніе, но и она не была осуществлена. 12-го декабря опубликован был указ сенату о «мѣрах к усовершенствованію государственнаго порядка», в котором возвѣщался ряд реформ, но без упоминанія о призывѣ народных представителей. Вмѣсто этого выпущено было одновременно правительственное сообщеніе, которое заднним числом осуждало «шумныя сборища», предъявлявшія несовмѣстимыя с «исконными основами существующаго государственнаго строя» требованія. Осуществленіе реформ возлагалось на предсѣдателя комитета министров Витте. Я был у него в самый день опубликованія этих правительственных актов и уже тогда до меня дошли неопредѣленные слухи об изъятіи из первоначальнаго проекта важнѣйшаго, с принципіальной точки зрѣнія, пункта о приглашеніи народных представителей. Пункт этот стоял в проектѣ под номером 3-м, что дало повод к безчисленным остротам: с третьим числом у россійскаго гражданина связывались самые невеселые представленія — жандармерія была учреждена Николаем I под названіем третьяго отдѣленія, по третьему пункту (788 ст. устава о службѣ гражданской) чиновники увольнялись от службы без прошенія.

Я застал Витте явно смущенным: на вопрос, куда дѣвался третій пункт, он, вмѣсто прямого отвѣта, стал доказывать, что сущность-же не в нем, а в тѣх коренных реформах, которыя фактически преобразуют весь государственный строй, «вѣдь там (то-есть в указѣ) есть все, что «Право» требовало. Для того-же вы и домогались народнаго представительства, чтобы реформы провести». — «А есть ли у вас гарантія, что работа не будет также грубо ликвидирована, как было с совѣщаніем о нуждах с.-х. промышленности?» Вопрос сильно разсердил его, он поднялся с кресла во весь большой рост, глаза зажглись яркой ненавистью и изо всѣх сил стукнул он по столу кулаком: «Ну уж нѣт-с, извините-с. Я теперь *им* (!) так законопачу, что уж назад не придется вытащить». — «А что-же означают угрозы правительственнаго сообщенія, если власть сама признала необходимость реформ, которых требовало общество». Он развел руками, словно говоря, что он то тут не причем, но вдруг еще больше возвысил голос: «Да вѣдь теперь таких сборищ больше и не нужно». — «Во всяком случаѣ, не думаю, чтобы долго пришлось ждать, пока выяснится, кто из нас был прав». В своих воспоминаніях Витте разсказывает, что одобренный государем указ вызвал такую радость у министров, что двое даже расплакались, именно потому, что указ содержал пункт о призывѣ выборных людей. Но прежде чѣм подписать, государь вновь вызвал Витте и, в присутствіи великаго князя Сергѣя Александровича, предложил еще раз высказаться по вопросу о «привлеченіи общественных дѣятелей в государственный совѣт» и Витте, избѣгая связать себя прямым отвѣтом, умѣло подчеркнул, что «этот пункт есть первый шаг к представительному образу правленія», слѣдовательно, рѣшеніе должно быть принято в зависимости от отношенія государя к введенію в Россіи новаго строя: если таковой признается недопустимым, то было бы осторожнѣе этот пункт исключить из указа. Таким образом отвѣтственность была переложена на государя, а для Витте значеніе самодержавія было неотдѣлимо от держанія власти в своих руках: приглашеніе для интимнаго обсужденія принятаго уже в согласіи с большинством министров указа окрылило Витте сладостной мечтой о возвращеніи утерянной власти.

Ровно через недѣлю, 20-го декабря, я опять приглашен был к нему для обсужденія вопроса, примут ли общественные дѣятели участіе в работѣ по осуществленію указа. Мои сомнѣнія раздражали собесѣдника, он очень волновался и рѣзко жестикулировал, как бы отмахиваясь от моих доводов. Во время спора зазвонил телефон, послѣ короткаго разговора Витте нерѣшительно положил трубку на рычажок и, не смотря на меня, совсѣм хриплым голосом произнес: «Вот вам и новость, Порт-Артур пал». А на стойкость Порт-Артура возлагались всѣ надежды, героизм Стесселя неумѣренно прославлялся, и впечатлѣніе от этого извѣстія было подлинно ошеломляющим. Витте стал вспоминать о настойчивых усиліях, которыя он прилагал, чтобы установить дружескія отношенія с Японіей, не жалѣл выраженій по адресу великаго князя Александра Михайловича, напоминал мнѣ брошюру, которую давал для прочтенія, и в которой изложил всю исторію дальне-восточной преступной авантюры. Я отвѣчал ему: «Вы совершенно правы, но непо-

стижнмо, что вы не хотите сдѣлать отсюда выводы, которые сами собою напрашиваются». — «Да, ничего бы этого не было, будь жив вот этот государь», — и он показал на большой портрет Александра III, висѣвшій над креслом за письменным столом.

На этом мы простились и прямо от него я поспѣшил в редакцію «Сына Отечества». Эта древнѣйшая, захудалая газета была в 1904 году наканунѣ самоупраздненія, и дѣлались разныя попытки оживить ее. Между прочим, я был очень удивлен, когда однажды явились ко мнѣ Анненскій с Пѣшехоновым с предложеніем принять на себя совмѣстно с ними редактированіе, но этому рѣшительно воспротивилась жена, опасаясь за дальнѣйшее ухудшеніе здоровья, которое подтачивалось препепріятными нервными явленіями. Газету пріобрѣл появившійся тогда в Петербургѣ, никому неизвѣстный, какого-то неопредѣленнаго вида, совсѣм молодой 30-лѣтній человѣк, С. Юрицын, который тоже обратился ко мнѣ с просьбой взять на себя завѣдываніе редакціей. Я согласился лишь на общее руководство, а редакторами рекомендовал моего помощника Ганфмана и талантливаго публициста по вопросам городского и земскаго самоуправленія Г. И. Шрейдера, очень покладистаго и мирнаго, как божья коровка, человѣка. Он принимал участіе в «Мелкой Земской Единицѣ» и «Нуждах деревни» очень дѣльными статьями, а в 1904 году, лѣтом, неожиданно был арестован. Я содѣйствовал быстрому его освобожденію, но и кратковременное пребываніе в тюрьмѣ разожгло в нем чувство обиды. По просьбѣ князя Долгорукова я рекомендовал Шрейдера на пост секретаря «Бесѣды», Москва еще приподняла его настроеніе и став, по возвращеніи в Петербург, редактором «Сына Отечества», он уже был горячим сторонником боевого тона, заслужившаго газетѣ большой и шумный успѣх. Через год газета перешла к эс-эрам во главѣ с Черновым и, в противуположность Ганфману и нѣкоторым другим сотрудникам, Шрейдер не задумался остаться и постепенно этот мирнѣйшій человѣк сам превратился в рьянаго эс-эра, заняв крайнее мѣсто на лѣвом флангѣ. Но в началѣ газета держалась политической линіи «Права» и я принимал в ней дѣятельное участіе. Паденіе Порт-Артура, завершившее ряд систематических неудач, давало ясно понять, что режим не в состояніи держаться, что ему не одолѣть упорнаго и отлично подготовленнаго врага, что поэтому смѣна его стала неотложной потребностью для борьбы с внѣшней опасностью. Эту мысль и я пытался провести в написанной тогда статьѣ, которая, если память не измѣняет, навлекла на газету цензурную кару.

Что же касается указа 12-го декабря, то в своих воспоминаніях Витте твердит, что он сразу наткнулся на недовѣріе и интриги и ничего серьезнаго не вышло. «В результатѣ, — пишет он, — удалось лишь кое-что сдѣлать», но мечты о возвращеніи к власти не осуществились, отзывы о государѣ становились все рѣзче и презрительнѣе, а первоначальная увѣренность в побѣдѣ уступила мѣсто самым тяжелым предчувствіям. В то время обращали на себя общее вниманіе военные обзоры, печатавшіеся в «Русских вѣдомостях» за никому неизвѣстными инициалами. Статьи эти обнаруживали такую про-

фессіональную освѣдомленность, что всѣ были увѣрены, что за инициалами скрывается видный военный специалист, а он оказался совсѣм штатским человѣком, типичным представителем так называемаго «третьяго элемента», то-есть служащим земских и городских учрежденій, — Михайловским. Два номера московской газеты, в которых был напечатан подробный анализ положенія на театрѣ войны, заставлявшій сдѣлать самые пессимистическіе выводы, Витте послал флигель-адъютанту, Дрентельну, в то время пользовавшемуся исключительным расположеніем царя. Дрентельн вернул присланные номера газеты и сопроводил их длинным письмом, весьма недвусмысленно упрекавшим Витте в отсутствіи патріотизма и противупоставлявшим его тѣм вѣрноподанным, которые не сомнѣваются в окончательном успѣхѣ славнаго русскаго оружія. Показывая мнѣ это оскорбительное письмо, Витте пояснил, что послал Дрентельну газету в увѣренности, что тот покажет государю, и отвѣт флигель-адъютанта нужно разсматривать, как отповѣдь самого царя. «Вот что ожидает стараго слугу, который попытается открыть глаза на правду. Если бы только они совсѣм меня отпустили. Вот чего мнѣ хотѣлось бы». Он достал список членов государственнаго совѣта и указал на фамилію одного из них, против которой значилось, что Имярек получает 20.000 рублей годичнаго содержанія, пользуется правом жить заграницей и присутствовать в засѣданіях государственнаго совѣта, когда находится в Петербургѣ. Лишенный опять всякой власти, Витте вновь переживал період разочарованія в самодержавіи.

Этот 1904 год принес и личный непріятный сюрприз: возвратившись однажды, часов в 7 вечера домой — это было воскресенье — я еще на улицѣ удивился, увидѣв всю квартиру ярко освѣщенной, а в передней представилась давно знакомая картина — комнаты наводнены полицейскими и понятыми, идет обыск. Будучи членом Совѣта Союза Освобожденія и часто храня у себя нелегальную литературу журнала, я был убѣжден, что обыск касается меня, но пристав пояснил, что днем захвачено было жандармами нелегальное собраніе, на коем был и Сережа, и теперь они копаются в его пожитках, а сам он сидит уже все в том-же Домѣ Предварительнаго Заключенія. Два старших сына тогда уже кончили благополучно гимназію и были студентами петербургскаго университета, а Сережа и его ровесник Сеня, все время шедшіе в первых учениках, были в 7 классѣ. Незадолго до ареста я был приглашен к директору гимназіи, который предложил мнѣ добровольно взять Сеню оттуда, так как он оказывает вредное вліяніе на весь класс. С дѣтства он выдѣлялся среди братьев сильным и строгим умом и, думаю, — не без связи с этим — замѣтным упрямством, которое проявлял и в ревнивом огражденіи своих прав. Мнѣ пришлось теперь переживать ту-же роль которую 20 лѣт назад я навязал отцу, и, вѣроятно, воспоминаніе о том, каким несчастьем воспринял отец исключеніе меня из университета, а затѣм арест и ссылку, — боролось, как традиція, с сознаніем, что вѣдь никакого несчастья не случилось, что напротив, невзгоды пошли на пользу. Оживленію традиціи еще способствовало, что, как я от отца, так теперь и сын от меня, хранил в тайнѣ свое участіе в подпольной дѣятельности, «отцы и дѣти»

оставались, как встарь, это вызывало чувство обиды, ибо я уже не держался правила — моя хата с краю, а сам боролся с самодержавіем. Но конечно, если бы сын подѣлился своей тайной, я был бы рѣшительно против, считая, что только моя политическая позиція цѣлесообразна, и, кромѣ того, опасаясь, по собственному опыту, что преждевременное увлеченіе подпольной дѣятельностью непоправимо отразится на умственном развитіи и образованіи. Но и помимо этого, во мнѣ сидѣл еще тогда, — хоть и не так прочно, как во многих других, — гоголевскій Кочкарев, который по своему желает сдѣлать другого счастливым, и в голову ему не приходит, что, как у каждаго барона своя фантазія, так, еще в гораздо большей мѣрѣ, счастье у каждаго свое собственное. Из двух старших сыновей один — женственно-нѣжный, красавец блондин с синими глазами, очень похожій на мать, приблизительно тогда-же заявил, что не видит никакого смысла в университетском образованіи — тогда наука и была совсѣм из университета вытѣснена политикой, я горячо уговаривал его и, уступая просьбам, он пробыл в университетѣ еще год, большая часть котораго прошла в забастовках и безпорядках, ему органически противных, и, к большому моему огорченію, настоял на своем. Страсть к книгам, на которыя он тратил всѣ свои средства, господствовала над всѣми привязанностями, он зажил своей особой, замкнутой духовной жизнью и напечатал книгу своих стихов, встрѣченных одобрительно критикой, но мнѣ совершенно непонятных. Пять лѣт спустя он скончался послѣ операціи аппендицита, а невѣста его, врач-психіатр, в тот-же час отравилась. Спасенная другом моим Поляковым, находившимся с нами в лечебницѣ, гдѣ была сдѣлана операція, она через мѣсяц вновь приняла морфій и рядом с женихом похоронена. Вот медальон с их фотографіями, который жена всегда носила на груди. А для младших исключеніе и арест дѣйствительно обернулись как нельзя болѣе благопріятно: нѣсколько профессоров — И. М. Гревс, В. Э. Дан и другіе взялись подготовить их вмѣстѣ с другими пострадавшими юношами к экзамену на аттестат зрѣлости и отлично эту задачу выполнили, послѣ чего я обоих послал заграницу, гдѣ, в Гейдельбергѣ и Фрейбургѣ, они получили надлежащее правильное образованіе и нѣмецкая выучка сдѣлала обоих людьми науки. Приведу здѣсь отрывок из письма Сережи в отвѣт на мой запрос о подробностях его ареста: «Ты спрашиваешь меня, что это был за кружок, за участіе в котором я был арестован в 1904 г. Это был не кружок, а цѣлое общество, «Сѣверный Союз Учащихся Средних Школ». Собраніе, которое было арестовано (полагаю, что благодаря полицейскому освѣдомленію и не без провокаціи) было первым собраніем представителей союза от разных школ Петербурга. Разумѣется, представители были все самозванные. Центром общества была гимназія Я. Гуревича. Главным дѣятелем был нѣкій Щетинин, очень великовозрастный гимназист этой гимназіи. Почему был и я приглашен на собраніе, сейчас, к стыду своему, не помню. Впрочем, никакого собранія и не было: только-что всѣ сошлись и Щетинин предложил выбрать предсѣдателя, как появилась полиція и всѣх нас арестовала. Важно отмѣтить, что не только либеральная общественность (В. Я. Герд, Стоюнина и т. д.), но и гимназическое начальство было всецѣло на нашей

сторонѣ. Меня и других не хотѣли исключать и я нѣсколько недѣль еще ходил в гимназію, пока из Округа не пришло приказаніе об исключеніи. Но на экзаменах на аттестат зрѣлости отношеніе к нам, экстернам, со стороны учителей и начальства было самое благожелательное. Из товарищей по аресту я всѣх растерял впослѣдствіи, поддерживал отношенія только с Носарем (братом знаменитаго Хрусталева), который стал потом присяжным повѣренным и сейчас находится в Харбинѣ. Хорошо помню Сабинина, который был оставлен при университетѣ, но вскорѣ умер. Участвовал еще в союзѣ, но арестован не был, Ювеналіев (сын Кусковой), он сейчас инженер-химик в Харьковѣ. В Москвѣ видное участіе в аналогичном обществѣ принимал Георгій Вернадскій, нынѣ профессор при Іэльском университетѣ в Америкѣ. Других сотоварищей по аресту (были и дѣвицы) не помню и думаю, что «в люди» они не вышли, иначе я бы знал».

1905 год мы встрѣчали в большой тревогѣ. Ошеломительное паденіе Порт-Артура внушало томительное предчувствіе, что, того и гляди, обрушится еще какая нибудь неожиданность. С первых же дней предчувствіе стало оправдываться. Во время крещенскаго водосвятія на Невѣ перед Зимним Дворцом одна из пушек Петропавловской крѣпости, участвовавших в салютѣ, выстрѣлила картечью, которая разсыпалась у самых ног государя. Оффиціальная ссылка на случайную небрежность была неубѣдительна и, мало того, при систематической незадачѣ царя (удар по головѣ в Японіи, Ходынская катастрофа на коронаціи, смерть министра ин. дѣл в царском поѣздѣ во время путешествія в Италію, рожденіе безнадежно больного наслѣдника) усугубляли представленіе о чем то роковом, неизбѣжном. А засим и наступило историческое «кровавое воскресенье» 9—22 января. Наканунѣ, в субботу днем, ко мнѣ пріѣхал Н. Ф. Анненскій еще с кѣм то и от имени товарищей предъявили требованіе немедленно поѣхать к Витте и через него добиться отказа от преграждения войсками шествія рабочих к Зимнему Дворцу во главѣ со священником Гапоном, для подачи петиціи. Нужно было убѣдить Витте, что рабочих никакая преграда не остановит, а вызовет лишь страшное кровопролитіе. Я не сомнѣвался, что Витте, сам томящійся своей непопулярностью в придворных, да и правительственных кругах, не рискнет вмѣшаться, и ѣхать к нему было куда как непріятно, но, с своей стороны, ничего другого предложить не мог, а сидѣть сложа руки и ждать неизбѣжной катастрофы было дѣйствительно непереносимо. Так и случилось: в передней я встрѣтил выходящаго от Витте кн. А. Оболенскаго, повидимому знавшаго о цѣли моего визита и тревожно спросившаго: «что то завтра произойдет?» А Витте принял меня не только сухо, но даже непріязненно, и коротко отрѣзал, что мое краснорѣчіе совсѣм безполезно, он даже удивляется, зачѣм я явился, завѣдомо зная, что он тут не при чем и ничего сдѣлать не может. Вѣроятно, под этой непріязнью он скрывал раздраженіе от сознанія своего безсилія, которое очень тяжело переносил. Такое предположеніе находит себѣ подтвержденіе в появившемся засим в Правѣ сообщеніи, что, открывая засѣданіе комитета министров 11 января, Витте предложил «высказаться по поводу текущих событій, заняться изслѣдованіем причин и выработать мѣры

для предупрежденія на будущее время таких печальных событій», но это предложеніе было министрами отклонено.

Вечером состоялось в редакціи «Сына Отечества» на Невском просп. многолюдное собраніе литераторов. Небольшая комната была переполнена, всѣ стояли, тѣсно прижавшись друг к другу, давил нестройный гул голосов, среди котораго слышались отдѣльные выкрики, но и в буквальном и в переносном смыслѣ всѣ топтались на мѣстѣ и придумать что-либо для предотвращенія катастрофы не могли. Было уже около 11-ти часов, когда вновь предложено было послать депутацію к Витте, хотя я уже доложил о своей неудачѣ. Оставался шанс, что к депутаціи он отнесется болѣе внимательно. Беспорядочно выкрикивали фамиліи лиц, которыя должны были в депутацію войти. Я старался сдѣлаться незамѣтным, ибо меньше всего улыбалось еще раз сегодня встрѣтиться с Витте, но кто-то назвал мою фамилію и в отвѣт раздалось: «ну, это само собою разумѣется». Потом Водовозов вдруг крикнул: «господа, нельзя производить выборы так безпорядочно. Мы вѣдь не знаем, какую роль депутаціи придется сыграть.» Замѣчаніе не обратило на себя никакого вниманія, но имѣло неожиданныя послѣдствія. Выбраны были Анненскій, Арсеньев (едва ли не впервые на подобном собраніи присутствовавшій), Максим Горькій, проф. Карѣев, гласный Гор. Думы Кедрин. Мякотин, Пѣшехонов, проф. Семевскій, вращавшійся среди интеллигенціи представитель Гапона — рабочій Кузин, оказавшійся провокатором, и я. Около полуночи мы были у Витте, который внимательно во всѣх вглядывался и больше всего интересовался Горьким. Он сослался на свое заявленіе мнѣ, я сказал, что об этом на собраніи сообщил, и послѣ безсвязнаго разговора Витте согласился лишь переговорить с Мирским по телефону и получил от него согласіе нас принять. Но когда мы подъѣхали к дому министра вн. дѣл на Фонтанкѣ, швейцар сказал, что «их сіятельство уже легли почивать» и что нас примет в департаментѣ полиціи — дверь с дверью квартиры министра, товарищ его генерал Рыдзевскій. В департаментѣ нас прежде всего просили расписаться в книгѣ посѣтителей, в которой мы собственноручно и отмѣтили свои фамиліи и адреса, а затѣм появился суровый генерал, безапелляціонно заявившій, что всѣ распоряженія на завтрашній день (вѣрнѣе — сегодняшній, ибо было уже далеко за полночь) уже сдѣланы, и рекомендовал воздѣйствовать на рабочих, чтобы они отказались от шествія. Власти в душѣ, несомнѣнно, были убѣждены, что мы то и подстрекнули Гапона шествіе организовать. *)

---

*) Приходится, однако, самого себя уличить в нѣкоторых неточностях. Просматривая «Рѣчь» за 1910 г., с недоумѣніем вижу, что тогда, в пятилѣтнюю годовщину 9-го января, я иначе изложил событія канупа этого памятнаго дня: В первый раз я поѣхал к Витте в 7 час. вечера, а депутація направилась сначала не к нему а к кн. Мирскому, и, лишь получив отказ в пріемѣ, отправилась к предсѣдателю комитета министров. Я все же настаиваю на моей нынѣшней версіи: пусть тогда, 25 лѣт назад, память была свѣжѣе, но воспоминанія о прошлом лежали под прессом все накоплявшихся новых тяжелых впечатлѣній, и отслоить в этой толщѣ отдѣльныя детали, не нарушая их послѣдовательнаго расположенія, было вовсе не так легко и просто. Те-

Послѣ отказа Рыдзевскаго нам ничего не оставалось, как вернуться в редакцію, чтобы доложить о полной неудачѣ и разойтись с мрачным предчувствіем катастрофы, которая на другой день и разразилась. Теперь, послѣ того, как десятилѣтія пріучили чувства к человѣческим гекатомбам, трудно дать понять впечатлѣніе, произведенное безсмысленным разстрѣлом дѣйствительно мирной толпы, шедшей с хоругвями и портретом царя, но не будет преувеличеніем сказать, что всѣ были глубоко потрясены, всѣ понимали, что случилось нѣчто непоправимое, что это воскресенье кровавыми буквами расшифровало, как и что надо понимать под употребляемым газетами иносказаніем «бюрократія». Я был безмѣрно подавлен, не был на вечернем собраніи в Вольно-Экономич. обществѣ, гдѣ выступил перед тѣм, как окончательно скрыться, патронируемый Горьким Гапон, я отдавал себѣ отчет, что отнынѣ темп событій, еще значительнѣе ускорится и стихія еще сильнѣй разбушуется. Но совсѣм неожиданным был полицейскій визит в ночь с 10-го на 11-ое января: около 4-х час. утра цѣлая орава полицейских с понятыми заполонила квартиру, пристав безцеремонно вошел в нашу спальню и при нем мы с женой должны были одѣться, обыск почти не производился, они видимо торопились увезти меня. Ночь стояла мглая, чуть туманная, на улицах горѣли костры, у которых грѣлись военные пикеты, тишина такая удручающая, что казалось, будто город притаился, и мнѣ невольно вспомнилось ощущеніе, когда такой же ночью, ровно 10 лѣт назад, я подъѣзжал к Тулѣ. Лихорадочная тревога завладѣла мною, ибо я никак не мог объяснить причину ареста, и еще усилилась, когда я увидѣл, что везут меня не на Литейный проспект в знакомый Дом предвар. заключенія, а через Троицкій мост — значит в Петропавловскую крѣпость, которая предназначалась для важных государственных преступников и предвѣщала долговременное заточеніе. Меньше всего можно было догадаться, что арест вызван упомянутым замѣчаніем Водовозова, которое растерявшаяся власть истолковала, как эвентуальное превращеніе депутаціи во временное правительство. Если мы — «временное правительство», то ясно, что мѣры требуются серьезныя и, за исключеніем Арсеньева (он был старше всѣх годами и имѣл титул превосходительства) и Горькаго, уже скрывшагося из Петербурга, вся депутація была схвачена, а Пѣшехонова эскортировали казаки с саблями наголо, опасаясь, чтобы населеніе не освободило из рук полиціи будущаго временнаго правителя.

Со времени декабристов Петропавловская крѣпость пріобрѣла столь же громкую, сколь и мрачную репутацію, но нас посадили не в страшный равелин, а в какой-то двухэтажный корпус с просторными теплыми камерами, невыгодно отличавшимися от «предварилки» тѣм, что небольшое окно было под самым потолком и скупо пропускало свѣт, котораго в тѣ сумрачные январьскіе дни и на просторѣ было мало. Электрическая лампочка в шарѣ из

перь же, с устраненіем от активнаго участія в текущей жизни, подробности, освободившись от гнета новых наслоеній, расправились и память легко развертывает их широким вѣером.

толстаго стекла горѣла всю ночь, так что день от ночи мало чѣм отличался, и — это было главное: царила непроницаемая тишина, ни одного звука извнѣ не доносилось. Шаги стражи в коридорѣ заглушались ковром и появленіе в дверях тюремщика в сопровожденіи жандарма в строгом молчаніи, с каменными лицами, всегда вспугивало неожиданностью. Перед тѣм как попасть в камеру, нужно было пройти через кордегардію, перенасыщенную отвратительным затхлым запахом начищенных сапог с человѣческим потом. Здѣсь жандармы бодро вскакивали при вводѣ арестованнаго: вот мы за тебя примемся! и раздѣв до гола, приступали к тщательнѣйшему личному обыску, обряжали в казенное бѣлье, туфли и сѣрый халат. На короткую прогулку выводили в какой-то маленькій дворик, в котором тоже ни единаго звука не было слышно. Эта могильная тишина была вообще тягостна, а в данный момент, когда и за стѣнами тюрьмы все было так зыбко и неопредѣленно, я не в состояніи был ее перенести: мучившій меня сердечный невроз, выражавшійся припадками удушливаго сердцебіенія, разыгрался во всю, с трудом удавалось преодолѣвать истерику; очень внимательный, почти глухой комендант обратил вниманіе на мое состояніе и через нѣсколько дней меня перевезли в больницу при Выборгской тюрьмѣ («Кресты»), и все еще под строгим присмотром, помѣстили в камерѣ, гдѣ в свое время лежал убійца Плеве Сазонов. Допрос производился не в охранном отдѣленіи, а в жандармском управленіи, но в это время власть уже успокоилась и не рѣшилась ставить вопросы относительно «временнаго правительства». Перед жандармским ротмистром лежал номер «Освобожденія», в котором приведена была моя рѣчь на банкетѣ 20-го ноября, и мнѣ было предложено дать объясненіе по ея содержанію, но ротмистр даже сконфузился, когда я ему сказал, что в Правѣ эта рѣчь напечатана in extenso. Еще через нѣсколько дней, одного за другим, нас выпустили из узилища без дальнѣйших послѣдствій и лишь тогда неугомонный Анненскій стал распредѣлять портфели, причем меня назначил обер прокурором св. синода, а себѣ оставил пост морского министра, т. к. пуще огня боялся морской качки. Но новый директор департамента полиціи Трусевич не переставал твердить направо и налѣво: «да, конечно, теперь над этим смѣются и вышучивают, а могло бы кончиться иначе и мы не были бы далеки от истинных предположеній». В дни моего заключенія жена бросалась во всѣ стороны, к тѣм сановникам, которые меня знали, но Щегловитов просто испугался ея появленія и чуть не перед носом запер двери. Лопухин, с которым я познакомился в Москвѣ у Давыдова, облыжно увѣрил, что видѣл меня в крѣпости совершенно здоровым, и лишь Витте горячо откликнулся, содѣйствовал скорѣйшему освобожденію и когда, вернувшись домой, я по телефону благодарил, он, не стѣсняясь, злобно сипѣл: «Дураки, потеряли голову и не знают, что дѣлают». Глупѣе и впрямь трудно было что-нибудь придумать. Поведеніе интеллигенціи перед этим страшным днем было просто безпомощным метаніем, а начальство превратило депутацію в героев — с утра до вечера пріѣзжали друзья и знакомые с выраженіем сочувствія и одна экспансивная дама заявила, что не будет мыть руки, удостоившейся пожатія героя. Однако, времена мѣняются, и из революціонеров,

какими нас считало царское правительство и преслѣдовало, мы были разжалованы совѣтской властью в контр-революціонеров, еще пуще преслѣдуемых. В 1918 г. кровавое воскресенье было объявлено началом революціи, причислено к «красным дням» и торжественно праздновалось, а бывшій «герой» вынужден был тщательно скрываться, потому что именно перед праздниками Чека производила массовые аресты среди интеллигенціи. Теперь из состава депутаціи большинство уже умерло, а тѣ, что остались в живых, томятся в разсѣяніи, за исключеніем Максима Горькаго, который, послѣ недолгих капризных колебаній, побѣжал за колесницей побѣдителей, у них преуспѣл и с большой помпой похоронен в Москвѣ.

Рабочіе отвѣтили на кровопролитіе забастовкой, к которой постепенно присоединились едва ли не всѣ высшія учебныя заведенія. Впервые правильный выход Права разстроился, а когда послѣ перерыва номер вновь вышел в свѣт, хроника открылась кратким оповѣщеніем, что «о событіях 9 Января и послѣдующих дней мы имѣем возможность печатать только правительственныя сообщенія, оффиціальныя свѣдѣнія и извѣстія, пропущенныя цензурой генерал-губернатора». Это был Трепов, вчерашній обер-полицмейстер при московском генерал-губернаторѣ Сергѣѣ Александровичѣ, вахмистр по образованію и погромщик по убѣжденію, как его назвал потом в думской рѣчи б. губернатор кн. Урусов. Но именно такое оповѣщеніе говорило много краснорѣчивѣе и дѣйствовало гораздо сильнѣе, чѣм самые возбуждающіе разсказы и статьи, — оно воспринималось, как признаніе вины, как боязнь ея разоблаченія.

Соотвѣтственно этому росла на другой сторонѣ увѣренность в правотѣ и легкости стоявшей задачи — одолѣнія самодержавія. Еще не улеглось возбужденіе, вызванное 9 Января, как страшный взрыв в Кремлѣ, убившій вел. кн. Сергѣя, оглушительно раскатился по всей Россіи. Вел. князя разнесло на куски, оторвало голову, камни обрызганы были мозгами и тѣм не менѣе, несмотря на весь ужас убійства, оно подало повод к новым остротам и анекдотам. В домѣ одного профессора в Москвѣ я тогда услышал фразу: «Пришлось все-таки раз и великому князю пораскинуть мозгами!» Анекдот же относился к городовому, который, на вопрос старушки, кого убили, отвѣтил: «проходи, проходи. Убили, кого надо!» А б. германскій канцлер кн. Бюлов разсказывает в своих воспоминаніях со слов принца Фридриха Леопольда Прусскаго, что тот находился в Петергофѣ и в день убійства был приглашен к обѣду во дворец. Вопреки его предположеніям, обѣд все же состоялся, а послѣ обѣда, за которым присутствовал еще вел. кн. Александр Михайлович, царь с ним занимались борьбой, стараясь друг друга столкнуть с дивана. Странно, что принц и князь Бюлов отмѣчают это видимое проявленіе безчувственности, потому что сами они тоже стояли на верхних ступенях общественной лѣстницы, на которых соблюденіе внѣшних форм, условностей уже совсѣм заглушает живое содержаніе жизни. В дѣйствительности же это убійство произвело на верхах огромное впечатлѣніе, внесло новое разстройство, которое и выразилось в опубликованіи в один день — 18-го февраля — трех противорѣчивых государственных актов: рескрипта на имя

министра вн. дѣл о призывѣ народных представителей к участію в разработкѣ и обсужденіи законодательных предположеній, манифеста с призывом к строгому исполненію долга присяги и к искорененію крамолы и противодѣйствію смутѣ, и указа сенату о возложеніи на совѣт министров обязанности разсмотрѣнія и обсужденія поступающих от обществ и частных лиц предположеній о госуд. реформах. Рескрипт давал возможность закрѣпиться на новой позиціи — признанія народнаго представительства, указ дал толчок созыву разных совѣщаній и собраній для составленія «предположеній», которыя и посыпались как из рога изобилія, а манифест разбудил в мѣстных властях энергію для борьбы со смутой и крамолой. При этом происходили курьезныя столкновенія: полиція, на основаніи манифеста, препятствовала устройству собраній, а собравшіеся отказывались повиноваться, ссылаясь на указ, приглашающій высказывать «предположенія».

Для Права всѣ три акта имѣли большое практическое значеніе: оффиціальное провозглашеніе участія народных представителей требовало разработки связанных с этим юридических вопросов. Во-вторых — мы считали необходимым регистрировать на столбцах журнала всѣ «записки, заявленія, постановленія, петиціи, адреса, крестьянскіе приговоры и т. д.», выполнить эту задачу исчерпывающе было немыслимо, но все же Право представляет теперь цѣннѣйшій источник для изученія и пониманія настроеній той оригинальной эпохи. Вот уж когда нельзя было жаловаться, что писатель пописывает, а читатель почитывает. Пожалуй, не легко было бы найти в исторіи момент, когда было бы такое активное чуткое общеніе между читателем и редакціей. Безчисленное количество писем с выраженіями то сочувствія, то протеста, с разными предложеніями и замѣчаніями, поправками, дополненіями, запросами и возраженіями давали чувствовать, что журналу удѣляется большое вниманіе, что ни одна строчка не проходит безслѣдно, и это обостряло сознаніе отвѣтственности. Наконец, в третьих, призыв манифеста к строгому исполненію администраціей долга по борьбѣ со смутой и крамолой необычайно усилил произвол на мѣстах, и «хроника» Права, продолжавшая распухать и занимавшая все больше мѣста, тоже представляет серьезный интерес для характеристики методов и пріемов борьбы между обществом и властью в тот знаменательный год. Любопытным примѣром может служить попытка власти противодѣйствовать образованію профессіональных союзов, которые рождались тогда, как грибы послѣ дождя. В отвѣт на привлеченіе отдѣльных членов к судебной отвѣтственности за образованіе противозаконнаго сообщества сыпались со стороны всѣх остальных членов заявленія прокурорам о принадлежности к союзам, и власть пасовала перед необходимостью посадить на скамью подсудимых десятки тысяч людей. А союзы — адвокатов, врачей, инженеров, профессоров, учителей и т. д. и т. д. — меньше всего думали о защитѣ профессіональных интересов и выливались в яркія политическія организаціи. Крайніе элементы, которым колеблющаяся политика и распыленный произвол давали все большій перевѣс в общественном движеніи, безцеремонно насиловали волю участников и старались превратить союзы в политическую партію с программой максимум, содержавшей не

только политическія, но и экономическія и соціальныя требованія. Если союзу писателей удалось отбояриться на программѣ — минимум, хотя и в ней были требованія учредительнаго собранія и предоставленія окраинам самим рѣшать свою государственную судьбу, то напр., союз ветеринаров единогласно требовал и перехода всей земли к трудящимся и коренного преобразованія финансовой политики и т. п. Не здѣсь ли было брошено зерно однопартійнаго государства, давшее нынѣ столь пышные всходы? Не тогда ли было уже предопредѣлено опозореніе учредительнаго собранія, которое, родившись наконец в крови и тяжких муках, сразу получило презрительную кличку «учредилки», мановеніем руки Ленина было задушено и выброшено на свалку исторіи? Не здѣсь ли наконец впервые брошен был, через поникшую уже главу самодержавнаго режима, рѣшительный дерзкій вызов парламентаризму, предвѣщавшій постепенное крушеніе его во всем мірѣ? И не явился ли этот вызов тѣм новым словом, которое, по мнѣнію русских мессіанцев, Россія должна была возвѣстить міру и которое и стало лозунгом новаго вѣка? Тогда такія мысли и сомнѣнія еще не лѣзли в голову, но словесная разнузданность, бѣшеное ристаніе на лѣвизну, обезпечивающую тріумф у толпы, заставляло опасаться, что у нас вырвано из рук и профанировано главное наше оружіе — слово, и вызывало ощущеніе чего то неладнаго, неуютнаго. Нельзя было не понять, что дальше руководить движеніем невозможно и, каюсь, уже тогда были минуты, когда приходилось преодолѣвать желаніе посторониться.

В началѣ мая я с женой выѣхал на Кавказ для выступленія, вмѣстѣ с Каминкой, в тифлисской суд. палатѣ по сложному гражданскому дѣлу. Трехдневный отдых в удобном купэ бакинскаго экспресса и фантастическая поѣздка в экипажѣ по Военно-грузинской дорогѣ — от цвѣтущих нив до снѣжных вершин и снова в жаркія долины — освободили от напряженнаго состоянія и дали возможность вздохнуть полной грудью. Предстоящее выступленіе в палатѣ отвлекало прикованную к волнующим событіям мысль, рѣчей своих я никогда не писал, а держал их готовыми в головѣ, и она всю дорогу и занималась юридической гимнастикой. В Тифлисѣ было необычайное оживленіе. Нелѣпо злобная политика намѣстника кн. Голицына, (прозваннаго Гри-гри) как будто ставила себѣ цѣлью разжечь національныя страсти между татарами, грузинами и армянами и этой цѣли вполнѣ достигла. Мои многочисленные знакомые были только в кругах русских, они очень интересовались петербургскими гостями и среди политических бесѣд и радушнаго гостепріимства, очаровательных поѣздок в Боржом и другія окрестности, мы беззаботно поджидали судебнаго засѣданія, назначеннаго на 16-ое мая. Но наканунѣ стали получаться, сначала смутныя, а потом все болѣе опредѣленныя телеграммы о страшной Цусимской катастрофѣ и сразу настроеніе перевернулось. Мнѣ, степному жителю, пребываніе в горах всегда было тягостно, а теперь онѣ представлялись глухой стѣной, отрѣзавшей от Петербурга и Москвы, гдѣ, казалось мнѣ, рѣшаются судьбы родины. Нельзя было предполагать, что режим переживет этот новый страшный удар, ибо всѣм было ясно, что в разгромѣ нашего флота не было случайности и не-

ожиданности — посылка флота была вопіющим государственным преступленіем. Очевидно, теперь нужно сдѣлать какой-то рѣшительный шаг и было непереносимо в такой момент оставаться вдали, чтобы отстаивать права толстосума на нефтяные участки. Выступленіе в палатѣ оказалось вполнѣ удачным, дѣло было выиграно, тут же нам предложили веденіе другого крупнаго процесса, но всѣми мыслями и чувствами я был уже в Москвѣ, и, добравшись наконец туда, послѣ томительно долгаго пути, прямо с вокзала бросился в хорошо знакомый уже дом Долгоруковых, гдѣ происходил съѣзд земских и городских дѣятелей. Отлично помню прекрасный лѣтній день, цвѣтущій сад, переливающееся через край нѣсколько сумбурное возбужденіе, вылившееся в требованіе объясниться непосредственно с государем через выбранную депутацію, помню бесѣду с кн. Е. Трубецким, который опять согласился написать статью для Права и в ней без всяких обиняков заявил, что «главный виновник ясен и теперь вся тяжесть отвѣтственности падает на тѣх, кто возложил на адмирала Рождественскаго неисполнимое порученіе», и заканчивал категорическим обращеніем к виновникам: «посторонитесь, господа, и дайте дорогу народным представителям». Относительно депутаціи, которая была принята государем 6-го іюня, Петрункевич в своих воспоминаніях говорит, что и до сих пор «перечитывает превосходную рѣчь кн. С. Трубецкого с душевным волненіем». Мнѣ думается, что значеніе депутаціи было не в обмѣнѣ рѣчами, а в самой встрѣчѣ царя с опальными представителями общественнаго движенія. Право указывало, что из состава депутаціи кн. С. Трубецкой был в то время привлечен к слѣдствію по обвиненію в государственном преступленіи, Родичев в теченіе десяти лѣт лишен был права участвовать в земской дѣятельности, кн. Шаховскому Плеве, незадолго до смерти своей, грозил ссылкой за вредную дѣятельность, а Петрункевич всю жизнь терпѣл полицейскія преслѣдованія и разныя ограниченія. Такой состав еще был подчеркнут отказом Шипова от участія в депутаціи, хотя рѣчь кн. Трубецкого, дѣлавшая удареніе на средостѣніи бюрократіи между царем и народом и обошедшая вопрос о формѣ народнаго представительства, больше соотвѣтствовала именно его славянофильским воззрѣніям. Поэтому, с субъективной точки зрѣнія, пріем депутаціи был большой уступкой, и Государь невольно отшатнулся, когда Петрункевич назвал ему свою фамилію, а один из членов депутаціи потом разсказывал мнѣ, как его шокировало, что Петрункевич неотрывно сверлил государя своими колючими глазами. Объективно же категорическое приглашеніе государя «отбросить сомнѣнія» ничего не измѣнило в ходѣ событій, который все продолжал ускоряться. Уступки, — что, впрочем, в исторіи представляет явленіе обычное — пришли слишком поздно, когда освободительное движеніе стало уже отчетливо разслаиваться и внутри его возникла борьба с крайними теченіями, вздымавшимися все выше и шумом волн своих заглушавших всѣ другіе голоса.

В это то время выдвинулся на первый план человѣк, которому выпала самая видная роль в дальнѣйшей исторіи родины вплоть до наших печальных дней. Я познакомился с ним года за два до этого — на именинах у Мя-

котина, в Сестрорѣцкѣ, гдѣ, высланный из Петербурга, он тогда проживал. Еслибы таково было предписаніе врачей, оно было бы вполнѣ понятно, потому что Мякотин болѣл легкими, а Сестрорѣцк считался лучшей дачной мѣстностью под Петербургом. Но запрет был наказаніем, наложенным охранным отдѣленіем, и в качествѣ таковаго был полной безсмыслицей, ибо, при легкости и удобствѣ сообщенія, связь со столицей в полной мѣрѣ сохранялась. Мякотин, характером своим нисколько не оправдывавшій имени Венедикт и фамиліи, был одним из наиболѣе ярких представителей интеллигентской кружковщины. Даже и на именинах у него можно было встрѣтить только политических единомышленников, членов редакціи «Русскаго Богатства». Их всѣх я уже знал, каждому было отведено опредѣленное мѣсто в моем душевном каталогѣ и они больше не безпокоили, не вызывали вопроса и тревоги, куда их помѣстить. Теперь я увидѣл среди них незнакомца, и это тѣм больше удивило, что он рѣзко от прочих отличался уже и внѣшностью. Был конец зимы, середина марта, и всѣ были в темной одеждѣ, а на незнакомцѣ был сѣрый костюм, изящно облегавшій стройную невысокую фигуру. И пенснэ было без оправы — тогда еще рѣдкость в Петербургѣ — оно не оставляло отпечатка на чисто русском, открытом, привѣтливом лицѣ с жидкой русой растительностью, слегка вьющіеся волосы украшали красивую точеную голову, а легкій жест правой руки заставлял замѣтить ея благородную бѣлизну и рѣдкое изящество. У всѣх, по слову Некрасова Добролюбову: суров ты был! — вид сохранялся угрюмый и сосредоточенный, за столом сидѣли уставя брады. И Анненскій, не в состояніи себя пересилить, преувеличенно виновато озирался, не слишком ли неумѣстно прозвучала та или другая шутка его. А у незнакомца на лицѣ отчетливо написана была жизнерадостность, спокойная и увѣренная, и в голубоватых умных глазах свѣтилась пытливость и интерес к тому, что вокруг происходит. На застекленной верандѣ, залитой чудесным петербургским мартовским солнцем, он оказался в сторонѣ от сбившихся в кучку гостей, и я улучил эту минуту, чтоб успокоить раззадоренное любопытство, подошел к нему и, разговор тогда завязывался легко, полилась оживленная бесѣда. Меня увлекало, что я нашел в нем внимательнаго довѣрчиваго слушателя, а его реплики и сужденія производили сильное впечатлѣніе своей прозрачной ясностью, простотой, безупречной логичностью, и, в затянувшемся діалогѣ, я ни разу не ощутил непріятнаго холодка, который всегда вызывала предвзятость, партійная предубѣжденность, отметаніе того, что нѣт в коранѣ. Незнакомец, напротив, внимательно прислушивался к тому, что для него было неожиданным, что с его взглядами не сходилось и что он осторожно, но настойчиво опровергал. Когда послѣ обѣда, с обильным алкогольным возліяніем — по этой части народники были мастера, а незнакомец и здѣсь от них отличался — мы отправились с Каминкой, гимназическим другом Мякотина, на вокзал, и дорогой я от него узнал, что плѣнившій меня незнакомец был Павел Николаевич Милюков, первым движеніем было вернуться назад: как же я упустил случай познакомиться с Милюковым, а разговаривал все время с каким то неизвѣстным человѣком. Но потом хлопнул себя по лбу:

да как же я не догадался, что это Милюков, вѣдь никто другой это и не мог быть, как только Милюков, автор «Очерков по исторіи русской культуры», которыми я с таким наслажденіем зачитывался и из которых так много узнал. Трудно, в самом дѣлѣ, представить себѣ больше соотвѣтствія, гармоніи между автором и его произведеніем. Блестящая разносторонняя эрудиція, ясная и точная классификація, несокрушимая логика, ненасытное стремленіе добраться до истоков изслѣдованія и все объять, не пренебречь и самым малым ручейком, вливающимся в широкій поток русской жизни и незамѣтно содѣйствующим мощности ея теченія — все это отражалось в каждом сужденіи, в отношеніях к окружающим и во внимательном выраженіи лица и пытливом взглядѣ. Я постарался закрѣпить наше знакомство, привлек его к участію в земских сборниках, давшему возможность с восторгом наблюдать его совершенно изумительную и ни у кого больше невиданную мною работоспособность, и постепенно с ним сближался, так что в 1904 г., когда друзья пытались отговорить его, в виду ускоренія хода событій, отъ поѣздки в Америку для чтенія лекцій «О Россіи и ея кризисѣ», они обратились ко мнѣ с просьбой на него в этом смыслѣ воздѣйствовать. Он и примчался из Парижа в Петербург на совѣщаніе, но настойчивая попытка убѣдить его остаться была тщетной: «не волнуйтесь, Іосиф Владиміровичь, я вернусь еще во время, а в Америку *нужно* ѣхать», и в тот же день устремился обратно, в послѣдній момент поспѣв еще на пароход в Шербургѣ. Точно также, когда на пасхѣ 1914 г. он собирался в составѣ думской делегаціи в союзническія страны и, в виду тревожнаго настроенія, фракція единогласно постановила, что ему уѣзжать из Россіи не слѣдует, я тщетно доказывал, что нельзя игнорировать единодушное постановленіе, которое отвѣчает исключительным условіям обстановки. «Ничего, фракція перерѣшит, а я еще успѣю быть обратно во время, поѣздка же безусловно нужна»! В обоих случаях расчет вполнѣ оправдался, в момент кризиса он был уже дома, а поѣздки сдѣлали его извѣстным всѣм политическим дѣятелям новаго и стараго свѣта и на посту министра ин. дѣл временнаго правительства он не был для них неизвѣстной величиной, как всѣ остальные правители, а старым знакомым. Его выдающіеся качества выдвинули бы его в ряды первоклассных ученых и, вѣроятно, он превзошел бы значеніем и количеством работ своего замѣчательнаго учителя Ключевскаго, но развитое сознаніе гражданскаго долга уже в юношескіе годы отвлекало от спокойной работы — 18-ти лѣт, во время русско-турецкой войны, он добровольцем отправился на театр военных дѣйствій, а в самом началѣ университетской дѣятельности был из Москвы выслан. Сдвинутый на общественное поприще, но пользуясь каждой свободной минутой для продолженія научной работы, он вышел на политическую арену со всѣм арсеналом своих данных и навыков и перемежал роль наблюдателя и лѣтописца с задачами гувернера. На каком то собраніи в Москвѣ, раздраженный демагогіей крайних лѣвых, он бросил одну из фраз, которыя заслужили ему злую кличку «бога безтактности». Он сказал: «зачѣм, господа, нам спорить? вы дѣлайте за сценой гром и молнію, а мы будем играть на сценѣ». И это «мы» — его собственная позиція опредѣлялась не личными склонностями и тяготѣніями, а историческим прог-

нозом: пользованіе «громом и молніей» было уже организовано помимо него а вот игра на сценѣ носила безпорядочный характер и ее нужно было оформить в политическую партію. За разрѣшеніе этой исторической задачи он и взялся, но был ли он сам кадетом, я сильно сомнѣвался всегда. В записях, сдѣланных в 1918 г. в Сердоболѣ, я выразился болѣе категорически: «Милюков — не кадет. Каковы его подлинныя политическія убѣжденія, вряд ли кто нибудь знает, а может быть их и нѣт у него, а есть лишь увѣренность, что реальную политику можно вести на том мѣстѣ, на которое поставлены кадеты, что он, Милюков, эту политику может дѣлать, что без него она велась бы хуже или вовсе не дѣлалась бы». Сомнѣнія мои нашли себѣ яркое подтвержденіе в эмиграціи, когда Милюков привел в священный ужас своего большого поклонника Петрункевича, предложив преобразовать кадетскую партію, которой Петрункевич гордился, как надпартійной, в крестьянскую — революція, точно корова языком слизнула, уничтожила тонкій интеллигентный слой, и Милюкову представилось, что отнынѣ активная роль должна принадлежать крестьянству, расправлявшему тогда свои могучіе плечи.

Эта особенность Милюкова, ставшаго, благодаря своим выдающимся качествам, верховным руководителем, наложила на партію своеобразную печать. Ея поведеніе не было естественным проявленіем настроенія данной общественной группы и не могло поэтому служить точным политическим барометром, а являлось арифметическим результатом сложнаго учета всѣх элементов обстановки момента и направлялось предвосхищающей заботой лѣтописца обезпечить этой группѣ им же предназначенное ей мѣсто в исторіи. Обычно М. не меньше полугода проводил внѣ Петербурга, за-границей или на своих дачах в Финляндіи и Крыму, гдѣ отдых заключался в том, что с утра до вечера, не разгибая спины, он писал. Возвратившись, он начинал «подтягивать» своих единомышленников, а кругом острили, что «расшалились дѣти без папаши, расплясались мыши без кота, вот и конец празднику». В 1917 г. учрежденіе Совѣта республики, во время революціи, повлекло за собой кратковременное возстановленіе партійных фракцій и всей парламентской кухни. М. был в Крыму и в кадетской фракціи верховодил, священнодѣйствуя, Винавер: барахтаясь в лужѣ, дѣлал движенія, точно плавает в морѣ. Фракція была малочисленна, главенствовали лѣвые и, чтобы играть какую-нибудь активную роль, нужно было итти на соглашательство с ними. Наканунѣ открытія засѣданій Совѣта М. вернулся, прямо с поѣзда проѣхал в засѣданіе фракціи и сѣл на предсѣдательское кресло. Он уже был освѣдомлен о лѣвых настроеніях и сразу ребром поставил вопрос, признает ли фракція обязательным рѣшеніе послѣдняго съѣзда, на котором М. одержал побѣду над соглашателями. Послѣ тягостнаго спора фракція пошла на попятный и отказалась от соглашенія с лѣвыми. Выходя вмѣстѣ с М. послѣ засѣданія из Маріинскаго дворца, я спросил: «вы, очевидно, недовольны фракціей?» — «Да, она порядком сползла влѣво, ее надо подтянуть». — «Но цѣлесообразно ли, Павел Николаевич, подтягивать, если она явно на таком уровнѣ держаться не может, и только что Вы на время уѣхали, она и сползла». — «Это ничего! В два три засѣданія она совсѣм преобразится». А раньше, в 4-ой Думѣ фрак-

ція единодушно голосовала против него в вопросѣ о постройкѣ Амурской ж.-д., М. отказался от предсѣдательствованія и на другой день к нему отправились с просьбой «прійти и володѣть нами», потому что замѣнить его было некѣм: по широтѣ образованности и всесторонности умственнаго развитія и по беззавѣтной преданности интересам родины он головой возвышался над всей Думой. Но тяготѣніе к позиціи историка, отсутствіе политической страсти дѣлало его человѣком «без изюминки», превращало политику из искусства в рукомесло и, подмѣняя непосредственное чутье логической арифметикой, этот умнѣйшій человѣк, когда требовалась быстрота рѣшенія, не успѣвал произвести вычисленія и совершал ошибки: достаточно вспомнить об одном из первых выступленій Родичева в III-ьей Думѣ, когда, по поводу расправы военно-полевых судов, он произнес слова «столыпинскій галстук», варіируя выраженіе, характеризовавшее муравьевское усмиреніе польскаго возстанія безчисленными висѣлицами. Столыпин вскочил со своего мѣста и преданная ему Дума отвергла слова Родичева горячими апплодисментами в честь премьера, а к апплодисментам присоединился и М. Это совсѣм окрылило Столыпина, он послал секундантов к Родичеву, которому, послѣ апплодисментов своего лидера, ничего не оставалось, как просить извиненія. Но уже и тогда так велико было значеніе М. в партіи, что лишь меж собой шушукались об его faux pas, а оффиціально кадетскія дамы поднесли и Родичеву и ему цвѣты в знак сочувствія.

Однако, отсутствіе изюминки обнаружилось не сразу. В 1905 г., когда М. только что водворился окончательно в Петербургѣ, эта особенность его не могла еще рѣзко выступить наружу, а всѣ отмѣченные преимущества в сочетании с политическим безстрашіем, неистощимым терпѣніем, сверхчеловѣческой неутомимостью, чуждостью кружковщинѣ быстро сдѣлали его авторитетным центром общественнаго движенія, организовавшагося в Союз союзов, т. е. объединеніе отдѣльных — формально профессіональных, фактически политических—союзов, и все свое вліяніе он упорно направлял на противодѣйствіе крайним теченіям, к которым неустойчивая радикальная интеллигенція всегда питала «влеченье — род недуга», а судорожная политика правительства обильно питала ее допингом. Косвенное участіе М. пришлось принять в происходивших в Петергофѣ, под предсѣдательством царя, совѣщаніях высших сановников и великих князей об организаціи Государственной Думы. В это совѣщаніе приглашен был учитель М., проф. Ключевскій, который, послѣ каждаго засѣданія, обсуждал со своим бывшим учеником стоявшіе на очереди вопросы. Благодаря этому мы имѣли возможность получить экземпляр стенографическаго отчета «петергофских совѣщаній», который потом и был издан заграницей с моим предисловіем.

Обнародованіе положенія о Государственной Думѣ 6-го августа не вызвало ни малѣйшаго энтузіазма, но зато обострило раскол в широком фронтѣ противников самодержавія. Главным средством борьбы стала забастовка и бойкот, который радикальное теченіе рѣшило примѣнить и к Гос. Думѣ. А так как в это время защитники режима тоже стали организовываться и противопоставлять общественному движенію свои резолюціи и требованія, то

раскол угрожал опасным ослабленіем. Право напечатало обстоятельную статью М., исходившую из утвержденія, что Дума является новым историческим этапом в государственной жизни Россіи, и содержавшую отличный анализ этого учрежденія. Рядом стояла моя статья, которая выясняла безсмысленность примѣненія бойкота к Думѣ. Неожиданнаго союзника мы нашли в лицѣ постояннаго сотрудника «Русскаго Богатства», Кудрина-Русанова, члена Ц. К. эсеров, котораго я привлек к участію в земском сборникѣ и поддерживал с ним переписку. По моей просьбѣ он прислал из Парижа статью для Права, в которой тоже рѣшительно высказывался против бойкота: hic Rhodos, hic salta!, но об этом, к сожалѣнію, до напечатанія стало извѣстно редакціи журнала и наканунѣ выхода Права я получил телеграмму, просившую воздержаться от опубликованія статьи. В отношеніи Думы лозунг бойкота не получил серьезнаго значенія, но иначе было с дарованной в августѣ же университетской автономіей: тщетно наиболѣе популярные и авторитетные профессора взывали в Правѣ к прекращенію затянувшейся студенческой забастовки, распропагандированная революціонными партіями молодежь превратила высшую школу в помѣщенія для всенародных бурных митингов, выносивших задорныя резолюціи, и внезапная смерть перваго избраннаго ректора Московскаго университета кн. С. Н. Трубецкого, поразившая его во время засѣданія в министерствѣ народнаго просвѣщенія, была явным послѣдствіем душевных волненій, причиненных университетской смутой, и служила грозным символом безвыходности положенія. А студенчество этой смертью воспользовалось, чтобы превратить похороны в грандіозную демонстрацію.

Пока в Россіи разыгрывались эти крупныя событія, Витте вел в Портсмутѣ трудные переговоры о мирѣ с Японіей. Его назначеніе первым уполномоченным было неожиданным и, как выяснилось, в значительной мѣрѣ вынужденным. Перед отъѣздом в Америку он просил к нему пріѣхать, и впервые мнѣ пришлось с полчаса дожидаться пріема и провести это время в обществѣ его супруги, на открытой верандѣ их дачи на Елагином Островѣ, причем Матильда Ивановна еще афишировала отношеніе к редактору Права: увидѣв подъѣзжавшаго в экипажѣ коменданта Зимняго Дворца Сперанскаго, она вызвала слугу и сказала ему: «меня нѣт дома, а Сергѣй Юльевич занят». Витте был замѣтно взволнован и все порывался вскочить с кресла, но в крошечном дачном кабинетѣ разгуляться большими шагами было мудрено и он чувствовал себя, как в клѣткѣ. Я поздравил его с назначеніем и сказал, что беру назад предсказаніе о концѣ его государственной карьеры: напротив, послѣ заключенія мира она засіяет новым блеском. «Вам легко предсказывать, а представляете ли вы себѣ, как трудно заключить почетный мир? Недаром же отказался и Нелидов, и Извольскій, и Муравьев—только послѣ этого ухватились за меня. Значит, это не так просто». Я возражал, что иниціатива Рузвельта (котораго он упорно называл Рузельвельт) слишком авторитетна, чтобы, опираясь на нее, нельзя было преодолѣть всѣх трудностей. Муравьеву, с его напыщенностью и самовлюбленностью, не удалось бы использовать значеніе этой иниціативы, «но вы то съумѣете извлечь из нея максимум в пользу Россіи, заключите мир и вернетесь тріумфатором, чтобы вновь сы-

грать руководящую роль во внутренних событіях.» — «Да, хорош ваш Муравьев. Он вѣдь сначала согласился, а как узнал, что получит не 100 тысяч рублей, на которые расчитывал, а только 15, так и полѣз на попятный и объявил себя больным». Об этом Витте сообщает и в своих воспоминаніях и как ему не повѣрить, если и граф Коковцев разсказывает в мемуарах, что когда Куропаткин назначен был главнокомандующим, он ультиматиино потребовал такого же содержанія, каким пользовался вел. князь Николай Николаевич в Русско-турецкую кампанію, а именно 100.000 р. в мѣсяц и фуражные деньги на 30 лошадей. Долго еще жаловался Витте на сложность своего положенія, в виду явно враждебнаго отношенія к нему государя и «придворных кругов, которые будут бросать палки в колеса и потом вѣшать на мнѣ собак, какой бы мир я ни заключил». Приглашеніе меня наканунѣ отъѣзда (до меня Витте принимал Суворина) было первым шагом строго обдуманнаго плана расположить к себѣ, при выполненіи трудной миссіи, общественное мнѣніе и, как извѣстно, план этот он весьма умѣло осуществил, вся американская печать была на его сторонѣ и так он был внимателен к прессѣ, что, подписав мирный договор, не забыл послать мнѣ телеграмму с благодарностью за доброжелательное предсказаніе. Но и его предвидѣніе, что, какой бы мир ни заключить, виновника будут всячески поносить, оправдалось в формах совсѣм невѣроятных: правыя изданія утверждали, что у сахалинских каторжников больше представленія о чести и національной гордости, нежели у Витте, и послѣ присвоенія графскаго достоинства в реакціонной печати дана была ему кличка «граф полусахалинскій». Думаю, что и титулом графа он обязан был больше императору Вильгельму, оказавшему ему на обратном пути из Америки в Петербург демонстративно почетный пріем. В противоположность недовольству реакціонеров, требовавших продолженія войны, Право подчеркивало огромное значеніе мира, и я писал: «16-ое августа прекратило безсмысленную и жестокую рѣзню, безумное истребленіе народных сил и средств в конец разоренной страны. Кошмар разсѣялся». Мы обращались к власти с призывом использовать этот шанс и «заключить внутренній мир», проявив ту же искренность, которая вызвала общественный энтузіазм в шестидесятых годах. Призыв не имѣл ни малѣйшаго успѣха, в том же и слѣдующих номерах отмѣчены, с одной стороны, запрещенія съѣздов, объявленія различных частей Имперіи — в особенности окраин, на военном положеніи, а с другой — безжалостныя убійства представителей власти пулями и бомбами. Голос Права стал все сильнѣе заглушаться и правительственными репрессіями и все громче звучавшими на переполненных до отказа митингах в университетских зданіях — (Право отмѣтило митинг в московском университетѣ, на котором было до 13 тысяч человѣк) — лозунгами вооруженнаго возстанія для созыва учредительнаго собранія.

В таких необычайных условіях началась организація первой открытой политической партіи в Россіи, названной конституціонно-демократической. Это громоздкое названіе должно было отграничивать ее от партій республиканских и классовых, но уже через мѣсяц послѣ рожденія, на втором съѣз-

дѣ в Петербургѣ, она была переименована в «партію Народной свободы». Новое названіе плохо привилось, а из перваго, по начальным буквам К и Д., Анненскій создал кличку «кадетская, кадеты» и эта кличка вошла в жизнь. Учредительный съѣзд назначен был в Москвѣ на 8 октября и дня за два мы выѣхали туда с Набоковым. В воздухѣ уже явственно ощущалась гроза, кое гдѣ уже началась ж. д. забастовка, но Николаевская ж. д. еще исправно циркулировала и я старался растворить свою тревогу в увѣренном, спокойном настроеніи Набокова. Как всегда, предварительно на вокзал явился его камердинер, чтобы уютно устроить отдѣленіе — на столикѣ портрет жены, будильник, лубок с Елисѣевскими фруктами, содовая вода и т. д., на вѣшалкѣ красуется шлафрок — можно было чувствовать себя, как дома. А ночью проводник меня разбудил, потому что спутник заболѣл острыми желудочными коликами, и спать не пришлось. В Москвѣ царило гораздо болѣе замѣтное возбужденіе, чѣм в холодном Петербургѣ, атмосфера насыщена была напряженным ожиданіем и сосредоточиться на обсужденіи партійной программы было невозможно. Только два человѣка оставались как бы внѣ воздѣйствія окружающей обстановки — Милюков, бывшій докладчиком и тщательно записывавшій своим четким мелким почерком замѣчанія всѣх говорившых, и Винавер, умѣло предсѣдательствовавшій и упоенный этой ролью. На первом засѣданіи, в домѣ Долгоруковых, появился незваный гость — пом. пристава Носков, московскій спеціалист по части роспуска неразрѣшенных собраній, но и он не рѣшился ослушаться священнодѣйствующаго предсѣдателя и смущенно подчинился заявленію, что слово будет ему предоставлено в очередь, а когда она наконец до него дошла, он только и мог предъявить протест против дѣйствій предсѣдателя, помѣшавшаго ему исполнить возложенную на него обязанность. С каждым днем, каждым часом напряженіе обострялось — желѣзнодорожное движеніе совсѣм остановилось, электричество погасло, телефон почти не дѣйствовал, забастовка превращалась во всеобщую, при тусклом мерцаніи свѣчей засѣданія становились все болѣе вялыми, но не прерывались. Напротив, вспоминаю жаркій бой 17-го октября между Милюковым и женой его, сидѣвшими ошую и одесную предсѣдателя, из-за предоставленія женщинам избирательных прав. Мы с Набоковым не дождались голосованія и пошли посмотрѣть, что дѣлается на улицах, не услышим ли чего-либо новаго, что — явственно ощущалось, — должно наступить. А когда вернулись в мрачный полутемный зал, Милюков сердито упрекал нас: именно недостаток наших двух голосов доставил побѣду женѣ, требовавшей равноправія, и ему удалось лишь отстоять примѣчаніе, предоставлявшее членам партіи свободу голосованія по этому вопросу. На ближайшем съѣздѣ в Петербургѣ и примѣчаніе было исключено.

Засѣданіе продолжалось, пока, уже довольно поздно, в зал не ворвался сильно запыхавшійся сотрудник Русских Вѣдомостей, потрясая каким-то листком в рукѣ, оказавшимся манифестом 17-октября. Все смѣшалось и сбилось в кучу, слышны были отрывистыя взволнованныя замѣчанія, на всѣх лицах сіяло торжество и радость, почему то — быть может, по безпокойному томленію духа, — показавшіяся мнѣ чрезмѣрной. Прямо из засѣданія пере-

шли в литературно-художественный кружок, гдѣ говорились восторженныя рѣчи, было и неизбѣжное «нынѣ отпущаеши раба твоего!», а предсѣдательствовавшій и на этом внезапном банкетѣ Винавер предложил тост за «учителя Витте по конституціонному праву».

Живо вспоминал я об этом душевном томленіи нѣсколько лѣт спустя, когда, при посредствѣ талантливаго литератора Чуковскаго, сотрудника Рѣчи, познакомился с самым выдающимся представителем уже отживавшаго свой вѣк передвижничества, И. Е. Рѣпиным. Я получил от него очень любезное приглашеніе, обращавшее на себя вниманіе обозначеніем не только дня и часа написанія, но еще и температуры воздуха и высоты барометра. Я поѣхал на знаменитую дачу его «Пенаты» с женой и двумя младшими сыновьями, чтобы и им дать счастливую возможность видѣть геніальнаго художника.. Тщедушный, подвижный старичек Рѣпин был трудным собесѣдником, разговор не вязался и Чуковскій, считавшій себя режиссером свиданія, наставлял попросить хозяина показать свою мастерскую. Рѣпин как бы нехотя согласился, мы поднялись наверх и всѣ — было кромѣ нас еще нѣсколько гостей, — похваливали, как полагается, остававшіяся непроданными картины, среди коих ничего выдающагося не было. Одна очень большая рама была задернута пологом и, опять по наущенію Чуковскаго, я просил показать эту работу. Также нехотя Рѣпин отдернул завѣсу и перед глазами воскресли безумные дни вокруг 17-го октября. Толпа, которую Рѣпин так мастерски изображает, восторженно несет на руках совершенно изможденнаго молодого человѣка — «интеллигента» — со всклокоченными бѣлокурыми волосами, свисающими на потный лоб. Правая рука держит призывный жест и рот раскрыт: вы словно слышите его усталый охрипшій голос. На первом планѣ сытая самодовольная фигура адвоката во фракѣ с красной розой в петлицѣ, на жилетѣ распласталась крупная золотая цѣпь, и всѣм своим видом, увѣренной походкой он говорит: и мы пахали! Рядом с ним курсистка, все та же, что и на другой его картинѣ: «Какой простор!» и впереди нея совсѣм маленькій гимназистик с видом побѣдителя — «наша взяла»! С восхищеніем я разглядывал разнокалиберную толпу и самозабвеннаго оратора, а Чуковскій все приставал, шепча: «да скажите же что-нибудь, старик вѣдь обидится». Я и сказал: «спасибо, Илья Ефимович, мнѣ теперь все ясно. Достаточно взглянуть на вашу чудесную картину, чтобы сразу понять, почему революція не удалась». Не успѣл я закончить фразы, как Рѣпин рѣзко затянул полог и так демонстративно проявлял недовольство, что мы до ужина, к которому были приглашены, уѣхали и нас не удерживали. А на другой день примчался Чуковскій и огорченно пенял: «как же вы, умный человѣк, и так старика обидѣли! Он убѣжден, что изобразил апофеоз революціи, а вы ему говорите прямо обратное». Вторая революція заставила забыть этот эпизод и в 1924 г. Рѣпин прислал мнѣ свой портрет с очень дружеским письмом.

На другой день послѣ опубликованія манифеста нам, Набокову и мнѣ, удалось с первым отошедшим в Петербург поѣздом выѣхать домой. Мы оказались в одном отдѣленіи с кн. П. Трубецким, московским предводителем дворянства, Д. Н. Шиповым и М. А. Стаховичем, которых граф Витте вы-

звал для переговоров об образованіи перваго конституціоннаго министерства. Дома жена мнѣ сообщила, что, за время моего отсутствія, нѣсколько раз звонил Витте по телефону и выражал свое недоумѣніе и недовольство, узнав, что меня нѣт в Петербургѣ. Я тотчас же позвонил к нему и, в отвѣт на поздравленіе, услышал раздраженный голос, чуть ли не прямой выговор за то, что в самое нужное время «неизвѣстно зачѣм, исчез», и приглашеніе (по тону больше напоминавшее требованіе) немедленно пріѣхать к нему.

Я застал его чрезвычайно возбужденным, большими шагами он из угла в угол мѣрял свой огромный кабинет, ковер котораго был буквально усѣян наддранными большими конвертами. Витте сразу стал жаловаться на трудности своего положенія и я воспользовался этим, чтобы сказать, что для успокоенія общественнаго возбужденія нужно сдѣлать какой-нибудь «жест» и прежде всего немедленно объявить свободу печати. Мнѣ уже было извѣстно, что петербургскія газеты рѣшили, тотчас же по прекращеніи типографской забастовки, выйти в свѣт без соблюденія цензурных правил (как тогда выражались, «явочным порядком»). Сказать ему об этом рѣшеніи я не мог, ибо он, чего добраго, принял бы предупредительныя мѣры, но, в интересах столь необходимаго тогда авторитета власти, мнѣ казалось желательным, чтобы свобода печати была октроирована. Однако, добрый совѣт вызвал рѣзкую вспышку гнѣва. «Да что вы мнѣ толкуете! Только что был у меня такой авторитетный ученый, как Таганцев, и увѣрял, что выработка закона о свободѣ печати требует много времени и труда». — «Проф. Таганцев, отвѣчал я, совершенно прав: для выработки исчерпывающаго закона требуется много времени. Но то, что нужно сдѣлать немедленно — упразднить предварительную цензуру, чтобы потом не было поздно, можно изложить в 5 мин., и это сейчас можно было бы сдѣлать за вашим письменным столом». — «Ах, оставьте! у меня и без того достаточно забот. Думали ли вы, что уже начинаются выборы в Госуд. Думу и на ходу нужно мѣнять избирательный закон. А вот лучше скажите, кто из общественных дѣятелей мог бы войти в кабинет министров». Я отвѣтил, что прежде чѣм об этом говорить, необходимо было бы уволить наиболѣе непріемлемые для общественнаго мнѣнія фигуры, в частности и в особенности тов. министра вн. дѣл Трепова. Но это вызвало еще сильнѣйшее раздраженіе: «вы воображаете, что все так просто дѣлается. А мнѣ с величайшим трудом удалось добиться отмѣны ужаснаго назначенія. Был уже подписан указ о назначеніи Коковцева предсѣдателем департамента экономіи гос. совѣта». — «Но, Сергѣй Юльевич, увѣряю вас — это-то вовсе не интересует общественное мнѣніе». Витте упорствовал и было ясно, что дальше разговаривать не о чем.

На третій день я вновь был приглашен к премьеру и он вновь вернулся к вопросу о вступленіи «уважаемых общественных дѣятелей» в кабинет и интересовался, нельзя ли содѣйствовать в этом и повліять на кн. Е. Н. Трубецкого, которому он намѣревается предложить пост министра нар. просвѣщенія. Напоминаніе об отставкѣ Трепова вновь вызвало настоящую бурю гнѣва и я вышел от него с убѣжденіем, что это наше послѣднее свиданіе. А кн. Трубецкой обратился в редакцію Права с просьбой собраться для обсуж-

денія сдѣланнаго ему предложенія. На совѣщаніи, на котором присутствовал и Милюков, всѣ, кромѣ Петражицкаго, высказались отрицательно, и тут же кн. Трубецкой написал Витте о своем отказѣ.

Между тѣм настроеніе в Петербургѣ с часу на час становилось все напряженнѣе. Революціонныя организаціи назначили на 24 октября торжественные похороны убитых во время манифестацій у Технологическаго Института студентов и в своих широко распространенных воззваніях приглашали населеніе принять участіе в процессіи. А правительство, под угрозой знаменитаго треповскаго приказа—патронов не жалѣть, объявило, что манифестація не будет допущена. Мерещилось поэтому повтореніе страшнаго кроваваго 9-го января и наканунѣ похорон нѣсколько депутацій от разных общественных учрежденій ѣздили к Витте, тщетно стараясь убѣдить его снять войска и не мѣшать похоронам. Послѣдней, уже вечером, была у него депутація от Городской Думы, которой он в рѣзкой формѣ тоже отказал. В этот вечер было очередное засѣданіе ред. коллегіи Права, но, конечно, разговоры вертѣлись только вокруг завтрашняго дня. С большим запозданіем пріѣхал в засѣданіе Набоков, бывшій тогда гласным Гор. Думы, очень разстроенный, и сообщил о пріемѣ, который Витте оказал депутаціи. Тревога еще усилилась и вдруг Петражицкій предложил послать немедленно депутацію еще от Права. Предложеніе казалось не только претенціозным, но просто нелѣпым. Станет ли Витте внимать предостереженіям скромнаго юридическаго журнала, если он так рѣзко обошелся с городским управленіем. Но не из тѣх людей был Петражицкій, которых можно переубѣдить: он так беззавѣтно вѣрил в силу логики, что ему представлялось невѣроятным, чтобы Витте мог сопротивляться разумным доводам, которые он ему представит. Возраженія, подсказываемыя, правда, и нежеланіем вновь выслушивать раздраженныя реплики, были отвергнуты и вдвоем с Петражицким мы были командированы. Подъѣхав в половинѣ двѣнадцатаго ночи к особняку Витте, мы узнали от швейцара, что «их сіятельство в гос. совѣтѣ». Отчаянію моего спутника положительно не было границ, он был сам не свой. Чтобы оставить слѣд посѣщенія, Петр. дал мнѣ визитную карточку, на которой я написал, что мы явились депутаціей от Права с ходатайством снять войска ради избѣжанія кровопролитія, которое грозит аннулировать благодѣтельное вліяніе манифеста 17-го октября: если же демонстрація пройдет безпрепятственно, она будет послѣдней (данных для такого утвержденія у нас не было никаких) и все успокоится. Я считал миссію нашу законченной, но на обратном пути в редакцію П. не переставал твердить, что на этом нельзя успокоиться, нужно что-нибудь придумать. Тут пришло в голову съѣздить к кн. Оболенскому, одному из авторов манифеста, пользовавшемуся тогда большим вліяніем на Витте, благодаря своим связям в придворных сферах. Брат его Николай, котораго называли «котик», был тогда любимѣйшим флигель-адъютантом и в придворных сферах острили, что у Оболенских котиковые промыслы. П. радостно призиал мысль очень удачной и, заѣхав в редакцію, чтобы сообщить товарищам, мы опять поплелись и около полуночи подъѣхали к великолѣпному дому на Дворцовой Набережной. На наш вопрос, дома ли князь, осанистый швейцар с бу-

лавой показал глазами на подымающагося по лѣстницѣ человѣка, который в этот момент обернулся и, увидѣв нас, не только не удивился необычно позднему посѣщенію, но страшно обрадовался, громко привѣтствовал, точно увидѣл самых близких людей.

Князь Оболенскій был полной противоположностью гр. Витте. Небольшого роста, необычайно подвижный и всегда жизнерадостный, оптимист закоренѣлый, он таким остался и в эмиграціи, гдѣ окончил свою долгую жизнь в очень тяжелых матеріальных условіях. А в ту ночь, недавно назначенный преемником всесильнаго Побѣдоносцева на посту обер прокурора Синода, он витал в облаках и мы никак не могли заразить его тревогой. «Да нѣт же, это все неважно, это мелочь, теперь все образуется. Как же вы не видите зарю новой жизни!» Его краснорѣчіе прервано было телефонным звонком, он взял трубку и из доносившихся до нас реплик можно было понять, что бесѣда идет именно о завтрашней демонстраціи. Дѣйствительно, окончив разговор, Оболенскій сказал: «а вот из редакціи Новаго Времени сообщают, что демонстраціи не будет». Мы отказались этому вѣрить — не так были настроены тогда революціонныя партіи, да и случая такого не бывало, чтобы назначенная демонстрація в послѣднюю минуту была отмѣнена. «Так, пожалуйста, провѣрьте у ваших друзей. Я переведу телефон в другую комнату, гдѣ вас никто слушать не будет». Я стал нетерпѣливо звонить, но либо не заставал дома, либо телефон был занят. Сославшись наконец на то, что говорю из квартиры обер прокурора, я добился соединенія с редакціей «Сына Отечества» и Шрейдер подтвердил, что дѣйствительно демонстрація отмѣнена. На вопрос же, как это могло случиться, он отвѣтил, что и сам ничего не понимает, но только что получено отпечатанное краткое воззваніе, за подписью всѣх революціонных организацій, сообщающее об отмѣнѣ торжественных похорон. «Ну, вот видите — нѣт, теперь уже все будет хорошо. Вы не знаете, что Сергѣй Юльевич стоял на колѣнях перед государем, умоляя его хорошенько обдумать столь важный шаг. И царь всю ночь молился, прежде чѣм подписать манифест. Теперь все уже прочно и Россія заживет новой счастливой жизнью. . .» Фактически Витте предусматривал повтореніе прецедента 12 декабря 1904 г., когда он рекомендовал исключеніе «третьяго пункта», и предлагал и теперь обойтись без манифеста, а удовольствоваться резолюціей государя — «принять к руководству» — на его всеподданнѣйшем докладѣ о мѣрах для ликвидаціи анархіи. Но правящія сферы серьезно опасались, что это окружит ненавистнаго им «франкмасона» ореолом спасителя Россіи, и сами уже настаивали на изданіи торжественнаго манифеста от имени государя.

Однако странным приключеніям этой памятной ночи еще не суждено было кончиться. Мы было стали уже прощаться с радушным хозяином, как вдруг появился Лазаревскій и сообщил что гр. Витте прислал курьера с приглашеніем немедленно к нему явиться. Оболенскій, не переставая говорить, трогательно распрощался с нами, всѣх обнявши, и вдвоем с Петр. мы вновь направились к Витте, а было уже послѣ часу ночи. Нам не пришлось звонить у подъѣзда, швейцар ждал нас и сказал, что «их сіятельство долго поджида-

ли и сердились, а теперь уже ушли в спальню. Но я всетаки скажу, чтобы им доложить» и звонком вызвал курьера. «А вы снимите пальто, они вас, я знаю, примут». Да, знает слуга своего барина, курьер вернулся со словами: «вас просят». Мы вошли в знакомый огромный кабинет, имѣвшій теперь весьма неуютный вид — вся мебель была вынесена, так как Витте на утро переѣзжал в Зимній дворец. Пол, по обыкновенію, усѣян был разодранными конвертами и лишь в углу стоял небольшой дамскій письменный стол и два стула. Витте вышел в ночной сорочкѣ, стареньком пиджачкѣ, блѣдный, с изможденным лицом и, не подав нам руки, не здороваясь, хриплым, задыхающимся голосом стал говорить: «послушайте, господа, вы знаете, как я хорошо отношусь к вам, и вы позволяете себѣ прійти в полночь и, зная, как я измочален работой, и зная, что я всѣм уже отказал, пишете мнѣ записки и требуете, чтобы я убрал войска. Ну, так вот что»... Мы пытались прервать его, но, повидимому, наши радостныя физіономіи, столь несоотвѣтствовавшія тону оставленной записки, только еще больше раздражали и, сильно возвысив голос, он не дал нам высказаться. «Что вы еще можете сказать! Нѣт! Теперь я уже вам говорить буду. Так вот знайте! Получив вашу записку, я тотчас позвонил Трепову и сказал: Дмитрій Федорович, уберите завтра войска, оставьте их только у правительственных зданій. Трепов отвѣтил, что не может взять на себя такой отвѣтственности. Отвѣтственность, возразил я, беру на себя. Но, господа, — он стал уже кричать и грозить пальцем — отвѣтственность не на мнѣ будет, а на вас, вы отвѣтите за кровь, если она завтра прольется, и не станете больше приходить по ночам с такими требованіями». — «Ради Бога, успокойтесь, Сергѣй Юльевич, теперь уже это все лишнее». — «Как лишнее, что еще такое, что вы еще придумали?» Когда мы быстро разсказали, в чем дѣло, он раскрыл рот и словно остолбенѣл, потом схватился за стол. Опасаясь, что он упадет, мы его поддержали, подставили стул, на который он тяжело опустился и, крестясь, все повторял: слава Богу, слава Богу! Вошедшій на звонок курьер принес стакан воды и, отпив нѣсколько глотков, Витте быстро оправился, велѣл принести еще один стул и уже обычным тоном своим опять стал жаловаться на трудности положенія. Из этих жалоб можно было заключить, что он весь поглощен текущими острыми злобами дня и совершенно не отдает себѣ отчета, что теперь центром борьбы станет вопрос о компетенціи Гос. Думы. У него даже сорвалась неопредѣленная фраза, что это уже дѣло самой Думы. Но как только из дальнѣйшаго разговора он уловил, что в таком случаѣ Дума превратится в учредительное собраніе, сразу как бы опомнился и тут же стал просить составить для него проект «основных законов». А Учредительное собраніе было тогда лозунгом всей оппозиціи и нѣсколько дней спустя это требованіе было предъявлено Витте даже депутаціей от бюро земско-городских съѣздов, которую он вызвал для переговоров. Поэтому просьба о составленіи проекта основных законов дѣлала дальнѣйшую бесѣду весьма щекотливой, мы постарались оборвать ее, ссылаясь на поздній час и его крайнюю усталость, и простились с ним уже в третьем часу ночи.

В своих «Воспоминаніях» гр. Витте, неоднократно упоминая обо мнѣ,

об этом историческом свиданіи ничего не говорит, но зато весьма подробно разсказывает о выработкѣ основных законов. В предисловіи к его «Воспоминаніям» мнѣ уже пришлось отмѣтить, что он смѣшал два разных момента и вслѣдствіе этого допустил существенныя неточности. С другой же стороны, отказ общественных дѣятелей от участія в кабинетѣ (отказались и Шипов, и всѣ другіе, к кому Витте обращался) и предъявленіе ему требованія о превращеніи Думы в учредительное собраніе составляет теперь главный пункт комбинацій на тему «еслибы»: еслибы оппозиція была тогда благоразумнѣе, не предъявляла чрезмѣрных требованій, ход исторіи мог бы быть совсѣм иной. Но теперь, когда мы знаем, в каком положеніи очутилось в 1917 г. временное правительство и чѣм оно кончило, можно было бы, казалось, с гораздо большим основаніем выставить другую догадку: еслибы предложеніе Витте было принято, то, при тогдашнем настроеніи широких масс населенія, не разрѣшилась ли бы революція большевицким переворотом уже в 1905 г.

А эта странная ночь имѣла еще свой эпилог послѣ роспуска первой Думы, т. е. спустя девять мѣсяцев. Всѣ ожидали тогда народных возстаній, правительство приняло предупредительныя мѣры, но народ «безмолствовал», Ахерон, как тогда выражались, не поднялся. Живя на дачѣ в Сестрорѣцкѣ, я встрѣтился там с видным членом с.-д. партіи Н. Аносовым (если не ошибаюсь, членом Ц. К.), который на вопрос как случилось, что народ остался равнодушен к роспуску Думы, которой он так интересовался, — к величайшему моему изумленію, отвѣтил буквально слѣдующее: «с тѣх пор, как мы в октябрѣ прошлаго года отмѣнили демонстрацію, мы потеряли власть над массами». И я вновь живо вспомнил ту бурную ночь, когда враждующія стороны в послѣдній момент разошлись, не рѣшившись помѣряться силами друг с другом.

Учредительный съѣзд кадетской партіи состоял, главным образом, из бывших членов Союза Освобожденія, а, пожалуй, и ни одного участника не было, кто не принадлежал бы к Союзу. Формально Союз даже и не был ликвидирован, а по русской привычкѣ, за ненадобностью, просто брошен был, как старая ветошь. Да и журнал Освобожденіе не простился с читателями, а на полусловѣ оборвал свое существованіе: как только до Парижа дошло извѣстіе о манифестѣ 17 октября, редактор его Струве, не выждая разрѣшенія возбужденнаго друзьями ходатайства о дозволеніи вернуться в Россію, схватил шапку в охапку и, тотчас по моем возвращеніи из Москвы, обрадовал меня появленіем в редакціи Права: при переѣздѣ через русскую границу он не встрѣтил никаких препятствій. К. д. партія вправѣ была считать себя правопреемницей, наслѣдницей Союза и можно было расчитывать, что в нее войдет большинство его членов, которое и составит основное ядро партіи. Такой расчет тѣм болѣе казался основательным, что, как уже упомянуто, на учредительном съѣздѣ программа не вызвала сколько-нибудь серьезных разногласій. Правда, в составленіи ея руководящую роль играли земцы и Милюков, радикальные элементы и — тѣм болѣе — соціалистическіе остались в сторонѣ от этой работы. Должно быть, по отношенію к провинціи и к

рядовым членам Союза этот расчет и оправдался. почти всѣ они и вошли в состав партіи. Думаю, что так было и в Москвѣ, которая вообще стала душой партіи, формовщицей и хранительницей ея традицій. А в разсудочном Петербургѣ, гдѣ перегородки между интеллигентными настроеніями были наиболѣе высоки и наименѣе проницаемы, и манифест 17-го октября с сопровождавшим его пробужденіем сопротивленія и натиска реакціонных элементов, оказался не в состояніи смести перегородки, напротив — пронизал их током высокаго напряженія, чтобы и приближаться к ним было небезопасно. Неискренность и вынужденность уступок, обнажавшая слабость власти, возбуждала мечту, что сейчас можно добиться и большаго. Поэтому о закрѣпленіи позицій, сданных манифестом 17 октября, никто и не думал, всѣ превратились в старуху из пушкинской сказки, и центр тяжести перемѣстился с программных положеній на вопросы тактики, которая, конечно, в гораздо большей степени опредѣляется склонностями характера, нежели доводами разума и логики. Может быть, потому так странно это предисловіе к созванному в концѣ октября собранію петербургской группы Союза, что болѣе сумбурнаго, болѣе ожесточеннаго и предубѣжденнаго настроенія среди вчерашних еще соратников видѣть не пришлось, а меня к тому же посадили предсѣдателем — нелегко было сдерживать бушующія страсти. Со всѣх сторон гремѣли обвиненія и упреки, даже и со стороны лиц, которые двѣ недѣли назад, на учредительном съѣздѣ никаких возраженій не предъявляли. Одни указывали, что парламентская тактика партіи стоит в несоотвѣтствіи с революціонной программой, и требовали согласованія налѣво, другіе убѣждали потѣсниться направо, предоставив занятую учредительным съѣздом позицію болѣе радикальным элементам. Я думаю, что еслибы заявленныя притязанія и были приняты докладчиком Милюковым, это не измѣнило бы готовых рѣшеній. с которыми большинство петербургской группы пришло в собраніе. И может быть — подоплека была в том именно, что докладчиком был Милюков, что тогда обозначилась уже его руководящая роль, губернаторство, сдѣлавшее из него средостѣніе между партіей и общественным мнѣніем. Чѣм выше был авторитет Милюкова в земской средѣ, тѣм ревнивѣе относились к своей самостоятельности и независимости представители интеллигенціи, тѣм больше опасались сломать перегородки. Мои догадки характерно подтверждаются тѣм своеобразным, так сказать, самобытным фактом, что отказавшаяся от участія в партіи значительная часть группы Союза Освобожденія затруднилась найти свое мѣсто на политической аренѣ и выступила под курьезным знаменем «Без заглавія» (как назывался журнал, недолго просуществовавшій).

Меня лично уход этой интеллигентской группы очень огорчил — многих я не только уважал, но искренне любил и общеніе с ними доставляло моральное удовлетвореніе, поднимало вѣру в человѣка, засѣданія с ними разсѣивали тревожное томленіе духа и внушали спокойную увѣренность. Теперь предстояло начать сначала, знакомиться и работать с новыми людьми, которые сошлись не на тяжелую и упорную борьбу, а прибѣжали на пир. Я не мог освободиться от этого непріятнаго ощущенія, не мог преодолѣть душевнаго холод-

ка, когда, по порученію Ц. К., созвал в Тенишевском залѣ учредительное собраніе для образованія петербургской группы первой открытой политической партіи и увидѣл массу незнакомых сіяющих лиц, покинувших свои кельи и сбѣжавшихся на зов побѣдителей. Голос сомнѣнія назойливо нашептывал: пока будешь счастлив, будет у тебя много друзей. Захваченный общим увлеченіем выдающійся русскій, теперь польскій ученый Ф. Зѣлинскій почувствовал все же потребность оградить свою индивидуальность и помѣстил в Правѣ статью: Личность и общество, в которой, между прочим, оговаривался, что если нельзя приносить интересов партіи в жертву личным симпатіям, то и наоборот — не должно под вліяніем партійных соображеній измѣнять личныя отношенія, охладѣвать к прежним друзьям, дружиться с тѣми, которые раньше были антипатичны или безразличны. Но каково тѣм, кто не владѣет искусством отмѣривать градаціи общенія, а тогда, в разгарѣ политических страстей, и вообще трудно было соблюдать наставленіе Зѣлинскаго. Наибольшим партійным торжеством было предложеніе студентов трех высших учебных заведеній о пріемѣ их в кадетскую партію, но я не мог вызвать в себѣ симпатій к ним, потому что мое поколѣніе воспиталось на том, что в борьбѣ обрѣтешь ты право свое. Именно теперь, когда, как казалось, борьба примет парламентскія формы, дѣти могли бы предоставить ее отцам, и наверстывать упущенное на забастовках, вмѣсто того, чтобы состоять на политических побѣгушках.

Пока, однако, парламентская борьба рисовалась только воображенію, а фактически кругом происходила не борьба, а всеобщій погром, бурсацкая, но кровавая вселенская смазь. Демобилизуемые войска, безпорядочно возвращавшіеся с Дальняго Востока, громили все на своем пути. Организуемые мѣстной администраціей городскіе подонки устраивали погромы евреев и интеллигенціи, революціонныя партіи револьверами и бомбами громили полицію и жандармов и, под руководством впервые тогда образовавшагося Совѣта рабочих и крестьянских депутатов, вымогали у населенія вторую, а потом и третью всеобщія забастовки, явно обреченныя на неудачи. Теперь, когда вскрыта огромная роль провокаціи в общественном движеніи, трудно допустить, чтобы организація — разсудку вопреки — этих забастовок, как и декабрьскаго вооруженнаго возстанія в Москвѣ, обошлась без ея участія. Вспоминается здѣсь неожиданное появленіе неизвѣстнаго лица, оставившаго по себѣ такую позорную память. Не называя себя, вошел и поздоровался невысокій человѣк, в вышитой разноцвѣтными шелками синей рубашкѣ, поверх которой надѣт был пиджак, с острым лицом, такими юлящими глазами, каких больше я не встрѣчал, и густыми волосами, остриженными в скобку. Вызывающее молчаніе на повторенный дважды вопрос, что вам угодно, — и руки в боки раздражающе подчеркнули отвратительное впечатлѣніе, которое он производил, а когда наконец он нехотя, оскорбленно — дескать, как же редактор Права может спрашивать, кто он такой — выдавил из себя: я — Гапон, — у меня екнуло внутри: как могло случиться, что даже такіе предательски шмыгающіе глаза не помѣшали этому роковому человѣку стать не только кумиром толпы (на эту роль все может пригодиться), но и заслу-

жить почтительное признаніе интеллигенціи. Едва ли можно сомнѣваться, что в то время он уже плел связи с департаментом полиціи. Имя Гапона назвал мнѣ С. Ю. Витте во время одного из посѣщеній: отбояриваясь раздраженно от наивных увѣщеваній моих, он все уличал в непониманіи серьезности положенія. «Вы вот не знаете, что Гапон здѣсь, а он был у меня». Я с намѣренным пренебреженіем отвѣтил, что и меня Гапон удостоил посѣщеніем, но что теперь он выдохся и пяти копѣек не стоит. Витте широко раскрытыми глазами посмотрѣл на меня. Ему, как доказывают попавшія в мои руки росписки, Гапон стоил нѣсколько десятков тысяч рублей. Так или иначе, но тщетно Право предостерегало от повторенія пользованія опаснѣйшим оружіем забастовки, которое от частаго употребленія зазубривается и тупѣет.

Моя фамилія слишком часто пестрѣла тогда на газетных столбцах, жили мы близко к окраинѣ и квартира расположена была в нижнем этажѣ, я стал получать подметныя угрожающія письма, на дверях мѣлом и краской обозначался крест, знак предназначенія к погрому, и мы вынуждены были временно пріютиться в семьѣ Каминки, а потом, среди зимы переѣхать на другую квартиру в центр города. Я был тогда по горло занят и весь своей работой поглощен, вслѣдствіе чего, при этом переѣздѣ, погибло много рукописей, замѣток и весьма цѣнной для меня переписки, которыя сейчас, ох как пригодились бы.

«РѢЧЬ» И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

(1906—1907).

Образованіе политической партіи поставило на очередь вопрос об изданіи ежедневной газеты, и когда я вновь получил предложеніе взять на себя редактированіе, то и жена покорилась судьбѣ и не протестовала — суженаго конем не объѣдешь. Надо было бы прежде всего спросить себя, а как же и откуда выкроить время для газеты. И без нея весь день как будто был заполнен. Я не упоминал до сих пор, что тотчас по выходѣ в отставку был избран директором-распорядителем почтенной старинной издательской фирмы Общественная Польза с большой собственной типографіей. Вот за это дѣло, требующее прежде всего коммерческой сноровки и умѣнья, интереса и вниманія к смѣтѣ, отчетам и балансам, браться не слѣдовало, а меня поставили, чтобы влить вино новое в мѣха старые, чтобы приспособить издательство к измѣнившимся литературным вкусам и потребностям.

При переходном характерѣ тѣх годов задача, впрочем, и сама по себѣ была нелегкая, а мнѣ тѣм паче разрѣшить ее не удалось, и я склонен был бы и вовсе не останавливаться на этом отрѣзкѣ дѣятельности, если бы она не была связана с сотрудничеством, ежедневными встрѣчами с человѣком — уже покойным — занимавшим совершенно исключительное мѣсто среди петербургской интеллигенціи, раздѣленной высокими перегородками на многочисленные, замкнутые кружки. Оформленіе политических партій произвело как бы генеральное размежеваніе, указавшее каждому свое мѣсто, и послѣ этого уже не только неумѣстно, но и зазорно было вторгаться в предѣлы чужой собственности, принимать одновременно участіе в разных группировках. Едва ли не единственное исключеніе установлено было в пользу наименѣе, с перваго взгляда, замѣтнаго, но наиболѣе всѣми почитаемаго и любимаго Александра Исаевича Браудо, занимавшаго пост библіотекаря (а потом вицедиректора) публичной библіотеки: еврей «от головы до ног», он был преданнѣйшим сыном Россіи и, не состоя ни в какой партіи и кружкѣ, всюду был желанным и дорогим гостем и пользовался неограниченным довѣріем не только среди интеллигенціи, но и вплоть до высших слоев бюрократіи и великокняжеских дворцов. Он был какой-то всеобщій печальник, я совсѣм не могу представить себѣ его сидящим в театрѣ, в концертѣ, думаю, что никогда он там и не бывал, но зато его неизмѣнно можно было встрѣтить вез-

дѣ, гдѣ творилось общественное дѣло или нужно было кому-нибудь помочь. Труднѣе всего было застать его дома: помню, как удивился телефонному звонку сын его, нынѣ выдающійся музыкант, тогда еще мальчик, и недовольно сказал мнѣ: «Папы же нѣт дома, он шлепает». А. И. дѣйствительно шлепал с утра до вечера, потому что всѣ обращались к нему с самыми разнообразными просьбами и порученіями, он, вѣроятно, и не знал, что в просьбѣ можно отказать, и поэтому с каждым днем все тяжелѣе становился короб забот и дѣл, с которыми он утром отправлялся из дому шлепать. Личных интересов и увлеченій у него замѣтить нельзя было и, кажется, он впервые наполнил для меня конкретным живым содержаніем проникновенныя слова Тургенева: «Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажденіе,... жизнь тяжелый труд, отреченіе, отреченіе постоянное — вот ея тайный смысл, ея разгадка... Не наложив на себя желѣзных цѣпей долга, не может человѣк дойти, не падая, до конца своего поприща». Я бы сдѣлал, однако, еще оговорку: Браудо цѣпей на себя не накладывал, было впечатлѣніе, что с ними он и родился. Никому, во всяком случаѣ, не дано было видѣть, что он их чувствует. Нам казалось, напротив, что цѣпи несут его, и походка была у него такая неслышная, ровная, степенная, словно он не ступает, а несется. Когда, наконец, я разстался с Общественной Пользой, ушел и А .И. оттуда, мы стали встрѣчаться, главным образом, в моем редакціонном кабинетѣ, в котором он был частым и самым дорогим гостем. Я не мог удержать радостнаго восклицанія при видѣ его, ибо, с чѣм бы он ни пришел, его спокойная осанка, задумчивое грустное лицо с лучистыми глазами, сразу разсѣивали суетливо напряженное редакціонное настроеніе, смѣнявшееся предвкушеніем душевнаго отдыха. Трудно разсказать словами, в чем заключалось обаяніе его благородной личности, было оно не в дѣйствіях, не в рѣчах или жестах, а в чем то неосязаемом: в благостном выраженіи лица, в мягком спокойствіи, в широко раскрытом сердцѣ, душевной теплотѣ, чутком вниманіи. Отрадно было чувствовать и сознавать, что к нему всегда можно постучаться, все можно разсказать и душевно около него согрѣться.

Уже послѣ смерти Александра Исаевича — скоропостижной, в Лондонѣ, куда он пріѣхал из Россіи на отдых, мнѣ, к величайшему удивленію, стало извѣстно, что он был масоном. Масонство представлялось мнѣ категоріей исторической, роль свою давно закончившей, и лишь в 1904 г. я вдруг узнал, что оно еще претендует на жизнеспособность. Во время одного из пребываній в Москвѣ ко мнѣ, в гостиницу Національ явился Д. И. Шаховской и предложил подняться к только что вернувшемуся из долговременнаго пребыванія заграницей проф. М. М. Ковалевскому — «это очень интересный человѣк и вам нужно с ним познакомиться, пойдемте сейчас, он ждет вас». Мы поднялись этажем выше и добродушно разжирѣвшій, с таким же жирным голосом, Ковалевскій, едва успѣв поздороваться, сразу же стал доказывать, смотря мимо меня, что только масонство может побѣдить самодержавіе. Он положительно напоминал комиссіонера, который является, чтобы сбыть продаваемый товар, и ничѣм не интересуется, ничего кругом не видит и занят только тѣм, чтобы товар свой показать лицом. Это мнѣ не понрави-

лось и пропал всякій интерес к сближенію с ним, несмотря на большую авторитетность и популярность его имени. Позже он поселился в Петербургѣ, и я бывал у него только на собраніях. Помню одно из них, созванное, если не ошибаюсь, для протеста против смертных казней. Предсѣдатель опрашивал присутствующих, от каких организацій представителями они явились. Когда очередь дошла до хозяина, он стал без конца перечислять возглавляемыя им организаціи. Опустив наконец колыхающійся живот в кресло, он через нѣсколько минут вновь поднялся, и, перебивая говорившаго, сказал: «Виноват, господин предсѣдатель, я забыл, что состою еще предсѣдателем Герценовскаго кружка». В общественных организаціях он был вродѣ генерала на купеческих свадьбах. Насколько мнѣ извѣстно, Ковалевскій и был родоначальником русскаго масонства конца прошлаго вѣка. Русская ложа, отдѣленіе французской «Ложи Востока» — была им торжественно, по всѣм правилам обрядности, открыта, а через нѣсколько лѣт, в виду появившихся в Новом Времени разоблаченій, была, за нарушеніе тайны, надолго усыплена и вновь воскресла уже в нынѣшнем вѣкѣ. Но традиціи масонства уже в значительной мѣрѣ вывѣтрились и ложа пріобрѣла оттѣнок карбонарскій. Замѣчательной для Россіи особенностью было, что ложа включала элементы самые разнообразные — тут были и эсеры (Керенскій) и кадеты лѣвые (Некрасов) и правые (Маклаков), которые в партіи друг друга чуждались, и милліонеры купцы и аристократы (Терещенко, гр. Орлов-Давыдов) и даже члены ЦК эсдеков (Гальпери), которые открыто ни в какое соприкосновеніе с другими организаціями не входили. Повидимому, масонство сыграло нѣкоторую роль при образованіи Временнаго Правительства. Недоумѣнно я спрашивал Милюкова, откуда взялся Терещенко, никому до того неизвѣстный чиновник при императорских театрах, сын милліонера, — да и притом еще на посту министра финансов, на который считал себя предназначенным Шингарев, смертельно предпочтеніем Терещенки обиженный. Милюков отвѣчал: «Нужно было ввести в состав правительства какую-нибудь видную фигуру с юга Россіи», а потом эта видная фигура вытѣснила Милюкова и сама заняла его мѣсто министра иностр. дѣл. А когда это случилось, Милюков говорил: «При образованіи Временнаго Правительства я потерял 24 часа (а тогда вѣдь почва под ногами горѣла), чтобы отстоять кн. Г. Е. Львова против кандидатуры М. В. Родзянко, а теперь думаю, что сдѣлал большую ошибку. Родзянко был бы больше на мѣстѣ». Я был с этим вполнѣ согласен, но ни он, ни я не подозрѣвали, что значеніе кандидатуры как Терещенки, так и Львова скрывалось в их принадлежности к масонству. Со времени первой революціи реакціонные круги приписывали «жидомасонам» безграничное вліяніе и рѣшительно во всем усматривали их происки, не раз и я попадал в составляемые ими списки масонов, хотя упомянутое предложеніе Ковалевскаго, да и то не прямое, на которое я не реагировал, осталось единственным, и прибавка «жидо» едва ли вообще справедлива — насколько мнѣ извѣстно, участіе евреев было рѣдким исключеніем, и должен признать, что принадлежность Браудо к масонству мнѣ объяснить трудно. Теперь, судя по всему, что извѣстно, масонство совсѣм выродилось в самодовлѣющее обще-

тво взаимопомощи, взаимоподдержки ма манер — рука руку моет, но уже и в то время благодѣтельное противодѣйствіе масонства русской кружковщинѣ сразу вывернулось наизнанку.

Если бы ради новорожденной Рѣчи нужно было только от Общественной Пользы отказаться, никаких колебаній и угрызеній это не вызвало бы. Хуже было, что и Праву я мог теперь удѣлять меньше времени, а главное — меньше забот и вниманія, потому что ежедневная газета — да еще при новизнѣ дѣла, которая всегда увлекала иллюзіей — вот на этом я уже успокоюсь, — поглощала всю энергію и истощала всю страстность. Но до Рѣчи было еще очень утомительное, хотя и короткое и забавное интермеццо. Через Ганфмана Милюков и я получили приглашеніе издателя Биржевых Вѣдомостей С. М. Проппера редактировать его газету, выходившую въ трех изданіях: из двух утренних одно, предназначавшееся исключительно для провинціи, держалось в сторонѣ от политики и имѣло большое распространеніе въ обывательской, «чеховской», провинціальной толщѣ. Так и встает перед глазами Чебутыкин изъ Трех Сестер с газетой в руках, рекомендующей средство для ращенія волос. Другое изданіе, претендовавшее на политическое руководство, но лишенное опредѣленной физіономіи, совсѣм захирѣло, зато третье, вечернее, получившее презрительную кличку «Биржевка» и неразборчиво питавшее невзыскательных читателей любимыми, даже и родного отца не жалѣющими сенсаціями, имѣло в Петербургѣ и окрестностях самый большой тираж. С. М. Проппер был настоящим, как теперь выражаются, выдвиженцем: выходецъ из прежней австрійской Польши, он в Петербургѣ начал с листка объявленій (Витте с озлобленным пренебреженіем разсказывает, как Проппер выстаивал у него в пріемной, выпрашивая объявленія) — и превратил его в газеты, приносившія огромный доход и образовавшія многомилліонное состояніе. Это так и осталось для меня загадкой, хоть я именно и держусь мнѣнія, что какая-нибудь, на взгляд незамѣтная особенность властно ведет с виду зауряднаго, безцвѣтнаго, а то и просто глупаго человѣка по пути успѣха. Таким выдвиженцем был, например, московскій коллега Проппера И. Д. Сытин, полуграмотный офеня, чрезвычайно умѣло прикидывавшійся простачком, чтобы поглубже укрыть острую смекалку, сверхъестественно чуявшую вкусы и потребности окружающей обстановки. Это был подлинный самородок с крѣпким самосознаніем и большим честолюбіем. Проппер же представлял именно выдвиженца, отличающагося здоровыми и безцеремонными локтями и захлебывающагося мелким тщеславіем. Он и свою незадачливую внѣшность превратил в карикатуру: круглое, с толстыми губами, лоснящееся лицо уродовала узкая длинная борода. Большой живот и короткія кривыя ноги выпячивались «элегантно», по послѣдней модѣ обтянутым платьем, а польско-еврейскій акцент серьезно-торжественнаго произношенія невольно вызывал улыбку, когда вмѣсто «к Витте» он говорил: «ку Витте», вмѣсто сигара — цигара и т. п. Перед начальством он трепетал благоговѣйно — не за страх, а за совѣсть, и сам охотно разсказывал, как, будучи вызван Плеве, перехитрил его и не сдался на настойчивыя приглашенія сѣсть, ибо ему было извѣстно, что в Департаментѣ Полиціи устроено так, что нѣ-

которыя кресла проваливаются в преисподнюю и легкомысленно на них сѣвшіе подвергаются сѣкуціи. Он искренне вѣрил в эту легенду времен Николая I и видѣл свою гражданскую доблесть в отказѣ от приглашенія сѣсть. «Я тогда не боялся Плеве, — пояснял он мнѣ, — я был австрійскій подданный». Но теперь, когда, по удачному слову Розанова, «начальство ушло», и признаком хорошаго тона интерес к политикѣ стал даже и на аристократической Англійской набережной, гдѣ Проппер занимал роскошную квартиру, питавшую сознаніе собственнаго достоинства, — теперь мода была на политическую роль, и он перед нами держался, как вчера перед начальством, не остановился и перед нашими требованіями неограниченнаго полновластія, отказа от всякаго вмѣшательства в редакціонную часть и даже упраздненія самаго названія Биржевыя Вѣдомости. «Топим Биржувку, топим!» с плохо скрытым озлобленіем восклицала его жена, знавшая неустойчивость мод.

И вот началась страда. Уже в 8 ч. утра я был в редакціи, чтобы подготовить выпуск вечерней газеты — надо было прочитать все, что принесла почта, просмотрѣть утреннія газеты и дать их обзор, познакомиться со срочными рукописями. Только что работа закончена, начинают поступать корректуры из типографіи, потом идет верстка номера. Послѣ часу я уѣзжал домой, чтобы к 3 ч. вернуться в редакцію для работы над завтрашним утренним выпуском. Но зато ночью уже рѣдко пріѣзжал и эта работа лежала на плечах Милюкова и Ганфмана, которые оставались в типографіи до 4 и до 5 час. утра.

Газета названа была «Народная Свобода», и самое названіе указывало на тѣсную связь с партіей Народной Свободы. Поэтому вопросы программы утратили самостоятельное значеніе, опредѣляясь линіей партійнаго поведенія, но и вообще на первый план побѣдоносно выступила тактика. То был момент, когда Ахерон вздыбился и слѣва и справа. За первой всеобщей забастовкой, ликвидированной манифестом 17 Октября, послѣдовала вторая, несмотря на ея неудачу провозглашена была третья, отдѣльно разыгралась почтово-телеграфная, в Москвѣ грянуло вооруженное возстаніе, крестьяне жгли помѣщичьи имѣнья, возвращавшіяся из Сибири демобилизованныя войска сметали все на своем пути, в казармах и на кораблях вспыхивали военные бунты, десятками ежедневно подстрѣливали и взрывали бомбами представителей администраціи, а правыя организаціи устраивали по всей Россіи — в подозрительно однообразных формах — кровавые погромы евреев и интеллигенціи. Спустя тридцать лѣт, на собраніи памяти А. И. Гучкова в Бѣлградѣ, В. В. Шульгин так и заявил, что «еврейскими погромами мы остановили первую революцію». Администрація — тоже оптом — конфисковала и закрывала газеты, запрещала собранія, хватала не только революціонеров, но и вообще всѣх неугодных ей мозоливших глаза, а главное — держала, больше даже чѣм дружественный, нейтралитет по отношенію к громилам. В 17-ом номерѣ Права за 1906 г. напечатана была составленная на основаніи документов министерства вн. дѣл, оффиціальная записка, свидѣтельствовавшая, что манифест встрѣчен был с радостью и уничтожил бы престиж крайних партій, если бы правительство проявило искренность. А

оно, под главенством Трепова, всячески дискредитировало значеніе историческаго акта, парализовало единичныя попытки отдѣльных губернаторов осуществить обѣщанія манифеста и, напротив, подстрекало к насиліям, а уж тѣм паче не принимало мѣр к их прекращенію. Такое поведеніе правительства, по утвержденію оффиціальнаго документа, «вызвало бурю негодованія среди населенія, которая совершенно смела первое радостное впечатлѣніе от чтенія манифеста 17 Октября».

Наша тактика при таких условіях неизбѣжно складывалась наперерѣз правительству и опредѣлялась непримиримой борьбой направо и дружественным, а то пожалуй и вынужденным, нейтралитетом налѣво. Лѣвые принимали такое отношеніе без всякой благодарности, снисходительно, как нѣчто им должное, и фактически это была довольно правильная оцѣнка нашего настроенія. Дружественность нейтралитета была в значительной мѣрѣ исторгнута, и я лично испытывал ощущеніе, что дѣйствую из под палки и что свободнаго выбора нѣт, это ощущеніе вызывало непріязненное раздраженіе. Практическое испытаніе нейтралитета состоялось уже на втором номерѣ газеты. Революц. партіи, опираясь на типографских рабочих, предъявили требованіе напечатать их манифест о финансовом бойкотѣ правительства — истребованіи вкладов из сберегательных касс, отказѣ от платежа налогов и т. д. 1 Декабря, в на рѣдкость безвкусном залѣ редакціи Новаго Времени, с простреленными во время семейной ссоры зеркалами, состоялось засѣданіе редакторов газет, на котором единогласно постановлено было манифест напечатать, с правом, по своему разумѣнію, так или иначе отнестись к его содержанію. Благообразный старик А. С. Суворин непосредственнаго участія в обсужденіи не принимал — он сидѣл в креслѣ у открытой в зал двери своего кабинета, и сын его Михаил то и дѣло подходил к отцу за указаніями, прежде чѣм высказать мнѣніе Новаго Времени. Тѣм не менѣе на другой день Новое Время вышло без манифеста и Витте потом поддразнивал меня, что Суворин оставил нас в дураках. А теперь из мемуаров Витте видно, что, узнав о предстоящем опубликованіи революціоннаго манифеста, он поздно ночью позвонил Суворину и, пугнув лишеніем казенных объявленій, добился безцеремоннаго предательства. А газеты «дураков», в том числѣ и Народная Свобода, были закрыты и через нѣсколько дней я получил вызов к судебному слѣдователю для допроса по обвиненію все по той же 129 статьѣ угол. уложенія. Допросив меня, слѣдователь спросил, могу ли я внести 10.000 рублей залога. Таких денег у меня тогда и вообще не было, я предложил отпустить меня на нѣсколько часов, но он и слышать не хотѣл и препроводил в Дом Предварительнаго Заключенія, почти ровно через 20 лѣт послѣ перваго моего водворенія там. Но теперь я просидѣл лишь нѣсколько часов: Каминка, узнав о моем приключеніи, принес цѣнных бумаг на требуемую сумму и меня отпустили.

Газета стала выходить под перелицованным названіем «Своб. Народ», снова была конфискована и так повторялось еще нѣсколько раз. А между тѣм ушедшее начальство уже возвращалось, под руководством П. Н. Дурново, обыватель же успѣл устать и остыть, Проппер считал, что слишкомъ пото-

ропился, и всячески саботировал. Когда 20 Декабря газета вновь была закрыта, он заявил, что дальнѣйшее наше руководство грозит ему полным разоренiем, и мы безпрекословно ушли. Припоминаю, что прямо из редакцiи поѣхали с Милюковым в Марiинскiй театр на представленiе — кажется, единственное — Моцарта и Сальери Римскаго Корсакова в исполненiи Шаляпина.

Сейчас же однако начались переговоры с разными лицами — помнится, было предложенiе и от Сытина, но на реальную почву их поставил богатый инженер подрядчик и заводчик Ю. Б. Бак, еврейскiй обществ. дѣятель. Он щедро субсидировал плохо конкурировавшую с Новым Временем газету О. Нотовича «Новости», из которой старались сдѣлать противовѣс злобному антисемитизму Суворина. Среди безчисленнаго количества других перiодических изданiй и Новости были в началѣ 1906 г. закрыты, но Бак хотѣл — быть может, не малую роль играли и коммерческiя соображенiя — продолжать изданiе и, опять через Ганфмана, пользовавшагося большой популярностью и любовью в газетных кругах, обратился к нам. Мы снова поставили условiем, чтобы не было никакого преемства Новостей, чтобы редакцiя составлена была наново и состояла в исключительном нашем вѣдѣнiи. Это, повидимому, вполнѣ соотвѣтствовало и намѣренiям самого Бака и он ни разу не сдѣлал попытки вмѣшательства и вообще держал себя безукоризненно корректно. Мы выбрали для газеты названiе «Время», но уже послѣ того, как появились объявленiя о предстоящем выходѣ, ко мнѣ явился с протестом представитель Суворина, показавшiй сдѣланную им, к предотвращенiю конкуренцiи, заявку в Главное Управл. по дѣлам Печати на разныя комбинацiи со словом «Время». Поэтому пришлось придумывать другое названiе, и извѣстный художник Бакст начертил нам изящный оригинальный заголовок «Рѣчь» — опять tout court.

Созданiе Рѣчи мало чѣм напоминало рожденiе Права. Его мы дѣйствительно долго вынашивали, тщательно каждую деталь обсуждали, над каждым выраженiем задумывались, каждую фразу отдѣлывали. Теперь было не до того, стало некогда, серьезно думалось, что Россiя потерпит урон, если газета выйдет завтра, если сегодня еще не будет то-то и то-то сказано. Да и обсуждать было нечего — к.-д. партiя успѣшно оформилась и опредѣлилась и ея положенiе направляло линiю поведенiя газеты. С Милюковым никаких разногласiй не было, я отчетливо сознавал превосходство автора «Очерков», он же глубоко прятал ученость, никогда не давил ею, а товарищеская простота, необычайная работоспособность, постоянная оживленность и ровная увѣренность плѣняли и привязывали к нему. Он, с своей стороны, говорит в упоминавшейся уже статьѣ, что, осѣв в 1905 г. в Петербургѣ, застал меня «на командной высотѣ русской журналистики и с почтенiем относился к кружку Права, в который принят был как свой.» При такой взаимооцѣнкѣ совмѣстная работа не требовала, очевидно, предварительной подготовки. Я не помню, чтобы перед выходом газеты в свѣт было какое-нибудь обсужденiе плана с сотрудниками. Задача изданiя была настолько ясна, так ярко озарена пар-

тійным прожектором, что каждому вступающему в состав редакціи было отчетливо видно, куда и на чем нужно сосредоточить удары. В приглашеніи постоянных сотрудников главная роль принадлежала Ганфману: у меня был уже обширный круг литературных знакомств, но, преимущественно, среди — так сказать — тузов, спеціальный характер Права не приводил в соприкосновеніе с газетными работниками, а Ганфман, не только потому, что был уже редактором Сына Отечества, а потом Новой Жизни, но и благодаря пытливой любознательности и изумительному чутью, знал рѣшительно всю газетную братію и каждому из нея знал настоящую цѣну. И вот что характерно: при тогдашнем безоглядном увлеченіи к. д. партіей наш редакціонный штаб не состоял в ея рядах — и сам Ганфман и всѣ постоянные работники были внѣпартійными, политически-свободными. Это было чрезвычайно важно, ибо цѣль изданія была не только ясна, как уже сказано, но она была всепоглощающа и притязала стать фокусом, в котором сосредоточивались бы всѣ лучи газеты. Ей грозила поэтому односторонность, а между тѣм больше всего к газетѣ примѣнимо замѣчаніе, что всѣ роды литературы хороши, кромѣ скучнаго. Налет односторонности несомнѣнно и был на газетѣ, потому что мнѣ лично скучным тогда казалось все, что идет мимо, что не касается — дружески или враждебно — партіи Народной Свободы, и я, в сущности, был редактором никудышным до тѣх пор, пока, послѣ II Думы, не отошел от политической дѣятельности, посвятив себя газетѣ как таковой. Тут то я не раз чувствовал, что духовныя узы, связывающія с партіей, превращаются порой в тяжелыя неудобоносимыя цѣпи. Помню, как однажды ко мнѣ пришел сын стараго пріятеля с просьбой дать ему литературную работу. На вопрос об его стажѣ он гордо отвѣтил что между прочим был редактором офиціозных «Губернских Вѣдомостей», и, замѣтив недоумѣнный взгляд мой, прибавил: «Имѣйте в виду, что это гораздо труднѣе и требует гораздо больше умѣнья, чѣм свободная журналистика». Он был очень прав и большим для нас облегченіем было появленіе вскорѣ офиціознаго «Вѣстника Партіи Народной Свободы», отвлекшаго от нас партійныя дискуссіи и партійное самодовольство.

Рѣчь вышла в свѣт 23 февраля. Если, в отличіе от Права, сторона идейная сложилась сама собой, то организація сложнаго аппарата ежедневной газеты потребовала большой затраты сил и энергіи. Зато вступительная статья, написанная мною, не вызвала ни единаго замѣчанія, не потребовала, к величайшему моему удовольствію, ни единой поправки ни со стороны знаменосца партіи Милюкова, ни со стороны ревнителя газетной занимательности Ганфмана. Наученные горьким опытом и состоя еще под слѣдствіем по обвиненію в напечатаніи революціоннаго манифеста в Народной Свободѣ, Милюков и я уже не значились редакторами Рѣчи, по прецеденту Права формула была такая: «Рѣчь—при ближайшем участіи П. Н. Милюкова и І. В. Гессена». Именно послѣ дарованной манифестом 17 Окт. свободы печати появились у нас фиктивные редактора и один из них позже — увы! — был осужден на 8 мѣсяцев в тюрьму. Были такіе спеціалисты, в том числѣ В. В. Водовозов, которые, будучи уже привлечены к слѣдствію, сами напра-

шивались на предоставленіе своей подписи. Раз привлеченные к слѣдствію, они, при предъявленіи новых обвиненій, требовавших новаго предварительнаго слѣдствія, тѣм самым добивались отсрочки слушанія дѣл в судѣ, которыя подлежали разсмотрѣнію по совокупности совершенных преступных дѣяній. А так как в связи с созывом Думы в перспективѣ маячила амнистія, то наиболѣе цѣлесообразным казалось выиграть время. Такой расчет и оказался правильным, впослѣдствіи частичная амнистія была дарована и у Водовозова, у котораго на счету было уже нѣсколько десятков обвиненій, всѣ они были ликвидированы.

Выход Рѣчи не представлял уже такой скачки с препятствіями, как, три мѣсяца назад, выход то и дѣло конфискуемаго и запрещаемаго Свободнаго Народа: правительство стало мѣнять тактику и предпочитало бить не дубьем, а рублем, перенося тяжесть кары с редакціи на издателя. Измѣнился, за отсутствіем при Рѣчи вечерняго изданія, и характер работы. Не было уже такой изнурительной спѣшки, я приходил в редакцію около двух часов дня и оставался до шести с половиной, а потом вторично около полуночи, и уходил домой между двумя и тремя часами ночи. Милюков являлся в редакцію только по ночам и никогда, как бы ни было поздно, не уходил, не прокорректировав своей передовой статьи или отчета о засѣданіи, в котором он произнес рѣчь, да и вообще, в особенности в первые годы — все вниманіе его и весь интерес концентрировался на политическом отдѣлѣ газеты. Он писал тогда очень много и, к сожалѣнію, слишком пространно сравнительно с общим газетным размѣром. Соглашаясь с приведенной выше его характеристикой моего стиля, я, в свою очередь, думаю, что он вообще писал не для читателей, не для современников, а больше для исторіи, как художник готовит этюды для будущаго большого полотна. Когда однажды я убѣждал его выбросить из передовой статьи такую то фразу, без нужды слишком рѣзкую, он отвѣтил: «Не настаивайте, І. В., через десять лѣт нам придется на эту фразу ссылаться и напоминать, что мы своевременно ее высказали». Днем я сидѣл в своем кабинетѣ, читал и правил поступающія рукописи, просматривал до отправки в типографію текущій матеріал, доставляемый ежедневно редакторами разных отдѣлов, уславливался с ними, что кому написать, принимал посѣтителей, работал с секретаршей над обильной перепиской. Вечером работа происходила в общей комнатѣ, гдѣ стояло четыре стола — для выпускающих, Ганфмана и для меня с Милюковым. В центрѣ стоял круглый стол, а у одной стѣны просиженный диван. Работа сосредоточивалась на правкѣ корректур и окончательном подборѣ матеріала для номера, матеріала всегда оказывалось гораздо больше, чѣм мог вмѣстить условленный с издателем размѣр газеты, и выпускающій сердито огрызался в отвѣт на просьбу непремѣнно то или другое вставить в номер: «Что же, мнѣ это на своей спинѣ напечатать?» Работа сопровождалась непрерывным чаепитіем, в котором принимали участіе и гости — ближайшіе друзья газеты, неизмѣнно появлявшіеся в моменты особаго политическаго оживленія или обостренія, и тогда становилось весьма шумно. А когда бывало тихо и типографія задерживала подачу корректур, Милюков укладывался на диван и, подложив ладонь под

щеку, моментально засыпал, и также безслѣдно сон сразу исчезал, как только скажешь ему: «Корректура подана».

Моя работа чрезвычайно облегчалась надежнѣйшими редакторами отдѣлов: не нуждался в провѣркѣ провинціальный матеріал, проредактированный и подобранный А. С. Изгоевым, котораго можно было назвать воплощеніем добросовѣстности, и я просматривал этот матеріал лишь с точки зрѣнія, нѣт ли там чего-нибудь, что требовало дополнительнаго обсужденія в передовой статьѣ. Равным образом можно было быть вполнѣ спокойным за содержаніе хроники, которая была в вѣдѣніи А. С. Фейгельсона, человѣка рыцарской честности и порядочности. Случалось, что кто либо передавал непосредственно мнѣ замѣтку для хроники, и, обѣщав напечатать, я посылал ее Фейгельсону к свѣдѣнію и отправкѣ в типографію, а он приходил ко мнѣ со вздернутыми на лоб очками и шутливо спрашивал, какую взятку я получил за обѣщаніе напечатать эту замѣтку. Бывало конечно непріятно, что дискредитируется мое обѣщаніе, но он обстоятельно пояснял, что в замѣткѣ скрывается реклама или какой-нибудь подвох, котораго я в простотѣ души не замѣтил. Вообще в этом смыслѣ хроника была самым чувствительным пунктом и в большинствѣ газет была неблагополучной по части корысти, а Рѣчь, благодаря именно Фейгельсону, пользовалась в этом отношеніи безукоризненной репутаціей. Чрезвычайно активно и умѣло из ночи в ночь выполнял изнурительную работу выпуска Б. О. Харитон, которому нужно было к концу верстки, уже под утро, спѣшно разбираться в массѣ телеграфных и злободневных извѣстій и напрягать все вниманіе, чтобы не упустить чего-либо существеннаго и расположить так, чтобы наиболѣе важное бросалось читателю в глаза. Я встрѣтился с ним теперь, лѣт через 30 послѣ основанія Рѣчи, в Ригѣ, гдѣ он продолжает попрежнему заниматься газетной работой, был обласкан свыше всякой мѣры и утопал в сентиментальных объясненіях в любви и благодарности. Но и другіе, оставшіеся в живых соратники твердят мнѣ: «Никогда не забуду того духа, который создавался вами и передавался вашим сотрудникам — этого удивительнаго сочетанія свободы и дружеской дисциплины, веселаго газетнаго скептицизма и глубокой серьезности и отвѣтственности». До слез волнуют такія заявленія и потому именно, — я чистосердечно в этом убѣжден, — что нѣт сознанія, что я заслужил их. Напротив, слышится укор: вот как должно было быть! А если есть здѣсь частица объективной правды, то... честь и слава лозунгу моему — все образуется! Своей воли, сознательных усилій я к этому не прилагал.

На первых же порах Рѣчи довелось сыграть крупную роль в политической жизни. В началѣ Апрѣля Браудо принес мнѣ изготовленный и хранившійся в глубочайшей тайнѣ проект новых «Основных Законов», который четыре мѣсяца назад Витте просил Петражицкаго и меня составить, но обошелся, хотя и с большим запозданіем, без нашей помощи. Оглашеніе проекта и в Рѣчи и в Правѣ произвело необычайно звучный эффект — рѣзкая критика, которой он подвергся в періодической печати, заставила правительство вновь пересмотрѣть проект и изъять нѣсколько наиболѣе одіозных по-

становлений. Как характерно, что составители не забыли и такой мелочи: сохранили старый (отмѣченный в главѣ о государственной службѣ) порядок назначенія усиленных пенсій. По этому поводу я писал: «по этой статьѣ мы узнаем нашу бюрократію, в своем корыстолюбіи безстыдную до цинизма». При пересмотрѣ проекта пункт этот был исключен, но фактически порядок сохранился до самой революціи.

Разоблаченіе проекта основных законов произвело тѣм болѣе сильное впечатлѣніе, что оно произошло к концу избирательной кампаніи и критика проекта послужила благодарной темой для ораторов. Среди них наиболѣе ярко выдѣлялся и наибольшим успѣхом пользовался политическій трибун, дѣйствительно замѣчательный оратор Ф. И. Родичев. Он рѣчей не готовил, всегда выступал экспромтом и потому был неровен, но когда его озаряло вдохновеніе, слова его, с разстановкой, с легким усиліем произносимыя и сопровождаемыя широкими жестами руки, падали как удары молота, а саркастическая улыбка на тонком мефистофелевском лицѣ смѣнялась трагической маской и взволнованность аудиторіи так обострялась, что он мог бы вести ее, куда и на что угодно. Однажды он выступал в числѣ других защитников по дѣлу о фабричных безпорядках. Обстоятельства дѣла знал поверхностно, рѣчи, по обыкновенію, не приготовил и вообще защитительная рѣчь, строго ограниченная конкретными предѣлами, была не по нем. Слова не приходили на язык и он сам так замѣтно волновался, что предсѣдатель обратил вниманіе и снисходительно ему замѣтил: «Вы не волнуйтесь так, соберите свои мысли». Этого было достаточно, чтобы воспламенить вдохновеніе, и он произнес блестящую зажигательную рѣчь на тему, почему он волнуется и почему нельзя не волноваться при видѣ сидящих на скамьѣ подсудимых рабочих, на которых он указал великолѣпным, замершим вмѣстѣ с потоком рѣчи, жестом. Задача ораторов в значительной мѣрѣ облегчалась тѣм, что в Петербургѣ правые, хотя и были к этому времени хорошо организованы и пользовались закулисной поддержкой правительства, почти не выступали. Лѣвыя партіи бойкотировали Думу и потому главные удары направлялись на бюрократію и побѣда нашей партіи далась очень легко! Пожалуй — главная трудность заключалась в том, чтобы сдерживать буйное настроеніе внутри самой партіи.

До созыва Думы в Петербургѣ состоялись второй — в началѣ Января, и третій — перед самым открытіем Думы — съѣзды партіи и на обоих выяснилось, что провинція, гдѣ полицейскій произвол послѣ манифеста принял чудовищныя формы, настроена гораздо воинственнѣе, чѣм разсудительный Петербург. Отрицательное отношеніе к бойкоту серьезных сомнѣній в партіи не вызывало, хотя немало голосов раздалось и против участія в выборах, но зато большія распри проявились на вопросѣ о думской тактикѣ, — должна ли Дума приступить, как тогда выражались, к органической работѣ, или же ограничиться выработкой новаго избирательнаго закона на основѣ «четыреххвостки» и постановленіем о невозможности работать на основѣ дѣйствующаго законодательства о Думѣ. Между этими двумя крайностями располагалась масса оттѣнков, и сдѣланные Милюковым и мной от имени ЦК докла-

ды вызвали настоящую бурю — всѣм хотѣлось высказаться и это, собственно говоря, не были возраженія, а больше изліянія, крик души, протест против дѣйствительно невыносимых условій грубѣйшаго беззаконія, в которых провинція жила в теченіе послѣдних мѣсяцев. Соотвѣтственно этому и была принята формула, что Дума должна выработать новый избирательный закон и обезпечить правильное примѣненіе закона о политических свободах. Однако, к этому еще была прибавлена аграрная реформа и, что болѣе характерно, выработка законопроекта об автономіи Польши и выясненіе вопроса о примѣненіи автономіи к другим окраинам. Настроеніе съѣзда было настолько возбужденным, что, когда во время засѣданія, оглашено было сообщеніе о покушеніи на жизнь московскаго генерал-губернатора Дубасова (это было тотчас послѣ подавленія вооруженнаго возстанія в Москвѣ), в залѣ раздались апплодисменты и впослѣдствіи нас не раз этим укоряли, как доказательством связи с террористами.

Другим поводом для упреков в нелояльности послужила попытка помѣшать заключенію займа во Франціи за двѣ недѣли до открытія Думы. Об этом подробно разсказывает гр. Коковцев в «Воспоминаніях», настойчиво коловшій впослѣдствіи кадетов и получавшій, по его словам, в отвѣт: «опять министр финансов разсказывает басни, которых никогда не было.» Мы считали, что раз положеніе о народном представительствѣ уже существует, конституціонный строй установлен, — без согласія Думы займа заключать нельзя. Эту точку зрѣнія мы проводили в печати и полагали необходимым ознакомить с ней и французское общественное мнѣніе. Я рѣшительно не помню, чтобы вопрос обсуждался в ЦК партіи и чтобы состоялось какое либо постановленіе. Но нѣкоторые члены партіи, бывшіе в то время в Парижѣ, предпринимали шаги для ознакомленія французов с нашим взглядом на незакономѣрность такого займа. Гр. Коковцев называет фамиліи кн. Павла Долгорукова и гр. Нессельроде, об участіи второго мнѣ неизвѣстно, но помню, что я получил письмо от Маклакова, почерк котораго столь неразборчив, что удалось уловить лишь общій смысл, сводившійся к констатированію неудачи. Подтверждая эту полную неудачу, гр. Коковцев, между прочим, упоминает, что соглашеніе о займѣ состоялось на уплатѣ французским банкам комиссіи в размѣрѣ 5 с половиной проц., «причем они принимают на себя и всѣ домогательства прессы». Такого оружія в нашем арсеналѣ не было.

Перед самым открытіем Думы созван был в Петербургѣ третій съѣзд партіи, ея блестящая побѣда к этому моменту уже вполнѣ опредѣлилась, всѣ избранные депутаты приглашены были к участію, и съѣзд получил праздничный торжественный характер, мы чувствовали себя тріумфаторами и, можно сказать, что он был и центром вниманія всего Петербурга, что к нему внимательно прислушивались со всѣх сторон. В общем съѣзд подтвердил всѣ резолюціи, которыя были приняты на предыдущем, но не упоминал об автономіи Польши, а говорил об удовлетвореніи національных требованій. Как раз в послѣдній день съѣзда опубликованы были основные законы, их многіе, как Милюков откровенно признался, готовы были считать уже похороненными рѣзкой газетной критикой. Съѣзд принял это опубликованіе, как

вызов, и снова готова была прорваться плотина, но Родичеву удалось законопатить ее патетическим призывом к единству. Больше всѣх сдержанность проявили депутаты.

Милюкову и мнѣ не удалось попасть в их число, потому что состояніе под судом по обвиненію в государственном преступленіи лишало нас избирательных прав. Так как редактор Руси А. А. Суворин был уже приговорен за то же дѣяніе к годичному тюремному заключенію, то наш талантливый защитник О. О. Грузенберг считал необходимым, во что бы то ни стало, выиграть время, которое, явно, работало в нашу пользу. Когда он, уже в третій раз, под каким то предлогом обратился к предсѣдателю судебной палаты с просьбой о новой отсрочкѣ, тот рѣшительно отказал. Грузенберг вышел из его кабинета мрачнѣе тучи, мы старались успокоить его увѣреніями, что он сдѣлал больше, чѣм можно было от него требовать, и что ничего не имѣем против назначенія дѣла к слушанію. Но он только обругал нас и, как мы его ни отговаривали, вновь, рискуя напороться на грубость, вошел в кабинет грознаго Максимовича и через нѣсколько минут вышел сіяющій — добился таки отсрочки засѣданія на 15 Мая. Это, однако, нисколько не умалило огорченія, что я не попал в число «народных избранников», я им страстно завидовал, особенно в день пріема в Зимнем Дворцѣ и открытія торжественнаго засѣданія Думы. День 27 Апрѣля выдался чудесный, и яркое сіяніе весенняго солнца еще выше поднимало радостное бодрое настроеніе. Мы писали: «Исторія сохранит свѣтлое воспоминаніе об этом свѣтлом часѣ в исторіи русскаго народа... Это будет первый час новой эры в жизни страны». Не хотѣлось задумываться над тѣм, что министерство Витте-Дурново хотя и уволено, как того требовало общество, но на его мѣсто подобрано было другое из завѣдомых реакціонеров, под предсѣдательством едва ли не самаго яркаго бюрократа Горемыкина, принципіальнаго противника манифеста 17 Октября.

Вечером состоялось собраніе в отличном помѣщеніи кадетскаго клуба, основаннаго на щедрое пожертвованіе, до тѣх пор никому неизвѣстнаго лица, кн. Д. Бебутова, депутаты говорили рѣчи, и всѣ были возбуждены до опьяненія. Пожаловал и С. А. Муромцев, в апогеѣ величавости, чтобы проститься с партіей—предсѣдатель Думы не должен быть партійным. По заслугам перед конституціонным движеніем право на предсѣдательское мѣсто безспорно принадлежало Петрункевичу, и не будь Муромцева, который лишь в послѣдній год примкнул к общественному движенію, он и был бы на этот пост выдвинут. Но Муромцев как бы для того и был рожден, чтобы стать предсѣдателем парламента. Красивое, с правильными чертами блѣдное строгое лицо, умные черные глаза, размѣренная повелительная рѣчь — каждое слово падало вѣско, величественная осанка представляли на рѣдкость гармоническое сочетаніе. Я уже упоминал, что задолго до созыва Думы, когда всѣ поглощены были борьбой за нее, он занялся составленіем наказа — правил внутренняго распорядка — и сам был его воплощеніем. Когда он возсѣдал на высокой кафедрѣ своей, как статуя неподвижный, с гордо поднятой точеной головой, он казался прекрасным мраморным изваяніем, о которое долж-

ны сокрушиться волны возбужденія. Страстный Петрункевич в роли предсѣдателя был больше на своем мѣстѣ среди своих соратников — он и был предсѣдателем центр. комитета, а в Думѣ—предсѣдателем авторитетным многочисленной, выдающейся по умственному и образовательному уровню фракціи и сам снял в пользу Муромцева свою безспорную кандидатуру, против которой—тоже с точки зрѣнія лѣтописца—стоял Милюков. «Не портите мнѣ игры», сказал он Каминкѣ, когда тот обратил вниманіе на заслуги Петрункевича. Зато совсѣм неудачен был добровольный отказ Набокова от кандидатуры на пост товарища предсѣдателя в пользу, лишь к самому открытію Думы вернувшагося из Архангельской ссылки, проф. Гредескула, и долго я не мог простить себѣ, что поддался предубѣжденію в пользу «героя» и привлек его к участію в Рѣчи, а он быстро обнаружил себя вторым дешевым изданіем Кузьмина-Караева и блеск военнаго мундира у него замѣнялся пренепріятной, угодливо-хихикающей улыбкой. А в Москвѣ кн. Павел Долгоруков отказался от своей кандидатуры в члены Думы в пользу и на погибель М. Я. Герценштейна, считавшагося лучшим спеціалистом по аграрному вопросу. Он был человѣк спокойнаго, здраваго ума, убѣжденнѣйшій противник всякаго насилія, добросовѣстнѣйшій ученый спеціалист. Аграрный вопрос сразу выдвинулся в Думѣ на первое мѣсто, на нем произошел горячій бой с правительством, которое представлял тов. министра вн. дѣл Гурко, и тотчас послѣ роспуска Думы Герценштейн убит был из за угла наемными бандитами, подосланными Союзом Русскаго Народа, который намѣтил этого мирнѣйшаго человѣка искупительной жертвой за «иллюминацін» помѣщичьих имѣній.

Свѣтлый день 27 Апрѣля и остался единственным, уже на завтра началась открытая непримиримая война между Думой и правительством. Оно не сдѣлало никакой попытки отвлечь переливавшееся через край возбужденіе в русло законодательной дѣятельности, и вызывающим издѣвательством звучало внесеніе в Думу единственнаго законопроекта о расширеніи прачешной при Юрьевском университетѣ. Сидя на министерской скамьѣ, Горемыкин всѣм своим равнодушно-тупым видом как бы говорил: бѣситесь, сколько угодно—j'y suis, j'y reste. Как раз в это время я получил в Рѣчи достовѣрныя свѣдѣнія, что погромныя прокламаціи печатаются в типографіи Департамента полиціи под руководством прославленнаго полк. Комиссарова, игравшаго потом и в эмиграціи весьма подозрительную роль. Я предложил фракціи внести запрос правительству, мнѣ и было поручено выработать для перваго запроса формулу и обсужденіе ея в Думѣ происходило, когда, с благословенія товарища министра вн. дѣл Курлова, погромы бушевали в разных городах, и рѣчь б. губернатора кн. Урусова, авторитетно разоблачившаго преступныя махинаціи, произвела потрясающее впечатлѣніе. Своим заявленіем, что подобные факты больше повторяться не будут, мин. вн. дѣл Столыпин подтвердил правильность разоблаченій и, таким образом, правительство было рѣшительно скомпрометировано.

Ярким симптомом перелома общественнаго настроенія и в правительственных кругах могло служить состоявшееся 15 Мая засѣданіе судебной палаты по упоминавшемуся уже обвиненію Милюкова и меня в напечатаніи ре-

волюціоннаго манифеста. Сидя на скамьѣ подсудимых, я торжествовал, ясно видя, в каком затруднительном положеніи находятся судьи, обязанные вынести приговор к заключенію в крѣпости. Но когда они не постѣснялись, даже и не совѣщаясь, провозгласить оправдательный вердикт, не хватило дерзости встрѣтиться с ними глазами — это вѣдь были тѣ самые судьи, которые уже осудили за то же самое дѣяніе А. А. Суворина, и он еще томился в заключеніи, когда нам они подписывали оправдательный приговор. Этот эпизод служил явным, можно сказать — безстыдным показателем, что охранители режима сдают свои позиціи, и дѣйствительно поползли слухи, что правительство Горемыкина — накануне отставки. Слухи становились столь настойчивыми, что правительство сочло нужным отвѣтить оффиціальным опроверженіем, но опроверженіе понято было так, что за кулисами происходит борьба и что меньше всего освѣдомлено о предстоящей ему участи само министерство.

Однако, и внутри Думы начиналась борьба между фракціями, случалось, что постановленіе принималось только одними кадетами, трудовики воздерживались от голосованія, а кучка правых соединялась с кавказскими соціал-демократами в отрицательном вотумѣ против предложеній партіи Народн. Свободы. Поэтому время не укрѣпляло авторитета народнаго представительства, а напротив — его расшатывало. Безконечныя рѣчи по отдѣльным вопросам, выступало свыше 50 ораторов, в началѣ производившія сильное впечатлѣніе, стали утомлять, утомленіе ощущали и сами депутаты, и прежде всегда напряженно переполненный залъ засѣданія, а также и мѣста для публики все больше пустовали. Слухи об отставкѣ кабинета перемежались с лансируемыми правительством слухами о роспускѣ Думы. На митингах и в печати мы их усердно опровергали, но чѣм настойчивѣе это дѣлалось, тѣм назойливѣй угроза роспуска пріобрѣтала реальныя очертанія в общественном сознаніи. Мнѣ пришлось предсѣдательствовать на одном бурном митингѣ, на котором вопрос о роспускѣ стал в центрѣ вниманія. Послѣ длиннаго ряда ораторов, призывавших к поддержкѣ Думы и угрожавших власти возстаніями, если она рѣшится на такой шаг, выступил Родичев и, задыхаясь от волненія, произнес одну из самых замѣчательных рѣчей своих. Он доказывал, что самую тему нельзя вообще ставить на обсужденіе. «Скажем себѣ, воскликнул он, гулко ударив кулаком по кафедрѣ, — что Дума не может быть распущена, и ее не распустят». Он был, на мой взгляд, глубоко прав, но сказать это самим себѣ искренне и убѣжденно народные представители уже не могли: тот энтузіазм и вѣра, то свѣтлое настроеніе, которое владѣло ими в незабвенный день 27 Апрѣля и поднимало в собственном сознаніи, как народных избранников, безудержно расточились в самозабвенном словоизверженіи.

При таком, по тогдашнему выраженію, соотношеніи сил возникли тайные переговоры представителей придворных кругов с кадетами о приглашеніи их в правительство. Переговоры велись отдѣльно, независимо одни от других, с Муромцевым через б. министра Ермолова, с кн. Львовым, и наконец, с Милюковым через Трепова, который, очевидно, сознал свое безсиліе

и превратился в наиболѣе ревностнаго сторонника кадетскаго министерства. Посредником в этих послѣдних переговорах был загадочный субъект: постоянными гостями в редакціи Рѣчи были тогда иностранные газетные корреспонденты, ежедневно появлявшіеся, чтобы оріентироваться в политической обстановкѣ и обмѣняться мнѣніями. Наиболѣе активным и юрким среди них был нѣкто Ламарк, не внушавшій к себѣ довѣрія (совсѣм враждебно относился к нему Гайфман), так как он был подозрительно близок и к бюрократическим кругам. Ламарк явился к Петрункевичу с предложеніем встрѣтиться с Треповым, но тот категорически отказался, считая, что не имѣет права входить в переговоры с представителями правительства без разрѣшенія партіи. Это нисколько не помѣшало Ламарку явиться вторично с приглашеніем пожаловать в ресторан Кюба, гдѣ Трепов уже ждет. «Как ждет! Я вѣдь вам ясно сказал, что отказываюсь от свиданія с ним». — «Так я и передал Трепову — невозмутимо отвѣтил шустрый посредник, — а он все же просит Вас пожаловать к Кюба». Конечно, этот маклерскій трюк не удался, послѣ чего Ламарк обратился к Милюкову, который приглашеніе принял, и переговоры настолько продвинулись вперед, что Столыпину было поручено поставить вопрос на реальную почву распредѣленія министерских портфелей, для чего он и пригласил к себѣ Милюкова, предупредив его сразу, что назначенія министров военнаго, морского, императорскаго двора и внутр. дѣл остаются в компетенціи государя, и при этом дал понять, что министром вн. д. остается он, Столыпин. Милюков, укрывшись за общественное мнѣніе, отвѣчал весьма рѣзким отказом: «Если, сказал он, я дам пятак, общество готово будет принять его за рубль, а вы дадите рубль и его за пятак не примут». Этой обиды Столыпин не забыл Милюкову, повидимому переоцѣнившему значеніе и стойкость Трепова и понимавшему, что Столыпин пригласил его не по своей иниціативѣ. Переговоры, дѣйствительно, не оборвались, а в началѣ Іюля — вѣроятно, тоже под вліяніем слухов о кадетском министерствѣ — тяжкій удар нанесен был правительству Госуд. Совѣтом. Он утвердил законопроект Думы об ассигнованіи 15 милліонов рублей в помощь голодающему населенію из текущаго бюджета, вопреки настойчивым увѣреніям правительства, что рѣшеніе Думы ставит его в невозможное положеніе, что исполнить это рѣшеніе фактически немыслимо. Этот первый конституціонный законопроект был превращен на третій день подписью государя в закон, участь кабинета казалась рѣшенной и надежда, что выпятившаяся альтернатива: роспуск Думы или кадетское министерство — будет рѣшена против роспуска, перешла у Милюкова в прямую увѣренность.

В субботу 8 Іюля слухи о роспускѣ сгустились, мнѣ очень хотѣлось провѣдать семью, жившую на дачѣ в Сестрорѣцкѣ, но в воздухѣ была разлита тревога, и со всѣх сторон нас запрашивали и предсказывали неминуемость роспуска. Я сказал об этом Милюкову, но он твердо и рѣшительно заявил, что всѣ эти слухи уже запоздали, что теперь положеніе круто измѣнилось: «Можете вполнѣ спокойно уѣхать и отдохнуть в Сестрорѣцкѣ». А днем я был в кабинетѣ у Муромцева, когда к нему позвонил Столыпин и просил поставить на повѣстку засѣданія Думы 10 Іюля его, министра вн. д., разъясненіе.

Таким образом сомнѣваться в неосновательности тревожных слухов и впрямь трудно было и к вечеру я и уѣхал из редакціи. До вокзала меня проводил один из англійских корреспондентов, рѣшительно и твердо увѣрявшій, что стянуты войска в столицу и что еще сегодня ночью Дума будет распущена. Я отвѣчал ему словами Милюкова, но он недовѣрчиво покачивал головой и оказался прав. В воскресенье утром пришлось возвращаться в город, и здѣсь я узнал, что как только Милюков — уже послѣ 4 часов утра — ушел из редакціи, получено было частное сообщеніе, что манифест о роспускѣ печатается, об этом тотчас Милюкову позвонили по телефону, но он шутя отвѣтил, что просит не мѣшать ему вздорными сообщеніями спать. А еще через полчаса манифест был получен. Милюкова разбудили, он вскочил, как встрепанный, все еще отказывался вѣрить, но тут же сѣл на велосипед и отправился созывать центральный комитет. Дальнѣйшее извѣстно: рѣшено было выѣхать в Финляндію, в дачную мѣстность Теріоки, откуда пришлось перекочевать в Выборг, гдѣ и было составлено пресловутое «Выборгское воззваніе», содержавшее гораздо болѣе рѣзкій призыв к пассивному сопротивленію правительству, чѣм упомянутый раньше манифест революціонных партій. Мнѣ пришлось остаться в Петербургѣ, ибо в такое тревожное время Гайфман не соглашался взять на себя отвѣтственность, а потом нѣкоторые депутаты, в особенности Петражицкій, подписавшіе воззваніе против своего убѣжденія, горько упрекали, считая, что, при раздѣленіи участвующих на два почти равных лагеря, мое активное присутствіе могло бы дать перевѣс противникам становленія партіи на путь нелегальных дѣйствій. Вѣроятно, я и дѣйствовал бы в таком направленіи, как потому, что не вѣрил (вмѣстѣ со многими сторонниками воззванія), чтобы это был призыв к дѣйствіям, а не просто запоздало угрожающій жест, так и потому, что и жест грозил оказаться внѣ соотвѣтствія с характером народной поддержки Думы, которая нами увѣренно ожидалась. Впрочем, главным виновником воззванія надо считать выборгскаго губернатора. Весьма вѣроятно, что оно и не было бы принято, если бы губернатор, в разгар страстных споров, не потребовал немедленнаго прекращенія собранія, скомкав таким образом обсужденіе и тѣм самым заставив противников воззванія сдаться.

В воскресенье, уже около полуночи, меня вызвала к себѣ из редакціи популярная среди петербургской интеллигенціи баронесса Варвара Икскуль «по неотложному», как она пояснила, дѣлу. Я застал у нея еще редактора Міра Божьего Ф. Батюшкова и сотрудника Русскаго Богатства Иванчина-Писарева, но отчетливо не помню, в чем состояла неотложность. Баронесса передавала, что роспуск послѣдовал случайно. Ложась спать послѣ выполненія всѣх распоряженій об опубликованіи манифеста, Горемыкин приказал своему камердинеру ни в коем случаѣ не будить его. Послушный приказу, камердинер и не передал своевременно своему господину о полученіи из Петергофа отмѣны роспуска. Это подтвердил много лѣт спустя гр. Коковцев в своих показаніях на допросѣ в чрезвычайной слѣдственной комиссіи в 1917 г. (в «Воспоминаніях» своих он об этом умалчивает). Икскуль, вѣроятно, считала нужным, чтобы я довел об этом до свѣдѣнія собравшихся в Финляндіи депута-

тов, полагая, что такое свѣдѣніе может имѣть вліяніе на предстоявшее принятію рѣшеніе. Умиротворяющим оно — на мой взгляд — во всяком случаѣ быть не могло, и никаких мѣр для передачи ея сообщенія я и не принял.

Наши ожиданія возстанія Ахерона, как уже было сказано, не оправдались. Напротив, бунты, которые то и дѣло вспыхивали во все время думской сессіи, теперь не возобновились, революція уже явно вырождалась, хотя и в острыя, но партизанскія дѣйствія. Столыпин, назначенный премьером и хорошо освѣдомляемый знаменитым предателем, впослѣдствіи шумно разоблаченным Азефом, стал безпощадно расправляться с поверженным уже врагом, — в особенности послѣ страшнаго покушенія максималистов, стоившаго жизни десятку людей и болѣе или менѣе тяжкаго раненія других десятков, в том числѣ и дѣтей премьера. Сам он однако каким то чудом совсѣм не пострадал. О покушеніи я узнал уже заграницей, куда мы с женой уѣхали в концѣ Іюля, послѣ того как Рѣчь, закрытая на основаніи введенной в столицѣ чрезвычайной охраны, вновь получила разрѣшеніе выходить. Теперь тон уже пришлось сбавить и все же редактор наш, в числѣ многих других, привлечен был к судебной отвѣтственности все по той же 129 ст. угол. уложенія. Поводом служили, главным образом, сообщенія о том, что происходило в Выборгѣ: самаго воззванія газеты не могли напечатать, и теперь никакого насилія в этом направленіи революціонныя партіи не проявляли.

В Берлинѣ мнѣ впервые пришлось комически испытать значеніе нѣмецкой аккуратности. Собираясь вечером уѣхать в Гейдельберг, чтобы навѣстить учившихся там сыновей, мы еще засвѣтло покинули гостинницу, отдав желѣзнод. билеты швейцару, чтобы свезти багаж на вокзал и там ждать нас перед отходом поѣзда. Пріѣхавъ по россійскому обычаю загодя на вокзал, в сопровожденіи нѣскольких друзей, мы взяли перонные билеты и прошли на перрон. Я помнил номера наших спальных мѣст и в вагонѣ нашел ручной багаж, но самаго швейцара не было. Подверженный дорожной лихорадкѣ, я проявлял безпокойство, а друзья подшучивали, увѣряя, что за 2 минуты до отхода, как по нѣмецким обычаям полагается, швейцар явится; но вот уже осталась одна минута, а его все нѣт. Пришлось обратиться к начальнику станціи, который и разрѣшил ѣхать без билетов под условіем, что, по выясненіи друзьями недоразумѣнія, билеты будут ему доставлены и он пошлет телеграмму по линіи. Когда мы утром проснулись, кондуктор и вручил нам телеграмму и все оказалось в порядкѣ. А недоразумѣніе выяснилось так, что швейцар ждал нас у турникета, правильно разсудив, что не станем же мы тратить зря 10 пфеннигов на перонный билет, если можем пройти по своим билетам дальняго слѣдованія. Вмѣстѣ с сыновьями мы отправились в Шафгаузен и расчитывали совершить путешествіе по Швейцаріи, но в Цюрихѣ получили телеграмму от брата жены с просьбой пріѣхать в Мюнхен, так как он нуждался в юридическом совѣтѣ. Садясь в вагон, я вдруг услышал знакомый громкій голос с чудесным московским произношеніем: «Сонечка, да открой же окно, тут задохнешься». Это был тоже один из либеральных предводителей дворянства и его московскій барскій особняк соперничал с Долгоруковским домом в устройствѣ митингов в 1904—5 годах. «Вы тоже

ѣдете на Вагнеровскій цикл в Мюнхенѣ?» спросил он. А я и не подозрѣвал о сюрпризѣ, ожидавшем меня, и, пріѣхавши в Мюнхен и с трудом достав билеты, с нетерпѣніем, все сильнѣе раззадоривавшим воображеніе, ожидал спектакля в 4 ч. дня. При поѣздкѣ в Королевскій Театр, расположенный за городом, представлялось глазам невиданное зрѣлище. На всем длинном пути от аристократической гостиницы в центрѣ города по обѣим сторонам улиц густыми шпалерами стояла толпа, с жадным любопытством разсматривавшая безконечную кавалькаду экипажей туристов изо всѣх стран свѣта, фойе и сад полны были нарядной публикой; кромѣ меня единственнаго, всѣ были точно по формѣ одѣты во фраки или смокинги, даже и головной убор форменный — черная фетровая шляпа с полями, подбитыми муаром, дамы в роскошных вечерних туалетах с поражающим изобиліем драгоцѣнных камней. В воздухѣ стоял ровный торжественный гул голосов и всѣ разговоры вращались вокруг предстоящаго представленія Мейстерзингеров, на котором мнѣ впервые приходилось присутствовать. Но когда затрубили фанфары, повелительно приглашавшія приготовиться к воспріятію музыки, и капельдинеры стали закрывать двери зрительнаго зала, у меня от разыгравшагося воображенія, которым я уже не владѣл, громко застучало сердце, в горлѣ застрял комок, и жена, испугавшись моего вида, потащила за руку к двери и стала дергать ручку ея. Великолѣпный капельдинер обомлѣл от изумленія. «Вѣдь я вас обратно уже не смогу впустить, начинается увертюра». Жена объяснила ему, в чем дѣло, но он умоляюще убѣждал шопотом: «Вы же заплатили 20 марок за билет. Сядьте на мѣсто, я принесу вам стакан воды». Я превозмог себя, усѣлся, еще весь дрожа, но, с первыми тактами невидимаго оркестра, позабыл не только о стаканѣ воды, который все время так и продержал в руках, но и обо всем на свѣтѣ и уже на всю жизнь остался влюбленным в эту геніальную оперу, а в эмиграціи с трудом сдерживал слезы в послѣднем дѣйствіи, при видѣ яркаго безоблачнаго народнаго веселья, заставлявшаго болѣзненно остро ощутить юдоль скорби, в которую повергла нас революція.

На другой день, весь еще во власти волшебных звуков, напѣвая про себя безподобный вальс, напоминавшій мнѣ лопающуюся ракету, разсыпающую разноцвѣтные блестки, я возвращался с прогулки и у входа в гостиницу встрѣтил взволнованнаго шурина, размахивающаго газетой. Из нея я и узнал об ужасном покушеніи на Столыпина, потребовавшем столько человѣческих жертв, живо представил себѣ тяжелое душевное состояніе нерѣшительнаго Ганфмана и почувствовал угрызенія совѣсти, что оставил его одного (Милюков вмѣстѣ со мной тоже уѣхал заграницу). Воспользовавшись послѣдним вечером, чтобы послушать еще Тангейзера, мы прервали свой отдых и ночью выѣхали в Петербург. Там я застал очень взбудораженное настроеніе. Через недѣлю послѣ покушенія Столыпин ввел военно-полевые суды, ликвидировавшіе всѣ гарантіи правосудія. Наша газетная хроника — в Правѣ и в Рѣчи — насыщена была теперь сообщеніями о массовых разстрѣлах и повѣшеніях по приговорам этих судов, а за ними слѣдовали извѣстія об убійствах представителей власти. Между прочим, одновременно

с покушеніем на Столыпина, убит был командир усмирявшаго московское вооруженное возстаніе Семеновскаго полка Мин, спустя нѣкоторое время произведено было покушеніе на московск. градоначальника Рейнбота, который тут же собственноручно разстрѣлял из револьвера покушавшагося на него. Сотнями закрывались и штрафовались газеты и конфисковались книги и брошюры, и уж совсѣм анекдотом звучит, что среди них подверглось конфискаціи и «Полное собраніе рѣчей Николая II», изданное без каких бы то ни было комментаріев.

Моих политических друзей озабочивали два вопроса — о выборгском воззваніи и о легализаціи партіи. Возвращавшіеся из Выборга депутаты были увѣрены, что будут арестованы на финляндской границѣ, но правительство долго колебалось, прежде чѣм лишь в концѣ Сентября рѣшило предать суду. Озабоченность, впрочем, вызывалась совсѣм не судьбой депутатов, а отношеніем членов партіи к содержанію воззванія. Лишь очень немногіе, даже среди подписавших, приняли его, так сказать, всерьез, как опредѣленное обязательство дѣйствовать в указанном им направленіи. Огромное большинство считало, что задача выполнена фактом опубликованія, что воззваніе обращено не столько к народу, сколько к правительству, которое оно должно испугать и заставить раскаяться в роспускѣ народнаго представительства. С другой стороны, Выборгское воззваніе стало серьезным препятствіем на пути к легализаціи партіи. Вопрос этот был поднят еще на первых съѣздах и тоже вызвал страстные споры: в легальном бытіи партіи, в признаніи правительством ея программы и задач лояльными нѣкоторые готовы были видѣть безчестіе и уж во всяком случаѣ униженіе. Так в неопредѣленном положеніи мы и прожили до роспуска Думы, обращаясь к начальству лишь за разрѣшеніем съѣздов. Теперь положеніе измѣнилось: если раньше лишь провинціальные администраторы ставили палки в колеса, препятствовали собраніям и т. п., то послѣ роспуска Думы и в Петербургѣ закрыт был клуб партіи, в отдѣльных районах произведены были обыски и аресты, и это послужило сигналом для усиленія репрессій на мѣстах. Поэтому мы и подали заявленіе о регистраціи, разсмотрѣніе котораго затягивалось, а на конец Сентября рѣшено было созвать четвертый Съѣзд, на нем предстояло опредѣлить отношеніе партіи к Выборгскому воззванію, отвѣтственность за которое пока лежала только на б. думской фракціи. Петербург, ничего не предпринявшій для проведенія призыва воззванія в жизнь, отдавал себѣ отчет, что это был удар если не просто по воздуху, то по водѣ, вызвавшій лишь мгновенный всплеск брызг. Неизвѣстно еще было, как чувствует болѣе горячая Москва, и меня командировали туда нащупать почву. Там, однако, я почти никого не застал, и лишь на телефонный звонок в дом Долгоруковых мнѣ отвѣтили, что князь сейчас подойдет к телефону. Я ожидал Павла Дмитріевича, который постоянно проживал в Москвѣ, и так как по голосу братьев трудно было различить, то в началѣ и думал, что говорю с Павлом. Оказалось, что говорит Петр, и я очень обрадовался, ибо к нему сердечно привязан. На мое предложеніе встрѣтиться для дѣлового разговора, он, тоже в совершенно дѣловом тонѣ, сказал, что сегодня это было бы очень трудно, по-

тому что он занят — вѣнчается сегодня, а вечером уѣзжает с женой в Петербург. Так как и я туда же возвращался, мы условились завтра утром, на ходу поѣзда в Петербург, в вагонѣ переговорить. Этот разговор в купэ остался мнѣ навсегда в памяти, очень укрѣпил мою привязанность к Петру Дмитріевичу, и с его очаровательной женой у нас сразу установились такія отношенія, точно мы уже давно друзья. Я знал, что, в отличіе от многих, от большинства, Долгоруков оцѣнил свою подпись под воззваніем, как принятую на себя отвѣтственную обязанность, тотчас же из Выборга проѣхал в свой Суджанскій уѣзд, гдѣ состоял предводителем дворянства, и стал подготовлять среди населенія отказ от выполненія воинской повинности на предстоявшем осенью наборѣ новобранцев. И теперь он так оживленно разсказывал, что успѣл сдѣлать и каких результатов ожидает, что я почуствовал большое смущеніе, пытался начать издалека, но так как притворяться и фальшивить мнѣ противно, то он скоро понял, как велика пропасть между его и петербургским отношеніем к воззванію, вдруг замолчал и оборвал разговор. Упорно молчал и в засѣданіях ЦК, посвященных подготовкѣ доклада к предстоявшему съѣзду, и болѣе непріятных засѣданій я, пожалуй, и не вспомню: чувствовалось, что — так или иначе, по тѣм или иным соображеніям — всѣ или почти всѣ внутренне не сомнѣваются, что воззваніе было политической ошибкой. Но подписавшіе не могли отрѣшиться от бурной обстановки тѣх дней, не позволявшей подчиниться роспуску без всякаго противодѣйствія и не дававшей другой формы его выраженія. Кромѣ того, их морально связывало, что в рядѣ случаев лица, хранившія и распространявшія воззваніе, преданы были суду и расплачивались тюремным заключеніем. А тѣ, что не принимали участія в составленіи, и, тѣм болѣе, выступавшіе противниками, тщательно воздерживались от упреков и прибѣгали к чрезвычайно сложному и запутанному плетенію словес. Хорошо еще, что отказ правительства в регистраціи послѣдовал до этих засѣданій: будь иначе, если бы похороны воззванія можно было связывать с расчетами на легализацію, страсти дошли бы до точки кипѣнія и словесное плетеніе могло бы разрѣшиться расколом.

Но и правительству отказ в регистраціи дался нелегко — я уже упоминал, что разсмотрѣніе нашего заявленія затягивалось, а по возвращеніи из заграницы ко мнѣ явился благодушный, грузный тѣлом инженер Н. Демчинскій, пользовавшійся широкой извѣстностью, но лишь в качествѣ неудачнаго предсказателя погоды на столбцах Новаго Времени, что давало повод к злым остротам, т. к. сама газета чутко слѣдила за погодой и держала нос по политическому вѣтру. Странным казалось появленіе Демчинскаго в роли политическаго маклера, а он утверждал, что неоднократно бесѣдовал со Столыпиным, который де очень интересуется партіей Народной Свободы, как серьезной государственной силой, и оцѣнил бы ея сотрудничество. Думаю, что Демчинскій не был вполнѣ самозванцем, что у Столыпина были такія настроенія — ему очень хотѣлось играть роль конституціоннаго премьера. Демчинскій проявлял большую активность, неоднократно пріѣзжал ко мнѣ и звонил по телефону, еще настойчивѣе он, несомнѣнно, охаживал Столыпина, но тот не рисковал отказаться от опоры Союза Русскаго Народа, хотя его и

коробило хулиганство этой организаціи, внутри которой уже бурлила отвратительная склока между вчерашними друзьями-соратниками, Дубровиным и Пуришкевичем.

Одновременно Столыпин вел переговоры с лидерами вновь образовавшейся «партіи мирнаго обновленія» гр. Гейденом, Н. Львовым, М. Стаховичем о вступленіи их в состав кабинета. В противоположность кадетам в них видѣли — и оффиціально это утверждали — «общественных дѣятелей, которые положили в основу своей дѣятельности закономѣрное проведеніе возвѣщенных правительством реформ». Мнѣ разсказывал потом Стахович, что переговоры были уже вполнѣ закончены, о чем впрочем сообщалось и в оффиціозном органѣ, портфели уже были распредѣлены, а послѣ этого Столыпин вдруг — очевидно под воздѣйствіем придворной клики — переговоры рѣзко оборвал и оффиціоз запоздало объявил «общественных дѣятелей чрезмѣрно притязательными». Этот факт ликвидирует всякія догадки на тему: «еслибы» кадеты и т. д. Ибо если не могло состояться соглашеніе с мирно-обновленцами, которые не предъявляли своих требованій, а шли на проведеніе возвѣщенной правительством программы, то очевидно, что попытка приглашенія кадет заранѣе была обречена на неудачу. Еще болѣе показательно, что, послѣ всѣх искусственных оттяжек, отказ нам в регистраціи партіи мотивирован был весьма сдержанно странным указаніем на «неопредѣленность цѣли ея дѣятельности», а два мѣсяца спустя точно также отказано было в регистраціи устава и партіи мирнаго обновленія, но уже потому, что «преслѣдуемыя ею цѣли угрожают общественному спокойствію». Так причудливо быстро мѣнялась обстановка, что за два мѣсяца закономѣрность превратилась в угрозу общественному спокойствію.

Отказ в регистраціи лишал возможности устроить съѣзд в Петербургѣ, надо было снова искать убѣжища в Финляндіи, которая и сама ревниво боролась за дарованныя ей Александром I права и, естественно, симпатизировала «Праву», выставившему лозунг законности. Ряд статей, посвященных положенію Финляндіи, был в Правѣ напечатан. Я нѣсколько раз был в Гельсингфорсѣ и имѣл удовольствіе познакомиться там с виднѣйшими руководителями тамошняго движенія во главѣ с Лео Мехелиным. Это все были шведы, которым нынче, по достиженіи Финляндіей не только автономіи, но и государственнаго суверенитета, финны, как слишком часто в исторіи бывало, безцеремонно заявляют: «мавр сдѣлал свое дѣло, мавр может уйти». Я сказал — имѣл удовольствіе, потому что плѣняла их строгая дисциплинированность, холодная увѣренная настойчивость, сдержанное благородство. Меня лишь смущала и стѣсняла чрезмѣрная торжественность — и в самом интимном кружкѣ они не могли обойтись без стоя произносимых привѣтственных рѣчей и «скоуль». Так было, например, когда Мехелин пригласил к завтраку в ресторанѣ меня с женой; кромѣ него, было еще только два шведа, и все же он поднялся с бокалом шампанскаго в рукѣ и произнес лестный спич, на который я, весьма смущенный, и не отвѣтил, не будучи в состояніи преодолѣть отвращенія к условностям. Еще больше был я смущен, когда в концѣ 1905 г. в Петербургѣ, послѣ устроеннаго мною ему свиданія с Витте,

он пріѣхал к нам к обѣду, за которым только и был он со своим близким сотрудником, во фракѣ, а я все-таки спича не сказал. Сотрудником этим был д-р Теригрен, с которым я чаще всего встрѣчался — он бросил врачебную практику гинеколога, отдался политической дѣятельности, послѣ манифеста 17 Октября недолго служил в статс-секретаріатѣ по финляндск. дѣлам, послѣ революціи короткое время был посланником Финляндіи в Парижѣ и до сих пор нас соединяют узы дружбы, еще недавно в шведских журналах Гельсингфорса напечатано было нѣсколько моих литературных работ, которыя он любезно перевел. Тогда с его помощью удалось получить молчаливое разрѣшеніе губернатора и отличное помѣщеніе для съѣзда.

Один крупный инцидент на этом, весьма людном, съѣздѣ отчетливо запомнился: безконечное словопреніе по поводу Выборгскаго воззванія горячило страсти. Ораторы сами взвинчивали себя своими рѣчами и послѣ того, как, по обыкновенію, резолюція, предложенная ЦК, была принята, противники ея почувствовали себя майоризированными, собрались отдѣльно под руководством буйнаго одесскаго профессора, впослѣдствіи яраго большевика Е. Н. Щепкина, бывшаго настоящим bête noire фракціи I Думы и тоже подписавшаго воззваніе, и очень экспансивнаго студента Виленкина, потом мужественно умершаго под большевицким разстрѣлом, — и потребовали гарантіи прав меньшинства. Суетливый М. Винавер поспѣшил взять на себя роль посредника и убѣдил Милюкова вступить с диссидентами в переговоры о предоставленіи меньшинству пропорціональнаго представительства в ЦК. Когда же это предложеніе поставлено было на обсужденіе ЦК, оно вызвало взрыв негодованія и всѣ наиболѣе авторитетные члены рѣшительно высказались против, усматривая в этом освященіе грозящаго раскола партіи. Милюков сидѣл, как пришибленный, и имѣл мужество откровенно просить извиненія в том, что «чуть не втащил партію в грязь». Диссиденты примирились с отказом и, если память не измѣняет, никто из за этого рядов партіи не покинул. Я тоже не удержался тогда от выступленія, мнѣ было досадно, что своевременно я не был освѣдомлен о посредничествѣ Винавера и не успѣл предостеречь Милюкова, я говорил слишком рѣзко и думаю, что тогда Милюков впервые, но уже навсегда ощутил оборотную сторону нашего сотрудничества. Центральный вопрос съѣзда о Выборгском воззваніи разрѣшен был в том смыслѣ, что, хотя избранный способ борьбы путем пассивнаго сопротивленія сам по себѣ наиболѣе цѣлесообразен, как способ безкровный, но фактическое его осуществленіе оказалось невозможным.

По возвращеніи в Петербург пришлось сосредоточить вниманіе и энергію на избирательной кампаніи, проходившей в условіях, безмѣрно болѣе тяжелых, чѣм выборы в I Думу. Тов. мин. вн. дѣл Крыжановскій, о котором я уже упоминал, как о бюрократѣ выдающагося ума и широкаго образованія, сплел искусственную сѣть разъясненій и инструкцій, значительно ограничивших круг избирателей, а Союз Русск. Народа и другія отпочковавшіяся от него организаціи, к этому времени открыто и безспорно уличенныя Рѣчью, как убійцы Герценштейна, продолжали пользоваться активной поддержкой мѣстной администраціи и терроризировали населеніе. И в

Петербургѣ их наймиты среди бѣла дня, на людном Литейном проспектѣ напали на Милюкова и избили его, а он скрыл это даже от меня, и узнали мы только потому, что черносотенный оффиціоз Русское Знамя не задумался похвастать своим хулиганством, а вслѣд за этим и я стал получать анонимныя письма, угрожавшія «еще иначе» расправиться с Милюковым и мною. Мы огласили это в Рѣчи, и Столыпин приставил к нам сыщиков, которые всюду должны были сопровождать нас. Милюков отказался, и охрану его взяли на себя студенты, принадлежавшіе к партіи, я же отказался от того и другого, потому что чрезвычайно непріятно было чувствовать за собою подозрительнаго «огромнаго дядю» (вѣдь Департамент полиціи сам был близок к погромщикам), держащаго правую руку в карманѣ, в котором лежит браунинг, а постоянное присутствіе студентов, в ожиданіи моего выхода, так стѣсняло и нервировало, что я не мог работать и сосредоточить свою мысль. Жена настояла, чтобы я завел свой выѣзд, а Родичев подсмѣивался, что я облегчаю задачу черносотенцам, которым теперь легче слѣдить за моими передвиженіями. Катастрофа чуть и не случилась, но по другой причинѣ: на Невском лошадь понесла и я, не задумываясь, выскочил из коляски; даже и в данном случаѣ легкомысліе прошло безнаказанно, пригодились деревенскіе навыки, а еще я узнал, что стал важной особой: градоначальник прислал пристава справиться, не пострадал ли я.

Вторая избирательная кампанія велась куда ожесточеннѣе первой. Революціонныя партіи отказались от бойкота и замѣнили его самым горячим участіем в выборах, причем правых совсѣм игнорировали, а весь пыл тратили на борьбу с кадетами, не пропуская без выступленій ни одного нашего собранія. Мы в свою очередь проникали на собранія Союза 17 Октября, возглавляемаго А. И. Гучковым и поддерживаемаго Новым Временем, в котором сотрудничал брат премьера А. А. Столыпин. Конкуррировать с Союзом было не трудно. Предсѣдатель Гучков заявил, что не правительство, а революція является помѣхой обновленію родины, и на этом основаніи оправдывал политику жестоких репрессій по отношенію к рев. террору, считая, что эти репрессіи не только совмѣстимы с либеральной и даже радикальной политикой вообще, но тѣсно связаны между собой. На это самый видный член Союза Д. Н. Шипов отвѣтил выходом из его рядов, покинѣ пророчески мотивировав: он говорил, что правительство считает врагами не только революціонеров, но всѣх, кто не одобряет его дѣйствій, и что поэтому его политика не может не быть реакціонной, а такая политика обостряет упадок нравственнаго сознанія, выражающійся во все растущей деморализаціи и одичаніи общества. К этим словам вчерашняго члена Союза нам и прибавлять ничего ненужно было, но, пожалуй, еще болѣе показательным в смыслѣ яркаго симптома был раскол и в редакціи Новаго Времени, которому еще Щедрин дал мѣткую кличку «Чего изволите». Однажды я был крайне удивлен появленіем в моем кабинетѣ в Рѣчи одного из виднѣйших сотрудников Новаго Времени проф. А. А. Пиленко, даровитаго ученаго и очень боевого оратора, он давно уже привлек к себѣ вниманіе своими статьями в Правѣ. Теперь он явился, чтобы предложить свое сотрудничество Рѣчи, и это

было тѣм болѣе цѣнно и важно, что для него, как он и подчеркнул, такой переход связан с матеріальной жертвой: Рѣчь не могла вознаграждать его так щедро, как дѣлало богатое Новое Время. Сколько однако я ни уговаривал Милюкова, что переход Пиленки в Рѣчь был бы замѣтным политическим событіем и ударом не только по Новому Времени, но и по правительству, он заупрямился и потом был за это наказан. На одном из митингов, устроенных Союзом 17 Окт., под предсѣдательством А. А. Столыпина, Пиленко рѣзко выступил против поддержки Союзом политики правительства и предсѣдатель, под каким то предлогом, не дал ему закончить своего слова. Когда затѣм на кафедру взошел Милюков, он предложил Пиленкѣ столбцы Рѣчи, чтобы изложить то, что ему не удалось сказать здѣсь, но Пиленко язвительно поблагодарил за такую предупредительность, заявив, что не нуждается в ней, так как имѣет в распоряженіи Новое Время для выраженія своих взглядов.

С правыми организаціями бороться на митингах дѣйствительно никакого смысла не было. Их объединяла лишь матеріальная поддержка, получаемая от правительства и, не подѣлив этих подачек, главари быстро между собой передрались и из вчерашних союзников превратились в смертельных врагов. Убійцы Герценштейна были разоблачены главным образом самими же исполнителями и вдохновителями, являвшимися к нам с повинной, тоже потому, что считали себя обсчитанными при расчетах за исполненное порученіе, и отчеты об этих разоблаченіях в Рѣчи заставили правительство отгородиться от убійц. Брат премьера А. Столыпин неожиданно заявил в Новом Времени: «мавр сдѣлал свое дѣло!», чѣм вызвал открытое раздраженіе в черносотенной прессѣ.

Тяжкій удар нанесла Рѣчь кабинету разоблаченіем неправильной дѣятельности тов. министра вн. д. Гурко по продовольственному снабженію голодающих губерній; а вѣдь Гурко и символизировал в I Думѣ заботливость правительства о народѣ. Помню ночь в редакціи, когда явился неуравновѣшенный А. А. Стахович и возбужденно разсказывал, что, ѣдучи из Ельца в Петербург, он в вагонѣ случайно узнал о весьма сомнительных операціях Гурко по заготовкѣ хлѣба через посредство фирмы Лидваль. Уже годом раньше Стахович сообщил нам данныя о таких же сомнительных операціях б. мин. вн. д. Дурново по закупкѣ овса, и эти данныя подтвердились. Тѣм не менѣе, в виду серьезности разоблаченія Гурко, игравшаго теперь руководящую роль при осуществленіи крупной земельной реформы помимо Думы, требовалась сугубая осторожность, а Стахович не скрыл, что газета Страна, к которой он сначала обратился, убоялась его сообщеніе огласить. Ох, как трудно было успокоить разыгравшееся вообраденіе, рисовавшее мечущагося в безсильной злобѣ тріумфатора Столыпина. В сообщеніи Стаховича отсутствовал шаблон, неизмѣнный спутник вымышленных извѣстій, и чутьем я ему вполнѣ довѣрялъ, и руки чесались сейчас же удар нанести. Но недоставало хоть какого-нибудь объективнаго упора, и я не мог ни на что рѣшиться, как вдруг, случайно бывшій в это время в редакціи, друг мой отозвал меня в сторону и сказал, что, как ему тоже случайно извѣстно, Лид-

валь, имѣвшій небольшой текущій счет в таком то банкѣ, на днях внес на этот счет нѣсколько сот тысяч рублей. Такое совпаденіе положило конец колебаніям: тут же грозное обвиненіе против Гурко было проредактировано, сдано в типографію и, появившись на утро в газетѣ, произвело впечатлѣніе разорвавшейся бомбы. Напечатаніе вызвало приток дополнительных разоблаченій—о роли содержательницы женскаго кафешантаннаго хора, получившей за посредничество в дѣлѣ 50.000 руб., а на третій день зашел ко мнѣ в кабинет издатель Бак, имѣвшій крупныя дѣловыя связи, с пикантным предложеніем от довѣреннаго Гурки прекратить печатаніе разоблаченій под условіем, что он доставит редакціи нѣкоторые документы, компрометирующіе другое министерство. Ясно было, что имѣются еще какія то дополнительныя данныя, оглашенія которых тов. министра боится, но этих данных у меня в руках не было, а предложеніе, переданное Баком, грозило окончательно скомпрометировать сановника и потому трудно было устоять против соблазна. Я и согласился, дав 48 часов на представленіе обѣщанных документов, но в послѣднюю минуту Гурко, повидимому, одумался, предпочел выступить с опроверженіем, крайне неудачным, и скандал принял такіе размѣры, что Столыпин вынужден был отстранить своего паладина от должности и предать суду.

Незадолго перед выборами во II Думу бывшіе члены I-ой, подписавшіе Выборгское воззваніе, тоже преданы были суду, нѣкоторые дворяне, в том числѣ Муромцев, были исключены из сословія, подписаніе Выборгскаго воззванія квалифицировалось дворянскими собраніями, как «безчестный поступок». В судебных округах, гдѣ совѣтов прис. повѣренных не было и функціи их лежали на окр. судах, были случаи исключенія из сословія адвокатов, и всѣ «исключенные», среди коих были самые видные представители кадетской партіи, лишены были избирательных прав. Тѣм не менѣе и на этот раз в столицѣ и больших городах партія одержала полную побѣду. В Петербургѣ состав выборщиков обезпечивал избраніе депутатами одних кадетов, но — не помню точно, по каким соображеніям, вѣроятно, все из того же вынужденнаго почтенія к крайним партіям — мы рѣшили предоставить одно мѣсто соціал-демократам. Среди выборщиков был большевик Г. А. Алексинскій, потом отравлявшій нам в Думѣ немало часов, в теченіе которых он говорил, будто горох пересыпал. На выборах он держался так, словно не мы ему, а он нам оказывает величайшую честь, принимая из наших рук избраніе, сидѣл в сторонѣ и отказывался о чем бы то ни было с нами говорить, так что с большим трудом можно было сдерживать раздраженіе, толкавшее на устраненіе его кандидатуры. Вмѣстѣ со мной были избраны Н. Н. Кутлер, священник Петров, вскорѣ устраненный, Ф. И. Родичев (в I Думу он прошел от Тверской губ., а Выборгскаго воззванія не подписал, так как при роспускѣ Думы был заграницей в составѣ парламентской депутаціи на междупарламентскій съѣзд) и П. Б. Струве. Мы вышли из избирательнаго собранія с Каминкой, и он поздравил меня в ресторанѣ шампанским. У него в гостях, на дачѣ под Ригой, пишу я эти строки и он положил предо мною изданный нами превосходный сборник статей, написанных ad hoc лучшими спеціалиста-

ми, под заголовком Конституціонное Государство. Это было в 1905 г., но и тогда еще — по совѣсти говорю, — я и в мечтах не имѣл стать членом Думы. А удостоенный теперь такой чести, мнѣ и не снившейся, быть представителем обожаемаго Петербурга, я не чувствовал никакого подъема, а скорѣе тупую усталость, и в глубинѣ души уже шевелились тяжелыя предчувствія.

Впрочем, то были уже не только предчувствія: хитроумныя махинаціи Крыжановскаго достигли цѣли и дали возможность посадить в Думу значительную группу черносотенцев с буйным Пуришкевичем во главѣ, но этот успѣх как бы уравновѣшивался тѣм, что в рядѣ губерній чинимыя над волей избирателей насилія способствовали проведенію крайних лѣвых элементов, ошалѣвших от ненависти к правительству. Я умышленно сказал «как бы», ибо фактически,—это сразу же выяснилось,—поведеніе обоих крайних флангов давало одни и тѣ же результаты, разница была лишь в том, что одни стремились вполнѣ сознательно компрометировать, утопить в грязи народное представительство, а другіе беззаботно демонстрировали, что не дорожат Думой, не придерживаются презрительнаго лозунга — беречь Думу. Кадеты, бывшіе теперь в значительно умаленном числѣ, оказались между жерновами и, чтобы избѣжать майоризированія, то и дѣло нуждались в голосах польскаго коло, от котораго часто зависѣл исход голосованія.

И вот потянулись кошмарные дни, о которых и сейчас вспоминаю с тяжелым чувством, невольно приводящим на память сѣдыя слова: infandum, regina, jubes renovare dolorem. Торжественнаго настроенія, которое окружало открытіе I Думы, и в поминѣ не было, вообще не было ни малѣйшаго энтузіазма, всѣ были настороже, и зал засѣданій представлял странное зрѣлище, как будто силою втиснули в помѣщеніе, из котораго заперт выход. чуждых, невыносящих другъ друга людей, которые только и ждут напряженно какого-нибудь повода, чтобы сразиться и помѣряться силами. С перваго же дня выяснилось, что Муромцев не только незамѣним, но что нѣт даже и сколько-нибудь подходящаго кандидата на пост предсѣдателя. В концѣ концов остановились на бывш. предсѣдателѣ Моск. губ. земск. управы Ф. А. Головинѣ. Сам по себѣ он был человѣк безукоризненный, но уже и внѣшность его — малопривлекательная, с лихо завитыми усами и высоким подпирающим подбородок воротником—и грассирующее произношеніе были противопоказаніем исполненію роли предсѣдателя. Но печальнѣй всего было, что он не только не знал, но и не понимал значенія наказа, которое так мѣтко опредѣлил его предшественик: «соблюденіе извѣстных форм есть гарантія нашей свободы и наших прав. Если мы не будем уважать форму в ходѣ наших сужденій и рѣшеній, мы во многих случаях будем рисковать посягательством и на наши права, и на нашу свободу». Почти в каждом номерѣ Права составляемый Каминкой обзор «парламентской недѣли» включал и написанныя С. А. Муромцевым строки (это был большой секрет), безпощадно обличавшія многочисленныя, в том числѣ и допущенныя самим предсѣдателем, нарушенія наказа. Правда, положеніе Головина было исключительно трудным, потому что не только малограмотные крестьянскіе депутаты (с такими выразительными фамиліями, как напр. Нечитайло, Хвост), но

и вообще большинство усматривало в подчиненін формам унизительное умаленіе прав на выраженіе народной воли.

Мое положеніе становилось непосильным: Право — любимое дѣтище, я совсѣм почти забросил и руководство взял на себя Каминка, Общественной Пользѣ мог удѣлять ничтожную крупицу времени, но оставалась Рѣчь, которая в это тревожное время требовала самаго пристальнаго, неослабнаго вниманія. А между тѣм, когда Столыпин, с помощью правых, стал настойчиво домогаться от Думы осужденія политическаго террора, вспыхнуло нѣкое расхожденіе между мной и Милюковым, который, как уже упомянуто, считал, что мы должны играть на сценѣ, а другіе пусть дѣлают за кулисами гром и молнію. Фракція больше склонялась к моему взгляду, мощным союзником в данном случаѣ был Петрункевич, и, в связи с непрекращающейся серьезной угрозой его жизни, Милюков рѣшил уѣхать заграницу, заявив в моем присутствіи Шингареву: «Ну, я все бросаю и уѣду, пусть он (указывая на меня) ведет фракцію». Такое заявленіе объяснялось только раздраженіем — в дѣйствительности я и не мог и был очень далек от претензіи на руководительство. Но зато с отъѣздом Милюкова и количество работы значительно увеличилось и отвѣтственность за газету усугубилась, обострив душевное напряженіе. А в Думѣ я был избран предсѣдателем судебной комиссіи и, жадно стремясь к тому, чтобы Дума оставила по себѣ слѣд дѣловой работы, так ускорял ее, что на Пасхѣ были уже отпечатаны составленные мной «Основныя Положенія реформы мѣстнаго суда» и роспуск оборвал начатое уже Думой обсужденіе этих Основных Положеній. Случалось, что я и вовсе не мог за весь день домой попасть, и жена, с младшими сыновьями, пріѣзжала в Таврическій Дворец, чтобы во время перерыва засѣданій посидѣть со мною в саду. Однажды, измученный нѣсколькими безсонными ночами, я принял снотворный порошок и только что уснул, как жена разбудила, сказав, что явился какой то возбужденный офицер с солдатом и настаивает на немедленном свиданіи по важному дѣлу. С трудом приходя в себя, я схватился за карман, забыв, что револьвер покоится в ящикѣ письменнаго стола, у котораго ждет гость. Он оказался высоким, плотным, краснощеким полковником (думаю, что память не измѣняет мнѣ — знаменитаго семеновскаго полка, усмирявшаго московское вооруженное возстаніе), бурно бросился мнѣ на встрѣчу, обѣими руками схватил мою и, смотря умильными масляными глазами в упор, стал безсвязно восхвалять и благодарить меня «за все». Жена просила горничную поговорить с сопровождавшим его солдатом, и тот охотно разсказал, что «барин» (солдат был денщиком) уже нѣсколько дней все собирался к «депутату—стать перед ним на колѣни», но все не рѣшался, а сегодня, подбодрившись коньячком, вдруг сказал: ѣдем! Когда, послѣ безконечных изліяній, мы вышли в переднюю, он крикнул денщику: «на колѣни перед этим героем!» и тот уже готов был исполнить приказаніе. Потом этот полковник — Назимов — получил большую извѣстность, как иниціатор «потѣшных полков» из дѣтей.

Тяжесть положенія обусловливалась больше всего тѣм, что в атмосферѣ таврическаго дворца с каждым днем становилось все труднѣе дышать — с

нѣкоторым удивленіем и недовѣріем перечитываю в газетах того времени, что еще до созыва II Думы родились упорные слухи о неизбѣжном роспускѣ ея, и тогда неумѣстным издѣвательством прозвучало бы убѣжденное заявленіе Родичева: Скажем себѣ, что Дума не может быть распущена, и ее не распустят. Напротив, уже через недѣлю послѣ созыва откровенно признавалось, что «возможность роспуска весьма велика». Под этим Дамокловым мечом протекло все безрадостное существованіе II Думы и ужас был в том, что внутри ея не только не думали, как бы опасность отразить, но все сильнѣе сотрясали бурными словами воздух, чтобы меч поскорѣй свалился. Так например, по вопросу о передачѣ законопроекта в комиссію, (что, казалось бы, самой собой разумѣется), записалось 60 ораторов. Нами же проведенный в Думу Алексинскій показывал свое искусство устраивать парламентскую обструкцію и говорил часами, с ним соперничал Пуришкевич, несомнѣнно душевно неуравновѣшенный, которому слово тоже служило средством занимать кафедру, но и вообще много было депутатов, которые сущность своей обязанности усматривали в том, чтобы покрасоваться на ораторской трибунѣ, и эта профанація чудеснаго орудія мысли и человѣческаго общенія вызывала физическое отвращеніе.

Перед I Думой волновались и страстно спорили, заниматься ли ей органической работой, и правительство, со своей стороны, считало свою обязанность выполненной внесеніем мелкаго законопроекта. Перед созывом II Думы кабинет Столыпина провел, в порядкѣ 87 ст. Положенія о Думѣ, ряд крупнѣйших законов и внес в Думу нѣсколько важнѣйших законопроектов, законопроекты тщательно обсуждались в комиссіях под руководством кадетов, бывших во всѣх комиссіях предсѣдателями. В комиссіях тоже было не без словопреній, но так как засѣданія комиссій не стенографировались и не печатались, то здѣсь не так мучила жажда слова и страдать приходилось лишь от одержимых краснобайством. Но засѣданія Думы должны были служить ареной для ораторских упражненій, увѣковѣчиваемых стенографическими отчетами и разносимых газетами по всей Россіи. Так мы и писали тогда в Рѣчи и в Правѣ: «Во II Думѣ гораздо многочисленнѣй элементы, которым законодательная дѣятельность и неинтересна и непосильна, но которым вполнѣ доступно произнесеніе заурядных рѣчей митингового характера, сопровождающих каждый запрос.» А запросы, заявленія и предложенія сыпались справа и слѣва, вносились ежедневно.

Самым тяжелым испытаніем для Думы оказалось предложеніе праваго сектора вынести постановленіе об осужденіи террора. Нѣсколько раз оно откладывалось, но наконец 15 Мая поставлено было на повѣстку засѣданія, и крайніе фланги готовы были уже вступить в бой. Но пока страсти еще не могли разгорѣться, вопрос шел лишь о принятіи Думой этого предложенія к разсмотрѣнію и рѣшен был отрицательно. А через два дня, в засѣданіи 17 Мая, министр Щегловитов и тов. министра вн. дѣл Макаров давали объясненія по запросу об истязаніи заключенных в тюрьмах Прибалтійскаго края и, не отрицая незакономѣрных дѣйствій агентов власти, указывали, что они были обусловлены главным образом «кровавым возмутительным бредом, разди-

рающим нашу родину». Эти слова вновь открыли шлюзы неудержимому потоку рѣчей о революціонном террорѣ, страсти разбушевались, рѣчи прерывались апплодисментами то справа, то слѣва и криками, переходившими в дикій рев, взаимными оскорбленіями, и все завершилось внесеніем 8 формул перехода к очередным дѣлам. Каждая фракція внесла свою формулу, причем правые, вопреки признанію самим правительством незакономѣрности, предлагали считать объясненія вполнѣ удовлетворительными и выразить глубокое негодованіе революціонному террору, а лѣвые, наоборот, совершенно умалчивали о террорѣ, выражали недовѣріе правительству и требовали учрежденія парламентской комиссіи для разслѣдованія. Наша фракція констатировала признаніе правительством незакономѣрности дѣйствій чинов мѣстной администраціи, но вмѣстѣ с тѣм отмѣчала, что «совершавшіяся в том краѣ многочисленныя убійства и др. возмутительныя преступленія не должны быть терпимы.» Перед голосованіем мы предложили объявить перерыв, чтобы сдѣлать попытку добиться согласованія формул (формула польскаго коло близко подходила к нашей, мало отличалась и формула умѣреннаго октябриста Капустина), но крайніе фланги рѣшительно отвергли наше предложеніе и, средн невѣроятнаго шума, всѣ 8 формул были отклонены. Послѣ перерыва лѣвые произвели новый натиск и снова предложили свою, нѣсколько измѣненную словесно формулу перехода: тщетно Маклаков, М. Стахович и я доказывали, что возвращеніе к уже рѣшенному вопросу составляет нарушеніе наказа — благодаря предательскому маневру правых, покинувших зал засѣданія, лѣвые оказались в большинствѣ и их формула, осуждавшая дѣйствія правительства и умалчивавшая о террорѣ, была принята. Правые и не скрывали, к чему их маневры клонятся: Шульгин заявлял, что у него есть единственный упрек по адресу правительства — «для какой надобности нас заставляют сидѣть с этой компаніей» (жест налѣво), а усердный прислужник Крупенскій и совсѣм откровенно кричал: «Чѣм хуже, тѣм лучше! Авось правительство проснется и разгонит Думу!» Можно поэтому утверждать, что для правых вопрос об осужденіи террора был только одним из способов ускорить готовившійся роспуск Думы. По существу же я вправѣ был бы повторить то, что сказал выше о роли Права и что теперь весьма ярко было выражено нѣкоторыми нашими ораторами — Карташевым, Пергаментом и др. Они говорили, что тѣ, которые признают за властью право безсудно расправляться и топтать ногами закономѣрность — тѣ именно и дискредитируют правительство, лишают его всякаго авторитета и уваженія. Но правительство было глухо к таким рѣчам, упрямо твердило que messieurs les assassins commencent и цитированное выше предсказаніе Шипова о грозящем моральном разложеніи пріобрѣтало все болѣе реальныя очертанія. Об этом взволнованно говорил Булгаков: «Мы дичаем и становимся варварами. От всѣх этих схваток правительства с революціонерами. . . ничего, кромѣ ужасов разложенія, я для Россіи не вижу».

Конечно, это роковое упрямство правительства непреодолимо подсказывалось инстинктивным чувством самосохраненія, но и то вѣрно, что у него самаго руки были несвободны, что оно стало плѣнником темных сил, кото-

рыя призвало на помощь для борьбы с революціей и которыя теперь настойчиво требовали полной ликвидаціи манифеста 17 Октября и находили звучный отклик в придворном окруженіи. Часть кабинета, с премьером во главѣ, была так сказать лѣвѣе этих домогательств, противодѣйствовала им. В отличіе от своего предшественника Столыпин и нѣкоторые его министры питали слабость к ораторским лаврам, к думской трибунѣ, к состязанію равным оружіем. Так и заявил мнѣ старый знакомый Щегловитов, горячо привѣтствуя при первой встрѣчѣ нашей в Думѣ. Гр. Коковцев, котораго вел. кн. Николай Михайлович в опубликованной перепискѣ с государем пренебрежительно называет «канарейкой с безконечной трелью», в своих воспоминаніях тщательно отмѣчает всѣ заслуженные им в послѣдующих Думах аплодисменты. А больше всѣх любил щеголять ораторскими пріемами сам Столыпин. «Вы требуете — бросил он лѣвым, — от правительства: руки вверх, а я отвѣчаю вам — не запугаете!» «Удар пришелся не по коню, а по оглоблѣ», и одно из его хлестких выраженій, предназначавшихся не столько для Думы, сколько для Царскаго Села: «Вам нужны великія потрясенія, нам нужна великая Россія» даже выгравировано было на памятникѣ, трагически напоминавшем все о тѣх же предсказанных Шиповым послѣдствіях. Столыпин и часть его кабинета были несомнѣнно лѣвѣе тѣх настроеній, которыя все болѣе крѣпли в Царском Селѣ и формулировались в желаніи возстановить «самодержавіе, каким оно было встарь». Я имѣл случай и непосредственно это констатировать, когда однажды Столыпин — если не ошибаюсь, по иниціативѣ секретаря Думы М. В. Челнокова — пригласил для бесѣды Тесленко и меня. «Петруша, сказал мнѣ в телефон своим чудесным московск. говором Челноков, просит вас и Тесленку пожаловать к нему завтра в 10 ч. вечера». Тесленко в послѣднюю минуту уклонился от «тайных переговоров с премьером» и, сославшись на неотложное дѣло, уѣхал в Москву. Я явился один в великолѣпный Зимній Дворец и, в предупрежденіе недоразумѣній, обратил вниманіе снимавшаго с меня пальто лакея, что в карманѣ лежит заряженный браунинг. «Это-то ничего, отвѣтил он мнѣ, а вот котелок то потрудитесь здѣсь оставить.» Повидимому, не исключалось предположеніе, что в моей шляпѣ может быть припрятана бомба. По широкой лѣстницѣ величественно спускалась в открытом вечернем платьѣ властная супруга премьера Ольга Борисовна, сестра разоблаченнаго Рѣчью и преданнаго суду одесскаго градоначальника Нейдгарта, и окинула меня высокомѣрным взглядом, а лакей передал меня лифтеру, который на машинѣ доставил в закупоренную удушливую комнату, наполненную жандармами и остро напомнившую кордегардію Петропавловской крѣпости. В теченіе двух, трех минут они внимательно меня разглядывали и наконец я попал в огромный кабинет, из за письменнаго стола, уставленнаго нѣсколькими телефонами, поднялся навстрѣчу и протянул руку, которой он плохо владѣл, высокій плотный человѣк, с черной бородой и закрученными усами на серьезном, настороженном лицѣ.

В противоположность Витте, обращавшему на себя вниманіе с самаго начала своей карьеры, Столыпин до своего назначенія министром вн. дѣл, в момент созыва I Думы, рѣшительно ничѣм не выдѣлялся из рядов бюрокра-

тін и спокойно дѣлал обычную карьеру родовитаго дворянина, имѣющаго придворныя связи. Впервые имя его, как Саратовскаго губернатора, получило широкую извѣстность в связи с нападеніем черносотенцев в городѣ Балашовѣ на мѣстную интеллигенцію во главѣ с предводителем дворянства Н. Н. Львовым. Пріѣхавшій в это время губернатор пытался противодѣйствовать озвѣрѣвшей толпѣ и выказал большое безстрашіе. Этот инцидент, получившій широкую огласку, вѣроятно и был причиной назначенія Столыпина на пост, требовавшій тогда безстрашія прежде всего. Но к этому моменту революція уже была сокрушена усиліями П. Н. Дурново, Столыпин застал ее уже в судорогах, которыя он несомнѣнно затягивал, стараясь оправдать репутацію безстрашія безпощадной, безсудной жестокостью. А Петру Дурново, который для него таскал каштаны из огненной пещи революціи, отплатил черной неблагодарностью, когда нѣсколькими годами позже вынудил царя объявить Дурново выговор и лишить его права присутствія в Государственном Совѣтѣ за то, что Гос. Совѣт отклонил внесенный Столыпиным законопроект о введеніи земства в западных губерніях. А еще двумя годами позже, при осуществленіи этой реформы, сам был убит в Кіевѣ агентом охраны при явном попустительствѣ со стороны своего товарища по должности и начальника дворцовой охраны. Теперь же, во времена II Думы, участь которой была предрѣшена, он еще поднимался к зениту бюрократическаго могущества и весь дышал этим сознаніем, придававшим лицу выраженіе самодовольной увѣренности. Хорошо помню начало бесѣды: «Мнѣ говорят мои (не то домашніе, не то подчиненные), что вы все пикируетесь с братом моим из за его фельетончиков в Новом Времени». При этом, вѣроятно, чтобы дать понять, что это не упрек, а шутка, он выдавил улыбку, которая странно не шла к его лицу, и без того мало пріятному, и быстро исчезла. — «Естественно, отвѣтил я, вѣдь Александр Аркадьевич считается Вашим порт-пароль». «Вот как — густыя брови насупились — а мнѣ и читать его некогда, да, к сожалѣнію, и видѣть рѣдко приходится». «Тѣм больше чести его публицистическому чутью, так умѣло предугадывающему направленіе внутренней политики». «Которую вы никак не хотите понять». Діалог таким образом сразу вошел в medias res и продолжался около четырех часов, но я совершенно не помню, как он развивался и чѣм закончился около половины второго утра. Я силился быть как можно спокойнѣе, но внутренне очень волновался и было от чего: нельзя было сомнѣваться, что Дума висит на волоскѣ и нельзя было скрывать от себя, что она и не может существовать, вслѣдствіе неустранимых внутренних противорѣчій. Но вѣрить этому не хотѣлось, потому что роспуск предвѣщал новую страшную судорогу революціи, а приглашеніе для бесѣды внушало хотя и весьма слабую надежду, что можно еще найти какой-то выход из тупика. Поэтому я увлекся и горячность все возрастала, мнѣ казалось, что она смягчает безапелляціонный сначала тон собесѣдника. В разгарѣ бесѣды, уже послѣ полуночи, раздался телефонный звонок, звонили из Царскаго. Я привстал с кресла, но Столыпин сдѣлал рукой знак оставаться на мѣстѣ, а лицо его становилось все суровѣе и в репликах явно звучали нотки раздраженія. Боюсь теперь утверждать, сказал ли мнѣ что-ни-

будь Столыпин об этом разговорѣ или же он его кому-то тут же передал по другому телефону, или же только из реплик его я понял, что на завтра днем назначен у царя пріем депутаціи Союза Русскаго Народа и что этот пріем является для премьера полной неожиданностью, усугубленной столь поздним сообщеніем. Так я это понял, но во всяком случаѣ тон Столыпина вдруг стал суше и отрывистѣй, точно он опомнился, и я подумал, что там, откуда в нашу бесѣду ворвался неурочный звонок, ему приходится разыгрывать примѣрно такую же роль, какую в эту ночь я исполняю перед ним, что сам он чувствует уже свое безсиліе, (теперь ярко отмѣченное в воспоминаніях Коковцева), и свобода дѣйствій отведена ему лишь для подавленія революціи.

Я вышел из дворца с тяжелым чувством и заразил им также и Петрункевича, который нетерпѣливо ожидал меня в редакціи, гдѣ всѣ удивлялись таинственному отсутствію. Как нарочно, в этот же вечер были приглашены в наш клуб члены польскаго коло для взаимнаго сближенія, и Павел Долгоруков настойчиво разыскивал меня: я не расчитывал, что бесѣда так затянется, и обѣщал пріѣхать в клуб. Сейчас никак не могу себѣ объяснить, на каком основаніи счел себя вправѣ в такой тайнѣ принять приглашеніе Столыпина. Знали об этом, как только что сказано, лишь Петрункевич и, заднним числом, Милюков, вернувшійся через нѣсколько дней послѣ этого из за границы.

Среди таких изнурительных треволненій приходилось готовиться к докладу в Думѣ по законопроекту о мѣстном судѣ. Я настоял в комиссіи, чтобы, в цѣлях стройности и послѣдовательности преобразованія, на утвержденіе Думы сначала была представлена общая схема реформы, «основныя положенія», как то было при созданіи судебных уставов, и министерство нехотя с этим согласилось, а при обсужденіи основных положеній выражало готовность итти навстрѣчу пожеланіям комиссіи. Когда, уже в концѣ Мая, по постановленію фракціи, разсчитывавшей повернуть взбудораженное настроеніе в болѣе спокойное русло, я сдѣлал заявленіе о постановкѣ на повѣстку ближайшаго засѣданія моего доклада, представители лѣвых фракцій, в том числѣ даже и секретарь нашей комиссіи, рѣшительно этому воспротивились, и были крайне раздражены тѣм, что большинство в пользу моего предложенія составилось при поддержкѣ принадлежавших к их фракціям крестьян. В засѣданіи 28 Мая моему докладу предшествовало обсужденіе внесеннаго лѣвыми законопроекта об амнистіи. Это был опять революціонный жест, ибо по закону амнистія составляла прерогативу монарха, вслѣдствіе чего мы предложили без обсужденія по существу передать законопроект в спеціальную комиссію для предварительнаго разъясненія вопроса о компетенціи. Засѣданіе снова приняло бурный и, благодаря растерянности предсѣдателя, не разобравшагося в сумбурѣ сдѣланных предложеній, хаотическій характер: правые уличали нас в запуганности, лѣвые горячо подхватили этот «упрек» в желаніи оберечь существованіе Думы, неугомонный Крупенскій кричал: «как один Гессен рѣшит, так и будет». Под гром и аплодисменты правых лѣвые повторяли: «Вы думаете, что этим избѣжите разгона Думы, мы этого не боимся». В концѣ концов мое предложеніе о передачѣ вопроса об амнистіи в

спеціально избранную комиссію по вопросу о компетенціи было принято и, раздраженные этой неудачей, лѣвые высыпали в кулуары, гдѣ еще долго перекатывались волны неулегшагося возбужденія. Звонок, возвѣстившій продолженіе засѣданія, не заглушил ожесточенных споров, и я проходил в зал сквозь язвительныя улыбки и насмѣшливыя замѣчанія лѣвых противников, злорадствовавших, что злоба дня отвлекла интерес от моего доклада. Я начал свою рѣчь при полупустом залѣ, в присутствіи Щегловитова и тов. министра Гасмана, впившихся в меня глазами, говорил около двух часов — из подражанія Пассоверу, запомнив даже цитаты наизусть, чтобы не имѣть ни одной бумажки при себѣ — и на другой день был вознагражден лѣвыми газетами, назвавшими мою рѣчь «классической» и укорявшими своих единомышленников в непониманіи значенія народнаго представительства. С подробными возраженіями выступил и министр и его товарищ и было в высшей степени характерно, что они отказались от цѣлаго ряда уступок, двѣ три недѣли назад сдѣланных ими в думской комиссіи — так быстро мѣнялось отношеніе к Думѣ. Дав волю раздраженію, Щегловитов не удержался от личнаго выпада, напоминв, что я служил и сам в министерствѣ, на которое теперь нападаю. Этим дал он повод сорвать бурные апплодисменты, когда я указал, что отказался от службы, потому что мнѣ предложено было отказаться от редактированія Права, столь близкаго, по ироническому замѣчанію министра, к партіи Нар. Свободы. Однако, было время, когда и сам министр усердно в Правѣ сотрудничал и дорожил своей близостью к нему, но потом предпочел дѣлать блестящую служебную карьеру, не стѣсняясь ради нея жертвовать и самыми священными принципами и самыми заслуженными судебными дѣятелями.

На обсужденіи моего доклада и застал Думу роспуск, но еще вспоминается нѣсколько ярких эпизодов, предшествовавших роспуску. Вспоминаю потрясающее впечатлѣніе, которое произвел обвал потолка в залѣ засѣданія за час, другой до того, как предстояло здѣсь выслушать с нетерпѣніем ожидаемую правительственную декларацію Столыпина. Засѣданія на время были перенесены в дом Дворянскаго Собранія, отчего невыносимый хаос стал еще больше, и перед тѣм, как Столыпину взойти на трибуну для прочтенія декларацін, у меня опять разыгрался сердечный припадок. Я собрался выйти из зала, «ты хоть сдохни — удержал меня кузен, сидѣвшій рядом — а сиди! Что подумают, если ты перед рѣчью премьера покинешь зал». И я сидѣл, облившись холодным потом, и так и запечатлѣн с платком в рукѣ на снятой в этот момент фотографіи. Даром это перемоганіе не давалось, и неврастенія принимала все болѣе непріятныя формы, развивался непреодолимый страх смерти, о котором теперь, тоже с непреодолимым отвращеніем и стыдом, вспоминаю.

Столь же неожиданно, перед Пасхой, когда впереди уже виднѣлся короткій отдых заграницей, гдѣ впрочем мнѣ предстояло, внѣ суеты и тревоги, формулировать основныя положенія судебной реформы, — бурно вспыхнул инцидент соц.-дем. Зурабова при обсужденіи срочнаго законопроекта о контингентѣ новобранцев на текущій год. Выступленіе от кадетской фракціи воз-

ложено было на меня, и все шло благополучно, пока не поднялся на трибуну заядлый эсдек и, в угарѣ трафаретной митинговой рѣчи, сказал что-то, принятое присутствующим военным министром за оскорбленіе арміи. Тут же и польское коло рѣшило дать нам почувствовать свое значеніе — без его голосов законопроект не был бы принят: лѣвые формально отказались голосовать, а правые фактически ушли — тактика была различная, а цѣль одна и та же — добиться роспуска Думы. Перед голосованіем объявлен был перерыв, а когда засѣданіе возобновилось, коло отсутствовало и предсѣдатель всячески затягивал приступ к голосованію, пока, наконец, послѣ долгих томительных минут, коло появилось с заявленіем, что будет голосовать за законопроект, который таким образом и прошел ни шатко ни валко. Но осталось «оскорбленіе арміи», эсдек, конечно, и слышать не хотѣл об извиненіи, и расхлебывать кашу, больше уже по инерціи, пришлось нам, чтобы еще раз отвратить прямую угрозу роспуска. Теперь кажется непонятным неутомимое стремленіе оберечь Думу при полной увѣренности, что она неминуемо будет распущена если не сегодня, то завтра. Припоминаю юношескую горячность Петрункевича, когда с Набоковым и мною пріѣхали в Европейскую гостиницу, гдѣ жил Головин. Мы остановились у лифта, но Петрункевичу не терпѣлось и, не обращая вниманія на нас, он стал быстро взбѣгать по лѣстницѣ на четвертый этаж, так что мы еле за ним поспѣвали, и все перебивал медлительнаго Головина, убѣждая его, что положеніе презвычайно серьезно, что ни минуты терять нельзя. Вѣроятно, неудача Выборгскаго воззванія подрѣзала крылья и внушала опасеніе, что правительство может безнаказанно не только распустить и II Думу, но и вообще ликвидировать народное представительство и придется начинать сначала, с истощенными силами и энергіей.

Зурабовскій инцидент был улажен, но вскорѣ послѣ Пасхи назначено было засѣданіе финансовой комиссіи для разсмотрѣнія бюджета, и Коковцев предупредил, что к концу засѣданія пріѣдет и Столыпин для общих разговоров о ходѣ думских работ. Я в этой комиссіи не участвовал, но мнѣ предложили присутствовать при общих разговорах. Между тѣм засѣданіе уже кончилось, а Столыпин все не пріѣзжал и мы слонялись по кулуарам. Наконец Коковцев позван был к телефону и, вернувшись, сказал, что «Петр Аркадьевич отозван по срочному дѣлу и пріѣхать не может». Даже и независимо от смущеннаго тона Коковцева, сам по себѣ факт внезапнаго отказа пріѣхать в засѣданіе разсѣял послѣднія сомнѣнія и показался мнѣ неоспоримым доказательством, что переговоры с Думой признаны излишними и что пока мы здѣсь, в Таврическом дворцѣ, напрасно ждали пріѣзда премьера, там у него, в Зимнем, рѣшена была участь Думы. А в Думѣ как раз в это время наступило нѣкоторое успокоеніе, благодаря тому, что засѣданія сосредоточились на дѣловом обсужденіи законопроекта о мѣстном судѣ. Но в самом разгарѣ состязанія с Щегловитовым, настойчиво оспаривавшим нѣкоторыя основныя положенія комиссіи, правительство устами прокурора С. Пет. Суд. Палаты Камышанскаго внесло ошеломившее всѣх требованіе о лишеніи иммунитета членов с.-д. фракціи, как обвиняемых в тяжких государственных

преступленіях. Часть фракціи, состоявшей из 55 человѣк, тотчас же поспѣшила скрыться, но тѣм ярче вспоминается благородная фигура Церетели, самаго молодого депутата — он едва достиг тогда требуемаго для избранія 25-ти лѣтняго возраста. Он очень напоминал моего университетскаго товарища Пекатороса, такія же спокойныя размѣренныя движенія, та же замедленная, но убѣжденная рѣчь, такіе же большіе черные горящіе, с налетом неизбывной грусти, глаза, но он был тоньше и выше и все дышало в нем изяществом, благородством и независимостью: мнѣ все казалось, что он стоит в обведенном кругу, на островкѣ. И так и вижу его блѣдно-смуглое прекрасное лицо над ораторской трибуной и звучат в ушах вѣскія слова, которыми он убѣждал Думу, что требованіе правительства является предисловіем к ея роспуску и что при таких условіях, когда «штык стоит в порядкѣ дня», наивно и неумѣстно заниматься обсужденіем реформы суда, а нужно подумать о противодѣйствіи грубому насилію. Фактически же, при предѣльном, можно сказать, разбродѣ Думы, было не менѣе наивно помышлять об отраженіи занесенной для удара руки, и лишь попытку утопающаго сдѣлали четверо депутатов — Булгаков, Маклаков, Стахович и Струве, отправившись, на разсвѣтѣ дня роспуска на Елагин остр., гдѣ тогда, под строжайшей охраной, жил Столыпин, чтобы убѣдить его — в чем? Взять назад свое требованіе или обѣщать ему согласіе Думы на выдачу с.-д. фракціи? И то и другое было далеко внѣ предѣлов малѣйшаго вѣроятія и никакого компромисса придумать точно также нельзя было.

Упоминаніе о так плѣнявшем меня Церетели заставляет задуматься над тѣм, что вот я уже подошел к концу трехмѣсячной страды, а говорил лишь безлично о Думѣ, не останавливаясь на людях, ее составлявших. Думаю задним числом, что это вышло не случайно. Конечно, зал засѣданія наполнен был человѣками, но они как будто отрѣшались от себя, стирали свою индивидуальность, растворялись, превращаясь в толпу, и ея проявленіем главным оружіем было не слово, а крик, подчас и рев. Отдѣльные говоруны сумѣли к слово приспособить к такому превращенію — на лѣвом крылѣ Алексинскій, на правом Пуришкевич состязались в быстротѣ, сыпали слова, накапливавшіяся в какую-то безформенную несуразную кучу. А противовѣсом Церетели служил на правом крылѣ В. В. Шульгин — тоже с осторожными размѣренными движеніями, отчетливо, на слова, раздѣленной рѣчью, произносимой вкрадчивым буравящим голоском, напоенной ядом и приправленной змѣиной улыбкой, которая замирала на тонко очерченном, как бы окаменѣвшем лицѣ. Вся парламентская работа, имѣвшая цѣлью влить в Думу холодную дѣловую струю и расчленить толпу на мыслящих людей, — вся эта подготовительная работа в комиссіях спѣшно и настойчиво продѣлывалась кадетской фракціей. Чуть ли не во всѣх 24 комиссіях, сформированных Думой, предсѣдательствовали кадеты, они же были и докладчиками. Чтобы поставить на обсужденіе Думы судебную реформу, пришлось, в теченіе двух мѣсяцев работ комиссіи, назначать ея засѣданія не рѣже чѣм через день, независимо от этого я устроил два собранія крестьян-депутатов, с которыми обсудил основные вопросы реформы — о коллегіальности и единоличности

мѣстнаго суда и о границах примѣненія обычнаго права, и этой предусмотрительности мы и обязаны были, вѣроятно, содѣйствію, которое и не принадлежащіе к к.-д. фракціи крестьяне, вопреки настоянію своих лидеров, оказали нам, чтобы судебную реформу поставить на обсужденіе Думы.

Но и внутри нашей фракціи далеко не было принципіальнаго единодушія. Сплоченной группой, под руководством плотнаго и крѣпко сшитаго, очень умнаго и разсудительнаго адвоката Н. В. Тесленко, выступали москвичи, когда нужно было подчеркнуть первенство Первопрестольной, о чем они очень заботились и гордились, что и во II Думу Петербург не мог выставить кандидата в предсѣдатели, что и во фракціи предсѣдателем был москвич кн. Павел Долгоруков, а на посту товарища Тесленко смѣнил меня. Настойчиво щеголял радикализмом одесскій адвокат, красивый круглолицый брюнет О. Я. Пергамент и его принципіальная непримиримость тѣм ярче бросалась в глаза, что она плохо гармонировала с широкими барскими замашками и обворожительными манерами. Переселившись в Петербург, мой бывшій патрон Протопопов, у котораго и Пергамент послѣ меня состоял помощником, восхищался, как роскошно его питомец по сословію живет: «Вчера я у него был, он жаловался, что не хватило тысячи рублей для какой-то уплаты, а дня через два должен получить 25.000 рублей за выступленіе в Сенатѣ по громкому дѣлу. Я ему охотно эту тысячу ссудил. Когда у него будут деньги, он охотно и быстро вернет». В концѣ концов этот способный, влюбленный в легкую жизнь и избалованный ею адвокат запутался в личных дѣлах и, вновь переизбранный в III Думу, не выдержал поднятой против него черносотенцами клеветнической кампаніи и отравился — его спасли, но через недѣлю он вновь принял морфій и погиб в расцвѣтѣ лѣт и сил.

Особое мѣсто занимал у нас новый на общественной аренѣ человѣк — широкоплечій, высокій, с большой черной бородой Н. Н. Кутлер. До мозга костей закоренѣлый чиновник, в высшей степени добросовѣстный и толковый, он уже добрался до поста министра земледѣлія в кабинетѣ Витте, который поручил ему составить проект частичнаго отчужденія казенных и помѣщичьих земель крестьянам за справедливое вознагражденіе. Проект одобрен был кабинетом, но время было бурное, неустойчивое, в придворных сферах враги Витте ухватились за этот проект, чтобы уличить его в «соціализмѣ», а Витте не задумался свалить всю отвѣтственность на Кутлера, который и должен был выйти в отставку. Я воспользовался этим, чтобы пригласить его в наш лагерь, он охотно откликнулся. Помню первый разговор по телефону. У телефона оказалась его жена. Я ее так никогда и не видѣл, но тогда она убѣдительно жаловалась на внезапную перемѣну судьбы, на обремененность большой семьей, «мал мала меньше, как же мнѣ теперь накормить и одѣть всѣх», и мнѣ показалось, будто стоит предо мною высокая располнѣвшая, небрежно одѣтая хлопотунья, только тѣм и поглощенная, чтобы свести концы с концами в домашнем бюджетѣ до ближайшаго 20 числа, когда муж, тоже всецѣло поглощенный своими чиновничьими обязанностями, опять принесет жалованье в новеньких хрустящих ассигнаціях. Но так сильно было вліяніе времени, так сметало оно всѣ привычки, что в новой,

совершенно чуждой ему обстановкѣ добродушный Кутлер легко и свободно оріентировался и отношенія сразу стали простыми, точно мы давно уже знакомы. А нам он оказался исключительно полезным, как своей основательной освѣдомленностью в области государств. финансов, так и вообще отличным знаніем всѣх деталей бюрократической машины. И послѣ роспуска Думы он оставался неизмѣнным, хоть и нѣсколько тяжеловѣсным сотрудником Рѣчи. «Опять кирпич!» всегда говорил ночной редактор, когда приходилось включать в номер обстоятельную монотонно убѣдительную статью Кутлера. Послѣ большевицкаго переворота он долго и многократно мыкался по тюрьмам и даже стоял на чредѣ разстрѣлов, но и совѣтская власть оцѣнила его трудоспособность и добросовѣстность, и Кутлер смѣнил тюрьму на пост директора госуд. банка и опять выполнял свои обязанности не за страх, а за совѣсть.

Уже не раз представлялся мнѣ случай отмѣтить оригинальную фигуру П. Б. Струве: ярко и разнообразно было экспансивное участіе его в общественной жизни Россіи. Автор манифеста о рожденіи и программѣ россійской Соціал-Демократической Партіи, редактор либерально-буржуазнаго нелегальнаго Освобожденія, создатель цѣлаго ряда недолговѣчных газет, организатор несостоявшейся банковской газеты, во время революціи директор департамента при Милюковѣ, в бѣженствѣ неудачно претендовавшій на руководительство правым флангом на позиціях «непріятія революціи». Впервые я услышал о нем вскорѣ послѣ переѣзда в Петербург от К. К. Арсеньева — у него бывали литературныя собранія, на которых выступали с докладами «маститые» — Кони, Случевскій, Вл. Соловьев и др. Среди них однажды появился совсѣм юный студент С.-Петерб. Университета, прочел доклад, если память мнѣ не измѣняет, о «Бурѣ» Шекспира и произвел настоящій фурор. Сдержанный Арсеньев с восторгом разсказывал мнѣ о блестящих способностях Струве и его изумительной эрудиціи. Но он всегда читал по рукописи, без нея в публичных выступленіях производил впечатлѣніе безпомощности, которую энергично подчеркивал рѣзкими модуляціями голоса и суетливо растерянными, словно ищущими помощи жестами обѣих рук, как будто сам с собой борется, не столько других, сколько самаго себя убѣдить хочет. Увидѣл я его впервые на банкетѣ в честь Михайловскаго торжественно входящим в сопровожденіи почтительной свиты, и вся его нескладная фигура с русой, почти рыжей бородой и очень красивым высоким лбом пронизана была напряженностью, которая, впрочем, вполнѣ объяснялась предстоящим состязаніем между марксистами и народниками. Дебют марксистов в періодической прессѣ оказался весьма неудачным — в основанный ими ежемѣсячный журнал Начало затесался нѣкто Гурович, впослѣдствіи разоблаченный, как агент Департамента Полиціи. Из за полицейских преслѣдованій Струве уѣхал заграницу и на нѣсколько лѣт исчез с петербургскаго горизонта, но пріобрѣл широкую популярность, как редактор Освобожденія, на котором замѣтно отражалась экспансивность мысли редактора, вызывавшая оговорки и поправки в послѣдующих номерах. Поправки обычно вносились Милюковым за подписью -сс- и уже с того времени и зародилась идейная непріязнь меж-

ду ними. Вернувшись в Петербург послѣ манифеста 17 Октября, Струве сталъ членом к. д. партіи и, хотя и был сотрудником Рѣчи, нѣсколько раз пытался создать конкуррентный ей орган («Дума», «Страна», «Слово»), обходя Рѣчь справа, но всѣ эти газеты долголѣтіем похвастать не могли. В Гос. Думѣ Струве видной роли не играл, а послѣ ея роспуска, сопряженнаго с окончательным разгромом революціи и разочарованіем в освободительном движеніи, возвѣстил необходимость смѣнить вѣхи, под заглавіем «Вѣхи» и вышел надѣлавшій много шуму сборник статей разных авторов, направленный против матеріализма и позитивизма. Став премьером, гр. Коковцев так был увѣрен в своей непогрѣшимости, что оппозиція Рѣчи казалась ему «критикой ради критики», поэтому он задумал основать газету, которая довольствовалась бы «разумной, дѣловой критикой». Для этого он обратился к своему старому пріятелю Я. Утину, предсѣдателю правленія Учетнаго и Ссуднаго Банка, который привлек и нѣкоторые другіе банки в качествѣ участников издательства, а редактором избран был Струве, привлекшій, в свою очередь, ближайшими участниками редакціи В. Маклакова, М. Стаховича и Н. Львова, а помощником и замѣстителем пригласившій своего горячаго поклонника и друга А. С. Изгоева. Вѣрный и преданнѣйшій сотрудник Рѣчи, мой личный друг и человѣк очень строгих нравственных правил, Изгоев не мог устоять против призыва Струве, котораго он просто обожал, и однажды смущенно заявил мнѣ, что вынужден покинуть Рѣчь, так как обязан помочь Струве, неосвѣдомленному в техникѣ газетнаго дѣла. На вопрос, как рѣшается Струве взяться за редактированіе газеты, финансируемой банками, Изгоев, еще больше конфузясь, отвѣтил, что по мнѣнію Струве, — чтобы имѣть успѣх, газета должна быть поставлена тоже как капиталистическое предпріятіе. Между тѣм мин. вн. дѣл А. А. Макаров, Коковцеву обязанный своим назначеніем, узнав стороной об этой затѣѣ, написал Коковцеву язвительное письмо, что, дескать, дошли до него слухи о предстоящем выходѣ новой газеты под редакціей Струве, б. редактора нелегальнаго органа, выходившаго заграницей, причем слухи связывают, к его, Макарова, удивленію имя предсѣдателя совѣта министров с этим предпріятіем. Гр. Коковцев понял смысл предупредительнаго освѣдомленія своего министра и просил Утина ликвидировать начинаніе, а Изгоев, густо краснѣя, спросил, согласен ли я ликвидировать его отказ от сотрудничества в Рѣчи, на что я, конечно, горячо откликнулся и его сотрудничество безпрерывно продолжалось затѣм до закрытія газеты большевиками.

Февральскую революцію Струве пламенно «пріял» и получил назначеніе на пост директора департамента в министерствѣ ин. дѣл, а очутившись послѣ октябрьского переворота заграницей, принял активное участіе в бѣлом движеніи, когда оно находилось уже при послѣднем издыханіи. Врангель назначил его при себѣ министром ин. дѣл и Струве пояснял, что его задача состоит в том, чтобы «дѣлать правыми руками лѣвую политику». Конечно, успѣха не могло имѣть такое покушеніе с негодными средствами на исконную монополію капризной старушки Исторіи. Гетерогенія цѣлей — подмѣна или перемѣщеніе поставленной себѣ госуд. дѣятелями задачи — это

искусство составляет ея великую тайну, которой она ни с каким Маккіавели дѣлиться не станет, а дерзкую попытку наивнаго подражателя превратит в конфуз и нескладицу. Правыми руками можно дѣлать правую, лѣвыми — лѣвую политику, а уж что получится — это как старушкѣ угодно будет. Если же своевольничать и пытаться дѣлать чужое дѣло, она непремѣнно разгнѣвается, только кавардак и выйдет. Так и было в данном случаѣ: лѣвая политика не удалась, но зато правизна самаго Струве укрѣпилась. Послѣ провала бѣлаго движенія Милюков, принимавшій активное участіе в момент его подъема, спѣшно поставил на нем крест, а, в противовѣс его газетѣ Послѣднія Новости, группы, продолжавшія расчитывать на вооруженную борьбу с совѣтской властью, основали, с помощью милліонера нефтяника Гукасова, вторую газету в Парижѣ Возрожденіе, во главѣ которой и стал Струве, с тѣх пор упрямо закрывшій глаза на тот непріятный факт, что революція, сорвавшаяся в 1906 г., теперь окончательно побѣдила. Отдав цѣликом авторитет своего имени на организацію этих групп, Струве затѣм грубо удален был из редакціи, когда его работа была выполнена. Это случилось вторично — в первый раз такую же услугу он оказал в Петербургѣ Биржевым Вѣдомостям, в которых интеллигенція избѣгала участвовать. Струве согласился на постоянное сотрудничество, а когда его инициатива соблазнила других, и таким образом цѣль была достигнута, инициатору была пріуготовлена судьба мавра. Струве пытался на всякіе лады вступить в борьбу с Возрожденіем, основать другую газету, но безуспѣшно, а в Бѣлградѣ, гдѣ он затѣм получил университетскую кафедру, мѣстная эмиграція, сосредоточившая наиболѣе реакціонные элементы, снова напомнила ему «либеральныя заблужденія», устраивала скандалы на лекціях и он потерял всякое самообладаніе. На собраніи памяти только что умершаго А. И. Гучкова он выступил, чтобы вбить осиновый кол в свѣжую могилу покойнаго, совершившаго «роковую ошибку» занятіем поста военнаго министра Временнаго Правительства, вмѣсто того чтобы никаких компромиссов с революціей не заключать, а искоренять ее, не останавливаясь и перед тѣм, чтобы ударить по Временному Правительству. Если для такого безудержнаго выступленія момент был выбран едва ли подходящій — de mortuis aut bene aut nihil, — то вѣдь Струве и себя не пощадил: каково ему вспоминать, что сам он служил Вр. Правительству на видном посту директора департамента Мин. Ин. Дѣл! И все таки друзья Струве и многочисленные поклонники из бывших учеников настаивают, что при всѣх видимых измѣненіях он духовно остается самим собою.

Большую отраду, в особенности теперь, доставляет воспоминаніе о С. Н. Булгаковѣ, с которым я познакомился в 1904 г. в Кіевѣ и сразу проникся горячей симпатіей к его привлекательной внѣшности, гармонировавшей съ вдумчивой рѣчью и чутким вниманіем к собесѣднику, было в нем что-то благостное, мягкое, всепрощающее. Он тоже принадлежал к окруженію Струве, перешел «от марксизма к идеализму» (так и назывался сборник его статей), и я нисколько не удивился, узнав, что он принял священство и сейчас на этом поприщѣ дѣятельно работает в Парижѣ. В эмиграціи такое явленіе

перестало быть рѣдкостью, но, к сожалѣнію, вмѣстѣ с тѣм, утратило свой глубокій смысл, а порой граничит даже с кощунством, объясняясь элементарно-житейскими побужденіями. Мнѣ, невѣрующему и вяло тоскующему по Градѣ Нездѣшием, переходы от марксизма к священству представляются непостижимыми и потому возбуждают предвзятую недовѣрчивость. Но если, в том или другом случаѣ, сомнѣнія удается разсѣять, то освобожденная от них непостижимость естественно вызывает глубокое почтеніе, заставляет благоговѣть. Таково мое отношеніе к о. Іоанну Шаховскому, для котораго «учительство» — дѣйствительно есть горѣніе и излученіе правды, а о. Сергій Булгаков тѣм болѣе дорог, что посчастливилось наблюдать шествіе его по пути, приведшему к священству, что такой конец я предугадывал, что у него перемѣна взглядов была именно кризисом міросозерцанія, становленіем на новый путь, а не суетливым переходом на новую позицію, вродѣ бабочки, беззаботно перелетающей с цвѣтка на цвѣток в поисках меда. В наших засѣданіях Булгаков всегда являлся умиротворяющим началом, к нему за этим и обращались в острые моменты.

Во II Думѣ начал парламентскую дѣятельность А. И. Шингарев, совсѣм молодой земскій врач с очень пріятным, милым лицом и добрыми глазами, тогда очень скромный и застѣнчивый. Как долголѣтнему представителю «третьяго элемента», ему легче было найти общій язык с депутатами крестьянами, они вообще относились к нам, горожанам, недовѣрчиво, оставались себѣ на умѣ и Шингарев не раз успѣшно содѣйствовал преодолѣнію недовѣрія. Избранный затѣм в III и IV Думу он, по мѣрѣ умаленія фракціи в числѣ и качествѣ (за отказом многих профессоров от политической дѣятельности), занимал все болѣе видное мѣсто и во время войны стоял уже рядом с Милюковым, от котораго весьма далеко отступал по умственному развитію и разносторонности образованія, и вслѣдствіе этого в значительной мѣрѣ утратил свои плѣнительныя качества душевной искренности, притязательно относился к признанію общественным мнѣніем его позиціи и, послѣ краткаго пребыванія в началѣ революціи на постах министра земледѣлія и финансов, воспринял свою отставку, как кровную обиду. Страшна была смерть его: заточенный большевиками, вмѣстѣ с Кокошкиным, кн. Павлом Долгоруковым и др. в Петропавловскую крѣпость, он в дневникѣ своем записал между прочим, что, как ни ужасно происходящее вокруг, он не задумался бы, завѣдомо идя этому навстрѣчу, начать сначала тоже самое. А когда через нѣсколько дней в больничную палату, куда он был перевезен, ворвались озвѣрѣвшіе матросы — краса и гордость революціи — он еще надѣялся остановить занесенную руку убійц возгласом: «Что вы дѣлаете, братцы!», убѣжденный, что дѣйствуют они по недоразумѣнію.

Если І-ая Дума формально распущена была вполнѣ конституціонно, то роспуск ІІ-ой сопровождался вызывающим нарушеніем основных законов — без участія народнаго представительства, высочайшим указом было издано новое положеніе о выборах, опубликованіе коего одновременно с роспуском подтверждало, что он был давно предрѣшен. В упомянутых уже показаніях (и в данном случаѣ разнящихся от «Воспоминаній» его, изданных

уже в бѣженствѣ, гр. Коковцев утверждал, что разработка новаго избирательнаго закона началась еще до открытія Думы, как только выяснились результаты выборов. Тѣм не менѣе при втором роспускѣ и не подымался вопрос об оказаніи какого-либо сопротивленія: одни, понурив голову, разошлись по домам, другіе, утратив депутатскую неприкосновенность, поспѣшили укрыться, небольшой остаток с.-д. фракціи во главѣ с Церетели был препровожден в тюрьму и оттуда на каторгу, гдѣ их и застала вторая революція. Совсѣм равнодушно встрѣтило роспуск общественное мнѣніе, оно давно уже разувѣрилось в престижѣ и авторитетности Думы и не в состояніи было безоговорочно отвергать упреки по адресу народнаго представительства, содержавшіяся в манифестѣ о роспускѣ, и с своей стороны не могло бы с искренним убѣжденіем предложить другой выход, без нарушенія закона.

В связи с этим оказался эфемерным и успѣх кадетской партіи, в которой видѣли стержень народнаго представительства, и на партію посыпались со всѣх сторон нападки и обвиненія, от которых Рѣчи приходилось настойчиво отбиваться. Всѣ журналы и газеты, как справа, так и слѣва, посвящали свои политическія статьи и обозрѣнія безпощадной критикѣ кадетской тактики и всю отвѣтственность складывали на Милюкова, в него направлялись всѣ стрѣлы. Это было и справедливо и несправедливо. Несправедливо, поскольку, за время II Думы, Милюков большей частью отсутствовал из Петербурга и фракція могла проявлять себя непосредственнѣе, да и он сам тогда еще прислушивался и считался с тѣм, что кругом него в засѣданіях говорится, и замѣнял собственное мнѣніе алгебраическими выкладками и нахожденіем общаго множителя во всем, терпѣливо выслушанном. Но в существѣ своем нападки были вполнѣ понятны, поскольку смутно чувствовалось, что значеніе партіи не в этом вынесенном за скобки общем множителѣ, а именно в том живом разнообразіи, которое осталось в скобках и составляет движущую силу, душу ея.

Разочарованіе в кадетах и в частности остро враждебное отношеніе к Милюкову не могло не отразиться на положеніи Рѣчи. Тираж газеты, бурно поднимавшійся в теченіе перваго года существованія, стал быстро падать. Я чувствовал себя очень виноватым и сконфуженным, когда издатель приходил и горько жаловался, что велит печатать 20.000 экземпляров, потому что стыдно же печатать меньше, но это лишь безсмысленная порча бумаги, ибо фактически расходится не больше 17.000. Однако, бороться с этим в острый момент политическаго декаданса было невозможно, хотя формально Рѣчь была совершенно независима от партіи и издавалась на средства Бака, для котораго коммерческій расчет стоял не на послѣднем планѣ, а идейный интерес сосредоточивался на противодѣйствіи гнусному антисемитизму Новаго Времени. Но Милюкова и мое руководство газетой накладывало на нее партійный штемпель, и ей приходилось расплачиваться за неудачу партіи. А к этому еще присоединялось паденіе в обществѣ политических и духовных интересов вообще, начинался политическій маразм и моральное разложеніе. Нѣкоторое оживленіе внес к концу года суд над 169 депутатами,

подписавшими Выборгское воззваніе. Не было ни малѣйшей фальши и никакого преувеличенія в сказанных Муромцевым на судѣ словах: «В декабрьскіе дни 1907 г. коренные судьи и представители сословной совѣсти судили первую государственную Думу. Идея Госуд. Думы только ожила, благодаря тому, что это дѣло было поставлено на суд. И спасибо тѣм, кто поставил этот процесс, за то, что в настоящіе тяжелые дни он открыл возможность с такой яркостью оживить в общественном сознаніи идею Первой Государственной Думы». Постановка процесса была весьма тщательно продумана и обсуждена в центральном комитетѣ и в совѣщаніях подсудимых к. д. с защитниками, тоже членами партіи: все было расчитано, чтобы процесс пріобрѣл серьезное политическое значеніе, и инсценировка его удалась дѣйствительно на славу. Когда во время предварительнаго опроса подсудимых об их званіи, лѣтах и т. д. предсѣдатель назвал фамилію Муромцева, вмѣстѣ с ним, для засвидѣтельствованія б. предсѣдателю почтенія, поднялись всѣ подсудимые. И эта сцена, отлично помню, произвела на всѣх, быть может больше всего на судей, сильнѣйшее впечатлѣніе, опредѣлившее весь дальнѣйшій ход процесса. К судебному залу приковано было вниманіе всей интеллигентной Россіи и мнѣ казалось, что нѣкоторые подсудимые переживают такой же подъем, как в день 27 Апрѣля—в залѣ отчетливо слышался отзвук того невозвратнаго историческаго дня. Думаю, что больше всего импонировала простота и искренность рѣчей подсудимых, мнѣ лично очень понравилась рѣчь Набокова, в которой он прямо заявил, что положеніе депутатов было безвыходным: «если бы в Выборгѣ нашелся человѣк, который указал бы нам, что мы должны дѣлать, а не говорил только о том, чего мы не должны дѣлать, указал бы нам иной положительный путь, по которому мы должны итти для спасенія народнаго представительства, о! тогда мы объединились бы еще с большим жаром и единодушіем, может быть, всѣ соединились бы, как братья вокруг этого новаго лозунга. Мы же имѣли только тот лозунг, который нашли». Это в полной мѣрѣ отвѣчало дѣйствительности и на лицах судей можно было прочесть, что и они это сознают и ощущают неловкость своего положенія. Прославившійся придирчивостью и раздражительностью старшій предсѣдатель палаты Крашенинников на этот раз покорно выслушивал подсудимых и стал останавливать и перебивать «послѣднее слово» лишь тогда, когда с. д. Рамишвили воспользовался засѣданіем, чтобы произнести рѣзкую агитаціонную рѣчь. Но и тут еще проявил ангельское терпѣніе и, пригрозив, наконец, что «я опять и в послѣдній раз останавливаю вас», затѣм еще раз десять останавливал подсудимаго, которому и удалось договорить рѣчь до конца.

Интерес к процессу поддерживали не только Рѣчь и Право, посвящавшіе ему на ряду с подробными отчетами ряд статей, всесторонне анализировавших и ярко освѣщавших значеніе процесса, но и всѣ газеты оцѣнивали его, как крупнѣйшее политическое событіе. Тѣм больше неблагожелательнаго вниманія привлекло отсутствіе Милюкова: он уѣхал из Петербурга наканунѣ перваго засѣданія суда, несмотря на настойчивыя просьбы и уговоры, обращенныя к нему по настояніям членов ЦК. Один из подсудимых,

уже упомянутый проф. Е. Н. Щепкин даже прямо намекнул на отсутствіе Милюкова, в своей рѣчи на судѣ, сказав: «Вѣдь вы, господа судьи, ничего не знаете. Вы даже не знаете, кто из нас подписал воззваніе. Мнѣ извѣстно, что среди подсудимых есть лицо, чья подпись не стоит под воззваніем. Вы не знаете и того, кто составил воззваніе. Быть может, что составитель теперь уже далеко отсюда, гдѣ-нибудь в Парижѣ, или еще дальше, быть может они уже за океаном. Вы этого совсѣм не знаете».

Выборгскій процесс состоялся уже в то время, как засѣдала III Дума, в которую наконец Милюков избран был депутатом. Непосредственно перед ея открытіем созван был съѣзд партіи к. д. Опять пришлось обращаться к финляндским друзьям, почему то было отведено нам, хотя и очень хорошее, но столь же холодное помѣщеніе и помню, как я весь дрожал, дѣлая доклад о работѣ фракціи во II Думѣ, вызвавшій горячее одобреніе Милюкова. Но мыслями он теперь был уже в Таврическом Дворцѣ и занятія съѣзда комкались, нѣкоторые члены были явно недовольны и просили на него воздѣйствовать, чтобы продолжить занятія хотя бы еще на один день. Милюков рѣзко воспротивился, когда я сообщил ему об этом желаніи. «Вот еще что, стану я тут тратить время на выслушиваніе краснорѣчія, а вѣдь там меня ожидает Гучков для переговоров» и совсѣм разсердился, когда, изумленный таким игнорированіем обстановки, я замѣтил, что уж на это то расчитывать едва ли можно. А я еще далеко отстал от дѣйствительности, ибо Милюков дождался не переговоров, а внушительной демонстраціи: во время его рѣчи правая часть Думы во главѣ с Гучковым покинула зал и, за отсутствіем кворума, на неоконченной фразѣ, засѣданіе было закрыто. А еще через мѣсяц другой Гучков, придравшись к двусмысленному слову, вызвал Милюкова на дуэль, предотвращенную с помощью друзей принесенным Милюковым извиненіем. Вообще, став депутатом, Милюков не сразу умѣл оріентироваться в окружающих условіях — как в крупном, так и в мелочах. Этому большому человѣку недоставало только маленькой изюминки, вызывающей броженіе и искрометность, он не мог дать квасу, которому, по слову Христа, подобно Царство Божіе, а лишь прѣсную стерилизованную воду. Изюминку ему замѣняла безстрастная логика отвлеченной мысли, выхолащивающая всякую порывистость, невѣсомыя подсознательныя устремленія. Оставаясь историком, он настоящее воспринимал, как пушкинскій Пимен переживал прошлое.

Лично мнѣ III Дума принесла большія перемѣны. Хотя, как депутат, я играл не послѣднюю роль, а быть может именно потому, что проявлял излишнюю активность, — в III Думу ЦК не выставил меня кандидатом. Насколько могу теперь вспомнить, было много причин не огорчаться этим. Всѣ близкіе и пріятные мнѣ люди — отчасти вынужденно, как осужденные за Выборгское воззваніе, — отчасти же и добровольно отошли от политической дѣятельности и вернулись к своим занятіям. Меня тянуло послѣдовать их примѣру и посвятить всѣ силы Рѣчи. К этому склоняло и состояніе здоровья — припадки сердцебіенія все учащались и пугали ощущеніем смерти, а тогда еще страстно хотѣлось жить. Теперь, вступив в восьмой десяток, я

не могу сомнѣваться, что сердце было вполнѣ здорово, а припадки объяснялись игрой гипертрофированнаго воображенія, вызывавшаго внезапное сжатіе кровеносных сосудов, и боязнь припадков очевидно должна была способствовать их учащенію и обостренію. Любопытно, что чаще всего они наступали в предвкушеніи не тяжелых, а радостных переживаній. Высшим наслажденіем было слушать Шаляпина в Борисѣ Годуновѣ — это сочетаніе трех подлинно русских геніев: Пушкина, Мусоргскаго и Шаляпина, заставляло трепетать от счастья, и не раз бывало, что перед выходом великаго артиста нетерпѣніе увидѣть его царственный жест, услышать неповторимый прекрасный тембр зачаровывающаго голоса мгновенно разрѣшалось удушающим сердцебіеніем и, совершенно разбитый, я со стыдом перед своей боязнью тотчас же убѣгал из театра. Не было минуты, за которую я мог бы поручиться, что припадок не схватит, и в таком неустойчивом состояніи нести обузу депутатства, конечно, было мало привлекательно. Еще меньше улыбалась перспектива очутиться среди большинства из правых, которые будут чувствовать себя побѣдителями, а сомнѣваться в этом, послѣ радикальнаго измѣненія избирательнаго закона, не приходилось. Уже и во II Думѣ правые отравляли существованіе. Признаюсь, что относился к ним со страстной ненавистью и нетерпимостью, но не потому, что не способен с уваженіем воспринимать чужое, с моим несогласное мнѣніе, скорѣе — по скептической натурѣ — грѣшу в обратную сторону, но уже тогда разоблаченіями Рѣчи было безспорно установлено, что все это наймиты правительства, купленные им рейтскнехты и клакеры. Словесное состязаніе с ними представлялось дурацкой нелѣпостью, насмѣшкой над самим собою и вызывало непреодолимое отвращеніе. Конечно, нужно было помнить, что говоришь не для них, что с думской трибуны голос разносится по всей Россіи — так часто слова эти повторялись в рѣчах депутатов, что выродились в безсодержательную банальность, — но меня всецѣло приковывают слушатели, которых я вижу перед собою, и язык прилипает к гортани, когда их лица отвѣчают каменным безразличіем или тѣм болѣе, упрямой предвзятостью. Признаюсь и в том, что со времени роспуска II Думы я не рѣшался переступить порог Таврическаго Дворца, чтобы не вызвать острой боли напоминаніем о душевных муках за сто дней пребыванія в ней.

Важнѣе же всего было общее разочарованіе в политической дѣятельности, вызванное ознакомленіем с ея кулисами, лучше сказать — с кухней, гдѣ стряпались политическія блюда. Тут то мнѣ и приходилось чаще всего слышать от друзей упреки в наивности, в непониманіи шахматных ходов — не политических противников, а именно соратников по партіи, и неумѣньѣ их отражать. Настоящим maître de cuisine нашей партіи был М. Винавер. Вернусь еще раз к Выборгскому процессу: среди обвиняемых Набоков находился в особом положеніи, ибо на нем тяготѣло еще другое обвиненіе — тоже по грозной 129 ст., и можно было опасаться, что, в виду уже упомянутаго враждебнаго отношенія к нему, его выдѣлят из рядов подсудимых и приговорят к болѣе тяжкому наказанію. Поэтому Каминка и я убѣдили его пригласить особаго защитника, независимо от общей защиты всѣх обвиняемых

к. д., организаціей коей завѣдывал Винавер. Набоков согласился с нами и условился с Грузенбергом, которому и выдал довѣренность. Но Винавер, узнав об этом и соревнуя с Грузенбергом в жаждѣ славы, рѣшительно воспротивился допущенію своего противника до участія в столь громком процессѣ, донимал Муромцева и Петрункевича, и я так и до сих пор не понимаю, как ему удалось добиться, чтобы Н. совершил некорректность, отняв у Грузенберга довѣренность. Приведу нарочито другой, еще болѣе мелкій штрих из времен бѣженства, когда мнѣ довелось, к сожалѣнію, вновь вернуться к «политической дѣятельности». Мнѣ поручено было составить не то какое то патетическое воззваніе, не то проект такой же телеграммы на имя Клемансо или другого вершителя судеб. Перед засѣданіем, в котором я должен был проект свой огласить, подошел один из участников и огорошил меня предложеніем: «Я буду голосовать за ваш проект, если вы обѣщаете поддержать предложеніе, которое я сегодня внесу». Он даже не счел нужным познакомить меня с сущностью своего предложенія и сам не знал содержанія моего текста. В бѣженских условіях мы уж ничѣм не гнушались, но по существу политическая стряпня без такой приправы не обходилась уже и в то время возвышенных стремленій и чистых побужденій. Участвовать в этой стряпнѣ становилось в высокой степени противно — может быть просто потому, что сам я, если бы и хотѣл, не сумѣл бы правильно и осторожно такія приправы дозировать и попадал бы впросак.

Всѣ эти соображенія и давали возможность спокойно отнестись к невозобновленію моей кандидатуры и не дѣлать из этого никаких выводов. Но однажды Каминка, не помню в какой связи, сказал мнѣ, что если ЦК так несправедливо относится ко мнѣ и не цѣнит того, что я для партіи сдѣлал, то нужно соотвѣтственно и поступать. Теперь не могу возстановить точных выраженій, но помню, что я их невольно воспринял словами Пушкина: «Душевных наших мук не стоит мір, оставим заблужденья!» А так как Каминка, вообще заботливо дружески преданный, всегда напротив старался умѣрить вспышки обиды и раздраженія, то из его неожиданнаго предупрежденія я не мог не заключить, что против меня в ЦК сплелась интрига, с которой Каминка тщетно боролся.

Я уже упоминал, что эти строки пишу у него же в гостях, на дачѣ под Ригой, в старом запущенном помѣщичьем домѣ. На огромной терассѣ так нѣжно ворчит самовар, привѣтствующій легким пріятным угарцем, перед глазами врытый в землю ледник с почернѣвшей крышей, работаю в заброшенном поросшем бурьяном паркѣ, ѣзжу на станцію в тряском тарантасѣ, и из за спины кучера то справа, то слѣва показывается исчезнувшая из памяти дуга. Пыльная дорога капризно вьется среди сжатых, пересѣченных холмистыми манящими к себѣ перелѣсками, полей, а на станціи, вопросительно одиноко торчащей, лѣнивая тишина, даже и мух усыпляющая, и всѣ удивленно на незнакомца глазѣют, недоумѣвая, зачѣм он поколебал стойкое однообразіе. А потом, долгими расплывающимися часами я сижу у моря, хоть и не моего ненагляднаго Чернаго моря: ни души кругом, мы с ним наединѣ и оно шлет мнѣ одну за другой, одну за другой, так ласково рокочущія вол-

ки, как будто для того, чтобы мнѣ что-то принести оттуда, из за этого зовущаго горизонта, что-то шепнуть, напомнить, примирить. Я наклоняюсь вперед, чтобы успѣть разслышать их говор, прежде чѣм с жалобным стоном они расплеснутся у ног исчезающей пѣной. Да, я слышу, мнѣ легко понять невнятный говор их, потому что сейчас это и мои мысли, потому что прошлое ярко встало перед глазами, вновь стало настоящим, властно вытѣснило все, что назойливо вклинилось. Из глубины сознанія глухо доносится: это старческое слабодушіе, не отрекайся ни от одной іоты! И я силюсь, но волны настойчивы, одна набѣгает на другую и всѣ шепчут одно и то же, одно и то же: а было ли что-нибудь между тѣм и этим, да если и было, чѣм оно кончилось. Выброс все это, оно ненужно, не о нем в смертный час вспомнишь, а нас призовешь словами свѣтлой юности, которыя и сейчас уже сверлят мозг:

Умереть я хотѣл бы у моря... На берег отлогій
Принесите меня, помогите мнѣ сѣсть на песок
И уйдите... На сердцѣ утихнут былыя тревоги
И лицо мое влажным крылом опахнет вѣтерок!
Нѣт безумнаго страха, тоски безнадежной во взорѣ.
Жизнь и смерть — это море и небо, они предо мной:
Тихо спящее небо и шумно мятежное море
И туманная, тайная вѣчность за гранью земной

. .

Пали бренныя цѣпи, тяжелыя цѣпи земли,
Кто то шепчет: свобода, свобода!

Как нарочно, Каминка так основательно забыл о сдѣланном мнѣ предупрежденіи, упрямо отрицает весь эпизод и хочет увѣрить, будто его и не было. А вѣдь он так кстати в то время случился, так совпал с тогдашним настроеніем, так отчетливо оформил и укрѣпил его и так рѣзко повернул линію поведенія и душевное состояніе.



НА ПУТИ К КАТАСТРОФѢ.

(1909—1913).

Рижскія видѣнія обошлись мнѣ недешево, они взбудоражили и замутили ровно несущуюся рѣку воспоминаній, в которую я с головой погрузился. Я вернулся — увы! не во свояси, а назад на свою чужбину, — и здѣсь стал проходить день за днем, недѣля за недѣлей, подолгу сиживал я за пишущей машинкой, но и строчки не удавалось отстукать. В головѣ царила нелѣпая сумятица. Заглушая ощущеніе надвигающагося конца, назойливо, как осенняя муха, жужжала в мозгу мысль, что нужно начинать сначала, и, совсѣм как пушкинская Татьяна, я не знал, с чего начать. Мнѣ вѣдь не на шутку померещилось, что, кромѣ того, что вдруг теперь привидѣлось, ничего больше в прошлом и не было, что разсказывать больше не о чем. Не во время посѣтило меня далекое прошлое. Если бы встрѣтиться с этими видѣніями, когда я и сам витал в воспоминаніях о дѣтствѣ и юности, они расправили бы ссохшіяся, как оторванная, вложенная в книгу вѣтка, впечатлѣнія, расцвѣтили бы осенним багрянцом и оживили упоительным ароматом, а они вихрем налетѣли на испепеляющіе годы и осѣвшій пепел развѣяли. Быть может, впрочем, мнѣ и удалось бы воздвигнуть перед их натиском преграду сознанія, если бы по ночам они не превращались в волшебныя сновидѣнія. Меня будил рано утром громкій фабричный гудок, он лишал сладостной дремы, молніеносно перенося из потусторонняго міра в юдоль земную, ночное марево сразу разсѣевалось, словно его и не бывало, но в теченіе дня какой-нибудь случайный звук, скрип, запах, слово, любая мелочь неожиданно заставляли замирать и отстраняться от окружающаго, как от постылой помѣхи: а вѣдь я что-то такое позабыл, что-то произошло со мной. Гдѣ, когда? И с трудом возстановлялись дразнящіе обрывки сновидѣнія, вызывавшія безплодное раздраженіе мысли и чувств.

А быть может, причина якобы неожиданнаго обезсилѣнія лежит не в видѣніях и сновидѣніях, а в реальной хотя и безслѣдно исчезнувшей дѣйствительности. Друг мой и соратник А. И. Каминка остался недоволен чтеніем послѣдних глав. Это еще с полбѣды, я и сам вижу и чувствую, что ровныя строки, насыщенныя громкими словами, не дают надлежащаго предста-

вленія о неповторимо ярких особенностях тѣх, вихрем промчавшихся годов. Утѣшаюсь тѣм, что, по новѣйшим физическим теоріям, и наблюденія над макрокосмом и микрокосмом заранѣе обречены на неточные результаты, ибо, как бы безупречны ни были безстрастность и добросовѣстность наблюдателя, само по себѣ присутствіе его является фактором, вносящим относительность в итоги наблюденій. А вѣдь я не был наблюдателем, а участником, и притом с неограниченной отвѣтственностью, на карту ставилось душевное состояніе, отвѣчать нужно было всѣм своим я. В голову не приходило, что погруженіе в воспоминанія о пронесшихся бурях может вызвать острыя болѣзненныя ощущенія, а вѣдь это так понятно и естественно. Тогда увлекал пафос борьбы и вѣра в побѣду, теперь я стоял среди минувшаго со связанными руками, отчетливо видя, как мы катимся к неизбѣжному тяжкому пораженію.

«Да, говорит мой друг, — в обозначеніи главы стоит слово «Право», но вы разсказываете только об его рожденіи, потом оно лишь мелькает на волнах общественнаго движенія!» Я заслужил этот упрек неблагодарной памяти: Право заполонило тогда всю жизнь, мы жили от четверга до четверга и сходились на редакціонное засѣданіе, как ребята на праздник, а встрѣчаясь между четвергами, только о Правѣ говорили, так что жены придумали варіант дѣтской игры и завели копилку, в которую каждый должен был опускать десятикопѣечную монету за произнесеніе магическаго слова. Чѣм бы мы ни были отвлечены, на чем бы ни останавливались, все равно — ни на минуту не забывали, что это только так, между прочим, а дома мы у себя, на высокой горѣ, на которой стоит наш алтарь.

Да, так оно и было, и мог ли я об этом забыть? Но как бы сказать понятнѣй: не будет ли слишком претенціозным сравненіе с мірским послушаніем? Именно Право и посылало нас в мір на тяжелую отвѣтственную работу и все, что мы дѣлали, было от его имени и во имя его, именем Права я только и мог предложить Набокову вернуться из заграницы в Петербург, и печать Права на письмѣ устраняла всякія колебанія. Поэтому дыханіе Права должно чувствоваться на каждой страницѣ, посвященной общественному движенію: удалось ли мнѣ дать это почувствовать?

Выставив лозунг законности и правопорядка, Право дало мощный толчок общественному движенію и постепенно так с ним переплелось, что обособить, отдѣлить одно от другого невозможно. Но вслѣдствіе такого положенія нашей цитадели, пораженіе, нанесенное общественному движенію, наиболѣе чувствительно испытывалось Правом, не говоря уже о Рѣчи. И нужно самому себѣ признаться — нѣт, не видѣнія и сновидѣнія замутили мѣрно журчавшій ручей воспоминаній, скажи просто и честно: мы потерпѣли пораженіе, тяжкое и неожиданное — побѣда уже совсѣм была в руках — и непріятно к этим мрачным годам возвращаться, память упорно бѣжит от них. А это значит, что пораженіе надо умѣть нести, а до этого ты и недорос! Может быть, может быть! Вспоминаю, что когда в Сердоболѣ я приступил к записи воспоминаній, прежде всего поспѣшил занести на бумагу тѣ

главы, которыя трубили о побѣдах. Это так. Но вспоминаю и то, что в свое время побѣда также плохо радовала, не давала удовлетворенія, вдохновляла только борьба. Что же это значит? Борьба ради борьбы, а не для достиженія цѣли! Боже, оставь истину себѣ, а мнѣ дай лишь силу искать ее?

А пораженіе было дѣйствительно тяжкое. Нельзя, правда, жаловаться, что мы оказались у разбитаго корыта. Нѣт, народное представительство все же сохранилось и, как Рѣчь писала, «Дума пустила глубокіе корни», а сорвавшаяся у Коковцева фраза: «У нас, слава Богу, нѣт парламента!» квалифицирована была, как неудачная, даже и беззаботно относившимся к юридическим тонкостям предсѣдателем III Думы, и несмотря на малочисленность фракціи нашей, Милюков, Маклаков, Шингарев, Пергамент, Кутлер, совсѣм молодой адвокат Аджемов, быстро оперившійся во II Думѣ и теперь ставшій блестящим дебатером — они сумѣли сохранить за фракціей авторитет и заставить, чѣм дальше, тѣм все больше, с ней считаться. Отчетливо об этом свидѣтельствуют воспоминанія гр. Коковцева, который только об этих противниках своих и говорит. Но тяжесть пораженія заключалась в потерѣ арміи, обывательскія массы утратили интерес к политической борьбѣ и отошли от нас. А так как почва под ногами еще далеко не устоялась, и власть усиленно ее колебала, то разбуженное и взбудораженное политикой общество не могло уже вернуться к прежнему, себѣдовлѣющему в семейных кельях быту — день да ночь, сутки прочь! Нужна была улица, толпа, недоставало острых впечатлѣній, которыя заглушали бы испытанное разочарованіе, и людской поток устремился в Скетинг- Ринки, в порнографію, в пинкертоновщину. Потребность эта была так настоятельна, что перед соблазном дать ей удовлетвореніе не могли устоять и видные представители безпорочной русской литературы, теперь избравшей себѣ прикрытіем лоскутья вчерашних политических знамен. Талантливый педагог, руководитель Тенишевскаго Училища А. Я. Острогорскій издавал мало распространенный, но безукоризненный журнал «Образованіе» с соціал-демократическим уклоном. Теперь журнал перешел в руки марксистов, с которыми соединились ревнители церковнаго обновленія из религіозно-философскаго общества, чтобы с задорным цинизмом разоблачать на страницах журнала сокровеннѣйшія тайны алькова. С этих же страниц взошла звѣзда беллетристической стряпухи, А Вербицкой, завоевавшей своими сентиментально пошленькими романами шумный успѣх, особенно в провинціи. Москва усердно состязалась с Петербургом и там героем для «романа-памфлета» послужил видный член ЦК нашей партіи, теперь благополучно осѣвшій в новой Москвѣ. Под видом научных изслѣдованій откликнулся на эту потребность крупный марксист Фриче, вообще знамена крайних направленій считались надежнѣйшим щитом для эротики. Но это и не была эротика, не было жажды любовных наслажденій, а лишь исканіе неизвѣданных, извращенных, болѣзненно острых ощущеній.

Снобизм, бравада не останавливались даже и перед игрой с самой жизнью, потому что бомбы, пули и казни сорвали таинственный покров со смерти и так мозолили ею глаза, что она становилась в потрясенном созна-

нія соперницей жизни, которая постепенно утрачивала свою устоявшуюся цѣнность. Само по себѣ спорадическое увеличеніе числа самоубійств явленіе не столь уже рѣдкое. В данном случаѣ показательно было, что люди, главным образом молодежь, налагали на себя руки не тайком от других, не в припадкѣ тоски от утраты сопротивляемости, а в экстазѣ возбужденія, демонстративно, непремѣнно на людях, в театрѣ, чтобы привлечь вниманіе, заставить говорить о себѣ хотя бы послѣ смерти, смысл коей ускользал от пораженнаго снобизмом сознанія. Самоубійство становилось цѣлью жизни, и Рѣчь отмѣчала учрежденіе в Петербургѣ и др. городах клубов самоубійц. Но как увлеченіе порнографіей не было жаждой наслажденій, так здѣсь не было вовсе taedium vitae, а хлесткость, фатовское, наигранное презрѣніе к жизни. Вот, дескать, вы, мѣщане, погрязшіе в рутинѣ, руками и ногами цѣпляетесь за жизнь, а мнѣ, аристократу духа, и на то, что вам кажется высшей цѣнностью, наплевать!

Неожиданную непредвидѣнную поддержку эти упадочныя настроенія получили в сборникѣ статей семи авторов, вышедшем под заглавіем «Вѣхи». Среди них было нѣсколько основателей «Союза Освобожденія» (Бердяев, Булгаков, Струве, Франк), был и ближайшій вѣрный сотрудник Рѣчи — Изгоев. Это был клич «Семи смиренных», как их иронически называли, к покаянію в интеллигентских грѣхах — позитивизмѣ, матеріализмѣ, безбожіи, интернаціонализмѣ, короче — это был первый открытый призыв к отреченію от стараго міра, от самих себя. Самым выдающимся по таланту и образованію среди авторов был М. И. Гершензон, который, еще десять лѣт спустя, под вліяніем, созданнаго войной и революціей, мірового хаоса, отрекся, в замѣчательной «Перепискѣ из двух углов», уже не только от стараго вѣка, но от «всего накопленнаго вѣками и закрѣпленнаго богатства постиженій, знаній и цѣнностей... Мы не тяготились пышными ризами, пока онѣ были цѣлы и красивы на нас и удобно облегали тѣло, а когда в эти годы онѣ изорвались и повисли клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь». Это признаніе могло служить весьма удачным эпиграфом для Вѣх, оно очень «удобно облегало тѣло» сборника. В предисловіи Гершензон признавался, что семь авторов, будучи людьми различных «вѣр и практических пожеланій», сошлись между собою для «общаго дѣла». Здѣсь же в Берлинѣ Франк, с которым мы как то вспоминали времена давно прошедшія, выразил ту же мысль гораздо красочнѣй: «Мы (авторы Вѣх) были в разных лагерях, но тут между нами очутилась интеллигенція и мы на нее со всѣх сторон обрушились». Совсѣм по богатырски размахнулся Струве, как бы нарочно для того, чтобы дать примѣр главнаго грѣха интеллигенціи — максимализма. В то время как Булгаков не забывает об ея героизмѣ и преклоняется перед ея мартирологом, Струве утверждает, что в 17 и 18 вѣкѣ революціи в Россіи дѣлались казачеством, которое было «носителем этого противогосударственнаго воровства», а когда потом казачество в революціонном смыслѣ сошло на нѣт, «его историческим преемником явилась интеллигенція». Успѣх Вѣх был ошеломительный, совершенно затмил удачу выпущенных мною на подъемѣ освободительнаго движенія земских сборников.

В теченіе четырех мѣсяцев вышло 5 изданій, не было ни одного періодическаго органа, который не отозвался бы на эту книгу, интеллигенція горячо защищалась, но два сборника, вступивших в бой с Вѣхами — «В защиту интеллигенціи» и «По вѣхам» — замѣтнаго впечатлѣнія не произвели.

Меня этот сборник сильно смутил, я впервые почувствовал, что нашему вѣку дѣйствительно приходит конец, что Вѣхи намѣчают лозунги будущаго, постепенно они и становятся теперь господствующими и пользуются защитой науки: естествознаніе переходит к метафизическому міровоззрѣнію. Но самому мнѣ никак нельзя было с такими еретическими мыслями открыто выступить, и я просил покладистаго Чуковскаго указать, что появленіе Вѣх заслуживает серьезнаго вниманія и вдумчивости, он и отмѣтил в своем фельетонѣ, что, «думать, что Вѣхи вот в этой бѣлой книжкѣ, а не в наших душах, и что достаточно опровергнуть и Вѣхи будут уничтожены с корнем, — какіе пустяки!» Но вмѣстѣ с тѣм нельзя было противодѣйствовать нападкам на Вѣхи, ибо, как бы ни цѣнить содержаніе сборника, появился он не во благовременіи. Что может быть неблагороднѣй, чѣм бить поверженнаго, лежачаго, тѣм болѣе, что на этом слишком усердно упражнялось правительство и фактически Вѣхи оказали ему существенную поддержку. Знаменательно было, что Струве удостоился привѣтствія от яраго реакціонера архіепископа Антонія, которому он отвѣчал сыновне почтительной благодарностью. Но еще больше волновало вредное вліяніе сборника в другом отношеніи: «Морализированіе и обличеніе, писал я, давно отвергается педагогіей, как пріем совсѣм негодный». Оно порождает притворство и лицемѣріе и Гершензону самому приходилось жаловаться на «молодых людей», в душѣ хулиганов, выдающих себя на единомышленников Вѣх.

В такой безотрадной обстановкѣ сосредоточеніе вниманія на Рѣчи явилось как нельзя болѣе своевременным. Нетрудно было понять, что газета нуждается в коренных реформах. О том, чтобы отказаться или даже ослабить политическую борьбу, и мысли не могло возникнуть, напротив — ее нужно было еще заострить. Эта задача цѣликом лежала на Милюковѣ и мнѣ, но мы понимали ее весьма различно. Я считал, что борьбу слѣдовало вести легко, весело, непринужденно, точно ничего не случилось, все у нас благополучно. Милюков все принимал одинаково всерьез и писал глубокомысленныя статьи, отпугивавшія читателя своими размѣрами. Как то фракціи націоналистов в Думѣ захотѣлось образовать новую партійную комбинацію, да еще под каким то — сейчас не вспомню — приторным названіем. Перетасовки и пересаживанія составляли яркую особенность III Думы и от извѣстной басни отличались тѣм, что крыловскіе музыканты наивно вѣрили в магическое вліяніе пересаживанія, а депутаты, посаженные в Думу правительством, искали в перегрупировках способа болѣе выгоднаго распредѣленія всякаго рода подачек. Теперь из цѣлаго ряда мемуаров, как найденных и опубликованных в Россіи, так и появившихся заграницей, это стало объективно безспорным, но и тогда не требовалось особой зоркости, чтобы разглядѣть сущность. Каково же было удивленіе, когда Милюков написал

статью, придававшую важное политическое значеніе такой сто первой мертворожденной затѣѣ. Пришлось звать на помощь Петрункевича и Набокова. Этот недостаток М. был изнанкой его завиднаго качества — духовной прямоты и честности; сам относясь серьезно к каждой изреченной мысли, весь проникнутый сознаніем, что слово обязывает, он склонен был к такой же презумпціи и по отношенію к высказываніям других и сколько раз приходилось его убѣждать «рѣчей не тратить по пустому».

Может быть, в этом направленіи я шел слишком далеко и злоупотреблял пріемом ироніи. Герцен утверждает, что « у людей истинно добродѣтельных ироніи нѣт», и Александр Блок варіировал ту же мысль на столбцах Рѣчи. Я с ними вполнѣ согласен и горько каюсь, что примѣнял иронію и в педагогических цѣлях к дѣтям своим, положительных результатов она не дала. Но в публицистической дѣятельности я никак не мог заставить себя серьезно и дѣловито опровергать противника, если не сомнѣвался, что он и сам сознает свою неправоту и словами лишь затемняет сущность. Это значило бы стучаться в открытую дверь, ставить себя в положеніе ridicule. Когда, например, Столыпин на три дня распустил законодательныя учрежденія, чтобы в этот промежуток провести в порядкѣ указа отвергнутый Гос. Совѣтом законопроект о введеніи земства в западных губерніях, было бы верхом наивности глубокомысленно доказывать явное нарушеніе буквы и духа конституціи. Если Щегловитов уронил правосудіе до явных подлогов, то проповѣдь законности и в самом дѣлѣ напоминала бы нравоученіе крыловскаго повара. Хотѣлось во всю глотку кричать караул и требовался Щедрин с его бичующей сатирой. Мнѣ, признаюсь, доставили удовлетвореніе слова Милюкова, что Гессен «старался поразить противника его собственным оружіем. Его словечки запоминались и составляли цѣлый публицистическій лексикон... Отравленныя ядом публицистическія стрѣлы его жалили больно». Но мнѣ эти стрѣлы не доставались даром, я так кипѣл негодованіем, так волновался, что часто приходилось прерывать работу и принимать лѣкарство. Напротив, каждому искреннему слову широко открывалась навстрѣчу душа, питавшая слабость к сентиментальному лиризму, и дорожил я не безчисленными полемическими статьями, появлявшимися без подписи, за полной подписью, за буквами: I. Г., I. Г. Сен., Г. С. Н., под псевдонимом Скептик и т. д., а немногими фельетонами, написанными не на злободневную тему, и бывал счастлив, если удавалось слышать их благожелательную оцѣнку.

В общем политическій отдѣл остался в прежнем видѣ, я старался лишь как можно больше сжать его и, главным образом, подвергнись сокращенію думскіе отчеты: исключеніе дѣлалось для изложенія рѣчей Милюкова, Маклакова, Шнигарева, Аджемова и нѣкоторых других депутатов нашей фракціи. Благодаря этому можно было расширить другіе отдѣлы, завести ежедневный фельетон, бывшій до того рѣдкостью, и откликаться на всѣ вопросы матеріальной и духовной жизни страны. Приведу список статей — обзоров, изготовлявшихся постоянными сотрудниками газеты для новогодняго

номера; внутренняя жизнь, обновленный строй, законодательныя теченія, госуд. дума, гос. совѣт, политическія партіи, экономическая жизнь, народное хозяйство, рабочее движеніе, рабочее законодательство, земельный вопрос, переселенческая кампанія, продовольственная кампанія, жел. дороги, военная жизнь, русская юстиція, церковные и вѣроисповѣдные вопросы, жизнь провинціи, народное здравіе, Украина, Сибирь, Польша, земское самоуправленіе, городское самоуправленіе, международныя отношенія, иностранная жизнь, ближній и дальній Восток, художественная жизнь, музыка, театр, русская литература, иностранная литература, завоеванія науки и техники, таблицы и діаграммы хозяйственной жизни и т. д. Позже эти обзоры издавались в видѣ пузатеньких книжек Ежегодник Рѣчи в 800 стр., которыя и теперь могут служить обстоятельным справочником.

Из старых соратников Права перекочевали в Рѣчь весьма немногіе: Милюков, Набоков, Каминка, Ганфман, Соколов, Д. Левин, широко образованный блестящій публицист, считавшій, что ему равнаго нѣт. Среди новых лиц, с которыми пришлось долгіе годы совмѣстно работать, выдѣлялся цѣлый ряд авторитетных имен: выдающійся ученый экономист М. И. Туган-Барановскій, вмѣстѣ со Струве основоположник русскаго марксизма, тоже перешедшій в лагерь критиков Маркса — грузный, неповоротливый человѣк, житейски наивный до предательства: как только государь отрекся от престола, Т.-Барановскій явился в редакцію с огромным красным бантом и заявил о своем уходѣ из Рѣчи. Такой же бант нацѣпил и такое же заявленіе сдѣлал и А. Н. Бенуа, с которым у меня была и личная близость. Его художественные фельетоны, отличавшіеся изумительным мастерством изложенія, воспринимались как magister dixit. В теченіе своего десятилѣтняго сотрудничества, бывшаго истинным украшеніем Рѣчи, он на год покинул нас для Художественнаго Театра, которому дал чудесныя декораціи для Пушкинскаго (маленькія драмы) и Мольеровскаго спектаклей, оказавшихся не по плечу Станиславскому и его питомцам. Безспорным авторитетом пользовался музыкальный критик наш В. Г. Каратыгин, большой знаток и поклонник новой русской музыки, отлично чуявшій и усердно выдвигавшій молодые композиторскіе таланты, многим обязан ему тогда еще совсѣм юный С. С. Прокофьев, геній котораго Каратыгин распознал с первых шагов его творчества. Среди литературной братіи Каратыгин выдѣлялся высокой моральной порядочностью, безсеребреничеством и плѣнительным сочетаніем добродушной покладистости с твердостью убѣжденій. Он принадлежал к счастливцам, которых всѣ любят и которыми всѣ дорожат. С ним меня тоже соединяла личная близость, лѣтом он живал у нас на дачѣ и в общеніи с ним доставляла большое наслажденіе его искренность, непосредственность и широта духовных запросов. Благодаря ему, в нашем домѣ не переводилась чудесная музыка и я всегда был во власти волшебных звуков выдающихся піанистов, пѣвцов и пѣвиц, воскресный вечер им обычно цѣликом принадлежал. Настоящим праздником было исполненіе Ночи на Лысой Горѣ и Картинок с Выставки Мусоргскаго и Петрушки Стравинскаго. Я слышал и собственное исполненіе Стравинскаго у Бенуа, а у нас однажды божествен-

но сыграли это геніальное произведеніе, так ярко отражающее національное русское лицо, Прокофьев с Боровским в четыре руки.

Два наших литературных критика, каждый по своему очень цѣнные для газеты, оба родом из Одессы. Изумляло и забавляло видѣть, как различны, какими чужими, чуждыми друг другу могут быть два человѣка, надѣленные одним и тѣм же основным, опредѣляющим их духовную личность даром. Ю. И. Айхенвальд, сын раввина, женатый на православной, изысканно и разносторонне образованный, и Корнѣй Чуковскій, выходец из народной толщи (настоящая его фамилія Корнѣйчук), женатый на еврейкѣ, самородок, нахватавшійся случайных разрозненных знаній — оба отличались сверхестественным инстинктивным чутьем подлиннаго таланта, отвращеніем (у Айхенвальда болѣзненным, у Чуковскаго — крикливым) ко всякой фальши и литературщинѣ. Эта особенность и опредѣляла их подход к литературно-критической работѣ — оба не принадлежали ни к одной из главенствовавших тогда школ реалистов и символистов, а были сами по себѣ. Айхенвальд жил в Москвѣ и впервые я увидѣл его только в эмиграціи, в дѣловом засѣданіи: он сидѣл, положив ногу на ногу, по еврейски сильно сгорбившись, словно придавленный тяжестью «всего накопленнаго вѣками и закрѣпленнаго богатства постиженій, знаній и цѣнностей». Со скрещенными на груди руками и опущенными книзу грустно недоумѣвающими глазами он напоминал извѣстную скульптуру еврея же Антокольскаго Мефистофель. До робости застѣнчивый и молчаливый Айхенвальд покорялся таланту, как благодати, как чему-то ирраціональному, непостижимому. Чуковскій, шумный, развязный, разухабистый, ничѣм необремененный, видѣл в талантѣ счастливца, удачника, выигравшаго в лотерею крупный куш, и одобрительно, за панибрата похлопывал его по плечу — молодчина брат! Айхенвальд сочетал трогательную мягкость, «внутреннюю вѣжливость» с непреклонностью убѣжденій, заставившій Троцкаго воскликнуть, по поводу одного печатнаго выступленія Айхенвальда: «Диктатура, гдѣ твой хлыст!» И все же она не осмѣлилась за хлыст схватиться, а выслала Айхенвальда из Россіи за откровенную прямоту его сужденій. Он впадал в лицепріятіе лишь в пользу тѣх, у кого недостаток таланта, эстетическія погрѣшности уравновѣшиваются «сострадательным и участливым отношеніем к людям» (я ставлю в кавычки его собственныя выраженія). Можно не соглашаться с его взглядом, но нужно и всегда полезно над ним поразмыслить. Айхенвальд утверждал, что критик «должен сопричащаться художественному творенію», что поэтому и статья критика должна быть художественным произведеніем. Он к этому настойчиво стремился и часто достигал, но «в мѣрном журчаніи живописующаго слова» слишком видна была техника, с помощью которой замысел осуществлялся, чрезмѣрная нарядность стиля выдавала затраченныя на охорашиваніе усилія и граничила с расфуфыренностью, как выразился его коллега Чуковскій. Он же сам безошибочно выхватывал из разбираемаго произведенія нѣсколько характерных фраз и, по примѣру естествоиспытателя, по одной кости опредѣляющаго, какому животному она принадлежит, запросто с читателем по поводу этих фраз бесѣдовал и остроумно бала-

гурил, как бы втравливая в дискуссію. Ясное простое изложеніе подчинено было требованію занимательности и пересыпалось пряным остроуміем.

Надо было однако держать ухо востро и зорко слѣдить, чтобы среди заманчиваго легкаго груза не проскочила опасная контрабанда. Однажды он и подвел: в новогоднем фельетонѣ безобидно отмѣтил культурную роль «Нивы», насыщающей провинціальную Россію сотнями тысяч экземпляров русских классиков, разсылаемых подписчикам в видѣ премій, но тут же вскользь противопоставил нѣкоторые журналы, например, Мір Божій, неисполняющій обѣщаній, данных в объявленіях о подпискѣ. Спустя нѣсколько дней я ночью вызван был в пріемную, гдѣ увидѣл автора одного из первых порнографических романов («Санин») Арцыбашева и безцвѣтнаго соціал-демокр. публициста Кранихфельда, которые в торжественном тонѣ передали мнѣ вызов на дуэль от имени редактора журнала Н. И. Іорданскаго. Третья Дума ввела дуэль в парламентскій обычай: Марков II стрѣлялся с Пергаментом, Гучков с Уваровым, он же вызвал Милюкова и т. д., но подчиненіе радикальнаго журналиста, которому, по канону, полагается бороться против средневѣковаго пережитка, — подчиненіе нелѣпой модѣ было столь неожиданным, что я принял вызов за шутку и громко расхохотался, но тотчас же, по индюшечьи надутому виду, который мои гости, очевидно, считали аксессуаром для роли секундантов, — понял, что они и впрямь собираются разыграть отвратительную комедію. Я вышел из себя и в рѣзкой формѣ разъяснил неприличіе вызова. они, не простившись, удалились, а потом вызвали на суд чести. На судѣ Кранихфельд, между прочим, задал Чуковскому коварный вопрос, получает ли он в «Нивѣ» жалованье? Вопрос этот, в котором явно звучало обвиненіе, показывает, как щепетильна была русская литература. Ибо по существу, если Чуковскій и состоял на жалованьѣ, в его утвержденіи культурной роли «Нивы», объективно безспорном, ничего зазорнаго усмотрѣть нельзя было. Чуковскій, однако, обиженно отвѣтил категорическим отрицаніем и Кранихфельд сконфузился. А когда, по окончаніи засѣданія, мы с ним спускались по лѣстницѣ, он, обнимая меня, шепнул на ухо: «а вѣдь жалованье то я получал!» — «Да вы съума сошли, Чуковскій, вы можете как угодно играть своей репутаціей, но вѣдь ложится тѣнь на «Рѣчь» и на меня». Его безпечность поколебать было трудно: «какіе пустяки, — отвѣчал он, хитро подмигивая и крѣпче обнимая, — им об этом никак не узнать!» Насколько помню, противники мои потом от тяжбы отказались и она ничѣм не кончилась.

Оригинальную фигуру представлял редактор театральнаго отдѣла П. Ярцев, от характеристики котораго легко можно было бы отдѣлаться одним словом «молчальник». Когда он пріѣхал из Кіева, гдѣ за ним установилась репутація безпощаднаго критика, я пригласил его к обѣду вмѣстѣ с Бенуа, Набоковым и другими товарищами, расчитывая, что в домашней обстановкѣ, да еще за вином знакомство состоится непринужденнѣе. Разговор дѣйствительно велся очень оживленно, но он то не произнес ни слова, если не считать скупых, сквозь зубы, отвѣтов на прямо задаваемые вопросы. Небольшого роста, худой, с заостренными чертами аскетическаго лица (и

почерк был заостренный, как у писателя Бориса Зайцева, с которым он вообще был очень близок), в старомодном длинном черном сюртукѣ (в другом нарядѣ я его увидѣл лишь во время войны, когда он был призван из офицерскаго запаса), он так и остался для меня неясным, хотя постепенно стал чаще бывать и цѣдить слова. Писательство давалось ему нелегко и отличалось больше строгостью оцѣнок, чѣм отчетливостью, особенностью его стиля было, что никогда он не употреблял иностранных слов, а русскій язык обожал. От строгости отступал только в пользу моск. Художественнаго Театра, перед которым благоговѣл. Петербург относился к московской новинкѣ больше чѣм сдержанно, а нѣкоторыя газеты — Новое Время и, в особенности, авторитетный театральный критик А. Кугель — и прямо враждебно. Рѣчь, напротив, и до Ярцева — вмѣстѣ с передовой интеллигенціей к молодым поколѣніем — принимала москвичей восторженно и сейчас тоже предо мной висит окруженный фотографіями Качалова, Чехова, Книппер и Германовой, чудесный портрет Станиславскаго с обворожительной улыбкой на одухотворенном лицѣ, на портретѣ надпись — «другу дѣтства Художественнаго театра благодарный *за прошлое*». Надпись сдѣлана в 1922 г., когда труппа пріѣзжала на гастроли в Берлин, гдѣ «Руль» не менѣе страстно содѣйствовал успѣху спектаклей и слово «прошлое», объясняемое, вѣроятно, перспективой возвращенія в Москву, обидно подчеркивало, что мы очутились по разныя стороны баррикады. Только один раз я и видѣл Ярцева необычайно оживленным и даже взволнованным: он пришел с частичной репетиціи «Хозяйки гостиницы» и разсказывал, как Станиславскій старался посторонними разговорами добиться, чтобы партнерша его О. Гзовская освободилась от актерской напряженности и по настоящему «переживала» трактирщицу. Когда ему казалось, что это достигнуто, он вдруг задавал вопрос уже из роли, но реплика не удовлетворяла, он начинал сначала и так, в теченіе больше часа, раз двадцать. Великолѣпная артистка, тѣм и замѣчательная, что умѣла перевоплощаться, оставаясь самой собой, новых лавров в Художественном театрѣ не пріобрѣла и вскорѣ покинула его.

Много трепетно радостных воспоминаній связано с Художественным театром: помню, как я на весь театр громко ахнул, когда таинственно, безшумно раздвинулся тяжелый занавѣс и перед остановившимися в изумленіи глазами развернулась ярко солнечная обстановка тургеневскаго спектакля, сдѣланная Добужинским; помню, как не мог удержать слез на представленіи диккенсовскаго Сверчка и задыхался от счастья, что младшіе сыновья, тогда еще мальчики, тоже тут и видят это возвышенно волнующее зрѣлище. И еще хочется разсказать об одном эпизодѣ: как то, во время петербургских гастролей, из случайнаго разговора с Милюковым выяснилось, что он никогда не был в Художественном театрѣ, и я просил его прійти вечером к нам в ложу на представленіе Трех сестер. Актеры в этот вечер были совсѣм в ударѣ и превзошли самих себя. Милюков был видимо разстроен и сосредоточенно молчал. Спектакли обыкновенно затягивались до поздняго часа, а в редакціи было что-то спѣшное, и я уѣхал перед послѣдним дѣйствіем, сославшись на то, что уже не раз видѣл это представленіе,

а Милюкова просил остаться до конца. В редакціи застал московскаго профессора С. Котляревскаго, который в то время отошел от нашей партіи и перемѣнив вѣхи, в газетѣ Страна требовал выявленія «русскаго національнаго лица». Как только я покончил со спѣшкой, Котляревскій затѣял спор на злободневную тему, и в это время вошел Милюков. На вопрос, как ему понравилось представленіе, он, не отвѣчая мнѣ, с искаженным, словно от непереносимой боли, лицом повернулся к Котляревскому и крикнул: «пойдите — посмотрите на ваше національное лицо!», и слова дышали таким раздраженіем и злобой, что Котляревскій не рѣшился поднять перчатку и быстро простился, да и я никак не ожидал, чтобы на «человѣка без изюминки» спектакль мог произвести такое потрясающее впечатлѣніе. А Ярцев, недолюбливавшій Милюкова за его позитивизм, готов был почерпнуть надежду, что «Софія» очистит заблудшую душу кадетскаго вождя, который, с своей стороны относился с большой подозрительностью и всегда опасался, что в фельетонах Ярцева нѣт-нѣт да и проскользнет какая нибудь ересь. Зацѣпилась еще в памяти его единственное в своем родѣ казенное офицерское пальто, в котором он явился, пріѣхав на Рождество с рижскаго фронта. Зима стояла суровая, а он щеголял в лѣтней шинели, пока старушка латышка, у которой он жил под Ригой, не пожертвовала своей байковой, на ватѣ стеганной, ярко коричневой, в крупных разводах кофты, которую и перекроила для офицерской подкладки.

А какую сочную самобытную фигуру представлял наш интервьюер Л. М. Львов, (Клячко) претендовавшій на лавры знаменитаго в свое время Бловица, ухитрившагося, как утверждала легенда, спрятаться под столом, за которым в 1878 г. происходило обсужденіе берлинскаго трактата, и опубликовавшаго в «Times» этот документ до подписанія его державами. Свѣтлый блондин, с необычайно зоркими глазами, в которых, как на фотографической пластинкѣ, сразу, со всѣми деталями, отпечатывалась обстановка комнаты, в которую он входил, — он бравировал сверхестественной пронырливостью и развязностью, смутить его ничѣм было невозможно. Он, навязчиво подчеркивал свое политическое невѣжество: если какое-нибудь сообщеніе вызывало сомнѣнія, он ссылался на то, что сам выдумать не мог, потому что ничего в записанном с чужих сановных слов не понимает. Он и в газету заглядывал, только чтобы провѣрить, напечатано ли его очередное «в сферах», и врывался за объясненіями, если своего сообщенія на привычном мѣстѣ не находил. Случилось на нѣсколько дней задержать «в сферах», потому что, как казалось, оно требует еще провѣрки, а Клячко с каждым днем становился все раздражительнѣй и даже грозил уходом. Наконец, сообщеніе появилось, но не на своем обычном мѣстѣ, а он вновь бурно распахнул двери и стал — глотка у него была зычная — кричать, что для редакціонной корзины работать не согласен; если редакція предпочитает «кирпичи Кутлера» его сенсаціонным сообщеніям, значит пора уходить. Я стал еще поддразнивать, сваливал вину на ночного редактора, котораго велѣл позвать для распеканія, а потом, доведя Клячко до бѣлаго каленія, смущенно признался, что мы получили от новаго сотрудника болѣе интересный

матеріал, который должны были предпочесть, и, развернув газету, показал ему его собственное «в сферах». Он был так огорошен, что я даже смутился, и лишь потом сообразил, что для него, превратившаго в спорт умѣнье перехитрить другого, было непереносимо самому остаться «в дураках». Опомнившись, он погрозил кулаком и сказал: «будьте спокойны, я отомщу, а теперь, ничего не подѣлаешь, надо съѣздить в ресторанчик выпить коньячку». Званіе носил он «помощника провизора», хотя ровно никакого отношенія к аптекарской профессіи не имѣл. Так как среди хроникеров было еще два-три таких аптекаря, то Набоков однажды, за редакціонным обѣдом, замѣтил: «никак не пойму, почему столько помощников провизора?» — «А вы понимаете, Владимір Дмитріевич, огрызнулся Клячко, — что такое «право жительства»? Не понимаете? Ну, в том то и дѣло!» А дѣло было в том, что означенное званіе давало евреям право жительства внѣ черты осѣдлости — русскаго гетто—, правда, лишь под условіем занятія своей профессіей, но на фактическія отступленія администрація частенько смотрѣла (умѣла смотрѣть) сквозь пальцы. Благодаря своим бюрократическим связям Львов — и притом совершенно безкорыстно, успѣшно облегчал тяжелое положеніе своих единовѣрцев. Его день начинался с пріема просителей — почти исключительно евреев и, главным образом, именно по вопросам права жительства. Просителей, по мѣрѣ того как слава росла, набиралось до двух десятков и больше, каждый норовил поговорить наединѣ, чтобы подкрѣпить просьбу «благодарностью», но Клячко отвергал: «у меня с вами никаких секретов нѣт». У подъѣзда уже ждала щегольская эгоистка с толстозадым кучером и, примѣрно с 10 до 2—3 часов дня — он совершал объѣзд по министерствам, канцеляріям, министрам, сенаторам и т. д. Его секундантами были швейцары, курьеры, лакеи, ублажаемые щедрыми «чаями» и помогавшіе за то пробраться к начальству, к барину, заранѣе освѣдомившись о его настроеніи. Принимали его охотно и довѣряли многое, он даже стал необходимой принадлежностью бюрократической машины, иначе сказать — ея побочным продуктом: благодаря вѣдомственной розни, так ярко подчеркнутой Крыжановским в приведенной выше цитатѣ, Клячко умѣл быть полезным сановникам, сообщая в одном вѣдомствѣ то, что от него скрывалось в другом, там зато узнавал новую тайну, помогавшую в дальнѣйших изысканіях. Между посѣщеніями он нѣсколько раз навѣдывался к Доминику и Перецу — популярным петербургским ресторанчикам, чтобы хватить двѣ-три рюмки водки и закусить пирожками — аппетит у него был волчій, и пріѣхав в редакцію, разгружал свой багаж под рубрикой «в сферах», содержавшей обычно тщательно провѣренныя, важныя политическія свѣдѣнія. Для борьбы с общественно вредной тайной он придумывал разные трюки. Когда при Столыпинѣ началось гоненіе на администрацію высших учебных заведеній за старые грѣхи, Клячко однажды никак не удавалось узнать, какое постановленіе состоялось в Сенатѣ. Благоволившій к нему, суровый сенатор Мѣщанинов рѣшительно отказался дать какія либо свѣдѣнія, Клячко пріѣхал вторично, но отказ был еще рѣшительнѣй. Он явился в третій раз уже вечером, в час совсѣм неурочный, и встрѣтив больше чѣм непривѣтливый пріем, оби-

женио сказал: «неужели, Иван Васильевич, вы считаете меня способным на такую безтактность, чтобы в столь поздній час обезпокоить помѣщеніем. Да и незачѣм было бы вас тревожить! я уже знаю все, что в засѣданіи произошло, но не рѣшаюсь огласить, потому что не вѣрится, чтобы вы предлагали, вопреки мнѣнію сенатора Врасскаго, принять против профессоров самыя строгія мѣры». — «Как, — крикнул в сердцах Мѣщанинов, да вѣдь именно Врасскій отстаивал строгія мѣры, а я предлагал. . .» и подробно разсказал все, что говорил в засѣданіи. Получив сенаторскую благодарность за предупредительность, Клячко поспѣшил в редакцію, торжествуя побѣду, не забыл сдѣлать по дорогѣ привал у Доминика и дал обстоятельную замѣтку о сенатском засѣданіи. В другой раз дѣло шло о печатном отчетѣ сенатора о произведенной им по высочайшему повелѣнію ревизіи московскаго градоначальства. В годы столыпинскаго управленія разоблаченія Рѣчи не раз приводили к назначенію таких ревизій, отчеты печатались в глубочайшей тайнѣ в сенатской типографіи, и однажды Клячкѣ никак не удавалось получить экземпляр отчета. Он явился к сенатору Врасскому и просил разрѣшенія, хотя бы одним глазком заглянуть в отчет, который, как он сразу замѣтил, лежал на краю письменнаго стола. На всякій случай Клячко прикрыл его своим шикарным, желтой кожи портфелем, без котораго никогда в объѣзд не отправлялся. Когда Врасскій заявил, что ему нужно уходить, Клячко вышел вмѣстѣ с ним, захватив «случайно» с портфелем и лежавшій под ним отчет, помчался в редакцію, мы быстро ознакомились с содержаніем, послѣ чего эгоистка лихо доставила его назад и здѣсь, ублаготворив лакея тремя рублями, он просил незамѣтно водворить на мѣсто отчет, нечаянно захваченный. Отчеты о ревизіях раздавались сенаторам и членам обер-прокуратуры и, чтобы бороться с разглашеніем тайны в Рѣчи, министр юстиціи распорядился на каждом экземплярѣ печатать номер и выдавать под росписку получателя. Такое недовѣріе естественно обидѣло сановников и лишь облегчило проникновеніе в тайну. Кончилось тѣм, что однажды у Кл. произведен был, на основаніи положенія об усиленной охранѣ, под которой Петербург неизмѣнно состоял, обыск, тоже не давшій результатов, потому что, благодаря связям, и обыск не застал его врасплох.

Я положительно не припомню случая, чтобы ему не удалось начальство перехитрить. Когда в ноябрѣ 1904 г. (еще до основанія «Рѣчи») в Петербургѣ собрался Земско-городской съѣзд, и цензура запретила что-либо об этом сообщать, Клячко напечатал полный список всѣх прибывших в Петербург предсѣдателей и членов земских и городских управ. Так как обычно о пріѣздѣ таких лиц не сообщалось и одновременный пріѣзд такого количества был совершенно необычным, то, естественно, список привлек гораздо больше вниманія, чѣм простая замѣтка о съѣздѣ, и обострил интерес к этому событію. В іюлѣ 1905 г., перед пріемом государем депутаціи от такого же съѣзда, члены ея собрались в гостиницѣ Франція, в комнатѣ И. И. Петрункевича для выслушанія заготовленной кн. С. Трубецким рѣчи. Он уже приступил к чтенію, как вдруг хозяин увидѣл неизвѣстнаго человѣка. «Я был совсѣм смущен, жаловался мнѣ Петрункевич, такой неожиданностью и по-

дойдя и незнакомцу, спросил, что ему нужно, а он развязно отвѣтил: да вы не безпокойтесь, меня знает брат ваш. Я спросил Михаила Ильича, в чем дѣло, но он мнѣ только сказал, что это интервьюер Клячко, но разрѣшенія явиться сюда он у него и не спрашивал.» Клячко пришлось удалиться, но с него было достаточно видѣннаго и слышаннаго в теченіе нѣскольких минут, чтобы дать расцвѣченное описаніе подготовки депутаціи к высочайшему пріему. и «Русь», в которой он тогда работал, покупалась нарасхват.

Чѣм больше самодержавный строй разлагался, тѣм шире развертывалась дѣятельность нашего интервьюэра, и полностью расцвѣла во время войны, когда сановники стали его даже побаиваться и у него заискивать. Тогда началась министерская «чехарда», Клячко первый узнавал о предстоящих увольненіях и перемѣщеніях и от него не раз министры освѣдомлялись об ожидающей их в ближайшіе дни отставкѣ. Если принесенная сенсація вызывала недовѣріе, или ему самому хотѣлось пустить мнѣ пыль в глаза, он соединялся по телефону с тѣм или другим сановником и я неоднократно имѣл случай удивляться непринужденному тону его діалогов «на короткой ногѣ» с превосходительствами и высокопревосходительствами. Сам по себѣ телефонный разговор тоже еще не давал полной гарантіи. Помню, как И. Д. Сытин, с лукаво добродушной улыбкой, разсказывал о представителѣ своего «Русскаго Слова»: «неизмѣнно во время моих наѣздов в Петербург он вызывал по телефону какого-нибудь министра, или придворнаго сановника из Царскаго Села для высокопарнаго разговора о политикѣ или правительственных планах. Эк! дурак дураком. Он и не подозрѣвал, что я отлично понимаю, что дудит он в глухое соединеніе, или разговаривает с каким-нибудь репортеришкой». Но мой телефон снабжен был двумя слуховыми трубками и, держа одну из них, я мог даже косвенно участвовать в разговорѣ, подсказывая, что спросить у собесѣдника, и слышать, с какой готовностью удовлетворялось любопытство и какое любопытство проявлял сам сановник к новостям, нашим интервьюэром сообщаемым. Надо прибавить к памяти о нем что, если в своей профессіональной дѣятельности он, подобно многим русским революціонерам, держался принципа — цѣль оправдывает средства, то в частной жизни, напротив, был сторонником десяти заповѣдей, в редакціи его всѣ любили, потому что это был на рѣдкость благородный и отзывчивый товарищ — готовый подѣлиться послѣдним, а в своей скользкой, полной корыстнаго соблазна дѣятельности, съумѣл сохранить безукоризненную репутацію честнаго, преданнаго общественным интересам работника.

В очень лестной для меня юбилейной статьѣ покойный Изгоев так опредѣлил разницу между Правом и Рѣчью: «я сравнил бы ваше Право съ былым фрегатом, изящно оснащенным множеством парусов. с блестящими жерлами рядами уставленных пушек... По сравненію с Правом второе ваше созданіе Рѣчь рисуется мнѣ могущественным современным дредноутом с вооруженіем от Виккерса и Армстронга». Я ощущал эту разницу иначе, совсѣм в другом: редакціонный комитет Права состоял из крупных и очень ярко выраженных индивидуальностей, но в работѣ и заботѣ о Правѣ — а забота владѣла безраздѣльно умом и сердцем каждаго — всѣ от себя отрѣ-

шались в пользу беззавѣтно любимаго дѣтища. Рѣшительно не вспоминаю ни одного проявленія личнаго самолюбія, соперничества, каждый старался отдать Праву все, что мог, и безпристрастно цѣнил и не сравнивал с тѣм, что дают другіе. Как громко и радостно выражал свое восхищеніе Петражицкій удачной статьей кого-нибудь из товарищей! Не было и матеріальной заинтересованности — я один получал, да и то больше чѣм скромное жалованье — сто рублей, остальные довольствовались построчной платой за статьи — 7 коп., и этот размѣр не повышался даже и для самых крупных литературных тузов. В Рѣчи для многочисленнаго редакціоннаго штаба денежное вознагражденіе составляло, если не для всѣх единственный, то во всяком случаѣ, главный источник бюджета, связь с газетой скрѣплялась не только узами безкорыстной любви и преданности. Я получал 13 тысяч рублей в год, Милюков 9 тысяч рублей, Бенуа — 6 тысяч рублей, построчная плата поднималась до 50 коп. Конечно, идейная близость, духовное сродство стояли на первом планѣ, и случая не было, чтобы наш сотрудник предложил свои услуги (как Пиленко предложил Рѣчи) враждебному лагерю. Но огромное большинство газет объединяла оппозиціонность, различавшаяся лишь в степенях, и передвиженіе в ея предѣлах, особенно в сторону степеней повышенных, не считалось зазорным и могло возбудить сомнѣніе лишь с точки зрѣнія личной морали, а не общественной. Так нас и покинул самый талантливый из «маленьких фельетонистов», В. Азов, котораго я очень высоко цѣнил. Он умѣл мастерски выпячивать всякое зло и наивно укрыться под маской его непониманія и удивленія. Я же удивлялся и порой завидовал его манерѣ писательства. Он приходил в редакцію, когда работа уже кипѣла, разваливался в креслѣ и, сам не принимая участія или ограничиваясь отрывистыми замѣчаніями, прислушивался к тому, что кругом говорят, иногда прямо обращался к Ганфману с просьбой указать какую-нибудь тему и тут же, среди безпорядочнаго говора, не мѣняя позы, с равнодушным лицом, держа вставочку далеко от пера, на узеньких листках крупным почерком, буква за буквой, словно это урок чистописанія, выводил строки, большей частью без единой помарки, и через час фельетон был готов. Кажется, ни разу не пришлось работу его забраковать, а если я спѣшил выразить свое удовольствіе и похвалить за удавшійся фельетон, он неизмѣнно отвѣчал: «с тѣх пор, как изобрѣтены денежные знаки, похвала легко может быть переведена на их язык». «День» и соблазнил вдвое увеличенным количеством денежных знаков, он не задумался, к большому моему огорченію, бросить насиженное мѣсто. Я мог бы злорадствовать, потому что в новой редакціи чего то ему не хватало, и талант его замѣтно поблек.

Также покинул нас и другой фельетонист А. Яблоновскій, больше бытовик — ему лучше удавались обозрѣнія провинціальной жизни, — болѣе многословный и однообразный. В Берлинѣ мы с ним снова встрѣтились в «Рулѣ», гдѣ он спеціализировался на большевиках, которых глубоко ненавидѣл. Время шло, обстановка мѣнялась, а он все тянул одну и ту же ноту и, когда я обратил его вниманіе и рекомендовал найти другія темы, он отвѣтил: «вы правы, я вродѣ козы у бѣднаго еврея, привязанной на веревкѣ,

Она все ходит кругом да около и все уже вытоптала. Но дѣваться ей дальше некуда и она мордой ковыряет пыльную землю, надѣясь найти травинку». Он умер в Парижѣ сотрудником Возрожденія в большой бѣдности. Был у нас еще один острослов К. Аверченко. Его сочиненія до сих пор пользуются большой популярностью, и только на-днях я случайно прочел похвальную рецензію книгѣ его, изданной в нѣмецком переводѣ. Аверченко среди всѣх был наиболѣе добродушный и вмѣстѣ с тѣм наиболѣе разухабистый, он сражался, на потѣху публики, не рапирой, а дубинкой и плеткой, ранить они не ранили, но заставляли выть от боли и почесываться. Наиболѣе остроумные его фельетоны бывали не в ладах с цензурными требованіями, но, читая про себя, я задыхался от смѣха. До сих пор помню описаніе раута у Столыпина для членов 3-ьей Думы, среди коих было много гнусных хулиганов из Союза русскаго народа. С большим сожалѣніем уступил я настояніям Ганфмана, опасавшагося нецензурности, и вернувшись домой около трех часов ночи, не мог удержаться, чтобы не прочесть фельетона женѣ, и уже вдвоем хохотать над сочным описаніем министерских гостей-наймитов, за которыми глаз нужен, чтобы, чего добраго, они не польстились на серебряную ложку и не потеряли счета выпитой водкѣ.

Однако Азов и Яблоновскій остались исключеніями, и если в общем сотрудники крѣпко были привязаны к Рѣчи, хотя она и не могла оплачивать так щедро, как нѣкоторыя другія газеты, это объясняется ея высоким моральным авторитетом, какого не имѣла ни одна петербургская газета. Здѣсь поэтому голос каждаго звучал громче и вліятельнѣй, атмосфера в редакціи была здоровая и прозрачная, всѣ искренне вѣрили в правоту своего дѣла и, как мнѣ кажется, и весь техническій персонал, а, по моему, и курьеры (их называли у нас почему-то «сторожами») понимали это и относились с большим уваженіем. Дежурившіе попеременно при мнѣ два курьера Дмитрій и Иван — очаровательные, скромные, толковые парни, были преданы, пожалуй, больше, чѣм нѣкоторые сотрудники, и гордились своей службой.

Изгоевское сравненіе Права и Рѣчи с фрегатом и дредноутом кажется мнѣ удачным в том смыслѣ, что на фрегатѣ всѣ — вмѣстѣ, всѣ друг у друга на виду, с грѣхом пополам каждый может замѣнить другого и всѣ, за своей работой, непрестанно чувствуют, что дѣлают общее дѣло. На дредноутѣ, раздѣленном на самостоятельные отсѣки, можно совершить плаваніе, не встрѣтившись с работником в другом отсѣкѣ, и ничего общаго с ним не имѣя. Так и в Правѣ были цивилисты, криминалисты, государственники, международники, но всѣ находились между собой в непосредственном соприкосновеніи и связаны были одной нитью, проходившей и через всѣ статьи. А что же было общаго в Рѣчи между публицистикой и спортом, балетным отдѣлом и биржевым, литературной критикой и иностранной политикой и т. д. Может быть, правильнѣе сравнить газетную редакцію с оркестром: каждый оркестрант поглощен своим инструментом, старается как можно лучше (а со временем просто добросовѣстно) сыграть свою партію. Если у Клячки ограниченность поля зрѣнія мѣстом, на котором обычно печаталась его рубрика, смахивает больше на анекдот, то вѣдь анекдот и отражает дѣй-

ствительность в кривом зеркалѣ. Очень забавляла прикотливая смѣна лиц в редакціонном кабинетѣ: первым являлся секретарь (потом секретарша) маленькій человѣчек, быстро сѣменившій ногами, как будто катящій свой выпирающій кругленькій животик, разносторонній дилетант, сам издававшій перед революціей журнал, а теперь фиктивный редактор Рѣчи — и в отношеніях с ним я чувствую напряженную неловкость, но он растворяет ее в анекдотах, которые разсказывает плохо и утомляет безчисленным их количеством. Я перебираю принесенныя письма и рукописи, которыя он комментирует прибаутками, но уже приходит с верхняго этажа (там помѣщается провинціальный отдѣл) Изгоев, угрюмая серьезность котораго раздражает секретаря, и он силится разсмѣшить его новым анекдотом. Изгоев прочел газету от доски до доски, пожалуй, он и знал содержаніе основательнѣе всѣх — и мягко выговаривает за какую нибудь рѣзкость в статьѣ, за необоснованное сужденіе, за легкомысленный прогноз — всегда под пессимистическим углом зрѣнія. От времени до времени, если провинціальный отдѣл потерпѣл сокращеніе, он ставит «принципіальный» вопрос — нужна ли его работа. За ним является тихо и печально, с поднятыми на лоб очками, редактор хроники Фейгельсон, совсѣм сконфуженный и терзающійся, если в другой газетѣ оказалось напечатанным какое-нибудь сообщеніе, котораго нѣт у нас. Шумно врывающійся Ганфман сыплет ему соль на рану, обрушиваясь на неумѣлость хроникеров, которых тот горячо защищает, как своих дѣтей. Если в это время пожалует и Клячко, то загорается ожесточенный спор, перескакивающій с предмета на предмет, Ганфман всѣх перебивает, переходя от одного к другому, предлагая каждому тему для статьи или фельетона и припирая собесѣдника к стѣнѣ большим животом. Каюсь, я иногда, в зависимости от особенностей сотрудника, то поддакивал ему, то подзадоривал слабыми аргументами, чтобы заставить его полностью раскрыться. Обычно спор из кабинета переносится в общую комнату, гдѣ уже сидит в неподвижной позѣ Азов, расхаживает на длинных ногах близорукій Левин, носом уткнувшійся в Times, который он с трудом преодолѣвает. А вот мастер на всѣ руки, наш думскій сотрудник — человѣк бывалый, видавшій всякіе виды вплоть до службы кельнером в Нью-Іоркѣ. Он может один выпустить номер газеты, начиная с набора и кончая статьями по всѣм отдѣлам, и все будет одинаково толково. Он не принимает участія в общем разговорѣ, поглощенный подсчетом напечатанных в газетѣ строк из под его пера, и от времени до времени самодовольно бормочет: «недурно! хватит ребятишкам на «молочишко». Из Таврическаго дворца прибѣгает другой парламентскій хроникер, всегда полный «думских впечатлѣній». В противоположность Левину, он — самоучка, юность провел рабочим на табачной фабрикѣ, подкосившей здоровье его, но, почувствовав неудержимое влеченіе к русской культурѣ, к образованію, каким то чудом попал в Париж, чтобы стать слушателем русской высшей школы Ковалевскаго и де-Роберти, и, благодаря недюжинным способностям (Чехов опредѣлил способности — в противоположность таланту, как «умѣнье приспособляться»), съумѣл выработать бойкое перо и стал даже компановать драмы и романы. У него были всѣ основанія высоко

цѣнить и гордиться своими незаурядными успѣхами, и нельзя было не относиться с уваженіем и признаніем к его энергіи. Но, сам дивясь своим успѣхам, он переносил слишком высокую оцѣнку и на свои произведенія. Об его романѣ мягкій снисходительный Айхенвальд написал сдержанную рецензію, которой автор остался крайне недоволен, нѣт — не то: покровительственно жалѣл об ошибкѣ, допущенной критиком, и с завидной убѣжденностью говорил: «как бы ни судил Айхенвальд, но надо же считаться с тѣм, что роман выдвинул меня в первые ряды русских писателей». Как не простить ему такого заблужденія! Но товарищи не прощали и его приход оживлял пикировку и споры, а когда ему удалось настойчивостью добиться постановки своей драмы на сценѣ Александринскаго театра, Левин, с невинным видом, принес необычайно остроумную уничтожающую рецензію и никак не хотѣл понять, почему я отказываюсь выставить на публичное посмѣяніе товарища только за то, что он пыжится и тщится дать сверх своих сил. «Вы ему просто завидуете — подразнил я — что сами не можете или не хотите использовать своих крупных дарованій и знаній и тратите их на разъѣдающую критику чужого. Был ли случай, чтобы вы кого-нибудь похвалили». — «Потому что хвалить и некого». — он обиженно взял рецензію, но все же нигдѣ не напечатал.

Я разрѣшал себѣ этот менторскій тон, потому что годами был обременен больше всѣх, старше меня был один Милюков, но он был в редакціи не свой человѣк, а почетный гость. Сам Милюков не давал повода для отчужденности: истинный демократ, он держался в редакціи с товарищеской простотой, даже выдѣлялся умѣньем быть со всѣми на равной ногѣ, и еще была у него рѣдкая особенность среди русской интеллигенціи, подчеркивавшей свое благожелательное отношеніе к угнетенному еврейству. Однажды неугомонный остряк Анненскій за столом предложил всей компаніей отправиться в оперный театр. «А что дают?» Скользнув лукавым взглядом по присутствовавшему тут С. Елпатьевскому, при котором опасно было произносить слово «жид», Анненскій запнулся и смущенно сказал: «дают оперу «Еврейка». Мнѣ лично филосемитизм представлялся столь же оскорбительным, как и его антипод, а у Милюкова именно и не было вовсе ощущенія національных различій. Только однажды он уколол восклицаніем: »ох, уж эти мнѣ евреи», когда на каком то съѣздѣ, по настояніям Винавера, я передал ему просьбу спеціально отмѣтить в резолюціи тяжелое положеніе еврейства. К Милюкову всѣ относились с большим уваженіем, почтительно прислушивались к его сужденіям, но видѣли в нем политика, а не своего брата газетчика.

Не думаю, чтобы я пользовался подлинной любовью товарищей, и задним числом чистосердечно не считаю себя вправѣ на нее притязать. До 1908 г. я тоже газетой интересовался больше через политику и мало входил в редакціонную жизнь. Потом это измѣнилось — приходилось и посаженым отцом быть и семейныя недоразумѣнія улаживать и юридическіе и житейскіе совѣты давать и всячески помогать. Но если в Рѣчи не было такой центростремительности, как в Правѣ, если употребленныя Изгоевым в его

статьѣ слова о «дружной семьѣ» представляют юбилейное преувеличеніе, то доля вины падает на меня. Думается, во-первых, что редактор должен воздерживаться от писательства в своей газетѣ, он должен быть, так сказать, не концертмейстером, а дирижером: это лучше обезпечивает безпристрастіе и дает право взыскательнѣй относиться к чужой работѣ, не искушая сотрудника на замѣчаніе: врачу: исцѣлися сам! А во-вторых, всяческія собранія революціонных годов набили оскомину, и я не мог заставить себя принимать мѣры к сплоченію редакціонной семьи, устраивать словопренія о «текущем моментѣ». Слова эти вызывали внутреннюю дрожь и развивалось настоящее отвращеніе к программам, дискуссіям, планам, смѣтам. Шумно и весело праздновалась годовщина Рѣчи, приходившаяся обычно на масляницу — сначала в роскошной квартирѣ Бака, потом в Европейской гостиницѣ. А вдруг нѣскольким сотрудникам пришло в голову организовать встрѣчу новаго года в помѣщеніи редакціи, на Жуковской у Литейнаго. Тайно от меня позвали каменщиков, которые в два-три часа разобрали одну стѣну, замѣненную занавѣсом, явилась возможность устроить подобіе сцены, и экспромпт удался отлично. Хотя помѣщеніе и обстановка оставляли желать многаго, но здѣсь было уютнѣе и потому пріятнѣе. Я открывал празднество рѣчью, построенной на серьезный политическій лад. Лишь позже я сообразил, что серьезность вносит разладицу, что застольная рѣчь, отвѣчая мѣсту и времени, должна быть легкой, шипучей. Помню весьма удачную рѣчь Каминки, в которой он остроумно отмѣчал слабости отдѣльных сотрудников и, раздавая всѣм сестрам по серьгам, вызывал непрерывный дружный смѣх. Потом начиналось веселье: сотрудники заготовляли печатный номер Рѣчи, честь честью, как она есть, со всѣми отдѣлами, язвительно выпячивая и вышучивая особенности стиля каждаго (мнѣ неизмѣнно доставалось за мои «словечки» и пристрастіе к крылатым словам и поговоркам). Жена, всегда озабоченная добываніем средств для своей безплатной школы и столовой, успѣшно распродавала потом экземпляры этого кривого зеркала Рѣчи по очень высоким цѣнам. Стѣны украшены были отличными каррикатурами — выдающимся каррикатуристом газеты был талантливый молодой художник Ремизов. Оперные, опереточные и драматическіе артисты пѣли, читали, декламировали, (вспоминаю Шаляпина, Збруеву, Донского, Боссе, Черепнина), иногда разыгрывали какой-нибудь скетч. Один такой назывался «Под Дамокловым мечом». Огромный меч свисал с потолка, а под ним даровитый артист Феона изображал меня в борьбѣ с неотвязной дородной женщиной — цензурой, и всѣ покатывались со смѣху при видѣ акробатических ухищреній, к которым он прибѣгал, чтобы улизнуть. Главным организатором и душой был наш корректор — желчный, всѣм и всѣми недовольный Ирецкій, впослѣдствіи автор имѣющих успѣх новеллъ и романов, а его, уж и совсѣм мрачный коллега Моравскій теперь играет сомнительную, но видную роль на Дальнем Востокѣ, как ставленник Японіи в притязаніях на отторженіе Сибири от Россіи. Тут же нельзя обойти молчаніем, что корректоршей была у нас и талантливая поэтесса Вѣра Рудич, впослѣдствіи приславшая мнѣ весьма замѣчательный дневник о первых го-

дах революціи в провинціи, который, к сожалѣнію, не удалось опубликовать в Архивѣ русской революціи.

Если уж никак нельзя было без «текущаго момента» обойтись, я предпочитал приглашать завѣдующих отдѣлами и их помощников к себѣ, к обѣду, конечно, вмѣстѣ с Петрункевичем, Набоковым, Каминкой, которые, неся издательскую тяготу (конторой непосредственно завѣдывал Петрункевич), принимали самое активное участіе и в редакціи. Нѣкоторые из коллег, с которыми я ближе сходился, были нашими гостями по воскресеньям, когда, начиная с обѣда и до поздней ночи, собиралось — таково было мое впечатлѣніе, — больше народа, чѣм могла вмѣстить наша квартира на тихой и вмѣстѣ с тѣм центральной Малой Конюшенной улочкѣ. Об этих воскресеньях вспоминает Изгоев: «как забыть вечер, когда на вашей квартирѣ нѣсколько часов подряд я слушал первые, но уже геніальные опыты еще неизвѣстнаго публикѣ С. С. Прокофьева», а Милюков пишет, что в этой квартирѣ, пріобрѣтавшей значеніе «салона», «встрѣчались между собой наиболѣе видные представители той стадіи русской культуры». Меня дѣйствительно соблазняла мысль превратить наши воскресенья в «салон», я было и лакея завел для шика. Но намѣренія мои сокрушались о непреодолимое отвращеніе жены к барским затѣям, к декораціям, к обстановочной части. Она и с емкостью квартиры не хотѣла считаться и я не раз трепетал, как же мы размѣстимся за столом, да хватит ли посуды, а захочет ли артист в такой невообразимой толчеѣ играть или, тѣм болѣе, пѣть. Однажды и произошел скандал — загремѣла на полу посуда, которую уронил с подноса споткнувшійся лакей, и гости остались без кофе. Но теперь доставляет большую отраду вспомнить, что особенность этого неудавшагося «салона» и была в простотѣ, свободной от условностей, и всѣ поэтому чувствовали себя оживленно и непринужденно. Так и писал Гайфман послѣ смерти жены: «петербургскіе писатели, журналисты, художники, музыканты, общественные дѣятели, которые по воскресеньям собирались в гостепріимном домѣ редактора Рѣчи І. В. Гессена, не забыли хозяйки этого дома, вливавшей такую интимность в пеструю среду гостей, принадлежавших к разным лагерям и толкам в области политики и искусства. Всѣх покойная Анна Исааковна озаряла своей чудесной улыбкой, чаровала прелестью своего простого искренняго отношенія». Культ русской музыки, который на этих воскресеньях, послѣ страстных политических разговоров за обѣдом, царил, — доставлял столько радости и создавал такое сильное отвлеченіе от повседневных, в сущности рутинно однообразных тревог и волненій, что, вѣроятно, поэтому ни жену, ни меня они не утомляли, а напротив доставляли отрадный душевный отдых, который был очень и очень необходим.

Борьба тогда осложнилась, потому что, как уже упомянуто, бороться приходилось на два фронта, и борьба эта, поглощавшая всѣ помыслы и всю энергію, — доводила до одуренія. Правда, на фронтѣ правительственном мы могли быстро позиціи наши выпрямить. Власть не съумѣла воспользоваться своей побѣдой, побѣда ей на пользу не пошла, напротив — дала мощный толчек разложенію режима, и задним числом это подтверждают

изданные послѣ революціи мемуары сановников, в сущности представляющіе повѣствованіе о безраздѣльном господствѣ интриги над государственными интересами. Не сомнѣваюсь, что бюрократія и сама сознавала наше моральное превосходство, таково было отчетливое ощущеніе при встрѣчах с сановниками, с бывшими сослуживцами, демонстративно спѣшившими выказать свое уваженіе и горько жаловавшимися на свою судьбу, обрекающую на служеніе беззаконію, ведущему к неизбѣжной катастрофѣ. Только один раз, из уст фактотума Хвостова и Штюрмера-Гурлянда, с которым я неожиданно встрѣтился у друга моего Полякова, пришлось услышать безапелляціонныя утвержденія, что мы воюем с правительством «из-за власти, а проще сказать — из за ключей от казеннаго сундука». Но чѣм рѣшительнѣе он это утверждал, тѣм безспорнѣе тогда казалось, что другого аршина у Гурлянда в моральной кладовой не только не имѣется, но он и не подозрѣвает, что другой аршин существует. Поэтому, как только удалось на данном фронтѣ осмотрѣться, нетрудно было почувствовать и понять, что ни мужество, ни честь не утрачены, а слѣдовательно, по нѣмецкой поговоркѣ, ничего и не потеряно.

Тяжелѣе было положеніе на другом фронтѣ и, главное, в тылу. Чувство безнадежности охватывало при видѣ безоглядного бѣгства от «политики», которой вчера так жадно всѣ упивались, и с горечью вспоминались переполненныя залы кадетских собраній, при рожденіи партіи. Но вѣдь и наши воскресенья, в сущности, были такой же данью потребности в отдохновеньѣ от политики, на подъемѣ освободительнаго движенія подобное времяпрепровожденіе считалось бы грѣхопаденіем. Теперь Коковцев самодовольно увѣрял иностраннаго интервьюэра, что политика интересует только на протяженіи не дальше тридцати верст вокруг Петербурга, непонимая, что неустойчивость массы, уподобляющейся, по удачному выраженію Плевако, кучѣ кирпичей, из которой можно построить и храм Божій и кабак, представляет явленіе весьма опасное. Так я и предостерегал в ежегодникѣ Рѣчи: «сама по себѣ повышенная чувствительность, болѣзненная реакція на всѣ явленія еще больше расширяет сферу неограниченных возможностей, в которой неизмѣнно протекает наша государственная жизнь». А покаянное настроеніе интеллигентских вождей невольно напоминало нарисованную Щедриным картину самоочищенія пошехонцев. С большой силой обрушился в Рѣчи талантливый критик Чуковскій на новую литературу, которая воспѣвала рабій фатализм и обреченность: «точно всѣ мы агнцы, влекомые на закланіе. Барахтайся, — не барахтайся, ты — все равно обреченный». Стоит воспроизвести один из ярких образцов такого направленія — стихотвореніе Соллогуба, на которое Ч. и ссылался: «перехитрив мою судьбу, уже и тѣм я был доволен, что счастлив был, когда был болен, что счастлив буду и в гробу. Перехитрив мою судьбу, я свѣтлый день печалью встрѣтил, и самый ясный день отмѣтил морщиной рѣзкою на лбу. Ну, что же, злись, моя судьба! Что хочешь, то со мною дѣлай: ты не найдешь в природѣ цѣлой такого кроткаго раба». Ежемѣсячные, так назыв. толстые журналы, отличавшіеся до тѣх пор выдержанностью міросозерцанія, стали замѣнять-

ся «альманахами», в которых каждый участвующій отвѣчал за самого себя, не интересуясь, с кѣм он стоит рядом и что его сосѣд говорит. А чтобы не спасовать перед альманахами, пользовавшимися большим успѣхом, и журналы вынуждены были итти навстрѣчу новым вѣяніям и, если в пору разгрома Народной Воли — в началѣ восьмидесятых годов, террористы из под полы продавали запрещенную правительством проповѣдь Толстого о непротивленіи злу, то теперь случалось, что проповѣдь фатализма находила себѣ мѣсто на страницах журналов, выходивших под знамением революціонной борьбы.

Милюков усматривает мою «большую заслугу в том, что Рѣчь была и осталась монолитной». А вѣдь Вѣхи чуть было не поколебали эту монолитность. Одним из семи авторов был вѣдь Изгоев, пожалуй, наиболѣе вѣрный и преданный сотрудник Рѣчи, по дѣтски прямолинейный, но искренній и честный. На вдумчивое и внимательное отношеніе вправѣ был притязать и другой автор, столь почитаемый мною, морально чуткій Булгаков. Я уже упоминал, что «семь смиренных», между собой несогласно настроенных, объединились только в отрицательном отношеніи к интеллигенціи и с разных сторон на нее обрушились. Поэтому не стоило большого труда столкнуть их лбами, обличить в противорѣчіях, в отступничествѣ, а priori подрывающем значеніе и стойкость новых взглядов. Я не мог отказать Левину и Мережковскому, которые устремились в эту брешь и наносили чувствительные удары, но вмѣстѣ с тѣм было ясно, что и самыя безупречныя неотразимыя логическія возраженія не остановят безотчетнаго увлеченія, что для борьбы с ним требуются другіе пріемы. Поэтому я охотно предоставил Изгоеву столбцы для возраженій, но напрасно убѣждал вырвать из рук противников их оружіе, признать противорѣчія, не отвергать упреков в безтактности, несвоевременности публичнаго покаянія, односторонности и т. д., но с своей стороны, потребовать опредѣленнаго отвѣта на основной вопрос, считают ли противники Вѣх міросозерцаніе интеллигенціи непогрѣшимым, или же признают, что успѣхи науки и тяжкій опыт практическаго примѣненія провозглашенных 19-м вѣком принципов поколебали их прочность и требуют пересмотра? Мнѣ казалось, что еслибы вопрос так, ребром поставить, еслибы, вмѣсто всенароднаго покаянія, принимавшаго, в обстановкѣ пораженія, оттѣнок угодливости, намѣтить отправный пункт новаго пути, на который зовет историческая судьба, то Вѣхи могли бы содѣйствовать оздоровленію общественной атмосферы и за них не ухватились бы мракобѣсы, воспользовавшіеся проливаемыми слезами, как водой на свою, безпощадно моловшую мельницу, и хулиганы, которым поношеніе интеллигенціи помогло развязно сбросить цѣпи долга, отвергнуть примат общественнаго служенія, составлявшій отличительную черту интеллигенціи. Приходилось, однако, воздержаться от вмѣшательства в безбрежную полемику, ибо оно угрожало еще выше поднять ея волны. Положеніе редактора Рѣчи обязывало к сугубой осторожности: в небывалой вспышкѣ полемических страстей малѣйшая неясность, неточность могла бы дать жадно искомый матеріал для новых обвиненій, которыя легко перенесены были бы с меня на Рѣчь. С большой

неохотой я и допустил, в видѣ исключенія, думаю — единственнаго, дискуссію, ощущая ее, как грѣхопаденіе.

В то переходное время разсыпались твердыни общественнаго мнѣнія, под защитой которых бездумно можно было сидѣть, зная наперед, что в том или другом случаѣ «скажет княгиня Марья Алексѣвна». Ставшій не ко двору столыпинскому режиму и уволенный в отставку туркестанскій генерал-губернатор Субботич варіировал на столбцах Рѣчи крылатое выраженіе, сказав: «Россія — страна неограниченных возможностей». Каждая такая осуществлявшаяся возможность ставила в тупик, вызывала растерянность и разброд сужденій. Думалось поэтому, что священная задача газеты заключается прежде всего в противодѣйствіи разброду, содѣйствіи новой кристаллизаціи распылившагося общественнаго мнѣнія, и если никогда вообще не манило изданіе антологіи публицистической разноголосицы, то теперь представлялось необходимым, чтобы газета говорила четко, опредѣленно и ясно. Такая задача тѣм болѣе была настоятельна, что, как уже упоминалось, под покровом Вѣх и потрепанных старых радикальных знамен, общественные дѣятели ухитрялись проводить порнографическую пропаганду, а то и просто уголовныя продѣлки. Яркій примѣр дала газета Русь А. А. Суворина, выкормленнаго Новым Временем, а потом, из за неладов с отцом, горько жалующимся на сына в своем дневникѣ, основавшаго новую газету. Он представлял настоящій редакторскій гротеск — содержаніе газеты интересовало его не само по себѣ, а лишь с точки зрѣнія сенсаціонных бьющих в глаза заголовков. Содержаніе пусть будет какое угодно, лишь бы подано было заманчиво и изящно, если для этого требуется отсѣчь от статьи кусок или, напротив, нѣсколько строк прибавить, — сдѣлайте милость. Как на Прокрустовом ложѣ, статья удлинялась или укорачивалась примѣнительно к требованіям рекламнаго расположенія матеріала. А что касается содержанія, оно могло быть и «лѣвѣе здраваго смысла» (по тогдашнему выраженію), было бы лишь ходким товаром. В большом ходу были тогда наскоки на кадетов, утративших свою популярность, и, гарцуя слѣва Рѣчи на непримиримом радикализмѣ, Русь под шумок проявляла большую неразборчивость в распоряженіи поступившими в контору газеты пожертвованіями на разныя общественныя цѣли, и чтобы выпутаться из затрудненій, не остановилась перед весьма сомнительными финансовыми комбинаціями, а в концѣ концов и перед шантажированіем крупных петербургских банков. Хотя точных доказательств не было, Рѣчь начала рѣшительную кампанію против вопіющаго разложенія общественных нравов, Русь пыталась то защищаться, то грозить и, наконец, два сотрудника газеты явились неожиданно к Милюкову и один из них нанес ему удар по лицу. А Милюков был тогда всецѣло поглощен Гос. Думой (на другой день ему предстояло выступить по поводу внесенных Столыпиным законопроектов об уничтоженіи автономіи Финляндіи). Милюков тотчас, совершенно спокойно, сообщил мнѣ о хулиганской выходкѣ и привел в такое отчаяніе, точно я сам совершил непоправимую гнусность. Но тут уж я дал полную волю негодованію, заставил Суворина, несмотря на хитрѣйшія увертки, принять суд чести, который вы-

нес ему суровый приговор, повлекшій за собой вскорѣ безславную кончину газеты.

Выступленіе Милюкова против законопроекта имѣло и другія неожиданныя послѣдствія: издававшіяся за счет правительственных субсидій реакціонныя газеты Русское знамя и Земщина обвинили Рѣчь в полученіи от финнов взятки в 250.000 рубл., я отвѣтил высокомѣрным отрицаніем, а газеты продолжали утверждать и привели номера почтовых талонов, по которым поступили деньги. Я еще рѣшительнѣе заявил, что все это — наглая ложь, и тогда ко мнѣ пришел директор-распорядитель типографіи акц. о-ва Слово, в которой наша газета, как раньше и Право с самаго основанія, печаталась. Акціи общества принадлежали финнам, директором был Вальдэн, тогда совсѣм скромный и почтительный молодой человѣк, послѣ завоеванія Финляндіей самостоятельности бывшій неоднократно военным министром. К моему ужасу, он весьма запутанно разсказал, что типографія дѣйствительно получила по переводам 250.000 руб., объясняя это так, что разница между твердым курсом рубля в почтовых учрежденіях и, хотя и незначительно, но все же колеблющимся курсом рубля в частных банках, дает возможность, переводя рубли через банк пріятелю в Финляндіи и получая их обратно почтовыми переводами, пріобрѣтать нѣкоторую прибыль на такой замысловатой операціи. Это было крайне непріятно, потому что, вмѣсто категорическаго заявленія «наглая ложь», что по существу и оставалось абсолютно правильным, пришлось объяснять, в чем дѣло. Доказательства, что деньги циркулируют между Петербургом и Гельсингфорсом, оставляя в руках отправителя нѣкоторую прибыль, были безупречны, но враги не унимались, и наш адвокат настаивал на предъявленіи обвиненія в клеветѣ. Я горячился, доказывая, что унизительно оправдываться перед наймитами правительства и требовать приговора от суда, запуганнаго и развращеннаго Щегловитовым. «Я и для себя, говорил я Петрункевичу, считаю вправѣ требовать от общественнаго мнѣнія, чтобы оно не вѣрило клеветѣ Земщины. Но если Вы, Иван Ильич, послѣ сорокалѣтней жертвенной дѣятельности, должны доказывать, что не берете взяток, то стоит ли вообще работать на общественном поприщѣ». Всѣ, однако, согласились с Грузенбергом и, по обыкновенію, начались безконечныя совѣщанія о подготовкѣ процесса. Помню, одно из таких совѣщаній созвано было в моем редакціонном кабинетѣ в виду отъѣзда в тот день Грузенберга на защиту в Ташкент: нужно де обсудить, что должно быть сдѣлано за время его отсутствія. Когда всѣ собрались и разговор завязался, я, стоя у конторки, занялся просмотром срочнаго матеріала — сознаніе, что типографія заждалась присылки рукописей для набора, вызывало непріятное раздраженіе. Грузенберг прервал обсужденіе и, показывая на меня, обратился к присутствующим: «Посмотрите на этого человѣка! Вѣдь я пришел сюда по его дѣлу. А он, как ни в чем не бывало, корпит над рукописями, пусть другіе разговаривают!» Польщенный общим смѣхом, он еще больше воодушевляется: «А хотите, я вам скажу, что этот человѣк — не человѣк, а мертвечина — сейчас думает». Тут и я присоединяюсь к общему хору: «Конечно, скажите, очень интерес-

но». — «Да, да, очень интересно! Он думает обо мнѣ: вот странный человѣк! Пришел со словами, что ему некогда, что через нѣсколько часов отходит поѣзд, и сидит, сидит без конца, никак не может уйти и все говорит». Нельзя было не расхохотаться, но в душѣ екнуло: как же он должен себя чувствовать, если и сам так отчетливо понимает нелѣпость своего поведенія, но преодолѣть себя безсилен. В другой раз он прислал в Право для напечатанія два отчета о суд. засѣданіях, в которых выступал. Один, дѣйствительно интересный, тотчас и был опубликован, а другой ничего поучительнаго не содержал. Грузенберг настойчиво требовал напечатанія, звонил по телефону, так что, истощив всѣ доводы, я замѣтил, что разговаривать больше не о чем, я формулирую свое мнѣніе в письмѣ. Недѣли через двѣ мы встрѣтились за обѣдом в ресторанѣ, опять, по его требованію, было совѣщаніе по какому-то поводу. Оно закончилось в нѣсколько минут, а потом он стал разсказывать о происшедшем инцидентѣ. «Он — показывая на меня — грозил письмо написать. Хотите скажу вам, что он написал бы». Злобно глядя на меня болѣзненно выкатившимися глазами, он отчеканил: «Дорогой Оскар Осипович, я очень цѣню всѣ услуги, которыя вы, как юрисконсульт, нам оказываете, но не могу расплачиваться за них интересами подписчиков Поава». Гомерическій смѣх, а я вполнѣ искренне отвѣчаю: «Браво, О. О.! Так остроумно я не сумѣл бы выразиться». А по дѣлу Земщины всѣ совѣщанія оказались безплодными. Суд, правда, признал — слишком краснорѣчивы были доказательства — что никаких данных о полученіи взятки не имѣется, но все же оправдал обвиняемых, находя, что они могли повѣрить в свое ложное утвержденіе.

Наиболѣе тяжкими, казалось — безпросвѣтными — годами были 1908 и 1909. Таково было настроеніе, что в новогоднем обозрѣніи внутренней жизни я писал: «Сегодня безспорно самый лучшій, единственный свѣтлый день истекшаго года, сегодня наступает его безславная кончина, с чувством облегченія мы провожаем его ad patres». И должно же было так случиться, чтобы именно в этом 1909 г., как будто нарочно для того, чтобы оформить и закрѣпить разочарованіе в революціонной дѣятельности, произошло сенсаціонное разоблаченіе предательской роли Азефа, стоявшаго во главѣ боевой организаціи эсеров. Крупныя предательства в партіи бывали и раньше — Гольденберг в 1879 г., Дегаев в 1883 г.: первый, как Іуда, повѣсился в Петропавловской коѣпости, второй искупил вину убійством виднаго жандармскаго дѣятеля Судейкина, их предательство было одной из причин крушенія «Народной Воли». Азеф, искусно разыгрываемой ролью активнаго провокатора, поставил себя выше всяких подозрѣній, и, легко посрамляя скептиков, обращавших не раз вниманіе ЦК на странности его поведенія, добился такого исключительнаго положенія, что вправѣ был бы сказать: боевая организація это — я! Долго и упорно, с чисто маніакальной настойчивостью пришлось Бурцеву тщательно плести и раскидывать сѣть собираемых улик, прежде чѣм удалось на Азефа ее накинуть. Надо было быть именно Бурцевым, чтобы одержать верх над инстинктивным сопротивленіем эсеровскаго ЦК. Один из членов говорил: «Пора принять мѣры и усми-

рить Бурцева», а Вѣра Фигнер предупреждала, что придется «пустить себѣ пулю в лоб за то зло, которое вы причинили революціи». Но сам Б. говорил мнѣ, что разоблаченіе Азефа стало у него «навязчивой идеей», и даже под пытками он не перестал бы твердить, что Азеф — провокатор, так он был этой мыслью одержим. Только поэтому эсеры и вынуждены были оффиціально заняться разслѣдованіем собранных улик и назначили суд под предсѣдательством кн. Кропоткина с участіем Вѣры Фигнер и Германа Лопатина, но суд был не над Азефом, а над Б. и, несмотря на самыя убѣдительныя доказательства, судьи отказывались вѣрить, и Б. самому пришлось предать б. директора департамента полиціи Лопухина, довѣрительно ему признавшагося, что Азеф состоял на службѣ агентом департамента, — чтобы наконец поколебать увѣренность судей. Но и послѣ этого ЦК не осмѣлился поднять руку на Азефа, опасаясь «междоусобной войны внутри партіи», и дал возможность страшному предателю, ведшему, пока длился суд, разгульную жизнь со своей любовницей, скрыться. Только теперь эсеры спохватились и возложили на А. Аргунова порученіе разыскать и убить Азефа, и уже здѣсь в Берлинѣ Аргунов, видом и манерами похожій на мирнаго обывателя, с презабавным добродушіем разсказывал, как он выслѣживал Азефа в Берлинѣ и чуть не укокошил нѣмца, в котором разгоряченное желаніе склонно было опознать тщетно разыскиваемаго предателя.

И вот Азеф разоблачен. Мнѣ лично с ним не приходилось встрѣчаться, но не раз и я сталкивался с отраженіями его предательства. В октябрѣ 1904 кн. Петр Долгоруков пріѣхал в Петербург из Парижа, гдѣ, в качествѣ представителя Союза Освобожденія, принимал участіе с Богучарским, Милюковым и Струве в съѣздѣ нѣкоторых револ. партій для выработки согласованной программы дѣйствій. В Петербургѣ в это время назначен был Съѣзд Союза, и, заѣхав за мною, чтобы вмѣстѣ отправиться в засѣданіе, Долгоруков разсказал, что, как ему доподлинно стало извѣстно, Департамент Полиціи имѣет подробнѣйшія свѣдѣнія обо всем, что на съѣздѣ в Парижѣ происходило. Долгоруков был товарищем по полку тогдашняго министра вн. д. кн. Святополка-Мирскаго и, вѣроятно, поэтому и нему просочились тайны департамента. Он расчитывал, что непремѣнно будет в ближайшіе дни арестован, и совѣтовался, какой тактики держаться на допросѣ. Ареста, однако, не послѣдовало и тогда это объяснялось быстрым развитіем бурных событій, в дѣйствительности же диктовалось опасеніем Департамента усилить уже и без того возникшія подозрѣнія против Азефа, который от партіи эсеров тоже был участником Парижскаго съѣзда.

Департамент берег агентов, как зѣницу ока, и такая тактика часто ограждала революціонеров от отвѣтственности даже за самыя серьезныя уголовныя дѣянія. Проф. В. Мякотин разсказывает, напримѣр, что, арестованный в 1909 г., он больше всего опасался, что Департаменту стало извѣстно его дѣятельное участіе в эсеровской «Революціонной Россіи», грозившее каторжными работами. Однако, на неоднократных допросах его об этом не спрашивали и кара была выбрана совсѣм слабая — нельзя было сомнѣваться, что сотрудничество в подпольном органѣ осталось для жандармов тайной.

Между тѣм из напечатанных в моем Архивѣ Русской Революціи воспоминаній жанд. генерала Спиридовича Мякотин узнал только теперь, что всѣ подробности его участія были извѣстны, даже и заглавія всѣх его статей, причем Спиридович утверждает, что появленіе этого журнала и образованіе партіи эсеров произвело в кругах Департамента «сильное впечатлѣніе». И тѣм не менѣе Мякотину предоставлено было и дальше дѣйствовать и редакцію Русскаго Богатства, членом которой М. состоял, жандармы не трогали, хотя точно знали о тѣсных ея связях с эсерами — не трогали только потому, что свѣдѣнія были получены от Азефа, котораго нежелательно было скомпрометировать. Тайны Департамента столь же ревниво охранялись чиновниками, уже вышедшими в отставку, даже и такими, которые поспѣшили перейти в другой лагерь: во время I Думы ко мнѣ часто захаживал тогда уже уволенный в отставку Лопухин, зондируя почву, примут ли его в адвокатуру и мог ли бы он вступить в партію кд. Однажды, когда он жаловался, что его «лукавый попутал» бросить развертывавшуюся перед ним блестящую судебную карьеру и занять, по настоянію Плеве, пост директора Департамента Полиціи, — вдруг вспомнился разсказанный выше эпизод и я спросил, насколько основательны были опасенія кн. Долгорукова. Лопухин подтвердил, что уже через двѣ недѣли послѣ съѣзда в Парижѣ Департамент имѣл самый подробный отчет. На вопрос же, как могло случиться это, если участники друг другу больше довѣряли, чѣм самим себѣ, собесѣдник увильнул от отвѣта, сославшись на болтливость «хваленых конспираторов». Вмѣсто того, чтобы воспользоваться случаем и хотя бы в общих выраженіях, даже не называя Азефа, насторожить мою бдительность, он постарался замести всѣ слѣды, а три года спустя сам тяжко пострадал.

Во время II Думы фракція эсеров в Апрѣлѣ стала глухо намекать, что собирается внести запрос правительству, который разорвется, как бомба, и свалит Столыпина. Постепенно намеки становились настойчивѣй и завершились приглашеніем совмѣстно с фракціями кд. и сд. обсудить предъявленіе таинственнаго запроса. Засѣданіе состоялось в клубѣ кд. в отдаленной комнатѣ с соблюденіем максимальных предосторожностей, чтобы никто, Боже упаси, не узнал о совѣщаніи, в котором участвовало по одному представителю от фракціи и от центральных комитетов. Из подробнаго доклада выяснилось, что на пароходѣ, шедшем из Гетеборга в Штеттин, один из пассажиров, высланный из Швеціи эсер Черняк, внезапно умер. Эсеры получили фотокопіи переписки между министерством вн. дѣл и юстиціи, из коей неопровержимо явствует, что Черняк отравлен тайно сопровождавшими его агентами Департамента. Фотографіи тут же были продемонстрированы, и, так как по службѣ в министерствѣ я детально знаком был и с порядком междувѣдомственных сношеній и с почерком лиц, подписи коих имѣлись на фотографіях, мнѣ с перваго же взгляда стала ясна грубая фальсификація. Я сразу это и высказал категорически, не расчитав, что излишняя горячность возбудит у эсеров подозрительное отношеніе к экспертизѣ. В особенности Чернов довольно безцеремонно давал понять, что мои сомнѣнія диктуются опасеніями за судьбу кабинета Столыпина, котораго де кадеты боятся сва-

лить. Чѣм больше я горячился, тѣм настойчивѣе Чернов внушал недовѣріе к моим доводам, и совѣщаніе разошлось, не приняв никакого рѣшенія. А затѣм фотографіи показаны были моему начальнику в министерствѣ Гальперну, и он категорически подтвердил мое мнѣніе, вслѣдствіе чего эсеры от запроса отказались, бомба не была взорвана. Между тѣм перед Пасхой ко мнѣ, как к петербургскому депутату, явился нѣкто Мацкевич с просьбой ходатайствовать об освобожденіи, хотя бы временном на поруки, его сына, арестованнаго по обвиненію в участіи в вооруженной экспропріаціи. Такое ходатайство было явно безнадежно. Но проситель имѣл столь жалкій вид, так умолял, что пришлось дать ему обѣщаніе, и на другой день я был у прокурора суд. палаты Камышанскаго. Подробно разсказав всѣ обстоятельства дѣла, безспорно уличающія молодого Мацкевича, Камышанскій выразил сожалѣніе, что не вправѣ, в виду столь грознаго обвиненія, исполнить мою просьбу. Я стал откланиваться, но он рѣшительно отказался отпустить меня и тут послѣдовал замѣчательный діалог или, точнѣе сказать, монолог. «В кои то вѣки вы ко мнѣ пожаловали, так уж хочется побалакать. Как вы оцѣниваете наше положеніе?» На сухой отвѣт, что ничего хорошаго не вижу, К. стал пространно и горячо доказывать, что для пессимизма нѣт никаких основаній, что теперь, послѣ благополучной ликвидаціи инцидента сд. Зурабова, все пойдет уже ладно и хорошо. «Тѣм лучше, если правы вы, Петр Константинович». — «Да, но вы чѣм то огорчены, что-то вас давит, а сказать не хотите. Вы вот ко мнѣ обратились, я вам все подробно разсказал, а вы скрываете». — «Если вы бросите намеки и прямо скажете, о чем спрашиваете и чѣм интересуетесь, я вам также прямо отвѣчу, хочу ли и могу ли говорить об этом». — «Хорошо! Если так, если вы уклоняетесь, то позвольте, я уж вам разскажу...» И самым обстоятельным образом, даже с нѣкоторыми деталями, на которыя во время совѣщанія я не обратил вниманія, он разсказал все, что под величайшим секретом происходило в укромном уголкѣ нашего клуба, кто что говорил, как держался и т. д. «Они (т. е. эсеры) укоряли вас, что вы поддерживаете Столыпина, ага! Они не знают, какую услугу вы им оказали. Мы не требовали бы 30 дней на отвѣт по запросу, довольно было 30 минут, чтобы успѣть съѣздить в министерство и взять оттуда нужные документы. Мы разорвали бы им бомбу!» Он все больше горячился, и это давало возможность скрыть смущеніе и стыд. Теперь, когда роль Азефа была разоблачена, ясно стало, что, узнав от Чернова о ходѣ совѣщанія, он немедленно доложил все по начальству, и я не сомнѣваюсь, что поддѣлка документов была тоже чисто провокаторской выходкой, чтобы нанести Думѣ удар, если бы она поддалась на удочку и внесла, на основаніи фальшивых документов, запрос правительству. А горячился так Камышанскій, повидимому потому, что я невольно разстроил хитросплетенную игру и в особенности огорчил самого К., который мысленно уже предвкушал громы своего краснорѣчія и наслаждался ими. При III Думѣ мнѣ уже пришлось прямо услышать имя Азефа. Отбывавшему в петербургских «Крестах» наказаніе по судебному приговору б. депутату этой Думы А. Колюбакину удалось сообщить из тюрьмы Милюкову, что Азеф оговорил его

и меня в том, что мы собирали для эсеров, подготовлявших тогда покушеніе на жизнь П. Н. Дурново, свѣдѣнія о его времяпрепровожденіи. Милюков, чрезмѣрно дорожившій званіем депутата, встревожен был тѣм, что и его может постичь участь Колюбакина, но оговору Азефа хода дано не было.

Итак, Азеф наконец разоблачен, сенсація такая, что в теченіе долгих недѣль в Петербургѣ ни о чем другом не шумят, ничѣм другим не волнуются. Проф. М. М. Ковалевскій пригласил к себѣ на совѣщаніе (помнится, сдобренное блинами) ряд лидеров петербургской интеллигенціи. Было очень бурливо, рѣчи сыпались как из рога изобилія, тѣ, кто знал Азефа, задним числом настаивали, что его поведеніе не могло не вызывать серьезных подозрѣній: вспоминаю в особенности адвоката кн. Сидамон Эристова, слишком бойко разсказывавшаго, как однажды он неожиданно встрѣтил Азефа на премьерѣ в Александринском театрѣ и ахнул от изумленія, а Азеф в отвѣт улыбнулся и громко (оратор наглядно показал этот жест) щелкнул пальцами — знай, мол, наших! Другіе переносили центр тяжести на предстоящее обсужденіе думскаго запроса, которое должно было нанести серьезный удар правительству.

Среди немногих молчавших вниманіе привлекал В. Я. Богучарскій, котораго я искренне любил и очень высоко цѣнил — это был один из лучших представителей русской интеллигенціи. Он совершенно отрекался от своей личности и весь был поглощен одной задачей — сверженіем самодержавія. Однако, он не был фанатиком вродѣ Бурцева, с которым много работал вмѣстѣ, напротив, был человѣком весьма трезвым и разсудительным, но все было расчитано и направлено к одной единственной цѣли. Б. написал обстоятельную исторію революціоннаго движенія, издавал весьма цѣнный историческій журнал «Былое» и вся его литературная дѣятельность тоже била в одну точку. Напряженная односторонность доводила его до гротеска — мнѣ врѣзались в память похороны Н. К. Михайловскаго, происходившія 28 Января 1903 года. Это было на другой день послѣ объявленія войны с Японіей, когда центр общественнаго вниманія перемѣстился, по городу ходили патріотическія манифестаціи, и похороны пользовавшагося огромной популярностью публициста лишились всякой импозантности. Идя за гробом, Богучарскій, маленькій, худой — кожа да кости — с болѣзненно блестящими глазами, подошел ко мнѣ и одной рукой нервно подергивая рѣдкую бороденку, другой — до боли сжимая мою руку, с раздраженіем сказал: «Эх, эти народники! И умереть во время не умѣют...» Это было произнесено с глубокой серьезностью, он был твердо убѣжден, что и смертью своей (как учил Некрасов) нужно оказать содѣйствіе борьбѣ с самодержавіем. Увы! Сам он тоже умер «не во время» в разгарѣ великой войны, умер мучительной смертью от рака пищевода, и до послѣдняго вздоха видѣл пред собою только одну — все туже цѣль. Теперь, при обсужденіи значенія предательства Азефа, он молчал, на нервном лицѣ отразилось такое тяжелое страданіе, что мучительно было на него смотрѣть. Его угнетала не столько раскрывшаяся вдруг бездна человѣческой низости, сколько, что Азеф облил грязью революціонное движеніе, которое должно оставаться чистым, неза-

пятнанным, и он молчал, ибо смыть грязь никакими словами уже нельзя. Мнѣ тоже не хотѣлось выступать, потому что внутренне я сильно волновался и еще опасался, чтобы в моих словах опять не стали искать задних мыслей. Но видя перед собою страдальческое лицо Богучарскаго, рѣшил, что в такой момент нужно сказать все, что думаешь.

Мнѣ казалось, что послѣ разоблаченія личность Азефа представляет гораздо меньше интереса, чѣм принципіальное значеніе его предательства. Способом своей защиты Азеф окончательно открылся, как страшный злодѣй, но вмѣстѣ с тѣм, как и мелкая гнусная душонка. Можно себѣ, однако, представить, что, вызванный на суд, такой предатель, вмѣсто жульнических уверток и попыток установить свое алиби, прямо подтвердил бы двойную игру и объяснил ее радѣніем уменьшить количество жертв, которых безжалостно требовала от партіи террористическая дѣятельность. Он мог бы мотивировать свое поведеніе примѣрно так: «Если бы я заявил Боевой Организаціи, что для убійства в. кн. Сергѣя придется рискнуть смертью нѣскольких десятков членов партіи, развѣ кто поколебался бы дать на это согласіе. А с помощью двойной игры покушенія удавались гораздо вѣрнѣе и цѣною много болѣе экономной. Сообщать о моей роли боевой организаціи я избѣгал только потому, что не желал обременять и чужую совѣсть, и всю невыносимую тяжесть предательства отдѣльных товарищей, необходимаго для поддержанія выгодной для партіи двойной игры, взвалил на самого себя. Я участвовал и организовал свыше 20 покушеній, в том числѣ убійство Плеве, Богдановича, в. кн. Сергѣя, подготовил два покушенія на государя, неудавшіяся не по моей винѣ, и вы сами гласно признали, что в исторіи не только русскаго революціоннаго движенія не было болѣе блестящаго имени, чѣм имя Азефа. Теперь же вы знаете еще, что свое блестящее имя я заслужил цѣной страшнаго груза, которым отягчил совѣсть в интересах партіи. Вот моя грудь — стрѣляйте!» Как же в таком воображаемом случаѣ поступили бы судьи Азефа? А развѣ нельзя, развѣ не хочется представить себѣ, чтобы могло быть именно так? Развѣ в этом не выражается предѣльное торжество лозунга — цѣль оправдывает средства. А с другой стороны, развѣ вообще можно было расчитывать, чтобы человѣк средній, не обладающій исключительными душевными силами, в состояніи был вести точную бухгалтерію своего поведенія, вести двойную жизнь и строго и рѣзко разграничивать область личной жизни от дѣятельности террориста? Вот почему меньше всего в данном случаѣ слѣдует интересоваться личностью мерзавца Азефа, а важно обратить вниманіе на тѣ принципіальные вопросы, которые так властно выдвинуло его сенсаціонное предательство.

Так приблизительно я говорил, опасаясь, что громы и молніи обрушатся на меня. Но не пришлось услышать никаких возраженій, и я отнюдь не приписывал это неотразимости высказанных соображеній, а скорѣе тому, что они не вызвали ощущенія необходимости серьезно с ними считаться. Косвенный отвѣт я получил много позже, когда узнал, что один из членов ЦК Слетов, совершившій послѣ разоблаченія нелегальную поѣздку по Рос-

сін, доложил эсеровскому ЦК, что, «повсюду в партійных кругах встрѣтил по отношенію к террору частью полное равнодушіе, частью нехорошее предубѣжденіе». Разоблаченіе Азефа послужило тѣм осужденіем террора, котораго Столыпин так настойчиво добивался от II Думы. Но правительство тоже упрямо отказалось извлечь урок из этой дьявольской сенсаціи. Надо было ожидать, что оно так или иначе постарается затушевать свою ошибку и во всяком случаѣ отречется от предателя, совершенно безспорно уличеннаго в организаціи ряда убійств. Каково же было мое изумленіе, когда, за нѣсколько дней до разсмотрѣнія в Думѣ запроса об Азефѣ, Клячко принес интервью из «сфер», которое устами анонимнаго сановника (в нем нетрудно было расшифровать самого Столыпина), выгораживало Азефа, изображая его преданным агентом Департамента. Я никак не мог этому повѣрить, убѣждал сотрудника, что над ним подшутили и, приводя логическіе доводы, спрашивал, неужели он сам не понимает, что Столыпин не рѣшился бы отстаивать предателя. Клячко выходил из себя, отвѣчал, что он не понимает и понимать не старается, но горячо увѣрял, что сомнѣніям не может быть мѣста, что интервью вполнѣ серьезно, аутентично и предвосхищает рѣчь Столыпина в Думѣ в отвѣт на запрос. С большими колебаніями я напечатал интервью, а затѣм выступленіе Ст. в Думѣ дискредитировало мою прозорливость, и передразнивая меня, Клячко язвительно спрашивал, неужели я не понимаю, что не всегда ум и пониманіе бывают кстати, что в политикѣ они могут мѣшать пониманію происходящаго.

А что же случилось дальше? Эсеры не задумались и послѣ разоблаченія Азефа разрѣшить одному из членов партіи, Петрову, играть такую же двойную роль, правительство не усомнилось принять его услуги, и он убил начальника охраннаго отдѣленія Карпова, показав на допросѣ, что дѣйствовал по наущенію б. начальника этого отдѣленія Герасимова, вслѣдствіе чего послѣдній с трудом избѣжал преданія военному суду. Эсеры же расплатились за игнорированіе урока тѣм, что, когда Савинков задумал возстановить честь террора, то среди отобранных для «боевой организаціи 12 человѣк, с большим революціонным прошлым, с долгими годами тюрьмы, каторги и ссылки за плечами, трое оказались предателями, состоявшими на службѣ в охранкѣ». А еще через год Азефовщина снова громко о себѣ напомнила, когда ея защитник Столыпин сам был убит «сотрудником» охранки Багровым в Кіевѣ, гдѣ были приняты совершенно экстренныя мѣры для огражденія безопасности. Но наиболѣе загадочным, положительно роковым было, что и сам Столыпин неоднократно высказывал убѣжденіе, что будет убит агентом Охраны, а когда, послѣ его убійства, государь приказал Коковцеву ликвидировать разслѣдованіе против тов. министра Курлова и премьер возражал, что слѣдствіе могло бы, быть может, раскрыть «даже нѣчто большее, нежели преступную небрежность», государь согласился, что поступил неправильно, что так дѣлать не слѣдует, и все-таки своего приказанія не отмѣнил. Создается впечатлѣніе, будто Азефовщина так сплелась, так вросла в самодержавный режим, что ее уже нельзя было вырвать и нужно было считаться с ней, как с неизбѣжным злом.

Хочется еще сказать о главном «виновникѣ» разоблаченія В. Л. Бурцевѣ, которому борьба с Азефом обошлась очень дорого. Он сам охотно разсказывал, как измучили его долгіе тщетные поиски провокатора, наличность коего в партіи все чувствительнѣе давала себя знать, как однажды, увидѣв давно знакомаго ему Азефа, он вдруг осѣнен был догадкой, сразу перешедшей в увѣренность, что провокатор и есть Азеф, как послѣ этого пошел напролом, подвергая свою жизнь опасности и со стороны эсеров и со стороны Департамента Полиціи. Тѣм сильнѣе должен был подѣйствовать тріумфальный успѣх. Мало сказать, что успѣх вскружил голову, нѣт — он нарушил душевное равновѣсіе его: если «самое блестящее имя» потонуло в кровавой грязи, если величайшаго мерзавца можно было принимать за героя, стоящаго выше всяких подозрѣній, — на кого же вообще можно положиться. И теперь у Бурцева, и раньше страдавшаго односторонностью, создалась презумпція, одержимость, он всюду чуял провокацію и считал, что каждому можно предъявить требованіе представить доказательства непричастности к Азефовщинѣ. Встрѣтившись годом позже с Е. Д. Кусковой во Франціи, он поручил ей предупредить, что возлѣ меня стоит какой-то опасный провокатор. «Бурцев назвал мнѣ и фамилію, но настолько безупречную, что я возмутилась: да послѣ этого, Владимір Львович, вы и меня станете уличать в провокаторствѣ, на что он совершенно спокойно отвѣтил: а как же бы вы думали, Екатерина Дмитріевна, вам всѣм теперь надо ой, ой с какой опаской ходить! — я ему заявила, что не считаю себя вправѣ воспроизводить его квалификацію и потому не скажу и вам фамиліи названнаго им лица, а, вернувшись в Петербург, кстати узнала, что лицо это теперь отошло от вас.» Так и осталось неясным, о ком шла рѣчь но я ни в малѣйшей степени не обезпокоился, будучи увѣрен, что и сам распознаю нюхом провокатора.

В эмиграціи Бурцев принял активнѣйшее участіе в разслѣдованіи исчезновенія ген. Кутепова, и неоднократно выступал с неосторожными заявленіями, что не сегодня — завтра все будет раскрыто. Я было думал, что это шаблонный полицейскій пріем. Но вскорѣ послѣ исчезновенія Кутепова Бурцев, пріѣхав утром из Парижа, пришел к нам к обѣду, худой, словно высохшій, с птичьим безкровным лицом, маленькими безпокойными глазками, отрывистой недоконченной ухмылкой и необычайно тяжелым затхлым подвальным запахом и самозабвенно повторял, что всѣ нити дѣла об исчезновеніи у него в руках и не дальше, чѣм через недѣлю, преступленіе будет полностью раскрыто. Мы его расспрашивали о разоблаченіи Азефа, и он отрывистыми фразами вспоминал, как охотился за Лопухиным, уклонявшимся от встрѣчи, и наконец настиг его в поѣздѣ из Франкфурта в Берлин, подсѣл к нему в вагонѣ-ресторанѣ, часа четыре донимал разговорами и распросами, пока наконец, уже подъѣзжая к Берлину, удалось исторгнуть у совершенно измученнаго Лопухина признаніе, что Азеф состоял на службѣ Департамента. С этим драгоцѣнным свидѣтельством он, внѣ себя от возбужденія, выскочил в Берлинѣ из вагона, бросился к желѣзнодорожной кассѣ, чтобы купить билет обратно в Париж, и столкнулся на перронѣ с Милюковым.

«Да, перебил я, Милюков разсказывал, что хотѣл с вами заговорить, но вы только рукой махнули и стремительно мимо него промчались». — «Ну, не совсѣм так! Но мнѣ дѣйствительно не до него было. Он спросил — какими судьбами?, а я ему погрозил рукой и на ходу крикнул: скоро услышите!» Прощаясь послѣ обѣда, он просил назвать дешевую гостинницу поблизости, гдѣ мог бы переночевать, и рѣшительно отказался от приглашенія жены остаться на ночь у нас. Тогда я стал подзадоривать его: «Как же вы спрашиваете, В. Л., гдѣ вам переночевать?» — «А что, почему нѣт?» — «Эх, В. Л., вы меня совсѣм разочаровали, я был о вас гораздо болѣе высокаго мнѣнія». — «В чем дѣло», спросил он уже встревоженно, «я вас не понимаю». — «Но как же вы не сообразили, что должны отправиться в гостиницу, гдѣ проживал Кутепов в послѣдній свой пріѣзд в Берлин, непосредственно перед исчезновеніем. Вы же можете расчитывать найти там какіе нибудь слѣды». Если бы я уличил его в безчестном дѣяніи, он не был бы больше растерян и подавлен. Адрес был указан и, когда мы вышли проводить его в прихожую, я, не видя нигдѣ чемоданчика или саквояжа, спросил, оставил ли он багаж на вокзалѣ. «Какой багаж, спросил он с удивленіем, я так и пріѣхал как есть, всегда так разъѣзжаю. Вот зонтик, прибавил он, осматриваясь, был у меня, но видно, я его гдѣ-то посѣял». Исчезновенія Кутепова он так и не выяснил, но и послѣ по-разным поводам — главным образом относительно дѣйствій ЧК и ГПУ — неоднократно в печати заявлял, что вот вот раскроет то или другое преступленіе, этой задачѣ посвятил всецѣло журнал свой «Общее Дѣло», для котораго, забывая об ѣдѣ и снѣ, добывал — не мытьем, так катаньем — средства.

Прежде, однако, чѣм Азефовщина отомстила за себя убійством Столыпина, он успѣл низко уронить и свой личный престиж и авторитет режима. В этот историческій день, 7 Марта 1911 г., мнѣ как раз случилось быть в Маріинском дворцѣ, гдѣ, вмѣстѣ с Гос. Совѣтом, со стороны Вознесенскаго проспекта помѣщалась и Канцелярія Прошеній на Высочайшее имя приносимых. К числу таких прошеній относились и просьбы об установленіи раздѣльнаго жительства супругов, законами категорически воспрещеннаго, наперекор неумолимым требованіям жизни. Установленный еще в 1826 году, этот ненормальный порядок так и продержался вплоть до революціи. Злѣйшим противником законодательнаго урегулированія был Побѣдоносцев: блестящій юрист, он, вразрѣз с заключеніем всѣх министров, настаивал на сохраненіи в законѣ запрещенія, которое де фактически не препятствует установленію раздѣльнаго жительства. Но он был и фактически неправ — инструкція, которой руководствовалась Канцелярія при рѣшеніи этих дѣл, нигдѣ не была опубликована и содержалась в такой тайнѣ, что мало кому было извѣстно о возможности обращенія в Канцелярію, и подавляющее большинство прошеній исходило от обитателей столичных губерній. От имени дочери моего пріятеля, неудачно вышедшей замуж, я и возбудил дѣло о раздѣльном жительствѣ в Канцеляріи, гдѣ видный пост занимал мой школьный товарищ. В Маріинском дворцѣ вообще, а в Канцеляріи в частности и в особенности всегда царила благолѣпная тишина и порядок, даже на лицах

ливрейных лакеев была яркая печать сознанія своего высокаго положенія, и потому я совсѣм растерялся, увидѣв и еще больше почувствовав в этом святилищѣ какое-то странное смятеніе. Товарищ мой просил зайти в другой раз, так как «теперь не до того», и из уклончивых отрывочных замѣчаній я мог лишь понять, что случилось нѣчто экстраординарное со Столыпиным в Гос. Совѣтѣ. Я направился туда и увидѣл зрѣлище, напомнившее кулуары Таврическаго Дворца в самые острые моменты II Думы: старцы сбились в безпорядочныя, сходящіяся и расходящіяся кучки, оживленно жестикулирующія, на неподвижных, словно замаскированных лицах теперь у одних проступала тревога и растерянность, у других свѣтилось злорадство, у третьих непреодолимое желаніе посудачить. Задержав быстро перебѣгавшаго от одной кучки к другой кн. А. Оболенскаго, я просил его обяснить, в чем дѣло, но только что он стал разсказывать, как подошел Витте, взяв меня под руку, оторвал от собесѣдника и с явным торжеством спросил: «Ну что, хорош, а?» Витте имѣл основанія ненавидѣть Столыпина: в черносотенных газетах нападки на б. премьера перешли в грязныя разоблаченія альковных тайн. Витте обратил письмом вниманіе Столыпина, что не искал защиты цензуры, даже когда критика его правительственной дѣятельности пріобрѣла совершенно хулиганскій характер, но полагает, что наглыя оскорбленія чести жены его требовали бы вмѣшательства. «Помните, возбужденно говорил Витте, я показывал вам отвѣт этого господина — дескать, теперь, при конституціи у нас свобода печати и он ничего не может сдѣлать — он, который душит газеты штрафами и запрещеніями. Вот и показал он свою преданность конституціи». И по адресу премьера посыпались выраженія, тоже не для печати.

Что же, однако, произошло? Гос. Совѣт обсуждал принятый Думою законопроект о введеніи земства в Зап. губерніях. Чтобы лишить поляков, составлявших в нѣкоторых мѣстностях численное большинство, преобладанія в земских учрежденіях, русское населеніе привилегированно выдѣлено было законопроектом в особыя куріи. Послушная Столыпину Дума согласилась на эту дань націоналистическому озлобленію, но неожиданно для Столыпина именно правая группа, во главѣ с П. Н. Дурново, быть может, не столько из государственных соображеній, сколько для сведенія счетов с властным премьером, выступила против означеннаго пункта законопроекта и отвергла его, послѣ чего Столыпин демонстративно покинул зал засѣданія. Внезапно — среди, казалось, глубокаго прочнаго мира — вспыхнул острый конфликт, который угодливые думскіе депутаты рѣшили ликвидировать вторичным внесеніем отвергнутаго верхней Палатой законопроекта в Думу. Но Столыпин закусил удила и установил прецедент, котораго самодержавный режим до того не знал: под угрозой отставки он предъявил государю ультиматум — распустить на три дня законодательныя учрежденія, чтобы имѣть возможность провести отвергнутый законопроект в порядкѣ 87 ст. царским указом, и наказать Дурново и В. Трепова, которых он считал зачинщиками, временным лишеніем права засѣдать в Гос. Совѣтѣ. Это было столь несовмѣстимо со всѣм укладом и традиціями самодержавнаго режима,. что сомнѣваться в от-

ставкѣ Столыпина было невозможно. Сгоряча увольненіе и было рѣшено. Новое Время пышно выражало свое соболѣзнованіе: «до послѣдней минуты мы не хотѣли вѣрить тому, о чем сегодня всѣ говорят, как о событіи свершившемся — об уходѣ Столыпина... Но факт сильнѣе наших желаній. Это неожиданное событіе, повидимому, дѣйствительно свершилось». Однако, в послѣднюю минуту крылатое выраженіе о неограниченных возможностях получило ослѣпительное подтвержденіе: мотив личной безопасности, представлявшейся в руках Столыпина вполнѣ гарантированной, заставил полностью удовлетворить безцеремонный ультиматум: по увѣренію дочери Столыпина, царь принес ему безоговорочную повинную, государственные интересы, законность открыто принесены были в жертву честолюбію человѣка, «котораго, как выразилась вдовствующая императрица, никто не знал здѣсь» (т. е. в придворных кругах) и который удачно экспропріировал честь побѣды П. Н. Дурново над революціей.

Престиж режима был окончательно раздавлен. Произошел рѣзкій перелом настроенія. Нѣсколько членов Гос. Совѣта демонстративно подали в отставку, такой же жест сдѣлал предсѣдатель Гос. Думы, по запросу о незакономѣрности дѣйствій правительства за формулу: «акт роспуска и проведеніе законопроекта в порядкѣ указа — незакономѣрны, а объясненія Столыпина неудовлетворительны» — вмѣстѣ с фракціей кадет голосовало большинство Думы, один из видных октябристов Шидловскій вынужден был с думской кафедры повторить еще в болѣе рѣзких выраженіях утвержденіе Шипова, три года назад из за этого разошедшагося со своей партіей. Он заявил, что «никакого успокоенія в странѣ нѣт, что, раздѣлавшись с крамолой, правительство сѣет новую смуту, и первым революціонером является администрація». Через нѣсколько мѣсяцев еще болѣе опредѣленно высказалась Гос. Дума в принятой формулѣ перехода по запросу о незакономѣрных дѣйствіях министерства внутр. дѣл. Эта дѣятельность признана была «возбуждающей в населеніи справедливое чувство возмущенія, убивающей в народѣ чувство уваженія к закону и власти, препятствующей культурному развитію населенія и ослабляющей мощь Россіи».

Если убійство Плеве вызвало чувство удовлетворенія в оппозиціонных кругах, то драматическій конец Столыпинскаго управленія вырвал громкій вздох облегченія в сферах. Теперь эсеры сочли нужным отгородиться от убійцы Столыпина Багрова и печатно заявили, что партія никакого отношенія к нему не имѣет, и наоборот, злѣйшій враг царскаго режима не осмѣлился бы вложить в уста государыни, поистинѣ чудовищныя, слова, которыя она произнесла в интимном разговорѣ с гр. Коковцевым: «Если Столыпина уже нѣт, это значит, что он свою роль окончил и должен был стушеваться. Я увѣрена, что Столыпин умер (!), чтобы уступить вам мѣсто и что это — для блага Россіи.» В своем новогоднем обозрѣніи внутренней жизни я мог отмѣтить, что и «такой ревностный патріот и царедворец, как кн. Мещерскій, готов был видѣть в насильственной смерти Столыпина руку Провидѣнія». Если же Новое Время поддерживало Столыпина, то, как теперь выяснилось, Суворин в своем дневникѣ тоже клеймил «наглость ре-

акціи, наглость торжествующей злобно страстной, импозантной, но похотливой энергіи старости», которую он противопоставлял «улетѣвшей красотѣ революціи».

Таким образом политическій цинизм Столыпина значительно укрѣпил авторитет оппозиціи, роль нашей фракціи в Думѣ со дня на день становилась все болѣе вліятельной и завершилась образованіем во время войны «прогрессивнаго блока» под руководством Милюкова. Из bête noire он превратился в безспорнаго лидера Думы, вѣрнѣе — народнаго представительства, потому что в блок входили и группы Гос. Совѣта. На администрацію же эта звонкая бравада подѣйствовала как призывный клич: валяй в мою голову! И Россія как бы расчленилась на ряд самостоятельных сатрапій, в коих буквально безчинствовали щедринскіе «помпадуры», громкую славу пріобрѣли тамбовскій Муратов, одесскій Толмачев, ялтинскій Думбадзе, нижегородскій Хвостов — впослѣдствіи министр вн. дѣл. Однажды пришел ко мнѣ А. И. Браудо со странным, как он выразился, порученіем: «Вчера был у меня пріѣхавшій из Нижн. Новгорода раввин и много разсказывал об ужасных притѣсненіях евреев ни перед чѣм не останавливающимся губернатором. А на-днях Хвостов вызвал раввина и заявил, что если Рѣчь не перестанет о нем писать, то за каждую корреспонденцію из города выслана будет еврейская семья. Раввин увѣрял, что никого в редакціи не знает и безсилен повліять на нее, но Хвостов был непреклонен — «если поищете, найдете нужную связь». Пытался раввин объяснить, что отрицательное отношеніе Рѣчи может только способствовать карьерѣ губернатора. Хвостов признал это правильным, но прибавил, что как раз, когда он прохлажается за утренним кофе, подают петербургскую газету, и настойчивое упоминаніе его фамиліи досаждает и отравляет удовольствіе. «Так и знайте — если мнѣ будут досаждать, я и вам буду платить непріятностями». На этом Браудо оборвал разсказ и, наморщив лицо, задумался. «Как же нам быть?» спросил я. Он не сразу отвѣтил и наконец, выдавливая из себя слова, сказал: «Какой негодяй!» Но и это произнесено было без малѣйшаго повышенія голоса, просто как констатированіе факта, как если бы рѣчь шла о змѣѣ, собирающейся ужалить. Что ж тут подѣлаешь? Такой она создана и ядовитый зуб ея единственное оружіе в борьбѣ за существованіе. Не нужно было спрашивать, чѣм кончилась бесѣда Браудо с раввином. Сам же он даже и не поставил вопроса о возможности измѣненія отношенія газеты к необузданному губернатору.

Не для краснаго словца я воспользовался выраженіем «сатрапіи», так оно и было. Не только фактически, но и оффиціально закон утратил свою силу, и отдѣльныя части имперіи подчинялись своим особым обязательным постановленіям. Они основывались на так наз. «исключительном положеніи», изданном послѣ убійства Александра II в 1881 г. на три года, но и послѣ введенія конституц. строя вся Россія оставалась на положеніи усиленной и чрезвычайной охраны или на военном положеніи, которыя давали генерал-губернаторам и губернаторам широкія дискреціонныя полномочія, безгранично ими расширяемыя. В Правѣ напечатан был ряд обстоятельных

юридических изслѣдованій, выяснивших, что исключительныя положенія, являясь пережитком абсолютизма, стоят в зіяющем противорѣчіи с новым строем, что, в частности, введеніе военнаго положенія допустимо лишь во время состоянія войны, и то в предѣлах театра военных дѣйствій и, наконец, что пользованіе дискреціонными полномочіями фактически выходит далеко за предѣлы, очерченные в законѣ об исключительном положеніи, и упраздняет дѣйствіе всѣх законов вообще. Это послѣднее указаніе неоднократно подтверждалось и Сенатом и мин. вн. д., отмѣнявшими ряд обязательных постановленій. Да, какія еще требовались бы доказательства, если в свое время в том же Правѣ опубликоан был журнал одного из правительственных совѣщаній, созванных на основаніи упомянутаго указа 12 Декабря 1904 г., н этом журналѣ оффиціально было констатировано, что исключительное положеніе ничего, кромѣ разложенія государственнаго аппарата, не принесло. Журнал умалчивал лишь об одном послѣдствіи, которым неизмѣнно чреваты дискреціонныя полномочія администраціи, — об использованіи их в цѣлях грубаго своекорыстія: незаконные поборы с населенія, взяточничество и просто открытое воровство приняли гомерическіе размѣры. Разоблаченіе этого государственнаго разврата стало одной из важнѣйших задач Рѣчи и обходилось нам недешево, потому что Столыпин — все на основаніи дискреціонных полномочій — бил издательство по карману высокими штрафами. Но я смѣю утверждать, что возобновленіе в это время сенаторских ревизій вынуждено было, главным образом, нашими разоблаченіями, и не было ревизіи, которая не подтвердила бы их правильности, а оглашеніе Рѣчью результатов ревизій и слѣпому раскрывало глаза на сущность націоналистической политики, которая — так я и формулировал в Рѣчи — «ни с чѣм не считается, ни перед чѣм не останавливается и ничего, кромѣ голых разрушительных стремленій, в себѣ не содержит».

Меня, однако, больше волновала забота о моральном оздоровленіи общества, борьба с грубой порнографіей, исканіем сильных ощущеній, с кощунственным снобизмом. Огромную роль в этой борьбѣ сыграли двѣ смерти — С. А. Муромцева и Льва Толстого. Муромцева нашли утром мертвым в номерѣ московской гостиницы Національ, хотя он имѣл свою квартиру, и по Петербургу стал расползаться шопот пересудов и злословія. Я тотчас позвонил в Москву и, узнал, что Сергѣй Андреевич все чаще стал ощущать потребность в полном уединеніи, объяснявшуюся уменьшеніем сопротивляемости сердца внѣшним раздраженіям, от паралича сердца он и скончался внезапно. Своей неожиданностью его смерть заставила общество встрепенуться, оглянуться и задуматься. Москва устроила предсѣдателю I Думы, воплотившей, в долгих муках выношенныя, лучшія чаянія интеллигенціи, необычайныя похороны и простилась с ним с такой искренней задушевностью, с таким горячим чувством благодарности, что зрѣлище этой необозримой толпы, составленной из отцов и дѣтей и поглощенной благоговѣйным воспоминаніем, навсегда оставило глубокій слѣд в сердцѣ каждаго участника. Чтобы дать представленіе о настроеніи, которое тогда нами владѣло, я рѣшаюсь привести отрывок из рѣчи, произнесенной мною в пере-

полненном залѣ Литературнаго Общества: «С тѣх пор, как разнеслась по лицу земли русской роковая вѣсть о смерти Муромцева, в ушах неумолчно, точно колокол, звучат слова его, сказанныя с новой высокой трибуны с той величавой увѣренностью, которая так соотвѣтствовала величію момента и так органически свойственна была Муромцеву и только ему: «свершается великое. Воля народа получает свое выраженіе». Слова эти звучат теперь тѣм громче, чѣм мертвеннѣе окружившая нас тишина, и звучат они уже не радостным благовѣстом, а похоронным звоном. Повержено в прах великое. Но не в том бѣда, что мы потерпѣли пораженіе, пораженіе терпят и лучшіе полководцы и самыя храбрыя войска. Трагизм — в том, что мы послѣ этого опустили руки, разувѣрились в себѣ, бѣжим от самих себя и безпомощно мечемся в разныя стороны... Словно молніей смерть Муромцева на мгновеніе озарила пройденный путь, эти ужасные послѣдніе четыре года и нам стало страшно... Мнѣ думается, что тѣ сотни тысяч, которые живой цѣпью сомкнулись вокруг гроба Муромцева, пришли не для того, чтобы выразить сожалѣніе, а чтобы оплакать самих себя, прибѣжали сюда, чтоб вернуться к тому мѣсту, с котораго они так безумно сорвались.

Муромцев не нуждается в каких бы то ни было сожалѣніях, это была личность в полном смыслѣ слова исключительная. Как трудно найти человѣка, свободнаго от всяких диссонансов. Как часто мы не понимаем, почему такой-то человѣк совершил такой-то поступок, и придумываем тысячу объясненій, чтобы устранить противорѣчіе, как часто каждый из нас испытывает это противорѣчіе в своей собственной душѣ. У Муромцева таких противорѣчій не было. Он был словно мраморное изваяніе из одного куска. Можно сказать, что у него не было ни достоинств, ни недостатков. Всѣ его качества вытекали из одного начала. Каждое отдѣльное свойство, нравилось ли оно или не нравилось, было органически необходимо, и всѣ вмѣстѣ составляли гармонію, которая создавала прекрасный чарующій образ. Он был всегда один и тот же: и тогда, когда в своей знаменитой рѣчи на пушкинском юбилеѣ протестовал против властной опеки, и тогда, когда с высокой трибуны, видимой не только одной Россіи, точно рѣзцом высѣкал грань между старым и новым порядком, и тогда, когда, как он сам мнѣ разсказывал, на высочайшем пріемѣ в Царском Селѣ, заботился, чтобы стать впереди всѣх сановников, ибо предсѣдатель государственной Думы должен стоять на первом мѣстѣ......

В послѣдніе дни мы то и дѣло слышим: имя Муромцева безсмертно. Слово это так и мелькает на газетных столбцах. Не слѣдует этим словом играть. Безсмертіе — самое великое, самое драгоцѣнное, что есть у человѣка. Да, исторія запишет имя Муромцева, но вѣдь не в этом безсмертіе. Исторія все заносит на свои скрижали, добру и злу внимая равнодушно. Как сказал древній поэт, безсмертіе заключается в том, что душа, лишившись своей обители, тотчас находит новыя жилища. Имя Муромцева станет безсмертным, если мы проникнемся его завѣтами, если будем дружно стремиться, чтобы свершилось великое, чтобы воля народа получила свое выраженіе».

Чистосердечно и сейчас подтверждаю, что я далек был от мысли приспособить рѣчь к цѣлям педагогическаго воздѣйствія. Нѣт! не до того было уже хотя бы потому, что и на себѣ самом я испытывал гнетущее измѣненіе свѣтлаго настроенія, болѣзненно подчеркнутое смертью Муромцева. Прошло послѣ этого нѣсколько мѣсяцев и, с еще болѣе ошеломляющей неожиданностью, обрушилась на русское общество другая смерть. Робость охватывает перед необходимостью дать представленіе о впечатлѣніи и настроеніи, которое уход и смерть «великаго писателя земли русской» вызвали во всей Россіи. Как удачно выразился Чуковскій в своем обозрѣніи в Рѣчи: «Если бы я теперь подводил итоги не только этому единственному году, но цѣлому столѣтію, цѣлой эпохѣ, то и тогда первѣе всего я должен был бы произнести магическое слово — Толстой». Нѣт никакого преувеличенія в утвержденіи, что в теченіе недѣли — с момента, как стало извѣстным об уходѣ, и до смерти — слово это пріобрѣло магическую силу, десятки милліонов глаз были прикованы к никому до того неизвѣстной желѣзнодорожной станціи Астапово. В этом, истинно трагическом уходѣ как будто сплелся безнадежный узел всѣх наших затѣйливых противорѣчій — непротивленіе злу и бунтарство, анархизм и самоотреченіе, безвѣріе и взысканіе града нездѣшняго, отверженіе общественных условностей и моральное самоусовершенствованіе. Подробности семейной обстановки, как они — в особенности из воспоминаній дочери Александры — много позже выяснились, тогда были неизвѣстны и тѣм сильнѣе (теперь это легко провѣрить по опубликованным дневникам и письмам) каждый чувствовал себя отвѣтственным, так или иначе виноватым и опозоренным тѣм, что избранник судьбы, котораго нужно было беречь, как драгоцѣннѣйшее достояніе родины, оказался в безвыходном положеніи, вынужден был бросить свой кров и уйти в непроглядную осеннюю ночь, куда то в неизвѣстность. И как больно было за глубоко несчастнаго стараго человѣка, который всю жизнь боролся со своим изумительным геніем, и теперь, стремясь от всѣх укрыться, попал в стеклянную западню, на которую со всѣх концов свѣта наведены были яркіе прожекторы. Наш московскій корреспондент чуть ли не первым появился в Астаповѣ, и все в Рѣчи отступило на задній план перед подробными телеграфными и почтовыми отчетами, очень удачно, с благородной простотой и искренностью, без высокопарных слов, изображавшими волшебное превращеніе станціоннаго домика в душевный фокус всей безкрайной Россіи. Тираж Рѣчи (думаю — и многих других газет) увеличился втрое и достиг размѣров, до которых больше уже не поднимали его даже и самые тревожные моменты войны и революціи. А потом началось паломничество в Ясную Поляну, напряженное ожиданіе выхода посмертных сочиненій, которыя немедленно были перепечатаны в десятках изданій, читались с душевным трепетом, как священная книга, и вызвали необъятную литературу и безчисленное количество лекцій. Невозможно, конечно, какими либо объективными данными опредѣлить воздѣйствіе, произведенное на психику населенія, но, по своим субъективным наблюденіям и ощущеніям, я не сомнѣваюсь, что небывалая судьба

великаго писателя дѣйствительно завладѣла умом и сердцем милліонов и разбудила усыпленную совѣсть.

Правительство не преминуло и это благотворное увлеченіе превратить в политическое событіе. Еслибы власть хоть только посторонилась перед магическим словом. Нѣт- и на этот раз она себя противопоставила широкому общественному настроенію. Нѣсколько томов полнаго собранія сочиненій были конфискованы, в разных городах лекціи запрещены, постановленія земств об образованіи капиталов имени Толстого на устройство просвѣтительных учрежденій для крестьян отмѣнены были губернаторами, равно как и постановленія об учрежденіи стипендій имени писателя и т. д. Смерть Толстого явилась желанным поводом для объявленія обществу открытой войны, для утвержденія и освященія своеволія власти, принимавшаго все болѣе злостный характер. Даже празднованіе пятидесятилѣтняго юбилея освобожденія крестьян в 1911 г. натолкнулось на полицейскія препятствія. Но чувствительнѣе всего был разгром высшей школы, произведенный новым министром народнаго просвѣщенія, ставленником Столыпина — Кассо. Так и выразилась одна рептильная газета, что Кассо «грохает» своими мѣропріятіями. В Правѣ к этому времени состав редакціоннаго комитета значительно измѣнился: ушли Кузьмин-Караваев и Лазаревскій, занявшій крупную должность в министерствѣ финансов, зато вошли видные профессора С.П.Б. Университета Д. Д. Гримм, А. А. Жижиленко, барон Б. Э. Нольде и М. Я. Пергамент. Из числа наших редакторов Петражицкій, избранный деканом юридическаго факультета, не был утвержден министром, Гримм, вынужденный отказаться от должности ректора, был, без его согласія, переведен в Харьков и вышел в отставку. Так же поступил и Пергамент, переведенный, против воли своей, в Юрьевскій университет. Оба они были типичными добросовѣстными учеными нѣмецкой выучки, образцово корректными людьми, Пергамент рѣзко отличался от своего покойнаго, размашистаго брата, с которым вмѣстѣ рос и учился, щепетильной скромностью и расчетливой бережливостью. Он очень живо разсказывал, как состоялось его перемѣщеніе в Юрьев. Приглашенный к товарищу министра, проф. барону М. А. Таубе, Пергамент не сразу догадался, зачѣм тот, плаксивым, дружески довѣрительным тоном дѣлится с ним тяжелым впечатлѣніем, какое произвел на него огорченный вид «моего министра, вчера вернувшагося из Юрьева. Я даже испугался и робко спросил, не случилось ли личнаго несчастья? Нѣт — отвѣтил Лев Аристидович — хуже: я в полном отчаяніи от низкаго уровня, до котораго пало преподаваніе римскаго права в родном университетѣ. — А у меня точно камень с сердца свалился. Только то, радостно воскликнул я. — Как только то? Вѣдь это ужасно! — Конечно, конечно, но этому так легко помочь! — министр недовѣрчиво посмотрѣл на меня, а я говорю: помилуйте, у нас есть такой блестящій спеціалист, как М. Я. Пергамент, и так он предан интересам науки, что, несомнѣнно, с великим удовольствіем разсѣет ваше огорченіе и поѣдет в Юрьев, чтобы поднять преподаваніе на ту высоту, на которой вы его держали. — Министр сразу просіял, когда я ему обѣщал, что завтра же приглашу вас к себѣ и не за-

медлю обрадовать его вашим любезным согласіем». «Но надо было, продолжал Пергамент, видѣть, как безукоризненно плотно облегала его лицо маска искренности, как хорошо к ней прилажено было довѣрчиво вопросительное выраженіе глаз!» — «А я, — сказал на это барон Нольде, ставшій преемником Таубе на должности юрисконсульта министерства ин. дѣл, когда тот назначен был товарищем министра, — когда вышла книга моя: Очерки государственнаго права, послал ему авторскій экземпляр. Мѣсяца через два Таубе неожиданно пріѣхал ко мнѣ и разсказал, что, прочтя в книгѣ, что пріобрѣтеніе государственной территоріи совершается высочайшим указом, а отчужденіе таковой требует законодательнаго акта, немедленно отправился к тов. министра Нератову (министр Сазонов был тогда болен), чтобы обратить его вниманіе на такой мой взгляд. Нератов не понял, в чем дѣло. «Вы же знаете этого жеманфишиста, он развел руками и спросил, ну, так что же? Я просто разсердился. — Как же вы спрашиваете? А если такой вопрос возникнет на практикѣ и правительство будет держаться взгляда, что отчужденіе территоріи не входит в компетенцію Думы, а с думской трибуны станут тыкать в глаза книгу юрисконсульта министерства ин. дѣл. — Но и это разъясненіе не взволновало Нератова, он только освѣдомился, значится ли на обложкѣ книги, что автор занимает должность юрисконсульта. Я показал любезно присланный вами экземпляр и, увидѣв, что пред фамиліей значится лишь титул профессора, он сказал, что не усматривает основаній для какого либо вмѣшательства. Меня, однако, такой индифферентизм не удовлетворил. Я считал себя обязанным сдѣлать доклад премьеру, но и Коковцев, освѣдомившись, что книга ваша не агитаціонная брошюра, а солидный научный труд, согласился с Нератовым. Вот и все et maintenant, mon cher baron, l'incident est clos». Сам Таубе потом в Думѣ выступал за ограниченіе компетенціи народнаго представительства.

Судьбу Гримма и Пергамента раздѣлили сотни профессоров, среди которых были выдающіеся ученые. Факультеты и совѣты университетов пытались остановить занесенную для удара руку, ходатайствовали о предотвращеніи разстройства преподаванія, общество выражало сочувствіе уволенным, студенчество волновалось и вновь начинались сходки и забастовки, но это, вѣроятно, только радовало «грохальщиков», как доказательство, что удар расчитан правильно и оказался весьма чувствительным. Именно поэтому разсказ Пергамента и Нольде произвел на меня сильнѣйшее впечатлѣніе, вселил глубокое отчаяніе, я спрашивал себя: что им собственно нужно, ради чего они так настойчиво и самозабвенно стремятся превратить правительство и общество в два непримиримо враждебных вооруженных лагеря. Так живо вспоминалась моя, проклятой памяти, одесская гимназія, в которой начальство только о том и думало, как бы ущемить, сдѣлать непріятность почувствительнѣе, обострить ненависть. Но там вѣдь были глубоко невѣжественные наставники, понятія неимѣвшіе о дѣтской психологіи и поистинѣ незнавшіе, что творят. Я потому и остановился подробнѣе на этих эпизодах, что они заставляли предположить, что и у этого блестящаго тонкаго юриста с европейским именем, — какой-то органическій моральный дефект,

Но вот наступило крушеніе режима и теперь чуть не всѣ, кто из рыцарей его уцѣлѣл, утверждают, что им ясна была неизбѣжность катастрофы. Тот же Таубе, здѣсь в Берлинѣ, настойчиво просил меня «оказать честь» посѣщеніем его доклада в Союзѣ русских евреев (которых он так злобно угнетал) и здѣсь, глазом не моргнув, как будто у всѣх отшибло память, увѣрял, что сам предупреждал Горемыкина, что «нужно измѣнить систему, уничтожить дѣленіе на «мы и они», сам же требовал, чтобы я высказал свое мнѣніе о докладѣ, и затѣм выражал удивленіе страстному тону моих напоминаній о его собственной гибельной роли в то время.

А Щегловитов, до революціи один из наиболѣе ревностных сотрудников Права! Добросовѣстнѣйшій коллекціонер чужих мыслей и столь же исполнительный чиновник, он не годился для руководящей роли и сам едва ли мечтал подняться до поста министра. Неожиданно, как он и сам подтвердил в своих показаніях чрезвычайной слѣдственной комиссіи врем. правительства, назначенный на эту должность, он легко подчинился, а затѣм всецѣло подпал под вліяніе своей честолюбивой третьей жены и стал усердствовать. Осенью 1911 г. я встрѣтился в Біаррицѣ с Витте и он с негодованіем брюзжал: «хорош наш Ванька (он прибавил к имени министра оскорбительное библейское имя)! Я читал послѣдній всеподданнѣйшій доклад, в котором он хвастал, что без отмѣны судебной несмѣняемости съумѣл заставить суд, как он говорит, служить требованіям и интересам государственности». И это не было простой похвальбой: вплоть до Сената судебныя учрежденія насквозь прониклись угодливостью, разлагавшей всѣ устои правосудія. Вот примѣр из моей адвокатской практики: из Екатеринодара обратилась ко мнѣ дама с просьбой принести и поддержать в Сенатѣ жалобу на рѣшеніе Новочеркасской суд. палаты. Изложеніе дѣла в письмѣ ея показалось мнѣ продуктом возбужденной фантазіи, но документы, приложенные к письму, полностью подтверждали, что ея муж, полицейскій чиновник, с которым она больше 20 лѣт жила раздѣльно, вздумал распорядиться единственным ея достояніем — расположенным в горном кавказском курортѣ участком земли, которым она уже два десятка лѣт самостоятельно владѣла и который числился за ней и в книгах казенной палаты. Узнав об этом, предсѣдатель Екатеринодарскаго суда предложил полицейскому пожертвовать участок благотворительному судебному обществу для устройства санаторіи для членов суда; не имѣя еще отвѣта, поручил одному из адвокатов вчинить дѣло о признаніи за жертвователем права собственности по давности владѣнія. С необычайной быстротой дѣло было проведено и Общество получило дарственную запись на чужое владѣніе. Моя довѣрительница предъявила иск и на судебном состязаніи свидѣтели и т. п. окольные люди, от имени которых допрашивавшій их член суда установил давностное владѣніе жертвователя, категорически и в один голос увѣряли, что член суда записал не то, что они показывали, а нѣкоторых и вовсе не допрашивал, хотя показанія их привел в протоколѣ, и единодушно утверждали, что участком владѣла довѣрительница, а муж ея никакого отношенія не имѣл. Суд всетаки отказал в искѣ и судебная палата утвердила рѣшеніе. Въ засѣданіи Сената

я чувствовал себя очень неловко: претит развивать азбучныя истины, которыя слушателю должны быть не менѣе хорошо извѣстны, чѣм мнѣ, а уж в данном случаѣ было бы и нѣчто комическое в пользованіи доводами из юридическаго арсенала, хотѣлось просто сказать, что екатеринодарскіе и новочеркасскіе судьи напоминают странницу из пьесы Островскаго, разсказывающую о такой странѣ, гдѣ к судьѣ обращаются со словами: суди меня, судья, судом неправедным. Но моему дѣлу предшествовало слушаніе другой кассаціонной жалобы на рѣшеніе петербургской палаты по иску города Петербурга к тюремному управленію, тоже состоявшему в вѣдомствѣ министерства юстиціи. Это рѣшеніе было не менѣе замѣчательно: тюремное управленіе арендовало у города участок земли и, в теченіе около сорока лѣт, аккуратно вносило арендную плату, а при Щегловитовѣ вдруг заявило, что является собственником арендованнаго участка. Предъявленный городом иск был удовлетворен окр. судом, но Палата отмѣнила рѣшеніе и признала тюремное управленіе собственником и, ушам вѣрить не хотѣлось, Сенат оставил жалобу без послѣдствій, хотя в рѣшеніи Палаты прямо было сказано, что она руководствуется не законом, а требованіями цѣлесообразности. Послѣ этого мнѣ уже не слѣд было отказываться от азбучных истин, и сенаторы весьма учтиво их выслушали, не остановил меня предсѣдатель, даже когда я указал, что производство суда несвободно от признаков уголовнаго дѣянія, а засим, Сенат объявил, что жалоба оставлена без послѣдствій. Это сенатское засѣданіе заслуживает особаго вниманія, потому что в обоих дѣлах не было никакой «политики», столкновенія «государственности» с законом, требованіями которой правительство оправдывало жертвы правосудія, здѣсь рѣчь шла об оголенных имущественных интересах и Сенат освятил отнятіе чужой собственности только потому, что захватчиком было министерство юстиціи.

А это безобидное, напротив — такое ладное словечко «цѣлесообразность», которое едва ли не впервые, мимоходом поставлено было в сенатском рѣшеніи выше закона! По окончаніи засѣданія сенаторы, вѣроятно, вернулись, как всегда, домой, провели сегодня день, как вчера, вродѣ того, как изображено в толстовском Воскресеньѣ, совершенно не подозрѣвая, что сегодня они возвѣстили міру «новое слово». А тѣ из них, кто уцѣлѣл от россійской катастрофы, сколько громов и молній они обрушивали на совѣтскій кодекс, который открыто провозгласил цѣлесообразность основой революціоннаго правосудія, и как бы они удивились и вознегодовали на эти строки, которыя, однако, бьют им челом их же добром. А мнѣ то самому развѣ снилось тогда, какая блестящая судьба ждет этот новый лозунг — «цѣлесообразность», какое побѣдное шествіе он совершит по европейским законодательным кодексам! Теперь то ясно, что казавшееся роковым безсиліе законодательнаго творчества, наблюдавшееся не в одной Россіи, объяснялось крутым идейным переломом. Тогда я лишь испытывал острую тревогу, ощущеніе, что добром это не кончится, и, в противоположность торжеству, охватившему меня в кабинетѣ Плеве в 1904 г., теперь вышел из засѣданія Сената совсѣм придавленный, чувствуя себя в полной власти неограниченных возможностей

Среди них совсѣм особое мѣсто заняла инсценировка процесса Бейлиса о ритуальном убійствѣ. Прецеденты такіе в Россіи бывали и на моей памяти (дѣло об убійствѣ Сарры Мадабадзе, дѣло Блондеса) и, если не ошибаюсь, всегда кончались оправданіем посаженных правительством на скамью подсудимых евреев. Помню также процесс вотяков, обвинявшихся в человѣческих жертвоприношеніях и тоже оправданных. Я не только был убѣжден в злостности навѣта, но представлялось невѣроятным, чтобы кто-нибудь искренне мог вѣрить ему. А что до Щегловитова, он, во времена нашего сотрудничества, усиленно выражая мнѣ свое уваженіе, с негодованіем говорил об обвиненіи евреев в употребленіи христіанской крови. Думаю, что эта инсценировка понадобилась исключительно в цѣлях карьернаго соревнованія со Столыпиным, который сам тоже был сторонником еврейскаго равноправія. Одним из первых шагов кабинета в 1907 г. и было, с вѣдома государя и согласія всѣх министров, составленіе проекта правил об облегченіи положенія евреев. В теченіе нѣскольких мѣсяцев царь держал проект у себя и наконец возвратил его неутвержденным, правительство, оказавшееся в плѣну призванных для сокрушенія революціи черносотенцев, усмотрѣло в этом укор себѣ, рѣзко измѣнило курс и обрушило на евреев груду репрессивных мѣр, не остановилось даже и перед невозобновленіем торговаго договора с Америкой из-за отказа в предоставленіи американским купцам-евреям права свободнаго передвиженія в Имперіи. От Щегловитова же требовалось особое усердіе, ему нужно было прикрыть Ахиллесову пяту либеральнаго прошлаго, и когда кіевскія черносотенныя организаціи рѣшили использовать случившееся в Кіевѣ убійство мальчика, он поспѣшил к ним навстрѣчу и отдал правосудіе в полное распоряженіе грязных хулиганских подонков: уволены были чины полиціи, неусмотрѣвшіе в произведенном дознаніи виновности Бейлиса, суд. слѣдователю, отказавшемуся привлечь Бейлиса в качествѣ обвиняемаго, грозили дисциплинарным судом и взяли из рук его слѣдственное производство, состав прис.засѣдателей был безцеремонно подобран, тайна их совѣщанія грубо нарушена и т. д. А то, что произошло в засѣданіи суда послѣ резюмэ предсѣдателя, было совершенно безпримѣрно: суд постановил удовлетворить ходатайство защиты о возвращеніи присяжных засѣдателей для выслушанія дополнительных объясненій предсѣдателя. Но повѣренный гражданскаго истца, злѣйшій реакціонер Замысловскій назвал ходатайство защиты неслыханным и суд отмѣнил свое постановленіе.

Но почему мнѣ так трудно, так не хочется возвращаться к воспоминаніям об этом дѣлѣ? Здѣсь не одно, вполнѣ естественное чувство гадливости, а еще, вѣроятнѣе, подсознательное опасеніе превратить воспоминанія в плэдированіе — пусть говорят другіе! Я вѣдь не скрываю от себя, что эти сотни страниц — при (или вслѣдствіе) всей доступной мнѣ искренности, насыщены страстным субъективизмом, да я отнюдь и не задавался цѣлью излагать хронику событій. Но в данном случаѣ и самому трудно разобраться в своих ощущеніях, расчленить субъективизм на составныя части, и мучительно касаться незаживающей с тѣх пор душевной раны. Скажу всю правду: сегодня, размышляя об этом на одинокой прогулкѣ в берлинском паркѣ, я не мог спра-

виться с охватившим меня волненіем и удержать горькія слезы, и совсѣм доканало, что, по старческой разсѣянности, в карманѣ не оказалось платка. Вспоминаю, что впервые тогда проснулось раскаяніе, что, приняв православіе, я ускользнул из под ударов, наносимых соплеменникам, ослабил их фронт и раскаяніе перемѣшивалось (а может быть, возбуждало) с жгучей ненавистью к злобным стражам еврейской обособленности. Можно было бы торжествовать, будь я ея сторонником, ибо без преслѣдованій и угнетеній от нея давно осталось бы одно воспоминаніе. Вмѣстѣ с тѣм, всѣми фибрами души отвергая навѣт и недопуская ничьей искренней вѣры в него, я был шокирован слишком тяжеловѣсными приготовленіями к процессу — масса первоклассных адвокатов, экспертов, как будто не фантомы нужно разсѣевать, а с реальными уликами бороться. Тѣ русскіе люди, в средѣ которых я вращался, не нуждались в сложных доказательствах, напротив — себя чувствовали виноватыми, считали, что поведеніе власти свыше мѣры отягощает совѣсть русскаго народа. Помню вечер, когда, в ожиданіи с минуты на минуту приговора, послѣ тридцатипятидневнаго разбирательства, мы сидѣли с нашими друзьями — московским городским головой М. В. Челноковым и женой его: из редакціи мнѣ должны были немедленно по полученіи извѣстія позвонить, и мы всѣ глаза просмотрѣли, уставившись в телефонный аппарат, который своим тупым молчаніем превращался в истязателя, и каждый шорох принимали за сигнал к звонку и вздрагивали. Но прежде чѣм раздался звонок, подали срочную телеграмму от Набокова, котораго Рѣчь командировала в Кіев и который затѣм привлечен был к отвѣтственности за свои корреспонденціи. Телеграмма была в одно слово: оправдан, и Челноковы, широко крестясь, бросились цѣловать жену и меня и не переставали твердить: «поздравьте нас! нас!» Но накопившееся перенапряженіе требовало разряда и лишило всякаго самообладанія, я что-то выкрикивал, вѣроятно, — приблизительно так: «этого оскорбленія никогда не смогу забыть им! Кто смѣет оспаривать у меня родину? Никому не уступлю в силѣ преданности, привязанности, любви, обожанія и гордости ею. Не было минуты в жизни, когда бы измѣнил ей дѣлом, словом или даже помыслом — все отдал ей с умиленіем».

Не знаю, таковы ли были слова, должно быть и на другой день не мог бы их повторить, но таково, безспорно, было настроеніе, и теперь, на одинокой осенней прогулкѣ, вдали от родины, оно вдруг всплыло из под спуда и напомнило один из «дней русской культуры», на котором, в годовщину рожденія Пушкина, я произнес рѣчь о значеніи этого «веселаго и легкаго имени» и завѣтов его для эмиграціи. Пусть эта рѣчь началом и концом своим — скажет, что согрѣвало и маячило в осиротѣлой на холодной чужбинѣ душѣ: «мысль об учрежденіи Дня русской культуры оказалась счастливой и весьма плодотворной. В обстановкѣ тяжелых забот и вѣчных тревог, среди которых проходит жизнь бѣженцев, этот день можно сравнить с ярким солнечным лучем, который вдруг пронизает обложенное свинцовыми тучами небо. Через минуту луч снова погаснет и все кругом предстанет еще болѣе сѣрым и безотрадным, но короткій миг успѣл разсѣять ощущеніе безнадежности, пробудить упованіе и оживить бодрость. А главное — в этот день в

душѣ растворяется чувство одиночества, страшнѣе котораго нѣт ничего. У Чехова есть потрясающій разсказ «Тоска» с эпиграфом «Кому повѣм печаль мою?» Нѣт, в самом дѣлѣ, ничего ужаснѣе, чѣм если человѣк, находящійся на людях, не знает, не имѣет, кому повѣдать печаль свою. Но сегодня мы знаем, что не только в этом залѣ, но повсюду, во всѣх частях свѣта, куда только ни занесло русскаго бѣженца, всѣ одушевлены одной мыслью, захвачены одним настроеніем, духовный взор устремлен в одну точку, и мы чувствуем себя тѣсно связанными, стоящими плечом к плечу...

Позвольте же выразить пожеланіе — и внутренній голос говорит мнѣ, что оно осуществится, — чтобы этот день остался праздником навсегда и на нашей роднѣ, когда сгинет кошмар и пушкинскій праздник неразрывно сплетется с воспоминаніем о нашем разсѣяніи. Но это в будущем, а сейчас тяжело и с каждым днем тяжелѣе. Сегодня мы разойдемся, радостно настроенные, а завтра над нами снова развернется свинцовое небо и снова — гнетущія заботы и невыносимая тоска. Но хочется мнѣ привести еще одну цитату из Пушкина, — слова, которыя он вкладывает в уста эмигранта, приблизившагося к русской границѣ: «Вот, вот она! Вот русская граница. Святая Русь, отечество, я твой. Чужбины прах с презрѣньем отряхаю с одежд моих, пью жадно воздух новый, он мнѣ родной!»

Если слова эти произнести с пустым сердцем, они только и будут слова, слова, слова, мѣдь звенящая. Но если вдуматься в них, если дать волю воображенію, то нетрудно представить себѣ, какой блаженный миг может еще наступить, какое несказанное счастье, которое сразу заставит не только забыть, но и благословить страданія, судьбой так расточительно ниспосылаемые нам. Кто же не воспрянет духом в чаяніи такого волшебнаго мгновенія и кто усомнится, что ради него стоит жить и терпѣть, а если порой становится уже совсѣм невмоготу, нужно в тугой узел завязать всѣ душевныя силы и возопить: вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію!»

Инсценировку дѣла Бейлиса нельзя назвать ни преступленіем, ни ошибкой — это было просто безуміем: кого Бог погубить хочет, того раньше обезумит. В Рѣчи я писал: «в теченіе тридцати пяти дней общественный интерес к процессу непрерывно возрастал и достиг такого напряженія, что ни о чем больше нельзя было ни говорить, ни думать. Тщетно суворинскія газеты напоминали, что есть же и другіе важные государственные вопросы. Они всѣ отступили на задній план. В самом Кіевѣ опустѣли театры и всякія увеселительныя мѣста, но активное отношеніе наблюдалось одинаково и вблизи и вдали от Кіева и в больших центрах и в самых отдаленных пунктах. Не было человѣка, который равнодушно мог бы пройти мимо возбужденных вопросов, так или иначе каждому нужно было опредѣлить свое отношеніе и защищать занятую позицію. Волновался не только Кіев и не только вся Россія: «в Лондонѣ опубликован протест по поводу дѣла Бейлиса, подписанный высшими духовными лицами, лордами и учеными». Чѣм настойчивѣе и безцеремоннѣй было насиліе над правосудіем, тѣм громче прозвучало осужденіе правительства в оправдательном вердиктѣ присяжных засѣдателей. Мини-

стерство, очевидно, сознало свое пораженіе и не рѣшилось принести кассаціонной жалобы, но власть закусила удила, и уже не могла образумиться, напротив — еще выше поднялось ожесточеніе, принимавшее патологическій характер.

Возможно, что одним из стимулов ожесточенія было сознаніе своего безсилія перед грубѣйшим своеволіем — вѣрнѣе, просто открытым бунтом, поднятым в это время правыми «вѣрноподданическими» организаціями на почвѣ все растущей свары между ними. Мѣстные сатрапы совершенно игнорировали центральную власть, а к ним присоединялось черносотенное духовенство. Ялтинскій Думбадзе, от котораго сенат потребовал представленія гербовых марок на поданное им объясненіе, отвѣтил отказом в выраженіях, которыя можно формулировать одним словом: наплевать! и Сенат под сурдинку сам оплатил гербовый сбор. В столицѣ военный министр, в отвѣт на отклоненіе Гос. Думой внесеннаго им проекта новаго устава Военно-медицинской академіи, направил его в Сенат для опубликованія в «Собраніи узаконеній к распоряженій правительства». Это противозаконное требованіе превысило степень покорности Сената, он отказался опубликовать, что однако нисколько не смутило министра, который ввел устав в дѣйствіе без опубликованія, вызвал этим студенческіе безпорядки и исключил всѣх студентов из Академіи. Епископ Гермоген и монах Иліодор провозгласили свою экстерриторіальность и в походѣ Иліодора «вниз да по матушкѣ по Волгѣ» печать усматривала нѣчто от Стеньки Разина. Правительство грозило, отдавало строгіе приказы, обращалось к содѣйствію военной силы, а безчинство продолжалось, и мнѣ пришлось в Рѣчи напомнить министерству русскую поговорку: «молодец против овец, а против молодца и сам овца!»

И тогда уже, а еще чаще впослѣдствіи нам возражали, что Рѣчь и Право — умышленно односторонни, что они недобросовѣстно прячут всѣ краски, кромѣ густо-черной, закрывают глаза на совершавшійся именно в тѣ годы подъем экономическаго и финансоваго благосостоянія страны. Нетрудно было ударить по противникам их собственным оружіем. Без конца и на всѣ лады мы повторяли, что мощь Россіи грандіозна и, чѣм стремительнѣе она рвется наружу, тѣм опаснѣе становятся препятствія, мѣшающія ей развернуться. Мощь эта справилась напримѣр, — так отмѣчал я в ежегодникѣ — и с «трусом (землетрясеніе в Вѣрном), и мором (чума на Дальнем Востокѣ и холера на югѣ) и гладом (охватившим тогда треть страны)» которыми начался минувшій год, но быстрое развитіе производительных сил, сопровождавшее передышку между двумя революціями и властно требовавшее укрѣпленія правопорядка, именно и обостряло воспріимчивость и дѣлало грубыя помѣхи болѣзненно чувствительными.

В сложившейся так обстановкѣ «конституція» оказалась каким-то случайным придатком, неудачно приклеенным украшеніем, с острыми углами и зубцами, о которые, куда ни двинешься, то и дѣло зацѣпишься сановным мундиром, и образовавшаяся дыра обнаружит неприглядную наготу. Естественно поэтому одолѣвало все усугублявшееся, вплоть до революціи, желаніе

уничтожить ненужное украшеніе, а пока—подальше убрать его и хорошенько запрятать. В своем докладѣ Юридическому Обществу, напечатанном засим в Правѣ, я обратил вниманіе на чисто анекдотическіе пріемы, к которым прибѣгла государственная канцелярія для разрѣшенія упомянутой задачи при помощи кодификаціи. Появившійся в 1835 году Свод законов только дважды был переиздан, в 1845 и 1857 гг. полностью, нѣсколько раз выходили новым изданіем отдѣльные тома, но вообще гос. канцелярія предпочитала отдѣлываться изданіем от времени до времени т. н. «продолженій», в которых отмѣчались отмѣненные законы и перепечатывались вновь изданные, с указаніем мѣста в Сводѣ, на которое они отнесены. Уже и сам по себѣ такой упрощенный способ, чѣм дальше, тѣм все больше усложнял пользованіе Сводом, а со времени появленія манифеста 17-го октября и связанных с ним законов о «дѣйствительной», как сказано было, неприкосновенности личности, о свободѣ печати, собраній и т. д. во всяком случаѣ должно было положить конец такому пріему кодификаціи — нельзя же вливать вино новое в мѣха старые, включать законы о свободах в Свод, покоящійся на основѣ полицейскаго абсолютизма. Но госуд. канцелярія, ничтоже сумняшеся, и на это пошла и продѣлала настоящій кунстштюк над конституціей, напр.: закон о свободѣ собраній помѣстила в архаическій «устав о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій» и мѣстечко выбрала такое укромное, чтобы никому уж не догадаться; она включила новый закон в видѣ примѣчанія под статьей, гласящей: «для предупрежденія напрасных и злоумышленных тревог набатным звоном духовное начальство должно строго наблюдать, чтобы у колоколен двери были крѣпки и всегда заперты, а ключи хранились у священников». Госуд. канцелярія, очевидно, твердо держалась мнѣнія, что «самодержавіе остается, как встарь», и законы, его ограничивающіе, не могут претендовать больше, чѣм на примѣчаніе к омертвѣвшим правилам: фактически такому положенію канцелярское остроуміе вполнѣ соотвѣтствовало. Этого моего доклада гос. канцелярія не забыла: когда годом позже, приступив к работѣ над «Исторіей русской адвокатуры», я обратился с просьбой о разрѣшеніи ознакомиться с архивным дѣлом о судебном преобразованіи, госуд. секретарь увѣдомил, что «затрудняется разрѣшить», и точно также поступил и Щегловитов в отношеніи архива министерства юстиціи.

Сейчас, впрочем, когда все уже покрылось густой архивной пылью, я готов допустить, что кодификаторы обидѣлись искренне, что унылое остроуміе было лишь случайным результатом серьезнаго недоумѣнія, куда дѣвать новые законы, а настоящая кодификація была столь не по плечу, что и мысль о ней не могла взбрести в голову. Перевал в новый вѣк сопровождался общим умственным утомленіем, уклоненіем, боязнью принципіальных постановок, и эти признаки Право неоднократно обнаруживало и в иностранной законодательной дѣятельности. Но их нетрудно было усмотрѣть и в настроеніях тѣх общественных кругов, которые, в силу своей оппозиціонности, считали себя передовыми. В связи с обсуждавшимся в Третьей Думѣ проектом преобразованія мѣстнаго суда международный союз криминалистов обратился ко мнѣ с предложеніем сдѣлать на съѣздѣ русской группы Союза доклад. Мало новаго

мог я прибавить к тому, с чѣм, как докладчик комиссіи, выступал во Второй Думѣ, но доклад имѣл успѣх и меня просили для слѣдующаго съѣзда разработать спеціальный вопрос об участіи народнаго элемента в мѣстном судѣ. Это участіе может быть построено либо в видѣ отдѣльной коллегіи, вѣдающей, обособленно от оффиціальных судей, нѣкоторыми функціями судопроизводства — таково жюри присяжных, автономно отвѣчающее на вопрос о виновности подсудимаго. Другая форма — пріобщеніе народнаго элемента к судейскому составу для совмѣстнаго равноправнаго разрѣшенія всѣх вопросов и постановленія приговора — таков был у нас для нѣкоторых политических преступленій суд судебной палаты с участіем сословных представителей. Ясно, что между этими двумя видами зіяет глубокое различіе: первый противополагает народный элемент профессіональному и распредѣляет между ними функціи суда, второй соединяет оба элемента для общей совмѣстной работы. Вопрос об участіи народнаго элемента не был ни новым, ни самобытным, его знала уже сѣдая старина, он возникал всегда и вездѣ и вправѣ был притязать на внушающее уваженіе и душевный трепет званіе вопроса вѣчнаго. Доводов за и против того и другого вида накопилось так много, что они обволокли и закрыли сущность, за деревьями не стало видно лѣса. У нас суд присяжных был пасынком режима, и уже это одно пробуждало к нему симпатіи, а к шеффенам у меня была инстинктивная непріязнь, вытекавшая, вѣроятно, из глубокаго уваженія к знанію и образованію. Теперь предстояло свой, больше апріорный взгляд обосновать и, задумавшись и углубившись в работу, я, совершенно неожиданно для себя, пришел к выводам, открывшим доселѣ невѣдомые, мало заманчивые горизонты. Безнадежный спор об участіи народнаго элемента в судѣ показался мнѣ крупицей в общем, я бы сказал, человѣческом несчастьѣ.

Изо дня в день совершая одну и ту же, одну и ту же работу, судья незамѣтно вырабатывает опредѣленные навыки, усваивает привычки, которыя дают возможность значительно ослабить напряженіе мысли и вниманія и, тѣм самым, играют роль благодѣтельную. Но ослабленіе мысли и вниманія сопряжено с умаленіем интереса к работѣ, постепенно уступающаго свое мѣсто предвзятости — тон рѣчи подсудимаго, выраженіе глаз, манера держать себя автоматически вносятся в какую нибудь рубрику выработанной навыками классификаціи и превращаются в улику, создают презумпцію и являются одним из главных источников судебных ошибок. Тяжущіеся утрачивают довѣріе к суду, а без довѣрія нѣт авторитета, которому в древніе времена не напрасно стремились придать божескую санкцію. Участіе постоянно мѣняющагося — текучаго народнаго элемента вливает живую струю, гарантирует максимальные интерес и вниманіе и служит огражденіем от безжизненной рутины. Но этих преимуществ лишена роль шеффенов: раздѣляя с судьею всю работу, они лишь затрудняют его своим юридическим невѣжеством, которое, вмѣстѣ с тѣм, подчиняет его авторитету, заглушающему благотворное дѣйствіе народнаго элемента. Этот вывод мой и был цѣликом принят, как постановленіе Съѣзда, но приведенныя соображенія рѣшительно

никакого интереса не возбудили, напротив, язвительно и наставительно указывалось, что нужно оставаться на почвѣ практической реальности, а не витать в облаках, участники преній, игнорируя доклад, перебрасывались, как теннисным мячом, готовыми преподносимыми учебниками, доводами. А я тоже испытывал недоумѣніе и обиду горькую и стыд и уже не рѣшался больше выступать со своими домыслами перед другими, но сам отдѣлаться от них не мог, они глубоко тревожили и все больше пріобрѣтали характер назязчивой идеи, завивались в аріаднину нить.

Куда бы я вокруг себя ни взглянул, над чѣм бы ни задумался, всюду видѣл торжество автоматизма, деспотическую власть привычки и восхищался геніальностью Шатобріана, подсказавшаго Пушкину, что привычка свыше нам дана — замѣна счастію она. Вспоминается при этом забавный эпизод. В тѣ годы мы лѣтом уѣзжали в чудесный французскій курорт Аркашон, отгороженный от бушующаго океана уютной бухтой, давшей курорту прозвище la patrie des enfants и защищенной от песчаных дюн великолѣпным вѣковым сосновым лѣсом, одуряюще ароматным. Проѣзжая однажды этим лѣсом, тотчас послѣ короткаго проливнаго дождя, в двуколкѣ, запряженной лошадьми en flèche, мы увидѣли человѣка, который переходил от одного дерева к другому, прислонял сучковатую толстую палку, служившую ему и лѣсенкой; поднявшись по ней, быстро продѣлывал какую-то манипуляцію и спускался на землю, чтобы то же самое повторить у сосѣдняго дерева. Возница наш пояснил, что на каждом деревѣ кора, в опредѣленном мѣстѣ, надрѣзана, и на отвороченном кускѣ ея укрѣплена деревянная чашечка, в которую стекает ароматная смола; теперь лѣсник взбирается на деревья, чтобы опорожнить чашечки от дождевой воды. Нам так привольно жилось в этом райском уголкѣ, ѣхали мы к океану, чтобы на песчаном берегу отдаться пѣной разсыпающемуся приливу, а яркое торжествующее солнце расплавляло всѣ тревоги и заботы и создавало такое стрекозиное настроеніе, что я невольно вслух сказал: Боже мой, какое скучное, утомительно однообразное занятіе! — Лѣсник услышал, повернулся к нам и укоризненно отвѣтил: mais, monsieur, c'est un metier, comme un autre! Как он был прав, этот лѣсной философ, подѣлом меня сконфузившій: автоматизм, вытекающій из сущности профессіи, дѣйствительно всѣ их уравнивает и, если Толстой неправ в своих нападках на судей, врачей, адвокатов, — то лишь потому, что извращеніе профессіи принял за сущность ея. А в концѣ концов, да нѣт же — не в концѣ концов, а прежде всего, самая жизнь есть профессія: каждый из нас, независимо от своей профессіи, становится профессіоналом жизни, поскольку методически, каждодневно вынужден повторять одни и тѣ же дѣйствія, воспроизводить, все безучастнѣе и покорнѣе, тѣ или другія манипуляціи и под старость — прости, Господи! — все больше напоминает несчастную лошадь на топчанѣ, поставленную на круглой деревянной площадкѣ, коей наклон заставляет переступать на мѣстѣ, чтобы приводить в движеніе мельницу. Возможно, что презрительное отношеніе безпокойной духом интеллигенціи к размѣренному «мѣщанству» объясняется, между прочим, и отталкиваніем от авто-

матизма жизни, но «богема», считавшаяся противоположностью мѣщанства, имѣла мало привлекательнаго и становилась уже совсѣм отвратительной, когда, в свою очередь, неизбѣжно тоже превращалась в профессію.

Само собой разумѣется, что и на себѣ самом я тщательно стал провѣрять воздѣйствіе профессіонализма жизни. Я подходил к провѣркѣ свысока — не может же завестись рутина, косность, автоматизм у меня, поглощеннаго умственной дѣятельностью, погруженнаго в причудливый калейдоскоп міровых событій, участвующаго косвенно в их развитіи. Неотягощенный логическими посылками Проппер искренне пришел даже к выводу и серьезно повторял, что лѣтом политическая жизнь замирает, потому что редактора газет разъѣзжаются в отпуск. Не так уж это и забавно, если вспомнить, что чуть ли не на всѣх языках варіируется поговорка: «послѣ стрижки Бог на овец теплом пахиёт». Длинной вереницей потянулись другіе разсказы, анекдоты, легенды из и о газетной средѣ. Один московскій редактор славился слѣпой преданностью своей профессіи, больше ничѣм не интересовался, превратил ночь в день, ложась спать в 10 утра, послѣ прочтенія и сравнительнаго сопоставленія всѣх утренних газет со своей, и вставая зимой уже при искусственном освѣщеніи, чтобы сразу засѣсть за письменный стол, не разгибая спины над рукописями и корректурами. В таком положеніи застал его и сотрудник, зашедшій в редакцію послѣ свѣтлой заутрени и привѣтствовавшій шефа торжественными словами: Христос Воскресе! — Не поднимая глаз, редактор обычным голосом отвѣтил: «вот как! ну, дайте замѣтку строк на двадцать в хронику!» Смѣшно, конечно! но вѣдь такая заутреня лишь раз в год бывает, а ежедневно то один, то другой сотрудник входят с докладом о каком-нибудь происшествіи и ждут указаній, сколько мѣста можно отвести ему в завтрашнем номерѣ газеты. На таких указаніях, от которых зависит общая физіономія газетнаго листа, естественно сосредоточено все вниманіе и отведенныя двадцать строк — объем солидный — доказывают, что, утопая в бумажном морѣ, ретивый редактор успѣл все же сообразить (автоматически, по торжественному тону), что сообщеніе сотрудника относится к числу несовсѣм обычных. — В дни крупных политических событій наш кристально честный редактор хроники разсылал по городу своих сотрудиков освѣдомиться и описать, как отнеслась к событію «улица». Командированный на улицу в день выборов во Вторую Думу, один из хроникеров в своем отчетѣ написал, что, когда на балконѣ кадетскаго клуба показался Кутлер (он был извѣстен, как спеціалист по аграрному вопросу), — в толпѣ раздались крики: «не забудьте обѣщанія дать нам землю!» Фейгельсон усумнился в точности изложенія: «это, пожалуй, лучше вычеркнуть- Кто там мог вспомнить о землѣ, откуда взялись бы там крестьяне?» — «Да что вы, в самом дѣлѣ, Альберт Семенович, — отвѣтил автор, честнѣйшій малый, очень цѣнимый членами Гос. Совѣта за правильность отчетов, — я сам кричал!» Он непререкаемо был убѣжден в полном совпаденіи к. д. программы с народными чаяніями и, если почему либо крика о землѣ в этот день и час не раздалось, он считал себя уполномоченным заполнить деталь, необходимую для отче-

та. — Был у нас сотрудник, корреспондировавшій сначала из Италіи, потом из Германіи, наконец переѣхавшій в Петербург, претендовавшій на честь по брату, видному максималисту, с романтическим псевдонимом. Он был очень способный, скажу — прирожденный публицист, умѣнье находить и сочетать слова заглушало пытливость и скептицизм, не он способностями, а они им владѣли. То или другое событіе, как электрическій контакт, заставляло подходящія слова вспыхивать и сами собой складывались они в привычныя сочетанія, а от щедраго и беззаботнаго пользованія они как бы утрачивали свою зеркальность: вмѣсто того, чтобы отражать дѣйствительность, сами на нее отбрасывали тѣнь, затушевывавшую неистощимое разнообразіе жизненных красок. Переѣхав в Петербург, он просил командировать его в объѣзд провинціи, чтобы дать отчет о настроеніи населенія, я все отнѣкивался, но он был настойчив, и однажды у меня прорвались рѣзкія слова: «зачѣм же вам трепаться по желѣзным дорогам. Ваши впечатлѣнія ничего не прибавят к тому, что вы написали бы, сидя за редакціонным столом». Он справедливо обидѣлся и напомнил об усердных похвалах, которыми я осыпал его корреспонденціи о мессинском землетрясеніи. Это напоминаніе вдруг освѣтило мнѣ то, что тогда самому было неясно еще. «Совершенно вѣрно! сказал я — ваши письма из Мессины были превосходны и знаете ли почему? Потому что землетрясеніе вы видѣли впервые, раньше не имѣли о нем никакого представленія, и вам ничего не оставалось, как искать слова, чтобы отразить новое незнакомое и столь сильное впечатлѣніе. А каково настроеніе русской провинціи — вы твердо знаете по тому, каким оно, по вашему мнѣнію, должно быть и, чтобы вы ни увидѣли, вы лишь приспособите это к готовым словесным формулам».

Всѣ эти мелочи, анекдоты, легенды кружились в памяти и назойливо ставили вопрос: чему же тут удивляться и улыбаться? Не о тебѣ ли самом сказка сказывается? Отвѣтить огульным отрицаніем было бы легкомысленным самоутѣшеніем. Несомнѣнно, что в созданіе этих анекдотов и легенд каждый из нас внес свою крупицу. Вырабатываемыя профессіонализмом рутина и косность наиболѣе тлетворны в области умственной, — в частности, литературной дѣятельности, а положеніе редактора тѣм еще тяжелѣе, что горы бумаги заслоняют от него дѣйствительную жизнь; отсутствіе непосредственности наблюденія, ярких красок и звуков развивают сухость и черствость, притупляют слух и зрѣніе, и чѣм дальше, тѣм упрямѣй все окружающее воспринимается односторонне, как пригодное или непригодное для перенесенія на печатную полосу газеты, под этим углом зрѣнія анализируется и расцѣнивается. И все же мое личное отношеніе к профессіонализму оставалось двойственным: переобремененный работой, дорожа буквально каждой минутой, я не мог не цѣнить огромнаго облегченія, вносимаго привычкой, точным ритмом, строгим распредѣленіем времени — словом, всѣми аттрибутами автоматизма. Тяготѣніе это объяснялось, думаю, инстинктивной самозащитой организма от непосильнаго груза. Если что-либо помѣшало начать день по привычкѣ с прочтенія газет, если часом позже обычнаго попадал в редакцію,

если график вообще был нарушен, — душевное равновѣсіе уже было поколеблено, весь день был испорчен и случались «катастрофы» вспыльчивости, несдержаннаго столкновенія, от которых я сам внутренне безмѣрно страдал. Но вмѣстѣ с тѣм я вѣдь горѣл болѣзненной неутолимой жаждой новаго; со всей присущей мнѣ страстью и подлинным самозабвеніем принимаясь за каждое дѣло, я охладѣвал, как только оно налаживалось и вступало в прочную колею. Друг мой еще недавно укорил, что у меня не хватает выдержки ровным темпом статью написать, что конец большей частью скомкан, и в этом тоже есть доля правды. В такой неровности отчетливѣе всего и сказалась наслѣдственная двойственность, объясняемая противорѣчіями между душевными качествами отца и матери. Мало, очень мало оставляла мнѣ двойственность таких минут, когда хотѣлось бы задержать мгновеніе, когда не саднила бы забота, а что будет дальше, и отражаясь на окружающих, дѣлала общеніе — я не мог не понимать этого, — тяжелым и непріятным. Ощущеніе двойственности естественно вызывало острый интерес к проблемѣ раздвоенія личности. Я глубоко уважал и завидовал людям стойким и цѣльным, но волновали и тянуло к душевно неуравновѣшенным, раздираемым борьбой между реальным и ирраціональным. Впервые я прочел Двойника Достоевскаго уже в зрѣлом возрастѣ и испугался. Какой ужас! Откуда берется вдруг этот несносный кривляка, который располагается в чужой душѣ, как у себя дома, дразнит, скоморошничает, издѣвается и все вверх дном переворачивает? Но какое же мнѣ дѣло до Голядкина, маленькаго ничтожнаго человѣка, лишеннаго всякой устойчивости, не имѣющаго своего мѣстечка. Потому то Бѣлинскій и Некрасов, восхищенные первым произведеніем Достоевскаго, разочаровались в его талантѣ, когда, послѣ Бѣдных людей, появился Двойник. Однако, с двойником столкнулись и выдающіеся представители нашей интеллигенціи: спасаясь от него, Гаршин бросился в пролет лѣстницы, Глѣб Успенскій увѣрился, что состоит из двух половин — Глѣба и Иваныча (отчество его) — тот и другой сами по себѣ. Его фотографіи, снятыя уже во время нахожденія в лечебницѣ для душевно больных, я повѣсил на дверном косякѣ между кабинетом и библіотекой, чтобы пріучить себя, привыкнуть и не вздрагивать при взглядѣ на его славное открытое лицо, искаженное смертной тоской. Нельзя было освободиться от чувства вины, как будто он пострадал за или вмѣсто меня. Сколько раз Набоков, очень цѣнившій литературное творчество Успенскаго, говаривал: «да уберите же эти фотографіи! теперь это больше не человѣк!» Я отмалчивался, опасаясь выдать затаенное сомнѣніе, не тут ли, освобожденный от оков условностей, человѣк только и начинается? Вѣдь во всем творчествѣ Достоевскаго мы находим единственнаго человѣка без двойника — и это даже не Алеша Карамазов, «по матери юродивый», а очаровательный, всепокоряющій князь Мышкин, котораго безжалостная жизнь так и загнала в тупик безумія. А может быть, Набоков понимал, что значат для меня эти фотографіи, и потому именно, также избѣгая разговоров, убѣждал убрать их. И развѣ не странно, что сын его, мой молодой друг Сирин, самый выдающійся современный русскій писатель, блестяще разработал тему о двойникѣ в своем великолѣпном Соглядатаѣ?

Не нужно жаловаться! Страшно имѣть за собой соглядатая, но многіе ли из тѣх, кто оттгородились от него крѣпкими замками сердца и ума, достойны зависти? Знают ли они, что такое счастье и восторг? И почему все чаще и на всѣ лады теперь повторяют, что живущій без безумія не так мудр, как он думает?

ВОЙНА

(1914—1916).

От послѣдней главы вѣет сумбуром: малое и большое, личное и общественное, случайное и неизбѣжное, анекдот и суровый рок — все сплелось в безформенный ворох. Страшусь дальнѣйшаго и пытаюсь утѣшиться предположеніем, что иначе и нельзя отразить господствовавшую тогда сумятицу. И еще больше смущает, что сумятица пріобрѣтает безпокойную стойкость и что поэтому дальнѣйшее изложеніе угрожает докучными повтореніями. В 1913 г. вышел послѣдній том нашумѣвшаго произведенія Ромэн Роллана «Жан Кристоф» и французская Академія наградила автора большой преміей. В Россіи роман имѣл, пожалуй, еще больше успѣха, чѣм на родинѣ, и оцѣнен, как самое крупное событіе. Отчет об иностранной литературѣ в Ежегодникѣ «Рѣчи» на роковой 1914 г. дал извѣстный литературный критик П. Коган, ставшій впослѣдствіи ярым большевиком. По поводу Жана Кристофа Коган высказал мысль, что «душа современнаго человѣка — хаос». Поясняя свое утвержденіе, критик употребил почти буквально тѣ же выраженія, к которым прибѣгнул десять лѣт спустя Гершензон в приведенной выше цитатѣ из «Переписки из двух углов»: «Душа современнаго человѣка изнемогает под непосильным грузом привычек, традицій, вѣрованій, чувств и настроеній, унаслѣдованных от безчисленных поколѣній».

Такое поразительное совпаденіе с приведенной в предыдущей главѣ цитатой, совпаденіе — не только в мыслях, но и словесных выраженіях (о плагіатѣ рѣчи быть не может) дает право сказать, что ощущеніе изнеможенія, усталости, точнѣе — постылости было доминантой тогдашних настроеній. Этого не понимала и не замѣчала старая гвардія интеллигенціи. Она, правда, не сложила рук, не погнушалась погрузиться «в малыя дѣла», к которым презрительно относилась в теченіе минувших бурных лѣт, вела энергичную работу на просвѣтительном фронтѣ, разсылая из столиц в провинцію профессоров, молодых ученых, литераторов для чтенія лекцій не на политическія, а общекультурныя темы, устраивала различные съѣзды; новая точка приложенія сил найдена была в организаціи в деревнѣ коопераціи, сразу получившей замѣтное развитіе. Но, какъ и отмѣчалось в том же Ежегодникѣ, интеллигенція «не обнаруживала творчества в приспособленіи к ши-

роко измѣнившимся условіям общественной жизни и продолжала дѣйствовать по старым традиціям в прежних омертвѣлых рамках». Идеологическій кризис сильнѣе всего захватил молдежь, никакой разумной заботливой помощи она не получала, а у самой было гораздо больше отваги, чѣм сил. Лозунгом она выставила «пощечину общественному вкусу» — так и называлась одна из новых литературно художественных организацій, — но сама безпомощно металась в поисках новаго. Сколько одних «измов» было придумано: модернизм, акмеизм, эгофутуризм, кубофутуризм, имажинизм, адамизм и т. д. Привычной одеждѣ противопоставлена была «желтая кофта» и даже членораздѣльной рѣчи объявлена война — всѣ хорошія слова, которыя так щедро расточались и так воспламеняли сердце заманчивыми обѣщаніями, жестоко обманули и лишились всякаго уваженія. Долой же эти слова, будем говорить «заумным языком». Эти крикливыя потуги тогда представлялись только дурацким кривляніем, эпатированіем, тѣм болѣе, что из под маски борьбы с мѣщанской моралью нагло проступала порнографія. Заполонив литературу, она ринулась на сцену и, начиная с Петербурга и Москвы, во всѣх театрах вытѣснила всякій другой репертуар. Изо дня в день ставившаяся при полных сборах гнусная пьеса Арцыбашева «Ревность», «пьеса, как писал Ярцев, переполненная драками, насиліями, безстыдными сценами и пустыми словами». Я говорю чужими цитатами — хоть и очень хотѣлось самому посмотрѣть, испытать непосредственное впечатлѣніе, я не рѣшался на это, чтобы другим не дать повода такими мотивами маскировать посѣщеніе развращающих зрѣлищ.

Борьба с общественным разложеніем была не легкая, но трудно сказать, на чьей сторонѣ оказалась бы побѣда, если бы не было tertius gaudens в лицѣ власти, которая держала нейтралитет по отношенію к искательству и удовлетворенію острых ощущеній, а нам ставила на каждом шагу препятствія. На многолюдном съѣздѣ женскаго равноправія я прочел доклад об юридическом положеніи женщины по русскому законодательству, не имѣвшій никакого отношенія к «текущему моменту», а когда послѣ этого ко мнѣ обратились с предложеніем сдѣлать второй доклад о предпринятой реформѣ женскаго законодательства, администрація воспретила выступленіе только потому, что первый доклад имѣл успѣх. Отказано было в разрѣшеніи созвать при Гигіенической выставкѣ в Петербургѣ съѣзд по оздоровленію городов. Постановка на могилѣ Муромцева бюста была разрѣшена под условіем удаленія надписи: «Предсѣдатель Гос. Думы», а съѣзд законоучителей, с благословенія администраціи, провозгласил резолюцію: «грамотность увеличивает преступность и рецидивизм и понижает возраст преступника». Министром внутренних дѣл совершенно неожиданно назначен был Н. А. Маклаков и столица наполнилась слухами, что министр забавляет царскую семью удачным звукоподражаніем разным животным, причем козырным номером является прыжок на стол для изображенія пантеры. Но кто же, кромѣ самих посвященных, мог разболтать о том, что дѣлалось въ интимном кругу дворца? Военный министр Сухомлинов окружал себя самыми подозрительными элементами и стал притчей во языцѣх, добившись от Синода, грубѣйшим на-

рушеніем законов, развода супругов Бутович, чтобы на разведенной жениться. Бутович оказался весьма ершистым, обратился ко мнѣ с просьбой огласить фальсифицированные документы, что «Рѣчь» и сдѣлала, и Сухомлинов, сдобно разжирѣвшій, с маслянистыми глазами, сам появился в пріемной редакціи в генерал-адъютантском мундирѣ, чтобы смиренно просить воздержаться от дальнѣйших разоблаченій.

В самом началѣ 1914 г. уволен был и строго корректный Коковцев, и на посту премьера остававшійся даже не министром финансов, а ревнивым хранителем государственной казны, и на его мѣсто, в который уже раз, «вынут из нафталина», как он сам выражался, удрученный годами Горемыкин, который и в молодости не способен был ничѣм волноваться. Совсѣм серьезно можно утверждать, что с конституціонными законами он даже не был знаком, и сам опредѣлял фактическую роль премьера словами — «я человѣк подневольный»: приказано государем — нужно исполнить, внес министр представленіе — нужно дать ему канцелярскій ход. Нужно считаться с реальным положеніем и возставать против него никак нельзя». А реальное положеніе было таково, что руководство политикой находилось не совсѣм в руках правительства. В силу вошел «святой чорт», как прозвал его Иліодор, Гришка Распутин. Впервые я услышал фамилію эту лѣт за пять до войны от начальника гл. управленія по дѣлам печати Бельгарда: он пригласил меня, не в управленіе, а домой и необычайно взволнованно, задыхаясь и путаясь в словах, глухими намеками говорил об угрозѣ династіи, о загадочном вліяніи «старца», и умолял, во имя интересов родины, воздержаться от разглашенія в печати. Я плохо понимал, в чем дѣло, распрашивать нельзя было, чтобы не выдать своего невѣдѣнія, и обѣщать ему помалкивать было вовсе не трудно. Но выйдя от него, я не мог успокоиться, прежде чѣм не собрал самых подробных свѣдѣній об этом уродливом придаткѣ послѣдних лѣт царскаго режима, прославленном засим мемуарами, романами, театральными и фильмовыми представленіями на весь мір, до самых отдаленных уголков. Было ли его появленіе и роль случайностью? До Распутина уже случались крупные скандалы с «французиками из Бордо», гипнотизерами Филиппом и Папюсом, укрытые однако за стѣнами дворцов. Ощущеніе безсилія естественно побуждает искать помощи у сил сверхестественных, вѣрить в чудеса. При этом еще вспоминалось мѣткое замѣчаніе министра вн. д. Хвостова, объяснившаго мнѣ интерес к Распутину тѣм, что: «они (там во дворцах) привыкли слышать только рабское — слушаю-сь! и когда на таком фонѣ хитрый мужичек заговорит простым языком, это дѣйствует очень сильно». Не слышится ли и здѣсь отзвук захватившаго всѣх ощущенія постылости? Если заумный язык мог привлекать слушателей в переполненные залы, то удивляться ли живому интересу к загадочным мужицким реченіям, дерзко ворвавшимся и разворошившим придворный ритуал. Непосредственно перед войной звѣзда Распутина быстро подымалась к зениту, увольненіе и назначеніе министров в значительной мѣрѣ уже от него зависѣло, и в связи с этим его безграмотныя каракули, нацарапанныя на бумажных обрывках, властно раскрывали всѣ сановныя двери. В рѣшающем государственном вліяніи Р. и заключается

существенное отличіе его от всѣх прежних незатѣйливых чудотворцев, и вина, отвѣтственность за это падает не на патологически безвольнаго монарха и больную царицу, и на общество, на так наз. «сливки» общества.

Вспоминается званный обѣд у проф. М. И. Туган-Барановскаго: я сидѣл между хозяйкой и сестрой хозяина, женой ст. секретаря Гос. Совѣта, разговор по обыкновенію шел о Р. Совершенно так же, как на отмѣченных выше «блинах» у М. М. Ковалевскаго, когда сенсаціей был Азеф, титулованному адвокату хотѣлось щегольнуть своей близостью к нему, так теперь соревновали в освѣдомленности о дворцовых тайнах, сообщали о новѣйших дебошах, копались в пикантных подробностях, каждый старался чѣм нибудь позабористѣе поразить вниманіе слушателей, а моя сосѣдка разсказала, что на днях встрѣтилась со старцем у своих аристократических знакомых, что старец очень ею заинтересовался, и она его пригласила к себѣ. Тут меня вдруг и прорвало, я наговорил рѣзкостей, предложив обратить вниманіе на нашу собственную роль в этом печальном явленіи. Легко понять и простить тяготѣніе государыни, вѣрящей в благотворныя гипнотическія свойства Р. для здоровья наслѣдника, но ужасно, что всѣ наперерыв стремятся использовать эту слабость и заискивают у грязнаго развратника, прибѣгают к нему за протекціей, соблазняют подарками и взятками и подставляют спины, чтобы помочь ему взобраться на вершину государственной лѣстницы. Когда то образованное общество упрекали, что оно окружает революціонеров дѣйственным сочувствіемъ. Послѣ убійства Александра II Перовская могла обратиться за содѣйствіем к высокопоставленной баронессѣ, а теперь эта дама принимает у себя Р. и нити от него протягиваются во всѣ слои общества, — вот и у меня, редактора оппозиціонной газеты, образовался контакт: я имѣю честь быть застольным кавалером очаровательной супруги сановника, которая вчера обѣдала с Р., а завтра будет принимать у себя. На кого же нам жаловаться и вправѣ ли мы критиковать? Не будь такой неразборчивости, без нашего содѣйствія и усердія Р. вряд ли и взбрело бы в голову играть политическую роль, да и в дебошах он был бы скромнѣе и осторожнѣе, извѣстность его, как раньше Филиппа или Папюса, не вынеслась бы за ограду дворцов, а мы сами сдѣлали из него Герострата. Я мог сослаться и на конкретный весьма пикантный примѣр неразборчивости: в Военно-Медиц. Академіи стала вакантной кафедра хирургіи, на которую явилось много претендентов. В редакцію пришел пр. доцент Т., просившій заступничества «Рѣчи» против извѣстнаго хирурга Н., кадета, не погнушавшагося де забѣжать к Р. и получить от него каракульки к военному министру в двѣ-три строчки примѣрно такого содержанія: «Милай, родной, исполни его просьбу». Эти каракульки Т. и предъявил, утверждая, что получил их от своего пріятеля в канцеляріи, куда министр передал письмо. А через час-другой появился уличенный Н. с точно таким же разоблаченіем — с письмом Р. того же содержанія, но уже относящагося к хлопотам о Т. Едва ли тут был обман — Р. было просто некогда, да и лѣнь запоминать, к кому и зачѣм он обращался с повелительной просьбой, а кромѣ того, вокруг него вились хороводом юркіе посредники, в том числѣ и газетные работники, и генералы и

охранявшіе его шпики, и получаемые через них клочки бумажек имѣли характер бланковаго векселя, без точнаго, а то и вовсе без обозначенія адресата. Но сановник, которому вручалась бумажка с драгоцѣнным автографом, не мог знать, в какой мѣрѣ Р. в данном случаѣ активно заинтересован, и считал болѣе практичным просьбу удовлетворить.

Могущество Р. представлялось столь безграничным, что даже Витте воспылал надеждой с его помощью вернуться к власти. Сам он, мѣсяца за три до смерти, увѣрял, что лишь один раз видѣл Р., пріѣхавшаго к нему с сомнительным дѣльцом Г. Сазоновым: «он произвел впечатлѣніе умнаго человѣка. Я так и сказал ему, но прибавил, что нам встрѣчаться не слѣдует — мол, ни вам, ни мнѣ не избѣжать косых подозрительных взглядов. — Так я больше его и не видѣл. А вот у меня благословеніе от человѣка дѣйствительно замѣчательнаго» — и он снял с письменнаго стола небольшой триптих, на котором чернилами, тоже крайне безграмотно написана была фраза, содержаніе коей я позабыл, — «это епископ Варнава, подлинно святой». А этот святой был одним из сателлитов Р., неграмотный огородник из Олонецкой губ., возведенный, по настоянію Р., в сан архіепископа, но безпутством не уступавшій своему патрону. Витте однако повѣдал не всю правду. Когда в 1920 г. я стал издавать Архив Русской Революціи, мнѣ было однажды предложено пріобрѣсти три тома «Дѣло о Р.». Один содержал детальнѣйшіе, совсѣм по образцу гоф-фурьерских журналов, записи приставленных к Р. филеров об его времяпрепровожденіи. Просматривая этот том, я, среди записей о посѣщеніях «семейных бань» со встрѣченной на улицѣ проституткой, о пьянствѣ в трактирѣ и т. п., перемежающихся с визитами министров и придворных, между прочим прочел: такого то числа, в таком то часу «подъѣхала на извозчикѣ гр. Виттте под густой вуалью и, дав швейцару три рубля, просила проводить ее черным ходом». Совсѣм невѣроятным казалось мнѣ утвержденіе редактора «Колокола» Скворцова, что через него забѣгали к Р. и гордые финны, чтобы добиться отставки ненавистнаго генерал-губернатора Зейна, и я был поражен, когда в «Исповѣди» Бѣлецкаго прочитал подробное изложеніе этого эпизода. Большинство, однако, вовсе и не считало нужным скрывать своих отношеній к Р.: на далеко не фешенебельной Гороховой улицѣ, прославленной помѣщавшимся в концѣ ея управленіем градоначальника (отсюда и кличка филеров — гороховое пальто), у дома, в котором проживал Р., всегда стояла вереница великолѣпных машин и карет, подчас и с ливрейными лакеями на козлах — тут были и сановники, и банкиры, и адвокаты, и литераторы, и скульпторы и художники, и поклонницы — молодыя и старыя — вперемежку с темными уголовными типами. Эта картина неизмѣнно приводила на память «безтолковую поэму безтолковаго студента» Ивана Карамазова: «да, время было такое, что если бы Христос сошел на землю, в лучшем случаѣ он услышал бы «зачѣм ты нам мѣшаешь? Ступай и не приходи болѣе, не приходи вовсе... никогда... никогда...» Теперь было время Распутина и, не явись он, его бы выдумали — развѣ не выразительна самая фамилія его, а сколь еще знаменательнѣе, что с юности он, как маятник, ка-

чался между распутством и аскетизмом, исканіем Бога и грязным омутом, в который Петербург его уже с головой и погрузил.

В такой-то удручающей обстановкѣ с Балканскаго полуострова, гдѣ освободительная война с Турціей разрѣшилась междуусобной борьбой, стали мерцать зарницы, все ярче освѣщавшія рѣявшій по Европѣ призрак войны. В Петербург пожаловал, для организаціи отвѣтнаго визита Англіи наших парламентаріев, извѣстный сторонник англо-русскаго сближенія проф. Пэрс, он интересовался и моим мнѣніем о политическом значеніи этого посѣщенія. Кажется, впервые, вмѣсто отвѣта, на который обычно бывал слишком скор, я сам задал вопрос, почему он сомнѣвается в цѣлесообразности визита. «Эта новая демонстрація сближенія может усилить подозрительность Германіи и увеличить шансы войны». «А как вы, независимо от этого, шансы войны оцѣниваете?» — «Мы напряженно, со стиснутыми зубами ждем и думаем, что войны не избѣжать». — «В таком случаѣ о чем же вы спрашиваете? Отвѣт вы сами уже дали». Сознаніе непосредственной опасности войны было вполнѣ отчетливо. Мнѣ, однако, не вѣрилось, лучше сказать — никак не мог конкретно представить себѣ ее, как живую реальность. Я убѣждал себя, что тяжелый опыт Японской войны, в которую вступали с такой спокойной увѣренностью, должен удержать от новаго риска, много болѣе серьезнаго. Такой прогноз легко находил подтвержденіе в прецедентах 1909 и 1911 гг., равно как и в крайне сдержанном отношеніи нашей дипломатіи к послѣдним Балканским событіям. Даже, когда за три мѣсяца до убійства эрцгерцога в «Биржевых Вѣдомостях» появилась анонимная статья — интервью под хлестким заглавіем: «Россія хочет мира, но готова к войнѣ», я склонен был видѣть в ней не вызов, не угрозу, а похвальбу, легкомысленную браваду или запугиваніе тѣм болѣе, что одновременно в иностранной печати опубликованы были успокоительныя завѣренія Сазонова, объяснявшія наши вооруженія германской подготовкой. В литературных кругах и тогда уже было извѣстно, что статья написана под диктовку Сухомлинова весьма сомнительным журналистом Ржевским, сотрудничавшим в «Русском Словѣ», которое однако отказалось ее опубликовать. Для «Биржевки» всякая сенсація была хороша, послѣдствія в расчет не принимались, но в отвѣт на мой упрек, редактор так и объяснил, что газета имѣла в виду предостеречь противника от рѣшительнаго шага, что он и сам знает, что утвержденіе Сухомлинова — «в будущих боях русской арміи никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов» — очень далеко от дѣйствительности. Но именно потому важно внушить впечатлѣніе, что мы готовы. А «Рѣчь» без обиняков немедленно поставила вопрос: «не отличалось ли военное вѣдомство таким же оптимизмом наканунѣ нашего послѣдняго разгрома?»

Угроза и шансы войны открыто обсуждались и у нас и заграницей, вспоминаю пророческую статью проф. Делбрюка в Preuss. Jahrbücher, которая с замѣчательной прозорливостью распредѣляла роли европейских держав в предстоящем столкновеніи и правильно намѣтила поводом к войнѣ отношенія между Сербіей и Австро-Венгріей. А в 1922 году в журналѣ «Красная Новь» опубликован был записка П. Н. Дурново, представленная государю

в февралѣ 1914 г., слѣдовательно одновременно с упомянутой статьей Сухомлинова, причем Дурново, как и Пэрс, считал войну между Англіей и Германіей неизбѣжной и указывал, что столкновеніе раздѣлит Европу на два вооруженных лагеря, и еще точнѣе предсказывал, какія державы в каком лагерѣ окажутся, предусмотрѣл вмѣшательство Америки и Японіи и предостерегал против участія в предстоящей войнѣ. Но никому не могло придти в голову, что повод оформится в убійство наслѣдника престола, и когда среди глубокаго лѣтняго затишья, усугублявшаго ощущеніе тупика, раздался роковой выстрѣл, чреватый такими грандіозными послѣдствіями, которых до того исторія и приблизительно не знала и человѣческое воображеніе представить себѣ не могло, — когда раздался этот выстрѣл, он раскатился так громко, так отчетливо прозвучал боевым сигналом, заглушившим всѣ усилія сохранить мир, что уже и тогда зародилось сомнѣніе, не с той ли цѣлью злодѣйское преступленіе и было совершено, чтобы дать толчок. По окончаніи войны поражало запоздалое и даже вредное усердіе, с каким разрабатывался и велся страстный спор о «винѣ» того или другого монарха или дипломата. Мнѣ казалось, что это отвлекает вниманіе и роняет значеніе мрачнаго величія историческаго хода событій, и однажды в бесѣдѣ на эту тему с чиновниками германскаго министерства ин. дѣл я высказал, что теперь, когда вся дипломатическая переписка полностью опубликована, остается лишь выяснить, не было ли в убійствѣ Франца Фердинанда провокаціоннаго умысла, злостнаго намѣренія создать повод для войны. Догадка с негодованіем была отвергнута, а затѣм в Москвѣ и Берлинѣ вышли двѣ книги, (Полетики и Фишера) которыя нашли явственные слѣды умысла, ведущіе и к Вѣнѣ и к русскому посольству в Бѣлградѣ.

Какъ врѣзалось в память это чудесное жаркое лѣто 1914 г. В отпуск я уѣзжал, по обыкновенію, осенью и мы собирались в благословенный Крым, а, чтобы мнѣ не оставаться одному в городѣ, жена наняла дачу на Крестовском островѣ, все лѣто гостил у нас Каратыгин, и жилось очень уютно. Мои мысли были сильно от «Рѣчи» отвлечены — спѣшно печатался внушительный том «Исторіи русской адвокатуры», который мнѣ поручено было написать Совѣтами присяжных повѣренных к пятидесятилѣтію суд. реформы. Я очень гордился почетным порученіем и был поглощен чтеніем и правкой корректур. Среди адвокатов я чувствовал себя чужим и в знаменитой «Смирновкѣ» — адвокатском казино в зданіи суд. установленій, гдѣ бывал очень рѣдко и гдѣ всегда стояла гулкая толчея, насыщенная разговорами и спорами о процессах и выступленіях и профессіональными сплетнями, мнѣ было не по себѣ. Но очень внимательно и участливо слѣдил я по отчетам Совѣтов за профессіональной жизнью адвокатуры и выработал себѣ убѣжденіе, что весь строй сословія был изуродован и все больше подтачивался заложенной в его основу двойственностью, что адвокатура обречена была сидѣть между двух стульев. Я не сомнѣвался, что изученіе лѣтописей адвокатской жизни подтвердит мой взгляд, наполнит его конкретным содержаніем и что, поэтому — и без предварительнаго составленія ненавистных мнѣ планов и схем — всѣ факты легко найдут свое мѣсто, и изложеніе окажется ладным и соразмѣрным. Предполо-

женія не обманули, напротив — далеко превзошли ожиданія, и сколько раз я бывал внѣ себя от восторга, когда наталкивался на объективныя данныя, оправдывавшія субъективный подход. Только такой удачей и вызванным ею увлеченіем я теперь объясняю, что в один год удалось справиться с работой, занявшей шестьсот страниц, хотя по прежнему «Рѣчь» отнимала большую часть дня. Меня лишь смущал, говоря модным языком, «соціальный заказ» и юбилейный характер изданія». Не то, чтобы нужно было поступаться своими мнѣніями, но требовалась сдержанность, историческая безстрастность, в которую впервые, за тридцатитилѣтнюю тогда литературную дѣятельность, приходилось заковать себя. Сначала все шло гладко, комиссія в составѣ представителей всѣх совѣтов, завѣдывавшая изданіем, была довольна и похваливала работу. Недоразумѣніе обозначилось лишь на послѣдней главѣ, которая, в силу юбилейнаго характера, должна бы открывать заманчивыя перспективы, а в дѣйствительности разрѣшалась в тонах минорных — безвременье отчетливо наложило печать и на адвокатуру. Во время процесса Бейлиса, в Петербургѣ состоялось общее собраніе прис. повѣренных, на котором присутствовало около 200 человѣк, и между прочим *единогласно* рѣшено послать привѣтственную телеграмму защитникам Бейлиса. Министерство юст. отнеслось к этому сурово, в телеграммѣ усмотрѣло «наглое обвиненіе государственной власти в извращеніи основ правосудія» и предписало Совѣту возбудить дисциплинарное производство, а параллельно начато было и предварительное слѣдствіе, завершившееся скамьей подсудимых для 25 человѣк. Большинство отдѣлалось установленіем своего алиби — кто уѣхал до принятія резолюціи, кто пріѣхал послѣ этого, кто куда-то спѣшил, а кто плохо себя почувствовал. Один даже заявил, что голосованіе производилось поднятіем рук и, чтобы подчеркнуть свой протест против голосованія, «я спрятал обѣ руки поглубже в карманы». Осужденные приговором суда 25 адвокатов осыпаны были привѣтствіями, в их честь устроен банкет, говорились горячія рѣчи, вся либеральная пресса стала на их сторону. Но в «Правѣ» я писал по поводу запоздалаго взрыва сочувствія: «Нельзя не вспомнить, что попытка возбудить процесс против адвокатуры уже имѣла мѣсто около десяти лѣт назад, когда нѣсколько лиц были привлечены по дѣлу об участіи в союзѣ адвокатов по 126 ст. Уг. Уложенія. Тогда, однако, со всѣх сторон посыпались от адвокатов письменныя заявленія, что и они принадлежат к союзу, и попытка прокуратуры безслѣдно растворилась в этой стремительной готовности отвѣчать за свое участіе. Теперь прокуратура тоже повидимому была смущена значительным количеством лиц, подлежавших привлеченію на скамью подсудимых. Слѣдственная власть любезно предупреждала допрашиваемых, что против них никаких улик не имѣется и что дальнѣйшая их участь зависит от собственнаго показанія. На этот раз, однако, не только не посыпались заявленія о присоединеніи к инкриминируемой резолюціи по поводу суда над Бейлисом, но и среди участников собранія предупредительность слѣдств. власти встрѣтила живой отклик, вслѣдствіе чего из ста с лишним присутствовавших на собраніи прокуратура имѣла возможность посадить на скамью подсудимых только 25 человѣк. Когда же послѣ произнесенія при-

говора прежнее безучастное отношеніе смѣнилось банкетами с горячими рѣчами, безконечными телеграммами и т. д., — вряд ли это может служить компенсаціей, ибо при нынѣшних условіях такія выраженія сочувствія, сыгравшія значительную роль перед революціей, теперь утратили всякое значеніе. Не странно ли, что на банкетѣ среди ораторов, привѣтствовавших осужденных, оказались и такіе,, которые сами принимали дѣятельное участіе в собраніи адвокатов и которых, поэтому, было бы умѣстнѣе слышать со скамьи подсудимых и видѣть среди чествуемых.»

Этот непривлекательный эпизод характеризует, однако, не адвокатуру, как таковую, а вообще тогдашнее русское общество и так и должен быть принят, как pars pro toto. За то во время войны ярко обнаружилось, что и к концу пятидесятилѣтія основные вопросы о роли и функціях адвокатуры так и остались на мертвой точкѣ. Юрисконсульт крупнаго германскаго банка заявил на судѣ, что «по измѣнившимся обстоятельствам времени не считает возможным выступать по предъявленному банком денежному иску и поддерживать интересы своего довѣрителя». К чести суда можно было отмѣтить, что он, послѣ продолжительнаго совѣщанія, обязал адвоката сохранить свои полномочія и продолжать исполнять профессіональныя обязанности. Такія данныя не располагали к радужным прогнозам и работа моя закончилась страстным спором с представителями ред. комиссіи. Спасибо Н. Тесленко, человѣку большого здраваго смысла, бывшему украшеніем московской адвокатуры, который упорнѣе всѣх на меня насѣдал и удержал от злободневных публицистических выводов, побудил сгладить излишнее заостреніе. Адвокатура дѣйствительно проявила в полном смыслѣ слова героическую сопротивляемость щегловитовскому насилію над правосудіем. Грустно теперь вспоминать о наших спорах, не предвидѣлось тогда, что в подпольях зрѣет новая власть, которая завершит работу Щегловитова, что мы не исторію пишем, а памятник воздвигаем русской адвокатурѣ. Теперь хотѣлось бы на памятникѣ отмѣтить, что в доблестное сказаніе о русской интеллигенціи адвокатура вписала страницу очень яркую.

Почетное порученіе написать исторію адвокатуры превратилось в подлинное благодѣяніе: увлеченіе работой создавало иллюзію укромнаго уголка, в котором можно было спрятаться, улизнуть от удручающей дѣйствительности. Трудно найти слова, чтобы отразить мучительное душевное состояніе, овладѣвавшее мною в редакціи. Время как будто остановилось, и среди мертвеннаго застоя явственно ощущалось приближеніе рока, вспоминалась сцена из пушкинскаго Дон Жуана в Худ. Театрѣ, когда все громче и громче слышатся зловѣщіе тяжелые шаги каменнаго Командора, от котораго бѣжать уже некуда. Нельзя было найти темы для передовой статьи, все было сказано, всѣ варіаціи использованы, а время стоит, и сегодня можно лишь повторить то, что вчера уже было напечатано, без того, чтобы хоть на іоту что-нибудь измѣнилось, чтобы струйка свѣжаго воздуха облегчила чувство удушья. На многих фабриках и заводах рабочіе бастовали, но без пафоса борьбы, а больше автоматически, в силу привычки—, в «Рѣчи» я сослался на заявленіе самих соц.-демократов, усматривавших серьезную опасность в том, что рабочіе

«бастуют по любому поводу». При таких условіях Іюльскій визит Пуанкарэ должен был еще обострить чувство безнадежности и Рѣчь снова настойчиво предостерегала против опасности націоналистическаго шовинизма. Послѣ посылки австрійскаго ультиматума Сербіи, Милюков, находившійся в отпуску в Финляндіи, вернулся и, во время ночных редакціонных бдѣній, надо было подолгу убѣждать его смягчать рѣзкости статей, требовавших максимальных уступок от Сербіи ради избѣжанія міровой войны: припоминаю двусмысленную обидную фразу — нельзя допустить европейскаго пожара из за сербских свиней. Фраза напрашивалась не на буквальное отнесеніе ея к главному предмету сербскаго экспорта, а на аллегорическое пониманіе, но с величайшим трудом приходилось отторговывать каждое отдѣльное слово, впервые за совмѣстную долголѣтнюю дѣятельность я натолкнулся на такое раздражительное упрямство. Неоднократно в теченіе дня и поздно ночью, очевидно по окончаніи засѣданій Совѣта министров, Барк и Кривошеин телефонировали, выставляя себя рѣшительными противниками военнаго столкновенія. Колебанія правительства побуждали еще выше поднимать тон, чтобы склонить вѣсы в пользу мирнаго, пусть и дорогой цѣной, разрѣшенія опаснаго конфликта, и «Рѣчь» в этом отношеніи шла впереди всѣх других оппозиціонных органов, можно сказать, вела их за собой.

В роковую субботу, начав день по обыкновенію с просмотра газет для составленія «Обзора печати» и развернув «Новое Время», я всплеснул руками, такой гнусности ожидать нельзя было. Суворин напечатал статью, уличавшая Милюкова что, в послѣднее его пребываніе в Вѣнѣ, он посѣтил редакцію Reichspost, офиціоз убитаго кронпринца, и в бесѣдѣ с одним из злѣйших врагов славянства высказывал и с своей стороны сужденія, прямо враждебныя интересам «братьев славян». Этим суворинская газета и объясняла отрицательное отношеніе «Рѣчи» к вооруженному вмѣшательству Россіи в защиту Сербіи. Я тотчас позвонил к Милюкову и услышал, что он уже знает об этой статьѣ и пришлет опроверженіе. В редакціи я и нашел на своей конторкѣ нѣсколько узеньких листочков, густо исписанных мелким отчетливым почерком, и в ужасѣ отпрянул — «не пишут так пространно рѣшительный отказ», а в данном случаѣ отвѣт только и мог заключаться в одной строчкѣ: в редакціи «Reichspost» никогда не был и с Имяреком не разговаривал. Однако, заглянув в рукопись, я увидѣл, что она начинается именно с такого категорическаго отрицанія. Но к этому Милюков еще прибавил, что в другой вѣнской газетѣ дѣйствительно было напечатано интервью с ним которое он цѣликом воспроизвел для вящшаго доказательства грубой облыжности нововременской статьи. Только что я отослал рукопись в типографію для срочнаго набора, чтобы корректурный оттиск послать в «Новое Время» для напечатанія, как позвонил начальник гл. управленія по дѣлам печати гр. Татищев и сказал, что в столицѣ вводится военное положеніе и военная цензура, которая однако не имѣет цѣлью ограничивать свободу сужденій. Правительство считает необходимым забыть всѣ разногласія и увѣрено, что вся пресса без различія направленій окажет содѣйствіе в борьбѣ с противником. Я отвѣтил, что он не ошибается, что мы истощили всѣ усилія, чтобы

предотвратить безумную войну, но если она уже разразилась, то видим теперь главную задачу в сплоченіи общественнаго мнѣнія для борьбы до побѣднаго конца. Я еще ни с кѣм не сговаривался, не совѣщался, но был увѣрен, что выражаю не свое личное, а общее мнѣніе интеллигенціи — настолько казалось оно ясным, единственно возможным, хотя и обозначало невиданно крутой перелом: вѣдь это еще впервые, и притом в момент острѣйшаго разлада, оппозиція становилась в общій фронт с правительством, объединялась в одном всепоглощающем стремленіи. Если гр. Коковцев — повидимому, искренне — был убѣжден, что мы дѣлаем оппозицію ради оппозиціи, это может лишь служить доказательством предвзятости и самоувѣренности бюрократіи. Гораздо основательнѣе кажется мнѣ напечатанное недавно в парижской газетѣ неожиданное признаніе, что «интеллигенція всегда рада была бы отказаться от оппозиціи». В столь общей формѣ утвержденіе едва ли вполнѣ точно, но послѣ понесеннаго пораженія такое влеченіе могло объясняться тяжелой усталостью. Поэтому переход в общій фронт, сложеніе с себя оппозиціонных доспѣхов должно было естественно вызвать чувство непривычнаго и, слѣдовательно, тѣм болѣе ощутительнаго облегченія, создать какое то особое настроеніе, я не сказал бы — праздничное, но торжественное. А к этому еще присоединялась внезапная бурная ликвидація удушающаго застоя — наконец-то нашелся выход, пусть не выход, а страшный прыжок в неизвѣстность, но совсѣм невыносимо было и в тупикѣ.

Пріѣхав ночью вторично в редакцію, я застал большое, но молчаливое сборище, подвергавшее испытанію прочность безотвѣтнаго редакціоннаго дивана. Бросалась в глаза спокойная самоувѣренность Набокова, рядом с ним нервный Богучарскій, жестоко воевавшій со своей несчастной бороденкой, словно вымещая на ней чувство неловкости в непривычной роли, дальше высокій выточенный аристократ Философов, близкій друг террор. Савинкова, на другой день в толпѣ перед Зимним дворцом бросившійся на колѣни при появленіи государя на балконѣ, рядом с ним совсѣм поникшій Браудо, удрученный тревогой за завтрашній день еврейскаго народа, нѣсколько дам сидѣло вокруг стола, и настороженное молчаніе громко говорило, что обычное разногласіе, вызывавшее безпорядочные споры, сметено вихрем войны. Всѣ с нетерпѣніем ждали корректурнаго оттиска отвѣта Милюкова на статью «Новаго Времени», считая выходку офиціоза мрачным предзнаменованіем. Так оно и вышло: около двух часов, когда я уже подумывал об отъѣздѣ домой, меня вызвал к телефону Татищев. Под впечатлѣніем дневной бесѣды, устанавливавшей новую вѣху в отношеніи между печатью и властью, я готовился услышать какое-нибудь благожелательное поясненіе о предѣлах в. цензуры, но смущенный тон и запинающаяся рѣчь сановника ничего хорошаго не обѣщали. «Я вынужден сообщить вам печальную новость — «Рѣчь» закрыта». — «Что же это значит?», спросил я, не успѣв еще вернуться к упрямой дѣйствительности. «Я и сам не понимаю. Распоряженіе исходит от вел. князя. Сейчас к вам пріѣдет чиновник, чтобы исполнить распоряженіе. но я хотѣл предупредить, чтобы вы, послѣ нашего дневного разговора, не сочли меня лицемѣром». — «Да, вы шутите!» воскликнул Милюков, когда, вер-

нувшись в общую комнату, я повторил полученное сообщеніе. Несомнѣнно, что и лицо и голос мой не могли оставить мѣста для предположенія о шуткѣ, и восклицаніе было инстинктивной попыткой самозащиты от оглушительнаго впечатлѣнія. Я так больше ни слова и не произнес, по неискоренимой привычкѣ к поспѣшным обобщеніям сразу рѣшил, что война лишь увеличивает шансы и размѣры неминуемой катастрофы. Но кажется, что и никто из присутствующих ничего не сказал, молча, избѣгая смотрѣть друг другу в глаза, разошлись. На другой день в. к. Николай Николаевич назначен был верх. главнокомандующим и закрытіе газет вышло из его компетенціи, но в субботу он еще был командующим Петерб. военным округом и не упустил случая воспользоваться предоставленными ему «военным положеніем» полномочіями, чтобы сдѣлать единственный, но столь выразительный жест.

Запрещеніе «Рѣчи» вызвало немалое смущеніе и в правительственных кругах. Не говоря о бурно возмущавшемся Родзянко, которому Милюков еще ночью об этом сообщил, и Кривошеин, игравшій тогда первую скрипку в Совѣтѣ министров, ахнул от неожиданности и даже видавшій (и дѣлавшій) виды Горемыкин, на котораго набросился предсѣдатель Думы, пожимал плечами и обѣщал на предстоявшем провозглашеніи манифеста в Зимнем дворцѣ «переговорить. Но поручиться за результат нельзя. Вы же знаете вел. князя». Через день запрещеніе было отмѣнено под условіем, однако, что в газетѣ будет напечатано объясненіе, комментировавшее эту мѣру. Так Набокову и мнѣ сообщил генерал Гулевич, новый начальник штаба, и не мало пришлось потратить слов, прежде чѣм удалось добиться в переговорах с Татищевым болѣе или менѣе пріемлемаго для редакціи текста. Во время бесѣды Гулевич, круглолицый краснощекій генерал, сообщил нам, между прочим, первую военную реляцію: крейсер Аугсбург «бросил нѣсколько бомб в Либаву». Ничего неожиданнаго в этом не было, но оттого ли, что тон был такой, точно рѣчь шла о заранѣе предусмотрѣнном ходѣ противника на маневрах, или, что пока мысль прикована была всецѣло к политическому значенію войны, а то развѣ еще и потому, что вот когда у нас озабочены огражденіем престижа, противник уже приступил к дѣйствіям, — меня совсѣм скрючило от этого извѣстія и я вышел шатаясь.

А потом и пошло... Каких душевных мук стоило первое посѣщеніе раненых в госпиталѣ и какую оскомину оно надолго по себѣ оставило. Чѣм сложнѣе и запутаннѣе было интеллигентское отношеніе к войнѣ, тѣм страшнѣе представлялось взглянуть в глаза раненому. Вѣдь я прочту в них сокрушительное обвиненіе, грозное требованіе отвѣта на вопрос, ребром поставленный Иваном Карамазовым брату Алешѣ: «скажи мнѣ сам прямо, я зову тебя — отвѣчай. Согласился бы ты возвести зданіе судьбы человѣческой на неоправданной крови? Скажи и не лги». Как устою перед таким вопросом? Я взял на подмогу неистощимаго балагура Чуковскаго, но в ней надобности не оказалось: в госпиталѣ были только легко раненые «солдатики» (по тогдашнему сюсюкающему выраженію), изо всѣх сил старавшіеся не ударить лицом в грязь перед ожидаемым от них выполненіем роли героев, и их топорно стилизованные разсказы о боевых приключеніях выпячи-

вали какую-то оскорбительную развязность. Впрочем, все это было только сперваначала, а потом и к тяжело раненым пріобыкли и фантасмагорическія цифры убитых автоматически прикидывали — пожалуй, одна только привычка и вышла побѣдительницей из катастрофы, ни на скрупул не поступившись своей ролью суррогата счастья и даже еще возвеличившись в своем воздѣйствіи на человѣка. Не долго продолжалось и трепетное молчаніе первой субботы. От заманчивой поѣздки в Крым нам пришлось отказаться, и уже ранней осенью, послѣ невѣроятнаго разгрома Самсоновской арміи, смѣнившаго бравурное наступленіе на Вост. Пруссію, — на наших воскресных собраніях гремѣли споры, принимавшіе, по русскому обычаю, непріятный характер личных выпадов и заподазриваній. Сложилось так, что за обѣдом сторонники «до побѣднаго конца» и противники войны разсаживались друг против друга за прямоугольником стола, и похоже было, что наступает рать на рать. Рѣшительным и постепенно все болѣе ярым пацифистом выступал Бенуа, умный талантливый и широко образованный, а самым шумным противником его был молодой сотрудник наш в офицерской формѣ, Альхави, впослѣдствіи бывшій адъютантом ген. Баратова и убитый бомбой на персидском фронтѣ. — Душой я всецѣло сливался с Бенуа, но понимал, что сбросить с себя ярмо войны никак нельзя. Поэтому в теченіе нѣскольких мѣсяцев я и в «Рѣчи» не в состояніи был ни словом обмолвиться, чувство протеста надо было всячески подавлять, ибо оно заставляло лишь острѣе ощущать неизбывную тяжесть. Мнѣ казалось, что я навсегда утратил способность писать. С первой минуты стало непререкаемым, что войну так или иначе придется довести до конца, и представлялось совершенно непостижимым распространенное утвержденіе, можно сказать, communis opinio, что в один прекрасный день правители опомнятся и скажут: баста! Потрепали хорошенько друг друга, пора и по домам разойтись. Возможно ли такое открытое признаніе безсмысленности кровавой бойни? Кто же сам себѣ выдаст такой аттестат? Нѣт! хочешь не хочешь, дерись до «побѣднаго конца». Странно было, что и тѣ, кто имѣл возможность смотрѣть со стороны, не хотѣли вникнуть в страшный смысл развертывавшейся трагедіи. Из Стокгольма пріѣхал редактор газеты Dagens Nyheter Карлгрен, теперь профессор Копенгагенскаго университета, и тоже рѣшительно утверждал, что война окончится в ничью, statu quo. Только что на его просьбу высказать свой прогноз я отвѣтил скромной ссылкой на заинтересованность, а в душѣ был убѣжден, что он не разойдется со мной в оцѣнкѣ положенія, но, услышав его мнѣніе, я вскипѣл и горячо стал развивать свой взгляд. Он внимательно выслушал и кратко отвѣтил: «Все это очень интересно, но слишком теоретично, а жизнь требует средних, хоть и не строго логичных рѣшеній».

Споры сразу обрывались при появленіи Милюкова, с ним никто не рѣшался вступать в пренія, считая это безцѣльным. «Дарданеллы» дѣйствительно превратились у него в навязчивую идею, мѣшавшую слѣдить, оцѣнивать и приспособляться к мѣняющейся обстановкѣ. Послѣ перваго бурнаго года, чередовавшаго восторженныя надежды с тяжелыми разочарованіями, полевыя дѣйствія смѣнились позиціонной войной, принявшей затяжной из-

нурительный характер. Никто этого не предвидѣл, не мог представить себѣ, психически вмѣстить такую продолжительность. Прежде говаривали, что для войны нужны деньги, деньги и деньги. Теперь выяснилось, что важнѣе — нервы, нервы и еще нервы. У нас, как впрочем и вездѣ, нервов не хватило и усталость все больше давала себя знать. Однажды по случаю прiѣзда Ярцева с рижскаго фронта у меня назначен был редакцiонный обѣд: когда всѣ, за исключенiем Милюкова, собрались, Изгоев прочел нам перехваченную царскосельской радiостанцiей, на которой служил его племянник, радiограмму, содержавшую предложенiе кончить войну. Всѣ радостно оживились. Угрюмое ненастье вдруг прорѣзал луч солнца, кажется — ни слова не было произнесено, но на всѣх лицах можно было видѣть горячiй отклик на это предложенiе и всѣ замѣтно волновались в ожиданiи опаздывавшаго Милюкова. Он тоже обрадовался сенсацiонному извѣстiю. Для него оно служило доказательством слабости противника, окрылявшей мечту о проливах, и он тут же за письменным столом в полчаса написал передовую статью с рѣшительным отказом, и когда прочел ее вслух, никто не раскрыл рта, не возразил ни слова, но еще болѣе характерно, что и между собой самые интимные друзья — Каминка, Набоков и я не обмѣнялись мнѣнiями о случившемся: о чем говорить, если мы обречены.

Да, нервов у нас не хватило. Когда в 1918 году Троцкiй отказался от подписанiя мира и выкинул лозунг — ни мир, ни война!, это вызвало недоумѣнiе и насмѣшки. А года за три до этого прожил нѣсколько дней у нас прiѣзжавшiй с рижскаго фронта друг сына моего Ф. А. Степун, очень одаренный и образованный философ. Блестящiй собесѣдник, он говорил мнѣ (позже формулировал точно в своих замѣчательных «Письмах прапорщика артиллериста»), что Россiя не стоит на уровнѣ войны, «то ли ниже, то ли над ним, и что поэтому Россiи не слѣдовало принимать вызова на войну, а поднять святыя и чудотворныя иконы и без оружiя выйти на встрѣчу врагу. Как ни безумно звучат эти слова, серьезных возраженiй я себѣ не вижу». Возраженiй Степун не находил, но, оправившись от поврежденiя ноги, вернулся на фронт, чтобы снова наводить артиллерiйское орудiе. Звучанiе «безумных слов» заглушалось раздирающим душу криком все того же Ивана Карамазова: «все позволено!», безоглядным прославленiем убiйств, человѣческих гекатомб. До сих пор стоит перед глазами лубочный плакат, изображающiй богатырем казака Крючкова с красной озвѣрѣлой физiономiей, увѣшанной орденами грудью и огромной пикой в рукѣ, на которую насажена добрая дюжина корчащихся в судорогах врагов. Мы еще далеко не оправились от потрясенiя общественной психологiи, которое произвели бомбы революцiонеров и висѣлицы военно полевых судов. Но тогда все же раздавался протест, теперь убiйство признавалось и стало основной задачей государственной дѣятельности, поглотившей всѣ потребности соцiальнаго уклада. Украшенiем домашней обстановки сдѣлались привозные с фронта гостинцы — аэропланныя стрѣлы, стаканы, осколки чемоданов и т. п. орудiя смерти. Из страшнаго незванаго гостя смерть превратилась в неотвязнаго захребетника. Не было пушкинскаго «упоенiя в бою», которое таит неизъяснимы

наслажденья, безсмертья может быть залог, — в лучшем случаѣ ожидала «могила неизвѣстнаго солдата». Обезцѣненіе жизни, утрата смысла ея сопровождалась легкой наживой, деньги, как и жизнь, стали ни почем, и этот реактив дал осадок туманящаго дурмана. В одно воскресенье, поздно ночью, военный министр Шуваев назначил мнѣ пріем для выясненія недоразумѣній, вытекавших из примѣненія к газетам цензуры. Утром этого дня появилось важное сообщеніе о протестѣ Америки против подводной войны. Я спросил добродушнаго старика, какое значеніе он придает протесту, а он, оказалось, и не знает еще об этом и, удивленно посмотрѣв, стал возбужденно говорить: «да, бросьте, голубчик! Вы вот о чем подумайте. Вот эта рука (он высоко поднял правую, поддерживая кисть ея лѣвой) сегодня подписала контрактов на милліард рублей. А я вѣдь солдатскій сын, учился на мѣдныя деньги.» Недоумѣвая, какое это отношеніе имѣет к протесту Америки, я смущенно пролепетал: «какіе контракты?», на что он, повысив голос, отвѣчал: «контракты! Не в том же дѣло, контракты на снаряды, конечно! Да, вы, голубчик, понимаете ли, что такое милліард рублей. Вот этой самой рукой!» И он смотрѣл на свою руку, точно это не часть тѣла его, а какая-то драгоцѣнная святыня. Денежный дурман был так ошеломителен, что, несмотря на страшное разстройство и истощеніе народнаго хозяйства, дебатировался вопрос, не увеличила ли война народнаго благосостоянія, и серьезный экономическій журнал пришел к заключенію, что вопрос «принадлежит к числу сложнѣйших».

Противодѣйствіе вліянію дурмана, и само по себѣ представлявшее задачу очень трудную, требовавшую бичующих слов древних пророков, парализовалось — нельзя уйти от этой квалификаціи — упрямой злонамѣренностью власти. Надѣленная чрезвычайными дискреціонными полномочіями и, вмѣстѣ с тѣм, вытѣсняемая из своих позицій безконтрольными распоряженіями начальника штаба верх. главнокомандующаго Янушкевича, вымещавшаго на несчастной родинѣ свою военную бездарность, власть дошла до полнаго распада, среди котораго непоколебимо стоял и безвозбранно царил один Распутин. Страницы Архива Русской Революціи, на которых напечатаны протокольныя записи Совѣта министров того времени, и задним числом возбуждают жуткое чувство, тогда — можно сказать, к счастью — мы всѣх потрясающих подробностей не знали. Но и то, что происходило на открытой сценѣ, на глазах у всѣх, вселяло тупое отчаяніе. Просматривая теперь статью свою в Ежегодникѣ за 1916 г., я спрашиваю себя, неужели все так и было на яву и как же мы это перенесли? Об обѣщаніях Татищева, что цензура нисколько не стѣснит свободы сужденій, даже неловко стало вспоминать. Статья отмѣчала, что «положеніе о цензурѣ так было составлено, что примѣненіе в полном объемѣ должно было вообще ликвидировать ежедневную прессу». На совмѣстном засѣданіи представителей военной и гражданской цензуры с редакторами газет это было единодушно обѣими сторонами констатировано и милостиво постановлено представлять на предварительный просмотр лишь отдѣльныя корректурныя гранки статей, имѣющих непосредственное отношеніе к военным вопросам. Вмѣсто требуемаго нелѣпым за-

коном осуществленія цензуры при штабѣ главнокомандующаго, она пріютилась в Петербургѣ, при «Комитетѣ по дѣлам печати», строгій неисполнимый закон замѣнен был произволом. Военные цензора дѣйствительно ничѣм, кромѣ статей о военных дѣйствіях, не интересовались, но всѣ наши старые знакомые гонители свободнаго слова превратились тоже в в цензоров и настойчиво раздвигали предѣлы вѣдѣнія цензуры. Дня не проходило, чтобы ту или другую газету не постигла кара — штрафы достигали размѣров в 10.000 р., но худшим наказаніем была налагаемая обязанность представлять на просмотр и калѣченіе весь матеріал газеты: это задерживало своевременный выход и обезцѣнивало ее до послѣдней степени. Чтобы оправдаться перед читателями, мы прибѣгали к уловкѣ — вычеркнутые пассажи сохранялись в видѣ зіяющих пробѣлов, но правительство поняло значеніе демонстраціи и началась борьба из за «пустых мѣст», которыя то запрещались, то вновь — и это было уже крупным завоеваніем — разрѣшались. Тяжесть положенія осложнялась еще и тѣм, что Москва не считалась состоящей в районѣ военных дѣйствій, как Петербург, вслѣдствіе чего там газеты пользовались большей свободой и стали завоевывать и петербургскій рынок. Это было тѣм болѣе чувствительно, что по своему центральному территоріальному положенію Москва всегда имѣла гораздо болѣе широкій район сбыта, а теперь, по мѣрѣ продвиженія противника на русскую территорію, наш район все суживался.

Невыносимый гнет заставил наконец подумать о сплоченіи и организаціи: иниціатором явился представитель оштрафованной на 10.000 руб. газеты «День» П. Е. Щеголев, извѣстный пушкинист. Это был человѣк очень подвижной, несмотря на необычайную толщину — десять пудов вѣсом. За обѣдом у «Медвѣдя» состоялось первое собраніе редакторов петерб. ежедневных газет, о котором так живо напоминает вот этот подаренный мнѣ уже здѣсь фотографическій снимок. Большинство было мнѣ до того незнакомо и, чѣм внимательнѣе я вглядывался в руководителей общественнаго мнѣнія, тѣм жирнѣе расплывался перед глазами вопросительный знак, тѣм сложнѣе казалась развертывавшаяся загадочная картинка. Переведенный из захудалой Тулы в Петербург , я с трепетом входил в министерство юстиціи и снизу вверх на всѣх сослуживцев поглядывал, предполагая, что они представляют отбор суд. вѣдомства, но весьма скоро убѣдился, что подбор происходил по другому признаку — родства и связей. С таким же предвзятым почтеніем подходил я к своим новым коллегам: тут, думалось мнѣ, разочарованіе уже невозможно, протекція и родство роли играть здѣсь не могут, развѣ в видѣ случайнаго исключенія. Вот два брата Суворины, унаслѣдовавшіе от талантливаго отца созданное его руками крупнѣйшее газетное и книжное предпріятіе — не слѣдует удивляться, если они оказались не на своем мѣстѣ. Старшаго отцовское завѣщаніе предусмотрительно назначило пожизненным редактором и это была бы весьма пріятная синекура, если бы, вмѣстѣ с хомутом редакторских функцій, в который никому и в голову не приходило впрягать его, можно было еще освободиться от представительствованія, требовавшаго напористости, иниціативы, разговоров, а его стихіей было мрач-

ное молчаніе. Но неусыпная природа с лихвой возмѣстяла это молчаніе болѣзненной говорливостью младшаго брата, подстегиваемой азартным употребленіем алкоголя. Азарт лежал на всем его поведеніи и запальчивость, с какой его вечерняя газета травила нѣмцев — крупныя промышленныя предпріятія — трудно было объяснить одной патріотической ревностью. В ресторанѣ он был свой человѣк и лакеи, с которыми он обращался больше чѣм свысока, перед ним трепетали. Случайное исключеніе мог представлять и князь Э. Э. Ухтомскій — он сопровождал Николая II, в бытность его наслѣдником, в путешествіи на Дальній Восток, которое потом в подобающих случаю высокопарных выраженіях описал в роскошно изданном томѣ, послѣ чего и получил в аренду казенный орган «Санкт Петербургскія Вѣдомости». В противоположность такому же московскому органу «Моск. Вѣдомости», сыгравшему, под руководством Каткова, крупную роль в государственной жизни Россіи, Пет. Вѣдомости ни малѣйшим вліяніем не пользовались, мало читались, но представляли выгодное коммерческое предпріятіе, так как там печатались хорошо оплачиваемыя казенныя объявленія, а также и нѣкоторыя обязательныя частныя, установленныя законом для оглашенія того или другого юридическаго факта. Внѣшность маленькаго пухленькаго замухрыжки ничѣм не выдавала аристократическаго происхожденія, он, казалось, и княжеское достоинство держал в арендѣ. И сотрудники смотрѣли на свою работу, как на способ получить кусок хлѣба: когда, при Врем. Правительствѣ, рѣшено было прекратить выход газеты за полной ея ненужностью, они долго и горячо убѣждали, что газета «никому вѣдь не мѣшает, а нам дает возможность хоть с хлѣба на квас перебиваться. Другого заработка теперь не получить».

В общем однако наслѣдованіе, родство и связи не могли играть замѣтной роли в журнальной средѣ, тут, напротив, было много самородков, своим горбом добивавшихся выдающихся успѣхов на газетном поприщѣ. Я уже упоминал о Проперѣ и Сытинѣ, таким же был и редактор Петербургской Газеты С. Н. Худеков, которым я всегда любовался, как музейным сокровищем. Высокій, не по лѣтам (ему было уже под восемьдесят) стройный и бодрый, с пышными усами на вытянутом, с рѣзкими чертами, лицѣ, с черным шелковым галстухом, завязанным широким бантом — дать ему в руку длинный черешневый чубук и воскрес упраздненный отставной майор, каким его неизмѣнно изображали в театральных представленіях. Его роскошный особняк содержал богатое безпорядочное собраніе картин, замѣчательныя коллекціи стариннаго серебра в кубках, чарках и братинах, но больше всего он гордился единственной, по его словам, коллекціей фарфоровых статуэток изображавших балерин. Радушный хозяин, он усердно потчевал и всегда приготовлял сюрприз в видѣ «бутылочки» какого-нибудь необыкновеннаго вяна или меда, сразу поступавшаго в полное распоряженіе Б. Суворина и Щеголева. Мнѣ он неизмѣнно объяснялся в любви, увѣрял, что читает не свою газету, а «Рѣчь», которая ведется прекрасно, за исключеніем, однако, «пристрастного городского отдѣла». Он был гласным Гор. Думы, принадлежал к партіи, так наз. стародумцев, склонных, по старинкѣ, смѣшивать

городское хозяйство со своей вотчиной. «Рѣчь» вела войну с ним и, вѣроятно, неумѣренныя похвалы должны были склонить меня к тому, чтобы «пристрастіе» упразднить или хотя бы смягчить. Его же газета была как бы необходимым дополненіем к «Новому Времени»: оно отражало политическіе взгляды высоких и правящих сфер, а Петерб. Газета живописала общественный и домашній быт. Эти описанія почтительно читались обывателями, вплоть до швейцаров и старших дворников, но за ними ревниво слѣдили и сановники, вплоть до министров и их жен — упомянуто ли их присутствіе на балу или парадѣ, стоит ли на надлежащем мѣстѣ фамилія, точно ли описано платье супруги и дана ли ему достойная оцѣнка.

Необычайной словоохотливостью отличался редактор «Колокола» В. М. Скворцов, сын священника, оффиціальный судебный эксперт по дѣлам гонимаго Побѣдоносцевым религіознаго сектантства. Вино дѣйствовало на него очень сильно и тогда языку не было никакого удержа. Общій смысл болтовни был тот, что «вы и не догадываетесь, какіе *там* сидят люди», с пьяными слезами он жаловался и искал у слушателей сочувствія тому, что «за малыя деньги, ничтожныя субсидіи» правительство предъявляет к нему строгія требованія и каждаго новаго министра он обязан прославлять, как спасителя Россіи. В первом же засѣданіи, среди людей, которых совсѣм не знал, он разсказывал, как был уволен обер-прокурор Синода Саблер, при котором Скворцов нѣкоторое время состоял чиновником особых порученій. Слухи о предстоящей отставкѣ дошли до Саблера и он, ни жив, ни мертв, отправился в Царское на очередной всеподданнѣйшій доклад. В кабинетѣ царя производился ремонт и Саблер принят был в столовой. Только что он приступил к докладу, как вбѣжал наслѣдник, бойко поздоровался и спросил: «а ты умѣешь пантеру представлять?» На отрицательный отвѣт наслѣдник предложил сыграть в лошадки. Саблер взглянул на царя, безмолвно стоявшаго с мягкой улыбкой на лицѣ, понял, что надлежит доставить мальчику удовольствіе, и стал бѣгать, что заставило царя хохотать до упаду. Через нѣсколько минут царь остановил сына, пожурил, что он утомил старика, перед которым искренне извинился и ласково сказал, что доклад придется отложить до слѣдующаго раза. Очарованный и совсѣм успокоенный Саблер вернулся в Петербург, на радостях сам обласкал всѣх попавшихся на встрѣчу чиновников и курьеров и уѣхал к себѣ на дачу в Ораніенбаум, а через час фельдъегерь вручил ему письмо, в котором (Скворцов воспроизводил содержаніе дословно) царь сѣтовал на наслѣдника, помѣшавшаго сказать, что он не забудет долгой и вѣрной службы Саблера, а теперь с благодарностью отпускает его на покой.

Грандіозное предпріятіе создали из ничего три репортера Коган, Городецкій и Катловкер. Городецкій разсказывал, что однажды он явился к знакомому банкиру и просил взаймы денег для основного капитала. «Сколько же вам нужно?» — «Мы расчитали, что меньше чѣм восьмью тысячами не обойдемся». — «Ну, уж и восемь. А если я вам четыре дам?» — «Я низко поклонюсь вам — был отвѣт — потому что я вѣдь заранѣе знал, что, какую бы цифру ни назвать, вы сократите наполовину». Эти четыре тысячи и

создали возможность выстроить громадный дом, в котором помѣщалась отлично оборудованная типографія, и организовать небывалую еще в Россіи «Газету Копѣйку», сразу пріобрѣвшую очень значительный тираж. Представителем ея был А. Э. Коган, добрѣйшій и милѣйшій человѣк, на рѣдкость талантливый — издававшійся им в Берлинѣ журнал, шедэвр художественной техники, правильно носил сказочное имя Жар Птица и создал А. Э. видное положеніе в одном из крупнѣйших берлинских издательств. Непременно опаздывая, с неизмѣнным извиненіем: «Как вам сказать — я был очень занят», появляется Пропер, в сопровожденіи двух своих глухо враждующих между собой редактором — Гакебуша и Бонди. Мрачный, косолапый, исподлобья смотрящій испытующим взглядом злых глаз и в каждом подозрѣвающій мерзавца, Гакебуш начал свою дѣятельность с литературных низов в Москвѣ и приглашен был Пропером Милюкову и мнѣ на смѣну. Гакебуш убѣдил Пропера тряхнуть мошной и, как уже упомянуто, сумѣл высокими гонорарами привлечь в газету видных литераторов, начиная со Струве, и превратить утреннее изданіе — острой пряной разноголосицей — в распространенную газету, конкуррировавшую с «Рѣчью». О своем коллегѣ Бонди, смазливом и крикливом jeune premier, Гакебуш отзывался с величайшим презрѣніем — «нам, мол, деньги тяжелым трудом достаются, а ему смазливая харя ворожит», а когда у Гакебуша внезапно умерла жена, Бонди давал недвусмысленно понять, что у такого человѣка «все может случиться». Когда же потом Гакебуш, сойдясь с министром вн. д. Протопоповым и получив от банков огромныя деньги, основал новую газету «Русская Воля» и увел из «Бирж. Вѣдомостей» лучших сотрудников и завѣдующих коммерческой частью, Бонди уже открыто называл его уголовным преступником. Но при Проперѣ Гакебуш держался по молчалински, фактически же Пропер норовил всегда высказаться послѣ своего фактотума, чтобы заявить: «как вам сказать, я вполнѣ согласен с Михаилом Михайловичем». Это было так забавно, что иногда я нарочито обращался прежде к нему, но на свою же голову, потому что, ловко лавируя с помощью «как вам сказать», Пропер ровным голосом нанизывал какія-то безсодержательныя фразы, а Гакебуш, молчаливо поддакивая ему кивками и видя мое нетерпѣніе, не торопился придти на помощь, пока тот не скажет: — «вот и Михаил Михайлович такого же мнѣнія», и тогда М. М. глухим голосом в двух словах формулировал отвѣт, на который Пропер с сіяющим лицом откликался: «как вам сказать — вот именно так». Здѣсь я имѣю случай снова подчеркнуть противоположность между Москвой и Петербургом: когда вскорѣ наше общество из петербургскаго объединенія превратилось во всероссійское, и пришлось познакомиться с представителями московской прессы, я увидѣл людей, куда болѣе интеллигентных и высоко образованных.

В первом засѣданіи от неожиданности ярких впечатлѣній я растерянно озирался кругом, прислушивался и только к концу обѣда вспомнил, что мы собрались не для того, чтобы «будем знакомы», как все повторял М. Суворин, а для обсужденія устава, которое, впрочем, много времени не потребовало и разногласій не встрѣтило. Момент оказался весьма подходящим. Под

вліяніем тяжелых военных неудач отставлены были наиболѣе ненавистные министры — Маклаков, Саблер, Сухомлинов, Щегловитов, и никто не знал, в каком направленіи новый политическій вѣтер перемѣстит остріе цензуры, кому будут мирволить новые сановники. Только благодаря этому и удалось выставить основным началом нашего общества исповѣданіе свободы печати, и уже на первых порах пришлось, хотя и не без треній, исключить вертляваго представителя «Голоса Руси» за уклоненіе от напечатанія в газетѣ принятой обществом в указанном смыслѣ резолюціи. Вскорѣ Общество пріобрѣло большую притягательную силу с неожиданной стороны: призывы ратников ополченія на военную службу быстро слѣдовали один за другим и, опустошая ряды типографских рабочих, конторских служащих и редакціонных работников, вносили все большее разстройство. Мы рѣшили ходатайствовать о причисленіи газет к «предпріятіям, работающим на оборону», на которыя призыв не распространялся, но. по настояніям Б. Суворина и Щеголева, не включили в ходатайство сотрудников газет. Это и произвело, повидимому, благопріятное впечатлѣніе на новаго военнаго министра, суетливаго жовіальнаго Поливанова, жаловавшагося, что он буквально завален такими ходатайствами с разных сторон, но, «вам, конечно, отказать нельзя». С этого момента и поднялся значительно интерес к участію в Обществѣ и нашему секретарю Щеголеву не мало пришлось корпѣть над списками подлежащих освобожденію от призыва рабочих и служащих, в число коих — что грѣха таить — стремились проскочить и газетные работники. При провѣркѣ их тщательно отсѣивали, но в отдѣльных случаях приходилось, во вниманіе к сложным семейным обстоятельствам, состоянію здоровья и т. п., закрывать глаза.

Иной характер носило выполненіе основной задачи — борьбы с военной цензурой. Это было настоящим хожденіем по мукам, выпадавшим главным образом на М. Суворина и меня (сначала он был избран предсѣдателем, я — товарищем, а потом наши роли перемѣнились). Тогда во всю разыгралась министерская «чехарда» и с каждым новым премьером и министром вн. д. нужно было говорить наново. Первый визит был к кн. Щербатову, свѣтлому блондину с красивым чисто русским лицом, располагающим к себѣ. Назначеніе князя явилось большой неожиданностью, его стаж — воспитаніе в Пажеском корпусѣ и управленіе государственным коннозаводством — не давал основаній к занятію поста министра вн. д. Необычайным был и порядок назначенія — он получил указ без предварительнаго приглашенія к государю, без запроса, согласен ли он и считает ли себя способным нести отвѣтственность. к которой был совершенно не подготовлен. Мы были приняты князем на казенной дачѣ на Аптекарском островѣ. Крошечная пріемная полна была разных депутацій, окрыленных надеждой на упраздненіе маклаковскаго гнета. Я стал читать ему составленную записку о злоупотребленіях в. цензуры, уничтожившей всякую грань между требованіями огражденія военной тайны и общеполитическими темами. «Для выясненія характера распоряженій цензуры — говорилось между прочим в запискѣ — и безпредѣльной их произвольности достаточно отмѣтить, что, напечатав на днях

бесѣду вашего сіятельства с газетными сотрудниками, пресса нарушила разосланный за нѣсколько дней до того циркуляр, запрещавшій всякое упоминаніе о созывѣ Гос. Думы, а это, однако, составляло важнѣйшую часть вашей бесѣды». Князь слушал с таким разсѣянным видом, что у меня язык прилипал к гортани, но вот я упомянул о другом циркулярѣ, «воспрещавшем, по распоряженію Маклакова, сообщать что-либо о свадьбѣ фрейлины Х. с чиновником министерства вн. д.», и князь сразу оживился, он и сам был на фрейлинѣ женат, сам носил придворное званіе камергера и вдруг услышал нѣчто знакомое. «Не может быть. Такой циркуляр вы получили?» — «Вы правы, князь, мы тоже глазам отказываемся вѣрить, получая такія распоряженія. К тому же они и нелѣпы. Я, например, и фамиліи эти впервые слышал и только из циркуляра узнал, что свадьба что-то скрывает. А если бы и знал, развѣ серьезная политическая газета вздумала бы о таких пустяках сообщать». — «Конечно, конечно. Обѣщаю вам этим вопросом непосредственно заняться». Он и поручил начальнику гл. управленія Катенину составить обстоятельный доклад, а тот, опираясь на Горемыкина, которому пресса всегда была органически противна, сочинил проект о полном возстановленіи предварительной цензуры в расчетѣ на неосвѣдомленность Щербатова. Благодаря царившему в правящих кругах разладу нам удалось своевременно разоблачить коварный замысел, в послѣднюю минуту совѣт министров снял с очереди поставленный на повѣстку засѣданія проект, и Катенин зря просидѣл в канцеляріи совѣта, в ожиданіи приглашенія в засѣданіе, а вечером позвонил и сладеньким голоском поздравил меня: «Слава Богу, опасность миновала, предварительной цензуры не будет». Вскорѣ Катенину самому пришлось уйти в отставку, чтобы через год, уже перед концом режима, вновь быть назначеным Протопоповым на ту же должность.

Вообще в связи с чрезмѣрным расширеніем компетенціи военной власти за счет гражданскаго начальства и возникшей между ними враждой, создалось положеніе весьма курьезное: военная власть дорожила прессой, старавшейся популяризировать задачи войны, отнюдь не интересовалась отношеніем печати к правительству и потому склонялась в нашу пользу. С другой же стороны, все ускорявшая темп министерская чехарда лишала сановников всякой устойчивости, они побаивались газетной гласности и нѣкоторые грубо юлили и заискивали у Общества. Вспоминаю длинноногаго, растрепаннаго рыжаго кн. Урусова, редактора Правительств. Вѣстника, который все увѣрял, что считает себя моим учеником, и добивался, чтобы Общество выразило перед министром желаніе имѣть его на посту начальника гл. управленія. А по существу в нѣдрах Совѣта министров, в особенности при Горемыкинѣ, «обузданіе печати» было всегда на первом планѣ и мы стонали в желѣзных тисках цензуры. Как только ставился на очередь вопрос о печати, так разноголосица среди министров смѣнялась униссоном, в котором каждый старался взять болѣе высокую ноту: Горемыкин дѣлал вступленіе указаніем, что «печать чорт знает что себѣ позволяет», джентльмен Щербатов предлагал «удар в морду», но опасался «протестов, запросов и скандалов в Думѣ», Харитонов увѣрял, что правые органы не лучше лѣвых, что нужно закрыть

тѣ и другіе, чтобы «дать почувствовать на собственном карманѣ», Хвостов рекомендовал воздѣйствовать на банки, «от которых зависит большинство независимых газет», Горемыкин успокаивал насчет Думы, которую можно распустить и т. д. Но для рѣшительных мѣр уже не хватало размаха, подтачивало сознаніе безсилія, и так партизанская война между прессой и властью и продолжалась с возрастающим ожесточеніем до самой революціи.

В сущности в самое отвѣтственное время, когда рѣшались историческія судьбы родины, ею управляли два человѣка: на фронтѣ одурѣвшій от неограниченной власти начальник штаба Н. Н. Янушкевич, презрительно игнорировавшій всѣ интересы и потребности тыла и свысока третировавшій и совѣт министров, а внутри государства — Распутин, распоряжавшійся смѣщеніем и назначеніем министров и силившійся оказать вліяніе и на ход военных операцій. Между этими двумя роковыми фигурами возникло единоборство и побѣдил Распутин: вел. князь, которому он был обязан своим проникновеніем в царскій дворец, должен был уступить верх. главнокомандованіе царю, а с ним ушел и Янушкевич. Уже при объявленіи войны царь имѣл в виду стать во главѣ командованія, но тогда всѣ министры единодушно его отговорили, и теперь возродившееся намѣреніе царя осуществить первоначальный план представлялось новым тяжелым бѣдствіем, нависающим над родиной. Было нѣчто прямо бѣсовское в рѣзко измѣнившемся общественном настроеніи. Вчера видѣли величайшее зло в Янушкевичѣ, застилавшем собой фигуру вел. князя, сегодня всѣ колебались между надеждой и опасеніями, удастся ли отвратить государя от его намѣренія, грозившаго сосредоточеніем всей власти в руках Распутина, и сохранить ставку в прежнем видѣ, хотя бы и с ненавистным Янушкевичем.

Назначеніем Щербатова, Самарина, Поливанова, знаменовавшим уступку общественному требованію, и открылась министерская чехарда. Перечитывая теперь свой обзор внутренней жизни в «Рѣчи», я и сам не могу справиться с мельканіем фамилій смѣняемых и назначаемых министров. Я отмѣчал, что «срок пребыванія на посту исчисляется уже даже не мѣсяцами, а недѣлями», приводил случаи, когда назначенный сановник даже не успѣвал вступить в должность и когда, наоборот, уволенный снова возвращался на свой пост. Каким зловѣщим было при таких условіях ристаніе, всѣми правдами и неправдами, на пост министра, на котором никак нельзя было удержаться, и каким трагизмом вѣет от подписи государя, на послѣдних письмах его к царицѣ: «твой бѣдный, маленькій, слабовольный муженек». Эта подпись так подходила к распространенной тогда фотографіи ненормально длиннаго главнокомандующаго и смотрящаго на него враждебным взглядом снизу вверх маленькаго царя, словно предлагающаго помѣряться силами. За попытку отговорить царя от верховнаго командованія Щербатов и всѣ назначенные одновременно с ним министры были удалены со своих постов и преемником ему выбран уже упоминавшійся нижегородскій губернатор А. Н. Хвостов, теперь член Гос. Думы, звучно игравшій на анти-нѣмецкой струнѣ. Надо было опасаться, что дни «Рѣчи» сочтены, но он начал свою дѣятель-

ность с приглашенія членов нашего Общества для бесѣды: «Что толку было бы, если бы подписать нѣсколько десятков докладов, которыми меня засыпали, а общественное мнѣніе не знало бы моей программы. Я бросил все и прежде всего рѣшил вступить в личное общеніе с вами, играющими в это сугубо отвѣтственное время такую важиую роль.» Уродливо тучный, с юношески свѣжим матово блѣдным лицом и темносѣрыми умными проницательными глазами, он поражал своей подвижностью и стремительностью и очень ловко парировал прямые вопросы об его намѣреніях: «Как я отношусь к Думѣ? Что за вопрос — вѣдь я сам член Думы и званія этого с себя не сложил. Я первый русскій министр, носящій это званіе». «Будет ли созвана Дума? Вопрос о созывѣ законодательных учрежденій рѣшен до моего назначенія». Обычно при таких собесѣдованіях министр бывал окружен блестящей свитой своих подчиненных, и теперь тоже градоначальник, Катенин и другіе почтительно ждали у входа, но, небрежно кивнув головой, Хвостов на ходу громко сказал: «Мнѣ никто из вас не нужен», а бесѣду с нами закончил словами: «Я знаю, что вы недовольны Катениным, уберу его и назначу лицо, достойное стоять во главѣ цензурнаго вѣдомства. Зато от вас жду содѣйствія главной задачѣ — урегулированію продовольственнаго вопроса и снабженія арміи, находящагося в угрожающем положеніи». Я воспользовался демонстраціей благоволенія и, когда Хвостов привѣтливо с нами прощался, обратил вниманіе на жестокую несправедливость по отношенію к В. Л. Бурцеву, который в патріотическом одушевленіи вернулся из эмиграціи на родину, а его отправили в ссылку. Ни минуты не задумавшись, Хвостов обѣщал освободить Бурцева и — правда, послѣ нѣскольких напоминаній — обѣщаніе сдержал. Такая тактика, в связи с рѣшительным тоном и подвижностью, заставлявшими предполагать необычайную энергію, производила в тогдашней разслабленной обстановкѣ сильное впечатлѣніе даже и на людей незаурядных и вдумчивых. Я был очень удивлен, когда бар. Нольде, иногда присутствовавшій, по службѣ своей в министерствѣ ин. дѣл, в засѣданіи совѣта министров, с увлеченіем разсказывал, что именно такой человѣк, с твердой волей и энергичной рѣшимостью, теперь и нужен и что, как ему по окончаніи засѣданія высказался Сазонов, совѣт министров, безнадежно завявшій под мертвящим вліяніем Горемыкина, вдруг ожил и потому можно ждать серьезнаго улучшенія положенія.

И партнера Хвостов подобрал себѣ совсѣм подстать. Не партнера, а сообщника! Товарищем министра назначен был С. П. Бѣлецкій, уволенный с поста директора департамента полиціи. Его дебелая фигура с непріятно скрипучим голоском, вкрадчивыми манерами и приторной любезностью цѣпляется в памяти за чудесный разсказ Бунина о пораженной моральным дальтонизмом «простой дѣвкѣ» Настѣ, превратившейся в «Н. С. Жохову, городскую мѣщанку» и прожившей «хорошую жизнь» (так и называется разсказ): «Чего мнѣ желалось, я всего добилась, ну, только и характер был у меня настойчивый, и добивалась я тогда своего прямо день и ночь». Точно так же Бѣлецкій, мѣщанин родом, горбом своим добывшій чин тайнаго совѣтника, шел день и ночь, гдѣ напролом, а гдѣ ползком, к хорошей жизни и его

подробное, в нѣсколько сот страниц, показаніе, данное чрезвыч. слѣдств. комиссіи Врем. правительства, одинаково драгоцѣнное как психологическій документ и как историческій матеріал, в сущности представляет разсказ Букина под чудовищным рефрактором. Тогда мы не знали частностей и подробностей этого показанія, но было извѣстно, что оба они, и Хвостов и Бѣлецкій, являются ставленниками Распутина. К Бѣлецкому мнѣ неоднократно приходилось обращаться с ходатайствами об освобожденіи арестованных охраной, и он всегда легко и охотно просьбы удовлетворял, хотя бы онѣ касались лиц, сильно мозолившых глаза жандармам. Самым упорным кліентом был племянник — очаровательный юноша, с виду еще мальчик, сын кавалерійскаго офицера, упомянутаго в первой главѣ. Убѣжденнѣйшій большевик, он в послѣдній раз арестован был уже перед самой революціей, освободившей его из тюрьмы, бросился в революцію очертя голову; несмотря на молодость, назначен был политруком шестой арміи, отстоявшей столицу от Кронштадскаго возстанія, потом играл видную роль в оппозиціи против Сталина и только тогда, при новых властителях — своих друзьях, познал, что значит настоящая тюрьма и ссылка. Когда в началѣ 1916 г. он вновь попался в руки охранки и отец бросился ко мнѣ за помощью, пришлось посѣтить Бѣлецкаго в его служебном кабинетѣ на Морской, и хоть я хорошо уже знал его, но мнѣ показалось, что вижу впервые, что застал его врасплох, в дезабилье. «Опять насчет племянничка? Что толку? Ну отдам вам его, берите, а головы ему, ох, не сносить! Ну, да Бог с ним, да и не до него нам, нынче такія дѣла, такія дѣла!» — «Я вижу, что вы очень возбуждены чѣм-то». — «Будешь возбужден! а все же, голубчики, не уйдете, нѣт, не уйти вам». — «Вы все загадками сегодня говорите». — «Какія уж загадочки и догадочки, вот тут они у меня сидят теперь» и он крѣпко зажал кулак протянутой руки, лицо приняло хищное выраженіе, вот-вот бросится на жертву, и хрипло стал разсказывать об удачном, послѣ долгих усилій, раскрытіи крупных желѣзнодорожных злоупотребленій. Одним из бѣдствій тогда были безпорядки и заторы на дорогах и Хвостов сам ѣздил в Москву разгружать московскій узел, а тайным умыслом было — сокрушить министра путей сообщенія Трепова, конкуррента на пост премьера. Преданный сообщник, Бѣлецкій теперь захлебывался успѣхом, обѣщавшим добиться отставки Трепова. «С поличным сцапали, ловко накрыли их одной сѣточкой. Господин министр очки втирает — военные грузы мѣшают возить продовольствіе. А взяточки кто берет? а смотрѣть да посматривать кто обязан? Дудки, голубчики, теперь не вывернуться вам». Он перегибался через стол, хватал за локоть, перед носом грозил кулаком, окутывал дымом толстых папирос, зажигаемых одна о другую, и когда, наконец, провожаемый повтореніями: «Племянничка завтра же выпущу. Бог с ним, а головку вы ему все же хорошенько намыльте, не сносить ему башки», я вышел на свѣжій воздух, охватило радостное ощущеніе, будто вырвался из какого-то притона. А вскорѣ и разыгрался грандіозный скандал на почвѣ обычных неполадок между сообщниками, которые в таких случаях и себя перестают щадить, лишь бы утопить невѣрнаго товарища.

Об этом невѣроятном скандалѣ, раскрывшем всю глубину падекія режима, довелось услышать разсказ из уст самого Хвостова. Я уже упоминал, что наше Общество из петербургскаго разрослось во всероссійское, вслѣдствіе чего потребовалось измѣненіе устава. Расширеніе Общества было не по душѣ начальству, поэтому утвержденіе измѣненій устава затягивалось и М. Суворин со мною отправились на пріем к Хвостову. Знакомая со времени Плеве пріемная была полна военными и штатскими просителями, и я уже с безпокойством прикидывал, сколько же времени придется дожидаться очереди. Но только что вышел находившійся в кабинетѣ проситель, были приглашены мы. Кабинет имѣл уже другой, нелѣпый вид — письменный стол отодвинут совсѣм вглубь огромной комнаты, гдѣ и днем было темновато, а у окон стоял круглый стол, на котором лежало толстое досье, и вокруг стола три неудобных стула с высокими спинками. К ходатайству нашему министр не проявил никакого интереса и сразу заявил, что сегодня же прикажет новому начальнику гл. управленія признать всѣ внесенныя в устав измѣненія. Поблагодарив и откланиваясь, мы спросили, насколько вѣрны циркулирующіе в городѣ чудовищные слухи. Хвостов притворился непонимающим, но в дѣйствительности только и ждал этого вопроса, кстати и лежавшая на столѣ папка оказалась дѣлом о Распутинѣ. Усѣвшись с нами вокруг стола, министр в теченіе двух часов без умолку говорил. О том, что он был назначен по указанію Распутина, что послѣ этого неудачно пытался Распутина устранить, Хвостов конечно умолчал и всячески старался себя выгородить, но зато не щадил не только своих вчерашних сообщников, но и царскую семью. Он прямо начал с центральной фигуры разыгравшагося скандала — Ржевскаго.

— «Ржевскаго — сказал он, — я узнал в Н. Новгородѣ, когда был там губернатором. Я пристроил его к издававшейся Барачем (видный дѣятель союза русскаго народа) газетѣ в качествѣ сборщика объявленій; но в первый же день он растратил три рубля и был прогнан. Послѣ этого я потерял его из виду, но слышал, что он стал журналистом, весьма бойким, что ему удалось проникнуть в келью Иліодора, когда тот был заточен в монастырѣ, и напечатать в газетах бесѣду с монахом. Мало того, вы, конечно, помните знаменитую статью в «Биржевых Вѣдомостях» — «Мы готовы», появившуюся перед войной и надѣлавшую столько шуму. Эта статья тоже была написана Ржевским, под диктовку Сухомлинова, в присутствіи казненнаго шпіона Мясоѣдова. Когда я был назначен министром, мнѣ сообщили, что Рж. добивается свиданія со мной по какому-то дѣлу. На пріемѣ он разсказал, что может оказать правительству большую услугу, убѣдив Иліодора отказаться от выпуска сочиненной им книги, компрометирующей наш Двор, и особенно Наслѣдника. Его предложеніе показалось весьма пріемлемым, и вопрос шел о том, чтобы дать ему нѣкоторую сумму вперед на необходимые расходы. Я рѣшил написать министру финансов письмо о выдачѣ Рж. иностранной валюты на пять тысяч руб. Вот этим письмом и хотят теперь воспользоваться, как уликой против меня, но вы, конечно, понимаете, что если бы министр вн. д. рѣшился на какое-нибудь преступное дѣяніе, он

не оставлял бы такого яркаго слѣда как оффиціальное письмо. Но так как я дѣйствовал в глубоком сознаніи своей правоты, мнѣ не приходилось задумываться над выдачей Рж. валюты, хотя это законом и воспрещено. Рж. поѣхал в Норвегію, по дорогѣ, к сожалѣнію, наскандалил: какого то жандарма обругал хамом. Когда же по этому поводу был составлен протокол, Рж. заявил, что является моим чиновником и имѣет важную миссію. Ну, хорошо! Протокол был составлен. Как же вы думаете, кому он должен был немедленно быть представлен, если дѣйствительно Рж. мой чиновник и поѣхал по моему порученію. Отвѣт ясен! А в дѣйствительности протокол был от меня скрыт и узнал я о нем много времени спустя, когда Рж. был уже арестован.

Между тѣм ко времени возвращенія Рж. в Петербург, ко мнѣ стали поступать заявленія с фронта, что он обвиняется в самых разнообразных преступленіях — шантажах, растратах, мошенничествах и т. д. Возник вопрос об арестѣ и вот тут его кто-то предупредил о предстоящем обыскѣ. Чтобы как-нибудь спастись, Рж. рѣшил написать Распутину, что я подготовлял покушеніе на его жизнь через посредство Иліодора; так как я своих чувств по отношенію к Распутину не скрывал, и направо и налѣво открыто говорил, что ему было бы лучше состоять при Царѣ Небесном, чѣм при царѣ земном и, так как послѣ покушенія, произведеннаго на него этой глупой бабой, Распутин стал чрезвычайно подозрителен, то он всему и повѣрил. Обыск у Рж. был произведен, но так как он был предувѣдомлен, то всѣ документы, уличающіе его, были уничтожены и, напротив, тѣ, которыми он надѣялся меня скомпрометировать, были подобраны и лежали на самом видном мѣстѣ, — приходи, получай! В частности найдено было запечатанное письмо на мое имя. Как вы думаете, что должны жандармы сдѣлать, найдя запечатанное письмо на имя шефа жандармов? В зубах должны доставить немедленно шефу жандармов, как реликвію оберечь, а они письмо вскрыли и подшили к дѣлу. Тѣм временем Иліодор прислал телеграмму Распутину. Она вас интересует — вот она (из лежавшей на столѣ папки министр вынул бумажку, на которой была копія телеграммы приблизительно такого содержанія: «Григорію Распутину. Петроград. Гороховая 62. Имѣю убѣдительныя доказательства покушенія высоких лиц твою жизнь. Пришли довѣренное лицо. Труфанов»). Тут я узнаю, что против меня возбуждается какое то разслѣдованіе, прошу царя об аудіенции — мнѣ отказывают. Тогда (тон министра пріобрѣтает игривый характер) я размышляю, что я вѣдь не только министр, а еще и член Гос. Думы, имѣю и придворное званіе. Посему надлежит обо всем подробно сообщить как предсѣдателю Думы, так и министру Двора. К министру успѣл съѣздить и разсказать, к предсѣдателю не пришлось, меня немедленно приняли в Царском. Но Гришка на меня очень зол. Прежде я не вмѣшивался в его поведеніе, потом убѣдился, что он принадлежит к международной организаціи шпіонажа, его окружают лица, состоящія у нас на учетѣ и неизмѣнно являющіяся к нему, как только он из Царскаго вернется. Я счел себя обязанным доложить государю, а уже на другой день Гришкѣ это стало извѣстно, и он хвастал перед охраняющими его филера-

ми, что меня прогонят. Я поставил государю условіе — либо Гришка уѣзжает, либо я ухожу. Мнѣ было категорически обѣщано, что на этой недѣлѣ его здѣсь не будет, но я не увѣрен, что так и будет. Теперь как раз недѣля, когда царская семья говѣет, я не могу безпокоить и надоѣдать, а вчера у наслѣдника случилось кровотеченіе, позвали Гришку. Как ни странно, он дѣйствительно умѣет заговаривать кровь, как впрочем и многіе мужики. Гришка отказался пріѣхать. Сегодня его государыня умоляла по телефону и он, наконец, согласился поѣхать туда в три часа. Что будет послѣ этого, не знаю — может быть, часам к шести я получу письмо и покину эту квартиру».

Категорически опровергнув затѣм скабрезные слухи о роли старца во дворцѣ, министр объяснил вліяніе его тѣм, что «Гришка поразительный гипнотизер. Сила его так велика, что ей поддаются в нѣсколько дней и самые заматерѣлые филеры. На что уж эти люди прошли сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы, а чуть не через каждые пять дней мы вынуждены мѣнять их состав. Кромѣ того, на царя и царицу производит сильное впечатлѣніе его простая рѣчь: они там привыкли слышать только рабское «слушаюсь» и видѣть вытягиваніе в струнку, когда же на таком фонѣ хитрый мужичек заговорит простым языком, это дѣйствует очень сильно. И наконец, как я вам сказал, умѣнье останавливать кровь. Как же не испытывать к нему чувства благодарности. Вот и не удивляйтесь, что предсѣдатель совѣта министров приказал мнѣ охранять его, как зѣницу ока, как высочайшую особу. Я попросил письменнаго распоряженія, мнѣ не дали. Жаль! Был бы очень интересный документ». Попутно Хвостов коснулся и другого чудотворца Варнавы, увѣряя, что он отстранен соединенными усиліями недавно назначеннаго петерб. митрополитом Питирима и Распутина. «О, Питирим — великій мерзавец, равно как и его секретарь Осипенко. Он стремится стать патріархом и еще заставит говорить о себѣ. В концѣ концов я мог бы прекратить всю эту исторію. Вы знаете меня — я человѣк без задерживающих центров. Люблю такую игру, и для меня было бы все равно, что рюмку водки выпить, — арестовать Распутина и выслать на родину. Конечно, не всякій жандарм согласился бы исполнить такое приказаніе, но есть у меня люди, которые на это пошли бы. Я лишь не увѣрен, что из этого выйдет: государь может его вернуть с дороги, могут за ним послать императорскій поѣзд, могут сами выѣхать к нему навстрѣчу, его и без того собираются переселить во дворец, чтобы гарантировать безопасность. Не будь войны, я бы все таки рѣшился, но теперь страшно компрометировать династію, я не беру на себя отвѣтственности за возможныя послѣдствія. А между тѣм было бы чрезвычайно важно, чтобы сейчас его не было здѣсь, так как с наступленіем весны ожидается оживленіе военных дѣйствій и член шпіонской организаціи здѣсь совсѣм лишній».

Мы еще подзадорили министра вопросом, кто же будет на его мѣстѣ, не Бѣлецкій ли. Хвостов быстро откликнулся: «Нѣт, вы напрасно противопоставляете меня Бѣлецкому. Я им очень недоволен, он, как видите, не охранил моих интересов, но и там им недовольны, потому что он точно так же не су-

мѣл охранить Распутина. Это вѣрно, что, как вы замѣтили, Распутин твердит: Хвостов убивец, один Степа (т. е. Степан Бѣлецкій) — хорошій, но теперь и Степан ему уже не по душѣ. Нѣт, если я уйду, министром будет или сам предсѣдатель совѣта министров, который этого добивается, или Ширинскій-Шихматов». Прощаясь с Хвостовым, мы извинились, что отняли так много драгоцѣннаго времени, на что он отвѣтил, что, напротив, очень рад, что имѣл возможность все разсказать, что время теперь совсѣм не дорого, потому что ничѣм заниматься нельзя: «с утра до вечера мы только этим и заняты и больше ничѣм. Гдѣ уж тут Дума? Я даже избѣгаю и показываться туда, ибо что же я могу сказать, если мнѣ зададут какой-нибудь вопрос?» Когда, провожаемые Хвостовым, мы вышли из кабинета, в пріемной было очень много ожидающих и среди их тот самый генерал Спиридович, который, по словам Хвостова, назначен был для разслѣдованія. Фигура браваго жандармскаго генерала, стоявшаго, руки в боки, как раз против двери в кабинет министра, создавала впечатлѣніе, что Хвостов уже находится под домашним арестом.

Эта необычайная бесѣда совсѣм огорошила меня и, сѣвши в извозчичью пролетку, я спросил спутника: «Что же вы скажете? Теперь и впрямь остается кричать: погибла Россія!» — «Чему же вы удивляетесь — отвѣтил Суворин. — В нашем домѣ, этажем ниже, под моей квартирой, живет сестра моя, артистка Анастасія Алексѣевна. У нея часто проводит вечера Хвостов с Бѣлецким и чуть не до утра слышна настоящая оргія — раздирает слух гармоника, топот ног, пляс и пѣсни. Вот чѣм министр и занят». Вернувшись домой и испугав жену возбужденным видом, я тотчас составил дословную запись бесѣды (она напечатана была в «Былом» и потом в Архивѣ Рус. Революціи), умолчав лишь о наиболѣе рѣзких выраженіях по адресу царской семьи, а вечером в засѣданіи Общества прочел запись, которую тут же Суворин скрѣпил и своей подписью. Через день-другой Хвостов был уволен, Бѣлецкій назначен иркутским генер.-губернатором, а еще дня два спустя и он получил отставку.

Еще до увольненія Хвостова удален был и премьер Горемыкин. От Клячки мы знали о предстоящей его отставкѣ, но когда Горемыкина предупреждали и называли фамилію преемника, он лукаво улыбался и отвѣчал: «еще подождете». Перед самым уходом он успѣл вырвать у начальника штаба Алексѣева распоряженіе, категорически воспрещавшее оставлять в газетах «бѣлыя мѣста». Независимо от моральнаго вреда, и технически распоряженіе убійственно отражалось на работѣ: чтобы выиграть время, мы обычно не ждали возвращенія из цензуры корректурных гранок и вносили вынужденныя поправки уже в сверстанный номер, а вычеркнутыя строки изымали, оставляя пробѣлы. Запрещеніе пробѣлов требовало бы переверстки, что сопряжено с большой потерей времени и запаздываніем газеты. Поэтому как только на мѣстѣ Горемыкина появился Штюрмер, мы бросились к нему, он послал телеграмму ген. Алексѣеву и на другой день я был по телефону «обрадован» извѣстіем, что удалось убѣдить Алексѣева отмѣнить распоряженіе, которое он по настояніям именно гражданской власти и сдѣлал. По ухо-

дѣ Хвостова, правильно предсказавшаго, Штюрмер захватил вѣдомство вн. дѣл и оказался достойным преемником. Внѣшне он был полной противоположностью Хвостову. Высокій, благообразный старик смиренно усталаго вида, с замедленными осторожными движеніями и чуть слышной рѣчью, точно превозмогавшей обѣт молчанія, он своим богобоязненным видом искал у собесѣдника сочувствія тяжести выпавшаго на него мирского долга, отвлекающаго от созерцательнаго настроенія, и покорно сложенныя на животѣ руки словно насильно удерживались от осѣненія крестным знаменіем. Штюрмер приставил к себѣ двух фактотумов — Гурлянда и сотрудника «Нов. Времени» Манасевича-Мануйлова (Маска), бывшаго вмѣстѣ с тѣм и агентом департамента полиціи. Друг друга они смертельно ненавидѣли, и Гурлянд разсказывал, что на докладѣ о дѣятельности Мануйлова Столыпин написал: «Надо сократить этого мерзавца». И такой же монетой платил ему Мануйлов в своих отзывах. А Штюрмер в этой враждѣ, вѣроятно, и усматривал гарантію от неожиданности — если кто что-либо замыслит против него, другой тотчас донесет. Двух сыновей своих Штюрмер, как отмѣчено было в «Рѣчи», назначил вице-губернаторами в занятыя уже непріятелем губерніи царства Польскаго с выдачей подъемных и прогонных на проѣзд туда. А через недѣлю одного из сыновей перевел в Курскую губ. с выдачей новых прогонных и подъемных, для себя же самого потребовал, ссылаясь на высочайшее повелѣніе, ассигнованія в безконтрольное распоряженіе пяти милліонов рублей. Еще через мѣсяц он занял пост министра ин. дѣл вмѣсто неожиданно уволеннаго Сазонова: чѣм яснѣе сразу обрисовалась цѣль его стремленія к власти, тѣм необъяснимѣе было предпочтеніе новаго поста прежней должности министра вн. д., имѣющаго в своем распоряженіи десятимилліонный секретный фонд. Что же это значит? Куда он мѣтит? Неужели нужно ожидать крутого перелома в международных отношеніях Россіи? Пріученное к самым невѣроятным сюрпризам общественное мнѣніе не могло отвергнуть и такое предположеніе и отовсюду стал ползти шопот о государственной измѣнѣ.

Феерическія перемѣны в составѣ правительства, отражавшіяся рѣзкими толчками на положеніи прессы, заставили подумать о законодательном урегулированіи военной цензуры. По просьбѣ Общества к. д. фракція устроила совѣщаніе с представителями других фракцій и здѣсь вышло пренепріятное препирательство между делегатом московских газет проф. А. А. Мануйловым и мною. Я доказывал, что огражденіе военной тайны одинаково важно на всем пространствѣ имперіи, а потому безсмысленно различеніе «театра военных дѣйствій» от других мѣстностей. Но зато должно быть точно установлено, что за предѣлы огражденія военной тайны цензура выходить не вправѣ. Мануйлов предпочитал сохранить нынѣшнее положеніе, ставившее Москву в привиллегированныя условія, но, будучи человѣком высокой порядочности, не приводил вымышленных доводов, а лишь на всѣ лады варьировал опасенія, что любое измѣненіе отразится неблагопріятно на Москвѣ, что потому нужно руководствоваться правилом quieta non movere, и дождался заявленія депутата Маклакова, что хотя, как представитель

Москвы, он ревниво относится к интересам первопрестольной, но «должен признать, что Гессен прав и представленныя ему возраженія неубѣдительны». Дальше этого, впрочем, дѣло не двинулось, как и вообще тогдашнія совѣщанія в гораздо большей мѣрѣ служили обнаруженію воздѣйствія отравленной атмосферы, нежели практическому оздоровленію ея.

К большому огорченію, и дружная семья «Права» стала проявлять трещины. С самаго начала войны характер наших засѣданій по четвергам рѣзко измѣнился. Больше всѣх подавлен был Петражицкій — еще бы! У него, все поставившаго на карту права, война все и отняла и безправіем грубо надругалась. Только что я начинал докладывать о поступивших статьях и проектировать содержаніе ближайшаго выпуска журнала, Петражицкій со страдальческим лицом и умоляющим голосом предлагал отложить этот разговор и сначала обсудить, что же будет и нельзя ли войну прекратить? «Как же теперь прекратить ее?» — «А неужели нельзя объяснить государю всю гибельность войны для права, для государства, для всѣх и всего? Это же так просто и ясно. Трудно только доступ к нему получить, а разъяснить положеніе никакого труда не составило бы». Ему отвѣчали, что это далеко не просто, и начинался безконечный спор и предлагались прогнозы. Всѣ коллеги по «Праву», инстинктивно не допуская, что надолго может оборваться безчисленными нитями сплетенное международное общеніе, приходили к выводу, что война скоро кончится компромиссом в пользу той или другой стороны. Однажды — это было 15 декабря 1914 г. — я предложил товарищам кратко формулировать свои мнѣнія на бумагѣ. Записав под диктовку всѣ высказанныя сужденія — наибольшим оптимистом оказался проф. Каминка, полагавшій, что война кончится вничью на Пасхѣ 1915 г., — я приписал и свое мнѣніе буквально так: «Война кончится полным военным разгромом Германіи, когда — не знаю». Конечно, споры на этом не прекратились, напротив, — чѣм болѣе нагло лѣзли в глаза отрицательныя стороны войны, тѣм замѣтнѣе стало просачиваться раздраженіе и притом, что было наиболѣе мучительно, на почвѣ національнаго вопроса. Во время войны к правительственному антисемитизму присоединилась жесточайшая травля польскими національ-демократами в издаваемой ими популярной газетѣ «Два гроша». «Право» стояло в сторонѣ, но «Рѣчь» вела страстную полемику, всѣми силами протестуя против раздуванія національной ненависти в столь смутное время. Петражицкій неоднократно возбуждал разговор и все болѣе отрицательно высказывался об этой полемикѣ, а наконец неожиданно сообщил по телефону, что, в виду позиціи, которую заняла руководимая мною «Рѣчь», он не может дальше оставаться в «Правѣ». Наши дружескія отношенія — к сожалѣнію, только письменно — возобновились лѣт через пять послѣ революціи, за рубежом, гдѣ ему в Польшѣ самому пришлось горячо и смѣло выступать против національнаго шовинизма. Другое недоразумѣніе вызвано было защитой моим кузеном докторской диссертаціи в Моск. университетѣ. По установившемуся обычаю, новому доктору «Право» поднесло значок его званія и устроило в честь его обѣд, за которым, всегда словоохотливый, проф. Пергамент демонстративно молчал. Когда же его стали донимать вопросами,

он разразился филиппикой против В. М. Гессена, своего близкаго университетскаго товарища: по молчаливому соглашенію защита диссертацій в разгромленном Кассо университетѣ считалась признаніем новых порядков и неуваженіем к уволенным министром профессорам и потому воспринята была Пергаментом, как штрейкбрехерство. Послѣ этого кузен весьма рѣдко стал появляться в засѣданіях, а Пергамент становился все болѣе непримиримым. Послѣ октябрьскаго переворота он был мимолетно арестован и единственный из всего состава «Права» перешел на службу новому режиму, а пріѣзжая заграницу, тщательно избѣгал встрѣчи с прежними товарищами.

Однако, разлад в «Правѣ» был лишь слабым отраженіем общественнаго разложенія, совершавшагося под воздѣйствіем войны и гибельной политики правительства. Опять ссылаюсь на свою статью в «Рѣчи», в которой читаю: «Измѣненіе первоначальнаго настроенія на верхах интеллигенціи выразилось в возрожденіи былой внутренней полемики со всѣми ея атрибутами, взаимными обвиненіями и заподазриваніями... Параллельно же совершалось «объединеніе» на почвѣ индифферентнаго отношенія к программам... Оно создало благопріятную атмосферу для расцвѣта желтой прессы, снова под личиной радикализма, прикрывавшей чудовищную пошлость, стали шумѣть всякіе «исты», возобновились скабрезные диспуты о «роли женщины», а в одном из скандальных судебных процессов «имена общественных дѣятелей были перемѣшаны с парижскими детективами и петербургскими спиритами», все кругом кривлялось, ковыляло на ходулях, надувалось как крыловская лягушка; один видный поэт провозглашал, что «любит себя, как Бога», другой выпустил сборник стихов, посвященных «мнѣ и египетской царицѣ Клеопатрѣ». Это было невыносимо, прежде всего потому, что чувствовалась искусственная натуга, отвратительный снобизм, но теперь я спрашиваю себя, не было ли это зловѣщим признаком безсильных попыток взлета над опостылѣвшей обреченной дѣйствительностью. Только ли бездарная фанфаронада заключалась в предложеніи Брюсова «сжечь всѣ старыя книги на кострах, вот так, как Омар сжег Александрійскую библіотеку?» Только ли наглость невѣжества сказалась в заглавіи сочиненія безвѣстно погибшаго декадента: «Опроверженіе Шопенгауэра и всѣх философов»? Не тут ли слѣдует поискать и источник безоглядная политическаго радикализма, находившаго, правда обильное питаніе во все болѣе устрашающем государственном хаосѣ?

Силясь, под руководством Милюкова, устоять на своей программѣ и тактикѣ, кадеты оставались все дальше позади сосѣдних общественных групп — прогрессистов и октябристов, которые и не имѣли писанаго канона. В Ежегодникѣ Милюкову пришлось оправдываться и разъяснять, почему фракція воздержалась от участія в голосованіи формулы, требовавшей «отвѣтственнаго министерства»: это воздержаніе, жаловался Милюков, «под вліяніем агитаціи противников кадетов, вызвало многочисленныя перетолкованія». Но обстоятельства были сильнѣе таких бумажных разъясненій и 1-го ноября, ставшаго исторической датой, сам Милюков выступил с нашумѣвшей рѣчью, отдѣльныя части которой заканчивались рефреном: «что это — глупость

или измѣна?» С думской трибуны, на всю Россію, впервые прозвучало обвиненіе в госуд. измѣнѣ, отбрасывавшее тѣнь и на царскій дворец. Это выступленіе несомнѣнно было рекордным в смыслѣ воздѣйствія и звучности отклика в странѣ, и популярность кадетскаго вождя сразу чрезвычайно поднялась. Его забросали письмами и цвѣтами, рѣчь была перепечатана в нѣскольких изданіях и миллiонах экземпляров. Когда вечером 1-го ноября, он, возбужденный, пришел в редакцію, я не удержался и спросил: «что вы сегодня наговорили?» — «А вы опять недовольны?» — «Нисколько, рѣчь была отличная, но отдаете ли вы себѣ отчет, что это начало революціи?» — «Только в вашем пессимистическом воображеніи. До этого еще далеко». Много раз я вспоминал потом этот короткій діалог и думаю, что был и прав и неправ. Прав — в квалификаціи выступленія, как начала революціи: она и стала общепризнанной. Но мало основателен был упрек: не скажи Милюков, выступил бы кто нибудь другой, и положеніе измѣнилось бы лишь в том смыслѣ, что сдѣлано было бы это менѣе обдуманно и что кадеты, с Милюковым во главѣ, были бы совсѣм оттерты на задній план и лишены замѣтной роли в надвигавшемся рѣшительном моментѣ. Повторю здѣсь, что, когда Милюков в началѣ революціи пытался пойти наперерѣз стихійному теченію, уговаривая вел. кн. Михаила принять регентство, всѣ кругом — и слѣва и справа, и политическіе друзья рѣшительно возстали против него.

«Начало революціи» произошло уже во время управленія министерством внутр. дѣл Протопопова, назначеннаго за полтора мѣсяца до этого. Приблизительно тогда же в «Русских Вѣдомостях» напечатан был очень смѣлый фельетон Маклакова о безумном шоферѣ, который мчит автомобиль в пропасть. Статья должна была служить иносказаніем, а стала мрачной дѣйствительностью: Протопопов страдал неизлечимой болѣзнью, отзывавшейся на душевном строѣ, и тщетно искал помощи у знаменитаго авантюриста «тибетскаго врача» Бадмаева. Незадолго до назначенія, на обратном пути из поѣздки думской делегаціи в Англію, Францію и Италію, он сам раздул в сенсацію встрѣчу в Стокгольмѣ с нѣмцем Варбургом, стараясь расцвѣтить ее, как крупное политическое событіе. Вспоминаю экспансивнаго Н. Н. Львова, потерявшаго на войнѣ двух сыновей: встрѣтив меня на Невском, он взволнованно схватил за руку и буквально потащил в кафе, гдѣ, за чашкой чая, с горящими негодованіем глазами, изображал эту встрѣчу, как нащупываніе почвы для сепаратных мирных переговоров. Попытку нѣсколько успокоить он принял за оскорбленіе: «я вѣдь не фантазирую, а передаю, что от самого Протопопова слышал». А когда непосредственно по возвращеніи в Петербург Протопопов был назначен министром вн. д., радикальный «День» привѣтствовал назначеніе и нам говорили: «чего же вы еще хотите? Вѣдь Протопопов настоящій общественный дѣятель, а не представитель ненавидимой вами бюрократіи. Он — предводитель дворянства, тов. предсѣдателя Гос. Думы, он возглавлял думскую делегацію. Государь имѣл всѣ основанія считать, что таким назначеніем идет далеко навстрѣчу общественному мнѣнію». В день его назначенія произошло забавное qui pro quo: только что я пришел домой к обѣду, как позвонил Клячко, чтобы сказать,

что, не застав меня в редакціи, он не знает, можно ли сдать в набор запись бесѣды с новым министром. «Вы ознакомитесь с нею уже в корректурном оттискѣ». А вечером, уже далеко за полночь, позвонил Протопопов в кабинет Фейгельсона, заявив, что ему нужно переговорить с редактором. Простодушный Фейгельсон, не допуская, чтобы министр сам добивался соединенія, а не поручил этого секретарю, рѣшил, что его мистифицирует кто-то из сотрудников, и отдѣлывался от собесѣдника шуточками, пока, по нетерпѣливо грозному тону, не понял, что нужно поскорѣе позвать меня к аппарату. Протопопов дѣйствительно был внѣ себя от бѣшенства и раз десять я повторял извиненія, бормотал какое-то безсвязное объясненіе, прежде чѣм он смягчился, а когда я спросил, чѣм могу служить, он снова вышел из себя, в трубку доносился сквозь словесное буйство топот ног. «Что он, о двух головах? Знает ли он, какая власть у меня? Я его в 24 часа в Сибирь сошлю». — «Да о ком вы говорите, в чем дѣло?». — «Как кто? Ваш Клячко. Скажите, куда мнѣ обратиться? В департамент полиціи? Я сгною его». Не сразу удалось узнать, что разсвирѣпѣл министр, прочтя посланный ему Клячко корректурный оттиск интервью, котораго я еще не читал. Я пытался успокоить ссылкой на недоразумѣніе, ибо Клячко вѣдь такой опытный интервьюэр, но это подлило масла в огонь. «Вот в том то и дѣло. Значит, он нарочно это сдѣлал. Завтра его слѣда не будет здѣсь». В чем же состояло прегрѣшеніе? В интервью сказано было, между прочим, что, вызванный в царскую ставку, Протопопов представил политическую программу, которая свыше и была одобрена. Ясно было, что не Клячко вложил собесѣднику в уста эти слова, но, узрѣв их на бумагѣ, министр испугался собственной дерзости. «Какія программы? Я исполняю лишь волю государя, я только слуга, челядинец царя. Клячко умышленно вставил программу, чтобы меня скомпрометировать. Это хитрая интрига. Я покажу ему». Я обѣщал вычеркнуть эти строчки, объяснял, что департамент полиціи здѣсь не при чем, и он наконец успокоился на том, что возлагает всю отвѣтственность на меня. Не прошло и получаса, как вновь раздался звонок и снова посыпались угрозы: в полном отчаяніи он вспомнил, что интервью одновременно появится и в «Русском Словѣ». Снова пришлось долго урезонивать обѣщаніем, что мы еще будем с Москвой говорить, и я ручаюсь, что и там злополучныя строки будут вычеркнуты. Он размяк, горячо благодарил и просил непремѣнно завтра заѣхать к нему, что бы «дружески побесѣдовать». Разговоры отняли, думаю, не меньше часа и когда, уже около 4-х часов утра, я спускался с лѣстницы, сверху меня позвали: вас просит к телефону директор департамента полиціи. Генерал Климович, уже предназначенный Протопоповым к отставкѣ, с нескрываемым презрѣніем к «странному министру», спрашивал, в чем дѣло: «Министр поднял меня с постели и строжайше приказал немедленно с вами переговорить и принять нужныя мѣры. Ну, и дѣла творятся. А я к тому же уже и не директор. Чѣм это кончится?» На другой день я хотѣл уклониться от свиданія, увѣренный, что Протопопов забыл о своем приглашеніи, но секретарь министра позвонил и напомнил, что «Александр Дмитріевич ждет вас». Изящный, стройный, с медоточивой рѣчью, Протопопов весь сіял и прежде всего счел нужным

сообщить, что он «заступился за евреев», указал государю на их тяжелое положеніе, которое непремѣнно облегчит. Я спросил, как он собирается выйти из запутаннаго положенія, что намѣрен дѣлать в первую очередь, на что, широко разводя руками, он торжественным тоном возгласил: «принимать доклады и ставить резолюціи»! А на прощанье, крѣпко пожимая обѣ руки и возводя глаза кверху, совсѣм как провинціальный трагик, воскликнул: «Друг мой, пожелайте мнѣ счастья!» Еще через нѣсколько дней правленіе Общества явилось к нему оффиціально, опять по дѣлам цензуры, он выглядѣл еще болѣе стройным и подтянутым в новехонькой мундирѣ шефа жандармов (в ставкѣ предпочиталась военная форма. Нам говорил Хвостов: «Вы представьте себѣ мою тушу, в жандармскій мундир затянутую»), принял нас не в служебном кабинетѣ, а в аляповатых роскошных частных аппартаментах, начал бесѣду подчеркнуто запросто: «Ну, давайте курить и болтать. Знаю, чувствую — хочется вам спросить, почему я назначен? Государю императору (только в таком сочетаніи он говорил о царѣ) представлено было четыре кандидата. Первым — Стишинскій. Ну, как, господа, это было бы лучше меня или хуже? Вторым стоял этот, как его, ну, вот этот, Кувака (так называлась фабрикуемая дворц. комендантом Воейковым вода из источника в его помѣстьѣ). Вот этот самый Воейков. Лучше бы это было или хуже? Третій, как его? Кто, бишь, третій, Сереженька?» Сереженька был брат, котораго, как стараго литератора, министр пригласил присутствовать при бесѣдѣ с редакторами. Маленькій расплывшійся человѣчек, он являл полную противоположность брату и внѣшним видом и гробовым молчаніем, и на вопрос вознесшагося на бюрократическія вершины брата, как тургеневскій Уар Иванович «поиграл перстами и устремил вдаль загадочный взор». Но министр и не ждал отвѣта, вопрос нужен был для оживленія монолога: «Ну, так вот. Государь зачеркнул всѣх четырех и начертал фамилію своего собственнаго кандидата. Теперь давайте работать. Что сейчас всего важнѣе? Устраненіе продовольственных затрудненій, не так ли? Возвращаясь из ставки, я заѣхал в Москву, созвал наших Мининых — купечество и они выразили полную готовность помочь. Мнѣ между прочим сказали, что в Н.-Новгородѣ продовольствія сколько угодно, но запрещен вывоз из предѣлов губерніи. — К чорту запрет! Говорят — нельзя, приказ послѣдовал от уполномоченнаго министерством земледѣлія, а он нам не подчинен. Вот как, но чрезвычайная охрана в нашем вѣдомствѣ, выслать его в 24 часа из губерніи. Знаю, знаю — обратился он ко мнѣ — вы таких мѣр не одобряете, а вы — умница, что бы вы сдѣлали?» Я отвѣтил, что во всяком случаѣ такія мѣры могут только усложнить безнадежную путаницу. «Ну, нѣт» — и он изо всей силы ударил кулаком по мраморной доскѣ стола. «Александру Дмитріевичу сказано было, что продовольствіе должно быть и будет оно, будет! А вас, друзья мои, я отстоял. Печать мнѣ дорога, но не взыщите, Москвою я поступился. А лучше было бы, если бы всюду ввести предварительную цензуру». Хотѣлось узнать, что постигло Москву, но тут разыгралась сцена, совсѣм как в «Горе от ума». Лакей почтительно стал докладывать, что супруга министра финансов «желает видѣть его высокопревосходительство».

Протопопов упорно не замѣчал его, а когда мы обратили вниманіе, он совсѣм вышел из себя, стал дико кричать на «челядинца», как смѣет он мѣшать бесѣдѣ, пусть доложит «Натальѣ Александровнѣ». В дверях с робко отступавшим лакеем столкнулся «исполняющій должность генерала для порученій», Протопопов вскочил и потрясал кулаками перед носом генерала, но услышав, что у телефона ждет военный министр, сразу снизил голос до умоляющаго шопота и, безпомощно разводя руками, говорил недоумѣвающему генералу: «Ну, хорошо, ну через пять минут! Ну, могу я пять, только пять минут поговорить с нужными людьми. Нѣт, не дадут поговорить. Пожалуйста, обратитесь к начальнику гл. управленія, я скажу ему и он все сдѣлает». На прощаніе он выразил «особое удовольствіе», что вновь видит меня; одной рукой пытаясь обнять необъятнаго Щеголева, другой Пропера, спросил, как поживает его «прелестная супруга», и прибавил: «Ну, как же, Станислав Максимиліанович, мы вам предлагали идти вмѣстѣ, а вы меня ко всѣм собакам послали».

На том мы и разстались, а когда потом я спросил Пропера, что это за намек, он отвѣтил: «Это, как вам сказать, цѣлая исторія». И повѣдал, что Гакебуш безсовѣстно предал его, убѣдив Протопопова, что теперь, когда и куры денег не клюют, легко получить от банков крупный капитал для новой большой газеты. Банки охотно откликнулись, отнеся данныя ими суммы на счет контролируемых банками многочисленных промышленных предпріятій, получавших на казенных военных заказах чудовищныя прибыли. Опасаясь, что из-за войны трудно будет оборудовать новую типографію, Протопопов, все по наущенію Гакебуша, вступил в переговоры с Пропером на условіях полнаго устраненія послѣдняго от участія в редакціи. «Сам Гакебуш дерзко в глаза объявил мнѣ, что меня в золотую клѣтку посадит. Я, как вам сказать, не согласился и тогда они рѣшили во что бы то ни стало погубить меня, сманили лучших сотрудников, управляющаго, который завѣдует всѣм дѣлом, предложив им удвоенное жалованье». Пропер клятвенно увѣрял, что Гакебуш придумал еще такой трюк: писал приглашенія перейти к нему на службу и таким сотрудникам, которые ему были не нужны. Тѣ показывали письма Проперу, вынужденнаго поэтому повысить жалованье, а сотрудники уплачивали за это Гакебушу извѣстное вознагражденіе. Перед денежным соблазном не устояли и крупныя имена публицистов и литераторов, а Леонид Андреев принял даже на себя роль организатора: Н. К. Рерих разсказывал, что он явился к нему вмѣстѣ с одним радикальным журналистом и, театрально поклонившись — прикосновеніем пальцев к полу — заявил, что «славяне пришли к варягам» и просят его войти в «Русскую Волю». Осторожный Рерих выразил сомнѣніе, на что Андреев, бія себя кулаком в грудь, кричал: «какія же сомнѣнія? Вѣдь со мной, со мной! А гонорар, какой угодно». Точно так же сам Протопопов соблазнял Шингарева: «в Лондонѣ мы жили в одной гостиницѣ и, страдая безсонницей, Протопопов ночью стучался в мой номер, просил медицинскаго совѣта и начинал говорить без конца, предлагая сотрудничать в «Русской Волѣ». Я уклонялся, ссылаясь на связь с «Рѣчью», но ему это было непонятно: «то другое дѣло. А я буду вам пла-

тить по рублю за строчку. И Милюкова тоже попрошу принять в моей газетѣ участіе». Как только грянула революція, сорганизованная Гакебушем разношерстная группа поспѣшила объединиться на немедленном его устраненіи от созданной им газеты.

Разстройство снабженія отразилось и на прессѣ, главным образом потому, что бумажныя фабрики стали работать с перебоями, как из-за недостатка рабочих, всетаки отвлекаемых в ряды арміи, так и отсутствія нѣкоторых выписываемых из заграницы принадлежностей — гарпіуса, сукон, сѣток. Все это были мертвыя слова — хотя бумага играла в моей профессіи главную роль и потребил я столь изрядное ея количество, к стыду своему никакого представленія не имѣл, как она изготовляется. Теперь, по нашему настоянію, образован был при министерствѣ торговли и промышленности «бумажный комитет» из представителей министерства, фабрикантов и потребителей, меня выбрали предсѣдателем секціи потребителей, пришлось наспѣх знакомиться с техникой бумажнаго производства, а для полученія разных «разрѣшеній», без коих тогда шагу ступить нельзя было, обивать новые пороги-министра кн. Шаховскаго, тоже ставленника Распутина, Сазонова и даже шведскаго посланника. Сазонов был среди тогдашних товарищей своих бѣлой вороной. Глубоко честный, преданный Россіи патріот, он очень радѣл о своих обязанностях: «Мы, говорил он, во время колебаній Румыніи, Братіану ватой обложили со всѣх сторон, чтобы он покойно чувствовал себя». А все, что не касалось его вѣдомства, было для него принципіально чуждым. Интересоваться чужой компетенціей значило бы переступать границы полномочій. «Вы кстати пожаловали — встрѣтил он меня однажды, могу вас обрадовать пріятным извѣстіем: в Рижском заливѣ взорван германскій броненосец». Не зная, сообщит ли об этом своевременно телеграфное агентство, я стал допытываться, к какому типу относится потопленное судно. Тонкое лицо министра совсѣм сморщилось и, смотря на меня недовольно, он раздраженно сказал: «я же не морской министр, различать типы судов не учился». А это звучало: «свяжись с невоспитанным человѣком, сам рад не будешь». И в другой раз он с пафосом говорил, что положеніе Германіи безнадежно, ибо она уже «стала выпускать бумажки на бумажки» (т. е. обезпечивать выпуски банкнот не золотом, а бумажными деньгами). Я не понял, что он хочет сказать, и опять стал допытывать и опять такая же гримаса на лицѣ: «да откуда же мнѣ знать, мнѣ это сказал Дмитрій Львович (банкир Рубинштейн)». В бумажном комитетѣ предсѣдателем назначен был б. директор Томскаго политехникума проф. Зубашев. Смотря на этого очаровательнаго, добродушнаго, честнѣйшаго толстяка, никак нельзя было понять, за что и на него обрушил свою злобную ненависть Кассо. Он только о том и заботился, чтобы не возникало недоразумѣній, чтобы никто не почувствовал себя обиженным, обойденным. Отвлекает меня здѣсь незначущая сценка, произведшая глубокое впечатлѣніе. Войдя однажды в помѣщеніе бюро комитета, я увидѣл Зубашева откинувшимся в креслѣ с водруженной на письменном столѣ ногой, которую окружающіе члены бюро внимательно разсматривали. Увидѣв меня, Зубашев оживленно привѣтствовал и просил

у остальных разрѣшенія начать разсказ сначала. А разсказ шел о «необычайно удачной покупкѣ». Какой-то профессор, уѣзжая на Кавказ, запасся новыми сапогами, но там душевно заболѣл и жена привезла его в Петербург в лечебницу. «Куда же ему теперь новые сапоги? А на мнѣ они как вылитые и какіе добротные». Лицо его сіяло удовольствіем, когда внимательно осмотрѣв и ощупав, всѣ хором подтвердили и горячо одобрили удачную покупку. Я сразу не понял, почему эта забавная сценка смутила и что-то разворошила в душѣ, всколыхнула что-то неустоявшееся, безпокойное. Да вѣдь это вспомнились «Три смерти», три разных отношенія к смерти, над которой я впервые задумался, когда в ссылкѣ прочел это замѣчательное произведеніе Толстого. Там тоже пышущій здоровьем ямщик Серега обращается к тяжко больному Федору: «Тебѣ, чай, сапог новых не надо теперь, отдай мнѣ. Ходить, чай, не будешь». И получает сапоги под условіем купить камень на могилу Федора. Эта сдѣлка перед лицом смерти показалась мнѣ профанаціей, неуваженіем к ней, в нашей средѣ немыслим такой крикливый диссонанс, такое вторженіе неумѣстной житейской мелочности. А война властно сорвала маску, размѣняв торжественность на назойливую обыденщину. Если бы не «новые сапоги», я вряд ли и вспомнил бы о бумажном комитетѣ, отнимавшем, впрочем, много времени, но давшем ничтожные практическіе результаты. Мало кто их и ожидал и, руководствуясь заповѣдью: «На Бога надѣйся, а сам не плошай», добывали бумагу, так сказать, с заднято хода, при помощи взяток и подкупов. Ничего нужнаго мы из заграницы так и не получили, но уже во время революціи появился какой-то таинственный дѣлец Ашберг, взявшійся доставить бумагу из Швеціи, она была нами оплачена, а прибыла лишь перед октябрьским переворотом и попала цѣликом в руки Горькаго, нажившаго на ней большія деньги, как обстоятельно разсказывает в своих воспоминаніях Соломон, бывшій видным дѣятелем новаго режима.

Послѣдним предреволюціонным событіем, ярко выдѣлившимся на мрачном фонѣ безнадежности, было ошеломившее всѣх убійство Распутина. Мнѣ об этом сообщил пріѣхавшій к нам к завтраку пріятель С. С. Крым, член Гос. Совѣта, в видѣ слуха. Я тотчас позвонил к Бѣлецкому, сумѣвшему сохранить свои отношенія к «старцу» и крѣпко за него державшемуся. Бѣлецкій, как он и пишет в своем показаніи, еще ничего не знал и был на смерть перепуган моим сообщеніем, а через полчаса позвонил ко мнѣ и подтвердил безслѣдное исчезновеніе Распутина. Мы тут же по этому поводу распили бутылку чудеснаго Pineau gris из замѣчательных погребов Крыма, не отдавая себѣ отчета, что убійство лишь ускорит темп стихіи. Среди упомянутых выше трех томов «дѣла» о Распутинѣ один содержал производство предвар. слѣдствія и параллельное производство жандармскаго генерала Попова, особаго уполномоченнаго Протопопова. Слѣдствіе затягивалось, потому что Пуришкевич, тотчас послѣ убійства, уѣхал с санитарным поѣздом на фронт и не являлся к допросу, а кн. Юсупов выслан был в одно из своих помѣстій. Оба на допросѣ отрицали свое участіе. Тѣм временем слѣдователю предъявлено было требованіе о выдачѣ вещественных доказательств — про-

стрѣленной револьверной пулей шелковой рубахи, бывшей на убитом, и золотого шейнаго креста с цѣпочкой. На точном основаніи закона слѣдователь отказал в выдачѣ вещей и, по приказу министра юстиціи, веденіе слѣдствія было у него отнято и передано другому, который оказался покладистѣе и требованіе удовлетворил. А затѣм он составил протокол о том, что, вмѣстѣ с Пуришкевичем и Юсуповым, безспорно уличается в убійствѣ и вел. кн. Дмитрій Павлович. Но так как привлеченіе к слѣдствію члена императ. фамиліи требует предварительнаго высочайшаго разрѣшенія, то производство подлежит пріостановленію и должно быть направлено в мин. юстиціи для испрошенія разрѣшенія. Из министерства производство дальше не двинулось, а послѣ революціи поступило в Зимній Дворец, гдѣ засѣдала чрезвычайная слѣдственная комиссія, и оттуда, послѣ октябрьскаго переворота было, повидимому, похищено и попало заграницу.

РЕВОЛЮЦІЯ

(1917).

Совершенное ярым сторонником царскаго режима Пуришкевичем и членами императорской фамиліи — Юсупов женат на дочери вел. князя, а Дмитрій Павлович был наиболѣе близким царской семьѣ среди великих князей, — убійство Распутина завершало ея полную изоляцію и знаменовало окончательный распад государственной власти, увѣнчивало самоуправство и своеволіе, которое и разлилось широким неудержимым потоком. Фронт был сильно заражен дезертирством. Петербург кишѣл разнузданным солдатьем, так полонившим трамваи, что обывателям проникнуть в вагон становилось невозможно, и спеціальная полиція, приставленная ссаживать этих вояк и направлять на гауптвахту, была совершенно безсильна против их буйства и наглости. Продовольственное снабженіе со дня на день все больше разстраивалось, очереди у лавок и пекарень все удлинялись, раздраженіе бурно нарастало и откровенно выражалось в самых рѣзких сужденіях, на улицах стали скопляться толпы, на помощь полиціи появились казаки и жандармы — атмосфера открытаго бунта ощущалась все явственнѣе. Если уже в 1905 г. руководство освободительным движеніем вырвано было стихіей из рук интеллигенціи, то теперь, можно сказать, она никакого отношенія к улицѣ не имѣла, напротив — со своим лозунгом: все для войны до побѣды, — была ей враждебна и один большевики, стоя на пораженческой точкѣ зрѣнія, старались смуту разжечь. Но между ними и департаментом полиціи происходил эндосмос и экзосмос: член Думы Малиновскій, ближайшій соратник и протеже Ленина, произносил свои зажигательныя рѣчи с трибуны по шпаргалкѣ, составленной чиновниками Бѣлецкаго. Но за этим исключеніем, антиправительственное движеніе было всецѣло направлено на устраненіе помѣхи побѣдоносному окончанію войны—и земско-городскіе союзы и воен.-промышленный комитет и Г. Дума выставляли требованіе министерства довѣрія или отвѣтственнаго министерства и небывалое объединеніе остро между собой враждовавших политических партій — прогрессивный блок — стало возможным только потому, что цѣль успѣшнаго завершенія войны заслонила всѣ другія вожделѣнія. Вѣроятно, поэтому и случилось, что, хотя воздух

насыщен был предчувствіями и предсказаніями революціи и с каждым днем она рисовалась воображенію все болѣе неизбѣжной, никто не распознал лица ея. Она шла неувѣренно, пошатываясь, спотыкаясь и пугливо озираясь по сторонам, не юркнуть ли в подворотню.

24 февраля мы, по обыкновенію, праздновали день рожденія «Рѣчи», на этот раз в ресторанѣ «Медвѣдь», и празднество было больше похоже на панихиду. Недостаток продовольствія отражался и на торжественном обѣдѣ, в изобиліи было лишь вино, потребленіе коего с самаго начала войны было запрещено. Но и шампанское не могло разогнать угрюмаго настроенія, развязать языки, не о чем было спорить и говорить, и неловко было смотрѣть в глаза друг другу, поставить вопрос, что значат доносившіеся с улицы выстрѣлы, пытавшіеся разсѣять народное скопленіе. Чуковскій предложил продекламировать свою остроумную сказку для дѣтей «Мойдодыр». Всѣ старались выдавить улыбку, похваливали, но напряженно ждали, когда, наконец, можно будет, без нарушенія условных приличій, разойтись. На другой день скопища стали увеличиваться, военной силы на улицах видно было много больше, но между двумя лагерями не было уже ясной демаркаціонной линіи — так случалось и на войнѣ, например, послѣ боев под Варшавой, когда русскія части перемѣшались с противником и в какой-то момент трудно было сказать, кто побѣдитель и гдѣ побѣжденный. Одного из казаков, которые считались спеціалистами по части усмиренія уличных волненій, стащили с лошади и он побратался с толпой. Вѣсть об этом мигом разнеслась по городу, и безвѣстный казак вывел вѣсы из колебательнаго состоянія, разбил оковы традиціи. Давно уже сдѣлано наблюденіе, что бывает обстановка, в которой ружья сами собой начинают стрѣлять. Но случается и обратное, хотя и куда рѣже, — что ружья вдруг теряют способность стрѣлять или — лучше сказать — не находят прицѣла, разряжаются в воздух, и выстрѣл не смерть несет, а звучит призывным набатом, заглушающим неувѣренность стрѣляющих. Другим средством для поднятія недостававшей бодрости, подавленія глубоко внѣдреннаго страха отвѣтственности за нарушеніе скрѣпленнаго присягой служебнаго долга явилось разграбленіе винных погребов. Когда солдаты распивали богатѣйшіе запасы дворцовых подвалов, один талантливый молодой сотрудник наш был увѣрен, что их подпаивает начальство, чтобы в возбужденном состояніи бросить на толпу. Пустяки! Начальство сразу же забастовало. Оно давно уже, еще во времена формальнаго могущества своего, перестало сомнѣваться, что раньше или позже крах непремѣнно произойдет, и как только признаки краха объявились, начальству они послужили подтвержденіем правильности прогноза и мысль о сопротивленіи, о борьбѣ, вѣроятно, и в голову не приходила. — Сдаться на милость побѣдителю, больше ничего не остается. При таком настроеніи власти непонятна была забастовка рабочих, но это была дань всемогущему трафарету, и совсѣм уже противоестественна была забастовка типографій, вызвавшая паралич газет. Образовавшаяся с их исчезновеніем пустота с лихвой заполнилась разнообразнѣйшими, конечно противорѣчивыми слухами и разсказами. Как жаль, что они безслѣдно разсѣялись, что никто не попытался их регистри-

ровать — они дали бы цѣнный матеріал для сужденія, сколь далеко расходилась дѣйствительность с догадками, предположеніями и надеждами, служившими источником слухов и легенд. Но в общем, в противоположность 1905 году, когда царила увѣренность в побѣдѣ революціи, теперь настроеніе было выжидательное, настороженное, готовое от толчка шарахнуться в ту или другую сторону, и конец неопредѣленности положило извѣстіе об отреченіи государя, оффиціально признавшее побѣду революціи.

Рано утром неожиданно появился друг моего пасынка Г. Федотов, выдающійся молодой ученый, в необычайно радостном возбужденіи, с ярким морозным румянцем на щеках. Он, вѣроятно, бросился бы обнимать и цѣловать меня, но явно был ошеломлен мрачным видом человѣка в шлафрокѣ с безсильно опущенными руками и, конфузливо притихшись, скоро ушел, как бы ошибся дверью. Настроеніе было примѣрно такое же, что у бюрократіи — вот и осуществилось предчувствіе, что Россіи непоправимо дорого обойдется участіе в войнѣ с заранѣе предрѣшенным, каких бы жертв она ни требовала, исходом. Положительно утверждаю, что ни одной минуты не вѣрил, что революціи удастся прекратить разруху, обуздать стихію, всѣми фибрами души ощущал, что мы стоим на наклонной плоскости, на которой удержаться немыслимо, а куда соскользнем — не вижу, и сохраним ли при этом голову на плечах — не думаю. Впервые за уже тридцатилѣтнюю литературную дѣятельность, проникнутую наивной искренностью и счастливой убѣжденностью в правотѣ высказываемых слов, я стал лицемѣром. Славословіе вообще не в моем вкусѣ, его не могли воспитать минувшіе годы борьбы, но совсѣм уже тяжко было, что требовалось не только насиліе над привычкой, а приходилось просто кривить душой. Я писал о «великой, безкровной революціи, (а в «Рѣчи» же было сообщено, что в одном Петербургѣ в первые дни убито было около 1400 человѣк), провидѣл «зарю новой жизни», привѣтствовал «сознательность революціонной арміи», не вѣря ни единому слову, все было кимвал бряцающій, становился сам себѣ противен и некуда от себя самого было скрыться.

Но не сразу дозволено было раскрыть рот, забастовка лишала возможности освѣдомлять и освѣщать причудливые изломы непривычных событій, революція оказалась для «Рѣчи» такой же мачехой, как великій князь в началѣ войны. Снова надо было начать обивать — теперь уже другіе — пороги, чтобы струить банальныя слова о важном значеніи печати в переворотный момент, об опасности разброда общественнаго мнѣнія и т. п. Совѣт Общества собрался на Екатерининском каналѣ в неуютной редакціи «Петерб. Листка» и мы не столько говорили, сколько прислушивались к обстрѣлу «Треугольника», разудалое пощелкиваніе пулеметов раздражало напоминаніем о повальном дезертирствѣ с фронта, гдѣ это пощелкиваніе больше соотвѣтствовало бы обстановкѣ. Кто-то обратил вниманіе, не нужно ли перестроиться: участіе «Колокола», газеты откровенно рептильной, может теперь набросить тѣнь на Общество, и всѣ обрадовались, когда секретарь доложил, что Скворцов задержал уплату членскаго взноса и, на основаніи устава, автоматически выбывает из состава Общества. Мы рѣшили держаться скопом, по-

явиться в свѣт не иначе, как всѣм одновременно, и мнѣ поручено было составить декларацію, которой всѣ газеты должны были дебютировать в новом режимѣ. А для ускоренія дебюта рѣшено было на другой день отправиться в Таврическій Дворец, ставшій центром или магнитом революціи. Сюда маршировали с красными флагами войска Петерб. гарнизона с вел. кн. Кирилом, теперь претендующим на возглавленіе совѣтскаго режима императорским скипетром и короной. Это же презираемое помѣщеніе «цензовой думы» признал для себя наиболѣе подходящим быстро, еще до образованія Врем. правительства, возродившійся Сов. рабочих и крестьянских депутатов и больших усилій стоило впослѣдствіи выжить его оттуда. Такое тяготѣніе к Думѣ, торжественное дефилированіе перед ея предсѣдателем-«помѣщиком» и врем. правительством, квалифицированным впослѣдствіи «министрами капиталистами», снова напоминает, что революція появилась неожиданной гостьей, что никто для нея палат не приготовил. Признаніе, освященіе новаго режима, присягу ему нельзя было выразить иначе, как паломничеством к Таврическому Дворцу, из котораго свергнутая власть расчитывала законом 3 іюня 1907 года сдѣлать себѣ надежный оплот. Зато впослѣдствіи, в эмиграціи предсѣдателю Думы Родзянко пришлось оправдываться от обвиненій со стороны правых в том, что Дума «подготовила, создала, воодушевила и воплотила в реальныя формы переворот 27 февраля, а также и самую революцію», и он дал очень объективное изложеніе событій в Архивѣ Русской Революціи.

«Муисти нидэ»! Эти непонятныя слова напечатаны на сѣреньком переплетѣ блокнота, пріобрѣтеннаго в 1918 г. в Сердоболѣ для записи воспоминаній о революціи. Перелистываю разграфленныя странички, унизанныя мелким почерком, и недоумѣваю, для чего с такими мельчайшими подробностями описана наша поѣздка в Думу. Но чѣм глубже в эти подробности погружаюсь, тѣм сильнѣе вѣет с чуть-чуть пожелтѣвших уже листков обида: «неужели же ты мог забыть, как сгибался под непосильной тяжестью новых неусвояемых впечатлѣній, как твердым клубком, с каким-то стальным вкусом что-то застревало в горлѣ и не хватало дыханія, как, вернувшись домой, на вопрос жены, что случилось, испугал ее нелѣпым отвѣтом: спать, ужасно спать хочу! и полумертвый бросился на диван.» Да, так все и было. Утром заѣхал за мной Пропер с Бонди, которому принадлежала вся мизансцена. В автомобилѣ, рядом с шофером сидѣл, с равнодушно тупым видом, солдат, державшій в рукѣ огромный ярко-красный флаг, грозно при движеніи машины развѣвавшійся. «Недурно, неправда ли», — ожидая одобренія, спросил Бонди. «Гдѣ же вы его достали?» — «Вот так вопрос! На улицах этого добра сколько угодно, я выбрал как можно болѣе подходящаго. Оцѣните его мрачно загадочную морду — дал ему в зубы папиросу, обѣщал покормить, он и не подумал спросить, в чем дѣло, и вот видите, как хорошо усѣлся и как увѣренно держит флаг. Кто же теперь осмѣлится наш автомобиль остановить?» Дорогой мы прихватили еще М. Суворина и по Литейному и Фурштатской направились к новому маяку. Чѣм ближе, однако, к нему, тѣм продвиженіе становилось затруднительнѣе сквозь все гуще заполнявшія улицы

толпы, которыя поеживались и притоптывали — не то от неустоявшагося настроенія, не то от пронзительнаго вѣтра, издѣвавшагося над обѣщаніями ярко сіявшаго мартовскаго солнца. Бонди торжествовал, когда, под возгласы шофера: «по военной надобности», безформенное скопище, хотя и явно неохотно, разступалось, но едва ли не внушительнѣе дѣйствовало строгое молчаніе пригвожденнаго солдата, ставившее всѣх втупик: иной уже и рот раскрыл, чтобы отпустить острое словцо, но так с разинутым ртом и замирал. Нам удалось даже въѣхать в обширный двор думскаго зданія, заполненный автомобилями и грузовиками и лавировавшими среди них раздраженными людьми, преимущественно в военных формах. Бонди опять снабдил солдата папиросами, настрого приказал никого не подпускать к автомобилю и бодро повел нас внутрь дворца. Я уже потому не мог бы изобразить представшую перед глазами картину, что вообще ничего не различал и не слышал—очутился перед плотной подвижной массой человѣческих спин и грудей. Человѣческих? Да, конечно, но лица были какія-то безликія с широко раскрывающимися ртами и выносившіеся оттуда звуки сливались в зычный гул, ощутительно давившій на барабанную перепонку. Это была даже не толпа, а скорѣе куча, которая сбилась от корабле крушенія на островкѣ и не знает, что дальше. Чтобы пробраться вперед, нужно было работать не ногами, а глазами в поисках щели, которую можно расширить локтями, и в этих поисках мы сразу же друг друга растеряли. Суворин так и исчез, а с Проппером и Бонди мы встрѣтились — уже с изрядно помятыми боками и лишенными пуговиц пальто, в комнатѣ журналистов. Здѣсь работало три газетных сотрудника, а нѣсколько барышень энергично стучали на машинках, ставили печати и подносили к подписи газетчиков, которые, с важным видом, подписывали бумажки и выдавали их безпрерывно входившим и выходившим лицам, бережно прятавшим полученное в карман. Это были новые «временные виды на жительство», пропуски в Гос. Думу и т. п. удостовѣренія. «На каком же основаніи дѣйствует ваша канцелярія?» »А на каком основаніи всѣ теперь дѣйствуют?» резонно спросил неунывающій репортер. Тут же ко мнѣ бросился незнакомый человѣк, оказавшійся помощником редактора Прав. Вѣстника и стал горько жаловаться: «Помилуйте! сколько важных государственных актов уже состоялось, их вѣдь нужно прежде всего опубликовать в Прав. Вѣсти., чтобы придать юридическую силу, а никто и ухом повести не хочет, и всѣ к кому я обращаюсь, от меня отмахиваются». Один из этих актов — самый важный — манифест государя об отреченіи, безпризорно лежал тут же на подоконникѣ, Клячко добыл его, чтобы сфотографировать для газет, а фотограф, исполнив заказ, беззаботно положил оригинал на окно. Если такой безцѣнный уникум все же не исчез, никто из шмыгавших в невѣроятной толчеѣ любопытных и любознательных не унес с собой, то лишь потому, что ничто не в состояніи было отвлечь в сторону вниманіе, вперившееся в жгучій вопрос, что же будет завтра, станет ли все и как станет по своим мѣстам? Один из сотрудников вызвался проводить нас к Врем. правительству и, крѣпко держась друг за дружку, мы снова стали пробираться, встрѣтили Милюкова, который был совсѣм без голоса от непрерывнаго го-

воренія на холодном вѣтру, и лишь неопредѣленно мотнул головой на вопрос, гдѣ можно переговорить с правительством, дальше натолкнулись на потнаго, растеряннаго Коновалова, с испуганно остановившимися глазами и отвалившейся трясущейся нижней губой. На ходу он что-то пробормотал в отвѣт, чего понять нельзя было сквозь тяжелое, как у запаленной лошади, дыханіе, везущей непосильный груз, и безмолвно спрашивал глазами: неужели вы еще подбавите? Стыдно стало, что вздумалось сюда пріѣхать, здѣсь искать отвѣта и разъясненія. Вот Клячко сразу нашелся в новой обстановкѣ: палку взял и стал капралом. Мои спутники, повидимому, испытывали приблизительно такія же ощущенія и, не сговариваясь, мы потянулись к выходу, предвкушая удовольствіе оторваться от этого человѣческаго тѣста и уединиться в автомобилѣ.

Тѣм сильнѣе было разочарованіе, когда, послѣ самых тщательных розысков Бонди, оказалось, что машина исчезла вмѣстѣ с шофером и мрачным цербером. К реквизиціям война уже пріучила, и Пропер даже и бровью не повел, но безпомощно стоял на коротеньких ножках, не рѣшаясь двинуться пѣшком в далекій путь на Англійскую набережную. Бонди очевидно понимал и сочувствовал тяжелому положенію шефа и бѣгал по двору в надеждѣ на счастливую случайность. Издалека он стал громко звать нас и махать руками, я схватил Пропера под руку и бѣгом увлек его к великолѣпному, уже заведенному лимузину, на котором возсѣдало два элегантных офицера, сдавшихся на мольбы Бонди захватить нас, так как у нас очень важное дѣло. Они направлялись в Военное собраніе, на уг. Кирочной и Литейнаго, командированные кѣм-то «узнать, там ли военный министр Гучков», и дальше везти не соглашались. «В другое время охотно, запомните наш номер. Но сейчас нам — только справиться и мчаться обратно в Думу». Ободренный частичным успѣхом, Бонди и тут пустился на розыски и нашел грузовик, отправлявшійся по дрова на Марсово поле, и солдат шофер, рядом с которым сидѣла женщина и другой солдат, согласился захватить нас. Пропер по-турецки усѣлся, спиной опираясь о шоферское сидѣнье, мы с Бонди стали по обѣ стороны на подножки — эта поза тоже была символом преданности новому порядку и грузовик двинулся по Литейному, но на всегда бойком углу Симеоновской путь преградила шумная толпа, стѣной сомкнувшаяся вокруг нас. Из толпы раздался вопрос, гдѣ военный министр. Я поднял совсѣм закоченѣвшую руку, чтобы показать направленіе на Военное собраніе, но кто-то понял, что я указываю на Пропера, полумертваго от неудобнаго сидѣнья и тряски, из уст в уста побѣжал шопот «военный министр» и толпа молча разступилась, а вслѣд нам даже раздались крики — ура, может быть, впрочем, адресованные уже другому, смѣнившему нас фантому. На Марсовом полѣ Бонди стал горячо убѣждать шофера везти дальше, обѣщал золотыя горы, но у меня так застыли руки, что держаться больше я не мог, вынужден был соскочить с грузовика, и совершенно разбитый, среди перемежающихся отдѣльными выстрѣлами криков, с трудом передвигая окоченѣвшія ноги, пѣшком добрался домой.

Это и был мой первый выѣзд на бал революціи, а дальше так уж и по-

шло. Нужно было отрываться от устоявшагося жизненнаго обихода, и если сам по себѣ труден отказ от привычек, то теперь это еще тяжелѣе ощущалось, ибо замѣнить их было нечѣм: обстановка стала, как ртуть, текучей, исчезло чувство увѣренности и самостоянія. Каждый день приносил что-нибудь невиданно новое, но, среди капризнаго разнообразія ,с первых же дней отчетливо опредѣлилась основная тенденція к постепенному ухудшенію положенія, к разнузданію всѣх, крупных и мелких, коллективных и индивидуальных центробѣжных сил, ко всеобщему распаду, на фонѣ котораго новая власть безпомощно металась и все замѣтнѣе превращалась в фикцію. Еще до возобновленія выхода «Рѣчи» состоялось «дискуссіонное» собраніе редакціи, на этот раз необычайно многочисленное, ибо право голоса автоматически получили и репортеры и корректора, новизна проявлялась и в тонѣ и діапазонѣ рѣчей нѣкоторых ораторов, можно было разслышать легкій отзвук главнаго рефрена — довольно нашей кровушки попили. В пользу республики отреклись с такой непринужденностью, точно монархія была мимолетным узурпатором. Один только Фейгельсон остался ея молчаливым паладином и негодующе пожимал плечами при видѣ феерическаго превращенія Савлов и Павлов. А когда на другой день позвонил по телефону удаленный государем из Петербурга в. кн. Николай Михайлович, к которому наш сотрудник Ирецкій обратился с просьбой об интервью, Ф. взволнованно сіял: «мы, мол, не измѣнники, не бѣжим в припрыжку за колесницей побѣдителя». Увы, интервью вел. князя, перепечатанное всѣми газетами, разсказывало, что болѣзненное упорство, овладѣвшее царицей, противодѣйствовало всѣм усиліям вывести страну из тяжелаго положенія и довело монархію до крушенія, которое всѣ великіе князья предсказывали.

По другому основному вопросу — об отношеніи к войнѣ — всѣ остались на старой позиціи. Быть может, у нѣкоторых из груди проснлось другое слово, но можно ли было вслух говрить об этом, если, повторяю, революція началась громким, с думской трибуны, обвиненіем правительства в поползновеніях заключить сепаратный мир. Один лишь Бенуа, с крикливо большим красным бантом в петлицѣ, не соотвѣтствовавшим его изящному вкусу, заявил, что, будучи непримиримым противником войны, он оставался в редакціи, пока «Рѣчь» скована была военной цензурой, но теперь, когда уста разверсты, он не считает возможным дальше принимать участіе в газетѣ, стоящей за продолженіе войны. Мнѣ было обидно, потому что он знал, что именно в данном отношеніи «Рѣчь» высказывается не из под палки цензуры. Да и независимо от «Рѣчи», Бенуа вращался в обществѣ, не принадлежавшем к пацифистам: у него я встрѣтился с французским послом Палеологом, желавшим познакомиться со мной. Открытыми противниками войны были большевики и льнувшіе к ним интернаціоналисты, которые, в лицѣ перекочевавшаго в горьковскую «Новую Жизнь» Бенуа, получили первую авторитетную поддержку, совершенно, казалось бы, чуждых им слоев, хранивших лучшія традиціи императорской Россіи — один из предков Бенуа был строителем Маріинскаго театра, портрет другого был на плафонѣ этого прекраснаго зданія. Вслѣд за Бенуа неуклюже поднялся наш выдающійся ученый Туган-Бранов-

скій и тоже сдѣлал заявленіе об отказѣ, но так нескладно и с такими самозащитными энергичными жестами длинных рук, что всякая охота спорить и переубѣждать отпадала.

Уход обоих на газетѣ ни мало не отразился, кто мог — не то, чтобы оцѣнить значеніе, но и просто замѣтить среди хаоса отсутствіе того или другого сотрудника. К тому же, как и в год основанія «Рѣчи», «политика» вытѣснила всѣ другіе отдѣлы и опять фельетон стал большой рѣдкостью. Осталось единственным и это пышное собраніе, внутренній строй редакціи фактически не измѣнился, только Милюков, до своей отставки в апрѣлѣ, стал совсѣм рѣдким гостем, а если ночью и заѣзжал на великолѣпном дворцовом автомобилѣ, то имѣл такой изможденный вид, что язык не поворачивался обременить его еще и редакціонными заботами и вопросами.

Существенное измѣненіе выразилось в пріобрѣтеніи типографіи в собственность с превращеніем издательства в акціонерное общество. Возникновеніе все новых и новых газет и появленіе безконечнаго количества брошюр предъявило острый спрос на типографіи, цѣны бѣшено повышались, вслѣдствіе чего обезпечивающая договор неустойка перестала служить гарантіей его исполненія — новыя газеты охотно брали на себя ея уплату, и потому необходимо было оградить себя пріобрѣтеніем типографіи. Сколько бумаги было тогда изведено, какой стремительный водопад печатных слов свергался! При видѣ огромнаго плаката, протянутаго от зданія к зданію, старушка из великолѣпнаго блоковскаго «Двѣнадцать» плакала и убивалась: «На что такой плакат, такой огромный лоскут? Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякій раздѣт, разут», а эти оставшіеся от пышных программ и воззваній бумажные лоскуты, отданные на волю легкомысленнаго мартовскаго вѣтра, который задорно подхватывал их и швырял в лицо, в глаза, дразнили мыслью о нелѣпости попытки приготовить из них удобоваримую пищу для ума и души. Если бы можно было провѣрить, сколько экземпляров было прочтено из сотен милліонов брошенных на рынок брошюр и газетных листов. Развѣ до чтенія было тогда? Развѣ была возможность сосредоточиться, обдумать напечатанное, когда все сдвинулось с мѣста и куда-то перемѣщалось? Хотѣлось лишь знать, чѣм это перемѣщеніе кончится и что оно придавит. Чѣм труднѣе было разобраться в этом, тѣм легче вѣрилось тому, кто давал краткій точный отвѣт: важнѣе содержанія был убѣжденный тон, рѣшительный жест — очевидно же, он знает, если так категорически утверждает, если ни нотки сомнѣнія в голосѣ не слышится. Быть может, совсѣм без слов, одно мановеніе, силой таинственности, производило бы еще болѣе внушительное дѣйствіе. У Каминки тоже возникло желаніе содѣйствовать расширенію бумажного потока, никакого труда не стоило добыть нѣсколько сот тысяч, и мнѣ пришлось спѣшно, в бивуачном порядкѣ, заняться организаціей народной газеты «Земля» для абсолютно безнадежной задачи — противодѣйствовать разнузданной демагогіи.

Бумаги становилось все меньше и меньше в противоположность количеству участников бумажнаго комитета, которое все росло. Помимо представителей новых газет, почти исключительно соціалистических, состав был рас-

ширен еще и приглашеніем делегаціи от Союза рабочих печатнаго дѣла. Соціалисты образовали самостоятельную секцію, оградили ее высокой колючей проволокой, в ней замкнулись и рабочіе, злобно оттуда поглядывая на нас. Но приглашеніем рабочих мы были обязаны настояніям директора одной из крупных фабрик «Сокол», ставшаго совершенно неузнаваемым послѣ побѣды революціи — он и внѣшне стал другой с помощью растрепанных волос, затасканнаго пиджака и мятаго воротничка (первым жестом Керенскаго на посту министра юстиціи тоже было срываніе с себя крахмальнаго воротничка), а спокойная, всегда толковая дѣловая рѣчь смѣнилась рѣзкими возгласами, безцеремонно перебивавшими говорившихъ, на обращаемые вопросы он упрямо отвѣчал, что может составить себѣ мнѣніе лишь по выслушаніи заключенія рабочих. Возражать против приглашенія, конечно, никто не осмѣливался, но ему указывали, что откладывать рѣшеніе срочных вопросов до слѣдующаго засѣданія неудобно. «Еще болѣе неудобно рѣшать без пролетаріата и что бы вы (себя он уже ставил внѣ нас) ни постановили, все будет отмѣнено». А когда в слѣдующем засѣданіи пролетаріат появился, стали сыпаться заявленія о провѣркѣ мандатов, об установленіи «паритета« и т. п.

Это революціонное радѣніе, запечатлѣнное в крылатом выраженіи «лѣвѣе здраваго смысла», слагалось из самых различных ингредіентов: тут было и опьяняющее ощущеніе разбитыхъ цѣпей, и мелкая трусость, опасеніе подвернуться под размах революціи, и дѣтскія реминисценціи о сказочных превращеніях. Оно захватывало не только «взбунтовавшихся рабов», как позже выкрикнул в сердцах самый ярый апологет революціи Керенскій, не только соціалистов, склонных, по образу и подобію фарисеев, считать, что не революція для человѣка, а он для нея, — но и тѣ круги, в которых я вращался и для которых революція во всяком случаѣ была больше чѣм несвоевременной. Когда обсуждался вопрос о замѣнѣ гл. управленія по дѣлам печати соотвѣтствующим новым условіям учрежденіем, редактор «Русских Вѣдомостей» Розенберг настаивал, что вообще никакого учрежденія не требуется, «обойдемся и без него». Ему поддакивал предсѣдатель учрежденнаго при Врем. правительствѣ юридич. совѣщанія талантливый проф. Кокошкин, заявляя, что не считает себя вправѣ ни на іоту отступить от теоретических взглядов, высказанных в лекціях по гос. праву, хотя условія, в которых совершилась революція, и являются исключительными. В засѣданіи комиссіи по пересмотру судебных уставов и молодые и старые судебные дѣятели, вчера еще мирившіеся с режимом Щегловитова, сегодня требовали положить в основу юстиціи принцип — все понять, все простить. Но совсѣм в отчаяніе привело недоразумѣніе с Набоковым: однажды он написал для «Рѣчи» статью против «Нов. Времени», которое язвительно уличало Врем. правительство в том, что оно строит государственное управленіе на началах толстовскаго непротивленія злу. Прочитав утром этот выпад, я подумал, что не слѣдует упускать случая помолчать: положеніе требовало проявленія сильной власти, чтобы прекратить распад, остановить центробѣжное стремленіе. У нас по отношенію к Врем. правительству, в котором тогда было нѣсколько

министров кадетов, руки были связаны и будировать против него было бы безтактно, но возражать против, по существу вполнѣ правильных, замѣчаній «Нов. Времени», которыя могли лишь облегчить задачу власти, было явно ненужно. Я и высказал моему другу свои соображенія, по обыкновенію с излишней горячностью, он поколебался и предложил обсудить вопрос за редакц. обѣдом, на который мы вмѣстѣ и отправлялись. А там одни молчали, Милюков, Шингарев и другіе рѣшительно не соглашались и никто меня не поддержал. Так и пришлось напечатать эту статью, в которой опредѣленно сказано было, что, в отличіе от свергнутаго, новый строй зиждется не на принужденіи, а на моральном воздѣйствіи. Конечно, горячиться не было основаній — та или другая отдѣльная статья ничаго не могла измѣнить в ходѣ событій, но существенно, что в первые мѣсяцы никто не задумывался над необходимостью воздвигнуть преграду революціи. Позже, когда кадеты вышли из состава врем. правительства и «Рѣчь» освободилась от оков оффиціоза, лозунг твердой власти выступил на первый план, но нѣкоторые друзья мои, стоявшіе лѣвѣе кадетов, язвительно напоминали, что прежде «Рѣчь» высказывала другіе взгляды. А самое характерное, что в своей «Исторіи второй русской революціи» Милюков сам обвиняет в бездѣйствіи власти князя Львова.

Этот крен укрѣплял желаніе держаться подальше от активнаго участія, но и революція меня не искала — я не был приглашен ни в одно из выскакивавших как грибы новых учрежденій и не был привлечен даже и в состав образованной Керенским многоголовой комиссіи для пересмотра суд. уставов. Только уже за мѣсяц другой до октябрьскаго переворота мимолетный министр юст. Переверзев, любезно объясняя неполученіе приглашенія «досадным недоразумѣніем», просил принять участіе в работах комиссіи, благодаря чему и удалось лишній раз видѣть революціонное радѣніе, о котором я только что упомянул. Много позже, уже в изгнаніи, я узнал от Набокова и Каминки, что за моей спиной поставлен был вопрос о замѣнѣ меня на посту редактора «Рѣчи» лицом болѣе горячо преданным интересам партіи, и план не осуществился, потому что замѣстителя не нашлось, но, вѣроятно, нѣкоторой помѣхой послужило и чувство неловкости — слишком много вложено было в «Рѣчь» от моего «я» и пришлось бы дѣлать чревосѣченіе. Я не рѣшился, бы, однако, сказать, что для такой операціи не было никаких основаній — я исполнял обязанности, больше, чѣм добросовѣстно, пожалуй, неумѣстно говорить об обязанности — это было душевным призваніем, жизненной задачей, но, с утратой вѣры в ея разрѣшеніе, исчез и пафос, а если вѣра без дѣл мертва, то и дѣло без вѣры безжизненно. Вспоминаю, как обрушился на меня покойный Кокошкин за то, что в сокращенном видѣ напечатана была его вступительная рѣчь к чинам вѣдомства госуд. контроля, во главѣ коего он стал уже совсѣм незадолго до захвата власти большевиками. Он был прав: поскольку вопрос о его вхожденіи в состав врем. правительства потребовал страстных партійных дебатов, ему оно естественно представлялось крупным государственным событіем, а я считал, что и отведенныя строки представляют редакторскую жертву, потому что онѣ никакого значенія не имѣли перед

лицом низко нависшей уже опасности, от грознаго лица коей вниманіе и без того робко отворачивалось.

Остаться совсѣм в сторонѣ мнѣ помѣшало предсѣдательствованіе в Обществѣ редакторов — это положеніе обязывало. С самаго начала революціи военная цензура самоупразднилась. Газеты, особенно соціалистическія, совершенно не считались с требованіями военной тайны, непроницаемость коей и без того уже сильно продырявилась. Гучков просил меня (аудіенціи новыми министрами назначались обычно послѣ полуночи) урегулировать этот вопрос, и на другой день тріумфально щелкнул шпорами молодой восторженный поручик, отрекомендовавшійся комендантом телеграфа и начальником цензуры, и заявил, что, по порученію военнаго министра, он имѣет немедленно доставить меня к ген. Аверьянову, чтобы с ним о военной цензурѣ подробно переговорить. Генерал был явно изумлен моим визитом, и так его одолѣвало желаніе как-нибудь от меня отдѣлаться, что, когда я пояснил, что требуется разработать проект закона и что Общество может взять это на себя, он просіял, благодарил, увѣрял, что заранѣе со всѣми согласен, и неустанно повторял: «ну, дай вам Бог, дай вам Бог». Проект закона был быстро разработан и содержал точное перечисленіе тем, подлежавших вѣдѣнію цензуры. Однако, Керенскій, тогда министр юстиціи, рѣшительно воспротивился — в свободном государствѣ самое слово «цензура» должно безслѣдно сгинуть. А через нѣсколько дней, послѣ двух-трех ярких нарушеній военной тайны, врем. правительство обратилось с воззваніем к патріотическому чувству печати, приглашая ее вовсе не касаться тем, означенных в представленном нами перечнѣ. Одновременно меня просили заѣхать в гл. управленіе по дѣлам печати, гдѣ, начиная со сторожей, я встрѣчен был с таким низкопоклонством, что с души тянуло. Ожидавшій меня член Думы, милый и корректный гр. Капнист, сообщил, что на него возложена обязанность ликвидировать гл. управленіе и на его мѣстѣ создать новыя учрежденія, прибавив, что принял это порученіе в предположеніи и под условіем, что я возьму на себя практическое осуществленіе. Вопрос шел о судьбѣ самого учрежденія и связанных с ним телегр. агентства, Прав. Вѣстника и Бюро печати. Мы образовали ликвид. комиссію, в которую приглашены были лучшіе юристы государственники, скоропалительно разработали всѣ законопроекты и стали продвигать их по правительственным инстанціям. Я вспоминал свое первое посѣщеніе министерства юстиціи, когда так поражен был царившей там суетливой спѣшкой. Теперь была не спѣшка, а метаніе, совсѣм как на пожарѣ, в коридорах люди сшибались друг с другом и, не замѣтив этого, словно так и должно быть, разбѣгались в противоположных направленіях. Докладчик видѣл перед собой мутный взгляд начальства, говорившій: дай же наконец подписать бумагу, отпусти душу на покаяніе!

Не забыть засѣданія врем. правительства, в которое гр. Капнист и я были приглашены для доклада прошедшаго уже через разныя мытарства законопроекта. Это тоже было поздним вечером, в Маріинском дворцѣ теперь рѣзало глаз смѣшеніе стилей: придворные лакеи в торжественном облаченіи, двигающіеся с опаской нарушить обсужденіе и словно из под земли

выроставшие за спиной с чайным подносом в руках, толстые ковры, заглушающие шаги, и в противовѣс, шумная, вызывающе неестественная развязность новых хозяев. За длинным столом вразбивку сидѣло нѣсколько министров, глубоко погрузившихся в лежавшія перед ними бумаги, с краю возвышалась знакомая фигура стараго друга Набокова, управлявшаго дѣлами вр. правительства, всѣм своим аккуратным видом тоже не соотвѣтствовавшаго текучей обстановкѣ; в центрѣ кн. Львов, точно всѣми брошенный и озиравшійся по сторонам, не оторвется ли кто нибудь от бумаг, чтобы придти к нему на помощь. Керенскаго, Милюкова и Терещенки не было, они пришли к концу обсужденія, а нѣкоторые конца засѣданія не дождались и уходили, не простившись. Мои объясненія отнюдь не отвлекли министров от бумаг, никто даже и головы не поднял, и один только государствен. контролер Годнев, с которым мы уже вели предварительную бесѣду, снова тревожно спрашивал и провѣрял, не вызовет ли реформа дополнительных трат из казначейства, хотя и вся-то сумма по тогдашним масштабам была микроскопической. Но таков и должен был быть этот маленькій кругленькій человѣчек, который только среди малых цифр и чувствовал себя в своей сферѣ и на них проявлял усердіе. На этот раз оно было как нельзя больше кстати, ибо остальные упорно молчали и тщетно кн. Львов нѣсколько раз переспрашивал, нѣт ли еще у кого замѣчаній. Только когда мы уже встали, Керенскій, глубоко уйдя в кресло, справа от Львова, бросил колкое замѣчание относительно «Рѣчи», которой де «не избѣжать привлеченія к уголовной отвѣтственности». Кое кто засмѣялся сановной шуткѣ, я огрызнулся, сказав, что «Рѣчи» к этому не привыкать стать, на что Керенскій, впадая в театрально серьезный тон и все больше возвышая голос, заговорил, что печать неправильно понимает свои обязанности, что «вы охотно отмѣчаете и подчеркиваете *наши* ошибки, но ничѣм не обмолвитесь обо всем хорошем, что мы дѣлаем». Можно ли было ушам повѣрить: вѣдь вот и великая безкровная пришла и царскіе министры в тюрьмѣ, а в их креслах усѣлись новые люди и только для того, чтобы с таким сознаніем своего превосходства повторять старыя слова, закрѣплять дѣленіе на мы и вы. Неужели же сила не в человѣкѣ, а в этом бездушном, но таком мягком, таком удобном креслѣ? Когда потом я подѣлился своими мрачными впечатлѣніями с Набоковым, он мнѣ отвѣтил, что это засѣданіе можно назвать образцовым, обычно между отдѣльными министрами идет разговор, сливающійся в гул, и послѣ засѣданія он не знает, как составить протокол и состоялось ли по тому или другому вопросу постановленіе. А среди безпорядка то и дѣло вспыхивают острыя недоразумѣнія. Одно засѣданіе было посвящено докладу Милюкова о территоріальных пріобрѣтеніях государств Антанты на случай побѣды. Перед Милюковым лежала географическая карта, вокруг которой столпились всѣ министры, за исключеніем Керенскаго, сначала развалившагося на одном из стоящих у стѣн диванов, а потом расхаживавшаго большими шагами по залѣ. Милюков, между прочим, упомянул, что противник, по свѣдѣніям наших союзников, тратил большія деньги, чтобы обострить смуту. Услышав это, Керенскій вдруг вскипѣл и трагическим голосом закричал: «Как? Что вы сказали? Вы же позорите

русскую революцію и позволяете себѣ это дѣлать в моем присутствіи. С этим человѣком я работатьбольше не могу и не буду» и, схватив портфель, убѣжал. За ним помчались Терещенко и Некрасов и через полчаса доставили обратно, но он держался на отлетѣ, зорко молчал, а остальные дѣловым тоном обсуждали какіе-то мелкіе вопросы и казалось, что они держат экзамен на благопристойное поведеніе.

Роль и значеніе Керенскаго в революціи были для меня столь же неожиданны, как и самая революція и, на мой взгляд, дают цѣннѣйшій матеріал для ея психологіи. Петербургскій адвокат, он выдѣлялся среди коллег больше своей экспансивностью, а избранный в 3 и 4 Думу занял в ней весьма видное положеніе. Я уже упоминал о судебном процессѣ титулованнаго аристократа, разведшагося с женой, чтобы жениться на маленькой артисткѣ, большой искательницѣ приключеній, которая и стала, с помощью ложной беременности, шантажировать сіятельнаго мужа — несмѣтнаго богача. Шафером на этой свадьбѣ был Керенскій, почему ему и пришлось выступить в процессѣ свидѣтелем рядом с весьма неразборчивыми авантюристами. Я не знал тогда, что связь с титулованным милліонером выкована была принадлежностью обоих к масонству, равно как и сейчас мнѣ неизвѣстна степень вліянія масонства на образованіе вр. правительства. Но несомнѣнно, что масонство было крупным козырем и притом не единственным. Вр. правительство сорганизовалось, когда ему уже противостоял совѣт рабочих и крестьянских депутатов, претендовавшій на «паритет» власти. Керенскій по началу был избран тов. предсѣдателя Совѣта и включеніе в состав правительства манило установленіем связи, ослабленіем противодѣйствія Совѣта, а сочетаніе трех ипостасей создавало Керенскому исключительное положеніе и в масонствѣ, и в Совѣтѣ, и во вр. правительствѣ. Мнѣ очень рѣдко приходилось встрѣчаться с Керенским, но все же я успѣл воспринять и привлекательную покоряющую задушевность, и холодное пустозвонство, и раздирчивую мелодраму, и наполеоновскую позитуру, и я не рѣшился бы сказать, в каком положеніи он был самим собой или, быть может, такое состояніе на людях ему и вообще незнакомо было. Да и можно ли самим собой остаться, неожиданно почувствовав себя кумиром, утопая в цвѣтах, привѣтствіях, восторженных кликах. И все же не это слѣпое обожаніе толпы сдѣлало его осью революціи, стержнем ея карусели. Чѣм дальше, тѣм все чаще и все безсодержательнѣе мѣнялся первоначальный состав врем. правительства, постепенно терявшаго авторитет, и тѣм настойчивѣе всѣ уклонялись от принятія безпризорно лежавшей власти. Во время одного из таких кризисов кн. Львов просил меня воздѣйствовать на Тесленко, отказывавшагося от поста министра юстиціи. На вопрос, почему не обратиться к Набокову, он отвѣтил, со свойственным ему благодушіем, что Набоков имѣет репутацію праваго кадета и потому для него «еще не наступил момент», а ближайшій момент унес и самаго князя. Когда пресса насѣдала на Церетели, чтобы он вошел в состав правительства, он в полном отчаяніи говорил мнѣ: «какой смысл в этом? Развѣ тот, что еще одна репутація погибнет». За то при всѣх перемѣщеніях и комбинаціях не только сохраненіе Керенскаго, но и постепенное расширеніе

его полномочій считалось предрѣшенным и никаких сомнѣній не вызывающим: в первом составѣ министр юстиціи, он через два мѣсяца становится военным и морским министром, потом мѣняет портфели на пост министра президента, а еще через двѣ недѣли принимает опять портфель воен. и морск. министра. Прошел еще мѣсяц, и он уже верховноглавнокомандующій, днем позже к этому присоединяются обязанности члена Директоріи. Он тоже неоднократно заявлял желаніе сложить бремя власти, но вынужден был уступать общим настояніям на его незамѣнимости. На Керенском революція клином сошлась, она его создала, она же и берегла его подорванное здоровье, иначе нельзя объяснить сверхъестественной затраты сил и энергіи. «Я жалѣю, воскликнул Керенскій уже в концѣ апрѣля, — что не умер два мѣсяца назад: я бы умер с великой мечтой». Если бы так случилось, в апогеѣ совершенно исключительной популярности, которую он завоевал, вокруг имени его сплелись бы трогательныя легенды. А он дождался безжалостнаго развѣнчанія, печатное выступленіе послѣ неудавшагося Корниловскаго заговора, в котором собственная роль Керенскаго оставалась неясной, вызвало рѣшительное осужденіе со всѣх сторон, равно как и много позже напечатанный им в парижском журналѣ разсказ об отъѣздѣ из Петербурга мог только послужить доказательством случайности его руководящей роли, которая, до октябрьскаго переворота, фактически никому другому так и не могла быть передана. В 1932 году Керенскій пріѣхал в Берлин и задержался из за болѣзни, нѣсколько вечеров подряд я провел с ним у нашего общаго близкаго друга в интимной обстановкѣ искренних бесѣд о великом крушеніи нашем, и это общеніе «на рѣках вавилонских» опредѣлило столько точек душевнаго соприкосновенія, что теперь пришлось дѣлать усиліе над собой, чтобы дать отчет о том впечатлѣніи, которое он производил, выполняя подброшенную ему судьбою историческую роль. Больше всего плѣняло, что, как пытливо я ни всматривался, ища слѣдов семимѣсячнаго головокружительнаго навожденія — сколько видных общественных дѣятелей до конца дней своих цѣплялись за мимолетно полученныя от революціи званія сенаторов, министров, членов Учредительнаго собранія и т. д.,—у Керенскаго никаких слѣдов не сохранилось, за исключеніем вполнѣ простительнаго, слишком субъективнаго отношенія к своим болѣе удачливым преемникам и упрямаго дѣленія революціи на февральскую — пай, и октябрьскую — бяка. Но и это инстинктивное distinguendum гораздо болѣе простительно ему, бывшему воплощеніем первой фазы революціи, нежели многим другим, пытавшимся, при помощи разных «если бы», оспорить логическій ход событій, предрѣшенный топтаніем врем. правительства на одном мѣстѣ вокруг незамѣнимаго Керенскаго.

Учрежденная на основаніи принятаго врем. правительством нашего законопроекта ликвид. комиссія требовала большой организаціонной работы: в ея вѣдѣніи были бюро печати, составлявшее обзоры ежедневной прессы для правительства, оффиціальный Вѣстник Врем. Правительства, телегр. агентство и вновь образованная по плану двух книголюбов, академика Венгерова и Щеголева, книжная палата, которая должна была служить хран-

лицем и регистрировать выходящія печатныя произведенія. Самой сложной была реформа агентства, которое словно нарочно было так устроено, чтобы не соотвѣтствовать назначенію быстраго и точнаго освѣдомленія. Начиная с невѣроятно грязнаго темнаго тѣснаго помѣщенія, это достигалось возложеніем обязанности корреспондентов на чиновников губ. канцелярій, которым спѣшить было некуда, да и сооообщенія были таковы, что торопиться незачѣм. Заграничное освѣдомленіе монополизировано было германским агентством Вольфа. Новое помѣщеніе я облюбовал, состав корреспондентов обновил, с французским Гавасом и англійским Рейтером новые договоры заключил, но споткнулся о директора агентства. Я искал спеціалиста, а Терещенко, тогда министр ин. дѣл, ставил первым условіем, чтобы посадить кого-нибудь из вернувшихся политических эмигрантов, и сопротивленіе мое привело к назначенію, помимо меня, моск. журналиста, подмочившаго свою репутацію эклогой в честь Хвостова на столбцах «Биржевых Вѣдомостей». С его назначеніем связано очень яркое воспоминаніе: условившись с Некрасовым, замѣстителем министра президента, о свиданіи, чтобы представить ему новаго директора, мы пріѣхали в Зимній Дворец, удручавшій настеж раскрытыми, точно для выноса покойника, дверьми, и долго блуждали по гулким коридорам, разыскивая кабинет замѣстителя главы врем. правительства, спросить не у кого — если кто и попадался навстрѣчу, только недоумѣвающе пожимал плечами. Но у спутника был специфическій нюх и он дознался, что Некрасов еще не пріѣзжал. Вскорѣ Н. явился — кровь с молоком, бодрый, оживленный, и по окончаніи дѣлового разговора, с пренебрежительной увѣренностью заявил, что разразившійся наканунѣ кризис власти благополучно разрѣшен образованіем коалиц. правительства без участія кадетов (себя он к ним уже не относил). Огромная, очень высокая комната была почти совсѣм пуста — стол с нѣсколькими телеф. аппаратами на нем и пять шесть стульев, гудящее эхо назойливо откликалось передразниваніем. Выходя из кабинета вмѣстѣ с Некрасовым, мы столкнулись с Пѣшехоновым и Церетели, которым он передал приглашеніе на засѣданіе новаго правительства. Пѣшехонов не произнес ни слова и только чуть замѣтно кивал склоненной головой, будто собираясь боднуть собесѣдника, а Церетели так таки и набросился на меня, горячо протестуя против позиціи «Рѣчи», толкающей Совѣт раб. и кр. депутатов на захват власти. На мой взгляд отвѣтственность, напротив, лежала на соціалистах, которые, считая тактику большевиков гибельной, не рѣшались, однако, четко от них отгородиться и, т. о., добровольно отдавали дѣло соціализма на поток и разграбленіе гибельной тактики. Думаю и сейчас, что я был прав: катастрофическая судьба демократіи подтвердила мои предсказанія, которыя я потом повторил в берлинской прессѣ. Мнѣ даже казалось, что Церетели чуял серьезность и, во всяком случаѣ, искренность моих доводов, но, конечно, ни тогда, ни послѣ поколебать позиціи друг друга, утвержденныя на различных міровоззрѣніях, не удалось. Поспѣшив из Дворца в редакцію и отдѣлавшись от текущей работы, я, по дорогѣ домой, зашел к Милюкову, который вечером собирался уѣхать в Москву на кадетскій съѣзд. Не успѣл я с ним поздороваться, как ворвался Некрасов, но совсѣм не тот,

котораго я видѣл иѣсколько часов иазад. Теперь это был блѣдный, скоифуженный, растерянный, — коалиція уже распалась, никто не хочет идти в министры, Кереискій грозит все бросить и он, Некрасов, «умоляет» Милюкова отложить поѣздку в Москву и принять участіе в вечерием засѣданіи для обсужденія вопроса, как выйти из кризиса. Это и было знаменитое засѣданіе в малахитовом залѣ, закоичившееся уже утром, когда всѣ охрипли, стараясь перекричать друг друга, — предоставленіем Керенскому составить правительство по личиому выбору каидидатов, а ие, как было до того, из представленных партійными организаціями каидидатов. Засѣданіе происходило 21 іюля, т. е. меньше чѣм через двѣ недѣли послѣ столь же благополучной ликвидаціи предыдущаго кризиса 8 іюля, когда врем. правительство объявлено было «правительством спасенія революціи» и надѣлено «неограниченными полиомочіями». Я писал тогда, что при всей торжествеиности постановленіе это лишено реальиого содержанія, ничего ие прибавляет, да иие может расширить компетенціи врем. правительства, которое, уже от рожденія своего, ничѣм и никѣм ограиичено ие было и даже отмѣнило основиое правило о вступленіи закона в силу лишь по обнародованіи его Сенатом. Это было вполнѣ послѣдовательно, потому что контроль Сената над закономѣрностью изданія закона утратил raison d'être в виду всевластія врем. правительства. Неясным было одно: служат ли такія безсодержательныя вѣщанія признаком безсильнаго подражанія французским образцам или же они диктовались вѣрой в магію слов, которыя в свое время производили на нас, юношей, неотразимое впечатлѣніе. Революція обезцѣнила и обезчестила слово, оторвала его от внутренняго содержанія, сдѣлала самодовлѣющим, превратила слово в «слова, слова, слова». Оглушаемый нечленораздѣльным ревом уличной толпы, я говорил себѣ, что иначе и быть не может, что масса, независимо от уровня ея культуры, только и может проявлять себя свистопляской — послѣдующіе годы напомнили об этом всей Европѣ. Но холодѣло внутри, когда, одновременио с появленіем номера «Рѣчи», в котором напечатано было подробно мотивированное постановленіе к. д. съѣзда об отказѣ от участія во вр. правительствѣ, я уже имѣл в руках обратное постановленіе, тоже обстоятельно мотивированное.

Я не увѣрен, так ли это, но сейчас память упорно шепчет, что самыми тяжелыми днями, до октябрьскаго переворота, были 3 и 4-ое іюля — первая попытка захвата власти большевиками. Они во многом напоминали описанную выше октябрьскую ночь 1905 года, когда власть и революція не рѣшились помѣряться силами. Теперь перед Тавр. Дворцом огромный рабочій, грозя кулаком вышедшему к толпѣ представителю Совѣта р. и кр. депутатов, в настоящем бѣшенствѣ кричал: «Принимай, сукин сын, власть, когда дают». Совѣт не осмѣливался, а нѣкоторые наиболѣе активные министры, Некрасов и Терещенко, со своей стороны, не рѣшались отстаивать свою власть и предпочли укрыться. С Набоковым мы шли пѣшком по Литейному и Невскому домой из редакціи и сердце трепетало от негодованія при видѣ кроваваго гротеска: мчатся грузовики, с обвѣшанной оружіем матросней и солдатней со свирѣпыми лицами, гулко шагают такія же скопища, вызывая на

бой и во всѣ стороны пострѣливая, и вдруг, от неожиданнаго звука — топота копыт, даже крика ура — мгновенно, с ушедшей в плечи головой, бросая ружья, разсыпаются по подворотням. Гдѣ здѣсь было лицо, гдѣ изнанка, или же это было нѣчто безформенное? В «Рѣчи» Ирецкій, наблюдавшій неоднократно сцены бѣгства, сравнивал эти скопища с «воробьями на гороховом полѣ, готовыми вспорхнуть от малѣйшаго шума», и был увѣрен, что «достаточно было бы одного властнаго окрика», чтобы безчинства прекратить. Статья его и была напечатана, хотя в ней зіяло petitio principii: весь ужас в том и заключался, что для властнаго окрика не было воли — на одной сторонѣ уже не было, на другой — еще не накопилось. Набоков однажды сказал, что тактика вр. правительства в сущности представляет bonne mine au mauvais jeu, что «если бы у нас была хоть одна дивизія в руках, мы бы попробовали». Но это не совсѣм так: когда министр юстиціи Переверзев, как бы в отвѣт тому торопившему рабочему, доставил газетам оффиціальныя данныя, уличавшія Ленина в гос. измѣнѣ, Некрасов, успѣвшій оправиться от своего испуга, поспѣшил послѣ тщетной попытки задержать оглашеніе этих свѣдѣній в «Рѣчи», дезавуировать Переверзева, который и вышел в отставку. Такая демонстрація безсилія была тѣм болѣе показательна, что в ней не было никакой нужды — в числѣ многаго другого война уничтожила жупел госуд. измѣны, Петербург кишѣл дезертирами, и параллельно с этим измѣна перевоплощалась в геройство. Развѣ одного Ленина измѣна увѣнчала властью и признаніем? Для предотвращенія опасности и можно было придумывать только словесныя средства вродѣ объявленія врем. правительства «правительством спасенія революціи».

Новое словесное сочетаніе ни малѣйшаго впечатлѣнія не произвело, можно сказать, осталось совершенно незамѣченным, но сама по себѣ неудача большевицкой попытки значительно пріободрила общественное мнѣніе. В цѣлях успокоенія и печать чрезмѣрно налегала на неудачу третьяго іюля, как на доказательство безсилія заговорщиков — это была ложь во спасеніе: не говорят же страждущему, что он безнадежно болен — тѣм и страшен смертный приговор, что отнимает у человѣка привиллегію невѣдѣнія дня смерти, ставит лицом к лицу с ней. Куда же было бы цѣлесообразнѣе подчеркивать опасность и подготовлять организацію сопротивленія. Но для этого требовалось уйти в подполье — свободу печати революція превратила в миф и положеніе стало исключительно тяжелым. Отовсюду в нашу ликвид. комиссію сыпались протесты и жалобы на захват типографій, на запрещеніе выхода газет, мы бомбардировали телеграммами комиссаров и обычно получался отвѣт, что «недоразумѣніе» улажено. Даже и в Петербургѣ лучшая типографія «Копейки» сразу была захвачена соціалистами для печатанія «Извѣстій». Вмѣстѣ с тѣм ставки заработной платы так были подняты, что всѣ еженедѣльные и ежемѣсячные журналы вынуждены были прекратить существованіе. а с ними и цѣлый ряд менѣе крупных газет. За рабочими послѣдовали и репортеры во главѣ с Клячко. Они образовали «Бюро печати при врем. правительствѣ», размножали на гектографѣ собираемыя в стѣнах Зимняго Дворца свѣдѣнія и разсылали редакціям, представители иных при-

няты были в состав бюро, такія же учрежденія организояаны были при Совѣтѣ р. и кр. депутатов, при Гор. Думѣ и т. д. Информація была нивелирована, всѣ получали одни и тѣ же сообщенія. неизвѣстно кѣм написанныя, это влекло за собой разрушеніе дѣйственной связи сотрудника с газетой, он давал не свою работу, а продукцію какого-то анонима. Разрушеніе связи неизбѣжно приводило к неразборчивости — не все ли равно, в какую редакцію снести полученный из Бюро матеріал. С другой же стороны, так как в составѣ правительства единства не было и правители не могли да и не хотѣли противостоять искушенію, преждевременным оглашеніем ожидаемаго постановленія, поставить своих товарищей перед совершившимся фактом, то нельзя было избѣжать серьезных недоразумѣній. Однажды мы получили сообщеніе по самому бсевому тогда вопросу о «проливах», явно направленное против Милюкова. Справившись по телефону и узнав, что информація исходит от Керенскаго, я просил вызвать Милюкоа из засѣданія и предупредил об уготовленном ему сюрпризѣ. Милюков поспѣшил обратно в засѣданіе, гдѣ, как он потом разсказывал, грянула буря, но в концѣ концов Керенскій согласился взять назад свое сообщеніе, а на другой день подобный инцидент повторял какой-нибудь другой министр.

В борьбѣ против нажима на прессу мы оказались безсильны: по вопросу о чрезмѣрном повышеніи зар. платы состоялось небывало многочисленное собраніе представителей журналов, небывалое, потому что оно представляло «общій фронт» от оффиціознаго журнала мин. юстиціи до соціалистическаго «Русскаго Богатства» и всѣ говорили одним языком, выработаны были двѣ резолюціи — одна взывала к общестяенному мнѣнію, другая обращалвсь к абонентам. Рабочіе не препятствовали напечатанію резолюцій, но лишь потому, что не придавали им никакого значенія, котораго практически они и не получили. Вторая попытка организованнаго протеста против подавленія свободы печати была уж совсѣм позорной: никто, даже из участвовавших в предварительных переговорах, в засѣданіе не явился — трудно было дать болѣе наглядное доказательство неспособности превозмочь сознаніе своей немощности. Да и то сквзать — протестовать вѣдь приходилось против самих себя, провозглашавших революцію великой безкровной освободительницей. Ни к чему не привело и непосредственное воздѣйствіе на Клячко, которвго я убѣждал, что он сам себѣ роет яму, уничтожая значеніе индивидуальной работы. На словах он охотно соглашался, а про себя думал, что при таком хаосѣ, при замѣнѣ бюрократической тайны неудержимой болтливостью, когда не требуется искусства вывѣдывать, а нужно лишь заботиться, чтобы болтливость не расплескивалась и концентрировалась в одном резервуарѣ, иначе дѣйствовать нельзя. Не хотѣлось сдаваться, я обращался к правителям, которые на словах горячо поддерживали: «как бы хорошо было — мечтательно говорил кн. Львов, если бы вы ато вредное гнѣздо разрушили», но реальной помощи оказать не могли — для этого требовалось прежде всего единство, а чѣм дальше, тѣм напротив все ярче обрисовывались явленія распвда, особенно с тѣх пор, как восторжествовало начало коалиціи буржувзных влементов с соціалистическими,

Тихой заводью оставалась ликвидаціонная комиссія, но это и свидѣтельствовало, что она стоит в сторонѣ от мятущейся жизни. Здѣсь все было чинно: когда я входил, охватывал сосредоточенная тишина, перья усиленно скрипѣли, машинки стучали, чиновники почтительно склонялись и я невольно вспоминал монолог Хлестакова о том, какое впечатлѣніе производило его появленіе в департаментѣ. А когда приходилось докладывать министрам, казалось, что и они не чувствуют себя на своем мѣстѣ и потому переигрывают в стараніи не дать этого постороннему замѣтить. Как только созданныя вновь учрежденія мало мальски наладились, я предложил — к ужасу чиновников — комиссію закрыть и в послѣднем торжественном засѣданіи выслушал благодарственную рѣчь академика Венгерова, настойчиво подчеркивавшаго, что «такую большую утомительную работу наш предсѣдатель совершил без всякаго вознагражденія». Я не признался, что не вправѣ претендовать на эпитет безсребренника, меня удерживало язвительное замѣчаніе Гурлянда о борьбѣ из за ключей от казеннаго сундука и не хотѣлось, я просто не мог бы взять от революціи какую нибудь денежную выгоду.

В связи с ролью предсѣдателя ликв. комиссіи я получил два, совсѣм «пустопорожних», предложенія, обсужденіе которых отняло, однако, много времени. Одно исходило от моих кузенов, «богатых Гессенов», владѣльцев волжскаго пароходства, страховых обществ и транспортных предпріятій. Они пожертвовали полтора милліона р. на учрежденіе сельских библіотек и созвали многолюдное совѣщаніе из представителей радикальной интеллигенціи для разработки этого проекта, от котораго только и осталось воспоминаніе о рядѣ засѣданій с пламенными рѣчами. Одновременно два б. сотрудника «Рѣчи» явились ко мнѣ в обществѣ шумнаго банковскаго дѣльца Батолина и настойчиво уговаривали стать во главѣ учреждаемаго новаго тел. агентства — на жалованьѣ, помнится, в сто тысяч руб. На совѣщаніи с инженерами госуд. телеграфа выяснилось, что тел. сѣть так переобременена, что не может быть и рѣчи о подвѣшиваніи новой проволоки. Это однако нисколько не смутило моих соблазнителей. «А нам наплевать! Мы поставим новые столбы и будем имѣть свою сѣть». — Сколько я ни увѣрял, что все вздымающаяся волна аграрных безчинств сметет всякіе столбы, прожектеры настаивали на своем и, если память не измѣняет, устав общества был разработан и утвержден врем. правительством, причем выяснилось, что имѣются и еще такія же начинанія. Конечно, и этот мыльный пузырь лопнул, но, грѣшным дѣлом, теперь возникает подозрѣніе, что за этим проектом скрывалось сомнительное грюндерство.

Тотчас же по упраздненіи комиссіи, в началѣ августа, я с семьей уѣхал в излюбленный Крым, на дачу в Отузах, куда с нами отправилась и семья Каминки. Затѣя была довольно легкомысленной — желѣзныя дороги работали весьма неисправно, поѣзда были переполнены, о привычных удобствах сообщенія Москва-Севастополь нужно было забыть. Но мы не только поѣхали, но еще и купили, по выбору и указаніям выдающагося крымскаго обществен. дѣятеля С. С. Крыма, чудесно расположенный участок земли с составлявшей рѣдкость в Крыму ключевой водой, обсуждали планы пост-

ройки дома, собирались разводить форелей. Какой смысл это имѣло, если ни на минуту не покидало ощущеніе паденія по наклонной плоскости? Быть может, фактом покупки и планами на будущее сами себя пытались убѣдить, что ничего страшнаго нѣт — вѣдь вот же такой опытный и добросовѣстный друг ничего страннаго не усматривает, напротив, сам совѣтует и нотаріус, как полагается, пишет купчую крѣпость, и сосѣди предлагают уже услуги по уходу и работѣ на участкѣ. Пожалуй, и впрямь все образуется? В Отузах, да впрочем и в Феодосіи, гдѣ на короткое время мы останавливались, слышались лишь отдаленные отзвуки революціонной бури, в нашем подлинно благословенном уголкѣ солнце так увѣренно и побѣдоносно сіяло, что становилось конфузно за свою тревогу, и море было так ласково, так манило ввѣриться ему и ни о чем не думать. Газеты доставлялись крайне неаккуратно, но вечером почтальон приносил длиннѣйшія телеграммы петерб. агентства, любезно посылаемыя бывшему начальству, онѣ искажены были до неузнаваемости неопытным телеграфистом захолустной почтово-телгр. конторы. Я наивно думал, что полученіе телеграмм представляет для конторы большой интерес, давая возможность мѣстным жителям слѣдить за ходом событій, а она не могла дождаться моего отъѣзда, чтобы избавиться от работы по пріемкѣ и доставкѣ. Телеграммы властно возвращали к трагической дѣйствительности и погружали в сумятицу — трудно было разобраться, читая отчеты о засѣданіях «госуд. совѣщанія» в Москвѣ, что нужно отнести за счет неисправности передачи, а что является шлаком самозабвеннаго краснобайства. Но разбираться и не стоило — о чем бы лента Юза ни сообщала, осадок от чтенія, все болѣе разъѣдающій, был один и тот же и, пожалуй, прав был телеграфист, тяготившійся безплодной по существу работой. Надѣяться было не на что и воспаленное воображеніе убѣгало вперед, силилось представить себѣ, конкретизировать неминуемое страшное завтра.

Мучительно было думать о возвращеніи в Петербург, но и здѣсь не сидѣлось. Выбраться из Феодосіи было уже не легко, лишь с помощью всесильных Крымов удалось получить на нашу компанію из восьми человѣк двухмѣстное купэ и размѣститься в нем и на полу и на багажной сѣткѣ, но зато можно было утѣшаться, что хуже не будет: когда на каждой станціи поѣзд осаждался все новыми толпами, пользовавшимися не только дверьми, но и окнами, чтобы проникнуть внутрь, мы знали, что на нашу клѣтушку никто не покусится и мы останемся среди своих. Чѣм ближе к Москвѣ, тѣм все больше вагон наполнялся самыми фантастическими слухами о походѣ Корнилова, ронявшими в душу искры надежды на измѣненіе безотраднаго положенія. Возбужденное настроеніе Московско-Курскаго вокзала, кишѣвшаго офицерами в походной формѣ, с мрачными лицами куда-то спѣшившими, укрѣпляло надежду, но тѣм сильнѣе была депрессія, когда, переночевав в Москвѣ, мы утром 2 сентября на Николаевском вокзалѣ в Петербургѣ больше почувствовали, чѣм узнали, что «заговор Корнилова» не только не удался, но смертельно разбередил революціонную болячку. В редакціи было большое смятеніе, со всѣх сторон на «Рѣчь» и в частности на Милюкова пальцами показывали, как на вдохновителей и виновников заговора, министры

печатали противорѣчивыя заявленія, чрезвычайно загадочной представлялась роль Керенскаго, В. Львова, Савинкова, уволеннаго от должности ген. губернатора, только что им занятой; застрѣлился непосредственно послѣ разговора с Керенским Крымов. На «Рѣчь» рука все же не рѣшилась обрушиться, но нѣсколько правых газет было закрыто, на другой день та же участь постигла временно и газету Горькаго, донской атаман Каледин объявлен мятежником, но перед ним, огражденным защитой войскового круга, правительство спасовало. В разных городах выступленіе Корнилова и Каледина объявлено было подготовкой диктатуры и в отвѣт, предвосхищая рѣшеніе Учред. Собранія, к которому шли усиленныя приготовленія, провозглашена была республика; в противовѣс моск. госуд. совѣщанію в Петербургѣ созвано было демократич. совѣщаніе, превратившееся через короткое время во врем. Совѣт Республики (предпарламент) или, как нѣсколько раз оговорился Керенскій, в «совѣт временной республики», и эта феерія разыгрывалась на фонѣ звѣрских самосудов над офицерами и полнаго разложенія фронта. Впечатлѣніе было такое, что страна корчится в предсмертных судорогах.

В Совѣтѣ республики неожиданно и мнѣ пришлось принять участіе. Организація этого надуманнаго учрежденія была безформенной и случайной — тут было представительство политических партій, кооперативных союзов, разных обществ и потому и в нашем Обществѣ поднят был вопрос о делегированіи представителей. Тщетно указывалось, что печать ежедневно подает свой голос, что общаго взгляда мы не имѣем и потому положеніе представителей будет затруднительное — подавляющее большинство настаивало, что «шестая держава» должна быть представлена, нам было отведено два мѣста, я удостоился единогласнаго избранія, а коллегой моим оказался Леонид Андреев, которому портил настроеніе Савинков, добывавшій средства для пріобрѣтенія возглавляемой Андреевым «Русской Воли». Участіе в Совѣтѣ было тѣм болѣе тягостно, что совершенно изможденный Милюков уѣхал на отдых в Крым и тревожная забота о «Рѣчи» цѣликом легла на мои плечи. Мои старыя записи содержат обстоятельное изложеніе faits et gestes предпарламента. Оно мнѣ теперь не по душѣ, оно не считалось с судорожным состояніем, которое должно было искажающе отражаться на поведеніи каждаго и тѣм сильнѣе, чѣм активнѣе было отношеніе к роковому революціонному калейдоскопу. Но и я не мог остаться внѣ вліянія болѣзненной атмосферы и потому запись, сдѣланная через три-четыре мѣсяца, под свѣжим впечатлѣніем, сохраняет лишь цѣнность «человѣческого документа». Созыв Совѣта отмѣчен был, как впрочем и всѣ дѣйствія врем. правительства, большой торопливостью. Тѣм не менѣе для помѣщенія его не воспользовались Таврическим Дворцом, пустовавшим послѣ вытѣсненія оттуда революц. совѣта и упраздненія Гос. Думы, а стали приспособлять Маріинскій дворец, что потребовало времени и непроизводительных расходов. В ожиданіи переустройства члены Совѣта, тотчас же распредѣлившіеся по партіям и группам, собирались в своих частных помѣщеніях и вот, ровно десять лѣт спустя, я вновь очутился в обстановкѣ политической кухни, из ко-

торой, послѣ роспуска второй Думы, бѣжал. Поразительно было, что здѣсь ничего не измѣнилось, десять лѣт, да еще каких, не произвели существенных измѣнений, развѣ что все успѣло поблекнуть, слинять. Было много новых, мнѣ неизвѣстных лиц, нисколько не мѣнявших общаго вида картины, как обновленіе состава статистов не вліяет на впечатлѣніе от знакомой театральной сцены. Солисты были все тѣ же и хотя здѣсь было, в противоположность чинной ликвид. комиссіи, оживленно и суматошно, но и тут казалось, что из хлещущих волн выбрался, наконец, в привѣтливо зыблющуюся пристань. В отсутствіи Милюкова предсѣдательствовал, нѣт — священнодѣйствовал Винавер, он торжественно привѣтствовал новичков, наставительно разъяснял пріемы и порядок голосованій, преподавал основы тактики, распредѣлял членов фракціи по комиссіям, и новички благоговѣйно внимали посѣдѣвшему в боях соратнику. Куда ни повернешься, непремѣнно увидишь извѣстнаго овцевода П., неизмѣннаго секретаря и казначея фракціи, вѣчно находящагося в движеніи, с бумажкой в руках, ровным голосом напоминающаго каждому о причитающемся взносѣ, сообщающаго о предстоящих засѣданіях фракціи и комиссій. И засѣданіе идет неизмѣнно в том же руслѣ, что и десять лѣт назад, правые кадеты спорят с лѣвыми, информаторы, гордящіеся своими связями, сообщают о намѣреніях и постановленіях сосѣдних фракцій и предлагают контрпланы, закрытой баллотировкой производятся различные выборы по заранѣе составленным спискам. Кд. фракція занимала теперь правый фланг, направо от нея никто голоса не поднимал, да и она больше была на положеніи терпимой и предсѣдательствующій тяготѣл к соглашательству с соціалистами в разрѣз с Милюковым, который теперь, напротив, рѣшительно отгораживался от них: «Это груз, который тянет на дно». Он был глубоко увѣрен, что «происходит процесс разочарованія в лозунгах, выдвинутых крайними партіями, и мы должны этот процесс ускорить».

Напряженно ждали всѣ вступительной рѣчи Керенскаго, не потому, чтобы расчитывали услышать нѣчто новое, важное, а лишь сигнал к состязанію. Это был и впрямь апофеоз «словеснаго чванства». Учрежденіе и созыв Совѣта должно было отвѣчать потребности правительства найти опору, демонстрировать перед страной, что оно не висит в воздухѣ, а стоит на прочно спаянном фундаментѣ, и совмѣстными усиліями задушить анархію. Эти повелительныя задачи тѣм легче были отброшены и забыты, что, как в первую Думу министерство пришло с пустыми руками, так и теперь никаких конкретных указаній рѣчь главы врем. правительства не содержала. Всѣ словно чуяли, что это послѣдній случай свести счеты, разоблачить ошибки, формулировать обвиненія, и заботились только, как бы чего-нибудь не упустить, подобрать наиболѣе рѣзкія выраженія, не останавливаясь и перед смачной бранью; каждая рѣчь дышала ненавистью, все сильнѣе сгущавшей атмосферу мрачнаго зала: если бы большевики во главѣ с Троцким, прочитавшим вызывающую декларацію, не ушли сами из засѣданія, вряд ли оно закончилось бы без рукопашной. По парламентскому обычаю — а наши революціонеры свято хранили иностранные традиціи и навыки — полагалось заключить рѣчи принятіем формулы перехода к очередным дѣлам, хотя ни-

каких дѣл на очередь поставлено не было, развѣ что навязывался вопрос об эвакуаціи Петербурга. Каждая фракція, группа имѣла конечно свою формулу, доставшуюся ей послѣ больших внутренних споров. Так было и у нас и я взмолился: «неужели вы думаете, что эти страстные споры из за слов имѣют какое нибудь отношеніе к тому, что происходит внѣ стѣн дворца?» Вернувшійся к тому времени Милюков остановил спорящих и то-ли, чтобы меня сконфузить, то ли чтобы унять перекоры, сказал: «дайте высказаться І. В., он имѣет что-то предложить». Но что же можно было предложить? Еще один варіант формулы? Я вышел в кулуары и видѣл, как парламентеры от разных фракцій перебѣгали с бумажками в руках, на которых начертаны были сакраментальныя резолюціи, к сосѣдям для взаимнаго ознакомленія и новых попыток согласованія. Это достигнуто не было, голосованіе, произведенное среди невѣроятнаго шума, не давало точных результатов, недовольные требовали провѣрки, партійные загонщики рыскали по кулуарам — не застрял ли там кто-нибудь из своих, многіе перестали понимать, за что они голосуют, повѣрка установила, что сводная формула, наспѣх во время голосованія выработанная и объявленная отвергнутой большинством в нѣсколько голосов, теперь столь же незначительным перевѣсом принята, и этот скандальный результат запечатлѣвается оглушительными аплодисментами и надрывающимся ревом, чтобы от края до края всѣм было слышно и стало ясно, что власть совершенно безпомощна, что ее можно взять голыми руками, — созыв Совѣта оказался просто преступленіем против несчастной родины.

Среди безчисленных ораторов память отчетливо выдѣляет Е. Д. Кускову, давно владѣвшую моими симпатіями. Она была единственной женщиной, выступившей с большой рѣчью, тоже оставшейся единственной. Ничего в ней не было оригинальнаго, слова и сочетанія их все хорошо знакомыя, скажу — шаблонныя, но она парила над заостренной до грубости партійной полемикой и призывала пріятным грудным контральто подавить распри, объединиться для спасенія родины. Эта рѣчь как бы открывала форточку и давала возможность перевести дух. Я склонен распространить термин «единственный» на всю ея личность, но то и дѣло спотыкаюсь о выступы шаблонных черт. Прибавлю к этому термину слова «в своем родѣ», чтобы избѣжать погрѣшности против истины. Своеобразным было очень удачное сочетаніе мужских твердых нот задушевнаго голоса с милым женственным лицом, украшенным большими, всегда широко раскрытыми, синими глазами; увлеченіе общественной дѣятельностью — меньше всего ее занимал «женскій вопрос» — дружески соперничало с вниманіем и заботой о домашнем уютѣ, широкая готовность услужить, помочь, душевно согрѣть отлично уживалась с чисто мужским практицизмом и расчетливостью. И общественная позиція ея была тоже в своем родѣ единственная — неопредѣленно опредѣленная. Совершенно отчетливо она отмежевалась на сторону оппозиціи, но на этой сторонѣ, в поисках какой-то равнодѣйствующей (вульгарно выражаясь — золотой середины) сама откровенно отказалась фиксировать общественное мѣстожительство, дав издаваемому ею журналу безымянную кличку: «Без за-

главія». В соотвѣтствіи с этим стоял необычайный діапазон ея знакомств и связей: если перед октябрьским переворотом выкристаллизовалась дилемма — Ленин или Корнилов, то у Екатерины Дмитріевны — не только знакомые, но и друзья были во всѣх слоях от Ленина и до Корнилова. Послѣ октябрьскаго переворота ея настойчивая дѣятельность опредѣлилась, как она сама характеризовала, в «засыпаніи рва» между интеллигенціей и большевиками и эта дѣятельность, послѣ высылки заграницу. доставила ей в эмиграціи такую популярность, что фамилія Кусковой стала нарицательным выраженіем понятія «соглашательства». Началась популярность с «Прокукиша» — так прозван был, по первым буквам фамиліи мужа ея Прокоповича, строгаго начетчика, ея собственной и лѣваго кадета Кишкина, общественный благотворительный комитет в Москвѣ, быстро и с грубым окриком и арестами ликвидированный сов. властью. Высланная заграницу, она упорно продолжала вести свою линію в газетных статьях, нарушая их однообразіе опрометчивой эквилибристикой доводов, что не так страшен чорт, как его малюют. Когда в голодные годы сов. власть вывозила заграницу насильственно отнятый у обездоленнаго крестьянства хлѣб, ея печалованіе о народѣ уступило мѣсто велѣніям госуд. необходимости и «П. Новости» дали ей мѣсто для высказыванія своих взглядов. К таким эскападам «Руль» относился безпощадно и наши добрыя отношенія, порой напрягавшіяся до трогательных объясненій в дружеской привязанности, смѣнялись личной враждебностью, я же видѣл в этом лишь дополнительное доказательство чрезмѣрной возбудимости, которая, с помощью услужливых розовых очков, легко превращает желаемое в реальность, но не вытѣсняет привлекательных душевных особенностей, а напротив, вызывает в душѣ болѣзненную реакцію, когда очки спадают с глаз.

Упомянутое засѣданіе Совѣта было послѣдним, дальше в старых записях моих значится, что вечером я зашел к Каминкѣ, гдѣ встрѣтил нашу пріятельницу, отличную піанистку П. и выдающагося инженера Пальчинскаго, тогда назначеннаго петерб. ген. губернатором, и еще кое-кого из друзей. Говорить было не о чем, и, чтобы заглушить душевную маяту, рѣшено было музицировать — кто то в шутку предложил позвать Милюкова со скрипкой, на телефонный звонок М., точно только и ждал приглашенія, охотно откликнулся и через полчаса усердно пилил на скрипкѣ Бетховенскую сонату, а затѣм мы отправились на ночное бдѣніе в редакцію. На другой день Маріинскій дворец имѣл какой-то странный вид: засѣданія не было, но в просторных кулуарах толпятся кучки, вяло обсуждающія различные моменты вчерашняго молодецкаго боя, расхаживают взад и вперед заложив руки в карманы, и на всѣх лицах одно и то же, у одних болѣе, у других менѣе — усталое выраженіе: все, что можно было, уже сдѣлано, больше ничего не придумаешь, остается ждать, что будет. Привлекает вниманіе Гучков, только что пріѣхавшій с фронта и попавшій в Совѣт уже к шапочному разбору. Его засыпают вопросами, на которые он не успѣвает отвѣчать, и больше кивает с загадочной, чуть замѣтной улыбкой на лицѣ. Стремительно проносится к телефонной будкѣ с озабоченным видом Савинков. Громко, так что

всѣм слышно, спрашивает: «княгиня дома? Нѣт. Быть не может. Мнѣ экстренно нужно переговорить. Не забудьте же передать», и раздраженно мчится обратно. «А вас еще не арестовали?» спрашивают его. «Мы еще посмотрим, кто кого», — бросает он на ходу, задирая вверх дегенеративную голову. Вокруг вдохновеннаго оратора, об. прокурора Синода Карташева столпилась кучка и подшучивает: «А гдѣ вы завтра будете?», на что совершенно спокойно он отвѣчает, что ему должны отвести келью в монастырѣ. Мелкими шажками семенит новоиспеченный кадет Н. А. Морозов со сморщеным, как печеное яблоко, лицом, блаженно улыбающимся, и тючками книг под мышками. «Ну, как, Николай Александрович, стоило отсидѣть двадцать лѣт в Шлиссельбургѣ, чтобы такого дня дождаться?» Он даже испугался, сложил книги на диванчик у стѣны, и, жестикулируя освобожденными руками, шамкает: «ой, что вы, что вы. Не грѣшите. Годика через два мы с удовольствіем будем с вами об этом времени вспоминать». Хочется со злости ударить его или тѣсно к нему прижаться, не заражусь ли этой дѣтской вѣрой, и тщетно терзаю воображеніе, чтобы представить себѣ, каким был этот террорист двадцать лѣт назад, когда за ним замкнулись тяжелыя ворота шлиссельб. каземата. А вот, плавно подвигаясь и скользя сощуренными глазами по встрѣчным, шествует управляющій дѣлами врем. правительства, сын моего бывшаго очаровательнаго добродушнаго начальника, снисходительно вѣжливо здоровается — ему слоняться по кулуарам некогда, он обременен важными дѣлами и государственными тайнами и вышел только поразмять ноги. «Что же с нами завтра будет?» Он изумлен таким вопросом, и пренебрежительно скривив губы, гортанными звуками вѣщает: «что за вздор! Пусть только попробуют сунуться, им небо с овчинку покажется. Да, какія же сомнѣнія?» Вѣрит ли он сам этому и всетаки, что будет завтра? Ребром поставил я этот вопрос в происходившем в этот послѣдній день засѣданіи комиссіи по борьбѣ с анархіей и контрреволюціей. Объясненіе давали министр вн. дѣл Никитин, заурядный моск. адвокат, но соц.-демократ, и начальник воен. округа Полковников, как угорь скользившій между настойчивыми допытываніями, какія мѣры приняты против открыто подготовляемаго возстанія. Ему усердно помогают члены комиссіи — с.-демократы интернаціоналисты, которые парируют вопросами о происках монархистов. Из этого засѣданія я уѣхал домой с твердым убѣжденіем, что расчитывать дѣйствительно не на кого, и вопрос лишь в том, будут ли большевики смѣлѣе, чѣм 3 іюля.

Послѣ безсонной ночи я чуть свѣт позвонил — не припомню, куда, и оттуда ровный спокойный голос методически стал перечислять одно за другим разныя правительственныя учрежденія. Я нетерпѣливо перебиваю: «Но каково же общее положеніе?» — «Вот я и называю вам учрежденія, которыя уже захвачены большевиками». Колѣни сразу подогнулись, как когда-то в тюрьмѣ на свиданіи с кузиной, неожиданно сообщившей приговор о ссылкѣ. Теперь как обухом ударило рѣзкое несоотвѣтствіе между уравновѣшенным голосом информатора и потрясающим содержаніем извѣстія, словно бы рѣчь шла об обыденном событіи, которое в свое время и наступило. Но вѣдь так

оно и есть, развѣ ты предполагал иное, или, скрывая от самого себя, надѣялся на чудо, на сюрприз? Нѣт, зловѣщим сюрпризом было именно это тревожно ожидаемое извѣстіе — каким бы неизбѣжным оно логически ни казалось, оно не вмѣщалось в сознаніе, его нужно было вколачивать и что-то внутри раскалывалось, чтобы дать ему мѣсто. Второй раз охватило такое же ощущеніе спустя два три дня, когда в газетѣ напечатан был список народных комиссаров во главѣ с Лениным: хоть бы завтра они были свергнуты — чудовищно невѣроятное стало фактом, и из исторіи Россіи уже нельзя вычеркнуть, что темное подполье открыто на весь мір могло провозгласить себя властелином великой страны.

25 октября мы ждали гостей к обѣду московскаго пріятеля, крупнаго промышленника С. Смирнова, послѣдняго госуд. контролера, с жизнерадостной женой, наслаждавшейся министерским званіем мужа. Днем он позвонил из Зимняго дворца, уже отрѣзаннаго от телефоннаго сообщенія, только один провод случайно еще дѣйствовал. Замѣтно бодря голос, он просил передать привѣт женѣ: «Пріѣхать к вам уже не придется, да и как и когда увидимся — не знаю». Когда же я передал женѣ привѣт, она сказала, что очень плохо чувствует себя и тоже пріѣхать не может. Поздно вечером она позвонила, чтобы сказать, что у нея температура поднялась до сорока, и из распросов было ясно, что у нея острый припадок апендицита и что нужен немедленно врач. Не мало пришлось звонить, прежде чѣм, наконец, нашелся один, согласившійся с Петербургской стороны поѣхать на Англійскій проспект и удостовѣрившій правильность моей догадки. Телефон звонил безпрерывно, сотрудники и пріятели дѣлились полученными свѣдѣніями и невѣроятными слухами, сгущавшими и опережавшими событія — захвачен Зимній дворец, разрушенный пушками Авроры, министров увезли в Петропавловскую крѣпость, но на Троицком мосту озвѣрѣвшіе матросы разстрѣляли их, женскій батальон, только и оставшійся вѣрным правительству, в плѣну и изнасилован солдатами. Было около шести часов утра, в постель я не ложился, когда вновь затрещал телефон и еле слышным голосом Смирнова сообщила, что только что ей по телефону передали из крѣпости привѣт от мужа, благополучно туда доставленнаго. А ее рано утром отвезли в лечебницу, не совсѣм удачно оперировали; еще больная, с повышенной температурой от загрязненной раны, она переѣхала в казенную квартиру гос. контролера, у подъѣзда которой дежурил патруль обвѣшанных пулеметными лентами матросов, и куда как неуютно было проходить под испытующими взглядами звѣрских лиц, когда я ее навѣщал. Но вначалѣ еще царило причудливое смѣшеніе стилей — распознавать начальство и отличить его от врагов было затруднительно, и увѣренный вид, твердая походка не раз служила надежным щитом. Позже мнѣ разсказывал кн. Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, что, явившись в Смольный, он встрѣтил чрезвычайно почтительное отношеніе и получил просимое разрѣшеніе на продажу имѣнія, без чего нотаріус не соглашался совершить купчую крѣпость.

Выход газет снова был пріостановлен забастовкой рабочих. Исключеніем, если не считать оффиціальных Извѣстій, постепенно с полѣвѣніем Со-

вѣта раб. и кр. депутатов, обновлявших редакцію и теперь бывщих уже в руках большевиков, — явилась еще газета Горькаго «Новая жизнь», имѣвшая за собой знаменательное прошлое. Незадолго до революціи он, в компаніи архи-буржуазных профессоров и литераторов, затѣял изданіе большой газеты «Луч», совмѣстно с издательством Копейки, на средства, предоставленныя крупными банками. Были уже напечатаны широковѣщательныя объявленія с перечисленіем состава сотрудников, среди коих значились профессора—«сэр» П. Г. Виноградов, пр. Бернацкій, теперь в эмиграціи стоящій на крайне правом флангѣ, но изданіе почему-то разстроилось, а в это время грянула революція и вмѣсто «Луча» появилась «Новая Жизнь», во главѣ с тѣм же Горьким, но с новым составом сотрудником, — с.-демократов интернаціоналистов — Сухановым, Авиловым, Десницким и др. Эта газета играла при революціи ту же роль, что «Новое Время» при царском режимѣ, но еще грубѣе и раболѣпнѣе держа нос по вѣтру. К ней еще плотнѣе прилипла данная Щедриным «Новому Времени» кличка «чего изволите», и как смѣшно, что и печаталась «Новая Жизнь» в типографіи «Новаго Времени», и надо же было случиться такому камуфлету, что готовая типографская полоса «Новой Жизни» была заверстана в номер «Новаго Времени» и наоборот. Если Горькаго упрекали в недостойном вилянін, он жаловался на слишком рьяных сотрудников своих, совершенно так же, как старик Суворин в таких случаях укрывался за «своих молодцов, которых не может держать в уздѣ». Мы, было, рѣшили опять крѣпко стоять друг за друга и дѣйствовать скопом. Но забастовка затягивалась, в засѣданіях, происходивших чуть ли не ежедневно в помѣщавшейся насупротив «Рѣчи» редакціи «Земли», все чаще указывалось на вредное вліяніе «Новой Жизни», которому необходимо противодѣйствовать, коллективныя усилія ни к чему не приводили, вслѣдствіе чего пришлось предоставить каждому идти своим путем. Свои пути — опять же, как и в доброе старое время — оказались болѣе цѣлесоотвѣтственными и немедленно стал выходить бульварный «Петерб. Листок». Этот прорыв забастовки быстро стал расширяться и постепенно появились всѣ газеты, за исключеніем «Русской Воли», сразу захваченной новой властью. Иному захвату подверглась «Петерб. Газета». Ее безцеремонно экспропріировали сотрудники, и я вспоминал, с каким трудом удалось убѣдить ея издателя Худекова, при образованіи «Общества журналистов», вступить с ним в сношенія и постараться дѣйствовать согласованно. Он с пѣной у рта доказывал, что с этой «шантрапой», которая только и смотрит в карман издателя, невмѣстно имѣть дѣло, теперь шантрапа и расправилась с ним.

Не долго, однако, продолжался безперебойный выход газет. Большевики удѣляли прессѣ все больше вниманія и обрушились на нее знаменитым декретом, запрещавшим печатаніе коммерческих объявленій, покрывавших большую часть издательских расходов. Это было столь неожиданно и злобная подоплека декрета была так ясна, что он вызвал единодушное возмущеніе и среди соціалистов и вообще во всѣх организаціях, прикосновенных к газетному дѣлу. Наше Общество рѣшило игнорировать декрет и началась борьба — власть, еще не рѣшаясь на крутыя мѣры, присылала в типографію

красногвардейцев, которые разсыпали набор, дробили отлитыя полосы, а редакціи прибѣгали ко всевозможным ухищреніям, чтобы обмануть бдительность, и наибольшей ловкостью и изобрѣтательностью отличался самый умѣренный среди соціалистической печати «День». Типографія эсеровскаго «Дѣла Народа» охранялась преданными партіи вооруженными солдатами, но с каждым днем борьба становилась труднѣе. Тогда, по иниціативѣ нашего Общества и Бюро соціал. печати, созвано было собраніе представителей разношерстных организацій, редакторов, издателей, журналистов, служащих в издательствах, типографских рабочих и газетных артелей. Такого импозантнаго объединенія «буржуев» с соціалистами и пролетаріатом еще не бывало и оно было подчеркнуто просьбой, чтобы я предсѣдательствовал. Удивительно было и единодушіе ораторов, состязавшихся в возмущеніи попыткой удушенія прессы, и засѣданіе разыгрывалось как по нотам. Оставалось выработать резолюцію протеста, но выяснилось, что каждая организація пришла с готовой формулой. Предложеніе согласовать формулы, по существу не отличавшіяся между собой, неожиданно встрѣтило возраженія — больше всѣх горячились представители «Новой Жизни». Только что выставленный довод был отпарирован, как приводился другой, еще болѣе туманный и нелѣпый и, наконец, было заявлено, что от принесенных формул представители Бюро соціал. печати не вправѣ ни на іоту отступить. Когда же в цѣлях демонстраціи единодушія внесено было предложеніе принять соціалистическую формулу, один из соратников Горькаго откровенно заявил, что именно единодушнаго протеста они и не желают, ибо, хотя в данном случаѣ наши интересы и задачи совпадают, но «методы и цѣли борьбы остаются глубоко различными». Обычно молчаливый и сдержанный редактор «Дня» Кугель произнес пламенную рѣчь, доказывая, что успѣх большевиков покоится на лицемѣріи, предательствѣ и трусости соціалистов, но его выступленіе послужило сигналом для других участников, которые один за другим стали увѣрять, что и они не вправѣ мѣнять имѣющіяся у них резолюціи, а пролетаріат вспомнил, что и ему невмѣстно принимать общія рѣшенія с буржуями, и с большим трудом удалось закончить собраніе на принятіи тут же составленнаго протокола, в котором приведены были всѣ резолюціи с указаніем, что между участвующими не было разногласій в оцѣнкѣ большевистскаго декрета, как попытки задушить независимую прессу. Нельзя было, однако, сомнѣваться, что при таких настроеніях борьба с новой властью не имѣет серьезных шансов на успѣх, что предоставленные самим себѣ мы вынуждены будем подчиниться, и когда слѣдующим декретом новая власть предписала отводить первую страницу газеты ея постановленіям и декретам, это уже не вызвало дѣйственнаго сопротивленія.

В этот момент я был уже внѣ Петербурга. Одним из первых декретов было объявленіе кадетов «внѣ закона» и главарям пришлось скрыться. Милюков уѣхал в Москву в день переворота, за ним послѣдовал Петрункевич, не терял своего спокойствія Набоков. Он был арестован в Маріинском Дворцѣ вмѣстѣ с другими членами комиссіи по выработкѣ избирательнаго закона для Учр. собранія и отвезен в Смольный, гдѣ красногвардейцы с разинуты-

ми ртами глазѣли, как тщательно он совершает утренній туалет и омовеніе под водопроводным краном. Отпущенный через нѣсколько дней из Смольнаго, он поспѣшил в Маріинскій театр на благотворительный спектакль в пользу Литературнаго фонда, предсѣдателем коего состоял. «Еще не отлита пуля, которая для меня предназначена» — хладнокровно отвѣчал он на предостереженія друзей и оказался прав: она была изготовлена не большевиками, а в другом лагерѣ, тѣми, кто — формально — сами с ними боролись. Еще через нѣсколько дней его уговорили уѣхать в Крым, гдѣ уже находилась вся семья. Много видных членов партіи сидѣли уже по тюрьмам — кн. Павел Долгоруков, Кокошкин, Шингарев и другіе. Мнѣ уѣхать нельзя было, потому что заболѣла воспаленіем легких жена, но дома я не ночевал, а в редакцію являлся украдкой. Предосторожности были излишни — объявив кадетов внѣ закона, большевики ни разу не произвели обыска у редактора кадетскаго офиціоза, да и газету трактовали наравнѣ с другими органами печати. Смутно припоминаю нѣсколько неожиданных посѣщеній в эти тяжкіе дни, в частности заклятаго врага по второй Думѣ Пуришкевича, говорил он без умолку, на полусловѣ вдруг сорвался и убѣжал; часто захаживал В. Коростовец, принимавшій горячее участіе в забастовкѣ чиновников, а теперь проклинающій родину и работающій над отторженіем от нея Украины. Дома с трудом сидѣлось — мутило в головѣ от усилія отвѣтить на всепоглощающій вопрос, как и когда, и тянуло сравнить и сопоставить свои слухи, свѣдѣнія и сообщенія с чужими в надеждѣ добиться болѣе точнаго прогноза. Я не видѣл человѣка, который сомнѣвался бы в непосредственно предстоявшем сверженіи большевиков. Вопрос сводился именно лишь к тому, как и когда, но объективных данных для отвѣта не находилось.

15 декабря врачи разрѣшили женѣ выѣхать: прямо с постели, тщательно укутанную мы отвезли ее на вокзал и с двумя младшими сыновьями, которым торжественно было обѣщано вернуться в Петербург через двѣ недѣли, к началу школьных занятій, двинулись в Финляндію на Иматру.

ПЕРЕД ОСТАВЛЕНІЕМ РОДИНЫ.

(1918—1919 г.).

Иматра издавна была любимым мѣстом отдохновенія петербуржцев. Как в лѣтній, так еще больше в зимній сезон гостинницы бывали плотно заселены, а в глухое время здѣсь не раз собирались конспиративные съѣзды революціонеров разных толков. Самым привлекательным на Иматрѣ были дорожки вдоль водопада, которыя, что ни шаг, открывали новый вид на стремительно свергающіяся массы воды, милліонами брызг сверкающія на солнцѣ и так бѣшенно устремляющіяся вперед, точно там ждет их невѣдомое счастье, которое вот-вот исчезнет. А его и в поминѣ нѣт, и у конца дорожки воды разочарованно умолкают и успокаиваются в широком руслѣ. Как хорошо мечталось на этих дорожках: шум водопада мощно покрывал всѣ другіе звуки и манил отдаться своим мыслям, обѣщая стоять на стражѣ и не позволить ничему постороннему ворваться и спутать их. Правда, охрана была и не очень нужна, п. ч. именно это очаровательное мѣсто мало привлекало туристов и рѣдко можно было здѣсь их встрѣтить.

Теперь обѣ гостинницы были не только плотно заселены, но до послѣдняго уголка переполнены, причем большинство составляли не кратковременные туристы, довольствующіеся одной-двумя недѣлями, а осѣвшіе на неопредѣленное время. Стоимость жизни значительно возросла, а цѣнность рубля низведена до одной пятой оффиціальнаго курса, т. ч. утренній кофе обходился в 5 р. да отдѣльно за каждый ломоть хлѣба (бѣлаго уже не было) приплачивалось около рубля, яйцо стоило 2 р. и т. д., но на дороговизну жаловались меньше, чѣм на ощутительный уже недостаток продуктов, и завидовали жившим в нѣскольких кил. от Иматры, в санаторіи Рауха, гдѣ за пансіон платили свыше ста р. в день с человѣка, но зато человѣк получал там и сахару вдоволь и хлѣбом бѣлым кормили и даже пирожными баловали гостей. Дороговизна никого не стѣсняла — один разсказывал, что от такого-то командующаго получил монополію на скупку бѣженскаго скота и операція оказалась фантастически прибыльной, другой красочно повѣствовал о закупкѣ «партіи» кофе на нѣсколько милліонов р., добрая половина коих прилипла к его рукам в награду за сложное путешествіе по морям и океанам,

пересѣченным минными полями. Сотенным купюрам пришлось стыдливо смириться перед новенькими тысячными, деньги стали даже стѣснять, п. ч. их приходилось держать при себѣ, и вниманіе было больше приковано к вывезенным бриллиантам, колье и всяким драгоцѣнностям. Один банкир, выдвинув наполненный кредитными билетами ящик стола, предлагал зачерпнуть — «пригодятся Вам»; член правленія «Салолина и Саломаса», адвокат, просил облегчить его, взяв изрядный тючек шведской валюты (он дошел потом в эмиграціи до крайней бѣдности), третій умоляюще спрашивал, не возьму ли к себѣ один из саквояжей с драгоцѣнностями, и всѣ неизмѣнно прибавляли: «в Петербургѣ сочтемся». Среда, в которой мы очутились, была мнѣ мало, а отчасти и совсѣм, незнакома и порой казалось, что нас столкнуло сюда для общей жизни с разных планет. Наиболѣе занятными были яркіе представители аристократіи, предупредительно признававшіе, что их пѣсенка спѣта: стоило ли поднимать такую бучу, дѣлать революцію — мы бы и сами ушли. Два свитских генерала, виновники страшнаго разгрома ввѣренных им гвардейских частей, уволенные еще Гучковым, так непринужденно чувствовали себя в новом положеніи, точно говорили: наконец-то догадались убрать нас. Во время войны в Ulk'ѣ печаталась в каждом номерѣ юмористическая картинка, изображавшая двух михелей — Фрица и Карла, обмѣнивающихся извѣстіями с различных фронтов. Спустя нѣкоторое время в редакцію присланы были фотографіи двух солдат, до смѣшного похожих на созданные художником образы. Совсѣм также один из генералов князь Б. похож был на Станиславскаго в роли Гаева в «Вишневом Саду» с той лишь разницей, что при нем был не Фирс, а камердинер англичанин. «Я — любил повторять князь — убѣжденный и принципіальный алкоголик» и, приведя принцип в дѣйствіе, разсказывал за бриджем, что «жена моя англичанка, чудесная женщина, она в Швеціи, мы в большой дружбѣ, хоть я ее сколько угодно обманывал». Евангеліем служил ему фотографическій альбом с безчисленными снимками парадов полка в присутствіи государя, и демонстрація альбома сопровождалась обильными комментаріями, какой он был строгій командир, как держал в уздѣ «людей», как знал и любил лошадей, которыми нельзя было налюбоваться. Старым пріятелем его был другой генерал магометанин. Чтобы ему жениться на православной вдовѣ (такіе браки были запрещены), она была по Выс. повелѣнію освобождена из русскаго подданства, а выйдя замуж, тѣм самым вновь в подданство вернулась. Для него, кромѣ службы, ничего не существовало и, оставшись без нея, он представлял не человѣка в футлярѣ, а футляр, из котораго человѣка вынули. Всѣ воспоминанія о прожитой жизни пріурочены были к служебной карьерѣ: «сын родился, когда я командовал эскадроном и мы стояли там то». Если, в отвѣт на жалобы на сердечное недомоганіе, собесѣдник выражал сочувствіе, он спохватывался, чтобы предотвратить недоразумѣніе: «сказать правду — и пожили же мы. Бывало, — разсказывал он ровным, спокойным голосом с замѣтным восточным акцентом, — утром посмотришь на Б.—у него глаза на ниточкѣ висят, а с меня, как с гуся вода». Теперь о кутежах только и можно было вспоминать, закатывая от удовольствія глаза, а

искать развлеченіе приходилось в бриджѣ и покерѣ, затягивавшихся иногда до утра. Случалось, что дебелая супруга, сохранившая слѣды замѣчательной красоты, в дезабилье врывалась к игрокам и уводила мужа спать (его звали Гуссейн, и ее хотѣлось назвать гусыней), а на другой день всѣм жаловалась: «утром кричит — умираю, скорѣй за доктором. А ночами напролет дует в карты и дурѣет от табачища». В табачищѣ и картах с родителем соперничали двое взрослых дѣтей — сын и дочь, очень изящные и привлекательно красивые, он, как отец и дѣд, воспитанник пажескаго корпуса, она — на вид совсѣм дѣвочка — уже разведенная жена. «Как ее ни уговаривали — скорбѣла мать—, настояла на своем и вышла замуж за негодяя. Мы и к Моргенштіерну ѣздили совѣтоваться. А пророк возьми да и скажи, что может спокойно выйти замуж, будет с ним счастлива. Больше мѣсяца не могла с мужем прожить». — «Вѣдь М. потому и дал такой совѣт, что понимал, что она своего рѣшенія не измѣнит». — «Что вы, что вы — она даже руками замахала — кто же осмѣлился бы поступить против его совѣта». Однажды вечером в нашу комнату вошел незнакомый человѣк и с таинственным видом сообщил, что меня очень просит зайти в сосѣднюю комнату только что пріѣхавшій господин, чтобы переговорить по важному дѣлу. Я увидѣл необычайно возбужденнаго молодого человѣка, шумно н горячо благодарившаго за исполненіе его просьбы. Это был принц, сын получившаго прозвище Сумбур Паши, разведенный муж вел. княгини. Мнѣ еще не приходилось видѣть такую степень растерянности. «Никто не знает еще о моем пріѣздѣ—, шептал он. — я узнал случайно — (мол, не безпокойтесь, что конспирація раскрыта), что вы здѣсь, и прежде всего хотѣл с вами обсудить. Посмотрите — вот паспорт мой». На старом бланкѣ волостного правленія «Рамонскій (Рамонь была его латифундія) волостной комитет удостовѣрял, что Имярек, таких-то лѣт, такого-то роста, с такими-то примѣтами увольняется на год для свободнаго проживанія в разных городах Имперіи». «С таким паспортом можно вѣдь спокойно жить, не правда ли? Я и сам член комитета. По убѣжденіям я собственно эсер, но еще не вполнѣ познакомился с программой. Я могу много интереснаго сообщить, я так много видѣл теперь. Но вы спрашивайте, я буду отвѣчать на вопросы, а то мысль разбѣгается, связно не могу, так утомительно». Я обратил его вниманіе на присутствіе здѣсь его пріятелей — генералов. «Знаю, все знаю. Но раньше хотѣлось с вами посовѣтоваться. Ну, теперь пойдемте». Пріятелей мы застали за бриджем, князь вскочил от радости и они бросились друг к другу в объятія, горячо цѣловались и восклицали: «Петя! Какими судьбами?» — «Пробрался к родителям, чтобы поздравить с золотой свадьбой». — «Гдѣ же родители?» — «Недалеко отсюда, на своей дачѣ. А ты что подѣлываешь, Сережа?» — «Да вот сижу и жду. Виноват, господа» — обратился он к партнерам, опять усѣлся боком к столу, закинул ногу на ногу, вложил в рот на постоянное мѣсто трубку, объявил «паш» (вмѣсто пас) и сразу забыл о пріѣзжем, который, потоптавшись и пугливо озираясь, убѣжал к себѣ и тѣм дал возможность князю подробнѣйшим образом разсказать исторію женитьбы принца, причины развода н т. д.

Компанію в бридж этим генералам составляли два еврея. Один был Воробейчик, по званію апт. помощник, а по профессіи биржевой маклер, другой Хват, не человѣк, а наскоро с уродливой головой сколоченный обрубок, поставленный на толстыя кривыя ноги, до подозрительности молчаливый. Главенствовал в гостиницѣ маленькій, как ртуть подвижный, как пустая бочка шумный, ставшій во время войны притчей во языцѣх, банкир, котораго никто иначе не называл, как Митька. Когда один адвокат замѣтил своему кліенту, пришедшему за совѣтом, что в дѣловом разговорѣ употребленіе этой клички вряд ли умѣстно, тот сначала сконфузился и извинился, а потом прибавил: «однако, почему же иначе не говорят, как Стенька Разин?» и на это уже адвокат не нашелся отвѣтить. Презрительная кличка нисколько не мѣшала связям с такими сановниками, как Горемыкин и Штюрмер, и признанію его финансоваго авторитета, питавшагося сногсшибательными комбинаціями. Но во время войны и эти связи не помѣшали печальной памяти комиссіи ген. Батюшина, подпавшаго (как видно из протоколов чрезв. слѣдств. комиссіи вр. правительства) под вліяніе одного из своих слѣдователей, явнаго шантажиста, арестовать богатаго банкира, чтобы предъявить ему нелѣпѣйшее обвиненіе в государств. измѣнѣ, и только благодаря воздѣйствію Распутина ему удалось вырваться из тюрьмы. С банкиром была жена, двое сыновей и при них гувернер бельгіец, которым банкир гордился, как братом Жирона, женившагося на Луизѣ Саксонской, и котораго третировал, как неотвязнаго приживальщика, а этот платил амфитріону нескрываемой и при воспитанниках смертельной ненавистью, искавшей выхода в злобных ругательствах. С большим успѣхом шел во время войны в одном из петерб. кабарэ фарс, в котором жена юркаго банкира с гордостью указывала на шикарную кокотку, объясняя гостям, что это — «наша содержанка». Здѣсь на Иматрѣ — он никому не давал покоя, всюду совал свой нос, начиная с развѣдок на кухнѣ, будет ли сегодня пожива чревоугодію, давал совѣты играющим в карты, барабанил на піанино, муштровал сыновей, ругался с гувернером, так увлекался своими разсказами, что явно сам терял способность противодѣйствовать нагроможденію фантастической лжи на дѣйствительность, причем жена говорила, что муж все шутит, сын — что отец все выдумал, а гувернер кричал, что он все врет. Он и в эмиграціи остался вѣрен себѣ, выныривал во всѣх европейских столицах, бывал под судом, тяготѣл над ним суд. приговор, а вмѣстѣ с тѣм, он был человѣком добрѣйшей души и охотно и широко помогал и направо и налѣво.

Неподалеку от нашего «Туриста» стояла другая гостиница «Каскад», болѣе дорогая и точно так же переполненная. Друг к другу ходили с визитами, взаимно одалживались умственной пищей, в которой чувствовался большой недостаток, самой ходкой, наиболѣе читаемой и горячо обсуждаемой книгой были «Бѣсы», имѣвшіеся в нѣскольких экземплярах. Но пророчество Достоевскаго не возбуждало желанія проникнуть в будущее, спросить себя, а что же в таком случаѣ ожидать дальше, оно успокаивало: ничего, дескать, неожиданнаго не случилось, все было предусмотрѣно. Мало того, оказывалось, что Достоевскій был отнюдь не одинок в своем прозрѣніи. Предводи-

тель дворянства разсказывал, что в Лѣтнем саду случайно разговорился с молодым симпатичным человѣком, который рисовал увлекательныя картины расцвѣта Россіи послѣ сверженія самодержавія, а у самого на брюках висѣла бахрома: «я и подумал: если он с такой легкостью устраивает Россію, а у самого на пальто недостает пуговиц, а кромка брюк превратилась в бахрому, то революція заранѣе проиграна». Очень шумно встрѣчали новый год — с шампанским, танцами, дивертисментом под режиссурой Воробейчика, который даже и куплеты сочинил, помню фразу, вызвавшую одобрительные апплодисменты: «Но что же заставляет нас так долго здѣсь сидѣть? Большевики, конечно, о, чтоб им околѣть». Когда же к 4 утра стали расходиться, то наиболѣе ретивые отправились в «Каскад», гдѣ веселье только еще разгоралось.

Между тѣм на Иматрѣ стали появляться чужіе люди в бѣлых шапках или с бѣлой повязкой на рукѣ, началось пострѣливаніе, поѣзда из Выборга приходили все неаккуратнѣй и вот уже совсѣм прекратилось жел.-дор. сообщеніе, в нашей гостиницѣ засѣл какой то «штаб», район Иматры становился одним из центров противодѣйствія вспыхнувшему коммунистическому возстанію. Оно началось с Выборга и имѣло характер мѣстнаго эпизода, но быстро распространилось по всей Финляндіи. В отличіе от русскаго переворота здѣсь во главѣ стали не подпольные дѣятели, вчера скрывавшіеся от полиціи, а лица, всѣм извѣстные, игравшіе отвѣтственную роль в жизни страны: Маннер был предсѣдателем сейма, Токой был его замѣстителем и вождь рев. правительства Сирола до возстанія состоял членом кабинета. Другое отличіе было в правильной систематической организаціи противодѣйствія: населеніе раздѣлилось на два лагеря, не было промежуточных позицій, никто не предлагал засыпать ров, напротив — стороны состязались в ожесточеніи. Позже, когда мы очутились в Сердоболѣ, туда в госпиталь доставлено было нѣсколько русских большевиков — таких было не мало здѣсь. Их навѣщал священник, которому старшій врач однажды замѣтил: «перед вами раскрыты всѣ двери и сан ваш обязывает приходить всѣм на помощь. Но вы все же должны имѣть в виду, что мы смотрим на них, как на тяжких преступников, которых ждет самая строгая кара, и сообразовать свое поведеніе». Видную роль в борьбѣ с возстаніем сыграли молодые финляндцы, которые во время войны образовали отряд егерей и сражались против Россіи под германскими знаменами. Но рѣшающую помощь оказали нѣмецкія войска под начальством ф. д. Гольца.

Перед нашим отъѣздом с Иматры пріѣхало нѣсколько морских офицеров с Вуоксениски, гдѣ стояла озерная флотилія, насчитывавшая с дюжину офицеров и около ста матросов, которые послѣ революціи вышли из повиновенія, офицеров разоружили, оружіе отняли, но держались спокойно и потому в Вуоксениску посылали офицеров, пострадавших от матросских безчинств, нѣкоторые же видѣли перед глазами смерть. Офицеры представляли необычайно разношерстную кампанію — тут был польскій граф, балтійскій барон, ускореннаго выпуска врач, совсѣм юноша, старый морской волк, видавшій виды. Теперь финны матросов арестовали и перебросили через гра-

ицу, а офицеры, отпущенные на всѣ четыре стороны, подѣлили казенныя деньги, только о том и думали, чтобы поскорѣе улизнуть в Швецію, ибо были увѣрены, что матросы вернутся за своим имуществом и, если попасться им на глаза, пощады не жди. «Но что же вы будете дѣлать в Швеціи?» Там, конечно, они не останутся: одни собирались в Сибирь к Колчаку, имя котораго было тогда весьма популярным, а двое называли уже Сандвичевы острова. Тогда это звучало не как географическое обозначеніе, а замѣняло выраженія: куда глаза глядят, хоть на край свѣта. Но когда потом в Берлинѣ стал выходить «Руль», подписка на него приходила из таких уголков земного шара, гдѣ до нашего разсѣянія о русской газетѣ и слыхом не слыхивали. Куда только русскаго бѣженца не занесло...

Мы не рѣшались пробираться в Выборг на лошадях, чтобы оттуда ѣхать в Петербург, как сдѣлали нѣкоторые, и послѣ долгих колебаній направились в Кексгольм, чтобы проѣхать по только-что отстроенной жел. дор. вѣткѣ. Но было уже поздно, мы попали в самый разгар военной сумятицы, нѣсколько раз в пути нас высаживали и направляли то в одну, то в другую сторону, и всюду мы натыкались на весьма недоброжелательное отношеніе, не различавшее обрусителей Финляндіи от защитников ея автономіи. «Это все Милюков нам надѣлал. Дарданеллы ему подай, вот и довоевался. А теперь эти мерзавцы (русскіе солдаты) устремляются к нам, чтобы и Финляндію погубить». Наши пытались напомнить прошлое, но это только раздражало: «Всѣ вы из одного тѣста сдѣланы. Что Милюков, что Распутин, что Хвостов — все одно и тоже». В концѣ концов мы очутились в Сердоболѣ, крошечном городкѣ у Ладожскаго озера, высадившись на вокзалѣ в числѣ нѣскольких десятков, свезенных из разных финских курортов, — мужчин, женщин и дѣтей и огромной массы разнаго багажа. Встрѣчены мы были совсѣм негостепріимно: нам говорили, что оставаться здѣсь нельзя, что ни продовольствія, ни помѣщеній свободных нѣт, предлагали немедленно ѣхать на лошадях в Петрозаводск и угрожали выслать принудительно. В старых записях моих весьма подробно изложены наши мытарства, но когда впослѣдствіи я познакомился с невѣроятными ужасами эвакуаціи Крыма и Кавказа, стало ясно, что мы были баловнями судьбы. Мнѣ, в частности, она очень мило улыбнулась сразу, на вокзалѣ.

В Сердоболѣ уже нѣсколько мѣсяцев проживал извѣстный художник Рерих, — услышав от кого-то о моем пріѣздѣ, он разыскал меня и проявил дружеское участіе, служившее среди враждебной обстановки очень пріятным и цѣнным утѣшеніем. В Сердоболѣ, как во всяком финском городѣ, как бы мал ни был, имѣется безукоризненная гостиница Соціетэтсгузет, но о ней и думать нельзя было вслѣдствіе чрезмѣрной дороговизны — она была уже захвачена мультимилліонерами, швырявшими деньгами. Все же кров мы нашли, пусть болѣе чѣм скромный, с голоду не умерли, хотя сдѣланное на вокзалѣ предупрежденіе о недостаткѣ продовольствія побудило милліонеров скупить все, что было в лавках, и сразу невѣроятно поднять цѣны, т. ч. обѣд из двух блюд без хлѣба стоил уже 18 м., небольшой буханок ржаного хлѣба 25 м., крошечная комната — 400—500 м. в мѣсяц и т. д. Размѣрами своими

С. заставляя вспомнить об Устьсысольскѣ, но лишь для того, чтобы подчеркнуть обидную разницу культуры: здѣсь господствовало и бросалось в глаза не каменное зданіе пол. управленія с присутственными мѣстами, а изящной постройки мужской и женскій лицей, учительская семинарія с образцовой школой при ней, коммерч. училище, мореходные классы. Чуть не в каждом домѣ имѣется фисгармонія, чистота и порядок образцовыя, комнаты натоплены жарко, финн считает, что на мороз нужно выходить с запасом тепла, дающим возможность одѣваться легко, и примитивные клозеты устроены подальше от дома, в глубинѣ двора, в деревянных совершенно незащищенных от холода сарайчиках.

Надо было подумать, как скоротать время. К счастью, среди бѣженцев оказался один настоящій педагог, так что с грѣхом пополам сыновья могли продолжать учебныя занятія, а я рѣшил погрузиться мыслями в прошлое и изложить их на бумагѣ. Меньше чѣм в 4 мѣсяца удалось написать около 20 печатных листов, но как они мнѣ теперь не по душѣ. Почему? И тогда я не погрѣшил против искренности и честности, но смущает самолюбованіе. Слишком тщательно подобрано все, что было сдѣлано: я, нѣт не я, а автор тѣх мемуаров, таким торопливым, неразборчивым почерком написанных, что приходится прибѣгать к помощи лупы, опасался недооцѣнки своей общественной работы, незамѣтно для себя пыжился. Теперь это кажется забавным, но пусть послужит смягчающим обстоятельством, что тогда слишком усердно старались вбить осиновый кол в похороненное прошлое. С жадностью хватались мы за случайно доходившія из Швеціи нѣмецкія газеты, но каждое извѣстіе дѣлало новую душевную царапину. Будущій предсѣдатель республики Свинхувуд увѣрял корреспондента, что без вмѣшательства русских большевиков финны легко подавили бы возстаніе, «Таймс» призывал правительство войти в сношенія с Архангельским Совѣтом и вмѣстѣ с большевиками оградить Мурманскую ж.-д. от захвата противником, Маргиломан телеграфировал Бріану, что счастлив сообщить ему о присоединеніи Бессарабіи к Румыніи, Іоффе вручил вѣрительныя грамоты тов. ст. секретаря Буше, а гр. Мирбах торжественно въѣхал в Москву. Извѣстія об успѣхах противника дѣйствовали возбуждающе на осѣвших в Сердоболѣ сановников и милліонеров. Бывшій тов. министра вн. д. и потом тов. предсѣдателя Г. Д. кн. Волконскій безапелляціонно увѣрял, что нѣмцы не ради финнов высадили здѣсь десант, а для занятія Петербурга, что не сегодня завтра мы в «Де цугѣ» поѣдем туда и, предвосхищая шевелившіяся очевидно у самого возраженія и недоумѣнія, раздраженно пояснял: «Что же дѣлать, батенька! Сами то вот до чего доигрались, так уж жаловаться и привередничать нечего». Больше всего поражало, что он спѣшил засвидѣтельствовать свою новую «оріентацію» перед замкнутыми, на всѣ пуговицы застегнутыми финнами, не без злорадства слушавшими преждевременныя изліянія. И хотя практическая безцѣльность таких настроеній весьма быстро и ярко опредѣлилась, они, разсудку вопреки, все ширились, возникали все в новых варіантах. Вспоминаю бесѣду Мережковскаго с покойным Пилсудским, котораго он надѣлял божественным призваніем сокрушить большевизм, а недавно польскій общ.

дѣятель Грабскій печатно заявил, что, заключая в Ригѣ мир с сов. властью, он сказал своему коллегѣ: «мы сейчас подписываем смертный приговор арміи Врангеля». Но никакія разочарованія не могли уже возродить чувство національной гордости, а лишь повышали готовность поступиться интересами родины, с другой стороны — оказалось много охотников покупать шкуру неубитаго медвѣдя и Кречинскіе получили новыя возможности выуживать деньги из чужих карманов.

Напрасно, однако, кн. В. спѣшил парировать ожидаемыя возраженія. Не было никакой охоты вступать с ним и поддерживавшими его милліонерами в спор. Мы жили очень замкнуто, встрѣчаясь только с Каминка ежедневно за совмѣстным обѣдом, и с Рерихом. Он ежедневно заходил за мной в 10 ч., когда я должен был освобождать комнату для занятій дѣтей с педагогом, и мы часа два-три гуляли по окрестностям С. Перед глазами висит подаренная акварель с надписью: «на память о хожденіях по сѣверным путям» и очень удачный портрет, присланный из Америки в 23 г. «на добрую память перед отъѣздом в Индію». Гдѣ он теперь, сколько и каких только путей ни исходил он с тѣх пор.Напрягая всю пытливость, вглядываюсь в его умное сосредоточенно серьезное, монгольскаго типа, лицо. Чуть замѣтная косоватость глаз подчеркнута скошенным рѣзко вправо взглядом, он не любит смотрѣть собесѣднику в упор, со стороны виднѣй и легче застигнуть неподготовленным для наблюденія посторонняго глаза. Наши прогулки были восхитительны и сами по себѣ и потому, что Р. был исключительно интересным собесѣдником, и чѣм дальше, тѣм все болѣе словоохотливым. Он обо всем говорил серьезно, тщетно силюсь вспомнить улыбку на его лицѣ, да она и не подходила к нему, нарушала бы стильность. Равным образом не вспоминаю, чтобы возник между нами спор. Я предпочитал спрашивать его, в особенности по вопросам художественнаго творчества: он держался мнѣнія, что всѣ великія имена являются воплощеніем коллектива безымяннаго; не говоря уже о геніях Эллады, Рубенс, Микель Анджело, Леонардо в сущности имена собирательныя — им приписываются, кромѣ собственнаго творчества, и много чужих равноцѣнных твореній их современников и учеников. И десяток міровых спеціалистов, кропотливо изслѣдующих какого-нибудь «Рембрандта» или Рубенса, чтобы выдать сертификат их кисти, в сущности занимаются оцѣживаніем комара на потребу снобизма. Такой взгляд, конечно, непріятен самолюбію отдѣльных художников, имена которых исчезают в сіяніи ореола случайнаго, в значительной мѣрѣ, избранника, но возвеличивает искусство, и геній вовсе не «нѣкій херувим», который «нѣсколько занес нам пѣсен райских», а выразитель эпохи, ея составная часть. Мое фаталистическое міровоззрѣніе гостепріимно встрѣчало такія сужденія. «Не потому ли, отвѣчал я, геніальныя открытія так часто поражают своей простотой, что они лишь конденсируют, кристаллизуют безформенные элементы носящейся в воздухѣ мысли?» Очень интересно разсказывал Р. о смѣнѣ художественных теченій, настаивая, что не слѣдует искать между ними рѣзких граней, что одно незамѣтно смѣняется другим. С почтительной благодарностью вспоминал своего учителя Куинджи — одного из виднѣйших «пе-

редвнжнников», котораго настойчиво приглашали в «Міръ Искусства», и сам он колебался, не вступить ли в эту группу, возникшую для борьбы и на смѣну передвижничеству. «Да вѣдь и у меня этот неистовый Дягилев силком отобрал незаконченную картину: «Город строят» и, сколько я ни убѣждал, упрямо отвѣчал: «ни одного мазка больше. Долой академизм! и картина произвела фурор». Это было отвѣтом на вопрос, не потому ли реализм передвижничества, имѣвшій столь шумный успѣх, и уступил мѣсто символизму, что в нем заключалось внутреннее противорѣчіе — он кичился жизненной правдой, но не смѣл показать всю правду, над многими сторонами быта не рѣшался поднять завѣсу, и поле творчества было болѣе ограничено, чѣм для литературы.

Эти темы глубоко волновали моего собесѣдника, а когда мы ближе познакомились, он все чаще стал заговаривать о таинственных силах, неосновательно отвергаемых цивилизаціей, о многих достиженіях древних культур, безслѣдно исчезнувших, о телепатіи, случаи которой, как нарочно, обнаружились и в наших отношеніях, и, наконец, признался в своей глубокой привязанности к теософіи и заявил, что если бы не дѣти, он с женой охотно переѣхали бы в Индію, в теософскую общину. Я не очень этому повѣрил, а оказалось, что он дѣйствительно направился в Индію, побывал и в Тибетѣ и взял с собой и сыновей, тогда прелестных многообѣщающих мальчиков, преклонявшихся перед отцом. Его художественное творчество, необычайно плодовитое, явственно отражало теософскую устремленность. Таинственные зовы, безпокойное томленіе, безотвѣтное моленіе о чудѣ и дерзостное утвержденіе чуда, мятежная тоска, жгучая обида звучит и вѣет с безчисленных полотен. Ему не годятся масляныя краски, прельщающія прозрачностью и блеском, он не признает рѣзко очерченных линій, тянет к неясному, расплывчатому, а потому он вернулся к средневѣковой темперѣ, придающей строгость и суровость вызывающим загадкам. Ему и «натура» не нужна была, между отвлеченностью и реальностью, между легендой и фактом для него не существовало грани. Как тревожно было желаніе проникнуть в тайну капризнаго сочетанія красок, как манили и дразнили эти «За морями земли великія», «Знаменіе», «Крик змія», «Меркурій смоленскій несет свою голову» (он ведет в поводу коня, осторожно переступающаго в сознаніи, что соприсутствует чуду дивному), «Град обреченный», «Идолы». Я понимал, что не мог бы так поддаться впечатлѣнію рериховскаго творчества, если бы смотрѣл на его картины в нормальной обстановкѣ, поглощенный своим дѣлом, прикованный к минутным благам жизни привычкой и средой. Но вѣдь это не значит, что самих загадок не было бы, а лишь то, что, не случись катастрофы, выбросившей из колен и лишившей всего, что обольщало, я продолжал бы пить из «чаши бытія с закрытыми глазами». Лучше ли так было бы или хуже — коварно подсказывала память безсмысленный вопрос душевно больного Протопопова.

Плодовитость этого крупнаго художника, вписавшаго, как о нем сказано, новую страницу в вѣчную книгу искусства, была столь необычайна, что вызвала даже раздраженно опровергнутую клевету, будто «я не мог сам на-

писать всѣ мои картины». Но я-то непосредственно наблюдал неистощимое плодоношеніе, и оно ставило передо мной еще другой вопрос — Р. был живым опроверженіем пушкинскаго раздвоенія поэта: вдохновеніе не было у него гостем своевольным, Р. приручил его и не отпускал от себя, и священное жертвоприношеніе Аполлону нисколько не мѣшало, а весьма мирно сосуществовало с погруженіем в заботы суетнаго свѣта, и безцѣнный гость нисколько не обижался на хозяина, дѣлившаго вниманіе между трепетом сердца, восторгом творчества и судачившей тут же в комнатѣ жалкой сердоб. сплетницей, и вообще держался смиренно на своем шесткѣ, ничѣм не нарушая строжайшаго распорядка жизни, основаннаго на умѣренности, аккуратности и изумительной бухгалтерской расчетливости. Я пытался найти объясненіе непонятному мнѣ сочетанію в литературных произведеніях Р. — он и писатель весьма плодовитый и самобытный — со своими словами и мыслями. Тогда вышел один том его сочиненій, а по рукописям он читал мнѣ очень интересныя и содержательныя притчи и стихотворенія в прозѣ, одно из коих, мѣтко отвѣчавшее моим настроеніям и, к великому сожалѣнію, затерявшееся при переѣздах, посвятил мнѣ. В сердоб. записях приведены два характерных отрывка из двух стихотвореній: «В толпу» и «Клады»: «Готово мое одѣяніе. Сейчас я маску надѣну. Не удивляйся, мой друг, если маска будет страшна. Вѣдь это только личина. Прійдется нам выйти из дома. Кого мы встрѣтим — не знаем... Но скоро личину мы снимем. И улыбнемся друг другу! Теперь войдем мы в толпу!» Другое дает указанія пути, по которому можно дойти до зарытаго клада, и начало представляет удачное подражаніе древнерусскому сказу: «от красной пожни пойдешь на зимній восход. Будет тебѣ могилка бугор. От бугра и т. д... там Литвой пять стволов золота опущено. В лосином бору на просѣкѣ сосна рогатая нерублена. Там золотой боченок схоронен еще при грозном царѣ». Далѣе слѣдуют указанія на третій, четвертый клады и затѣм «самое трудное скажу. Этот клад хоронен со смертным зароком». Но только что вас заворожил чудесный русскій язык, как оказывается, что умысел другой тут был: кладов есть сколько угодно, но требуется умѣнье брать их. «Много кладов вездѣ захоронено. Говорю — не болтаю... Про всякаго человѣка клад захоронен. Только надо умѣть клады брать. Невѣрному человѣку клад не дается». Как же брать клад? Р. дает подробное наставленіе: «Иди смирно. Зря не болтай. На людях не гуляй, свою думу думай. Будут тебѣ страхи, а ты страхов не бойся. Покажется что, а ты не заглядывайся. Криков не слушай, иди себѣ бережно, не оступайся, потому клад брать — великое дѣло. Над кладом работай быстро. Не оглядывайся, а пуще всего не отдыхай. Коли захочешь голос показать, пой тропарь богородичный. Никаких товарищей для кладов никогда себѣ не бери. А — на счастье — возьмешь клад, никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу».

Мы начали совмѣстныя прогулки в серединѣ января, при 25 гр. морозах, среди зимней чуткой тишины, нарушаемой лишь унылым похоронным церковным звоном, все учащавшимся по мѣрѣ увеличенія числа раненых в больницѣ, и мѣряли версты во всѣх направленіях, захаживали в подгород-

ный монастырь, гдѣ привѣтливо встрѣчали и сердечно бесѣдовали симпатичные монахи, дождались свѣтлой заутрени, с которой ушли под тягостным впечатлѣніем богослуженія на финском языкѣ — вмѣсто потрясающаго: «смертію смерть поправ» слышалась булькающая скороговорка, а при выходѣ из церкви бросился в глаза вмѣсто привычной таинственной темноты ночи большой красный шар восходящей луны. Как-то незамѣтно подкралась весна и сразу бурно вступила в свои права, нас вдруг поразил странный задорно веселый шум, все кругом торопливо заговорило, неистово защебетали воробьи, побѣжали и зажурчали ручейки, в поднебесьѣ рѣяли прилетныя птицы, отовсюду капало, таял и млѣл тяжелый снѣжный покров и в душѣ бурлила свѣтлая тревога, заставлявшая ускорять шаги навстрѣчу чему-то неизвѣданно радостному — только бы не упустить его. Закоснѣлый горожанин, я впервые переживал весну на лонѣ природы, но, что было мнѣ непонятно, и Р. никогда не видѣл ея внѣ каменных стѣн. Не забыть одной прогулки, приведшей нас в большой парк на берегу Ладоги. День выдался какой-то совсѣм особенный. На высоком небѣ ни облачка и оно блестит, словно омылось, солнце ласково припекает и ослѣпительно сверкает его отраженіе в веселых проталинах и тишина такая, будто время остановилось, приготовившись к великому празднику, и я все ловил себя на ощущеніи, что сегодня предстоит торжество. Мы пробрались в бесѣдку на крутом каменистом обрывѣ над озером, еще покрытом льдом. Но он уже утратил величавую гладь, почернѣл, покоробился и вспух и обличал свое пораженіе ранами, нанесенными возмужалым солнцем. Воздух был насыщенный, густой, мы не вдыхали, а пили его и голова слегка кружилась, конфузная тяжесть лѣт спадала с плеч, хотѣлось что-то сказать, слова просились на язык, но не могли прорваться сквозь задыхающееся в тисках восторга горло и мы лишь обмѣнивались улыбающимися вопросительными взглядами, — что это значит? Но как же было тяжело и стыдно, когда, ослѣпленные сіяніем, одурманенные млѣніем рыхлаго воздуха, мы медленно вернулись в город и столкнулись со знакомыми, которые осыпали нас очередными новостями, разсѣявшими весенніе чары и пригвоздившими к безотрадной дѣйствительности. Я чувствовал себя пойманным с поличным: хотѣл улизнуть от тяжести прожитаго полувѣка, а меня схватили за шиворот и взвалили ее на свое мѣсто.

Новости гласили, что финляндское возстаніе подавлено, и на днях возстановится сообщеніе с Петербургом, но о поѣздкѣ в «Децугѣ» уже не упоминалось, словно и надежды такой не возникало. Начались дорожные сборы, хлопоты о скорѣйшем полученіи пропуска через жестоко усмиренный Выборг и наши «хожденія по сѣверным путям» с Р. рѣзко оборвались. Теперь пути наши разошлись — он и не помышлял о возвращеніи на родину, оставался в тихой пристани, мы отправлялись в плаваніе по бурному морю большевизма. За все время пребыванія в Сердоболѣ мы не получили из Петербурга ни одного извѣстія и не могли сколько-нибудь конкретно представить себѣ, что нас там ожидает, гдѣ старшіе женатые сыновья, остававшіеся в Петербургѣ, существует ли еще «Рѣчь», цѣла ли наша квартира и т. д. Эти томительные вопросы властно врѣзались в порядок дня, а я еще сам бередил их,

чтобы заглушить невыразимо сладостное воспоминаніе о блеснувшей мнѣ прощальной улыбкѣ весны. С Р. я снова встрѣтился на короткое время, около года спустя, в Выборгѣ и Гельсингфорсѣ, но в бѣженской политической сутолокѣ мы не возвращались к прошлому. Потом в Берлинѣ руководимое мною издательство выпустило одну из его книг «Цвѣты Моріи», а теперь в предисловіи уже к восьмому тому «полнаго собранія сочиненій», написанному главным образом на Гималаях, сказано, что «имя Р. получило совершенно исключительное значеніе... В 24 странах создалось 63 общества его имени, посвященных культурѣ, искусству и знанію. В Нью-Іоркѣ устроен музей Р., содержащій свыше тысячи его полотен. Кромѣ того он создал ряд образовательных учрежденій в Америкѣ, был иниціатором «Пакта Рериха», предложившаго «Знамя мира». Созданныя общества ревниво собирают и печатают всѣ его рѣчи, привѣтствія, деклараціи и замѣтки — ни одно слово учителя пропасть не должно. Но это уже не тот взыскующій Р., а широко вѣщающій непреложныя истины древних мудрецов и пророков, разукрашенныя пышным словесным орнаментом. Мнѣ трудно узнать его теперь, когда он всегда «в толпѣ», в которой не знаешь, кого встрѣтишь, слишком громко «доказывает» он людям о найденном кладѣ, внѣвременном и сверхтерриторіальном. Но я храню благодарную память о том интимном чуть оглядывающемся Р., так любовно скрасившем тягостное пребываніе в Сердоболѣ раскрытіем своего опыта одухотворенной жизни во время наших хожденій по сѣверным путям.

С тревожным нетерпѣніем приближались мы к злобно ощерившейся родинѣ и к числу немногих впечатлѣній, которыя на всю жизнь сохраняют свою первоначальную яркость и свѣжесть, относится и переѣзд через границу в Бѣлоостровѣ. Вмѣсто «бурнаго моря» перед глазами развернулось какое-то «сонное царство». Был чудесный весенній день, солнце ласково согрѣвало толпу людей на перронѣ вокзала, неряшливо и причудливо одѣтых, лѣниво слонявшихся взад и вперед, не проявляя никакого интереса к окружающему. Особенно поражало мертвенное безразличіе таможенных чиновников, всегда отличавшихся ревностью и настороженностью ищеек. Теперь их вниманіе было всецѣло поглощено нѣсколькими ковригами соблазнительно пахнущаго чернаго хлѣба, которыя мы захватили с собой, и, видя умоляющіе глаза, трудно было отказать в просьбѣ удѣлить им кусок этого необычайнаго лакомства.

Такое же зрѣлище соннаго царства ожидало нас и в Петербургѣ. Площадь перед вокзалом точно также была усѣяна людьми, вяло и безцѣльно передвигавшимися. Здѣсь в толпѣ больше всего было солдат или, быть может, только так казалось, потому что они вызывающе подчеркивали, что воинская выправка и дисциплина «когда-то были, да сплыли». Нѣкоторое оживленіе замѣчалось только в кучках вокруг торговцев, продававших яблоки, подозрительнаго вида сладости, папиросы и т. п. Среди торговцев попадались новыя, интеллигентныя и аристократическія — лица, преимущественно женщины, предлагавшія разнообразнѣйшія вещи домашняго обихода.

У сыновей — proportions gardees — все оказалось благополучно, и квартира оказалась нетронутой, отчасти благодаря тому, что находилась в домѣ шведской церкви, а главным образом потому, что тогда Петербург начинал уже пустѣть: за время нашего отсутствія состоялся перевод столицы в Москву. Это была первая знаменательная символическвя гримаса Революціи. Я вспомнил мрачное засѣданіе к. д. фракціи «Совѣта Республики», пресловутаго Предпарламента, незадолго перед октябрьским переворотом, когда стало извѣстно намѣреніе врем. правительства эвакуировать Эрмитаж и др. цѣнности в Москву. Как ярко разгорѣлись страсти: вернувшійся к кадетам (правѣе никакой организаціи в предпарламентѣ представлено не было) Н. Львов горячо привѣтствовал это намѣреніе, потому что «давно уже пора бросить Петербург. Он язва Россіи». Против него с пламенной рѣчью выступил оратор Божьей милостью Ф. И. Родичев, ярый эпигон россійскаго западничества. Эвакуація в Москву ему рисовалась болѣе чреватой послѣдствіями, чѣм угроза нѣмецкаго захвата Петербурга: нѣмцы в столицѣ не останутся, а Москва не отдаст того, что в ея руки попадет. Он как будто провидѣл возможность возвращенія столицы в Москву, и это для него было большей опасностью, нежели нѣмецкое нашествіе. Ибо Первопрестольная ни на минуту не мирилась со своим положеніем «померкшей перед младшей столицей, квк порфироносная вдова перед новой царицей». Не только славянофилы не переставвли настойчиво и громко звать прввительство «домой», но, странным образом, и марксистскій журнал «Новое Слово», на рубежѣ новаго вѣка, рекомендовал, чувствительным нак барометр, пером П. Струве, вернуть столицу в Москву. И вот, наконец, осуществленіе завѣтной славянофильской мысли — ликвидировать историческое значеніе Петербурга, петровскаго «окна в Европу», исторія подбросила — кому же? — создателям Третьяго Интернаціонала, относившимся к славянофильским чаяніям с высокомѣрным презрѣніем. И душа чарующвго Петербурга, давшаго Россіи Пушкина, который в свою очередь так геніально воспѣл «град Петров», душа от него сразу отлетѣла, это болѣзненно ощущалось на каждом шагу, а травка, пробивавшаяся уже на гранитных и торцовых мостовых, казалась «травой забвенья», символом печальной судьбы величавой столицы, и гвоздило в мозгу заглавіе напечатаннаго в Рѣчи фельетона Д. Мережковскаго: «Петербургу быть пусту. . .»

Не только квартира оквзалась в неприкосновенности к услугам нашим, но, что казалось совсѣм невѣроятным, и Рѣчь продолжала существовать. Рѣчь считалась кадетским офиціозом, к. д. партія объявлена внѣ закона, а газету не умерщвляли. Правда, наряду с другими газетами, Рѣчь нѣсколько раз закрывали и облагали непосильными денежными штрафами, выходила она уже под другим названіем «Вѣк» и «Наш Вѣк», но, конечно, это не могло обмануть большевиков, а случалось и так, что во всем Петербургѣ выходила тольно одна Рѣчь, чтобы через нѣсколько дней самой быть закрытой и уступить мѣсто другой газетѣ. Мнѣ помнится, что и в день нашего пріѣзда Рѣчь находилась в періодѣ закрытія, но через нѣсколько дней вновь получила разрѣшеніе появиться в свѣт. Коллеги встрѣтили меня с весьма кислой миной.

Они пережили за время моего отсутствія столько страхов и ужасов — в частности непосредственно касавшееся кадетской газеты звѣрское убійство Шингарева и Кокошкина в больницѣ, находившейся в нѣскольких шагах от редакціи, — что их враждебная настроенность против редактора, отсидѣвшагося в «тихой пристани», была понятна. Нерѣдки были уже тогда случаи, что лица, возвращавшіяся с юга и оставившія квартиру на попеченіе пріятелей, встрѣчали со стороны послѣдних откровенное нежеланіе вернуть собственникам имущество, мотивируя нежеланіе чрезвычайными мѣрами, которыя приходилось принимать для огражденія имущества от посягательств большевиков, и огромным риском, которому они при этом подвергались. Думаю, что если бы во главѣ редакціи не стоял мой замѣститель и близкій друг М. Ганфман, человѣк рыцарских душевных качеств, то и мое возвращеніе на редакторскій пост не было бы безпрепятственным. При данных же обстоятельствах пришлось только выслушать чтеніе обращеннаго к Ганфману привѣтствія сотрудников, усыщеннаго ѣдкими колкостями по адресу бросивших газету редакторов (Милюков в ночь переворота уѣхал на юг). Неправы однако были коллеги в том смыслѣ, что и ко времени моего возвращенія положеніе отнюдь не измѣнилось к лучшему, и прежнее увлеченіе газетной работой смѣнилось подлинным отвращеніем, которое нужно было преодолѣвать, чтобы написать до конца безцвѣтную передовую статью. Русскіе литераторы долгіе годы практиковались в эзоповском языкѣ и выдѣляли несравненных мастеров, как напримѣр Щедрин. Но большевики сами по этой части были столь опытны, что на такой мякинѣ их, стрѣляных воробьев, провести нельзя было. Но ввиду общей увѣренности в мимолетности большевиков (в чем они и сами мало сомнѣвались), возникла страсть находить между строк и то, чего там не было, видѣть какіе-то намеки в самых безразличных выраженіях и строить самыя причудливыя догадки, отвѣчавшія затаенным желаніям. Благодаря этому тираж газет значительно увеличился и, с коммерческой точки зрѣнія, изданіе газеты вполнѣ оправдывалось, но духовный смысл цѣликом отпал и работа стала походить на vitam perdere propter causam vivendi.

Поэтому в душѣ неотступно шевелилось желаніе: ах, если бы раз навсегда закрыли. Вмѣсто того, чтобы ждать насильственнаго избавленія, можно было покончить самоубійством и не раз приходили на память слова Ницше: «мысль о самоубійствѣ есть великое средство утѣшенія, с помощью ея переживаешь не одну тяжелую ночь». Но от закланія газеты своими руками удерживала отчасти инерція, отчасти вліяніе упомянутой увѣренности, а больше всего, вѣроятно, перспектива голода послѣ потери газетнаго заработка. Кажется, единственным журналом, который покончил самоубійством, было «Право», просуществовавшее около 18 лѣт. Тотчас послѣ переворота я стал настаивать на безцѣльности дальнѣйшаго изданія, в декабрѣ нас осталось только четверо из всего состава редакціи: другіе либо скрывались от ареста, либо уже покинули Петербург. По настоянію товарищей рѣшено было объявить, но не о прекращеніи, а о пріостановленіи на неопредѣленное время. В послѣднем номерѣ я и напечатал передовую статью, в которой гово-

рилось, что «большевистскій переворот подорвал всѣ основы правопорядка, отмѣнив всѣ законы, упразднив суды, замѣнив правосудіе не только фактически, но и формально провозглашенным усмотрѣніем и произволом. При таких условіях, когда право задавлено силой, когда ни законов, ни судов не существует, когда вся государственная жизнь превращена в безформенный хаос, «Право» вынуждено умолкнуть. Задачи, которыя оно себѣ ставило и разрѣшенію которых посильно способствовало, лежат внѣ той плоскости, на которой разыгрывается борьба за власть.» Таким образом, «Право» удалось похоронить с честью, хотя далеко не по «первому разряду». Всѣ другія періодическія изданія скончались, так сказать, под забором, вродѣ тѣх лошадей, трупы которых уже тогда встрѣчались на улицах Петербурга.

Из отдѣльных эпизодов газетной работы вспоминаются постоянныя пререканія с Ганфманом из-за оцѣнки соотношенія воюющих держав. С перваго же дня войны военное пораженіе Германіи представлялось мнѣ несомнѣнным, но всѣ считали такой взгляд слишком прямолинейным и склонялись к тому, что война разрѣшится сохраненіем болѣе или менѣе status quo. Выход Россіи из войны прогноза моего не поколебал и, как попугай, я повторял его, лишь только приходилось в передовых статьях касаться этого вопроса. А поздно ночью, когда типографія подавала сверстанную полосу, Ганфман, держа ее в широко разставленных руках, начинал, пыхтя, горячо убѣждать: «что вы пишете о неизбѣжной катастрофѣ, когда германскія войска по всѣм фронтам стоят на завоеванной землѣ. Дал бы нам Бог такую катастрофу». А я возражал, что несравненное военное превосходство Германіи и создает роковое противорѣчіе, которое разрѣшится катастрофой, и послѣ жаркаго спора мы мирились на смягченіи словесных выраженій. Надо, однако, оговориться, что такія высказыванія нисколько не мѣшали появившейся тогда в Петербургѣ германской миссіи (не помню ея оффиціальнаго названія) проявлять благожелательность, и офицеры оказали редакціи большую услугу, ежедневно снабжая русскими газетами, приходившими из Украины и служившими главным источником нашего освѣдомленія. Один из офицеров миссіи навѣстил меня впослѣдствіи в Берлинѣ: послѣ демобилизаціи и вслѣдствіе инфляціи ему пришлось начинать сначала и поступить в университет.

Но всѣ воспоминанія об этом періодѣ блекнут перед впечатлѣніем, произведенным екатеринбургским злодѣйством. Не помню, как и когда дошло до нас извѣстіе об убійствѣ царя со всей семьей. В моей памяти сцена выпуска номера с извѣстіем и передовой статьей, оцѣнивавшей это историческое событіе, складывается так: вижу Ганфмана, держащаго в дрожащих руках бюллетень, и по его растерянному виду догадываюсь, что случилось нѣчто необычайное. Мы безмолвно смотрим друг на друга, словно утратили способность членораздѣльной рѣчи, и кругом царит зловѣщая тишина, еще сильнѣе обостряющая неотразимость оглушительнаго впечатлѣнія. Бывало, в случаѣ каких-нибудь экстренных событій, в редакціи появлялись ближайшіе друзья и горячій обмѣн мнѣній служил как бы камертоном, облегчавшим задачу оріентировки. Теперь мы были предоставлены самим себѣ и, вѣро-

ятно, мучительнѣе всего угнетала необходимость нарушить тишину, немедленно откликнуться на страшное событіе и сознаніе безсилія сдѣлать это в сколько-нибудь соотвѣтственных выраженіях. Кое-как, совмѣстными усиліми, статья составлена, вѣрнѣе — состряпана, отослана в наборную, но внутренне мы увѣрены, что номер газеты не выйдет и, в ожиданіи запрещенія — почему-то в полголоса — продолжаем обсуждать политическое значеніе убійства. Но вмѣсто ожидаемаго запрещенія случилось совсѣм иное, еще небывавшее в исторіи цензуры. Послѣ двух часов ночи в редакціи появился один из комиссаров Н. Кузьмин и, стараясь быть как можно вѣжливѣе и даже галантнѣе, просил показать ему корректуру статьи, если таковая написана, чтобы «предупредить, пояснил он, — возможныя недоразумѣнія». Этот визит показал, что большевики и сами смущены своим злодѣяніем, чувствуя, что оно превзошло мѣру того, что может вмѣстить человѣческое сознаніе 20 вѣка, как если бы они, напримѣр, вернулись к колесованію или заливанію горла расплавленным металлом. Смущеніе их и впрямь отчетливо отразилось в брошюрѣ, выпущенной в Екатеринбургѣ, но поэтому тотчас и конфискованной и уничтоженной (один экземпляр удалось добыть и опубликовать в 17 томѣ «Архива русской революціи»). Смущеніе и заставило их воздержаться от закрытія газет, которое могло лишь усилить впечатлѣніе, и они предпочли прибѣгнуть к небывалому способу непосредственнаго воздѣйствія на содержаніе статей.

Вмѣстѣ с тѣм, однако, примѣненіе новаго способа давало возможность предвидѣть, что, как только смущеніе пройдет, большевики ощутят неудобство существованія независимой прессы и безпощадно расправятся с ней. А тут еще начиналось бѣлое движеніе, в Петербургѣ убит был комиссар печати Володарскій, и в одной из газет усмотрѣно было предсказаніе этого убійства (как в свое время в черносотенной газетѣ оповѣщеніе об убійствѣ Герценштейна напечатано было до самаго факта), в Москвѣ убит был герм. посол, в Ярославлѣ вспыхнуло возстаніе лѣвых эсеров, послѣ переворота раздѣлившних было власть с большевиками, поднимались чехословацкіе легіоны, — все это требовало утомительной зоркости цензуры, и вот 3 августа наступил давножданный и в душѣ для обѣих сторон желанный момент — всѣ газеты были закрыты. В декретѣ не было указано срока, ничего не говорило, что на этот раз закрытіе состоялось «всерьез и надолго». По всей вѣроятности тогда вопрос и не был рѣшен. Большевики были еще далеки от прочнаго овладѣнія властью и дѣйствія их в значительной мѣрѣ носили судорожный, порывистый характер. Поэтому и в виду бывших уже прецедентов, возобновлены были попытки добиться отмѣны запрещенія, мнѣ же пришлось позаботиться о добычѣ денег, чтобы компенсировать редакціи изсякшій источник дохода от продажи газеты. Достать деньги в то время было нетрудно. Хотя с грѣхом пополам они сохраняли еще свою цѣнность, но націонализаціи и конфискаціи значительно уменьшили привязанность к ним, пріучили легче разставаться, и в нѣсколько дней удалось собрать, если не ошибаюсь, около ста тысяч рублей. Но эти же нѣсколько дней выяснили, что нельзя расчитывать на возобновленіе выпуска газет, что запрещеніе их

— окончательное. У меня лично оставался еще солидный источник дохода: копенгагенская оружейная фирма, изготовлявшая пулеметы системы Мадсена затѣяла постройку завода внутри Россіи, и пригласила меня юрисконсультом на жалованье в 10 т. р. в год. Завод построен был в Ковровѣ, начал он работать уже во время революціи, а послѣ переворота, вмѣсто предположенных пулеметов даннаго образца, стали готовить автоматическія ружья системы ген. Федорова.

Прекращеніе газетной работы дало возможность нѣсколько оградить свою безопасность: сохраняя городскую квартиру и полицейски оставаясь приписанными в Петербургѣ, мы переселились в Царское Село. В Царском нам неоднократно приходилось проводить лѣто, а то и зимой на день-другой пріѣзжать. Но осенью я впервые видѣл этот чудесный уголок. А осень в тот знаменательный год стояла необычайно прекрасная — тихіе солнечные, ласковые дни, и, гуляя по великолѣпному парку, окрашенному в яркіе разнообразные цвѣта, я невольно все повторял и душевно осмыслил пушкинскія слова: «настала осень золотая, природа трепетна, блѣдна, как жертва пышно убрана». Я вспомнил почему-то профессора новорос. университета Воеводскаго, фанатическаго поклонника Гейне. Он увѣрял, что в стихах нѣмецкаго поэта раскрываются три смысла: один — при поверхностном чтеніи, другой — при повторном, внимательном, а третій — сокровенный, доступен лишь тѣм, кто способен представить себѣ духовными глазами обстановку, изображаемую поэтом. А я видѣл теперь пушкинскую обстановку воочію.

Но еще и другое осмыслил я на этих незабываемых прогулках, благодаря высвобожденію из под редакторскаго хомута: было такое ощущеніе, точно пелена с глаз спала, точно впервые вдруг дана была возможность оглянуться, дать себѣ отчет в том, что происходит в душѣ и что совершается вокруг. Обязанности редактора вынуждали к самому нездоровому образу жизни. Изо дня в день я возвращался из накуренной комнаты не раньше трех часов утра домой, долго не засыпал, тревожимый мыслью, не упущено ли что-нибудь, и нерѣдко поднимался еще с постели, чтобы телефонировать в редакцію. В 9 час. я был уже на ногах и немедленно садился за стол, чтобы прочесть почту и десяток газет, приготовить обзор печати. Послѣ завтрака, около двух часов, уходил в редакцію, гдѣ до шести с половиной с трудом улучал минуту, чтобы остаться одному. Вернувшись домой, тотчас послѣ обѣда садился обычно за писаніе статьи для завтрашняго номера, чтобы через два, три часа вновь отправиться в редакцію на ночное бдѣніе до двух-трех часов утра. Если же вечером нужно было быть в засѣданіи или пойти в гости, в концерт, в театр, то напряженіе еще увеличивалось и все время, сидя в театрѣ, волновался, не опоздаешь ли в редакцію, а приготовляя статью, держал перед глазами часы, чтобы не опоздать в засѣданіе. Так, под знаком «как бы не опоздать» и топотала «жизни мышья бѣготня» и тѣм не менѣе всегда чувствовал себя бодрым, готовым в бой. Теперь образ жизни радикально измѣнился к лучшему: большую часть дня я проводил на

свѣжем воздухѣ, гулял, с большим удовольствіем колол дрова, читал и писал не из под палки, а с прохладцей, спать ложился рано. А между тѣм, к вечеру, я обыкновенно не то, что уставал, а чувствовал себя совершенно измуренным, выдохшимся и было это ощущеніе не физической, а душевной измождениости. Задумавшись над ея причиной, я опять споткнулся о неоставлявшія меня в покоѣ мысли об огромном значеніи привычки. В нормальное время жизненный обиход развертывается в большей своей части автоматически. Поскольку тѣ или другія дѣйствія изо дня в день повторяются (а таковых в жизненном нормальном обиходѣ большинство), постолько работу сознанія все больше замѣняет привычка. На основаніи долгаго опыта мнѣ кажется, что даже чисто умственная дѣятельность, но повторяемая изо дня в день, содержит значительную долю автоматичности. Чтобы написать статью, нужно предварительно задуматься над темой, потом составить в головѣ схему изложенія. Но засим уже — сочетаніе слов и выраженій, расположеніе фраз и оборотов рѣчи, короче — весь процесс написанія существенно облегчается привычкой. Припомнилась встрѣча с редактором «Новостей» Нотовичем в пріемной цензурнаго сановника. На мою жалобу, что долго приходится ждать пріема, он отвѣтил, что можно использовать это время; «я вот успѣл написать передовую». Тогда — это было на зарѣ моей редакторской дѣятельности — слова его показались кощунственным снобизмом, но и много лѣт спустя, уже научившись писать в сутолокѣ редакціонной обстановки и одновременно слушать и даже участвовать в разговорѣ, я все таки испытывал чувство какой-то неловкости, непристойности.

Теперь, когда революція все сорвала с петель, положеніе рѣзко измѣнилось. Не приходилось уже, встав с постели и взяв ванну, благодушествовать за утренним кофе и бѣгло просматривать газеты, заранѣе зная, что гдѣ найдешь. Горячая вода не течет больше и нужно подумать, как ее добыть. Нужно призадуматься и над тѣм, как раздобыть хлѣб и масло и распредѣлить так, чтобы всѣм домашним досталось и хватило на весь день. Чтеніе газеты требует напряженнаго вниманія, чтобы расшифровать ежедневно как из рога изобилія сыплющіеся декреты, и прочесть ее нужно внимательно от доски до доски, ибо не знаешь, гдѣ откроется самое важное. Нельзя сѣсть в трамвай, увидѣв на нем знакомый номер, а слѣдует справиться еще у кондуктора, идет ли вагон по прежнему в нужном направленіи. С оглядкой приходится двигаться по улицѣ, чтобы, чего добраго, не попасть в облаву. Словом, каждый шаг, каждое дѣйствіе требует активнаго участія сознанія, непрерывной мозговой работы, внутренняго напряженія и, быть может, недалеко от истины будет утвержденіе, что в необходимости періодической встряски, взбаламучиванія «застоявшагося болота» таится основная причина и raison d'être революціи. Но несомнѣнным мнѣ казалось, что причина небывалой измождениости лежит в упраздненіи автоматизма жизненнаго обихода и непрерывной чрезмѣрной возбужденности сознанія. Естественно также, что молодежь, у которой привычки еще не успѣли отвердѣть и силушка по жилушкам переливается, горячо откликается на призыв революціи всколыхнуть своей силушной стоячее болото.

Воспомнианія об этих размышленіях досаждают теперь чувством неловкости: куда было бы умѣстнѣй говорить о страшном террорѣ, разыгравшемся послѣ убійства юиошей Канегнсером мстнтельнаго чекиста Урнцкаго н покушеиія Каплан (кстати сказать, первый и вторая — евреи) иа Ленина, о иочяой настороженности прн прнблнжеиіи автомобиля — не пробнл ли твой час, о плаиах борьбы с захватчикамн власти, — ио по мѣрѣ того, как давио подсказываемый и неожиданио гряиувшій эпизод стабилизовался и разростался в граидіозиое историческое событіе, так хотѣлось проннкнуть в тайяый смысл его понять его значеніе. опредѣлить, чѣм оио чревато, взвѣсить шансы борьбы с иим. В этих уснліях миѣ помогли трн, незадолго появившіяся книги соратников по Союзу Осв., а затѣм по к. д. партіи, талантлнвых проф. І. А. Покровскаго н П. И. Новгородцева. Оба ие выдержали революцін. П. скончался в самом иачалѣ от измождеиія, второй, котораго, к большому удовольствію, я блнзко узнал (когда нѣсколько мѣсяцев ои прожнл в моей семьѣ в Берлннѣ) и высоко цѣннл за прннципіальиое отношеніе к жнзнн, как к высокому священному долгу — умер в Прагѣ от мучительной мозговой болѣзни. Кннга П. «Основныя проблемы гр. права» устаиавливает иа прнмѣрѣ исторіи Рнма, что область гражданскаго права, отводнмая свободному регулнрованію правоотношеній, то расшнряется в пользу индивидуума, то суживается в ннтересах коллектива, и что такнм образом исторія гр. права представляет качаиіе маятиика между, как выражается автор, персоналнзмом н траисперсоналнзмом. А еще в иачалѣ новаго вѣка соціалнст Менгер предлагал частиое право вообще упразднить. Догадкн, которыя безсильио закопошились в головѣ прн чтеніи лекцій Муромцева тридцать лѣт иазад в ссылкѣ, теперь нашли обоснованиое научиое подтвержденіе н окончательио укрѣпнлнсь киигой Новгородцева «Об общественном идеалѣ», поставившей ту же проблему об антиноміи индивндуалнзма н коллективизма во всем ея велнчественном объемѣ. Как человѣк глубоко вѣрующій, Новгородцев силится превратнть противорѣчіе в благостное сочетаніе. Миѣ же казалось, что такія попытки симбіоза противоположиых міровоззрѣній проиэводят смуту в умах, нарушают нормальиое колебаиіе маятника, иначе говоря — затягивают н обостряют крнзнс, вызываемый очередной смѣной одиого ндеала другнм, противоположным. «Между намн, лѣвымн демократамн и с.-демократами, — сказал миѣ одиажды в Берлииѣ почтеиный германскій общественный дѣятель в отвѣт на вопрос, как мог он иа старости лѣт перемѣннть свое міровоззрѣніе иа соціалнстическое, — между намн в сущиости нѣт никакой разницы», а человѣк ои был разиосторонне образованный и чуткій. Увлекаясь все больше этой проблемой, я усердио копался в литературѣ и, избѣгая говорить своимн словамн, систематнзировал и нзложнл собраниый матеріал в брошюрѣ «Исканія общественнаго ндеала», вышедшей в іюлѣ 1918 г. в Петербургѣ и потом перензданиой в Берлинѣ. Основная мысль была, что между смертиым человѣком и безсмертным человѣчеством непрерывио кипит непримирнмая борьба, соперничество, в котором попеременно одержнвает верх то одиа, то другая сторона. Во время міровой войиы французскій философ Лебон выставнл тезнс, что «существует только

коллектив, личность же рѣшительно ни во что не цѣнится» и этот тезис становится всевластным лозунгом 20 вѣка. А другія эпохи столь же увѣренно провозглашали примат отдѣльной личности, и так эта смѣна на протяженіи вѣков повторяется все в новых формах и сказка вновь повторяется сначала, но, к счастью, каждый раз с новым энтузіазмом, с новой горячей вѣрой в окончательное торжество смѣняющаго прежній идеала. Уже послѣ выхода в свѣт брошюры мнѣ попалась книга тоже покойнаго проф. Зиммеля, который указывает еще на один источник обостренія борьбы за распредѣленіе прав и обязанностей между человѣком и человѣчеством. Человѣческое общежитіе требует установленія опредѣленных форм, а форма стѣсняет непрестанно мятущуюся жизнь, и чѣм дальше жизнь развивается, тѣм все рѣзче становится несоотвѣтствіе между движущейся жизнью и окостенѣлой формой, несоотвѣтствіе вызывает протест, в увлеченіи доходящій до отрицанія уже не только данной, ставшей помѣхой, формы, но против всяких форм вообще. Нельзя было при этом не вспомнить о тѣх уродливых выраженіях протеста, которыя у нас проявились в видѣ всяческих «измов» и причинили столько вреда. Однако и Зиммель, как Новгородцев, смиряется перед неизбѣжностью борьбы, считает филистерским предразсудком утвержденіе, что всякій конфликт должен непремѣнно получить свое разрѣшеніе, и полагает, что абсолютный покой должен остаться божественной тайной. Была у меня и другая литературная работа: издательство «Огни», собиравшееся выпустить ряд монографій о русских государственных дѣятелях, поручило мнѣ написать о Валуевѣ, для чего много приходилось работать в библіотекѣ Академіи Наук. Окончив работу, я сдал увѣсистую рукопись переписчицѣ, а затѣм уѣхал из Россіи и рукопись, вѣроятно, безслѣдно исчезла.

На этом мѣстѣ передо мною встает один из самых милых и дорогих призраков прошлаго — скорбная тѣнь моего «кузенчика» (так он всегда называл меня) В. М. Гессена, с которым мнѣ тогда пришлось бесѣдовать и спорить по поводу волновавших меня мыслей и который много помог мнѣ своими большими знаніями и указаніями литературы. Он тоже провел с семьей нѣсколько мѣсяцев внѣ Петербурга, в Ростовѣ, гдѣ двое сыновей его — студенты, вступили добровольцами в отряды Корнилова. Когда же Ростов взят был большевиками, объявившими смертный приговор всѣм, укрывающим у себя «бѣло-гвардейцев», домовладѣлец потребовал, чтобы Владимір Матвѣевич покинул его дом. Об этом он разсказывал так: «Для выѣзда из Ростова требовался пропуск от мѣстнаго Совѣта и я с трепетом вошел в зданіе, увѣренный, что меня тотчас арестуют, как только я произнесу фамилію Гессен. Но я получил урок скромности, который в равной мѣрѣ и к тебѣ, кузенчик, относится. Фамилія не произвела никакого впечатлѣнія и пропуск выдан без всякой задержки». В. М. оказался прав, урок скромности преподан был и в Петербургѣ, когда два мѣсяца спустя нужно было получить пропуск в Финляндію, и ни в Чекѣ, ни в военно-революціонном отдѣлѣ фамилія редактора Рѣчи не вызвала никаких сомнѣній, просто потому, что была неизвѣстна. Уже на первых порах большевицкаго господства

появилась масса новых людей, выскочек, не имѣвших никакого касательства к долголѣтней борьбѣ со свергнутым режимом.

Но я возвращаюсь к «кузенчику», с которым меня связывали узы тридцатилѣтией интимной дружбы, хотя были мы люди настолько разные, что его всѣ любили, а у меня врагов было хоть отбавляй. Он дѣйствительно был яркой красочной фигурой, судьба щедро взыскала его своими милостями. Есть люди, которые страстно любят жизнь, но она их не замѣчает или даже третирует. Настойчиво добиваясь взаимности и все болѣе заботой этой поглощаемые, они утрачивают самый смысл своего бытія. Есть другіе, к которым жизнь благоволит, а они ея не любят и ничего не дают ей взамѣн полученных даров, зарывают в землю таланты свои. Владимір Матвѣевич представлял, в числѣ немногих, счастливое исключеніе: он страстно любил жизнь, любил во всей ея неприкрашенной дѣйствительности, и она отвѣчала ему широкой взаимностью. Она подарила ему блестящую внѣшность и богатое внутреннее содержаніе: высокаго роста, стройный, с красивым лицом, мягким улыбающимся взглядом больших глаз, грудным задушевным голосом, он привлекал к себѣ общія симпатіи, возраставшія при видѣ его дѣтской неловкости и практической безпомощности, о которых сложилось безчисленное количество анекдотов. Свѣтлый, в подлинном смыслѣ слова, ум и тонкая чуткость к новым теченіям в наукѣ права гармонично сочетались с непреодолимым тяготѣніем к схематическому мышленію, к стройным конструкціям, которыя всегда красиво озарялись отблесками выдающагося поэтическаго таланта, заглушеннаго им для научной дѣятельности. Эти его качества сопряжены были с большим риском: если основныя линіи схематической конструкціи были неправильны, рушилась вся постройка и ему случалось терпѣть жестокія пораженія, но его творчество лишено было мелочнаго крохоборства, и каждое произведеніе, равно как и всѣ юношескія прелестныя стихотворенія звучали вдохновенным порывом к отысканію истины. Хотя он совершенно лишен был умѣнья пробираться вперед локтями, все же неизмѣнно выдвигался на первыя мѣста: переселившись в 1895 г. в Петербург, сразу стал центром в кружкѣ молодых ученых-магистрантов; вступительная лекція в университетѣ дала ему настоящій тріумф; участіе в Правѣ придало журналу яркій публицистическій блеск; как член второй Гос. Думы от петербургской губ., он соперничал с В. Маклаковым на титул лучшаго оратора и считался авторитетом по вопросам госуд. права. Но все возраставшія матеріальныя заботы отвлекали от научной работы и обременяли непосильной преподавательской дѣятельностью. Он читал лекціи в университетѣ, в Александровском лицеѣ, Политехникумѣ и на Высших Женских Курсах, все откладывая защиту магистерской, а потом докторской диссертаціи. И судьба, которая была так к нему благосклонна, рѣзко отвернулась и стала безжалостно донимать: в тяжких страданіях, от саркомы в мозгу, умерла под ножом хирурга жена, дважды болѣл загадочной болѣзнью сын, другой страдал легкими, и Владиміру Матвѣевичу пришлось навсегда позабыть, что такое свѣтлый день и бодрое настроеніе. Он утратил всякій вкус к жизни и лишь покорно тянул лямку ея. Вернувшись из Ростова, он прожил в Пе-

тербургѣ до апрѣля 1919 г., остро ощущая, вслѣдствіе своей практической безпомощности, продовольственныя затрудненія, и, по совѣту преданнаго ученика, переѣхал в новый университет в Иваново-Вознесенскѣ, гдѣ вмѣстѣ с двумя сыновьями заболѣл сыпным тифом, тѣ выздоровѣли, а его безмѣрно уставшее сердце не выдержало. Я покинул Петербург нѣсколько раньше и, уступая требованію моего друга, добывшаго нужные для отъѣзда документы, соблюдать абсолютную тайну, распространил ее н на дорогого «кузенчика» и не простился с ним перед разставаніем навсегда. Пусть могу искать оправданія в том, что риску подвергался не я один, а вся семья, оправданіе не успокаивает сердечных угрызеній, которыя с новой силой дали себя знать, когда в 1923 г. появленіе в Берлинѣ обоих сыновей его, пылавших жгучей ненавистью к большевикам, воскресило прошлое. Один из них скончался потом в Парижѣ от туберкулеза, другой раздѣлил типичное бытіе русскаго бѣженца, котораго судьба за шиворот таскает по неизвѣстным тропам в поисках куска хлѣба. Сейчас его этап — африканскія колоніи Франціи.

Кромѣ «кузенчика» (я рад всякому поводу повторять это слово, поднимающее в груди волну нѣжности), мнѣ больше ни с кѣм не доводилось в то время бесѣдовать по душам. Раза два в недѣлю я ѣздил в Петербург и обычно оказывался в одном вагонѣ с Луначарским, который, почему-то и послѣ отъѣзда Совѣта нар. комиссаров, продолжал оставаться в прежней столицѣ и жил в Царскос. дворцѣ. Он неизмѣнно бывал тѣсно окружен льстецами (нѣкоторые даже стояли), жадно внимавшими его словам, а он ore rotundo ораторствовал и с тѣм же жадным вниманіем сам себя слушал, а поблескиванія золотого пенснэ на лоснящемся широком носу создавали впечатлѣніе, что даже и оно сіяет самодовольством. Мнѣ при этом вспоминалось, что года два назад, — быть может в том же вагонѣ, — приходилось встрѣчать вел. князя Дмитрія Павловича, который тоже был окружен почтительно внимавшими его разглагольствованіям. Но теперь было гораздо больше раболѣпства, а главное — гораздо больше подчеркиванія своей преданности и восторга, что, впрочем, и требуют всегда нуворишн.

В Петербургѣ я заходил в редакцію, куда еще доставлялись из германской миссіи украинскія газеты и гдѣ можно было застать того или другого сотрудника. Свернув с Литейнаго на улицу Жуковскаго, гдѣ редакція помѣщалась, уже издали я обычно слышал удручающее завываніе пожилого человѣка, прилично одѣтаго, в фуражкѣ Госуд. Контроля на головѣ, быстро сѣменившаго ногами и не перестававшаго протяжно кричать: «Подайте голодному, добрая душа, три дня не ѣл, подайте. добрая душа-а-а». Я мысленно посылал ему вопрос, для чего же он продолжает жить, а эта мысль, как бумеранг, возвращалась назад и просилась поймать ее, и долго еще потом завываніе его звучало в ушах, как какое-то дьявольское memento mori!

Недалеко от редакціи помѣщалось правленіе пулеметнаго завода, членами котораго были, между прочим, два тайных совѣтника — Арбузов и Сибилев. Большевики еще не наложили руки своей на завод, который уж начал выпускать пулеметныя ружья системы ген. Федорова, и артиллерійское вѣдомство еще отпускало средства. Но правленію дѣлать было нечего

и посѣщенія диктовались просто желаніем повидать друг друга и обмѣняться новостями и слухами. Не успѣл я уѣхать из Петербурга, как в помѣщеніи произведен был обыск и оба тайных совѣтника были арестованы. Арбузов потом оказался в числѣ высланных сов. властью в 1923 г. в Берлинѣ, гдѣ и умер в большой бѣдности.

Сентябрь внес нѣкоторое оживленіе благодаря цѣлому ряду появившихся у нас гостей. Пріѣхал из Кіева племянник с женой Н. Позняковской, профессором петерб. консерваторіи и выдающейся піанисткой, и квартира стала оглашаться чудными звуками рояля под ея пальцами. Она вообще была женщина незаурядная и внесла много уюта в нашу тогдашнюю безцвѣтную жизнь. Побывал у нас скрывавшійся Ф. И. Родичев, замаскировавшій себя отпущенной длинной сѣдой бородой: она так не подходила к бросавшемуся всѣм в глаза красивому, словно выточенному, лицу с легкой саркастической улыбкой, что казалась накладной и никого обмануть не могла, его сразу можно было узнать. В соотвѣтствіи с бородой были только потухшіе глаза и не было уже характерных широких жестов правой руки, казавшихся как бы составной частью его напористой рѣчи. Он говорил: «Молодежь, которая видѣла столько крови, ничего хорошаго ожидать не может», и этими словами опредѣлил свое настроеніе. Вернулся из Кіева А. И. Каминка и с женой своей пріѣзжал к нам ночевать, чтобы оградить себя от угрожавшаго ареста. В Кіев он ѣздил по коммерческим дѣлам, как представитель Азовско-Донского банка, контролировавшаго угольныя копи на Никитовкѣ, находившіяся теперь в пользованіи оккупаціонной власти. Во время дѣловых сношеній с нѣмцами естественно поднимались и вопросы о политическом положеніи, и непримиримый антибольшевик Каминка высказывался в том смыслѣ, что жизненные интересы Германіи требуют ея содѣйствія Россіи для сверженія сов. власти. В результатѣ таких разговоров Каминка получил через своего собесѣдника, военнаго инженера, приглашеніе к Мумму, к которому и отправился вмѣстѣ с Милюковым, надѣвшим для торжественнаго визита чужое платье, так как его единственный костюм совершенно обтрепался. Милюков был того же мнѣнія, что и Каминка и многіе «правые» кадеты—Нольде, Струве и др., в противоположность москвичам, во главѣ с проживавшим тогда там Винавером, твердо стоявшим на антантской позиціи и рѣшительно осудившим инициативу Милюкова. При изданіи Архива Русской Революціи в мои руки попало тайное донесеніе В. В. Шульгина ген. Деникину из Кіева, излагающее условія, на которых должно было состояться германское содѣйствіе: Брестскій договор отмѣняется и Россія возстанавливается в прежних границах за исключеніем Польши. Устанавливается конституціонная монархія, царем намѣчен вел. князь Михаил Александрович и, захватив Москву, вооруженная сила (ядро ея — добровольческая армія) провозглашает царем Михаила, который тогда еще не укрылся у чехов (?) Сообщая об этом, Шульгин, с своей стороны, прибавляет, что хотя Милюков «человѣк неизмѣримо болѣе умный, чѣм гетман Скоропадскій и его прислужники», но в сущности и он попался на удочку «двойной игры» противника, что теперь и сам сознает: «вчера (т. е. 4/17 іюля) Ми-

люков пожелал меня видѣть», чтобы сообщить, что нѣмцы рѣшительно выступают против чехов и если добровольческая армія не станет на такую же позицію, она либо будет разоружена, либо ей будет закрыт выход на восток, либо даже поставлена под удар большевиков. Донесеніе упоминает и о том, что «кстати сказать, Московскій и Петербургскій центральный Комитет совершенно разошлись с Милюковым в вопросѣ оріентаціи.» Это не совсѣм точно — петерб. кадеты относились болѣе чѣм терпимо к рѣзкой перемѣнѣ оріентаціи, за время моего отсутствія из Петербурга, Б. Э. Нольде даже помѣстил в Рѣчи — правда, очень осторожную — статью в том смыслѣ, что Брестскій мир не должен поставить точки на развитіи русско-германских отношеній.

Эта разница между моск. и петерб. кадетами (на них очень ярко отражалось основное расхожденіе моск. и петерб. настроеній и разница в чем нибудь постоянно отдѣляла москвичей от петербуржцев) дала себя знать, между прочим, и на пріемѣ неожиданнаго гостя из Берлина, корреспондента Berl. Tageblatt Фосса. Если не ошибаюсь, он был первым иностранным корреспондентом, которому сов. власть разрѣшила въѣзд в Россію, очевидно не опасаясь впечатлѣнія, которое новый режим может на него произвести. Фосс, воспитанник русской гимназіи и университета, свободно говорил по русски и щеголял изысканными манерами и изысканной рѣчью. Во время войны он, как русскій подданный, сумѣл дважды посѣтить Англію и Францію, точно также, как у нас греческій подданный Анкіардопуло изловчился проѣхать из Швеціи через Германію, Австрію и Турцію в нейтральную тогда Грецію и дал в Рѣчи бойкое описаніе своего авантюрнаго путешествія, казавшееся тогда крайне сенсаціонным. Пріѣхав теперь в Москву, Фосс был подавлен тѣм, что ему пришлось увидѣть, и — вѣроятно, не без вѣдома посольства — отвернулся от угнетателей к угнетеным. Но кадеты встрѣтили его неприязненно, за исключеніем П. Струве, который снабдил его рекомендательными письмами в Петербург. Фосс пришел ко мнѣ с Изгоевым, послѣ чего часто стал наѣзжать в Царское, откуда хаживали мы вмѣстѣ к Нольде, жившему в Павловскѣ, и к Аджемову, который умудрился поселиться в коттэджѣ вел. ки. Бориса Владиміровича между Царским и Павловском, а когда чекисты нагрянули, сумѣл скрыться. Собираясь вернуться в Германію, Фосс, в послѣдних числах сентября, пригласил нѣсколько человѣк, у которых он бывал, в квартиру своего брата, б. преподавателя Петропавловской гимназіи (из присутствовавших припоминаю Д. Протопопова, Изгоева, Нольде, Аджемова). Радушно угощая нас чаем, он сообщил, что на другой день уѣзжает в Ярославль, пострадавшій от артиллерійскаго огня при подавленіи вспыхнувшаго возстанія лѣвых эсеров, послѣ чего спѣшно возвращается в Берлин и очень интересуется нашими мнѣніями, как и чѣм Германія могла бы помочь Россіи. Всѣ, а в особенности пространно Нольде, убѣждали, что герм. войска должны из Кіева, откуда в незапамятныя времена и началось строительство русскаго государства, пойти на Москву для сверженія большевиков, каковая задача для них будет весьма легкой. Когда очередь дошла до меня, я долго отнѣкивался, так как взгляды мои рѣзко расходились с

общим мнѣніем, но Фосс просил быть вполнѣ откровенным, я увлекся и, сгущая краски, сказал, что самая постановка вопроса кажется неправильной, ибо сама Германія стоит накануне тяжелой катастрофы. Незачѣм поэтому ѣхать в Ярославль, а нужно сломя голову спѣшить в Берлин и там во весь голос кричать, что все, что пришлось в Россіи увидѣть, так страшно и так угрожающе, что Германія готова убрать свои войска со всѣх фронтов и предлагает замиреніе для объединенія против опасности, которой чреват для Европы большевизм. Шанс это слабый, запоздалый, но он единственный для предотвращенія катастрофы в Германіи, послѣ чего уж можно будет говорить о помощи Россіи. Соглашаясь, что положеніе Германіи тяжелое, Фосс увѣрял, что оно далеко от моего черезчур пессимистическаго взгляда, на что я, в раздраженіи, выпалил, что катастрофа разразится гораздо скорѣе, чѣм он думает, и начнется с того, что отпадут союзники. Когда через четыре дня послѣ этого five o clock пришло извѣстіе о перемиріи, заключенном Болгаріей, и Фосс спросил, было ли мнѣ что-нибудь об этом извѣстно заранѣе, я с искренним смущеніем отвѣтил, что сам потрясен столь быстрым осуществленіем предсказанія, сгоряча вырвавшагося.

Послѣ отъѣзда гостей стало, конечно, еще тоскливѣе, сѣрое однообразіе жизни ощущалось еще острѣе. А тѣм временем террор все шире разгуливался. Не проходило дня, чтобы тѣм или иным путем не получено было извѣстіе об обыскѣ и арестѣ кого-нибудь из друзей и знакомых, и всѣ старались поглубже зарыться, по возможности рѣже показываться, как можно меньше напоминать о себѣ. Послѣдним публичным оказательством «буржуев» было чествованіе памяти умершаго предсѣдателя петерб. совѣта прис. пов. Д. В. Стасова. Оно состоялось в залѣ Тенишевскаго училища, с которой связано было так много радостных и бодрых воспоминаній: сколько раз приходилось здѣсь выступать на кадетских и иных собраніях. Теперь скупое освѣщеніе зала гармонировало с угнетенным настроеніем и рѣчи Н. С. Таганцева, А. Ф. Кони, М. В. Бернштама и А. С. Зарудиаго шевелили в душѣ невеселыя сомнѣнія. Стасов сам по себѣ был представителем типичной заурядности, она геніально запечатлѣна на знаменитом портретѣ Сѣрова. Но на склонѣ своей долголѣтней жизни он оставался одним из немногих активных работников «эпохи великих реформ» и из него сдѣлали икону шестидесятых годов, рисовавшихся их участникам началом свѣтлаго безоблачнаго будущаго. Чествованіе памяти Стасова должно было служить апофеозом шестидесятых годов и, тѣм самым, превратиться в демонстрацію против переживаемаго мрачнаго момента. Но нельзя было отогнать мысли: как хорошо, что Стасов уже умер, что он больше не видит и не терзается тѣм, что дочь его Елена, страстная большевичка, с энтузіазмом разрушает все, что было дорого отцу. Каково было Стасову умирать, видя, чѣм завершились шестидесятые годы.

От мрачных мыслей отвлекла меня рѣчь Кони. Он выступил послѣ Таганцева, рѣчь котораго отличалась прозрачной ясностью и точностью мысли и сверкала самобытностью чудеснаго московскаго говора и построенія. Кони,

за пятнадцать минут, предоставленных каждому оратору, набросал кучу цитат, тут были и Цицерон, и Гейне, и Шопенгауэр и Пушкин, цитаты были все блестящія, одна другой лучше и всѣ отлично подобраны к данному случаю, но все это было не свое, а чужое. Я задумался над странным свойством его ума и таланта, а когда, в перерывѣ, поздоровался с ним и задал стереотипный вопрос: «Как поживаете, Анатолій Федорович», то и тут услышал: «А так, дорогой мой, как старушка у Горбунова: мѣстами, батюшка, мѣстами!» Как остроумно и как точно подошло к данной обстановкѣ, но опять и только чужими словами.

Тенишевскій зал был полон, но никакого оживленія не было замѣтно, вяло обмѣнивались отрывочными замѣчаніями на тему, скоро ли? А между тѣм уже приближался первый юбилей сов. власти, с юбилеем плохо вязалось неистребимое тогда убѣжденіе в мимолетности, и возвѣщеніе о предстоящих празднествах воспринималось, как острый укол по наболѣвшему мѣсту. Но вот какую неожиданную для меня самого запись я нахожу под 30 января 1919 года. Тогда, как извѣстно, Антанта проектировала созыв на Принцевых островах конференціи «всѣх воюющих сторон в Россіи» с участіем представителей держав Согласія для выработки соглашенія. К этому проекту и относится сдѣланная мною запись, гласящая: «сегодня один пріятель сострил, что с тѣх пор, как знает, что о нем пекутся пять держав, он чувствует себя гораздо спокойнѣе. Но вѣдь дѣло вовсе не в большевиках и не в державах. Большевики уйдут. Утверждают со слов Горькаго, что Ленин выражает удивленіе, почему до сих пор никто не приходит на смѣну. Но что же будет, когда смѣна придет? Не сомнѣваюсь, что будет еще страшнѣй, еще тяжелѣе. Пріѣхавшій на днях из Украины знакомый увѣряет, что нѣкоторый порядок увидѣл лишь тогда, когда въѣхал в предѣлы Совѣтчины. Ни на минуту не теряю вѣры в блестящее будущее Россіи, но ближайшіе годы — и не один, не два, а столько, что с избытком хватит на остаток жизни моей, — будут тяжелы, очень тяжелы». Сейчас, спустя ровно 17 лѣт, психологически мнѣ болѣе понятна тогдашняя упрямая увѣренность в уходѣ большевиков (вѣдь и Троцкій считал это неизбѣжным и лишь грозил так хлопнуть дверью, что весь мір задрожит), чѣм смутное безпокойство о «смѣнѣ». Когда, много позже уже в разсѣяніи нашем, проф. Л. Карсавин печатно высказал, что большевики сохранили русскую государственность, что без них разлилась бы анархія и Россію расхватали бы по кускам и на этом сошлись бы между собою и союзники и враги наши, — против него поднялся вопль негодованія и обвиненіе в большевизанствѣ, и я сам основательно позабыл то, что писал за нѣсколько лѣт до Карсавина. Не могу здѣсь не прибавить еще, что в цитированных уже в предыдущей главѣ «Письмах прапорщика-артиллериста», проф. Степун в письмѣ к сыну моему предрекал: «с самаго начала войны не перестаю бояться, что к концу ея всѣ народы Европы — и наши союзники и враги — чѣм то своим «европейским» перекликнутся между собой и в каком-то невидимом еще сейчас смыслѣ встанут всѣ против несчастной Россіи». Предсказаніе не осуществилось, за Россіей, напротив, наперерыв ухаживают, силясь употребять ее в качествѣ головы

турка. Но кто станет опровергать, что такія намѣренія копошились, что планы такіе строились, да и продолжают разрабатываться?

Празднованіе юбилея началось с печальнаго сюрприза. Уже 1 ноября была объявлена программа — митинги, танцы, фейерверк, рѣчи на Марсовом полѣ, над могилами «жертв революціи». К этому настойчивые слухи прибавляли, что на два дня будет пріостановлено пригородное желѣзнодорожное сообщеніе. Поэтому жена Каминки, не желая два дня оставаться отрѣзаняой от дѣтей, настояла, чтобы на время празднованія не пріѣзжать на ночевку к нам, а находиться в Петербургѣ. Не станут же большевики в праздничные дни производить обыски и аресты. Вечером 5 ноября они и уѣхали, а на вокзалѣ в Петербургѣ их успѣли предупредить, что в квартирѣ идет обыск и нужно укрыться гдѣ нибудь у друзей. Оказалось, что именно в расчетѣ на обильный улов при неожиданности, Чека открыла празднество перваго юбилея массовыми арестами. Большинство тотчас послѣ праздника было отпущено, но нѣсколько десятков, в том числѣ старый сотрудник Рѣчи Изгоев были задержаны: он дал потом в «Архивѣ Революціи» яркое описаніе своих страшных злоключеній на принудительных работах в арханг. лѣсак. Освобожденію его много помог Максим Горькій, тогда еще нерѣшительно топтавшійся на мѣстѣ перед Рубиконом и пока занимавшійся «первоначальным накопленіем» путем коммерческих спекуляцій, в компаніи с Гржебиным, и скупкой антикварных рѣдкостей, запечатлѣнной на извѣстном портретѣ Анненкова.

Другим публичным торжеством было празднованіе «краснаго дня» 22 января — годовщины кроваваго воскресенья 9 (по старому стилю) января 1905 г., — которое теперь было объявлено «началом русской революціи». В этот день мнѣ привидѣлась вторая гримаса старушки исторіи: 22 января, в то кровавое воскресенье, я, в числѣ десяти русских публицистов и профессоров, был арестован и посажен в Петропавловскую крѣпость. Растерявшаяся власть заподозрила, что эвентуально мы были предназначены стать временным правительством. Казалось бы поэтому, что, как пострадавшій в началѣ революціи, нѣкоторым образом «герой», я должен был бы принять видное участіе в торжествѣ, быть посаженным в красный угол. А в дѣйствительности приходилось усиленно скрываться именно в этот день, послѣ того как выяснилось, что как раз перед торжествами большевики производят массовые налеты.

Удачно избавившійся от ареста Каминка не ушел однако от судьбы. Через два дня он с шведским посланником пріѣхал в германскую миссію, в этот день было получено извѣстіе о революціи в Берлинѣ и миссія была окружена нарядом красной гвардіи. Через час-другой оцѣпленіе было снято, но Каминка с посланником пытались выйти из зданія до этого, и, когда садились в автомобиль, К. был задержан и арестован. Снова стали бросаться в разныя стороны, ища приближенных к новым властителям, и надо сказать, что в общем приближенные относились к ходатайствам предупредительно, им явно льстило подчеркиваніе измѣнившагося положенія на общественной лѣст-

ницѣ. Эти поиски привели меня, между прочим, к брату покойнаго издателя Рѣчи Баку. Я раньше не был с ним знаком, но за мѣсяц до юбилея он крайне удивил своим посѣщеніем, объяснив, что ему нужна юридическая помощь в суд. процессѣ и что ко мнѣ направил его судья Любушкин, сын царскаго кучера, женатый на богатой купчихѣ, страстно тянувшійся в высшія петербургскія сферы. При переводѣ из Тулы в министерство юстиціи он был моим непосредственным, пренепріятнѣйшим начальником, а теперь одним из первых успѣл устроиться при новом режимѣ. Я увидѣл ту же нисколько не измѣнившуюся сытую самодовольную физіономію. И принял он меня так, точно мы еще вчера с ним встрѣчались, хотя в дѣйствительности уже лѣт пятнадцать прошло, как я потерял его из виду. Но еще интереснѣе была бесѣда: к сожалѣнію я совсѣм не помню, в чем состоял процесс, но и сейчас отчетливо слышу напыщенно дѣловой тон, которым он излагал сущность дѣла и свои юридическія сомнѣнія. Я приготовился обстоятельно доказывать правильность требованій моего довѣрителя, но Л. с первых же слов прервал, заявив: «Да, вы, пожалуй, правы. Да, вы правы, так успокойте тов. Бака» — на этом наша бесѣда и кончилась, а потом Бак, выигравшій процесс, не переставал подсмѣиваться над моей практической наивностью: «Неужели вы не поняли, что Л. расчитывал на полученіе части гонорара, который вам достался через его посредство? Пришлось мнѣ самому исправлять вашу неловкость, а больше дѣл вы уж не получите от него».

Болѣе яркую иллюстрацію первых дней сов. режима дали дальнѣйшія сношенія с Баком, который стал помогать мнѣ в продовольственном отношеніи. Каждый раз, когда я заходил к нему в отлично обставленную большую квартиру на Литейном просп., он хвастал расширеніем своих знакомств с коммунистами и однажды таинственно сообщил, что близко сошелся с видным членом коллегіи петерб. Чеки. Естественно, что когда Каминку арестовали, я поспѣшил к Баку, хотя и не принимал всѣх его утвержденій в буквальном смыслѣ. Он обѣщал помочь, но все мѣшкал, и у меня стали зарождаться подозрѣнія, не пустой ли это хвастун. Но, наконец, он предложил придти «вечерком», чтобы встрѣтиться с упомянутым чекистом и изложить ему свою просьбу, исполненіе коей он, Бак, гарантирует. Не скажу, чтобы приглашеніе доставило удовольствіе, чтобы не смущала мысль о рискѣ попасть в лапы чекиста, но дѣлать было нечего. Вечером я застал у Бака нѣсколько человѣк с озабоченным видом, которых он, очевидно, пригласил с той же цѣлью, что и меня. Сам он, точно метр д'отель, все время переходил от одного к другому, что-то шептал, а потом озирал стол, который был обильно уставлен ѣдой и еще обильнѣе питіями, но предназначен был не для нас. Когда, около 10 часов, раздался рѣзкій звонок, Б. суетливо разсовал нас по разным комнатам и в щелку двери я увидѣл двух молодцов в высоких сапогах и кожаных куртках, усѣвшихся с Б. за стол и сразу приступивших к возліяніям. Затѣм поочереди, одного за другим, хозяин вводил в столовую, проситель говорил шепотом, а кожаная куртка (одна, — другая оставалась молчаливым свидѣтелем) ограничивалась больше поддакиваніями: так, так, да, гм, гм! и через нѣсколько минут на смѣну приходил слѣдую-

щій проситель. А меня все не звали и настроеніе становилось все непріятнѣе. Вот уже хозяин остался только с куртками, доносится оживленный разговор, котораго разобрать не могу, и еще через нѣсколько томительных минут почетные гости шумно прощаются, послѣ чего Б. увѣряет, что чекист обѣщал просьбу исполнить, но так как дѣло политическое, то «благодарности» получать не желает, а потому и непосредственная бесѣда с ним стала лишней. Однако, обѣщаніе не было исполнено. Напротив, дѣло усложнилось и приняло грозный оборот, когда арестованнаго увезли в Москву, но там пришел на помощь один из бывших учеников Каминки проф. Гойхбарг, бывшій сотрудник Права, а в будущем предсѣдатель «Малаго Совнаркома», и добился освобожденія. А тот член коллегіи Чеки через мѣсяц был разстрѣлян.

Пребываніе в тюрьмах, с которым Каминкѣ пришлось впервые познакомиться, произвело на него очень сильное впечатлѣніе и он рѣшил нелегально бѣжать с женой. Но и тут подстерегла неудача: не без опасности добравшись до границы Финляндіи, они натолкнулись на грубый отказ финских пограничников и должны были вернуться во свояси, отягчив свое положеніе, и без того угрожаемое, попыткой бѣгства, которое, при развившемся уже тогда доносительствѣ, легко могло стать извѣстным Чекѣ.

Конечно, и моя мысль уже устремлялась заграницу. Но планы не пріобрѣтали сколько-нибудь реальных контуров. Сын обратился к академику С. Ольденбургу с просьбой дать мнѣ заграничную командировку от Академіи Наук. Вчера еще активный кадет и министр Врем. правительства, Ольденбург категорически отказал, и тогда это представлялось в такой же мѣрѣ невѣроятным, в какой дальнѣйшее преуспѣяніе его под сов. режимом сдѣлало странной самую мысль обратиться к нему с подобной просьбой. Другой план исходил от сына прис. пов. Лихтермана, тоже кадета, работавшаго в Рѣчи по отдѣлу гор. хроники. Он неожиданно явился на мотоциклеткѣ, одѣтый в ставшую уже символической кожаную куртку, и сообщил, что занимает важный пост в каком-то транспортном учрежденіи, имѣет в своем постоянном распоряженіи вагон, который вправѣ прицѣпить к любому поѣзду, и готов доставить меня с семьей заграницу: «Я вас как в люлькѣ довезу». Репутація его не была абсолютно безупречной, и я уклонился от прямого отвѣта, он пріѣхал вторично и, как бы в видѣ маленькаго опыта, предложил отвезти в редакцію. Я колебался, было легкомысленно показываться с ним на улицѣ и в особенности остановить мотоциклетку у помѣщенія редакціи, которая могла находиться под наблюденіем. Для него это было совсѣм рискованно, но он утверждал, что занимаемый им пост гарантирует от каких бы то ни было непріятных неожиданностей. Дорогой он не переставал предлагать свои услуги и все повторял: «Довезу как в люлькѣ». Такая настойчивость только усиливала внутреннія сомнѣнія, он, вѣроятно, замѣтил это и, остановившись у редакціи, на прощанье с большим волненіем сказал: «Помните же, что всегда готов. А если от кого-нибудь услышите обо мнѣ что либо нехорошее, не вѣрьте: я предан вам, а не им». Неблагопріятные слухи дѣйствительно появились, а затѣм он был разстрѣлян по обвиненію в заговорѣ против сов. власти. Его поведеніе было, очевидно,, много сложнѣе, чѣм ка-

ким его представляли возникшіе слухи, и это был случай далеко не единственный.

Конец неопредѣленному состоянію положил мой близкій друг; ему самому Чека угрожала привлеченіем к дѣлу об убійствѣ Урицкаго. Он рѣшил уѣхать с семьей и сумѣл найти ново-испеченнаго сановника, который за солидную взятку выдавал пропуск в Финляндію без предварительнаго сношенія с Чекой. По отношенію ко мнѣ вопрос усложнялся необходимостью получить разрѣшеніе еще и от военно-революц. отдѣла для младших сыновей, бывших в призывном возрастѣ. Друг мой горячо доказывал, что нелѣпо оставаться, зная, что раньше или позже ареста не миновать, он же и Каминкѣ предложил получить такой пропуск. Но когда я дома поставил ребром вопрос об отъѣздѣ, то встрѣтил энергичное сопротивленіе со стороны сыновей: они были уже в послѣднем классѣ самаго передового тогда Выборгскаго коммерч. училища, ежедневно из Царскаго ѣздили в школу, в которой царила очень дружная здоровая атмосфера, и разставаться с нею было, конечно, тягостно. Я обратился за содѣйствіем к директору школы Герману, пользовавшемуся у учеников большим авторитетом, но и с его стороны встрѣтил противодѣйствіе. Он не возражал против моего намѣренія уѣхать, хотя и оговорился, что «нам, пережившим время Александра III, этот режим не должен казаться чѣм-то ужасным», но горячо убѣждал оставить дѣтей. У него самого были двѣ дочери в одном классѣ с моими сыновьями, впослѣдствіи онѣ ушли, так сказать, от совѣтскаго режима в религію, сам он вскорѣ умер, преподаватели частью были арестованы, частью умерли.

Так как я рѣшительно заявил, что без сыновей мы с женой не уѣдем, им скрѣпя сердце пришлось согласиться. Я обратил вниманіе друга на необходимость вести переговоры крайне осторожно: хорошо, если совѣтскій сановник только откажется рискнуть головой за содѣйствіе бѣгству редактора Рѣчи. А если еще злоупотребит и напомнит начальству о моем существованіи, которое до сих пор не привлекло к себѣ вниманія чекистскаго ока. Но, как я уже упоминал, петерб. сановники подтвердили фамиліи Гессен урок скромности и всѣ нужные документы лежали в карманѣ, облегченном на 12.000 рублей.

Рѣшив уѣхать, я стал думать о борьбѣ с большевиками из заграницы и хотѣл установить какую-нибудь связь с Петербургом. Подходящим человѣком мнѣ казался племянник моего стараго друга лейб-медика Ф. П. Полякова, котораго я часто навѣщал, пріѣзжая из Царскаго и привозя оттуда молоко дочери его, моей крестницѣ, оправлявшейся от тифа, а он старался электрическим массажем остановить начавшееся уже тогда ослабленіе слуха у меня. Племянник Николай, кавал. офицер, настоящая забубенная головушка, охотно откликался на мои намеки и однажды прямо сказал: «Конечно, надо перескакивать к «бѣлым», но сдѣлать это с умом». Дней за пять до отъѣзда, подходя к дому на Кабинетской, гдѣ жил Поляков, я встрѣтил Николая с огромной ковригой хлѣба подмышкой. К моему огорченію он сказал, что отправляется на однодневные маневры на границѣ Финляндіи, ко-

торая только что устроила маневры на своей сторонѣ. «Но через два дня я буду обратно и мы поговорим». Когда же через два дня я с ним снова встрѣтился, чтобы окончательно условиться об установленіи связи, я не узнал моего лихого кавалериста: это был другой человѣк, точно его подмѣнили. Он с увлеченіем разсказывал о маневрах и с настоящим восторгом — о послѣдовавшем затѣм под предсѣдательством Троцкаго разборѣ маневров. Он полностью подпал под обаяніе Троцкаго. «Вот это так человѣк. Как он говорил, как резюмировал пренія генералов, как всѣх их за пояс заткнул. Да чего они всѣ стоят перед ним. Это настоящій полководец, он всѣх раздавит». Ни словом он не коснулся наших разговоров, но каждое слово и весь тон звучал прямым презрительным отвѣтом на мое предложеніе. На том моя затѣя и оборвалась, впрочем впослѣдствіи выяснилось, что вообще она была непрактична и излишня.

Послѣдніе три дня мы провели в Петербургѣ, в квартирѣ старшаго сына, женатаго на начальницѣ школы. Там можно было считать себя гарантированным от неожиданностей, которыя в это время были бы особенно непріятны и чреваты послѣдствіями. Друг мой с семьей уже уѣхал и оттуда дал знать, что финляндская виза для нас имѣется на границѣ. Благополучно проѣхал и Каминка с женой и наконец 23 февраля наступил день нашего отъѣзда. Теперь мы отправлялись не на двѣ недѣли, как год тому назад, а на какое-то неопредѣленное время, но никому и в голову не приходило, что на долгіе годы, а старшіе из нас, пожалуй, и навсегда покидаем родину. Вспоминаю, как меня поразила фраза Нольде — мы как-то говорили об отъѣздѣ и он заявил: «Нѣт, я дождусь весны и если из Принкипо ничего не выйдет, тогда я *эмигрирую*». Мы отнюдь не собирались эмигрировать, ѣхали опять налегкѣ и потом здѣсь в Берлинѣ Фрумкин много раз шутя выговаривал мнѣ, что сошьет за мой счет фрак и смокинг, ибо, послушавшись меня, вынул их из сундука, как лишній балласт. Если бы мы хоть смутно представляли себѣ долгіе годы изгнанія, мы бы, ох как, пораздумали, прежде чѣм рѣшиться покинуть Россію. А очень и очень многіе так и не рѣшились бы на это. Нольде же дѣйствительно дождался весны, и, распродав все до послѣдней ниточки, сознательно покинул Россію навсегда. Но среди многочисленных знакомых я только его и знаю, который не в разсѣяніи оказался, а заранѣе рѣшил переселиться в другую страну.

Поѣзд уходил около 4 ч. дня и в вагонѣ нас ждала непріятная встрѣча с законоучителем школы, в которой учились дѣти. Он сразу не только догадался, куда мы собрались, но стал громко и развязно об этом расспрашивать и, как тогда казалось, подозрительно похихикивать над нашим отнѣкиваніем. Вагон был набит людьми, но быстро пустѣл на пригородных станціях, и когда мы подъѣзжали к Бѣлоострову, пассажиров осталось нѣсколько человѣк. В Бѣлоостровѣ нам заявили, что таможенный осмотр будет только завтра, и мы провели в станціонном буфетѣ томительную, безконечно тянувшуюся ночь, терзаясь сомнѣніями, благополучно ли это «завтра» пройдет. Наконец, оно наступило и такому осмотру я еще никогда не подвергался: огромный дѣтина грубо и враждебно приказал раздѣться чуть не догола.

тщательно осматривал и ощупывал всѣ принадлежности туалета, стучал молотком по каблукам башмаков, перетряхнул всѣ вещи в чемоданах, а всетаки чек на финляндскій банк, пріобрѣтенный у знакомаго в Царском в обмѣн на рубли, был со мной и я был увѣрен, что ищейка до него не доберется, хотя он и держал его в своих руках.

Но вот и эта процедура закончена и нам предоставлено перейти через границу. Смычка ж. д. сообщенія с Финляндіей тогда была уничтожена и нужно было пройти нѣсколько сот шагов до пограничнаго мостика через Сестру рѣку. Опять стоял чудесный солнечный, но теперь зимній день и снѣг ослѣпительно блестѣл. Нас было человѣк десять в сопровожденіи солдата, державшаго пропуски для передачи финским чиновникам, которые встрѣтили нас со своими списками для провѣрки, имѣется ли виза на въѣзд в Финляндію. И тут, когда я считал, что всѣ опасности уже позади, финн вдруг заявил, что для нас визы нѣт. Сыновья переглянулись с улыбкой, мелькнула надежда на возвращеніе не по их винѣ, а у меня буквально потемнѣло в глазах. Ѣхавшій с нами датчанин, служащій в правленіи, при котором я состоял юрисконсультом, объяснил им по шведски, что этого быть не может, что виза давно дана. Один из чиновников побѣжал в дом, стоявшій на высоком берегу, через нѣсколько страшных минут показался вновь и, широко размахивая рукой, в которой держал лист бумаги, громко и, как мнѣ казалось, радостно кричал «ю, ю» (да, да).

Мы перешли через мостик. Совершенно изможденный безсонной ночью и пережитыми волненіями, я послѣ пятилѣтняго перерыва закурил папиросу, от которой закружилась голова.

Мы стояли перед новой неизвѣданной жизнью и уж совсѣм невдомек было нам тогда, что мы вступили в новую историческую эпоху.

Указатель собственных имен

ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

*) На страницѣ 262, в заголовкѣ вмѣсто 1 9 0 7 напечатано 1909.